ЦАРЕВНА
СОФЬЯ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Е. КАРНОВИЧ

ЦАРЕВНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

К. МАСАЛЬСКИЙ

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ

П. ПОЛЕЖАЕВ

ПРЕСТОЛ И МОНАСТЫРЬ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ББК 84.44 е

Серия основана в 1993 году

Царевна Софья: Е. Карнович. Царевна Софья Алексеевна. К. Масальский. Стрелецкий бунт. П. Полежаев. Престол и монастырь. Исторические романы.— М.: Новая книга, 1994.— 608с. («Всемирная история в романах»: «Летопись великих событий»)

Тема этого сборника — судьба загадочнейшей из фигур русской истории, царевны Софьи.

Образ царевны — не понятой современниками, побежденной в борьбе с братом, царем Петром I, умершей в монастырском заточении — стал легендарным в поздние времена.

Какие цели преследовала царевна Софья? Был ли ею действительно организован заговор? Какие идеалы она хотела сохранить на Руси? — вот лишь некоторые вопросы, ответ на которые ищут авторы исторических романов.

Бесстрашие и слабость, государственная мудрость и женское коварство — все переплелось в образе последней правительницы Древней Руси.

ISBN 5-8474-0204-x
ISBN 5-8474-0222-8

© Составление В. Козаченко, В. Нежданов, С. Тимченко, 1994
© Оформление Н.Егоров, 1994
© Название серии «Всемирная история в романах», издательство «Новая книга», 1993

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Е. КАРНОВИЧ

ЦАРЕВНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

I

— Когда я была еще в отроческом возрасте, явилась на небе чудная звезда с превеликим хвостом, и звали ее в народе «хвостушею». Бывало, лишь зайдет солнце, и она чуть-чуть, как пятнышко, покажется на востоке, потом замерцает ярче, а ночью засияет на темном небе светлее всех звезд. Смотрела я подолгу на нее, и о многом думалось мне, но, знаешь ли, отче, мне тогда становилось очень страшно...

Так говорила царевна Софья Алексеевна стоявшему перед нею монаху, который слушал ее с большим вниманием.

— Ты, звездочет, скажи мне, что за звезда являлась тогда? — спросила царевна.

— Подобные звезды нарицаются с греческого языка кометами, что будет значить волосатые звезды. Называются они также звездами прогностическими, или пророческими,— наставительно отвечал монах.

— Из чего же они сотворены?

— Из того, что по-латыни зовется материею, а по-гречески эфиром; эфир же для создания такой звезды, или кометы, был сперва сгущен силою Божиею, а потом зажжен солнцем.

— А зачем же являются такие звезды?

— Тайны Божии непроницаемы для нас, смертных. Всего наш ум объять не может, но, как убедились мудрецы, как толкуют умные люди и как поучает история, кометы являются на небеси во знамение грядущих событий. Ходят они превыше луны и звезд, никто не отгадает их бега по тверди

небесной, никто не ведает, где и когда они зарождаются, где и когда они исчезают.

— Ты говоришь, что кометы являются во знамение грядущих событий, а каких же? Расскажи мне о том, отец Симеон,— сказала царевна.— Да ты, верно, устал стоять, присядь,— ласково добавила она.

Царевна беседовала с монахом в своем тереме. В той комнате, где они теперь были, шла вдоль одной из стен лавка, покрытая персидскою камкою. В переднем, или красном, углу стоял под образами стол с книгами, а подле него — большое, с высокою резною спинкою, обитое синим бархатом дубовое кресло, на котором сидела Софья Алексеевна. По тогдашнему обычаю, на это единственное во всей комнате кресло, кроме царевны, как хозяйки терема, а также навещавших ее царя, царицы, членов царского семейства и патриарха, никто не мог садиться. И мужчины и женщины, как бы знатны и стары они ни были и как бы долго ни шла у них беседа с царевною, должны были во все время разговора оставаться перед нею стоя и только изредка, в виде особой милости, им дозволялось садиться на лавку поодаль.

Монах низко поклонился Софье Алексеевне и присел.

— Явление комет предвещает разные события,— начал он.— Чаще же всего предвещают они бедствия народные, в числе коих три бедствия полагаются главными: война, мор и голод. Предвещают кометы и о других еще бедствиях, как-то: о потопе, о кончине славного государя и о падении какого-либо знаменитого царства. О наступлении всех таких событий надлежит угадывать по тому, где впервые комета появится, на востоке или на западе, куда она свой хвост поворачивает и куда сама направляется, в какую пору наиболее блестит она, какого цвету бывает ее сияние, сколько главных лучей идет от нее и многое, сверх того, еще наблюдать должно. Для познания всех предвещаний, делаемых кометою, нужны, царевна, и мудрость, и книжное учение, и многолетняя опытность.

— Ты, отче, я думаю, все небесные явления легко уразуметь можешь!..

— Где все уразуметь мне, грешному человеку!.. Но, впрочем, слава Господу, сподобил он меня понимать многое,— скромно заметил монах.

Во время беседы любимая постельница царевны, Федора Родилица, родом украинская казачка, с видимым любопытством старалась прислушаться к происходившему разговору но заметно было, что многое она не могла взять в толк

и, поутомившись порядком, начинала позевывать и беспрестанно переминалась с ноги на ногу.

— Ты бы, Семеновна, пошла да отдохнула, придешь ко мне после,— сказала царевна постельнице.

Родилица отвесила ей низкий поклон и тихими шагами вышла из комнаты.

— Ведь наука гадания по звездам называется астрологиею? А гадание, составленное по течению звезд, зовется гороскопом?..— спросила Софья после некоторого молчания.

— Ты верно говоришь, благородная царевна.

— Видишь, преподобный отче, я все помню, чему ты наставляешь меня. А ведь по звездам можно гадать больше, чем по кометам?

— Речь твоя разумна! Кометы предвещают только важнейшие, чрезвычайные, так сказать, народные или политические события, тогда как по сочетанию звезд и планет можно предсказать судьбу каждого человека,— глубокомысленно заметил наставник.

— Скажи мне, отче, но скажи по сущей правде, известно ли тебе, что при рождении брата моего, царевича Петра Алексеевича, был составлен гороскоп, и не знаешь ли ты, что было предречено царевичу астрологами? — спросила Софья не без волнения.

— Слышал я,— отвечал нерешительно монах,— будто бывшему здесь в Москве голландскому послу Николаю Гейнзию писал нечто из Утрехта земляк его, профессор Гревий. Ведомо мне также, что государь, твой родитель, посылал к знаменитым голландским астрологам приказ, чтобы они составили гороскоп новорожденному царевичу. Много золота он заплатил им за это. Предсказали же они царевичу, что он в монархах всех славою и деяниями превзойдет, что соседей враждующих смирит, дальние страны посетит, мятежи внутренние и нестроения обуздает, многие здания на море и на суше воздвигнет, истребит злых, вознесет трудолюбивых и насадит благочестие, где его не было, и там покой примет. Слышно также, что и епископ Димитрий, увидев звезду пресветлую около Марса, предсказал твоему родителю, что у него будет сын, что сму наречется имя Петр и что не будет ему подобного среди земных владык.

И, приостановившись немного, таинственно, чуть слышно добавил:

— Но век его будет непродолжителен.

Софья как будто вздрогнула.

— А что пророчат звезды о моей судьбе? — тревожно спросила она.— Ведь ты, отец Симеон, обещал составить мой гороскоп.

— До сих еще пор сочетание планет и течение других светил небесных не благоприятствовали мне и я не мог начертать весь твой гороскоп. Я знаю пока только то, что ты, благоверная царевна, будешь на высоте,— торжественно, пророческим голосом проговорил монах.

Софья поднялась с кресел, щеки ее вспыхнули ярким румянцем.

— А разве я теперь не на высоте, а на доле? — гордо и раздраженно спросила она Симеона, который быстро приподнялся с лавки.— Разве я не московская царевна, не дочь и не внучка великих государей всея Руси? Мачеха моя, царица Наталья Кирилловна, никогда не отнимет и не умалит моей царственной чести...

— Не о высоте твоего рождения говорю я, благоверная царевна,— спокойно перебил Симеон.— На эту высоту поставил тебя Господь Вседержитель. Я говорю о другой высоте, о той, какой ты сама, при помощи Божией, можешь достигнуть...

— О какой же высоте говоришь ты? — резко спросила Софья.— Разве я могу стать еще выше? Разве у нас, в московском государстве, для женского пола, кроме терема да монастыря, есть что-нибудь другое? Разве есть у нас такой путь, на котором женщина может вознестись и прославиться? Ты, отец Симеон, хотя родом из Польши, но давно живешь в нашей стороне и пора бы тебе ознакомиться с нашими обычаями и знать, что на Москве не так, как у вас в Польше...

— Знаю, хорошо знаю я ваши московские обычаи,— заговорил монах.— Ведомо мне, что они совсем иные против того, что ведется в Польше и в других чужеземных государствах; да разве, сказать примером, хотя бы в греческой стране, в Византии, где женский пол был в такой же неволе, как и у вас, немало прославилось женщин из царского рода.

— Садись, отче,— сказала Софья Симеону, опускаясь сама в кресло.— И расскажи мне о них что-нибудь.

Монах сел на прежнее место.

— Я расскажу тебе, благоверная царевна, о дщери греческого кесаря Аркадия, о царевне Пульхерии. Жила она двенадцать веков тому назад. По смерти отца ее правление империею греческою перешло к брату ее Феодосию; он был скорбен главою, а она была светла умом и тверда волею.

Стал при нем управлять царством пестун его Антиох, родом перс, но царевна не стерпела этого: она удалила Антиоха от царского двора и начала править за своего брата. Нашлись, однако, у нее враги и повели дело так, что брат царевны, наущенный ими, приказал заключить ее в дальний монастырь. Она сошла с высоты, но не долго пребывала на доле. Вскоре возвратилась она в царские чертоги, снова взяла власть над братом и правила царством до самой его кончины...

— Что же сталось с нею потом? — перебила Софья, внимательно слушавшая повествование.

— По смерти брата царская власть осталась в ее руках, но так как в Византии не было обычая, чтобы замужняя женщина, а тем паче девица, заступала место кесаря, то Пульхерия взяла себе в супруги прославившегося и добродетельного полководца Маркиана, но власти ему не дала. Осталась она и в браке с ним девственницею и со славою управляла царством до конца своей жизни.

— Но ведь, кроме нее, были и другие женщины, которые правили царством; я помню, ты рассказывал мне о королеве аглицкой Елизавете, да и в нашем царстве, как значится в «Степенных Книгах», прославилась благоверная великая княгиня Ольга...

— Ну, вот видишь, благородная царевна, значит, и в российском царстве были именитые жены...

— Иные тогда, как видно, были обычаи, женский пол был тогда свободен, царицы и царевны не сидели взаперти в своих теремах, как сидят теперь. Знаешь ли, преподобный отче, как я тоскую!.. Что за жизнь наша! Смотрю я на моих старых теток, и думается мне, как безутешно скоротали они свой век: никаких радостей у них не было! На что мне все богатства, на что мне золото и камни самоцветные, когда нет никакой воли? Разве так живут чужестранные королевны?

— Что и говорить о том, благоверная царевна. В вашей царской семье жизнь повелась иным обычаем; царевен замуж за своих подданных родители не выдают, а иностранные принцы в Москву свататься не ездят.

— А меж тем где же найдешь для мужа лучшее житье, как не у нас на Москве? — улыбнулась Софья.— Вот посмотри, чему поучают у нас,— сказала она, взяв со стола переплетенные в кожу рукописные поучения Козьмы Халкедонского.— «Пытайте,— начала она читать,— ученье, которое говорит: жене не вели учити, ни владети мужем, но быти в молчании и покорении. Раб бо разрешится от рабо-

ты господския, а жене нет разрешения от мужа». Поучают также у нас, что от жены древнезмийный грех произошел и что с него все умирают. Выходит так, что наш пол во всем виноват, а мужской из-за нас неповинно страдает...

— Это древнее учение, сила его ослабела,— возразил Симеон.

— Да, у просвещенных народов, а не у нас; ты сам сколько раз мне говорил, что народ наш еще не просвещен,— заметила Софья.

— Не просвещен-то он не просвещен, это так, а все же и у вас людей разумных и книжных наберется немало, только нет им ходу, да и мало кто знает о них. Вот хотя бы Сильвестр Медведев... какой умный и ученый человек! Соизволь, царевна, чтобы я привел его к тебе, ты побеседуешь с ним и на пользу и в угоду себе.

— Я не прочь от знакомства с такими людьми, приведи его ко мне; он, статься может, вразумит меня многому, а тебе, преподобный отче, приношу мое благодарение за то, что ты наставляешь меня всякой премудрости и божеской и людской. Принеси мне еще твоих писаний, читаю я их с отрадою, а теперь иди с Богом.

Монах стал креститься перед иконою и потом поклонился в ноги царевне, которая пожаловала его к руке, а он благословил ее. После этого Симеон вышел, а царевна, оставшись одна, глубоко задумалась: рассказ о царевне Пульхерии запал в ее мысли. Ей казалось, что положение этой царевны было во многом сходно с тем, в каком она сама находилась.

II

Непритворно сетовала Софья Алексеевна перед Симеоном на свою долю. Жизнь московских царевен была для нее невесела и казалась гораздо хуже, чем жизнь девушки-простолюдинки, пользовавшейся до замужества свободою в родительском доме. Чем выше было в ту пору общественное положение родителей девицы, тем более стеснялась ее свобода, а царевны в своих теремах жили в безысходной неволе. Можно с уверенностью сказать, что ни в одном из тогдашних русских монастырей не было столько строгости, воздержания, постов и молитв, сколько в теремах московских царевен. Во всем этом могло быть немало и лицемерия, а при нем еще тяжелее становилось строгое соблюдение исстари заведенных порядков. Царевен держали настоя-

щими отшельницами: они тихо увядали, осужденные на жизнь вечных затворниц. Им были чужды тревоги молодой жизни, хотя сердце и подсказывало порою о любви, о которой, впрочем, они могли узнавать разве только по сказкам своих нянюшек, болтавших по вечерам о прекрасных царевичах.

Из посторонних мужчин никто не мог входить в их терема, кроме патриарха, духовника да ближайших сродников царевен, притом и из числа этих сродников допускались туда только пожилые. Врачи, в случае недуга царевен, не могли их видеть. Из теремов царевны ходили в дворцовые церкви крытыми переходами. В церкви были они незримы, так как становились на особом месте в тайниках, за занавесью из цветной тафты, через которую и они никого не могли видеть. Редко выезжали царевны из кремлевских хором на богомолье или на летнее житье в какое-нибудь подмосковное дворцовое село, но и во время этих переездов никто не мог взглянуть на них. Царевен обыкновенно возили ночью, в наглухо закрытых рыдванах с поднятыми стеклами, а при проезде через города и селения стекла задергивались тафтою. Они не являлись ни на один из праздников, бывавших в царском дворце. Только при погребении отца или матери царевны могли идти по улице пешком, да и то в непроницаемых покрывалах и заслоненные по бокам «запонами», то есть суконными полами, которые вокруг них несли сенные девушки. В приезде царевны или царевен в какую-нибудь церковь или в монастырь соблюдались особые строгости. В церкви не мог быть никто, кроме церковников. По приезде же в монастырь монастырские ворота запирались на замки, а ключи от них отбирались; монахам запрещалось выходить из келий; службу отправляли приезжавшие с царицею или царевною попы, а на клиросах пели привезенные из Москвы монахини. Только в то время, когда особы женского пола из царского семейства выезжали из монастыря, монахи могли выйти за ограду и положить вслед уезжавшим три земных поклона.

В детстве царевен холили и нежили, но все их образование оканчивалось плохим обучением русской грамоте. Вырастали они, и начиналась для них скучная и однообразная жизнь в теремах. Утром и вечером продолжительные молитвы, потом рукоделья, слушание чтений из божественных книг, беседы со старицами, нищенками и юродивыми бабами. Все же мирское их развлечение ограничивалось пискливым пением сенных девушек да забавами с шутихами.

Затворничество царевен было так строго и ненарушае-

мо, что, например, приехавший в Москву свататься к царевне Ирине Михайловне Вольдемар, граф Шлезвиг-голштинский, прожил в Москве для сватовства полтора года, не видев ни разу, хотя бы мельком, своей невесты. Затворничество в семейной жизни московских царей доходило до того, что даже царевичей никто из посторонних не мог видеть ранее достижения пятнадцати лет.

У царевны Софьи Алексеевны были на глазах примеры такой жизни, казавшейся ей томительною и невыносимою. В то время, когда она подрастала, в царской семье было девять безбрачных царевен. Из них две ее тетки были уже почтенные старушки. Они только молились да постились, отрешась от всего мирского и думая единственно о спасении души. Из сестер-царевен шесть было от первого брака ее отца с Марьею Ильиничною Милославскою; из них Анна постриглась и скончалась в монастыре. А от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальею Кирилловною Нарышкиною была одна только дочь Наталья Алексеевна. Из всех царевен три были моложе Софьи. Все они, и старые и юные, безропотно покорялись своей участи. Одна только царевна Софья, умная, страстная и кипучая нравом, с ранних лет рвалась душою из тесного терема.

По смерти царя Алексея Михайловича сел в 1676 году на московский престол старший его сын Федор, болезненный шестнадцатилетний юноша, и тогда уже пошла по Москве молва, будто бы покойный государь хотел передать верховную власть, помимо старших своих сыновей, Федора и Ивана, болезненных и неспособных, самому младшему сыну, царевичу Петру. Москва приписывала это намерение происками молодой царицы Натальи Кирилловны, которая хотела устранить от престола своих пасынков и доставить его своему родному сыну Петру, в то время четырехлетнему отроку, отличавшемуся и здоровьем, и бойкостью. При царском дворе шли интриги между представителями двух фамилий, родственных царскому дому, между Милославскими и Нарышкиными. Обе эти семьи имели своих приверженцев среди боярства, но ни одна не пользовалась расположением среди чиновного люда и любовью в народе. Дворцовые интриги могли бы прекратиться, если бы у царя Федора был сын, прямой наследник престола, но он, после смерти единственного сына, остался бездетен от первого брака с Агафьею Семеновною Грушецкою, и не было у него пока детей от второго его брака с пятнадцатилетнею Марфою Матвеевною Апраксиною; слабость же его здоровья была плохою порукою его долголетию, и теперь в тереме царицы

Натальи Кирилловны зрели замыслы на случай кончины царя Федора.

III

Уже несколько дней обычный ход жизни в кремлевском дворце изменился. Государь не вставал, по обыкновению, ранним утром в 4 часа. Не ожидали царский духовник или Крестовый поп и царские дьяки его выхода в Крестовую палату, где он каждый день совершал утреннюю молитву, после которой духовник, осенив его крестом, прикладывал крест к его лбу и щекам и кропил святою водою, привозимою из разных монастырей в вощаных сосудцах. В Крестовой палате, перед устроенным в ней богато и ярко вызолоченным иконостасом, теплились теперь только лампады, а не зажигались восковые свечи разных цветов, как это делалось во время царской молитвы. В отсутствие царя духовник его и царские дьяки пели в Крестовой палате молебны о выздоровлении государя, после чего, по заведенному порядку, царский духовник клал на аналой икону того праздника или святого, который приходился в этот день, но не читались поучительные слова и жития святых, которые ежедневно слушал царь, сев по окончании молитвы на кресло, стоявшее в виде трона, посреди Крестовой палаты.

Не собиралась теперь и царская дума в Грановитой палате, и хотя и съезжались во дворец на ежедневный поклон государю бояре и думные люди, но они не могли видеть его светлые очи и довольствовались лишь спросом о здравии. В опочивальне, под шелковым пологом, лежал теперь царь Федор Алексеевич. Почти безвыходно около него сидела царевна Софья Алексеевна. Она с нежною внимательностью ухаживала за ним, стараясь угодить и успокоить его ласками и участием.

— А кто отведывал новое лекарство? — спросил царь слабым голосом.

— Я блюду постоянно твое царское здоровье, и не дали тебе, милый братец, еще ни одного лекарства, прежде чем не отведали его или я, или ближние люди. Можешь спокойно принять и это, мы и доктору пить его приказывали! — успокоительно говорила царевна.

— Пью я, ваше царское величество, все лекарства! — отозвался на ломаном русском языке царский врач Данило Иевлевич фон Гаден и, с этими словами вынув из-за пазухи своего черного кафтана, сшитого на немецкий покрой,

серебряную ложку, налил в нее лекарства до самых краев и, хлебнув, крепко поморщился.

— Отпусти мне, Господи, мой тяжкий грех за то, что я принимаю лекарство из рук поганого жидовина! — набожно прошептал царь.— Грешим мы тем, что верим в человеческое врачевание, а не возлагаем надежду на помощь Всевышнего,— добавил он, обращаясь к царевне.

— Греха в том нет, братец-голубчик. Ведомо, конечно, тебе, чему поучает апостол Павел. Он прямо пишет: аще болен, помазуйся елеем и позови врача,— вразумляла Софья своего брата.

— Приготовленное мною лекарство успокоит внутренности вашего царского величества. Оно составлено из веществ, имеющих самую целебную силу; в него положен и рог единорога,— докладывал Гаден.

Говоря это, он налил лекарство в золотую ложку и подошел к государю, между тем как царевна приподняла с подушки голову брата и поддерживала его за спину.

Царь осенил себя трижды крестным знамением. Гаден поднес к губам его ложку, а он, пристально и недоверчиво посмотрев на «жидовина», с видимым отвращением хлебнул поданную ему микстуру и, снова трижды перекрестясь, в бессилии опустился на постель.

Гаден тихонько вышел, а царевна встала около брата на колени и, взяв его свесившуюся с постели руку, со слезами целовала ее.

— Светик ты мой ненаглядный, братец ты мой родимый! Пошли тебе Господи скорее исцеление. Встань поскорее с одра скорби в утешение и на защиту нас, твоих единоутробных! Как усердно, и день и ночь, молю я о тебе Господа нашего Иисуса Христа и его пречистую Матерь!

— Ведаю, милая сестрица, твою любовь ко мне и плачу́ тебе ею же взаим,— говорил тихо царь, тронутый участием сестры.— Ты безотходно остаешься при мне, не как другие. Вот хотя бы матушка царица в кой раз пришла бы навестить меня, а то совсем забыла!.. Чем я ее царское величество мог прогневать, да и как я дерзну сделать что-нибудь подобное, когда покойный наш родитель заповедал нам любить и чтить ее, как родную мать? — сетовал Федор Алексеевич, задетый невниманием к нему мачехи Натальи Кирилловны.

На это сетование царевна не отозвалась ни полсловом, но по выражению ее лица можно было заметить, что ей не любы такие почтительные и нежные речи царя о молодой мачехе.

— Прикажи-ка, сестрица, позвать ко мне князя Василия,— добавил он.

Румянец вспыхнул на щеках молодой царевны, с трудом преодолела она охватившее ее волнение и, поспешно встав с коленей, неровным голосом передала приказание Федора постельничему, стоявшему в другой комнате у дверей царской опочивальни.

Царь, казалось, впал в забытье. Закрыв глаза, он тяжело дышал, а Софья, вернувшись в опочивальню, села в изголовьи его постели.

Спустя немного времени дверь в царскую опочивальню тихо отворилась и на пороге показался боярин.

При появлении его щеки царевны зарделись сильнее прежнего. Вошедший был высок ростом и статен. Он был, впрочем, далеко уже не молод: с виду было ему лет под пятьдесят и седина довольно заметно пробивалась в его густой и окладистой бороде. Помолившись перед иконою и отдав земной поклон перед постелью государя, боярин остановился, ожидая, когда царь подзовет его к себе.

— Хочу я поговорить с князем Василием о царственных делах. Уйди на некоторое времечко, сестричка,— ласково сказал Федор сестре.

Поцеловав руку брата и перекрестив его, она пошла из опочивальни, но на пороге приостановилась и украдкою кивнула боярину, как бы стараясь его ободрить.

В передней царского дворца, в которую пошла теперь Софья, были в сборе все бояре, явившиеся во дворец наведаться о царском здоровье. Боясь нарушить тишину, они шептались, рассевшись на лавках. Теперь в царской передней собралось все, что было на Москве богатого и знатного. С беспокойством ожидали бояре вестей о здоровье государя, предвидя, что кончина его вознесет одних и низложит других, что одни воспользуются милостями, других поразит опала.

Неожиданный приход царевны удивил и смутил бояр. Появление ее в таком собрании, где были только мужчины, показалось необычайным нарушением не только придворных порядков, но и общественного приличия. В особенности изумило то, что лицо царевны не было покрыто фатою в противность обычаю, которого, как тогда думалось, нигде и ни в каком случае нельзя было нарушить. Изумленные бояре сперва исподлобья посмотрели на царевну, а потом вопросительно переглянулись. Софья, однако, не смутилась и, в свою очередь, твердо смотрела на них, так что они,

приподнявшись поспешно с лавок, приветствовали царевну раболепными поклонами.

Не обращая внимания на поклоны, царевна громким голосом заявила:

— Здравие его царского величества, по благости Господа Бога, улучшилось в эту ночь. Великий государь повелел сказать вам милостивое слово и приказал отпустить по домам.

В ответ на это последовали снова низкие поклоны, которые в ту пору были в таком обычае, что, например, боярин князь Трубецкой, выражая однажды свою благодарность царю Алексею Михайловичу за оказанные ему милости, положил перед государем тридцать земных поклонов.

Но и на повторенные поклоны царевна не отвечала никаким приветствием. Холодность и важность ее смутили бояр.

— Пошли Господи великому нашему государю скорое выздоровление! Молим пресвятую Богородицу Деву и святых Божиих угодников о долголетии и здравии его царского величества! — заговорили бояре и стали один за другим выходить из передней. Не трогался с места один только боярин, Лев Кириллович Нарышкин.

— Что же ты не едешь домой? — строго спросила его Софья.

— Не затем только, чтобы узнать о здоровье его царского величества, прибыл я сюда,— отвечал смелым, почти дерзким голосом Нарышкин.— У меня, царевна, есть еще и другая надобность.

— Какая? — перебила Софья, смерив суровым взглядом боярина с головы до пяток.

— Благоверная царица, великая государыня Наталья Кирилловна повелела мне наведаться, может ли она навестить его царское величество, и так как ты, государыня царевна, соизволила объявить, что здоровье его царского величества...

Софья не дала Нарышкину докончить.

— Точно, что здоровье государя-братца стало лучше,— перебила она.— Да все же ему еще пока не под силу вести беседу с царицей-матушкой. Слышишь, что я говорю? Так и доложи ее царскому величеству.

По губам боярина пробежала насмешливая улыбка.

— Думается мне,— заговорил он,— что если к его царскому величеству есть доступ другим сродникам, то отказ в этом царице Наталье Кирилловне будет непристоен.

Царевна в гневе глядела на Нарышкина.

— Что ты говоришь?

— Говорю я, благоверная царевна, что никому не следует забывать, что царица Наталья Кирилловна, по вдовству своему, старейшая в царской семье особа и что, по супружеству своему, она тебе, твоим братьям и сестрам заступает родную мать.

— Не тебе учить нас почтению к царице! — воскликнула Софья, топнув ногою.— Хотя ты и царский сродник, но не забывай, боярин, что ты остался все тем же нашим холопом, каким родился, и должен всегда памятовать, с кем ты говоришь. Ступай! — крикнула она, показав Нарышкину на выход.

Как ни казался тверд и надменен боярин, он опешил при грозном окрике и, отвесив царевне низкий поклон, смиренно вышел на Красное крыльцо. Там оставались еще бояре, державшие сторону царицы Натальи Кирилловны и поджидавшие Нарышкина.

— Что скажешь, Лев Кириллович? — спросил Нарышкина боярин князь Черкасский, когда Нарышкин в сильном смущении появился на Красном крыльце.

— Пойдите да поговорите-ка с царевной Софьей Алексеевной! Как же, допустит она царицу к государю! Видно, у них на уме свое дело. Да и обманула нас царевна: говорит, что здоровье государя лучше, а Гаден сказывал, что много, если царь еще дней с пяток или с неделю проживет. Посмотрите, что они изведут его царское величество,— зловеще добавил Нарышкин.

— А царевна-то сегодня? Каково? Надивиться не могу ее бесстыдству! — говорил Одоевский, покачивая головою.

— Что и говорить! — отозвался князь Воротынский.— Слыхано ли дело, чтобы царевна, да еще с открытым лицом, выходила к мужчинам!

— Никакого женского стыда в ней нет, а помните ли, как прошлым летом, когда царица Наталья Кирилловна, проезжая по Москве, приподняла только занавеску, как вся Москва заговорила и укоряла царицу. А царевна-то что делает?

Бояре медленно спустились с Красного крыльца и поехали домой.

Выпроводив Нарышкина, царевна осталась поджидать князя Василия Васильевича Голицына. Она догадывалась, о чем царь желал поговорить с князем, и сильно билось у нее сердце в ожидании, что́ скажет ей Голицын, который наконец показался на пороге передней. По лицу его было заметно, что беседа с государем расстроила его. Софья бросилась к нему навстречу.

— Не удалось на этот раз, царевна! — сказал Голицын, печально покачав головою и с выражением безнадежности разводя руками.— Ссылается государь на волю покойного своего родителя и говорит, что после его кончины следует быть на царстве царевичу Петру Алексеевичу.

— Это дело Нарышкиных! — вскрикнула Софья.

— Видно, ты, царевна, плохо сторожишь от них государя,— слегка улыбнувшись, заметил Голицын.

— Сторожу я его хорошо, от зари и до зари сижу при его постели! Не теперь, а давно Нарышкины опередили нас в этом деле. Они, как только скончался батюшка, пустили по Москве молву, будто он завещал престол царевичу Петру. Он, пожалуй, и вправду сделал бы это, если бы в ту пору, когда он отходил, пустили к нему нашу мачеху. Она сумела бы уговорить его, ведь ты знаешь, какую власть взяла она над нашим родителем...

— Просто-напросто околдовала!

— Полно, князь Василий! Нам нужно думать теперь о том, чтобы одолеть Нарышкиных не волшебством, а другими способами, и мне кажется, что стрельцы и раскольники могут пособить нам лучше всяких знахарей и кудесников...

— Ты правду говоришь, царевна! — воскликнул Голицын.— Стоит только нам привлечь к себе Москву, а следом за ней наверно пойдет и все государство...

В это время в переходе, ведшем в переднюю, послышались шаги. Царевна и князь быстро двинулись в разные стороны. Она вошла в опочивальню брата, а он в глубоком раздумье вышел на Красное крыльцо.

IV

Глубоко в памяти царевны Софьи Алексеевны запечатлелся суровый и величавый облик Феодосьи Прокофьевны Морозовой, жены боярина Глеба Ивановича. Царь Алексей Михайлович отменно жаловал и особенно чествовал эту знатную боярыню, деверь которой, боярин Борис Иванович Морозов, был женат на Анне Ильиничне Милославской, родной сестре царицы Марьи Ильиничны, и, следовательно, приходился свояком государю. Каждый день боярыня Морозова приезжала вверх к царице Марье Ильиничне, чтобы вместе с нею слушать позднюю обедню. По нескольку раз в неделю бывала она за царицыным столом и редкий вечер не проводила с государынею, запросто беседуя с нею. Каза-

лось, судьба дала Феодосье Прокофьевне все, чтобы она была счастлива в земной своей жизни: она была богата и знатна, и вся Москва говорила о ней как о боярыне разумной, сердобольной и благочестивой. Морозова была дочь боярина Соковнина, она вышла замуж за далеко не равного ей по годам Глеба Ивановича, так как ему во время брака было уже пятьдесят, а ей только минуло семнадцать лет. Но брак этот был удачен: молодая жена любила и уважала своего пожилого мужа, а он, как говорится, души в ней не чаял. Тридцати лет овдовела Морозова и жила первые годы после своего вдовства, как следовало жить богатой боярыне. Было у нее восемь тысяч крестьян, разного богатства считалось более, чем на двести тысяч рублей, а в московских ее покоях прислуживало ей более четырехсот человек. Ездила она по Москве в карете, украшенной мусиею (мозаикою) и золотом, на двенадцати аргамаках с «гремячими цепями», а около кареты ее ехало и бежало, по тогдашнему обычаю, множество дворовой челяди: иногда сто, иногда двести, а иногда даже и триста слуг. Но вдруг боярыня ни с того ни с сего перестала навещать родных и знакомых.

— Видно, больно возгордилась, уж слишком честят ее в царских палатах! — заговорили родные и знакомые.

Вскоре, однако, они увидели, что сильно ошибались, потому что молва о добрых делах ее становилась в Москве все громче и громче.

— Совсем позабыла ты нас, Феодосья Прокофьевна! — приветливо укорял царь Алексей Михайлович Морозову.

— Прежней дружбы со мною вести не хочешь,— ласково выговаривала ей царица Марья Ильинична, когда боярыня, по необходимости, в праздники или в день своего ангела, с именинным калачом приезжала к царице.

На эти милостивые слова она не отвечала ничего и только смиренно кланялась царю и его супруге.

Скончалась царица Марья Ильинична, и царь позабыл на время о Морозовой, но когда наступило время второго его брака с Натальей Кирилловной, он вспомнил и указал Морозовой, как старшей по покойному ее мужу боярыне, стоять первою между боярынями и говорить «царскую титлу».

С извещением о таком милостивом почете отправился к Морозовой царский стольник.

— Не буду говорить я царскую титлу,— сурово сказала Морозова.

— Так и прикажешь передать государю? — спросил изумленный стольник.

— Так и скажи.

Царский посланец только пожал плечами и поехал с дерзким ответом к государю.

— Нешто обидел я ее чем-нибудь? — Царь терялся в догадках и отправил к Морозовой ее седовласого дядю, боярина Михаила Алексеевича Ртищева.

— Скажи бабе, чтобы не дурила,— было коротким наставлением царя.

— Не велел тебе, племянница, его царское величество дурить,— сказал приехавший к Морозовой Ртищев.— И воистину ты дуришь! С чего не хочешь говорить царскую титлу на бракосочетании великого государя?

— Потому не хочу говорить, что мне придется назвать его благоверным, а какой же он благоверный, коль идет во сретенье антихристу? — с негодованием отвечала боярыня.

Дядюшка, заслышав это, вытаращил глаза.

— Чего так смотришь на меня? Разве он благоверный? Еретик он! Могу ли я поцеловать у него руку? А в палатах его могу ли я уклониться от благословения архиереев? Нет, дядюшка, лучше пострадать, чем иметь сообщение с никонианцами,— твердо сказала Морозова.

— Говоришь ты неправду! Святейший патриарх Никон — муж великий и премудрый учитель, и новые книги, которые при нем напечатаны, правильны,— вразумлял Ртищев племянницу.— Оставь распрю, не прекословь великому государю и властям духовным. Видно, протопоп прельстил тебя.

— Нет, дядюшка,— с улыбкою перебила Морозова,— неправду говорить изволишь, сладкое горьким называешь. Протопоп — истинный ученик Христов!

— Ну, поступай, как знаешь! — с досадою проворчал Ртищев.— Только берегись, смотри, чтобы не постиг тебя огнепальный гнев великого государя.

С этою угрозою старик и поехал во дворец.

— Больна, ваше царское величество, боярыня Морозова, да так больна, что и со двора выехать не может,— доложил Ртищев, спасая свою племянницу от государева гнева.

— Больна, так что ж тут поделаешь! Другой предназначенная ей честь достанется,— заметил кротко царь и пригрозил ездившему к Морозовой стольнику батогами, чтобы он впредь на боярыню Феодосью Прокофьевну облыжно не доносил.

В то время, когда боярыня беседовала с дядею, в подклети, то есть в нижнем жилье ее хором, шла другая беседа.

— Будет тебе протопоп, лежать! Ведь ты поп, а стыда у тебя нет! — Так говорил лежавшему на постели, одетому в подрясник мужчине стоявший посреди комнаты в одной грязной рубашке, с длинными растрепанными волосами и со всклоченною бородою парень лет за тридцать.— Посмотри на меня, днем я работаю во славу Господню, а ночью полежу да встану и поклонов с тысячу отброшу.

— Юродствуешь ты, Федька, дурь и блажь на себя напускаешь. Неужто ты мнишь тем угодить Господу Богу? Думаешь ты, что годится день-деньской шляться да разный вздор молоть, а ночью вскакивать да земные поклоны класть. Жил бы ты, как живут все люди, лучше бы было,— спокойно отвечал Аввакум Петрович.

— Нешто ты, протопоп, не знаешь, что Бог повелел пророку Исайи ходить нагу и босу, Иеремии возложить на выю клады и узы, а Иезекиилю возлежать на правом боку сорок, а на левом сто пятьдесят дней? Все это ты знаешь, да тебе бы только лежать, а я пророк и обличитель... Ты вот и молиться-то неохочь, сам лежа молитвы читаешь, мне же велишь за тебя земные поклоны класть, а я и от своих спину разогнуть не могу.

— Как же, рассказывай! — насмешливо перебил Аввакум.— Богу достоит покланяться духом, а не телодвижениями, а кто любит Христа, тот за него пострадать должен. А разве мало я настрадался? Был я, как ты знаешь, в великой чести, состоял при Казанском соборе протопопом, церковные книги правил, беседовал не только с боярами и патриархом, но и с самим царем, а предстала надобность, так от страданий не уклонился. Когда я был отдан под начало Иллариону, епископу рязанскому, каких только мук не натерпелся я! Редкий день не жарил меня епископ плетьми, принуждая к новому антихристову таинству, а батогам так и счету нет. Сидел я в такой землянке, что в рост выпрямиться не мог, тяжелое железо с рук и ног моих не снимали. А в Сибири сколько страданий я перенес, да и не один, а была со мной моя протопопица! Где мы только с ней не блуждали! Не раз хищные звери устремлялись на нас, и только Господь охранял нас своею благодатью. Вот такие страдания подобают человекам, а не дурачества вперемежку с молитвой.

Федор присмирел и присел на пол. Охватив колени руками, он начал качаться из стороны в сторону.

— Вот хотя бы ты, Федор, вместо того, чтобы попусту юродствовать, вышел бы на площадь, разложил бы костер, да и сжег бы на нем новые книги! — начал опять Аввакум.

— А что, и вправду! Завтра же сделаю! Да где только таких книг достать? — привскочив с полу, крикнул юродивый.

— Где достать? Да боярыня их хоть целый воз закупит!

— Ай да ладно! Пышь! Пышь! — весело выкрикивал Федор, подскакивая на одной ноге.

— И коли пострадаешь, так пострадаешь за дело,— внушал Аввакум.— Вот Киприан тоже юродствовал, да смел был, за то и сподобился мученической кончины, когда ему в Пустоозерском остроге голову отрубили. Страдальцем за истинную веру стал, а ты что?

— Погоди, протопоп, придет и моя череда! — продолжая подпрыгивать, крикнул Федор.

Он не ошибся, так как его вскоре за упорство в староверстве повесили в Мезени.

Об Аввакуме, нашедшем себе убежище по возвращении из Сибири в дом Морозовой, часто толковали и в царских хоромах и в кремлевских теремах как о ревностном поборнике раскола. Давно слышала о нем царевна Софья и наметила его в число людей, которые должны были служить орудием ее замыслов.

V

Проводив Ртищева, Морозова принялась за обычные занятия, а их у нее было немало: всеми делами обширного своего хозяйства заправляла она сама, да сверх того были у нее и другие хлопоты. Дом ее был полон посторонними людьми, которых она приютила. Кроме Аввакума и Федора жило у нее еще несколько юродивых, а также пять инокинь, изгнанных из монастырей за приверженность к древнему благочестию. Проживали у нее также сироты, старицы, странницы, захожие черницы и калеки. Одних нищих кормила у себя боярыня человек по сто каждый день. Словом, благочестие господствовало в доме Морозовой, а чтение священных книг и молитвенное пение неумолчно слышались в ее обширных хоромах.

Много добрых дел творила она на стороне: выкупала с правежа должников, щедрою рукою раздавала милостыню нищим, посещала колодников, ездила она также и по церквам и монастырям, осквернённым никонианами, но делала это, как говорила она, только «из приличия». Не довольствуясь благочестивыми подвигами, она захотела постричься в монахини, хотя ей встречалось в этом случае особое

затруднение: сын Морозовой подрастал, и предстояло вскоре справлять его свадьбу, на которой ей бы пришлось быть хозяйкою, а в иноческом чине этого делать не подобало.

— Пусть будет что будет, а о душе надобно печься прежде всего,— сказала боярыня и решилась постричься, несмотря на то, что от такого намерения отклонял ее Аввакум.

И тайно от всех ее постриг бывший игумен Домеей, один из ревностнейших расколоучителей. Аввакум и после этого сохранил свою прежнюю силу над боярынею-инокинею, и любила она часто и подолгу беседовать с ним.

— Не наделил их Господь разумом,— говорил протопоп боярыне.— Оба царевича и все царевны куда как тупы рассудком, одна царевна Софья Алексеевна заправская умница и чем более подрастает, тем более крепнет умом. Сказывал мне не раз князь Василий Васильич Голицын, что не может надивиться ее светлому разуму, все она в толк взять может. Как заговорят с нею о делах государственных, так она складнее всякого боярина и думного дьяка рассуждает, да и к книжному учению она куда как прилежит. Поверишь ли, матушка, что она писание Сильвестра Медведева в чернь поправляла и на многие погрешности ему указала и недомыслия его разъяснила! Послушала бы ты, что о ней князь Иван Андреевич Хованский рассказывает. Да и вообще слышно, что такой разумной девицы никогда в целом свете еще не бывало...

— Вот бы ее от никонианства отвратить да преклонить бы на нашу сторону! Царевна ведь! — воскликнула Морозова.

— Велика важность, что царевна! — с презрением отозвался протопоп.— Пожалуй, и ты Бог весть что о себе думаешь? Али ты лучше нас тем, что боярыня? Помни, что одинаково над нами распростер Бог небо, одинаково светит нам месяц и сияет солнце, а все прозябающее служит мне не меньше, чем и тебе,— говорил протопоп, повторяя в главных чертах свое основное учение.

Однако обычная, не дававшая покоя мысль снова ожила в нем.

«Богу достоит поклоняться духом,— думал он.— Ошибки в церковных книгах сами по себе небольшая еще беда, и по таким книгам и даже вовсе без книг может молиться тот, кто захочет. Книги — только предлог, чтобы поднять народ против государственного и мирского строения».

— Нет, матушка, нам нужна не царевна, а ее душа, ведь и у нее такая же душа, как и у меня, а душа человеческая не

игрушка. Справим мы наше мирское дело и без царевен. Тот, кто на земле пребывал на доле, пребудет по смерти на высоте.

— О царевне Софье Алексеевне я заговорила, отец протопоп, потому только, что твоя пречестность сама навела меня на мысль о ней своими речами,— робко извинялась Морозова.

— Ни кого и ни на что не навожу я моими речами,— резко отозвался суровый Аввакум, а сам между тем подумал: как бы все-таки хорошо было, если бы удалось уловить в сети раскола умную и бойкую Софью Алексеевну!

Как ни таила Морозова свою принадлежность к расколу, но молва об этом дошла наконец до царя. Проведал он также, что она привлекла к расколу и сестру свою, боярыню княгиню Евдокию Прокофьевну Урусову. Подшепнули великому государю и о том, почему боярыня Морозова несколько лет тому назад не захотела сказывать на свадьбе его величества «царскую титлу». Узнав об этом, «тишайший царь» пришел «в огнепальную ярость» и отправил снова к боярыне дядю ее Михаила Алексеевича Ртищева. На этот раз дядя поехал не один, а взял себе на подмогу свою дочь Анну, двоюродную сестру Феодосьи, которую прежде так нежно любила Морозова.

Боярин заговорил племяннице свои прежние речи, но встретил с ее стороны ту же непреклонность. Заговорила после него Анна.

— Ох, сестрица,— сказала она.— Съели тебя старицы. Как птенца отучили тебя они от нас; не только нас презираешь, но и о сыне своем не радеешь, а надобно бы тебе и на сонного его любоваться, над красотою его свечку поставить!

— Не прельщена я старицами,— сурово отвечала Морозова.— Творю я все по благости Бога, которого чту целым умом, а Христа люблю боле, чем сына. Отдайте моего Иванушку хотя на растерзание псам, а я все-таки от древнего благочестия не отступлю. Знаю я только одно: если я до конца в Христовой вере пребуду и сподоблюсь за это вкусить смерть, то никто не может отнять у меня моего сына; в царствии небесном соединюсь я с ним паки.

Ртищев убедился, что попусту будет уговаривать племянницу. Он распрощался с нею, поехал к царю и доложил обо всем по правде.

Алексей Михайлович нахмурил брови.

— Ступай к боярыне Морозовой,— обратился он к бывшему при докладе Ртищева князю Троекурову,— и скажи,

что тяжко ей будет бороться со мною. Один кто-нибудь из нас одолеет, и наверно одолею я, а не она!

Вернулся князь Троекуров от Морозовой и коротко и ясно донес государю, что боярыня покориться не хочет и новых книг не принимает.

Заговорили в теремах об ослушании Морозовой перед царскою волею.

— Вишь, ведь какая упорная! Только боярыня, а как упорствует, никого себе в версту не ставит!

Чутким ухом прислушивалась девятнадцатилетняя царевна к рассказам о Морозовой.

«Вот и женщина,— думалось ей,— а по твердости нрава и по смелости не уступает мужскому полу. Не будь только робка и наделаешь много». Захотелось ей также узнать и о расколе, которого так крепко держалась Морозова, и с вопросом об этом обратилась она однажды к князю Ивану Андреевичу Хованскому, который тоже слыл в Москве тайным врагом никониан.

— Тут, благородная и пресветлейшая царевна, выходят разные церковные препирательства,— отвечал уклончиво князь Иван на вопрос царевны о различии между новою и старою верою.— Ведать об этом должен духовный чин, а не мы, миряне. Думается, впрочем, одно: в том, что зовут ныне у нас расколом, кроется небывалая народная сила и что если она поднимется, то трудно будет одолеть ее мирским и духовным властям. Вознесет она того, кто будет ею править...

VI

Почти на год оставил царь Морозову в покое, как вдруг до него дошел слух, что она не называет его благоверным.

— Не именует меня благоверным, стало быть, не признает моей царской власти! — воскликнул он и отправил к Морозовой боярина князя Петра Семеновича Урусова с повторным требованием, чтобы она покорилась.

Сообщил Урусов царское повеление своей снохе и грозил ей страшными бедами.

— Почто царский гнев на мое убожество? — смиренно отвечала Морозова.— Если царь хочет отставить меня от веры, то десница Божия покроет меня. Хочу умереть в отеческой вере, в которой родилась и крестилась.

— Не покоряется боярыня твоему царскому величеству,— печально доложил Урусов царю.

— Не покоряется? Так разнесу я ее вконец! — грозно крикнул великий государь и гневно зятряс своею темно-русою бородою.

Урусов, выйдя из дворца, поспешил домой, чтобы через свою жену предупредить Морозову о предстоящей беде. Но с бесстрашием выслушала боярыня эту грозную весть.

— Матушки и сестрицы мои во Христе Иисусе! — заговорила она, собрав около себя всех живших в доме ее монахинь и странниц.— Наступил час пришествия антихристова, беда движется на нас, идите вы все от меня, куда вас Господь наставит, а я одна буду страдать.

— Ты одна не останешься, я с тобою до конца пребуду! — заливаясь слезами и кидаясь на шею сестры, вскрикнула княгиня.

Между тем сильно струхнувшие старицы и странницы, позабрав наскоро свои мешки и котомки и получив от боярыни денежную и съестную подачку, с плачем и жалобными причитаниями, выбрались из ее хором и разбрелись во все стороны.

Стало вечереть, отзвонили ко всенощной. Отходя ко сну, боярыня и княгиня сотворили усердную и продолжительную молитву, после которой Морозова легла в постельной, а княгиня в соседней комнате. Они крепко спали, когда раздался сильный стук в ворота.

Пока отворяли ворота и слышались тяжелые шаги шедших по лестнице людей, обе сестры клали на прощание одна перед другою земные поклоны, а потом, благословясь друг у друга, легли на прежние места.

Вскоре дверь в постельную отворилась, и при тусклом свете лампад боярыня увидела перед собою седобородого архимандрита Чудова монастыря Иоакима в сопровождении думного дворянина Лариона Иванова.

— Встань, боярыня! — повелительно сказал вошедший архимандрит.— Я принес тебе царское слово.

Боярыня не отозвалась и даже не пошевелилась.

— Встань, говорю тебе! — прикрикнул Иоаким.— В присутствии духовного лица лежать тебе не приличествует.

— Не встану и не сяду,— отозвалась упорно Морозова и отвернулась.

— Добром с тобою, как видно, ничего не поделаешь; спрошу благоверного государя, как повелит он поступить с такою ослушницею.

— Какой он благоверный! — сердито проговорила Морозова.

Архимандрит сделал вид, что не слышал этих предерзостных слов.

— Посмотри, кто там, в другой горнице,— приказал он думному дворянину.

— Ты кто такая? — окликнул Иванов лежавшую на лавке женщину.

— Я жена боярина князя Семена Петровича Урусова,— отозвалась княгиня.

— А спроси-ка ее, как она крестится? — приказал Иоаким Иванову.

Княгиня, вбежав в постельную, остановилась перед архимандритом.

— Сице верую! — закричала она, подняв руку, сложенную в двуперстное крестное знамение.

Архимандрит только крякнул и значительно покачал головою.

— Сторожи-ка их здесь, а я отправлюсь к его царскому величеству испросить, как велит он поступить.— С этими словами архимандрит вышел, а Иванов остался караулить боярынь.

Когда архимандрит пришел в царские палаты, пробило четыре часа утра и царь Алексей Михайлович был уже на ногах. Архимандрит доложил царю, чем кончилась его посылка, и рассказал, как Морозова крепко сопротивляется царскому велению, прибавив, что и княгиня Урусова оказалась непокорна.

— Так возьми их обеих под караул да допроси хорошенько слуг Морозовой! — распорядился царь.

Архимандрит из царских палат снова отправился к Морозовой.

— Велено отогнать тебя от дому, полно жить на высоте, сойди долу! — торжественно заявил он, входя в постельную.— Встань и иди отсюда!

Боярыня лежала и безмолвствовала.

— Нечего делать! — сказал архимандрит Иванову.— Приходится забирать ее силою.

Думный дворянин крикнул стрельцов. По приказанию архимандрита они приподняли с постели полновесную боярыню и, посадив ее силою в кресла, понесли из хором.

На поднявшийся шум прибежал молодой боярин Иван Глебович. Он хотел было проститься с матерью, но его не допустили, и он мог только положить ей вслед земной поклон.

Княгиня не упорствовала. Она беспрекословно подчинилась приказу архимандрита идти в людскую хорому, в кото-

рую втащили на креслах и Морозову. Там по приказанию архимандрита заковали им руки в тяжелые железа, а на ноги надели конские железные путы и держали их так два дня под крепким караулом. На третий день приказано было доставить их в Чудов монастырь, в так называемую вселенскую, или соборную, палату. Княгиня пошла пешком, а упорствовавшую Морозову понесли на креслах. Толпа народа валила за нею, и в этой толпе шел разный говор: одни осуждали Морозову за упорство, а другие, напротив, превозносили ее мужество и стойкость.

VII

Во вселенской палате ожидали боярыню и княгиню крутицкий митрополит Павел, а также сановные люди церковного и мирского чина. Там сопротивление Морозовой началось с того, что она оказывала властям презрение и неуважение и не хотела говорить с ними стоя. Как ни бились, ничего не могли поделать. Приподнимут ее, а она опустится и присядет на кресло или на пол. Станут держать ее под руки, она рвется, мечется и отбивается.

— Я помню честь и породу Морозовых! — кричит.— И перед вами стоять не буду.

Власти наконец уступили Морозовой, допустив скрепя сердце, чтобы она сидела в кресле.

— Прельстили тебя старцы и старицы, с которыми ты так любовно водилась,— начал свое пастырское увещание Павел.— Покорись царю и вспомни сына.

— Не от старцев и стариц прельщена я,— бойко возразила Морозова.— А навыкла от праведных рабов Божиих истинному пути и благочестию. Ты вспомнил мне о сыне, но знай, что я живу для Христа, а не для сына.

Долго бился Павел, но чем более продолжались увещания, тем упорнее делались они обе и тем дерзновеннее становились их речи.

— Дьявол тебя погубил, сдружился ты с бесами, мирно живешь с ними, любят тебя они! Скольких ты порубил и пожег христиан, скольких низвел в ад! — с торжественным укором говорила Морозова, обращаясь к епископу рязанскому Иллариону, мучителю Аввакума.

Истомились порядком духовные власти и, убедившись, что приходится отказаться от дальнейших увещаний, постановили: предать непокорных боярынь мирскому суду. Тогда повели их в монастырскую подклеть. Там, в мрачном подва-

ле, под низко нависшими сводами, с окошечками, заслоненными толстыми железными решетками, стояли на полу две большие, тяжелые деревянные колоды, так называемые «стулья», со вделанными в них железными цепями, на конце которых были железные ошейники, или огорлия.

— Вхожу я в пресветлую темницу! — радостно проговорила Морозова, когда ее ввели в подклеть.

Ее подтащили к колоде и приподняли с полу огорлие.

— Слава тебе Господи, что сподобил меня, грешную, носить узы! — сказала Морозова, перекрестясь и целуя огорлие, которое стрельцы надели на шею боярыни, заперев его на большой висячий замок.

— Не стыжусь я поругания, а веселюсь во имя Христа,— добавила она, когда холодное железо плотно охватило ее шею.

После этого обеих боярынь, вместе с колодами, взвалили порознь на дровни. Сестры поняли, что их хотят разлучить.

— Поминай меня, убогую, в твоих молитвах! — крикнула на прощание Морозова сестре.

И действительно, из Чудова монастыря Морозову повезли на печерское подворье, а Урусову в Алексеевский монастырь. Когда первую провозили мимо кремлевских палат, то она, думая, что царь смотрит на нее в окно, привстала на дровнях и беспрестанно крестилась двумя перстами.

На подворье Морозову посадили в темный подвал. Железный ошейник скоро протер ее нежную шею до кровавых мучительных ран, а оковы изъязвили руки и ноги. Боярыня, однако, не роптала и не смирялась, а скорбела лишь о том, что короткая цепь и тяжелые оковы не допускали ее класть земные поклоны. В свою очередь, и княгиня упорствовала. Сидя в Алексеевском монастыре, она, в противность воле царской, не хотела ходить в церковь, и ее, «как мертвое тело», носили туда на рогоженных носилках.

Скоро об упорстве Урусовой заговорили в Москве и в Алексеевский монастырь стала съезжаться московская знать, а также стало сходиться множество народа, чтоб смотреть, как «волокут» княгиню в церковь.

Минул почти год со времени заточения обеих сестер, когда на патриарший престол вступил Питирим. Игуменья Алексеевского монастыря доложила вновь поставленному святейшему владыке о том соблазне, какой причиняет Урусова своим упорством, а кстати напомнила и о Морозовой. Новый патриарх, мирволивший расколу, завел с государем речь о заточенных боярынях.

— Советую твоему царскому величеству,— сказал Питирим государю,— отдать вдовице Морозовой дом да дворов сотницу на потребу, а сестру ее, княгиню, отдал бы ты князю, так приличнее будет. Дело их женское, что они смыслят?

— Давно бы я так сделал, да не знает твое святейшество лютости боярыни. Надругалась она, да и ныне надругается надо мною. Не веришь, так испытай сам; позови ее к себе и узнаешь, какова она; и когда вкусишь неприятное, тогда я и сделаю, что повелит твое владычество.

На другой день после этого разговора Морозову представили во вселенскую палату перед патриархом.

— Приобщись, боярыня,— сказал кротко святитель,— по тем служебникам, по которым причащается благоверный великий государь и его благочестивое семейство.

— Не у кого мне приобщаться,— резко отозвалась Морозова.

— Как, не у кого? — с удивлением спросил патриарх.— Попов в Москве много.

— Много, да истинных нет! — перебила боярыня.

— Ну, так я приобщу тебя,— уступчиво предложил патриарх.— Я вельми пекусь о тебе.

— Да разве есть какая разница между тобою и ими? — воскликнула с негодованием Морозова.— Все вы еретики. Никон был еретик, и вы ему подобны. Ты исполняешь только веленья земного царя! Отвращаюсь от тебя и не хочу твоего приобщения!

Так как Морозова во время разговора не хотела стоять перед патриархом, то стрельцы поддерживали ее по сторонам, так что она висела у них на руках. Патриарх между тем приказал облачить себя и хотел помазать Морозову елеем.

Увидев эти приготовления, она быстро выпрямилась во весь рост и, подняв вверх сжатые кулаки, зазвенела цепями.

— Не губи меня, грешную, отступным маслом! — неистово кричала она.— Неужели ты хочешь одним часом погубить весь мой труд? Отступись, а не то опростоволошусь, сорву с головы убрус! Осрамлю и тебя, и себя! — угрожала Морозова, так как, по тогдашнему обычаю, женщине позорно было показаться, а мужчинам видеть ее с непокрытою головою.

— Вражья ты дочь! — пробормотал патриарх.— Отныне я и сам отступаюсь от тебя!

Вкусив неприятное, патриарх обо всем доложил государю.

— Сожжем ее, владыко, в срубе! — закричал в ярости

«тишайший» царь Алексей Михайлович.— А тем временем я сумею распорядиться с нею!

Между тем к страдавшим за древнее благочестие боярыням присоединились и их прежние сопричастницы.

При разброде из дома Морозовой стариц и странниц успели между ними скрыться инокиня Мария и старица Меланья, до такой степени влиявшая на Морозову, что последняя, как она сама говорила, «отсекла перед Меланьею вконец свою волю». Беглянок этих успели, однако, захватить и теперь их привезли на ямской двор, куда доставили также боярыню и княгиню. Когда там их всех собрали в пыточную избу, то туда вошли бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский.

Зловеще выглядела пыточная изба: устроенная посреди ее дыба, лежавшие на полу веревки, ремни, цепи, плети и кнуты показывали, что здесь занимались мучительскими делами, и, вдобавок к этой обстановке, наводившей ужас, один из палачей разводил огонь на кирпичном полу избы под сделанной в потолке трубою.

— Что ты, Феодосья Прокофьевна, понаделала? — сказал, сострадательно покачивая головою и обращаясь к Морозовой, князь Воротынский. — От славы дошла до бесчестия. Вспомни только, какого ты рода!

— Не велико наше телесное благородие,— отвечала равнодушно Морозова.— А слава земная — суета. Вспомни только, что Сын Божий жил в убожестве и был распят. Что же после того значат все наши страдания? Обещалась я Христу и не хочу изменить ему до последнего вздоха. Не страшны мне ни изгнание из дому, ни узы, ни царский гнев, ни истязания...

Воротынский, смешавшись, замолчал и, исполняя царское повеление, приказал приступить к пытке.

Палачи подвели к дыбе Марию, обнажили ее по пояс, стянули ей назад руки ремнями и, прикрепив к ним конец веревки, шедшей с потолка по блоку, стали поднимать Марию на встряску. Завизжал блок, и заскрипела на нем веревка, на которой тянули к потолку страдалицу; послышался отчаянный визг, захрустели суставы. Между тем один из палачей, привстав с зажженною в руках лучиною на чурбан, стал водить ею по голой спине несчастной.

— Это ли христианство, чтобы так людей мучить! — вскрикнула Морозова и сильно рванулась к Марии, но тяжелые оковы и короткая цепь с колодою удержали ее на месте.

Первый допрос кончился. Марию спустили с дыбы и вы-

тащили во двор. Наступила очередь Морозовой; с нее сняли цепи и ошейник, крепко затянули ей руки за спиною ремнем и ремнем же связали ноги; после этого ее приподняли на дыбе, а палач начал задавать ей встряски, состоявшие в том, что он ставил на ремень, которым были связаны ноги боярыни, свою ногу и сильными ударами по ремню оттягивал вниз висевшую на дыбе Морозову. От таких ударов руки, стянутые назад, выходя из суставов, заходили все выше за спиною и стали потом подниматься над головою пытаемой. Полчаса провисела Морозова на дыбе, и в это время истязатели то увещевали, то допрашивали ее, но она и среди жестоких мук не отвечала им ничего, а только славословила имя Христово.

Морозову вытащили во двор и положили на снегу так, что в ногах у нее пришлась Мария, за которую палачи принялись теперь снова. Они били ее в пять плетей сперва по спине, а потом по животу, а между тем бояре угрожали Морозовой, что и ей будет тоже самое, если она не откажется от ереси. Но она и сострадалица ее оставались непреклонными. Измученную Морозову отвезли снова на печерское подворье, куда неожиданно привели к ней Меланью.

— Уже дом твой, матушка, готов,— заговорила она радостно Морозовой.— Вельми он добр, целыми снопами соломы уставлен. Отойдешь ты скоро в блаженство!

— Знаю, что ты говоришь, Меланьюшка. Пойду я в жертву Христу, как свечка. Ничего я не боюсь. Испытала я разные страдания, не испытала только сожжения, пусть же испытаю и огненную смерть!

Царь действительно порешил сжечь Морозову на страх еретикам и на так называемом Болоте, в московском пригороде, был уже приготовлен сруб для этой страшной, обычной, впрочем, в то время казни. Меланью водили на Болото, а потом впустили к Морозовой, чтобы она напугала боярыню. Когда, однако, дело не шутя пошло о сожжении Морозовой, то бояре «не потянули» в сторону царя и он в угоду им отменил свой указ, повелел отвезти Морозову в Новодевичий монастырь и содержать там под крепким караулом «и каждодневно волочить к церковному пению». Меланью же и другую сподвижницу Морозовой, старицу Иустину, сожгли. Сожгли также в Боровске и бывшего холопа Морозовой за то, что он добросовестно сохранил часть богатства, принадлежавшего опальной боярыне, и у раскольников сохранилось предание, что в час сожжения Меланьи и Иустины они на яву в видении предстали Морозовой с радостными ликами в сияющих ризах.

Твердость духа в Морозовой поддерживал протопоп Аввакум, который, несмотря на строгость надзора, успевал доставлять заточенным свои послания. Называя Морозову и сестру ее ангелами земными, столпами непоколебимыми, камнями драгоценными, звездами немеркнущими, он поучал их не бояться убивающих тело, а потому не могущих уже ничего сделать. «Мучайтесь за Христа хорошенько,— писал протопоп,— не смотрите вперед, не оглядывайтесь назад. Побоярили на земле довольно, нужно попасть в небесное боярство».

Много наслышалась в тереме царевна Софья о страданиях Феодосьи Морозовой, и неукротимая духом боярыня представлялась ей образцом женской твердости, хотя бы твердость эту и приходилось применить к другим целям. Наслышалась она немало и о протопопе Аввакуме, и ей очень желалось познакомиться с этим отважным вожаком раскола, вступившего в смелую и упорную борьбу как с царскою, так и с церковною властью.

VIII

— Что приведется нам делать, когда не станет государя? Притеснят нас мачеха и Нарышкины, житья нам от них не будет, погубят они нас. Сказал Гаден, что братцу жить осталось лишь несколько дней, а я объявила боярам, что ему лучше стало!

Так шепталась царевна Софья Алексеевна с дальним родственником своей матери, боярином Иваном Михайловичем Милославским, поседевшим в крамолах, а теперь, по уважению к старости и родству, забравшимся, как гость, в терем царевны.

— Ты разумно поступила, царевна, пусть кончина государя застанет наших недругов врасплох, а сами мы подготовимся на тот случай, когда совершится воля Божия... А видала ли ты сегодня, царевна, князя Василия Васильевича?

При этом имени царевна смутилась, а опытный глаз Милославского подметил ее смущение.

— Знаю, царевна, что он тебе мил,— сказал, не стесняясь, Милославский.— Да и кто же укорит тебя за это? Князь Василий человек уже старый, да и любишь ты его не девичьим сердцем. Какая это любовь! Он боярин умный, всегда благой совет подать может, держись его.

— Поговорим лучше о деле,— перебила царевна,— я спрашивала тебя: что нам делать, когда по воле Божией не станет государя-братца?

— Объявить царем Ивана Алексеевича. Ведь престол принадлежит ему и по праву первородства. Слыхано ли дело, чтобы можно было обойти старшего!

— Да ведь братец Иванушка хил, неразумен и почти что слеп. Куда же он годится? — заметила Софья.

— А ты на что, государыня-царевна? — смело и глядя в упор на Софью проговорил Милославский.— Разве ты за него править царством не сможешь? Пусть Нарышкины затевают, что хотят, да и мы не оплошаем. Козни их я давно знаю. Вспомни, царевна, что еще при кончине царя Алексея Михайловича, сродник их, боярин Матвеев, уговаривал государя, чтобы он объявил своим наследником царевича Петра Алексеевича. Дело к тому и шло, да мы тогда помешали, не пустили царицу Наталью Кирилловну к государю перед его кончиною. Стащили с постели царевича Федора Алексеевича, еле он мог тогда подняться, и посадили его на всероссийский престол. Помешаем и теперь. Мы всю Москву против нарышкинского отродья восставили и изведем его вконец! — злобно добавил Милославский.— Знаешь, благоверная царевна, иди-ка в царскую опочивальню, не отходи напоследки от государя, а если что проведаешь, то пришли вечерком ко мне Родилицу, да и я, быть может, передам тебе с нею кой-какие весточки.

Милославский поклонился царевне, но вдруг в раздумье остановился.

— Видно ты, Иван Михайлович, позабыл мне что-нибудь сказать? — спросила царевна.

— Не знаю, говорить ли тебе, царевна, что у меня теперь на уме, пожалуй, тебе страшно будет. Ты, чего доброго, не решишься на то, что необходимо придется сделать,— проговорил как-то нехотя боярин.

— Видно, ты плохо знаешь меня, Иван Михайлович. Убеди только меня в необходимости, а я решусь на все.

Боярин вытащил из-за пазухи своей ферязи лист бумаги и подал его Софье Алексеевне.

— «Бояре Иван Кириллович, Кирилл Полуектович, Афанасий Кири...» — начала читать Софья.— К чему ж ты это написал? Все они наши заклятые враги; их и без тебя я хорошо знаю!

— Разумеется, ты их и без меня знаешь, царевна, да не ведаешь только, что с ними нужно сделать,— возразил Милославский.

— Нужно настоять у братца-государя, чтобы он отправил их поскорее в ссылку,— сказала Софья.— Да этого трудно будет добиться: уж больно он добр.

Иван Михайлович улыбнулся.

— Что ссылка, царевна! Разве из нее люди не возвращаются? Помяни мои слова: как только посадят царевича Петра Алексеевича на престол, так в сей же час Артамон Матвеев явится снова в чести и в славе. Разве ссылкою можно отделаться от врагов? Отделываются от них... смертью!

Царевна вздрогнула.

— Испугалась? Неужели ты думаешь, что если Нарышкины возьмут верх, то они дадут нам пощаду?

С волнением слушала царевна внушения своего клеврета. Двадцатичетырехлетняя девушка, хотя и не рожденная с кротким и сострадательным сердцем, колебалась поддаться страшному искушению.

— Зачем ты, Иван Михайлович, говоришь об этом? Расправлялся бы ты сам, как знаешь, а меня зачем на такой страшный грех наводишь?

— Говорю я тебе вот почему: первое, если ты будешь во власти, то, чего доброго, почтешь верных тебе людей за злодеев и вздумаешь казнить их за то только, что они, поусердствовав тебе, избавят тебя от твоих недругов. Второе, не дрогнет ли, царевна, твое женское сердце, когда начнется кровавая расправа? Ты не будешь знать, пора ли, или не пора еще окончить ее, и, пожалуй, захочешь рано прекратить ее, а тогда враги твои останутся в живых на твою же погибель. Теперь, когда я показал тебе перепись, ты можешь быть уверена, что, кроме тех, о которых я тебе в ней заявил, никто больше не погибнет. Других не тронут. Прямого твоего согласия я от тебя не требую. Довольно если ты только не будешь перечить. Не забывай, царевна, что если мы не расправимся с нашими недругами, то они расправятся с нами смертельным боем, а на тебя, царевна, наденут черный клобук... А он молодую голову куда как крепко жмет!

— Делай, что хочешь,— твердо проговорила царевна.— И знай, что передо мною никто в ответе не будет!

— Помни же слова твои, благоверная царевна, и не отступись от них! А теперь сторожи хорошенько государя и если усторожишь его, то, статься может, все уладится мирно.

От царевны Милославский через Спасские и Иверские ворота выехал на Царскую, нынешнюю Тверскую улицу. Улица эта по своим постройкам не многим отличалась от других мест тогдашней Москвы. По ней, рядом с убогими избами, лачужками и незатейливыми домиками, стояли впе-

ремежку большие деревянные хоромы бояр, которые жили и в государевой столице, словно у себя в вотчине, в деревенском раздолье. За боярскими хоромами широко расстилались сады и огороды, во дворах были людские и конюшни и множество разных хозяйственных построек. Каждый боярский дом был окружен плотным высоким забором с наглухо запертыми и день и ночь воротами. В конце Царской улицы, около нынешней Тверской площади, заметно выделялся из ряда других построек большой, в два жилья, каменный дом, и ярко блистала на нем в солнечные дни гладко полированная медная крыша.

Шумно, по тогдашнему обычаю, двигался по Царской улице боярский поезд. Слуги, ехавшие верхом и бежавшие с палками в руках, все без шапок, перед рыдваном Ивана Милославского, кричали во всю глотку: «гись! гись!», предупреждая встречных, чтобы они сторонились и давали дорогу ехавшему боярину. Развалясь в рыдване на мягких бархатных подушках, Милославский тихо подъезжал к каменному боярскому дому. Неторопливо, с важностью вылез он, поддерживаемый по сторонам слугами, он стал медленно подниматься по широкой каменной лестнице, украшенной стенною живописью.

Дом, в который приехал теперь Иван Михайлович, не слишком отдавал стародавнею Москвою. Заметно было, что живший в нем боярин успел уже порядком освоиться с иноземными новшествами. В больших окнах просторных и высоких палат была вставлена не слюда, а стекла; стены были обиты шелком и обоями из тисненной золотом кожи. Вместо обычных в ту пору шедших вдоль стен лавок была расставлена по комнатам немецкая и польская мебель: изящно точенные стулья и кресла, столы на выгнутых и львиных ножках с мраморными и мозаичными досками. Стены были увешаны картинами и гравюрами иностранных художников. Убранство комнат дополняли шандалы, жирандоли, стенные и столовые часы, подзоры или драпировка над окнами и дверями, и богатые ковры, бывшие, впрочем, в большом употреблении и у тех бояр, которые жили на старый лад. Особенно роскошною и затейливою отделкою отличалась одна палата с сорока шестью окнами. В этой палате среди потолка было изображено позолоченное солнце и живописные знаки зодиака. От солнца на трех железных прутах висело белое костяное паникадило о пяти поясах, а в каждом поясе было по восьми подсвечников. По другую сторону солнца был изображен посеребренный месяц; кругом потолка в двадцати больших вызолоченных

медальонах были нарисованы изображения пророков и пророчиц. На стенах палаты висело в разных местах пять больших зеркал, из которых одно было в черепаховой раме. Весь дом князя Василия Васильевича блистал роскошью, и недаром французский путешественник Невиль писал, что дом Голицына был великолепнейшим в целой Европе.

В то время, когда подъезжал Милославский, хозяин, сидя за столом, заваленным книгами и рукописями, с большим вниманием читал в латинском подлиннике сочинения знаменитого Пуфендорфа, стараясь изучить из его творений трудную науку государственного правления. Он был одет по-домашнему в шелковой одонорядке, но, узнав о приезде Милославского, поспешил надеть ферязь, длинный и широкий кафтан из атласа, так как встретить знатного и почетного гостя только в однорядке, без ферязи, было бы, по тогдашним понятиям, в высшей степени неприлично.

Милославский, войдя в комнату, перекрестился и поцеловался с хозяином, который, приняв гостя с видимою приветливостью и обычною вежливостью, не слишком был рад в душе его неожиданному посещению.

— Просим вашу милость садиться,— сказал Голицын, уступая гостю свое кресло.

— Как поживаешь, князь Василий Васильевич? — спросил, усаживаясь, Милославский. — Ты все умудряешься чтением?

— Нужно читать, Иван Михайлович, всего своим умом не осяжешь, а европейские народы могут дать каждому немало от плодов своего просвещения. Вот я теперь читал главу из писания Пуфендорфа «О гражданском житии или о поправлении всех дел яже належать обще народу»,— отозвался князь, садясь насупротив гостя.

— Хитро что-то, уж больно хитро,— заметил нелюбознательный гость,— да и пользы-то большой нет. Вот погоди, как придет нарышкинское царствие, так умным людям ни ходу, ни житья не будет.

— Почему же, боярин, ты думаешь, что придет их царствие? — нахмурясь, спросил Голицын.

— Потому, что царю Федору Алексеевичу жить недолго, а по кончине его Нарышкины посадят на престол царевича Петра Алексеевича. Молод он больно, того и смотри, что Наталья Кирилловна захочет быть правительствующею царицею, да, пожалуй, и будет. Шибко она что-то зазналась, забыла, видно, как до брака в Смоленске в лаптях ходила.

Князь слушал Милославского с выражением крайнего неудовольствия на лице.

— А что ж хозяюшки-княгини не видать? — спросил, помолчав, Милославский.— Видно, я у тебя в доме обычной чести недостоин? — шутливо добавил он.

Княгиня вопреки обычаю не выходила к нему, как к почетному гостю, чтобы с низкими поклонами поднести ему на подносе чарку водки.

— Будь, Иван Михайлович, милостив к моей княгине; неможет она что-то все эти дни, а потому и должной чести тебе не оказывает. Не взыщи с нее за это, боярин!

— Знаю, знаю я ее немоготу! — подмигивая Голицыну, подхватил Милославский. — Просто-напросто ты, князь Василий Васильевич, стародавних наших обычаев не любишь. Сам от них уклоняешься, да и супругу свою к тому же неволишь. Впрочем, и то сказать, в нынешние времена и сам женский пол от многого себя освобождает. Вот хотя бы, например, царевна Софья Алексеевна: по нерасположению своему к старым порядкам с тобою сходствует и недаром так возлюбила тебя...

— Ставлю себе в отменную честь, коль скоро удостаиваюсь внимания государыни-царевны,— скромно заметил Голицын.— Великого разума она девица! Во время теперешней болезни государя мне часто приходится встречаться с ее пресвятейшеством в опочивальне государя, и соизволяет она нередко удостаивать меня своей беседы, при чем я всегда дивлюсь ее уму.

— Ты, князь Василий Васильевич, только и толкуешь, что об уме царевны, а о девическом ее сердце никогда не подумаешь.

— Да какая же мне стать думать о сердце царевны! — усмехнулся Голицын.

— Не сказал бы ты того, что теперь говоришь, князь Василий Васильевич, если бы знал, как оно лежит к тебе,— прошептал Милославский.

— Негоже тебе, Иван Михайлович, вымышлять такие бредни, да и неучтиво. Я человек уже немолодой, не моя пора уловлять девичьи сердца, а о сердце царевны я не дерзнул бы никогда и помыслить

— Да и дерзать-то нечего, коли оно само к тебе рвется,— проговорил Милославский.

Голицын медленно приподнялся с кресел.

— Оставь, боярин, эти пустые шутейные речи,— начал он сурово, между тем как перед ним живо представились и те взгляды, которые останавливала на нем царевна, и та краска, которая при встрече с ним кидалась ей в лицо, и то

смущение, которое овладевало ею, когда она начинала заводить с ним речь.

Голицын давно заметил все это, но, беседуя с Софьею лишь о делах государственных и об ученых предметах, он, годившийся ей, при тогдашних ранних браках, почти в деды, не думал вовсе ни о любви, ни о том, кому принадлежит сердце царевны. Он полагал, что Софья смущается перед его умом и его знаниями. В старинном русском быту романические затеи вовсе не существовали, да и Голицын никогда не был ходоком по любовной части. Теперь же Милославский своими речами надоумил его и открыл тайну, которую он не мог даже подозревать без насмешки над самим собою.

— Затолковались мы, Иван Михайлович, о чем бы и не след нам было говорить; мне уж вторая полсотня жизни идет. Да и не о том теперь думать надлежит; из твоих слов вижу, что смутные времена подходят,— сказал спокойно Голицын.

— То-то и есть, а потому нам крепко царевны Софьи Алексеевны держаться нужно; впереди всех нас ее на высоту следует поставить, а то сокрушат нас Нарышкины.

— Нужно нам,— начал поучительно Голицын,— царственный закон соблюсти и не царевну возносить, а посадить, в случае чего, береги Бог, по порядку старшинства, на московский престол ее брата, царевича Ивана Алексеевича.

— Да разве Иванушка-царевич на что-нибудь годен? Может он только мух летом ловить, да и тех, пожалуй, прозевает, ничего он почти не видит,— с насмешкою проговорил Милославский.— Впрочем,— уступчиво добавил он,— что за беда! Совет боярский при нем учредим, не век же и боярству в законе быть.

Голицын хотел что-то возразить.

— Знаю, знаю наперед,— поторопился Милославский,— что ты, князь Василий Васильевич, против боярства идешь. Ну, что же, ради тебя и уступочку сделаем. Царевич Иван Алексеевич государем станет, а царевна Софья Алексеевна пусть царицею хотя и не будет, а только за брата царством править станет. Почитай, что это тебе с руки будет! — насмешливо добавил Иван Михайлович.

Князь сделал вид, будто не слышал последних слов боярина, который теперь со злобою начал перебирать Нарышкиных и всех бояр, державших сторону царицы Натальи Кирилловны, перемешивая эту переборку многочисленных недругов с шутливыми намеками на любовь царевны к князю.

Голицын только морщился. Он хорошо знал коварный характер своего сотоварища по боярской думе и отвечал ему уклончиво и нерешительно.

— Вдвоем, впрочем, мы, князь Василий Васильевич, не можем столковаться как следует, а вот приезжай ко мне в четверг хлеба-соли откушать. Окажи мне, боярин, такую великую честь! — сказал, низко кланяясь, Милославский, расставаясь с Голицыным, благодарившим его за приглашение.

IX

Боярин Иван Михайлович Милославский, потомок литовца, выехавшего в Россию в 1390 году, принадлежал, в царствование Федора Алексеевича, к числу старейших бояр как по летам, так и по времени пожалования боярством. Он всегда был охотник мутить, и любимым его занятием было строить разного рода подвохи и козни. Когда же, в последние три-четыре года жизни царя Алексея Михайловича, Милославский, под влиянием наговоров царицы Натальи Кирилловны, был оттерт от двора, то молодая государыня и ее родственники сделались предметом его непримиримой и ожесточенной ненависти.

В противоположность князю Голицыну, Милославский жил по старинному обычаю, не заводя никакой иноземной новизны, а потому съехавшиеся к нему на званый обед гости находились среди той же незатейливой обстановки, среди которой жили и сами они, и их деды и прадеды. Стены обширных, но низких хором Милославского не были обиты дорогими тканями, но были обтянуты холстом, выбеленным известью, увешаны только иконами. В комнатах не было никаких отделок и украшений, а также никакой другой мебели, кроме столов и лавок да нескольких простой работы кресел для самого боярина и его немногих почетных гостей.

Обед, за который сели гости Ивана Михайловича, стряпался в стародавнем московском вкусе, и из всего иностранного можно было найти за столом только хорошее венгерское вино, которым он теперь и угощал радушно своих гостей, рассчитывая, что после обильной выпивки они будут посговорчивее. Все гости Милославского прилежали хмельного пития, как тогда говорилось, за исключением трезвого и воздержанного Голицына, который, ссылаясь на нездоровье, уклонялся насколько мог от потчевания и при-

неволивания со стороны хозяина дома. Во время обеда велась беседа о предметах самых обыденных и порою вспоминалось о прошлом.

— Покойный государь, царь Алексей Михайлович,— рассказывал Милославский,— был великий постник. Хотя в мясные и рыбные дни любил покушать, и за столом его бывало в эти дни до семидесяти блюд, но зато в постные дни был воздержан всем на диво; ни единый монах так строго не держал постов, как его царское величество. В великом посту в целые сутки съедал он по кусочку черного хлеба с солью, по соленому огурцу или грибу и выпивал только по стакану полпива. На страстной же, в понедельник, среду и пятницу ничего не вкушал и во весь великий пост только два раза кушал рыбу. Выходило так, что в год он постился восемь месяцев.

— Да и на счет молитвы он крепко усердствовал,— подхватил Воротынский,— хотя и был вельми тучен, но ежедневно, а иной раз даже и сряду без передышки по тысяче поклонов клал; а в большие праздники и до полутора тысячи отбросает; пот с него бывало ручьем катит, а он знай себе кланяется! Любил царь и иконопись, после смерти его осталось восемь тысяч двести икон.

— Кроткий и благодушный был государь! — заметил Милославский, с удовольствием вспоминавший дни своего особенного почета.

— Ну, не скажи этого, боярин,— возразил ему князь Иван Андреевич Хованский.— Бывал иной раз царь Алексей Михайлович с большим норовом и не раз с нашею братиею, боярами, кулачно расправлялся. Какой стих на него находил! Забыл разве, как однажды он своего старого тестя, боярина...

— Что вы тут зеваете! — вдруг крикнул Иван Михайлович на прислуживавших за столом холопов.— Службу у боярского стола покончили, так ротозеить тут нечего!

По приказу боярина холопы повалили из столовой избы, а он встал с места и, притворив дверь, посмотрел, не остался ли там кто-нибудь подслушивать боярские речи. Доносы и тогда были в Москве в большом ходу, и бояре крепко побаивались своих холопов, которые очень часто кричали на них государево «слово и дело», объявляя, что господин их вел худые речи о государе, царице или их семействе.

— Вспомнил я,— продолжал Хованский, обратившись к возвратившемуся на свое место Ивану Михайловичу,— о боярине Илье Даниловиче, как он единым похвалялся

перед государем, что если бы царь поставил его первым воеводою, то он взял бы в полон короля польского. При мне то было. «Как, слышь ты, страдник, худой человек! — крикнул царь на своего тестюшку.— Своим искусством в ратном деле похваляешься? Когда же ты ходил с полками? Какие победы оказал ты над неприятелем? Или ты, бестолковый, смеешься надо мною?» Да так с последним словом заушил его, а там хвать его за бороду, да и ну трепать. Мало того, в пинки его принял, да так в двери и спровадил...

Бояре хохотали.

— Непригожие были эти дела для боярской чести,— насупясь, заметил Голицын.

— Говоришь ты — непригожее дело,— подхватил снова Волынский.— А сам-то у бояр наиглавнейшую опору их чести отнял, местничество отменил, разрядные книги сжег!

— Не я все это сделал,— вразумительно возразил Голицын.— Сделали это выборные люди по царскому указу, а я только, по должности моей, правдивый доклад об их мнении государю представил. Да и что же было местничество, как не пустая только боярская забава, коли государь, нет-нет, да и прикажет быть всем без мест? Все равно обычай этот вскоре бы сам по себе вывелся, так не пригоднее ли было порешить с ним по приговору выборных? И разве местничество служило в ограду истинной чести боярства? — с жаром продолжал объяснять Голицын.— Из-за него только лишние батоги по боярским спинам ходили, а от заушений, трепанья бороды и пинков никого оно не спасало. Жил я в Польше и знаю, что там король не только сенатора или знатного пана, но и шляхтича простого пальцем тронуть не может, да и в других странах то же ведется. А у нас, господа бояре, не такие порядки...

— Постой, заведутся хорошие порядки, как станут править царством Нарышкины! — подхватил Семен Волынский, один из самых преданнейших друзей Милославского.

В то время, когда Голицын говорил толково и уверенно, плотно подъевшие и порядком подвыпившие бояре, казалось, не обращали на его речь особого внимания. Обычный послеобеденный сон начинал одолевать их и кто из них сидел как осоловелый, поклевывая носом все чаще и чаще, кто, подперев руки на стол и поддерживая ладонями щеки, лениво позевывал и жмурил глаза; кто, положив локоть на стол и свесив на него голову, готовился всхрапнуть, а кто собрался даже развлечься на лавке. Сонливость эта, однако, мгновенно исчезла, как только послышалось имя Нарышки-

ных. Все встрепенулись. Видно было, что обсуждение общих государственных порядков не слишком занимало их, но вопрос о личном положении и о будущности затрагивал каждого за живое.

— Против своеволия Нарышкиных можно и боярский совет учредить,— зевнув протяжно и проведя ладонью по длинной бороде, сказал князь Боротынский.

— Как же! Так тебе сейчас на это волю и дадут, да еще, пожалуй, и твою милость в совет призовут! — насмешливо отозвался Волынский.— Нет уж, коли Нарышкины одолеют, то скрутят так, что и духу не переведешь!

— Ну, еще посмотрим, как им это удастся! Что за важное дело, что на их стороне патриарх, духовный чин и большинство бояр; ведь зато на нашей стороне весь черный народ! — подхватил Милославский.

— Не надейся на число, Иван Михайлович,— спокойно отозвался Голицын.— Припоминается мне, как разумно на такой случай говаривал боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Бывало, с ним кто заговорит так, как ты теперь изволишь говорить, а он и отвечает: «Во всяком деле сила в промысле, а не в том, что людей собрано много; и людей много, да промышленника нет, так ничего не выйдет».

— Дельно, дельно говоришь, князь Василий Васильевич! Разумные речи повторяешь. Каким делом без смышленого заводчика управишься? — подхватил Хованский.— Вот хотя бы ты, Иван Михайлович, в нашем деле на первое место стал,— добавил Хованский, обращаясь к Милославскому.

— Да и то уж я хлопочу давным-давно и могу сказать по чести, что успел кое-что сделать. Решить только нужно, к чему наш замысел вести? — сказал Милославский.— Сговориться нам больно трудно: что человек, то разум.

— Как к чему вести? Известное дело: посадить на престол царевича Ивана Алексеевича, а если он править не способен, то приставить к нему царевну Софью Алексеевну! — заявил Хованский.

— Воистину что так, достойна она править царством. Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, родитель ее, неоднократно говорил, что она «великаго ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума исполнена дева»,— заявил Иван Михайлович.

Опершись рукою на стол и позаслонив глаза ладонью, князь Голицын внимательно слушал толки своих собеседников о царевне, не принимая, однако, в них никакого участия.

— Ну а что же ты, князь Василий Васильевич, мол-

чишь? — окликнул его Милославский.— Согласен или нет с тем, что говорит князь Иван Андреевич?

— Не моего завода это дело,— сказал Голицын, вставая с места и собираясь уезжать.— Ты в нем, Иван Михайлович, и хозяйствуй как знаешь, а от ответа за него, в случае какой беды, я не уклоняюсь и никого никогда не выдам, вот тебе мое в том рукобитие.

Бояре вкруговую ударились по рукам и затем, потолковав еще с Милославским и порасспросив его о сторонниках царевича Ивана Алексеевича, порешили «выкрикнуть» его царем, и во дворце и на площади, а Нарышкиных к первенству не допускать.

X

В тринадцать часов дня, по старинному русскому счету часов от восхода солнца, или в четыре часа пополудни, 27 апреля 1682 года, в четверг на Фоминой неделе, раздались над Москвою с Ивановской колокольни тоскливые удары большого колокола.

— Никак гудит «Вестник»? — заговорили в Москве, прислушиваясь к протяжному и редкому благовесту.— Знать, царь умер? — с изумлением спрашивали москвичи друг у друга. Хотя и было известно о болезни Федора Алексеевича, но никто не ожидал такой скорой кончины двадцатичетырехлетнего государя.

Догадывавшиеся о смерти царя не ошибались. Действительно, теперь звонили в колокол, называвшийся «Вестник», который каждый раз оповещал население столицы о смерти государей. Вскоре к одинокому его благовесту стал присоединяться заунывный перезвон московских церквей и народ со всех сторон густыми толпами повалил в Кремль. Туда же, в царские палаты, спешили в колымагах или неслись верхом бояре, думные и разных чинов служилые люди. Вскоре весь Кремль наполнился народом.

После непродолжительных приготовлений тело государя вынесли из опочивальни и поставили среди Крестовой палаты. Эта палата славилась своими издалека привезенными святынями: в ней был в ту пору камень, на котором стоял Иисус Христос, читая молитву «Отче наш». Там же были: печать от гроба Господня, иорданский песок и «чудотворные» монастырские меды. В этой палате родился царь Федор Алексеевич, так как, по тогдашнему обычаю, царицу выносили в Крестовую палату, чтобы там она разрешалась

от бремени. В Крестовой палате бояре по старшинству подходили к усопшему и прощались с ним, целуя его руку. За боярами следовали окольничие, дьяки, дворяне и жильцы и вся дворцовая прислуга, а затем стали пускать в палату для прощания с государем и простой люд. Между тем на Благовещенской площади поднимался говор о том, кому быть царем, и среди народа шныряли какие-то люди, которые то шепотом, то вполголоса, то громко говорили — одни, что надлежит быть царем Ивану Алексеевичу, а другие, что нужно посадить на царство Петра Алексеевича. Народ, однако, молчал в недоумении, не принимая ни стороны Ивана, ни стороны Петра. Он вяло и равнодушно и только с чувством обыкновеннаго любопытства выжидал, что будет далее. Между тем в царских хоромах происходило совсем иное: там разыгрывались страсти, там шла борьба за верховную власть.

Отдав лобзанье покойному государю, духовный чин, бояре и чиновные люди собрались в так называемой Ответной палате, где обыкновенно цари принимали и отпускали иноземных послов. Посреди этой палаты стоял теперь аналой, на котором лежало евангелие и за который встал патриарх Иоаким, положив левую руку на евангелие, а в правой держа крест.

— Царь Федор Алексеевич,— начал патриарх, обращаясь к присутствовавшим,— отошел в вечное блаженство. Чад по нем не осталось, но остались братья, царевичи Иван и Петр Алексеевичи. Царевич Иван шестнадцатилетен, но одержим скорбью и слаб здоровьем. Царевич же Петр десятилетен. Из них кто будет наследником престола российского? Кого наименуем в цари всея Великия, Малыя и Белыя России? Единый или оба будут царствовать? Спрашиваю и требую, чтобы сказали истину, как перед престолом Божиим. Кто же изречет по страсти, да будет тому жребий изменника Иуды.

— Быть народному избранию! Сами по себе решить это дело не беремся,— заговорили бояре, причем как сторонники Милославских, так и сторонники Нарышкиных, надеялись, что преданные им люди успели уже подготовить народ в их пользу.

С крестом в руке, предшествуемый духовенством и сопровождаемый боярами, вышел патриарх на Красное крыльцо. Народ на площади мгновенно смолк, все как будто притаили дыхание в ожидании, что изречет святейший владыко.

— Известно вам, благочестивые христиане,— начал

громким, но старчески-дребезжащим голосом патриарх,— что благословенное Господом царство русское было под державою блаженной памяти государя царя Михаила Федоровича, а по нем державу наследовал блаженной памяти царь Алексей Михайлович. По его представлении, был восприемником престола государь царь Федор Алексеевич, самодержец всея Руси. Ныне же изволением Всевышнего, перешел он в бесконечный покой, оставив братьев, царевичей Ивана и Петра Алексеевичей. Из них, царевичей, кому быть царем всея России? Да объявят о том свое единодушное решение!

В то время, когда патриарх произносил эту речь, в плотно сомкнувшейся толпе, занявшей место у самого Красного крыльца, начинал уже слышаться все более и более усиливавшийся говор: «Быть на престол царевичу Петру Алексеевичу!», и едва лишь окончил патриарх свое обращение к народу, как в этой толпе раздались громкие крики: «Быть царем Петру Алексеевичу! Хотим Петра Алексеевича!»

Но вместе с этими возгласами раздались на площади и другие: «Не хотим Петра Алексеевича, хотим Ивана Алексеевича! Быть ему царем!»

Крики эти неслись из огромной ватаги, которая сперва бежала опрометью к Красному крыльцу, но потом, увидев, что там место уже занято, отчаянно напирала сзади на толпу, требовавшую на царство Петра. Подбежавшая к Красному крыльцу ватага пускала в ход толчки, локти, кулаки; подававшиеся из нее вперед молодцы хватали за шиворот заслонявших им дорогу к Красному крыльцу и силились оттащить их, но те, в свою очередь, осаживали напиравших и отплачивали своим противникам кулачным отпором.

— Напирай, наваливай! — вопил в бешенстве дворянин Максим Сунбулов, предводительствовавший подбежавшею ватагою.— Страдники вы эдакие, из-за вас я опоздал! — кричал он в отчаянии следовавшей за ним толпе, завидев, что патриарх собирается уже уходить с Красного крыльца в царские палаты.

С уходом патриарха поднялся шум, произошла страшная давка. Одни хотели перекричать других, и имена Ивана и Петра слились теперь в общий, но уже бесполезный вопль.

Дрожа от волнения и страха и крепко прижав к себе десятилетнего Петра, стояла в Крестовой палате, около гроба царя Федора Алексеевича, величавая и стройная царица Наталья Кирилловна.

— Приветствую твое пресветлое царское величество, — сказал боярин Кирилл Полуектович Нарышкин, обращаясь к царевичу Петру, и с этими словами он поклонился в ноги своему внуку.

Царица быстро отстранила к деду своего сына. Бледное лицо ее покрылось румянцем, и радостно заблистали большие черные очи. Она упала на колени, творя с молитвою земные поклоны. То же стал делать и Кирилл Полуектович, а за ним и его внук.

— Иди, благоверная царица, на Красное крыльцо, там ожидают тебя и великого государя патриарх и весь синклит, — сказал он, почтительно становясь позади своей дочери и пропуская перед собою царицу, которая, ведя под руку сына, пошла медленным шагом на Красное крыльцо.

Когда она там появилась с новоизбранным царем, площадь огласилась страшным радостным ревом, среди которого слышалось, однако, и имя Ивана, которого также звали из толпы на царство.

Патриарх, осенив крестом царя-отрока, благословил его на царство, а затем святейший владыко, духовный чин, бояре и бывшие на Красном крыльце служилые люди принесли поздравление Петру Алексеевичу, «великому государю и царю и самодержцу всея Великия, и Малыя и Белыя России».

Если царица Наталья Кирилловна, не будучи в состоянии осилить себя, волновалась и страшилась в ожидании, чем кончится избрание, то царевна Софья Алексеевна, в противоположность ей, казалась спокойною и не поддавалась страху. Иван Михайлович Милославский уверил ее в успехе дела. В то время, когда площадь кипела и шумела, царевна сидела у постели своего старшего хворого брата, который не заботился и не думал о том, призовет его или нет народ к царской власти. По временам царевна подходила к открытому окну и внимательно прислушивалась к доносившемуся с площади гулу, с нетерпением ожидая той торжественной и радостной минуты, когда ей придется, подняв с постели брата, явить его народу с Красного крыльца как великого государя.

Прежде чем патриарх успел объявить на Красном крыльце об избрании царем Петра Алексеевича, из толпы бояр поспешно и незаметно выскользнул Милославский и побежал к царевне. Когда он вошел к ней, его смущенный и растерянный вид показал Софье, что дело ее кончилось неудачей.

— Иди скорее, благоверная царевна, на Красное крыльцо! Ты там нужна! — торопливо проговорил Милославский.

— Должно быть, братца Петрушу избрали царем? —

проговорил равнодушно царевич Иван, с трудом всматриваясь больными и подслеповатыми глазами в Милославского.

На вопрос царевича не обратили внимания ни боярин, ни царевна, которая поспешила выйти из братской опочивальни.

— Максимка Сунбулов нам изменил,— говорил на ходу Милославский Софье,— но дело наше вконец еще не пропало. Будь только мужественна, царевна, и не уступай Нарышкиным, они лишь временно осилили нас!

— На праотеческий всероссийский престол избран великий государь царь Петр Алексеевич,— объявил патриарх появившейся на Красном крыльце царевне.

Гневный огонь вспыхнул в ее глазах.

— Избрание не право! — крикнула она, обведя грозным взглядом патриарха, царицу и бояр, и быстро повернулась, чтобы уйти в палаты.

— Не начинай смуты, умоляю тебя именем Божиим! — тихо проговорил патриарх вслед уходившей Софье, которая сделала вид, что не слышит.

Выдержала себя перед людьми Софья, а Иван Михайлович после долгих убеждений уговорил даже ее пойти поздравить царя Петра Алексеевича с воцарением, чтобы не подать повода к дальнейшим подозрениям. Но когда она после этого удалилась в свой терем и там осталась одна, то залилась слезами, осыпая проклятиями и мачеху, и Нарышкиных.

В это время власть избраннаго государя утвердилась, на верность ему приводили к присяге бояр, окольничих, стольников, дворян, стряпчих и всех служилых людей. Все беспрекословно присягали Петру. В одном только приказе стрельцы отказывались целовать крест царю Петру Алексеевичу, но посланные к ним из дворца окольничий, думный дворянин и дьяк уговорили и их присягнуть Петру.

В тот же день началось возвышение Нарышкиных. Великий государь постановил в спальники Ивана, Афанасия, Льва, Мартимьяна и Федора Кирилловичей, а также Василия Федоровича Нарышкиных. Он же снял опалу с Артамона Сергеевича Матвеева и послал к нему указ о возвращении в Москву немедленно. Освобождены были из ссылки и четверо Нарышкиных, им также велено было прибыть в Москву. В противоположность этим милостям объявлено было первым любимцам покойного царя: боярину и чашнику Языковым, двум братьям Лихачевым и ближнему стольнику Языкову, чтобы во время выходов великого государя

их не видели. Опала эта была недобрым предвестием для сторонников Милославских, которые дружили прежде с опальными царедворцами.

На другой же день кончины царя Федора Алексеевича, то есть 28 апреля, происходило его погребение. Обряд этот совершали патриарх, девять митрополитов, пять архиепископов, два епископа и все бывшие в Москве архимандриты и игумены. Погребальное шествие открывали шесть стольников, они несли обитую золотою объярью крышку царского гроба. От них ее приняли на Красном крыльце стольники. Гроб, покрытый золотою парчою, несли также стольники на носилках, обитых бархатом, а при входе в Архангельский собор их заменили священники. За гробом шли: царь Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна и царевна Софья Алексеевна, а другую вдовую царицу, Марфу Матвеевну, несли в креслах спальники и бояре, которые, как и царское семейство и все другие чиновные и служилые люди, были одеты в «печальной», то есть в черной одежде. За гробом шел народ с зажженными восковыми свечами, розданными на счет царской казны.

— Дивно, что так спешно государя хоронят! — говорил в толпе один старик.— Того прежде не водилось. Бывало, дадут собраться из окрестных мест народу и съехаться отвсюду духовным властям и служилым людям. Чего так теперь торопятся? Чего доброго, заживо его похоронят.

— Нешто не знаешь, что на погребение царя Алексея Михайловича набралось столько народу в Москву, сколько прежде никогда не бывало. Принялись тогда душить, резать и грабить; так что в день его похорон нашли в Москве более ста ограбленных и убитых. Вот, чтобы того же не случилось, и поторопились поскорее похоронить государя,— вразумлял старика подьячий.

— Нет, тут что-нибудь да не ладно,— отозвался кто-то из толпы, а старик сомнительно покачал головою.

Появление Софьи как сестры-царевны на погребении ее брата было в Москве первым еще случаем. Все дивились этому и в особенности тому, что молодая царевна шла не только пешком, но и не заслонилась «запонами» и даже с отброшенною с лица фатою. Изумление бояр и разных чинов служилых людей возросло еще более, когда царь и царица, не оставшись на отпевании, тотчас после обедни ушли из собора, а между тем царевна Софья оставалась в соборе до тех пор, пока не засыпали могилы.

Лишь только царица вернулась в свой терем, как к ней

явились монахини, посланные тетками и сестрами покойного государя.

— Благоверная царица! — заявила старшая из этих посланниц.— Царевны кручинятся и скорбят, что ты на отпевании их племянника и братца остаться не изволила.

— Сынок мой больно устал, мал он еще; невмоготу ему было на ножках стоять,— отвечала царица на этот укор.

Совсем иначе отзывались в теремах царевен о Софье Алексеевне:

— Вот она братца любила, так поистине любила. В горести не помнила даже, что и делала; для него и своей царственной скромности не поберегла и на отпевании осталась до конца. Не то что мачеха! — умиленно почмокивали губами многочисленные приживалки.

Возвращаясь одна из Архангельского собора, царевна, закрыв ширинкою лицо, громко всхлипывала, сопровождая свои слезы обычными в то время причитаниями.

— Извели братца нашего злые люди,— плакалась Софья, идя посреди расступавшегося перед нею народа.— Нет у нас ни батюшки, ни матушки, братца нашего Ивана на царство не выбрали! Умилосердитесь, православные, над нами, сиротами, если мы в чем провинились перед вами, отпустите нас в чужие земли к королям христианским!

— Эх вы, сиротинки горемычные! — подхватывали на пути царевны московские торговки и бабы, расчувствовавшись от ее причитаний, и принимались сами реветь и нюнить.

Слова и слезы царевны не прошли даром, и уже на другой день заговорили в Москве и принялись охать и ахать о царевиче Иване Алексеевиче и об его сестрах, предсказывая, что изведут их злые люди. После похорон Федора Алексеевича, по существовавшему в ту пору обычаю, в опочивальне умершего царя сидели, в продолжение первых девяти суток, денно и нощно около его постели очередными сменами бояре, окольничие и дьяки, а священники и дьячки беспрестанно читали евангелие и псалтырь. Такие же смены и такое же чтение было, в течение всего сорокоуста, и в Архангельском соборе у могилы новопреставившегося. Каждый день отправлялись по нем панихиды, как в этой древней усыпальнице государей московских, так и в кремлевском дворце, в так называемой Панафидской палате, а по монастырям ежедневно за счет царской казны кормили монашествующую братию и нищих за упокой души царя Федора Алексеевича.

XI

Давно уже принялись проказничать и своевольничать на Москве стрельцы, регулярное пешее, а частью и конное войско, заведенное еще в 1551 году царем Иваном Васильевичем Грозным и постепенно умножавшееся в своей численности, так что при воцарении Петра Алексеевича в Москве было уже до 15 000 стрельцов. В стрельцы вступали вольные люди, жили они в разных местах Москвы отдельными большими слободами, обзаводясь семьями. Установился обычай, что сын стрельца, достигнув юношеского возраста, делался стрельцом, а из посторонних в стрелецкое войско принимались только люди «резвые и стрелять гораздые» и при том не иначе, как по свидетельству и одобрению старых стрельцов. Обязанности стрельцов в мирное время были следующие: держать в Москве караулы, гасить пожары и при встрече иноземных послов становиться на месте их проезда в два ряда. Особенным почетом среди стрелецкой рати пользовался так называемый «выборный», или «стремянной», полк. Он состоял из конников и постоянно сопровождал государя при его выездах из Москвы, почему и назывался еще «государевым» полком. Военная служба была, кроме походнаго времени, легка для стрельцов; много оставалось у них досуга, и они стали заниматься торговыми и различными промыслами, не платя, однако, за это наравне с посадскими никаких податей и пошлин. Большая часть стрельцов сделалась, благодаря этому, людьми достаточными и даже богатыми, да и, кроме того, жизнь их была обеспечена правительством, так как раненые, увечные и престарелые стрельцы рассылались на кормление по монастырям. Стрельцы выделялись из местного населения столицы и жили с ним не в ладах. Они беспрестанно задирали мирных жителей Москвы, а также оскорбляли их жен и дочерей, и трудно было найти на них управу, так как у них был свой особый суд, стрелецкий приказ, а для своих внутренних полковых распорядков они, подражая казакам, завели круги, на которых и решали дела большинством голосов.

Нехудо жилось бы московским стрельцам, если бы их не притесняли начальники: полковники отбирали у стрельцов их сборные деньги, захватывали их земли, не доплачивали им царского жалованья, не выдавали сполна хлебных запасов, обращая и то и другое в свою пользу, били стрельцов нещадно батогами, принуждали и их самих, и их жен и дочерей работать в своих огородах, косить сено, строить в своих

деревнях дома, мельницы и плотины, не отпуская их с работы даже в Светлую неделю. Полковники заставляли стрельцов одеваться слишком щеголевато, требуя, чтобы они покупали на собственный счет цветные кафтаны с золотыми нашивками, бархатные шапки и желтые сапоги, хотя им шла одежда из царской казны. Особенно между всеми полковниками отличался корыстолюбием, произволом и жестокостью Семен Грибоедов. Он довел свой приказ до того, что в самый день смерти царя Федора Алексеевича подчиненные Грибоедову стрельцы подали государю на него челобитную. Грибоедов был тотчас же сменен и на другой день его били кнутом, а двенадцать других полковников были биты батогами.

При воцарении Петра стрельцы не произвели никаких беспорядков, но потом между ними начали ходить толки о том, что если бы был другой царь, то им было бы несравненно лучше жить. В стрелецких слободах начали появляться теперь какие-то таинственные личности, из которых мужчины шушукались со стрельцами, а женщины громко и бойко болтали со стрельчихами. И те и другие возбуждали стрельцов против бояр, бывших на стороне царицы Натальи Кирилловны и царя Петра Алексеевича, в особенности же против Нарышкиных.

— Кабы ваши мужья да сыновья знали царевну Софью Алексеевну, то Нарышкиным и боярам, их согласникам, ее в обиду ни за чтобы не дали! — говорила постельница Родилица.

— Нешто они крепко ее притесняют? — с участием спросила одна из стрельчих.

— А то как же? Спуску небось не дадут! Ныне все в их власти. Мало того, что притесняют, да и извести ее, голубушку, хотят, а она-то и есть истинная доброжелательница всему стрелецкому войску! — говорила жалобно постельница.

Стрельчихи покачали головами.

— Думаете вы, сударушки, что царь Федор Алексеевич вольною смертью живот свой покончил? Как же!

Стрельчихи навострили уши.

— Отравил его яблоком проклятый жидовина-дохтур, что гадиной прозывается... А как покойный-то государь его, злодея, ласкал и жаловал! Бывало, не только его самого, да и жену его, треклятую жидовицу, чем только не обдарит: и золотом, и соболями, и бархатом!

— Что и говорить! Ведь недаром же ты в царских палатах живешь, ты все должна знать,— заметила одна из стрельчих.

— А что же эту окаянную гадину за его злодейство не сожгут на Болоте в срубе? — спросила другая стрельчиха.

— Как доберешься до него? Не по своей охоте он злодейство учинил, а по уговору от Нарышкиных; они и защитят его! — вразумляла Родилица.

— Вправду ли, Федора Семеновна, говорят, что царевна Софья Алексеевна премудрая девица?

— Уж больно премудра: все читает да пишет или с людьми учеными толкует.

— Вот бы ей самой сесть на царство!.. — сболтнула одна из стрельчих.— При ней бы и нашему женскому полу повадно и вольготно было.

— Стрелецкие полки бы из баб завели! — весело подхватила другая.

Стрельчихи захохотали.

— Не смейтесь, сударушки! — заговорила строгим голосом самая старая из них.— Дней пяток тому назад заходила к нам в слободу благочестивая странница из смоленской стороны и пророчила, что вскоре на Москве наступит бабье царство.

— Оно так и быть должно,— подхватила Родилица.— Ходил к царевне монах Семен, из Полоцка был он родом, ныне он покойный, так и тот по звездам небесным вычитал тоже самое. Да говорят еще...

— Никак мой муженек домой бредет? — крикнула вдруг стрельчиха-хозяйка, взглянув в окно и увидев приближающихся к избе мужчин.— Он и есть! Вишь, как запоздал, а идет с ним московский дворянин Максим Исаевич Сунбулов; часто он в наших слободах бывает и диковинные речи ведет: пророчит разом и о бабьем и антихристовом царствии. Кто тут разберет!

— Не призамолкнуть ли нам, сударушки, нашею речью да не затянуть ли песню? — спросила старая стрельчиха.— А то, чего смотри, Кузьма Григорьевич осерчает.

— Чего призамолкнуть? — бойко запротиворечила ей Родилица.— Совсем супротив того делать нужно: толкуйте стрельцам, чтобы выручали они из беды благоверную царевну Софью Алексеевну. Расскажите им, что ее извести хотят, а при ней было бы стрельцам житье вольное, да толкуйте им, что и царя Федора Алексеевича Нарышкины извели отравою и то же самое хотят учинить и с царевичем Иваном.

Стрельчихи, однако, невольно замолчали на некоторое время при приближении хозяина дома, выборного стрельца Кузьмы Чермного, и его спутника Сунбулова.

— На тебя, Кузька, понадеялся я крепко, а ты, окаянный, что со мной сделал? А теперь мне из-за тебя житья от

Ивана Михайловича нет: все бранит да корит, что мы запоздали выкрикнуть царевича Ивана, говорит, что я один все дело сгубил, изменником обзывает! — говорил Сунбулов.

— Не унывай, Максим Исаевич,— ободрял Кузьма Сунбулова, — дело поправить успеем, у нас в слободах теперь много насчитаешь народа, который хочет постоять за царицу. Не перевелись у нас еще и такие молодцы, что с Разиным по широкой Волге плавали, хотят они стариной тряхнуть!

— Со стариной-то они пока пусть поудержатся; преж всего законного наследника на царство посадить надо. Коли станет стрельцам привольно при царе Иване Алексеевиче да при его сестре царевне Софье Алексеевне, так незачем будет и стариной трясти, разве только себе на погибель! — заметил Сунбулов.

— Дельно ты, Максим Исаевич, говоришь. Не окажешь ли ты мне честь великую, не зайдешь ли ты ко мне чарку водки выпить? — сказал Чермной, снимая шапку и кланяясь дворянину.

— Некогда, брат Кузьма, теперь не время; зайду к тебе вдругорядь,— отвечал Сунбулов.— Помни же наш договор: как сегодня схватим мы тебя в потемках на улице, да как будто примемся тебя бить, то ты и кричи во всю глотку: «Боярин, Иван Кириллыч! Помилуй меня, бедного человека! Помилосердуй надо мною. Чем я, Иван Кириллыч, твою милость прогневал?» Тогда и мы со своей гурьбой примемся кричать: «Что прикажешь, Иван Кириллыч, с ним делать! Отпустить его, что ли, Иван Кириллыч?» Уразумел?

— Как не уразуметь, дело понятное,— улыбнулся Чермной.— Сказывают, боярин Иван Михайлович Милославский и не то еще творит; нарядится, говорят, бабой, сядет где-нибудь на перекрестке или на крыльце, да и ну плакаться бабьим голосом: «Изобидели, изувечили, искалечили Нарышкины меня, человека божьего, ни за что ни про что!» Народ-то около него соберется, а он примется еще пуще прежнего голосить. Кто его с закрытой рожей признает? Под фатой-то бороды не увидишь. А в народе меж тем начнут жалоститься и заговорят: «Эх, вы, бояре, бояре, от душегубцев Нарышкиных защитить нас не умеете! Из-за чего они так убогую старуху изобидели?»

— Смотри, Кузя, коли уж знаешь, так никому не проболтайся! — предостерег Сунбулов.

— Ни, ни! — подхватил Чермной.— И тебе-то я только по тайности открыл. Знаю я еще и то,— продолжал стре-

лец,— что охочие люди за полученные от боярина Ивана Михайловича деньги нарочно под лошадей нарышкинских бросаются. А в народе вопль поднимается: «Вишь, как Нарышкины своевольничают, скоро в Москве весь народ христианский перетопчут да передавят!..»

Говоря между собою, Сунбулов и Чермной подошли к воротам избы и, пошептавшись немного, расстались до завтрашнего дня. Стрелец вошел к себе в избу.

— Здоровы, бабы! — крикнул он, снимая с себя охабень.— Чай, пустяки болтаете? Почитай, что вас тут Федора Семеновна мутит! — шутливо сказал он, кланяясь одной только постельнице.— Вашей чести, Федора Семеновна, мое почитание!

— Не мутит, а умные речи заводит, говорит о наступлении на Москве бабьего царства,— отозвалась хозяйка.

— Видно, вас мужья еще мало плеткой хлещут? Знать, побольше захотелось? Вот ужо я своей задам! — шутливо по-прежнему продолжал Чермной.

— Задай, Кузьма Григорьич, да только поскорей, то, чего доброго, и запоздаешь, как запоздал намеднясь на площадь,— подсмеиваясь, перебила молоденькая стрельчиха.— Поторопись, родной, а то как бабье царство настанет, то мы из-под власти вашей все выйдем. Сказывают, что и в пророчествах о том написано,— говорила, хорохорясь, стрельчиха.

— Молчи, баба, не в свои дела путаешься! — вдруг крикнул сердито Чермной.— Ступайте, бабы, по домам! Чего здесь без толку галдить! Чай, до сыта наболтались!

Стрельчихи, одна за другою, повыбрались из избы. Осталась одна Родилица и с нею начал втихомолку беседовать Чермной, выслав сперва свою жену из горницы.

Потолковав с Чермным, Родилица отправилась к боярину Ивану Михайловичу Милославскому, чтобы пересказать ему о том, что ей привелось услышать в Стрелецкой слободе, но она не застала его дома, так как Иван Михайлович уехал к царевне.

XII

Милославский беседовал с Софьей Алексеевной в ее тереме, где находился также князь Василий Васильевич Голицын. Они оба поместились на лавках вблизи царевны, сидевшей в креслах.

— Ты говоришь, князь Василий Васильевич, что если

поднимется во всем народе смута, то от того произойдет одно лишь государственное настроение, а пользы не будет; каждый тогда станет тянуть в свою сторону и сами заводчики дела не будут знать, за что им тогда приняться... И кажется мне, что ты прав,— рассуждала Софья Алексеевна.

— И не посему только одному не подлежит поднимать народа, но и потому еще, что он будет безоружен и ничего не поделает, если станут против него стрельцы с пищалями и с пушками. Попусту только перебьют много народу.

— Нет, князь Василий Васильевич, по-моему, коль скоро заводить смуту, так уже заводить ее всенародную! Во время ее и заводчики сумеют справиться со своим делом, а коль скоро народ не будет на нашей стороне, не станет кричать да бурлить, то и скажут, что мы посадили на царство Ивана Алексеевича недобрым согласием, не по народному избранию, а токмо насильством,— говорил внушительно Милославский.

— Ни о каком насильстве тут и слова быть не может: престол московский принадлежит, по праву первородства, благоверному царевичу Ивану Алексеевичу,— начал Голицын.— И избранию тут не должно быть и места; нужно лишь взять царевичу свое право мирным порядком.

— Мы — старшее племя! — перебила с живостью Софья.— Не мы, а над нами учинили насильство! С какой стати царица Наталья Кирилловна правит государством? Сказывают, указы от имени великого государя, а за великим государем во все глаза присматривают мамы да няни! Нечего сказать, хорош великий государь! — насмешливым и раздражительным голосом говорила царевна.— А братец Иванушка человек в полном возрасте. Мог бы и сам царством править. За что же обошли его?

— Дело только в том, благоверная царевна, чтобы устранить от власти Нарышкиных, а Петра Алексеевича с престола сместить никак нельзя; теперь поздно уже думать об этом, так как ему все Российское царство присягу на верность принесло. Станем мы поднимать народ против него, так дурной покажем обычай, ни во что присягу государю ставить начнут.

— Что же, князь Василий Васильевич, по твоему разумению, следует теперь делать?..— спросила в недоумении царевна.

— А вот, пресветлейшая царевна, что мне приходит на мысль,— начал с расстановкою Голицын.— Всего бы лучше учредить двоевластие...

— Двоевластие?

— Пусть будут разом два царя,— сказал Голицын.

— Экую ты, князь Василий Васильевич, небывальщину вымыслил,— засмеялся Милославский.— Преотменный ты выдумщик!

— История поучает нас,— спокойно возразил Голицын,— что в древности у спартанцев было всегда по два царя. В Греческой империи было тоже два совместно царствовавших кесаря: кесари Аркадий и Гонорий; оба они правили империею одновременно и правили со славою.

— Больно уже много начитался ты разных мудреных книг, князь Василий Васильевич, да и крепко ты любишь всякие новшества. А что скажут бояре в ответ на такую затею? — заметил Милославский.

Софья не вмешивалась, только внимательно прислушивалась. Предложение Голицына поразило ее, и она старалась выяснить дело, прежде чем сказать что-нибудь разумное.

— Нетрудно будет втолковать боярам всю пользу такого двоевластия. Нужно будет разъяснить им, что именно от того произойдет. Так, если один царь заболеет, то другой царством править может. Если один царь пойдет на войну, то другой останется на Москве, чтобы ведать гражданским урядом.

— Пожалуй, что ты и дело говоришь! Да, почитай, что и для боярства тогда лучше будет: если кто попадет под опалу одного из государей, так останется в чести у другого,— сказал Милославский.

— Смущает меня тут только одно, князь Василий Васильевич,— вмешалась наконец царевна.— При двоевластии один царь и его сторонники смогут осилить другого, и тогда власть осиленного царя, пожалуй, ни во что превратится. Вот хотя бы, примером сказать, что может случиться у нас. Положим, что так или сяк посадим мы Иванушку на царский престол, да какая от того польза будет, если на царстве все-таки Петр Алексеевич останется? Ведь тогда и над Иванушкою Нарышкины силу заберут.

— Ну, нет, царевна, этому не бывать! — воскликнул Голицын.— Досталась бы только единожды власть в руки, а уже выпускать ее не годится! Тогда нужно, да и можно будет побороть всех противников!

С сильным биением сердца и со страстным выражением смотрела царевна на стоявшего перед нею величавого боярина. В нем, как ей казалось, олицетворились теперь и ум, и твердость, и та самоуверенность, которая дает господство над другими.

— Чем более мирным способом достанется царский престол царевичу Ивану Алексеевичу,— продолжал Голицын,— тем будет лучше для всех. К чему кровавые побоища? Зачем междоусобия? Если раз мы поднимем чернь, то трудно уже будет усмирить ее; придется пустить тогда в дело и казни, и пытки, а и те и другие только ожесточат народ против нового государя. Разве мало и теперь стонет людей в застенках? Неужели же еще прибавлять страждущих!..

В продолжении этой речи Милославский слегка откашливался, как будто готовясь возразить Голицыну, и с насмешливою улыбкою посматривал на него.

— Как же, князь Василий Васильевич! Так вот добром с Нарышкиными и поладишь! Дашь им теперь спуска, так потом они тебе за то не дадут его. Отблагодарят они тебя в свое время по чести,— сказал Милославский.

— На то, Иван Михайлович, дал Господь Бог человеку разум, чтобы он сумел справить каждое дело без насильства. Если стрелецкое войско подаст общую челобитную, чтобы быть на царстве государю Ивану Алексеевичу, да сделает это мирным обычаем, так поверь, что несравненно лучше будет. Нарышкины побоятся стрельцов и тем охотнее уступят, что и царь Петр Алексеевич на престоле останется, а там уже можно будет сладить и с ним без кровопролития. Умоляю тебя, боярин, не допускай народного мятежа, при котором не будут отличать правого от виноватого.

Когда Голицын договаривал последние слова, в терем вошла Родилица, обращавшаяся совершенно свободно как с царевною, так и со всеми близкими к Софье Алексеевне боярами.

— Была я у твоей милости,— заговорила она, кланяясь Милославскому,— да проведала, что ты здесь, так сюда побежала. Совсем ноженьки отбила, в двух слободах перебывала сегодня.

С этими словами она, как бы обессилев, медленно опустилась на пол и села на нем, вытянув вперед ноги.

Неприветливо взглянул Голицын на постельницу. Он присел на лавку и, сложив на коленях ладони, понурил голову.

— Многое множество стрельцов хотят постоять за царевича Ивана Алексеевича и за тебя, царевна, и за весь ваш старший род, да и не из рядовых только стрельцов, а и из чиновных! Меж их полковник Озеров да полуполковник из кормовых иноземцев, как бишь его...

— Цыклер, что ли? — подсказал Милославский.

— Он и есть; да из стрелецких выборных, Борис Федорыч Одинцов, Обросим, как звать по отчеству, не знаю, а по прозванию Петров, да Кузьма Григорьич Чермной. Последний куда как отважен, с ним часто я видаюсь, да и у всех других по нескольку раз перебывала. Не с ними, впрочем, веду я особенно речи, а больше все с их бабами, те мужей подбить сумеют. Сказывала я им, чтобы они, Иван Михайлович, пожаловали к тебе завтра в ночную пору, ты с ними лучше столкуешься. Много делают мне они таких запросов, на которые я и ответить не сумею... Сказывали, что пишут челобитную.

Слушая Родилицу, Милославский одобрительно кивал головою.

— Ну, вот видишь, князь Василий Васильевич, дело по твоему желанию направляется. Начинают стрельцы не с мятежа, а с челобитной, а затем, если дело повернется на что иное, так уж не наша в том вина будет. Значит, добром с Нарышкиными поладить не успели.

— Дай-то Господи, чтобы избавились мы от кровавых мятежей,— отозвался Голицын.

— В слободах,— принялась опять болтать скороговоркою Родилица,— серчают крепко на царицу Наталью Кирилловну за то, что они Матвеева из ссылки возвращают. «Не сдобровать ему, говорят стрельцы, пусть только покажется, разговаривать с ним долго не станем».

— Да и нам-то он не на радость едет, примется по-старому воротить всем,— с досадою промолвил Милославский.

При упоминании о Матвееве, царевна нахмурилась. Нахмурился и Голицын.

— Что тут поделаешь? С ним, наверно, и без посторонних подущений стрельцы сами по себе скоро расправятся, у них к нему ненависть большая,— заметил Иван Михайлович.— Ну, скажи теперь, князь Василий Васильевич, статочное ли было бы дело, если бы вдруг стрельцы пошли на Матвеева, а мы за него, врага нашего, вступаться бы вздумали? Ведь это, почитай, все равно, что себе самому заранее могилу рыть добровольно.

— Горько сознаться, а приходится сказать, что есть и правда в твоих речах, Иван Михайлович,— печально проговорил Голицын.— Пусть будет, что будет, скажу только и пресветлейшей царевне и тебе, боярин, что в кровопролитии участвовать я не отважусь, на душу грех тяжкий ляжет. Не хочу быть повинен в крови христианской.

— Ну, как знаешь! — проворчал Милославский.— А думается мне, что боронить себя от врагов греха никакого нет. Не давать же себя на расправу своим недругам? Приму я все на свою совесть,— добавил он, успокаивая Голицына.— Да и царевна ни в чем перед Богом в ответе не явится: все, что будет нужно, сделаю я сам.

— Так и порешим на этом. Пусть Иван Михайлович, как он знает, оберегает честь и здравие благоверного царевича Ивана Алексеевича. Прощайте, бояре, пора мне пойти к царице Наталье Кирилловне. Стараюсь я теперь поступать, чтоб ни в чем меня в подозрение не взяли.

— И разумно делаешь, государыня-царевна,— одобрил Милославский.

Милостиво отпустив от себя бояр, Софья крытыми переходами пошла из своего терема к мачехе.

У царицы Натальи Кирилловны собирались также в ту пору по два раза в день на совет бояре, державшие ее сторону, и почти безотлучно находилась при ней вся многочисленная семья Нарышкиных.

Чуяло сердце царицы что-то недоброе; нарышкинские разведчики и соглядатаи шныряли по Москве и приносили из города в царицын терем нерадостные вести. Подумывали сторонники Натальи Кирилловны, как бы захватить главных злоумышленников, но опасно было сделать это: чего доброго, раздражили бы всех еще больше, и стрельцов и народ. Не решаясь пока ни на что, царица и преданные ей бояре с нетерпением поджидали приезда в Москву Артамона Сергеевича Матвеева, твердо надеясь, что он даст им всем разумный совет. Промедление на несколько дней не представляло, по-видимому, особой опасности, так как хотя тревожные слухи и носились по Москве, но не было еще никаких явных признаков, что взрыв уже готов. Да и некому было взяться за дело решительно; среди сторонников царицы Натальи Кирилловны не находилось таких людей, которые отважились бы прямо пойти навстречу опасности, все думали только о том, как бы уклониться от угрожающей беды, а не о том, чтобы предупредить ее неожиданным ударом.

Царевна вошла в горницу царицы, и бывшие там женщины, монахини и приживалки, низко поклонившись ей, вышли, оставив их с глазу на глаз.

— Здравствуй, матушка царица! — сказала Софья, входя к своей мачехе и почтительно целуя ее руку.— Всенижайший сыновний поклон принесла я тебе от братца-царевича. Лежит он в постели, да и сама я что-то недомогаю,

никак огневица напасть на меня хочет. Видно, и мне слечь придется.

— Побереги тебя Господь Бог, Софьюшка,— с притворным участием сказала Наталья Кирилловна.

Софья присела на низенькую скамью у ног мачехи.

— А что слыхать на Москве, Софьюшка? — спросила царица, пристально глядя на падчерицу.

— Где мне что знать! Сижу у себя взаперти, ни с кем не вижусь и ни с кем не знаюсь. Вот и святейший патриарх забыл меня совсем; никто ко мне не заглянет. Все нас позабыли, как братец Федя Богу душу отдал.

— Вот, Софьюшка, кажись, ведь какой ты смиренницею живешь, никого не затрагиваешь, ан смотришь, злые люди между нами ссору завести хотят: толкуют, что из-за твоих искательств переполох на Москве затевают,— заговорила царица, сдерживая волнение.

Софья слегка вздрогнула, но тотчас же оправилась.

— Выдай мне, матушка, того, кто смеет это говорить,— спокойно сказала она.— Зачем тебе злых людей боронить? Если что из-за них потом выйдет, так сама же ты виновата будешь: зачем злодеев нам на пагубу укрываешь!

И царевна смело взглянула в глаза мачехи.

Царица, в свою очередь, смутилась.

— Да кого же мне тебе выдавать? Молва по Москве такая ходит, как тут кого уловишь и уличишь? Сказываю я тебе только то, что на миру твердят,— проговорила она.

— Говорят на миру! — насмешливо повторила вдруг вспылившая Софья и быстро вскочила со скамейки.— Да знаешь ли ты, матушка, что говорят о тебе самой на миру? Говорят, что ты всех нас извести хочешь!

— Опомнись, безрассудная, что ты сказала! Ты винишь меня в смертном грехе! — вскрикнула царица, приподнимаясь с кресел.— Забыла ты, видно, негодница, что завещал вам покойный родитель!

— Забыла, видно, и ты, что завещал тебе он! — задыхаясь от гнева, вскрикнула Софья.— Завещал он тебе любить и оберегать нас, а разве ты так поступаешь с нами? Ты гонишь братца Иванушку в могилу, а меня и сестер моих спроваживаешь в монастырь...

С громким рыданием упала царица на кресло и заплакала навзрыд. Царевна, окинув мачеху взглядом, исполненным ненависти, и не простившись с нею, пошла в свой терем.

— Нечего нам более от них ждать; погубят они нас, если мы не обороним себя вовремя,— думала царевна.

Возвратясь в свой терем, она тотчас же на лоскутке бумаги написала: «Мешкать не годится; принимайся, Иван Михайлович, за дело».

Записку эту царевна отправила с Родилицею к Милославскому. На другой день после стычки Софьи с Натальей Кирилловной, по кремлевским палатам пошел слух, что царевна сильно заболела, заперлась в тереме и не пускает к себе никого, даже самых близких людей. Наталья Кирилловна успокоилась, полагая, что до приезда Матвеева Софья и ее согласники ничего не успеют сделать. А между тем Милославский по нескольку раз в день пересылался через Родилицу с царевною, сообщая ей, что дело идет как нельзя лучше.

XIII

С несказанною радостью встретила Наталья Кирилловна возвратившегося из ссылки боярина Артамона Сергеевича Матвеева, ближайшего друга ее покойного мужа, который звал Матвеева почетным именем «Сергеич». При виде его в памяти царицы оживали ее детские и девичьи годы. Вспоминала она, как ее, еще маленькою девочкою, привезли из Тарусы, где было у ее отца небольшое поместье, в Москву на воспитание к родственнику Нарышкиных, Матвееву, как ее поразил тот дом, в котором жил боярин. Дом этот по своей отделке и обстановке слишком резко отличался от домов других бояр и, подобно дому князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на европейский образец. Боярин Матвеев слыл на Москве человеком разумным и ученым. Он любил чтение и беседу с книжными людьми, не только из русских, но и из иностранцев, и постоянным его собеседником был ученый грек Спатарий. Ходила даже молва, будто Матвеев знает тайную силу трав и занимается чернокнижием, и повод к этой последней молве подавал, между прочим, служивший у Матвеева араб Иван.

— Дьявол идет! — кричали, бывало, в Москве, когда араб, или, по-тогдашнему, «мурзин», появлялся на улице.— Вишь, ведь черный какой! Черт губастый!

— Да ведь он тоже крещеный! — заметит кто-нибудь.

— Что в том, что он крещеный? Рожа все та же черная осталась, значит, и в крещении не отмылся!

Давно бы учинили над ним в Москве что-нибудь недоброе, если бы не его богомолье. Крещеный негр часто

ходил в церковь Николы в Столбах, в приходе которой жил его боярин. Он усердно молился и тем ослаблял злобу суеверов.

Любил боярин Матвеев толковать и с раскольниками, а также и состязаться с Аввакумом, к которому нередко хаживал вместе с Семеном Полоцким. Вскоре, однако, протопоп разошелся с боярином.

— Ты ищешь,— сказал ему Аввакум,— в словопрении высокой науки, а я прошу ее у Христа моего со слезами. Как же могу я иметь общение с тобою: мы разнимся, яко свет и тьма.

Вообще раскольники не жаловали Матвеева за склонность его к новшествам. Не любило его и стрелецкое войско, зная, что боярин был строг и неснисходительно посматривал на распущенность и своеволие стрельцов. Едва лишь Матвеев возвратился в Москву, как вражда готовилась снова подняться против него, хотя стрельцы и встретили его хлебом-солью. «Но,— как писал впоследствии его сын,— принос стрелецкого хлеба и соли был ядением ему, боярину, меду сладкого на остром ноже».

Живо напомнил приезд Матвеева царице ее неожиданную высокую судьбу.

Царь Алексей Михайлович часто, в противность тогдашним понятиям, требовавшим сколь возможно большего отчуждения государя от подданных, езжал к боярину, который, не блюдя исконного московского обычая, не скрывал от взоров бывавших у него гостей ни своей жены, ни жившей в его доме Натальи Кирилловны. При первой же встрече сильно приглянулась царю эта молодая, красивая и стройная девушка, и он, шутя, пообещал Матвееву приискать ей жениха.

Прошло несколько дней, и Алексей Михайлович снова навестил Матвеева.

— Я нашел твоей родственнице жениха,— сказал государь.

— Кто же он таков? — спросил нерешительно боярин.

— Царь Алексей Михайлович!

Матвеев повалился в ноги государю и умолял отстранить от него эту высокую честь, ссылаясь на то, что вследствие царского брака с его родственницею и воспитанницею у него, Матвеева, явится много завистников, и уговорил царя справить сватовство по старинному обычаю. Тогда собрали со всего государства в Москву дворянских девиц и поместили их в царевниных теремах. Только перед светлыми очами великого государя, одного из всех мужчин

русской земли, могли откинуться девичьи фаты. Царь вдосыть насмотрелся на своих хорошеньких подданных, но остался верен прежнему своему выбору: Наталья Кирилловна была объявлена невестою государя, а вместе с тем и наименована благоверною царевною и великою княжною московскою, так что государь как будто вступал в брак с девицею царской крови.

Отпраздновали свадьбу и обедами и подарками; царя дарили бояре и боярыни бархатами, узорчатыми камками, атласами и объярями, а царицу, вдобавок ко всему этому, еще и соболями и золотыми перстнями с дорогими каменьями, а также и серебряною посудою. По случаю царского веселья были посланы из дворца в монастыри стольники, стряпчие жильцы с милостынею и с молебными деньгами, и в течение нескольких недель кормили на счет царской казны изобильною трапезою чернецов и черниц, выдавая каждому и каждой из них, сверх денег, еще по полотенцу и по два платка. Ходили царь и царица по богадельням и тюрьмам, облегчая участь колодников и раздавая щедрую милостыню как им, так и вообще убогим и нищим, и, по свидетельству современника, истратили на это «множество тысяч».

Припомнила царица Наталья Кирилловна и радость своего супруга по случаю рождения ею царевича, которому вследствие особого предвищания юродивого дали имя Петр — имя, не бывшее еще в царском семействе. Припоминала она, как царь на радости стал тогда ходить пешком в «цветном» платье по монастырям, творить многие добрые дела сверх обычных и угощать бояр водкою, фряжским и ренским вином, яблоками, дулями, коврижками и инбирем.

Царь, читавший в переводах иностранные «куранты», то есть газеты, порадовался и тем предзнаменованиям, какие он в них нашел: в день рождения царевича Петра король французский перешел за Рейн, а султан турецкий через Дунай; после чего первый из них завоевал четыре бельгийские области, а второй — Каменец и всю Подолию.

Были, впрочем, в жизни царицы и тяжелые дни, хотя и неизвестно, доходило ли когда-нибудь дело до «жезла», употребление которого царю разрешал при совершении брака духовный отец, могший, по собственному его о себе самом отзыву, «наставить на вся благая». Известно только, что огорчения Натальи Кирилловны происходили от положения ее, как мачехи, среди взрослой семьи. В эти тяжелые дни ободрял, утешал и успокаивал царицу ее сродник, боя-

рин Матвеев, с которым разлучили ее Милославские, но теперь обстоятельства, к радости вдовствующей царицы, изменились, так как опальный боярин с великою честью возвращался в Москву и в нем она должна была найти и твердую опору, и надежного советника.

С обычною для той поры боярскою пышностью въезжал Матвеев в Москву, которую он, как изгнанник, должен был оставить семь лет тому назад. Раздумывая о своей ссылке, он скорбил о том невежестве, в каком находились тогда его соотчичи. Еще в исходе XVII столетия подозрения в порче, в отраве и в волшебствах были весьма часты в московском государстве, и каждый человек, занимавшийся в то время не только такими «отреченными» или проклятыми науками, какими считались тогда алхимия и астрология, но даже медициною, считался познакомившимся с нечистою силою. Таким подозрениям давалась большая вера в царских чертогах, а опасения на счет отравы высказывали постоянно около царя и его семейства. Так, чашник, подносивший напитки, и кравчий, резавший государю пищу, должны были прежде, чем станет пить или кушать государь, отведывать напитки и «надкушивать» яства. В случае болезни царя ближние бояре должны были принимать подаваемое ему лекарство. Подозрительность относительно отравы и порчи до того господствовали при московском дворе, что все служившие при нем люди давали присягу не покушаться на жизнь государя и его семейства отравою и не портить их волшебством и нашептыванием. Опасения предусматривались до таких мелочей, что, например, давалась клятва не наводить чар ни на седло, ни на стремена, ни на уздечку, которые надевались на царских коней. Стирку белья царского семейства доверяли только самым надежным женщинам, а возили его полоскать на реку запечатанным царскою печатью и покрытым красным сукном, под охраною такой знатной боярыни, на благочестие и преданность которой к царскому дому можно было вполне положиться.

Милославские поспешили воспользоваться такою подозрительностью и таким легковерием на пагубу ненавистного им боярина Матвеева. По наущениям Милославских, доктор Берлов донес, что Матвеев хотел отравить царя Федора Алексеевича, что он вызывал нечистых духов, которых видел живший в его доме карлик Захарко, и что, кроме того, боярин не отведывал лекарств, подносимых царю, отчего здоровью его царского величества немало вреда причинилось. Справедливо или ложно, но пустили также

молву о том, что Матвеев держал у себя не только лечебник, писанный цифирью, но и черную книгу.

Оговоренный боярин должен был считать себя еще весьма счастливым, что при таких тяжких обвинениях его не только не сожгли в срубе, но даже и не подвергли пытке, а только, по лишении боярства и чести и по взятии всего имущества на государя, отправили на житье к берегам Ледовитого моря.

Заглянул боярин Матвеев, по приезде в Москву, в свое прежде великолепно убранное жилище. Дом был пуст, все из него повыбрано, высокая, чуть не до пояса трава, крапива и полынь разрастались во дворе привольно каждое лето, где, как верили москвичи, гуляла и тешилась на просторе нечистая сила, привыкшая посещать по ночам прежнего хозяина дома.

XIV

Настало ясное и жаркое утро 10 мая 1682 года. По голубому небу не пробегало над Москвою ни одного облачка. Неподвижен был воздух, но к полудню какая-то невидимая сила начинала по временам поднимать на пустых улицах Москвы небольшим дымком пыль и кружила ее на месте, что, по народной примете, должно было предвещать сильную бурю. В Москве около полудня все стало тихо, так как около этой поры наступал тогда для всех обеденный час. Собравшаяся в Кремлевском дворце боярская дума уже оканчивала свое заседание, которое в этот день продолжалось долее обыкновенного. На нем, после долгого отсутствия был и боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Дума рассуждала о том, какие следует принять меры, чтобы пресечь ходившие по Москве тревожные слухи, и тем самым предотвратить то пока еще глухое волнение, которое, как ожидали бояре, может, чего доброго, перейти в народное возмущение. Все надеялись, что умный и рассудительный Матвеев подаст при настоящих затруднительных обстоятельствах спасительный совет. Но Матвеев, ссылаясь на то, что лишь трое суток как прибыл в Москву, отозвался, что не успел еще ознакомиться с положением дела. Поэтому он уклонился и просил отложить окончательное решение вопроса на несколько дней. Заметно было, что Матвеев был не только озабочен, но и грустен. Какое-то тяжелое предчувствие безотчетно томило его. Хмуро и озабоченно глядели и сотоварищи по думе: и они как будто

чуяли что-то недоброе, но ободряли себя тем, что до возмущения дойдет еще не так скоро.

Окончив заседание, бояре один за другим стали медленно спускаться с Красного крыльца, когда до их слуха долетел гул набата.

— Знать, где-нибудь загорелось,— сказал князь Яков Никитич Одоевский.— Слава Богу, что тишь — скоро погасят.

Бояре стали оглядываться по сторонам, но на ясном небе дыма не было видно.

Следом за набатом послышался отдаленный рокот барабанов.

— Должно быть, стрельцы спешат на пожар,— проговорил боярин Шереметев.

Действительно, барабанный бой оповещал о приближении стрельцов, но спешили они в Кремль.

В то время, когда бояре заседали в думе, стольник Александр Милославский и стрелецкий голова Петр Толстой во всю прыть прискакали на конях в одну из стрелецких слобод.

— Нарышкины задушили царевича! — кричали они, мчась по слободским улицам.

Стрельцы повыбегали из изб, барабаны ударили сборную повестку, а в приходских церквях, стоявших по слободам, забили в набат. Стрельцы схватили знамена, ружья, копья и бердыши, а пушкари принялись впрягать под пушки лошадей.

— Нарышкины удушили царевича! — кричали стрельцы, передавая один другому весть.

— Бояре хотят произвести между нами розыск и главных виновников казнить смертью, а прочих сослать в дальние города. Хотят они истребить вконец наше стрелецкое войско. Покажем им, что этому не бывать! Пойдем в Кремль, изведем изменников.

В то время, когда стрельцы готовились двинуться на Кремль, огромная и плотная толпа окружила Александра Милославского, который передавал подробности о кончине царевича.

— Иван Нарышкин,— рассказывал он,— надел на себя царскую одежду и шапку и сел на престол, при своих сродниках и согласниках, и похвалялся перед ними, что «ни к кому царская шапка так не пристала, как ко мне». Царица Марья Матвеевна и царевна Софья Алексеевна захватили его в этом воровстве и принялись корить за предерзость при царевиче Иване Алексеевиче, когда тот пришел в палату на

учинившийся шум. Как вдруг Нарышкин вскочил с престола, кинулся на царевича да тут же и задушил его!

То же самое рассказывал другой толпе и Петр Толстой.

— Вспомните, православные, какой сегодня у нас день! Сегодня ведь празднуется память святого мученика царевича Димитрия Углицкого и сегодня же явился другой царевич-страстотерпец!

Стрельчихи быстро разнесли по слободам страшную весть и теперь слухи начали громко и с полною уверенностью повторяться на все лады и с разными произвольными прибавлениями.

— Царевич Иван Алексеевич был наш законный государь, никогда он не отказывался от престола, сплели эту молву Нарышкины! Нужно наказать их за все их злодейства! — твердили разъяренные стрельцы.

С горомкими криками, с распущенными знаменами, при грохоте двухсот барабанов и в сопровождении нескольких пушек подходили они к Кремлю с разных сторон.

Не успевшие сойти еще с Красного крыльца бояре в недоумении приостановились на площадке, а бояре, поехавшие прежде их, стали возвращаться.

— Нет проезда, весь Белый город полон стрельцами! — крикнул воротившийся ко дворцу боярин князь Урусов Матвееву, который хотел было сойти по лестнице, чтобы сесть в колымагу.— Не езди, боярин, плохо будет! Да не сдобровать и всем нам!

Матвеев кинулся вверх к царице Наталье Кирилловне, чтобы предупредить ее об опасности, за ним в испуге бросились и все бывшие на Красном крыльце бояре, надеясь найти убежище в царских палатах.

Предуведомив царицу о приближении стрельцов, Матвеев послал за патриархом, приказал бывшему в карауле стремянному полку охранять дворец и распорядился, чтобы немедленно заперли все кремлевские ворота. Но было уже поздно: стрельцы, пройдя Земляной город, плотною гурьбою ввалились в Кремль с неистовым ревом и с оглушительным барабанным боем, и перед опустевшим Красным крыльцом запестрели теперь их алые, синие, малиновые и голубые кафтаны, замелькали разноцветные шапки и заблистали на ярком солнце ружья и копья. Стрельцы, идя на царский двор, разоделись по-праздничному: на многих из них были бархатные кафтаны и цветные сапоги, преимущественно желтого цвета; у некоторых были на кафтанах золотые нашивки и шли через плечо золотые же перевязи, на которых висели бердыши, остро отточенные сабли, изог-

нутые наподобие полумесяца. Следом за привалившею толпою показались тяжело грохотавшие пушки. Стрельцы, по современному сказанию, стали теперь перед царским дворцом «во всем своем ополчении».

В воздухе между тем сильно парило, становилось душно, а вдали стала надвигаться на Москву черно-синяя туча. Начали пробегать по временам быстролетные, но все более и более усиливавшиеся порывы ветра, развевая стрелецкие белые с двухглавым орлом знамена.

На несколько мгновений все стихло на площади. Стрельцы как будто призадумались: что им теперь делать? Было тихо и во дворце; там слышался только робкий шепот бояр и царедворцев, пораженных ужасом. Стрельцы между тем отряжали в царские палаты своих выборных к великому государю.

— Слушайте, братцы, кого нужно нам потребовать на расправу,— крикнул выступивший вперед стрелецкий выборный Кузьма Чермной.

— Князя Юрия Алексеевича Долгорукого,— начал читать он по бумаге, — князя Григория Григорьевича Ромодановского, Кирилла Полуектовича Нарышкина, Артамона Сергеевича Матвеева, Ивана Максимовича Языкова, Ивана Кирилловича Нарышкина, постельничьего Алексея Тимофеевича Лихачева, казначея Михаила Тимофеевича Лихачева и чашника Языкова. С Лихачевыми и Языковыми нужно нам расправиться за то, что они не берегли здоровья царя Федора Алексеевича,— добавил он и затем принялся читать далее,— думных дьяков: Иванова, Полянского, Богданова и Кириллова и стольников: Афанасия, Льва, Мартимьяна, Федора, Василия и Петра Нарышкиных. Так, что ли? — спросил в заключение Чермной окружавших его стрельцов.

— Так! Так! Они царские изменники и наши недруги,— завопили стрельцы.— Князь Григорий мучил нас в чигиринском походе. Боярин Языков всячески притеснял нас, вступаясь за наших начальников!

В это время солнце все чаще и чаще стало прятаться за обрывками набегавшей большой тучи. На площади пронесся сильный порыв ветра, подняв густые, высоко взвившиеся клубы пыли. Упало несколько крупных капель дождя и послышались глухие раскаты грома.

Не успели еще выборные вступить на лестницу Красного крыльца, как с нее стал спускаться престарелый боярин, князь Михаил Олегович Черкасский.

— Зачем вы, странники, пришли сюда? — строго спросил он у стрельцов.— Проваливайте отсель, тут вам не место.

— Небось твое тут место? — насмешливо отозвался один из стрельцов.— Трогают тебя, что ли?

— Проваливай сам отсель, татарская рожа! — крикнули другие стрельцы.

Боярин грозно посмотрел на них, но, прежде чем он успел сказать еще что-нибудь, шелковая ферязь затрещала на нем и попятившийся от стрельцов боярин в одно мгновение очутился от напора стрельцов на Красном крыльце с оторванным рукавом и располосованной вдоль спины ферязью, возбуждая разодранною одеждою громкий хохот.

— Видно, и надеть тебе нечего, что в лохмотьях ходишь? Принимайся-ка, боярин, на старости за иглу! — насмехались вслед ему стрельцы.

Появление Черкасского в изодранной ферязи в Грановитой палате, где собрались и жались в кучку около царя, царицы, царевича и царевны Софьи дрожавшие от страха бояре, возбудило ужас.

— Не дадут они нам никому пощады! — вскрикнул боярин князь Одоевский.

— Сходи ты к ним, князь Василий Васильевич,— сказала царица Наталья Кирилловна, обращаясь к князю Голицыну.— Ты вразумишь их.

Софья вздрогнула. Она хотела возразить, но удержалась и, отойдя в сторону, встревоженная и взволнованная, присела на лавку.

— Пойду и молю Бога, чтобы он помог мне моим словом одолеть их безумство! — перекрестившись, сказал твердым голосом Голицын.

— Стыдно славному стрелецкому войску творить такие бесчинства! — выкрикнул Голицын, став на последней ступеньке лестницы.— Или хотят стрельцы на все московское государство прослыть изменниками?

Стрельцы не дали далее говорить Голицыну.

— Не мы изменники, а вы, бояре, изменники; мы пришли сюда затем, чтобы взять тех, кто извел царевича!

— Не извели царевича! Милосердием Божиим он здравствует по-прежнему! — отозвался Голицын.

— Рассказывай! — крикнули стрельцы.— Мы лучше твоего знаем! Убирайся-ка, боярин, по добру по здорову! Ничего с нами не поделаешь, а станешь долго толковать, так еще хуже будет!

Без успеха вернулся Голицын в Грановитую палату.

— Пошел бы ты к ним, князь Иван Андреевич,— сказал Матвеев Хованскому.— Авось они тебя послушают.

— Иди, иди! — подхватили бояре.— Они все тебя любят, ничего дурного с тобою не сделают.

При появлении Хованского на Красном крыльце прошел на площади между стрельцами одобрительный говор.

— Зачем вы, ребятушки, пришли сюда? — спросил ласково Хованский, обращаясь к выборным, стоявшим отдельно от толпы.— Нéшто мне не верите и через меня бить челом великому государю не хотите?

— Как не верить тебе! Да трудить тебя, боярин, не посмели,— простодушно отозвались некоторые из стрельцов.

— Так скажите мне теперь, зачем вы сюда пришли?

— Пришли мы к великому государю ударить челом, чтобы указал он выдать нам изменников,— отвечали с поклоном выборные.

— Кто же изменники?

— Возьми, боярин, эту роспись и представь ее от нас великому государю. Коли ты ее возьмешь, так и выборных мы посылать не станем. По ней он узнает, кто изменники,— сказал Чермной, почтительно подавая Хованскому бумагу.

Хованский и пошел с нею в Грановитую палату.

— Вот боярин, так боярин! — одобрительно кричали ему вслед стрельцы.— Говорить толком не грозит, а выспрашивает ласковым обычаем!

Они разбрелись по площади, терпеливо, по-видимому, ожидая, какой указ даст великий государь по их челобитной.

В Грановитой палате началось теперь совещание. Царевна заглянула в список, и на лице ее выразилась радость: в росписи не было никого из близких ей людей.

— Великий государь,— заголосил вышедший на Красное крыльцо дьяк,— сказал объявить вам, что тех бояр, которых вы требуете, у него, великого государя, в царских палатах нет.

— Нет, так нет! Мы и сами опосля отыщем, куда они схоронились, а теперь пусть нам покажут царевича. Хотим увериться, жив ли он? — заголосили стрельцы.

Прошло немного времени и на площадке Красного крыльца показались жильцы с метлами и с корзиною песку.

— Знать, патриарх хочет выйти,— заговорили стрельцы, так как, по существовавшему обычаю, перед ним всегда мели дорогу и посыпали ее песком.

Действительно, вскоре показался протодьякон с большим крестом, а следом за ним, в низком белом клобуке и «пестрой» рясе, медленно выступал патриарх Иоаким. За

ним шла царица с лицом, закрытым фатою. Неровным шагом приближалась она к золотой решетке, отделявшей площадку лестницы от входа, ведя за руку царя Петра Алексеевича, рядом с которым плелся царевич Иван Алексеевич. За царскою семьею нерешительно и робко двигались бояре, а между ними и оборванный князь Черкаский.

— Вот благоверный царевич Иван Алексеевич! — сказал патриарх, выдвигая его вперед и ставя его у самой решетки Красного крыльца.— А вот царь Петр Алексеевич! Оба они, благостью Божьей, здравствуют и в доме их нет изменников.

— Это не царевич Иван Алексеевич! — гаркнул один из стрельцов.

— Нам нужно его поблизости рассмотреть! — подхватили на площади другие, и при этих криках несколько стрельцов приподнялись на плечах товарищей сбоку лестницы и перескочили за решетку.

Царица и бояре в страхе попятились назад.

— Ты ли это, царевич? — спрашивали стрельцы, дотрагиваясь и ощупывая Ивана Алексеевича.

— А здесь и никто не изводил меня,— тихо проговорил царевич.

— Царевич жив! — крикнули с Красного крыльца смотрельщики-стрельцы своим товарищам.

— Теперь он жив, а наутро злодеи изведут его! Нужно перебить бояр-изменников! — заревели в ответ стрельцы.

Толпа при этих криках грозно заколыхалась. Царица, ее сын, царевич, царевна Софья, патриарх и бояре кинулись в ужасе в царские палаты, тесня и давя друг друга, а ватага стрельцов, наклонив перед собою острые копья, дружным натиском, с оглушительным ревом бросилась на опустевшее Красное крыльцо. В это время загрохотало несколько пушечных залпов, направленных на дворец, и затрещали ружейные выстрелы. Задребезжали и зазвенели выбитые и треснувшие стекла, а испуганные стаи птиц взвились над крышею дворца и тревожно заметались под черною тучею. В это же мгновение молния серебристыми зигзагами промелькнула по туче, заволокшей все небо и нагнавшей почти ночную тьму. Ярко освещенная молнией, ревевшая толпа вдруг остановилась и притихла. Все сняли шапки и стали набожно креститься, когда вдруг над головами стрельцов грянул резкий и сухой удар грома, рванул сильный ветер, загудел, завыл и застлал всю площадь высоко взлетевшею пылью. Хлынул проливной дождь, и под шум разыгравшейся бури толпа с диким завыванием ринулась к царским чертогам.

XV

Среди смятения, охватившего Благовещенскую площадь и достигшего уже порога Грановитой палаты, отважно выступил перед разъяренными стрельцами боярин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, начальник стрелецкого приказа.

— Негодники, изменники! Как осмелились вы ломиться в государево жилище? — крикнул он на них.— Прочь отсюда!

Бессильна и бесполезна, однако, была эта угроза. Заслышав ее, рассвирепевшие стрельцы не только не присмирели, но ожесточились еще более. Они схватили Долгорукого и, раскачав его за ноги, с криком: «любо ли?» — сбросили с Красного крыльца на копья, подставленные их товарищами.

— Любо! Любо! Любо! — закричали стрельцы, стоявшие внизу и, подхватив на копья Долгорукого, скинули на землю и принялись неистово рубить бердышами.

Не окончилась еще кровавая расправа с Долгоруким, когда толпа стрельцов, поднявшаяся по другой лестнице, быстро добралась до сеней Грановитой палаты.

— Остановитесь! Грех и срам вам так разбойничать! — кричал Матвеев, пытаясь удержать нахлынувших стрельцов перед Грановитою палатою, в которой укрылась теперь царица с царем и с царевичем.

— Нам тебя-то и нужно! — завопили стрельцы, хватая за бороду Матвеева.

— Не трогайте его!.. Именем Бога прошу вас, оставьте его,— кричала в отчаянии царица Наталья Кирилловна, обняв руками шею старика.

— Отступись от него, царица! Выдай его нам мирным обычаем, а не то силою отберем его от тебя! — сурово сказал один из стрельцов отстраняя царицу.

В беспамятстве она громком зарыдала, а стрельцы мигом втолкнули ее в Грановитую палату. Они повалили Матвеева на пол и за волосы, за бороду и за руки потащили его к перилам Красного крыльца.

— Я не выдам его вам! — крикнул боярин, князь Михаил Олегович Черкасский, бросаясь на поваленного Матвеева и силясь заслонить его собою.

— Пошел, старина, не мешай! — крикнул какой-то стрелец и отбросил его сильным толчком в сторону.

— Отпустите его! — закричал умоляющим голосом патриарх, прибежавший на Красное крыльцо.

Но стрельцы не обратили на его возглас никакого внимания. Они быстро оттерли Иоакима от Матвеева и, расступившись перед патриархом, пропустили его в Грановитую палату, а Матвеева выволокли на Красное крыльцо.

— Кидай его вниз! — бешено заревели стрельцы и, раскачав Матвеева, с веселыми криками и с дружным хохотом сбросили его с крыльца на стрелецкие копья.

— Любо! Любо! Любо! — ревели бывшие внизу их товарищи и, поймав Матвеева на острия копей, сбросили его на землю и принялись, уже полумертвого, рубить, как рубили Долгорукого, на куски своими острыми бердышами.

— Пора нам разбирать, кто нам надобен! — озлобленно кричали стрельцы, вламываясь в Грановитую палату, но она была пуста: все бояре и царедворцы разбежались, укрываясь где попало.

— Сбежали страдники! — злобно кричали стрельцы.

До тех пор, пока стрельцы не появились на пороге Грановитой палаты, царевна Софья оставалась там вместе с мачехою и обоими братьями. Она была тверда и спокойна, но уклонялась от всякого вмешательства в происходившее. Когда же стрельцы вбежали в Грановитую палату, она крытыми переходами пробралась в свой терем.

Следом за нею вбежал туда Голицын. Он был бледен, и, в противность строго соблюдавшегося обычая, на голове его не было высокой боярской шапки.

— Выйди, царевна, на Красное крыльцо! Попытайся остановить безумных! Они послушают тебя! — закричал Голицын, падая на колени перед Софьей.

Царевна улыбнулась и положила руки на плечи князя.

— Пусть изведут всех... Был бы только ты жив, князь Василий! — проговорила она и, нагнувшись, поцеловала его в голову.

Голицын вскочил с колен.

— Не дивись тому, князь Василий! Приходит конец моей тяжелой неволе. Я вхожу теперь на высоту, на которую возведу и тебя! — страстно проговорила она.

— Но, царевна...— задыхаясь от волнения, начал Голицын.

Он не успел договорить, как в переходах послышались неистовые крики стрельцов.

— Они бегут сюда! — побледнев, вскрикнула царевна.— Уходи со мною! Я укрою тебя! — И, толкнув его к дверям своей крестовой палаты, заперла за собою двери.

— Тут живет царевна Софья! — крикнул стрельцам Кузьма Чермной, войдя с товарищами в терем царевны.—

Искать нам у нее некого. Не укроет она у себя ни Нарышкиных, ни их согласников.

Стрельцы, однако, позамялись, не желая обойти без обыска и терема царевны.

— Нечего здесь времени попусту терять! — прикрикнул строго Чермной.— Других, кого взять нужно, упустим. Ступай, ребята, за мной!..

Между тем на Красном крыльце толпа стрельцов продолжала неистовствовать, сбрасывая при криках «любо! любо! любо!» своих недругов на подставляемые внизу копья. Такой страшный конец испытали уже стрелецкие полковники Горошкин и Юренев, а также дьяк Иванов и стольник, его однофамилец.

Другая толпа, забравшись во внутрь дворца, рассыпалась по всем хоромам.

— Ищи бояр! — кричали стрельцы.

Во всех покоях, и даже в теремах царевен, обыскивали чуланы, забирались на чердаки, заглядывали во все углы. Входили они и в дворцовые церкви, копьями шарили под престолами, протыкали их насквозь и сдвигали с места. В особенности доискивались они Нарышкиных, из которых братья царицы Лев, Мартимьян и Федор, а также и отец ее, спасались в этот грозный для них день в тереме царевны Натальи, оставшемся, на их счастье, без обыска.

— Не найдем сегодня, так придем завтра,— угрожали стрельцы.

— Эй ты, уродина! — вдруг крикнул один из стрельцов, увидев прижавшегося в углу карла царицы Натальи, по прозванию Хомяка.— Ты должен знать, где схоронились царицыны братья.

— В церкви Воскресения Христова,— пробормотал карлик.

— Веди нас туда,— потребовали стрельцы.

Стуча копьями и гремя бердышами, ввалились они, не снимая шапок, в церковь Воскресения, одну из многих церквей, находившихся в царском дворце. Сурово, казалось, смотрели на дерзких крамольников потемневшие лики икон и трепетно, от сильного движения воздуха, дрожали огоньки теплившихся лампад. Внушительная обстановка храма не подействовала, однако, нисколько на разъяренную толпу.

— Обманул ты нас! — крикнули стрельцы на карлу, оглянув кругом церковь и никого не видя в ней, но карла дрожащею рукою указал им на алтарь.

Мигом распахнули они и боковые двери и царские врата, вбежали в алтарь, сбросили всю утварь с престола, опроки-

нули его, и тогда под престолом показался бледный, трепещущий средний брат царицы, Афанасий Кириллович.

— Тебя-то мы и искали! Теперь от нас не уйдешь! — с бешеною радостью завопила толпа и поволокла Нарышкина на церковную паперть. Здесь началась страшная рубка, и через несколько минут окровавленные куски летели вниз с Красного крыльца, под громкие крики «любо! любо! любо!».

Поутомились наконец стрельцы. День склонялся к вечеру, и в ярком блеске заходило весеннее солнце, озаряя своими прощальными лучами ужасающую картину. Около царских палат лежали рассеченные и изувеченные трупы. На Благовещенской и Ивановской площадях валялись убитые или издыхали в муках подстреленные боярские лошади, лежали разбитые и опрокинутые боярские колымаги, а около них — убитые и раненые слуги, сопровождавшие в Кремль своих бояр. Ударив отбой в барабаны, стрельцы принялись расставлять кругом Кремля сильные караулы, так что никому нельзя было ни пробраться в него, ни выбраться оттуда. Окружили они также караулами и Китай и Белый город.

С самого начала мятежа Красная площадь и Лобное место кипели народом, который и в обыкновенное время толпился там с утра до позднего вечера. На этой площади стояли торговые ряды, пирожные, харчевни и выносные очаги. Там же были устроены особые палатки, в которых продавали квас и пекли пшеничные оладьи. Особенно много было палаток около церкви Василия Блаженного. Из окон иных харчевень целый день валил дым, так как печи были без труб и дым выходил в окна. В этом обжорном ряду, кроме съестной продажи, велась еще и оживленная торговля с рук разными дешевыми вещами, и потому там народу было всегда тьма-тьмущая. Когда раздался барабанный бой и загудел набат на Иване Великом, толпы народа с Красной площади кинулись в Кремль. Они запрудили все ворота и частью добрались даже до Красного крыльца. Столпившиеся выражали свое сочувствие стрелецкой расправе, дружно подхватывая крики стрельцов: «Любо! Любо! Любо!» — и в одобрение высоко над головами помахивая своими шапками.

— Расступись!..— вдруг крикнули стрельцы народу.— Давай дорогу, боярин поедет!

Ужасен был на этот раз боярский поезд: он оставлял за собою широкий кровавый след. Стрельцы волокли по земле, через Спасские и Никольские ворота, тех, кто был

обречен ими на смерть, на Красную площадь и там рассекали бердышами.

Чернь радостно приветствовала эту расправу, но с особенным восторгом кинулась она вслед за стрельцами, когда они направились разносить холопий приказ.

— Ни холопства, ни кабалы теперь нет, и впредь им никогда не бывать! Все теперь люди вольные! Дана всем от нас полная воля, все прежние кречости и кабалы разодраны! — кричали стрельцы, разметывая и выбрасывая из окон разорванные на клочки царские указы, книги и дела ненавистного холопьего приказа. Громко и весело вторила чернь этим крикам, считая себя навсегда свободною от холопской и кабальной зависимости.

В это время пронесли на носилках, связанных из стрелецких копий, труп юноши, иссеченный, облитый кровью, с пробитой головой и с отрубленной рукой.

— Убили ни в чем не повинного боярина, Федора Петровича Салтыкова, сына Петра Михайловича,— толковал жалостно народ.— Смотри, как всего его искровавили!

— Такой грех уж вышел,— объясняли стрельцы народу.— Метили не на него, он никому зла не сделал, а почли его за Ивана Кирилловича Нарышкина, который был из намеченных, да ухоронился!

Пришли стрельцы с обезображенным трупом в дом боярина Салтыкова.

— Помните, братцы, уговор! Только бить смертно, а ничьих домов и ничьего добра не грабить! — кричали они друг другу.— Беда тому, кто чужое возьмет!

— Помним! Помним! — отзывались в толпе стрельцы и действительно, несмотря на разгул и убийства, нигде не прикасались ни к чьей собственности.

— Боярина нашего мертвого принесли! Стрельцы убили его! — заголосила прислуга, когда внесли убитого Салтыкова в дом его отца.

Петр Михайлович в испуге выскочил на крыльцо.

— Прости нас, боярин! — сказали стрельцы, снимая перед ним шапки.— Слезно мы тебя молим! Ненароком сына твоего убили. Не его хотели мы извести, а Ивана Кириллыча, а боярчонок сам к нам под руки подвернулся. Отпусти нам вину, боярин! — повторяли стрельцы, кланяясь Салтыкову в землю.

Заскрежетал зубами от злобы старый боярин, и горячие слезы покатились у него из глаз, но делать нечего, нужно было присмиреть.

— Бог простит! — проговорил он, задыхаясь от плача.

— Вот так-то будет лучше! Прощай, боярин! Не гневайся на нас, тебя мы не тронем! — кричали стрельцы, выходя со двора Салтыкова.

— Пойдем, братцы, теперь к князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, ведь его сына мы с Красного крыльца спустили. Нужно и у него прощения испросить! — насмешливо кто-то крикнул в толпе.

— И то дело, пойдем! — закричала толпа.

Восьмидесятилетний князь Юрий Васильевич был разбит параличом и не вставал с постели. Стрельцы, удерживаясь от шума, тихо вошли в его опочивальню.

— Отпусти нам, боярин, смерть твоего княжича! С запалу убили мы его и пришли к тебе с повинною!

— Знать, на то было попущение Божие! — проговорил смиренным голосом Долгорукий, стараясь одолеть свою ярость.

— Коли не гневаешься на нас, боярин, так докажи, вели угостить!

— Прикажу сейчас дворецкому, сам-то я встать не могу!

— Да и не нужно тебе вставать; почто тебе, старику, трудиться! — подхватили стрельцы. — И без тебя, боярин, мы угощением в твоем доме справимся. Только прикажи. Спасибо тебе! — благодарили стрельцы, расставаясь с Долгоруким.

Из княжеского погреба немедленно выкатили на двор несколько бочек водки, пива и меда, и началась шумная попойка.

— Здравия и многолетия желаем князю-боярину! Милостив он и незлобен!..— орали стрельцы, выходя после обильного угощения с княжеского двора.

Не успели они отойти далеко, как вдруг приостановились, и среди толпы поднялись сперва оживленные толки, а потом и ужасный шум.

— Грозить вздумал нам! — неистово завопили в толпе.— Слушайте, братцы, что он говорит! — кричали друг другу стрельцы, указывая на стоявшего посреди них холопа, выбежавшего из дома Долгорукого.

— Пересказывай-ка!

— Как вы ушли от боярина,— начал снова холоп,— так прибежала к нему его княгиня, и ну плакаться о своем сыне и ругать вас ворами и изменниками. А он-то ей сквозь слезы и молвит: «Не плачь, княгинюшка, знаешь русскую поговорку: хотя де они щуку и съели, а зубы-то ее целы. Если Бог поможет,— сказал боярин,— то все они, воры и бунтовщики, по Белому и Земляному городам будут перевешаны». Так-таки и сказал. Сам своими ушами слышал.

— Вот он каковский! — вопили стрельцы.— Прощает, а сам думает, как бы вконец извести нас! Бери его на расправу!

Со страшным ревом поворотила толпа к дому Долгорукого. Боярин слышал, как стрельцы отбивали ворота и ломились во двор, но без чужой помощи он не мог подняться и укрыться, а между тем слуги к нему не являлись. Лежа на постели, он творил молитву, когда стрельцы уже не «тихим обычаем», а с шумом и бранью ворвались в его опочивальню. Короток был их расчет с престарелым боярином. Кто схватил его за бороду, кто за волосы. Сдернули с постели и поволокли по лестнице. Глухо застучало по деревянным ступенькам его бессильное тело. Стрельцы вытащили Долгорукого на двор, принялись там за бердыши, и мгновенно изрубленное в куски тело было брошено в навозную кучу.

Другие стрелецкие ватаги чинили между тем беспощадную расправу в иных местах Москвы. Одна из них направилась за Москворечье, убивая на пути встречных служилых людей и тех холопов, которые пытались оборонять своих господ. С веселым разгулом пришла она к Ивану Фомичу Нарышкину и мигом порешила с ним своими бердышами.

К вечеру стали стихать неумолчно раздававшиеся в продолжении целого дня вопли, крики, барабанный бой и набат, а к ночи в Москве все стихло, перекликалась только стрелецкая стража. Взошел на ясном небе полный месяц. Тоскливо серебристым светом озарял он кремлевский дворец, окруженный стрелецким караулом, с разбитыми стеклами, вышибленными оконными рамами и с выломанными дверями. Свет месяца то отражался ярким сиянием на вызолоченных крестах, гребнях и маковках, венчавших отдельные здания дворца, то расстилался широкою полосою по белой их жести, придавая странные очертания множеству дворцовых крыш, гладких и чешуйчатых, то покатых, то построенных над башенками и вышками в виде бочек, скирд сена и шатров, с поставленными над ними двухглавыми орлами, львами, единорогами, драконами и флюгерками.

XVI

Тихо приотворилась дверь из Крестовой палаты в опочивальню Софьи. Не сняв денной одежды, задумчиво сидела она на постели. При легком скрипе двери царевна вздрогнула.

— Знать, Иван Михайлович или князь Иван Андрее-

вич,— подшепнула стоявшая около нее Родилица и, подбежав к двери, заглянула за нее.— Оба они и есть!

— Войди, Иван Михайлович, войди и ты, князь Иван Андреевич,— отозвалась Софья, не поднимаясь с постели.— Изморилась я сегодня!

— Попомнят-таки этот денек Нарышкины! — с выражением удовольствия сказал Милославский, входя в опочивальню.— И завтра опять то же будет.

— Стрельцы готовы стоять за царевича Ивана Алексеевича. Били только его лиходеев, да и у тех добра не тронули. Поджогов тоже нигде не произвели, да и кабаки целый день, почитай, что пустыми оставались, — докладывал царевне Хованский.

— А что, князь Иван Андреевич, много на Москве побитых? — спросила Софья.

— Кто их в точности теперь сочтет! Слышно, что из чиновных людей стрельцы за Кремлем убили князя Юрия Алексеевича Долгорукого да за Москворечьем, говорят, изрубили Ивана Фомича Нарышкина, а о здешних ты, я чаю, царевна, сама хорошо знаешь,— отвечал Хованский.

— Побили бы и больше, да многие успели ухорониться,— прибавил Милославский.

— Трусы бояре! — с презрением заметила Софья.— Все кинулись вразброд и себя-то отстаивать не посмели!

— Будешь тут трус, когда бьют беспощадно! Да и кто же не струсил? Вот хотя бы князь Василий Васильевич! Из книг много он о геройстве начитался, а сам Бог весть где ухоронился! — насмешливо сказал Милославский.— Пойдика отыщи его теперь.

— Князь Василий Васильевич мужественно действовал,— с заметным смущением проговорила Софья.— Да и что он один мог поделать!

— Вот тем-то и все отговариваться станут! — перебил с той же насмешкой Милославский.

— Ну а завтра как? Опять придут стрельцы ко дворцу, как прикажешь действовать? — спросил Хованский царевну.

Софья призадумалась, заметно было, что она колеблется.

— Смешное дело, князь Иван Андреевич, что ты вздумал спрашивать у ее пресветлости, как действовать! Известно, нужно извести всех Нарышкиных! — вмешался Милославский.

— Нет, Иван Михайлович, не так ты говоришь,— перебила царевна.— Если уже изводить кого-нибудь, так изведи-

те разве только старшего брата царицы. Он прямой мой ненавистник.

— А с Кириллом Полуектовичем что же поделаем? — спросил Хованский.

— Пускай стрельцы потребуют его пострижения,— отвечала царевна под влиянием кротких внушений, сделанных ей заранее Голицыным.

— Быть по-твоему, благоверная царевна. Да скажу я тебе, что бы ни произошло завтра, ты не пугайся, ни тебя, ни царевича, ни сестер твоих, царевен, никто не изобидит! — с уверенностью сказал Хованский, уходя от Софьи.

Между тем в другой части Кремлевского дворца царица Наталья Кирилловна заливалась горькими слезами. Все ей чудилось, что стрельцы снова наступают на дворец, и страшно ей было за своих кровных. При начале возмущения отец царицы, с некоторыми из своих родственников, укрылся сперва в тереме царевны Натальи, а потом в деревянных хоромах царицы Марфы Матвеевны, примыкавших глухою стеною к патриаршему двору. Их провела туда царицына спальница Клушина, которая одна только и знала, где утаились Нарышкины.

— Узнают они вас по волосам,— сказал Иван Кириллович прятавшимся вместе с ним стольникам Василию Федоровичу, Кондрату и Кириллу Алексеевичам Нарышкиным.— Больно длинны вы их носите, остричь нужно! — И, схватив ножницы, живо остриг своих сродственников.

Постельница провела их всех в темный чулан, заваленный перинами, и хотела затворить дверь.

— Не запирай! — крикнул ей молодой Матвеев, сын боярина Артамона Сергеевича.— Хуже наведешь подозрение, скорее искать не станут, коли дверь отворена будет.

В сильном страхе жались там Нарышкины, когда до них стал долетать сперва гул набата, а потом и барабанный бой.

— Наступил наш смертный час! Пришел нам конец! — крестясь, говорили они.

Действительно, вооруженные стрельцы ввалились в Кремль и прямо подошли к Красному крыльцу, отделявшемуся от площади золотою решеткою.

— Подавайте нам Кирилла Полуектовича, Ивана Нарышкина, думного дьяка Аверкия Кириллова да дохтуров Степана-жида и Яна! — кричали они.

Смело, в сопровождении Хованского и Голицына, вышла теперь Софья к волновавшимся стрельцам.

— Ни Кирилла Полуектовича, ни Ивана Кирилловича, ни дохтура Степана у великого государя нет! — объявила она.

— Если их нет,— закричали стрельцы,— то мы придем за ними завтра, а теперь пусть государь укажет выдать нам Аверкия Кириллова да Яна.

Царевна поднялась наверх. Стрельцы продолжали кричать, требуя немедленной выдачи Кириллова и Яна, и, спустя несколько времени, оба они, беззащитные и трепещущие, появились на крыльце. Стрельцы встретили их с диким воем и, не дав сойти с лестницы, кинулись на них. Сперва подняли их на копья, потом сбросили вниз с лестницы и тут же, на месте, изрубили.

Между тем несколько ватаг, отделившихся от толпы, повторяли такой же тщательный обыск, что и накануне.

Обмерли и не смели дышать Нарышкины и Матвеев, когда стрельцы проходили мимо, крича:

— Коли дверь отворена, знатно, наши здесь были и изменников не нашли. Ступай дальше!

— Нарышкиных нигде нет! — оповещали стрельцы своих товарищей.

— Если сегодня их здесь нет, так за Кириллом Полуектовичем и Иваном Кирилловичем придем завтра! — кричали в толпе и, расставив по-вчерашнему кругом дворца и всего Кремля крепкие караулы, двинулись в Немецкую слободу отыскивать доктора Степана Гадена.

Сильно переполошились обитатели Немецкой слободы, мирные немчины. Немало жило их там в ту пору, и никто прежде не обижал и не затрагивал их. Занимались они более всего ремеслами. Жены и дочери их проводили время не по-московски, сидя взаперти, а ходили по гостям и веселились с мужчинами. У немцев бывали пирушки и танцы. Разревелись теперь немки, завидев наступающую на слободу грозную стрелецкую силу. Страх их был, однако, напрасен. Стрельцы не тронули никого из немцев.

— Никак, братцы, жидовина-дохтур нам навстречу плетется! Харю-то его жидовскую я признаю издалека! — крикнул один стрелец, указывая на нищего, спокойно шедшего сторонкою.

— Он, проклятый, и есть! — поддакнул другой, пристально вглядываясь в нищего. — Стой-ка, приятель, ведь ты Степан, или Данило, Иевлич! — заревел он, загораживая дорогу оторопевшему нищему.— Что-то больно скоро ты обнищал?

Нищий побледнел и затрясся всем телом.

— Забирай его! — гаркнули стрельцы, окружив доктора Гадена, который, проведав еще накануне о возмущении стрельцов и о делаемых ему угрозах, переоделся нищим,

запасся сумою и убежал в подгородный лес, а теперь, проголодавшись, пришел в Москву запастись съестным.

От ужаса у Гадена была лихорадка.

— Были мы у тебя в доме и нашли там сушеных змей. Зачем их, поганый жидовина, ты сушишь? На извод, видно, православных да на дьявольские чары? — кричали стрельцы.

Гаден невнятно бормотал: «Spiritus armoräciae, conserva radicis et cichori»,— бессознательно твердя латинские названия самых употребительных в ту пору лекарственных снадобий, и растерянным взглядом, точно помешанный, обводил он стрельцов, которые привели его в Кремль и сдали под стражу своим товарищам.

Несмотря на буйства стрельцов, день 16 мая миновал в Кремле гораздо благополучнее, но зато в стрелецких слободах творилась страшная расправа.

— Любо ли? — кричали стрельцы, втаскивая на каланчи или высокие сторожевые башни и раскачивая за руки и за ноги нелюбимых ими начальников.

— Любо! Любо! — вопили им в ответ снизу, и летели несчастные с каланчей на копья стрельцов.

Наступил третий день стрелецкого смятения, и опять рано поутру загудел 17 мая над Москвою набат, а на улицах раздался грохот барабанов. В одних рубахах и почти все без шапок, но с ружьями, копьями и бердышами, двинулись стрельцы из своих слобод к Кремлю проторенною ими дорогою.

Расположились они опять перед Красным крыльцом и отправили вверх выборных бить челом великому государю, чтобы указал он выдать им Кирилла Полуектовича Нарышкина, сына его Ивана и дохтура Степана.

Долго медлили во дворце с ответом. Наконец на Красном крыльце показалась царевна Софья, но уже не одна, а в сопровождении своих сестер, рожденных от царицы Марьи Ильиничны.

Стрельцы встретили царевну сдержанным ропотом, который, впрочем, затих, когда она заговорила.

— Для нашего многолетнего государского здоровья простите Кирилла Полуектовича, его сына Ивана и дохтура Степана,— сказала царевна, низко кланяясь стрельцам, вместе с нею поклонились им и ее сестры.— Пусть Кирилл Полуектович пострижется в монашеский чин, а на жизнь его не посягайте.

Стрельцы принялись толковать и спорить, а царевны, стоя неподвижно на площадке Красного крыльца, ожидали

их решения. Но вот шум затих и перед толпою стрельцов выступил Чермной.

— Для тебя, благоверная государыня царевна Софья Алексеевна,— громко сказал он, снимая шапку и кланяясь царевне,— мы прощаем Кирилла Полуектовича. Пусть идет в монастырь. Любо ли? — спросил он, обращаясь к стоявшей позади него толпе.

— Любо! Любо! — заголосили они.

— А Ивана Кириллыча простить мы не можем: зачем надевал он царскую шапку и садился на престол? Не можем мы простить и дохтура Степана: он извел отравою великого государя царя Федора Алексеевича. Пусть нам и того и другого выдадут мирным обычаем, не то возьмем их силою. Любо ли? — снова спросил Чермной стрельцов.

— Любо! Любо!

— Нам, благоверная царевна,— заговорил другой выборный, Петр Обросимов,— о выдаче дохтура и просить было бы не след. Он и без того наш, мы его сами изловили и сюда привели!

Царица Наталья Кирилловна в это время сидела в своем покое в креслах. Закрыв ширинкою лицо, она громко рыдала. Безмолвно стояли около нее отец и старший брат, бледные, напуганные и не знавшие, что им делать; позади кресел находились духовник царицы и несколько бояр, не сумевших выбраться через сторожевую стрелецкую цепь.

— Отмолила я, матушка, у стрельцов твоего родителя! — сказала Софья, входя в царицыну палату, Наталья Кирилловна бросилась обнимать царевну, а потом кинулась на шею своему отцу.— Требуют только его пострижения.

Кирилл Полуектович вздрогнул.

— А еще чего они требуют? — спросил он прерывающимся голосом.

— Требуют выдачи твоего сына Ивана,— произнесла царевна твердым голосом, в котором слышался окончательный и неизменный приговор.

С пронзительным криком обняла царица своего брата.

— Не выдам я Иванушку, не выдам! Пусть лучше убьют меня злодеи! — кричала она в исступлении.

— Не выдавай меня, сестрица! — молил Нарышкин, упав перед царицею на колени и охватывая ее ноги.

— Ты слышишь, матушка, как там кричат? — проговорила царевна.— Ничего, матушка, с ними не поделаешь!

Испуганно и дико обвела глазами царица всех окружавших ее; потупив глаза, они молчали, никто не изъявлял

желания отстаивать Ивана Нарышкина, и Наталья Кирилловна поняла, что жребий ее брата решен.

Медленными шагами пошла, молча, царица в церковь Нерукотворного Спаса, ближайшую к золотой решетке. Перед этою решеткою стрельцы волновались все сильнее и сильнее, требуя немедленной выдачи Ивана Кирилловича. Следом за царицею пошли и все бывшие с нею.

— Помолись, братец, всемилостивому Спасу, исповедайся и причастися святых тайн. Быть может, Господь Иисус Христос и Его Пречистая Матерь защитят тебя!

Молодой боярин положил среди церкви три земных поклона, после чего духовник царицы повел его в алтарь и там, наскоро исповедовав, причастил и помазал миром.

Когда он вышел из бокового притвора, царица с отчаянным воплем кинулась к нему, но он, протянув вперед руки, остановил ее:

— «Аз на раны готовь и болезнь моя передо мною есть выну»! — проговорил он спокойно.— Государыня-царевна! — обратился он к Софье.— Бесстрашно иду я на смерть и желаю только, чтоб моею невинною кровью прекратились все убийства.

Нарышкин стал сходить с лестницы. Едва распахнулись двери золотой решетки, как толпа стрельцов с яростью кинулась на него. Царица с криком рванулась вперед, но голос ее замер, ноги подкосились и она, обеспамятев, зашаталась. Царевна поддержала ее, а бояре, взяв ее, полумертвую, под руки, повели наверх.

— Неспроста нужна ему смерть! Тащи его в Константиновский застенок!.. Пытать его станем, зачем он на царство сесть домогался? — кричали стрельцы.

Следом за Нарышкиным, осыпаемым бранью и ругательствами, поволокли и жидовину-доктора, над которым стрельцы издевались и потешались, заливаясь веселым, громким хохотом.

— Что, брат, жидовская харя, попался к нам! Вот сейчас узнаешь, как мы лихо лечить тебя станем. Что же не благодаришь нас за ласку? — трунили над несчастным.

Ошалелый Гаден принялся кланяться стрельцам на все стороны.

— Вишь ведь, он и вправду нас благодарит! — хохотали стрельцы.— Ну-ка, поблагодари еще!

Привели боярина и доктора к одной из кремлевских башен, в которой помещался Константиновский застенок. Здесь были готовы к услугам стрельцов и дыбы, и кнутья,

и ремни, и цепи, и веревки, и клещи, и жаровни, и все тотчас пошло в дело.

Пытки кончились, и измученных страдальцев, еле живых, поволокли на Красную площадь.

Там стрельцы остановились и обступили плотным кругом брошенного на землю Нарышкина, обнаженного, с истерзанною от ударов кнута спиною, с прожженными боками и с вывихнутыми руками и ногами.

— Любо! — дружно крикнули они, и среди этого зловещего крика страдалец высоко взлетел на копьях над головами своих мучителей, а оттуда тяжело рухнул на землю. Засверкали и застучали над ним бердыши, и через несколько минут тело его обратилось в кровавое крошево, голова же была воткнута на копья и высоко поднялась над толпою.

Такою же мученическою смертью погиб и неповинный ни в чем доктор, наклепавший, впрочем, сам на себя при невыносимых пытках невозможные даже преступления, совершенные будто бы им при содействии нечистой силы.

Удовлетворенные вполне выдачею Нарышкина, стрельцы подступили снова к царским хоромам.

— Дай Бог здоровья и долголетия царю-государю! — кричали они.— Мы свое дело сделали, а теперь пусть он, великий государь, управится с остальными злодеями. Рады мы теперь умереть за великого государя, царевича и царевен.

Выражая в таких восклицаниях свое удовольствие, стрельцы сняли расставленные около дворца караулы и возвратились в свои слободы.

Перед закатом солнца послышался снова барабанный бой. Но теперь грохот барабанов созывал москвичей на площади, торжища и перекрестки для выслушания царского указа о том, что дозволяется хоронить убитых. Указ этот был издан по распоряжению царевны Софьи Алексеевны. Работы было немало, и трудно было признать родных и знакомых в обезображенных и рассеченных на куски трупах. Бояре со своими слугами и разного чина люди бродили теперь по Москве, стараясь по каким-нибудь приметам найти тех, кого искали.

Но прежде, чем появился этот указ, с особым усердием занимался этим печальным делом богомольный арап Иван. Он отыскал куски рассеченного трупа своего боярина, собрал их в простыню, принес в дом и, созвав ближайших родственников убитого, а также служителей Никольской церкви, что на Столбах, предал останки своего господина честному погребению. Хвалили даже и стрельцы такую

бескорыстную и опасную преданность черного раба, которому они не препятствовали нисколько заботиться о похоронах их бывшего врага, боярина Артамона Сергеевича Матвеева.

Не забыли стрельцы отца царицы и 19 мая явились снова перед дворцом, но на этот раз без оружия, и мирно били челом великому государю о пострижении его деда, и великий государь повелел постричь Кирилла Полуектовича Нарышкина, назначив быть при его пострижении боярину князю Семену Андреевичу Хованскому и окольничему Кириллу Осиповичу Хлопову. Нарышкина, окруженного стрелецкою стражею, повели в Чудов монастырь. Там его постригли под именем Киприана и на другой день отправили на Белоозеро в Кириллов монастырь.

XVII

В это бурное время, когда, по словам одного современника, «бысть ослабление рук у всех людей», когда все правительственные власти бездействовали и даже скрылись, а царица Наталья Кирилловна не решалась показаться, боясь, чтобы и ее не увели в монастырь — в это время смело выступила царевна Софья Алексеевна. Она «мудрыми и благоуветливыми словами» уговаривала стрельцов жить мирно по-прежнему и служить верно, чтобы страхов, всполохов и обид никому не делали. Влияние царевны на стрельцов сделалось слишком заметно, и сама она убедилась, что может располагать ими для достижения своей цели. Чтобы прикрыть на первый раз свои единоличные распоряжения, она стала являться повсюду в сопровождении царевен, своих теток и сестер, так что, казалось, сбылось пророчество стрельчих: в Москве наступило бабье царство.

— Повелела бы, царевна, ведать стрелецкий приказ боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому,— говорил Иван Михайлович Милославский, рассчитывая на дружбу и преданность к нему князя Ивана.— Стрельцы его отменно любят и не иначе, как батюшкою, называют.

Царевна призадумалась.

— Знаешь, Иван Михайлович, когда ты говоришь о князе Иване Андреевиче, мне словно чуется что-то недоброе, как будто какой беды я боюсь от него! — нерешительно проговорила она.

— И полно, благоверная царевна, он всегда в твоих руках будет, а меж тем он нам нужен. Князь Иван нам

близкий человек, он стрельцов до новой смуты не допустит, да и другим со своею стрелецкою ратью гилевать не позволит. При том же он и в расколе влиятелен, а ведь того и смотри, что и раскольники поднимутся!

В воспоминании царевны ожил отзыв Хованского о расколе, который он называл грозною народною силою.

— Много уж будет силы у князя Ивана, хлопот бы он нам не наделал,— сказала она озабоченно.

— Окажется у него много силы, так и отберем ее,— ответил Милославский с уверенностью, подействовавшею на Софью.

— Хорошо, Иван Михайлович, по совету твоему я укажу князю Ивану Хованскому быть начальником стрелецкого приказа,— сказала Софья.— Посматривай только за ним хорошенько, полагаться крепко на него нельзя, старая он лисица...

— Статься может, что ты, государыня-царевна, в речах моих о Хованском сомневаешься, так поговори с князем Василием Васильевичем. Человек он породы знаменитой. Тебе, верно, слышать приводилось, что один из его прапращуров женился на польской королевне и вместе с нею сел на королевский престол.

Царевна встрепенулась.

— Рассказывал мне покойный Симеон, что один из рода Гедиминовичей, от которых происходит князь Василий, по имени Ягелло, великий князь литовский, женился на королевне Ядвиге и что от него пошло родоначалие королей польских. Но что же из этого?

— Да так, к слову пришлось...

И он и царевна замолчали.

«К чему он заговорил об этом? — думала Софья.— Ведь князь Василий женат, да и царь Петр сидит на престоле, а братец Иванушка в загоне... Как все это далеко еще даже до первого шага!»

— Что призадумалась так, государыня-царевна? — вкрадчиво заговорил Милославский с выражением участия.— Тягчат, видно, царственные дела, нужно бы тебе иметь для них оберегателя. Разделить бы с кем-нибудь державные твои заботы...

— И я разделяю их с братом, царевичем Иваном Алексеевичем. Он должен быть на престоле московском! — резко и твердо проговорила царевна.

— И сядет через несколько дней,— отозвался уверенно Милославский.— Князь Иван Андреевич совладает с этим делом.

От Софьи Милославский отправился к Голицыну, с которым уже предварительно говорил о назначении князя Хованского начальником стрелецкого приказа. После того Милославский навестил Хованского и, передав ему о предстоящем начальстве над стрельцами, условился о том, как должны будут действовать они для доставления престола царевичу Ивану.

23 мая явились в Кремлевский дворец выборные от всех стрелецких полков. При виде их болезненно заныло сердце царицы Натальи Кирилловны, не успевшей еще наплакаться над ссылкою своего отца и смертью брата. Выборные заявили собравшейся в Грановитой палате боярской думе, что стрельцы и «многие чины» московского государства хотят видеть на престоле обоих братьев. Для напуганного боярства достаточно было такого простого заявления стрельцов, чтобы склонить думу к немедленному исполнению их требования. Но выборные сочли не лишним высказать на всякий случай и угрозу прийти с оружием и поднять мятеж, пожалуй, еще страшнее прежнего.

Бояре явились в терем царевны, чтобы известить ее о требовании стрельцов.

— Надлежит вам рассмотреть челобитную стрельцов и доложить о ней великому государю. Призовите в думу святейшего патриарха, духовные власти и выборных от чинов московского государства. Пусть все они сообща обсудят дело,— повелела царевна.

Покорное молчание и низкие поклоны были ей ответом.

Перед этим собранием, своего рода земским собором, созванным на третий день после прихода стрельцов с челобитною, князь Василий Васильевич Голицын красноречиво и убедительно изложил доводы о пользе царского двоевластия. Насколько убедились его доводами думные и выборные люди, неизвестно, но известно только, что никто не решался прекословить требованию стрельцов. И потому все единогласно порешили: быть благотворному царевичу Ивану Алексеевичу на московском престоле вместе с братом его, великим государем царем Петром Алексеевичем.

— Кого же мы будем считать первым царем? — запросил патриарх собрание.— Отдадим ли мы преимущество первенству рождения или же первенству избрания?

— Быть первым царем великому государю Ивану Алексеевичу! — крикнули стрелецкие выборные.— Он старший брат, обходить его не можно.

Вслед за ними повторило тот же клик и все собрание.

Этим решением, как казалось, удовлетворено было желание стрельцов.

— Чтобы не было смятения,— толковали они по наущению Хованского,— пусть великий государь Иван Алексеевич будет первым царем на отцовском престоле и учинит себе честь первенства, а великий государь Петр Алексеевич, как молодший, пусть станет вторым царем. Мы же, всех полков стрельцы и люди, будем служить и прямить обоим великим государям.

Донесли царевне Софье о решении собора.

— Быть тому можно,— сказала она,— когда придут иноземные послы, выходить к ним и принимать их будут оба государя. Петр Алексеевич будет водить войска против неприятелей, а царь Иван Алексеевич станет править московским государством.

— Быть тому! — повторили и другие царевны, отправившиеся вместе с Софьей Алексеевной и с боярами поздравить вновь нареченного государя.

— Первенства я не желаю,— проговорил болезненным и тихим голосом Иван Алексеевич. При этих словах Софья строго взглянула на брата.

— Впрочем, да будет воля Божия,— смутившись, пробормотал великий государь.

Ударили в большой колокол Успенского собора, и оба царя пошли рядом в Грановитую палату. Там все присутствовавшие стали подходить к руке царя Ивана Алексеевича, а царские дьяки усердно голосили многолетие новому великому государю.

— Не все еще кончено,— сказал Иван Михайлович, явившись после этого торжества к Софье Алексеевне,— и ты, государыня-царевна, должна взойти на высоту: стрельцы сделают свое дело.

Краска удовольствия разлилась по лицу Софьи. Образ царевны Пульхерии являлся ей все чаще, а рядом и добродетельный Маркиан в виде князя Василия.

Милославский, князь Иван Хованский и постельница Родилица принялись снова радеть в стрелецких слободах в пользу Софьи Алексеевны.

— Слышно,— заговорили стрельчихи, подбиваемые Федорою Семеновною, — что царь Иван болезнует о своем государстве, да и царевны сетуют.

И говорившие это стрельчихи принимались разъяснять своим мужьям, что между царями-братьями начались смуты и раздоры, что царя Ивана Алексеевича обижают и притесняют, а для царевен настала плохая жизнь.

— Нужно прекратить смятение в царских палатах,— внушал своим товарищам выборный стрелец Кузьма Черный.

Заговорили в стрелецкой слободе о новом походе на Кремлевский дворец и с ненавистью принялись толковать о «медведице», называя этим прозвищем царицу Наталью Кирилловну.

— Плох царь Иван Алексеевич, он болен и хил, сам царством править не может, нужен ему помощник, а кому же и быть ему в помощь, как не царевне Софье Алексеевне? — внушал Хованский стрельцам.

Прошло три дня после провозглашения царем Ивана Алексеевича, и стрельцы, собравшись снова перед Красным крыльцом, отрядили своих выборных к великим государям с челобитною, в которой просили, чтобы правительство царством московским, ради ранних лет их величеств, вручить сестре их, благоверной государыне царевне Софье Алексеевне. Скоро в ту пору все делалось по требованию стрельцов, а потому оба царя, патриарх, духовные власти, бояре, думные и служилые люди, а также и выборные от московских сотен отправились, не медля, в терем царевны.

Сдерживая охватившее ее волнение, царевна спокойно, как казалось, встретила явившихся к ней просителей. Все они ударили ей в землю челом, за исключением царей, сделавших перед сестрою три низкие поклона.

— Пришли мы к тебе, государыня-царевна Софья Алексеевна, бить челом, чтобы ты соизволила принять правление царством московским, за малолетним возрастом великих государей, братьев твоих,— заговорил патриарх Иоаким, обращаясь к Софье Алексеевне.

— Не женских рук такое великое государское и земное дело, святейший владыка! — отозвалась царевна.— Нет у меня к тому делу ни навыка, ни познаний, да и в государстве московском то не за обычай.

— Пресветлейшая государыня-царевна! Соизволь исполнить волю Божию и желание всего московского народа! — просительно заговорили присутствующие и снова упали ниц перед будущею правительницею.— Снизойди, государыня-царевна, на рабские мольбы наши! Не оставь нас, великая государыня, в скорбях и печали! Ты, единая, утвердишь у нас покой и тишину...

Долго слышались мольбы, и не раз колени и лбы усердно стукались об пол. Гордо стояла молодая царевна с лицом, не покрытым фатою, а разных чинов московские люди — эти исконные притеснители женского пола, поучав-

шие его «жезлом»,— покорно, умиленно, со слезами просили, чтобы она стала править российским царством!

«Теперь я на высоте! — думала, торжествуя, царевна.— И не сойду я отсюда долу!»

— Уступаю я,— заговорила царевна, обращаясь к присутствующим,— мольбам всего народа и дозволяю думным людям докладывать мне обо всех государственных делах для совершенного во всем утверждения и постоянной крепости и повелеваю писать имя мое наряду с именами государей-братьев, нарицая меня великою государынею, благоверною царевною и великою княжною всея Великия, Малыя и Белыя России.

От сильного, радостного волнения готов был перерваться звонкий голос царевны, но она осилила себя и довела речь до конца.

— Желаем здравия великой государыне!.. Пошли ей Господи многолетие! — воскликнули челобитчики, и снова застучали перед царевною их лбы и колени.

— Да наставит тебя Господь на путь правых! — произнес торжественно патриарх, благословляя царевну.

И трепет охватил Софью при сознании, что теперь все покорствует перед нею.

XVIII

Рассвет раннего летнего утра проникал в небольшую низенькую горенку, пропитанную запахом ладана и деревянного масла. На простом белом столе лежали увесистые книги в кожаных с медными застежками переплетах. На стене висели образа, черные ременные лестовки и разноцветные ладанки; в переднем углу горенки местился большой киот, на верхушке которого, под вербами, стояло множество стеклянниц со святою водою и просвиры всевозможных величин, а перед почерневшими от времени и копоти иконами теплилось несколько неугасаемых лампад и, вдабавок к лампадам, были прикреплены к самым доскам икон желтые восковые свечи. Кроме стола с книгами и небольшой скамейки, в этой горенке ничего больше не было, а под образами, головою к киоту, стоял белый тесовый гроб.

В дверь горенки кто-то постучался. Покойник зашевелился, повытянулся, приподнялся и, отбросив с лица саван, начал лениво протирать глаза, потом несколько раз перекрестился, зевнул и, не торопясь, вылез из гроба.

— Подожди! — крикнул он на продолжавшийся стук, снимая саван и надевая поверх белой рубашки старый черный подрясник из самого грубого сукна.

— Эх ты, отче Сергий, заспался! — слышался за дверью грубый голос.

— Какое заспался? С вечера до поздней ночи радел Господу Богу, так вот сон и одолел меня, и прилег-то я только перед самою зарею.

Вставший из гроба откинул щеколдку от двери, и в ней показался стрелец громадного роста, упиравшийся головою под самый потолок горенки.

Стрелец подошел к Сергию под благословение, а потом начал креститься перед образами. То же, вместе с ним, стал делать и хозяин.

— Пришел я к тебе с поклоном от нашей братии стрельцов: просят тебя в их круг пожаловать,— заявил расстриженному иноку Сергию выборный стрелец Обросим, или Амбросий, Петров.

— Идти-то к вам боязно, человек я тихий и смирный, а ваши-то молодцы больно шумят,— отозвался Сергий.

— Эй, батька, не робей! Не все ли тебе равно: ведь в стрельцы тебя не возьмем; ты, чай, и пищаль-то зарядить не сумеешь.

— Отстреливаюсь я от моих врагов божественною пищалью, а в мирской пищали и нужды мне не настоит...

— А что, батька, чай, бока-то в гробе порядком отлежал? — продолжал подсмеиваться стрелец, заглянув в гроб.— Для чего никакой подстилочки туда не положишь? Хотя бы сенца аль соломки?

— Не кощунствуй, Петр Гаврилыч! Пришел антихрист, а разве ты ведаешь, когда наступит конец миру. Не вспоминают об этом лишь нечестивые никониане, а нам, ревнующим об истинном древнем благочестии, постоять за него следует.

— Вот о том, чтобы ты постоял за него, я и пришел к тебе от нашей братии,— перебил Петров.

— В чем же дело?

— Нужно будет написать государям и государыне Софье Алексеевне челобитную, чтобы допустили они нас, православных, препираться с никонианами о вере

— Изволь, такую челобитную я напишу, а потом что же будет?

— Станем всенародно спорить с никонианами и одолеем! — с уверенностью отвечал стрелец.— Столковаться, впрочем, с тобою самолично я обо всем не смогу, а приходи

к нам. Ведь не смуту хотим мы учинить, а к христианскому подвигу готовиться, и не ваше ли монашеское дело приуготовлять к тому нас, несведущих мирян?

— Коли так, то приду сегодня, если успею челобитную написать, а теперь Богу молиться нужно,— сказал Сергий, расставаясь со своим гостем.

После долгой и усердной молитвы и после сотни отброшенных поклонов, Сергий присел на скамью и, облокотясь на стол, принялся обсуждать сам с собою, в чем должна состоять стрелецкая челобитная об истинной вере.

— Нужно первее всего постоять за «аз»»,— соображал Сергий. — Читалось прежде в символе веры «рожденна, а не сотворенна». С чего же никонианцы выпустили букву «аз»? Потом надлежит восстановить в чине богоявленского водоосвящения слова «и огнем». Молились прежде об освящении воды Духом Святым и огнем, а никониане «и огонь» из книг вычеркнули; хотели, значит, огонь в Божьем мире извести...

Нужно было также разрешить вопросы о «сугубой аллилуйе», о «хождении по солонь» и о «двуперстном знамении» в том смысле, в каком принято было это до водворения в православной церкви никоновских новшеств. Вопрошал он и о том, зачем никониане вместо «благословен грядый» стали петь «обретохом веру истинную», как будто прежде истинной веры не было; почему архиереи носят жезлы с «проклятыми» змеями и надевают клобуки, как бабы. Далее этих вопросов он не шел и в этом случае не был похож на других вождей раскола, которые придавали своему учению не одно только религиозное, но и политическое значение.

Обдумав, Сергий принялся писать челобитную, прося великих государей и великую государыню взыскать старую веру, в которой российские чудотворцы, великие князи и благоверные цари Богу угодили, и потребовать от патриарха и от властей духовных ответа, отчего они священные книги, печатанные до Никона, при первых благочестивых патриархах, возненавидели, старую и истинную веру отвергли и возлюбили новую, латино-римскую?

Закончив, Сергий отправился к стрельцам, которые собрались на сход. Умилились стрельцы, слушая челобитную, наполненную скорбью и сетованиями о падении в московском государстве древнего благочестия.

— Мы за тленное голов наших чуть не положили, а из-за Христа-света отчего не умереть? — кричали они, вспоминая о первом своем приходе в Кремль, и повели Сергия

к своему начальнику, князю Ивану Андреевичу Хованскому.

— Вот, батюшка,— говорили они, кланяясь вышедшему к ним на крыльцо боярину,— привели мы к тебе инока Сергия, поспорит он с никонианами.

Хованский подошел к Сергию под благословение, а затем поклонился ему в ноги и, приняв от него челобитную, возвратился в свои хоромы, чтоб прочитать ее прежде подачи государям.

Нахмурился боярин. Сочинение Сергия показалось ему слабым для тех широких замыслов, какие имел Хованский, рассчитывая на возмущение раскольников.

— Ты, отче,— сказал Сергию боярин, вышедший снова на крыльцо,— инок смиренный, тихий и не многоглаголивый. Не станет тебя на такое трудное дело, как препирательство с никонианами. Надобно против них ученому человеку ответ держать.

— Хотя я, боярин, и не многословен, но надеюсь на Сына Божьего и верую, что он может и немудрых умудрить,— возразил Сергий.

— Так-то так, а все-таки...

Хованский призадумался. Видно было, что он не решился поручить Сергию борьбу с никонианами.

— Да не позвать ли на такое дело попа Никиту? — подсказал Хованскому кто-то из стрельцов.

— И точно что позвать! — радостно вскрикнул Хованский.— Как это он совсем у меня из головы вышел? Знаю я этого священника гораздо, не раз беседовал. Против него никонианам нечего будет говорить, он сразу уста им заградит. А мне самому дело это не за искус. Божественного писания вконец я не знаю; измлада навык к воинскому, а не к духовному чину... Но верьте мне, не будут вас по-прежнему казнить, вешать и жечь в срубах. Бога призываю во свидетели, что рад стоять за вас! Доложу челобитную вашу великим государям, чтобы они назначили собор,— сказал Хованский, отпуская от себя стрельцов.

Стрельцы верили князю, да и как было не верить ему! Со вступлением его в заведование стрелецким приказом начали государи оказывать стрельцам небывалые милости. Повелели они выдать им из государевой казны жалованье, которое недодано им было их полковниками за прежнее время; пожаловали им по десяти рублей на человека и указали собирать эти деньги со всего государства, а для чеканки их отбирать у частных людей серебряную посуду; роздали им также дворы и животы бояр и думных людей, взятые

на государя, после того как владельцы их были убиты в стрелецком мятеже; прибавили им жалованья, ограничили их службу одними городами, простили все бывшие на них недоимки и запретили наказывать плетью без царского разрешения. Удовлетворили их требованию и относительно ссылки тех лиц, которые, при восстании стрельцов, были обречены на смерть и которые успели спастись от избиения. Но особенная награда была оказана стрельцам 6 июня 1682 года, когда великие государи указом своим благодарили стрельцов «за побиение за дом Пресвятая Богородицы» и наименовали их «надворною пехотою», строго запретив называть их изменниками и бунтовщиками. В память же их подвигов приказано было поставить каменный столб с прибитыми к нему жестяными листами, а на листах этих означить имена убитых стрельцами бояр с прописанием их вин, как против государя, так и против стрельцов.

Уйдя от Хованского, стрельцы рассыпались по подмосковным посадам, населенным раскольниками, извещая их о предстоящем соборе и убеждая их постоять единодушно за истинную древнюю веру.

Князь же Иван, войдя в свои хоромы, приказал позвать к себе сына, князя Андрея.

— Ну, сынок! — начал старый князь, важно поглаживая седую бороду. — Ты знаешь, что мы идем из рода Гедиминовичей, великих князей литовских и королей польских, а древние родословцы, через князей полоцких, доводят родоначалие наше до первого российского государя Рюрика и до святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего русскую землю.

— Ведомо мне это, князь-батюшка,— отвечал молодой Хованский, слышавший беспрестанно от отца о древности и знатности рода Хованских.

— Веду я речь к тому, что нам, князьям Хованским, не след оставаться в заурядном боярстве и надлежит подняться на ту высоту, какая свойственна нашей знатной породе. Время теперь наступило такое, что достичь того будет не трудно. Будь только разумен и помогай отцу всеми силами.

— Готов я, родимый батюшка, исполнять во всем твою родительскую волю! — почтительно проговорил князь Андрей.

— И за то благословение Божие будет над тобою во веки веков. Слушай же, выбрось из головы всю прежнюю дурь. Не чета тебе невеста, которую ты подобрал себе, не дам я тебе моего благословения на брак с нею! — сурово сказал старик.

Молодой князь печально понурил голову.

— Не такую невесту найду я тебе,— проговорил Хованский.—Готовлю я тебя в женихи царевне Екатерине Алексеевне и, буде воля Господня станет, от тебя должно пойти поколение государей московских.

Князь Андрей в изумлении смотрел на отца.

— Повторяю тебе, что ты, по породе, достоин такого супружества, но надлежит тебе отстать от нечестивых никониан и присоединиться к древнему благочестию,— продолжал старик.

— Не понимаю я, батюшка, разности между старою и новою верою. Кажись, вся распря идет из-за книжных переправок, никто, однако же, с достоверностью не знает, которая из книг истинна.

— Истинны старые книги! — сердито проворчал старик.— Да и опричь того, по старым богослужебным книгам должная честь воздается боярству. По служебнику, изданному при царе Борисе Федоровиче, молились «о боярах, иже землею русскою пекутся». Молились, значит, о нас, боярах, а по служебнику, напечатанному при патриархе Филарете, молитва эта оставлена!

— Если ты, батюшка, желаешь, то я стану молиться и по старым книгам,— предупредительно отозвался князь Андрей.

— Желать мне самому нечего, а желаю я для спасения твоей души. Да беседуй почаще с отцом Никитою,— сказал старый князь, увидев подходящего к княжеским хоромам Пустосвята.

Старик пошел навстречу Никите и, приняв распопа с особым почетом, сообщил ему, чтобы он завтра, 23 июня, пришел рано поутру со своею богохранимою паствою на Благовещенскую площадь и остановился бы перед Красным крыльцом.

XIX

— Не след допускать, чтобы государи венчались на царство по новым книгам. Ляжем все до одного на месте, а этого учинить не дозволим! — раздраженно толковала толпа раскольников, направлявшаяся из-за Яузы к Кремлю.

Хотя толпа эта была безоружна, но тем не менее она подступала к царскому дворцу грозною тучею. Впереди ее, в истасканном подряснике, с всклоченною бородою и растрепанными длинными волосами, шел известный всей Мо-

скве расстриженный суздальский поп Никита, по народному прозванию Пустосвят. Он нес в руках крест и, часто оборачиваясь назад, исступленными глазами обводил толпу, ободряя ее и ускоряя ее движение.

— Чего стали? Вали вперед смелее! Ведь идем умирать за истинную веру! Или страх обуял? К нечестивым никониянам приобщиться хотите?

За Никитою шли бывшие иноки Сергий и Савватий. Первый из них нес евангелие, а второй — огромную икону с изображением Страшного Суда. На пути толпа все увеличивалась, и когда подошли к Красному крыльцу, она достигла громадных размеров.

— Зови их в ответную палату,— сказал жильцу бывший уже во дворце Хованский. По зову жильца вошли в палату Пустосвят, Сергий и Савватий, и из всех находившихся в палате бояр один только Хованский подошел к кресту, бывшему в руках Никиты.

— Зачем, честные отцы, пришли вы сюда? — спросил Хованский вошедших ересиархов.

— Пришли мы побить челом великим государям о старой православной вере, чтобы велели они патриарху и властям служить по старым книгам, а в новых книгах мы затеи и многие грехи обличим,— в один голос отвечали расстриги боярину.

— А челобитная при вас есть?

— Есть.

— Подавайте ее сюда, я покажу ее великим государям.— И, взяв челобитную из рук Сергия, Хованский пошел с нею вверх.

— Указали великие государи быть собору в среду, через три дня после царского их венчания! — объявил возвратившийся Хованский.

— Не подобает тому быти,— заворчали честные отцы.— Коли собор после венчания произойдет, так, значит, цари венчаться будут по новым книгам. Какое же это венчание? Еретическое оно будет.

— Будут венчаться по старым книгам,— утвердительно сказал Хованский, незаметно подмигнув Пустосвяту.

— Ну смотри, боярин, великий грех непрощенный берешь ты на свою душу, коль что да не так выйдет. Смотри! — предостерегал Хованского Пустосвят.

— Не придется брать мне на душу никакого греха! Будет так, как я вам говорю,— успокаивал князь, выпроваживая расколоучителей из ответной палаты, в которой государи обыкновенно принимали и отпускали иноземных послов.

— А чтобы не допустить до греха, так я сам принесу патриарху просвиры. Пусть на них он и отслужит обедню,— добавил Никита.

— Ладно, ладно! — уступчиво отвечал Хованский.— Не опоздай только, батька!

Накануне дня венчания царей в Успенском соборе было приготовлено так называемое «чертежное» место с устроенным на нем помостом о двенадцати ступенях, крытых алым сукном. От этого места и до входных дверей разостлали две дорожки: одну для государей из «рудожелтого» бархата, а другую для патриарха из бархата вишневого цвета.

25 июня 1682 года, ранним утром, торжественно загудели колокола всех московских церквей, возвещая о наступившем дне венчания на царство великих государей Ивана и Петра Алексеевичей, а в 8 часов утра государи пошли из своих хором в Грановитую палату. Предшествовали им окольничие и ближние люди, а за ними шли царевичи сибирские и касимовские и медленно выступали сановитые бояре в парчовых ферязях и высоких бобровых и собольих шапках. Заняв в Грановитой палате свои царские места, государи начали жаловать в бояре, а также в окольничие и думные дворяне. Новопожалованные, которым объявляли о такой милости думные дьяки, отправились на казенный двор, чтобы принести оттуда царские регалии: шапки, скипетры и державы. Все эти знаки царского достоинства были сделаны совершенно одинаковые для каждого из братьев.

Величаво, вслед за боярами, принесшими царские регалии, вошел в Грановитую палату князь Василий Васильевич Голицын.

— Время приспело вам, великие государи, идти во святую соборную церковь! — доложил он царям, отдав им при этом глубокий поклон.

Государи поднялись со своих мест и пошли в собор, а архимандриты, предшествуя им, понесли туда Мономаховы шапки на золотых блюдах, а также скипетры и державы. В соборе государи стали на «чертежное» место; здесь митрополиты надели на них царские облачения и шапки, а патриарх дал им в руки скипетры и державы, и тогда стали им петь многолетие, как всем собором, так и на клиросах; а между тем патриарх, духовные власти, бояре, окольничие и ближние люди стали «здравствовать им, великим государям, на их превысочайшем престоле».

Окончилось поздравление, и началась обедня. После херувимской государи сошли с чертежного места и по «золотным бархатам» приблизились к царским вратам, где

патриарх надел на них золотые цепи с животворящими крестами, служившие также знаками царского сана. Перед причащением государи приложились к иконам и потом низко поклонились присутствовавшим в церкви на все стороны. Растворились царские врата, митрополиты сняли с царей шапки, а патриарх помазал миром у каждого из государей лоб, щеки и сердце. После этого он ввел их в алтарь, и на время их причащения затворились царские врата. Причастившись, цари встали опять на «чертежное» место, и, когда обедня кончилась, патриарх приблизился к ним, осенил их крестом, дал каждому в руки жезл и стал поучать их от слов евангельских и апостольских.

При звоне колоколов цари вышли из Успенского собора. Идя по пути, устланному алым сукном, среди повалившихся на землю и безмолвствовавших подданных, великие государи направились сперва в Архангельский собор, а потом в Благовещенский. При их входе царевичи сибирские Григорий и Василий Алексеевичи осыпали их у самых дверей по три раза золотыми монетами, которые в золотых мисках подавали царевичам стольники. В то же время с соборных папертей бояре бросали народу золотые и серебряные деньги, и таким образом было разбросано сорок тысяч тогдашних рублей.

Прежде чем началась обедня в Успенском соборе, через плотную окружавшую его толпу с отчаянными усилиями, пробивалось несколько человек, желая во что бы ни стало дойти до собора.

— Пропустите нас! Дайте пролезть! Умилосердитесь! Истинная вера гибнет! — кричал исступленным голосом один из протискивавшихся, поднимая высоко над головою небольшой узел из белого чистого холста, в который были завернуты просфоры; он был в рясе, с надетыми поручами и эпитрахилью.

— Ошалел ты, что ли, батька! Куда так ломишься! — отозвался в толпе один из посадских, глядя на побагровевшего и потного распопа Никиту, который настойчиво протискивался вперед.

— Несу к патриарху просвиры! Пустите! Вера православная гибнет!.. — жалобно вопил задыхавшийся Пустосвят.

Но все его крики, просьбы, увещания и ругательства были напрасны. Неподвижно стояла перед ним плотная и равнодушная толпа. И вдруг на ивановской колокольне ударили к «достойной».

— Запоздал я! — взревел дико Никита и, побледнев,

рванулся, как бешеный, вперед, но снова встретил неодолимый отпор.— Погибла истинная вера! Еретики венчали царей по новым книгам! Отныне они неблагочестивые!

Обойдя кремлевские соборы, государи вернулись в Грановитую палату. Там сели они на своих престолах, а царевичи сибирские и касимовские положили к их ногам венцы своих царств, поклонившись три раза в землю перед великими государями. Ни словом, ни движением не ответствовали московские самодержцы на такое выражение верноподданства иноземных царевичей. Старший царь, подслеповатый, с нахлобученною на глаза Мономаховою шапкою, казалось, дремал, утомленный продолжительным торжеством этого дня; но бодро и смело посматривал отрок Петр с высоты своего престола, выражая быстрыми взглядами и порывистыми движениями избыток кипевшей в нем жизни.

В Крестовой палате и патриарх воздал царям поклонение в землю, но ему они ответили тем же, а потом, взяв его под руки, повели и посадили на патриарший престол.

Приняв поздравления от бояр и всяких чинов людей, государи угощали в столовой избе бояр, окольничих, думных и ближних людей водками и ренским вином. Тем и окончилось в Кремле торжественное венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей. Но зато громко принялись толковать о нем среди раскольников.

— Не истинно было нынешнее царское венчание. Служили не по старым книгам, молились не о «совокуплении», а о «соединении» церквей; просили не «умножения», а «изобилия» плодов земных; в херувимской пели не «всякую ныне житейскую отверзем печаль», а «всякое ныне житейское отложим попечение», в символе веры пели не «несть конца», а «не будет конца» и пропустили «аз», — гневно говорили раскольники, указывая и на другие отступления от древнего благочестия и отвергая в виду этого действительность помазания обоих государей на царство.

— Что же ты, отец, не принес в собор своих просвир? — выговаривал Хованский пришедшему к нему в тот же день Никите.— По всем сторонам я тебя высматривал. Сам виноват!

— Виноват не я, а паскудница просвирня. Замешкала и задержала нас, а когда мы прибежали на площадь, то протискаться к собору не было мочи. А тут и нечестивые никониане с злым умыслом не пускали нас дальше да еще издевались над нашим усердием! Что теперь, благоверный боярин, прикажешь нам делать?

— Подожди, отец, собора, скоро он будет, и мы посто-

им на нем за древнее благочестие; только вы не опаздывайте да не сробейте!

— С чего мы опаздывать и робеть будем? На собор не опоздаем, ведь там дело без просвирни обойдется! Только ты, боярин, не выдавай нас!

— Не выдам вас, а притворствовать мне пока нужно. Когда проведает правительствующая царевна, что я с вами заодно, так будет тогда моя погибель. Недолюбливает она вас крепко и за любовь мою к вам отнимет у меня начальство над стрельцами, а тогда никакой силы у нас под рукою не будет,— пояснил Хованский.

— Ладно, ладно, благоверный князь! Мы на тебя, как на каменную гору, упование наше возлагаем! — заявили Никита и его товарищи, расставаясь с боярином.

XX

Патриарх московский и всероссийский считался после царя «начальным» человеком во всем государстве. Если низложение Никона, заспорившего было с царем Алексеем Михайловичем, и показало громадный и даже безусловный перевес верховной светской власти над верховною духовною, то все же, по делам собственно церковным, патриарх оставался и после этого первенствующим лицом во всей русской земле. Такое первенство принадлежало и патриарху Иоакиму, несмотря на то, что он не отличался ни обширным умом, ни твердостью характера. В его правление церковью время было бурное. Прежняя патриаршая всероссийская паства распалась на два духовно враждебных стада. Кроме того, независимо от раскола, прокрадывалась в православную церковь и латинская ересь, распространителем которой был прежде наставник царя Федора Алексеевича и царевны Софьи, Симеон Полоцкий, вскормленник польских иезуитов, а после смерти его скрытным ревнителем этой ереси стал Сильвестр Медведев, ученик и друг Симеона, сближавшийся теперь все более и более с царевною-правительницею.

Крепко поморщился святейший владыка, когда 3 июля явился к нему из царского дворца посланец князя Хованского с приглашением от имени государей — прибыть безотлагательно в Крестовую палату для объяснений по челобитной о вере, поданной великим государям выбранными от стрелецкого войска.

— Ох, уж эти стрельцы! И в дела веры вмешиваться

начинают! — охал и ворчал пастыреначальник, собираясь исполнить царское повеление.

— Пришли они спросить твое святейшество, за что отвергнуты старые книги? — сказал Хованский вошедшему в крестовую палату патриарху, указывая ему на выборных.

— Не подобает вам, чада мои и братья,— начал поучительно патриарх, обращаясь к стрелецким выборным,— судить и простого человека, а кольми паче, архиерея. Вы люди чина воинского и вам это дело не за искус: нашею архиерейскою властью оно разрешается и вяжется. Мы на себе Христов образ носим, я вам пастырь, а не наемник, я дверьми вошел в овчарню Господню, а не перелез в нее, как тат, чарез ограду.

Долго бы, по всей вероятности, говорил святейший владыко со стрельцами в таком поучительном смысле, если бы из толпы их не выступили смелые книжники, предводимые Никитою.

— Пришли мы спросить тебя, за что предаешь ты богочтителей проклятию? За что отсылаешь ты их в дальние города? За что велел ты Соловецкий монастырь вырубить, а монахов за ребра вешать? Дай ответ на письме, почему ты старые книги выкинул? — заговорили расколоучители.

Патриарх хотел сказать им что-то в ответ, но замялся, зашамкал губами и стал слегка откашливаться.

— Да что тут толковать! Выходи, старче, препираться с нами на Лобное место! — крикнул Никита.

— Статочно ли препираться на площади о делах церковных! — возразил патриарх, и от сильного негодования белый клобук затрясся на его голове.

— Знать, старина, ты струсил! Что же? Так и не пойдешь? — подзадоривали раскольники Иоакима.

Не говоря ни слова, патриарх пошел из Крестовой палаты, сопровождаемый насмешками своих дерзких противников.

— Святейшему патриарху на Лобное место ходить незачем, великие государи указали быть собору 5-го числа сего месяца в Грановитой палате,— заявил Хованский выборным.

Обо всем, что происходило в Крестовой палате, дошло тотчас же до сведения царевны-правительницы.

«Не напрасно подозревала я Хованского, недоброе он затевает!» — подумалось ей.

Между тем раскольники стали деятельно подготовляться к предстоящему собору. Они ходили по стрелецким

слободам, побуждая стрельцов рукоприкладствовать под челобитною, которую следовало подать государям при открытии собора. Нападали они на православных священников и избивали их до полусмерти.

Настало 5 июля 1682 года. Не успел еще патриарх отслужить в Успенском соборе молебствие об утишении и умиротворении святой Божьей церкви, обуреваемой расколами и ересями, как до него стал доходить постепенно усилившийся на соборной площади шум, который вскоре усилился до того, что пришлось приостановить службу.

— Выйди ты к ним, отец Василий, и уйми нечестивцев. Чего они бесчинствуют перед храмом Господним! — гневно сказал патриарх, обращаясь к протопопу Спасской церкви.

— Того... святейший владыко... оно того...— замялся и забормотал протопоп, оробевший ввиду предстоявшего ему опасного поручения.

— Чего того? — передразнивая протопопа, сердито прикрикнул патриарх.— Ступай, коль приказываю. Вот тебе обличение на Пустосвята, прочитай его им.

Неохотно поплелся отец Василий в шумную толпу, и екнуло его сердце, когда он, выйдя на паперть Успенского собора, взглянул на площадь.

Вся площадь была сплошь покрыта народом, на который сзади напирали все новые и новые толпы. Над головами бесчисленной толпы то поднимались, то опускались старые закоптелые иконы, огромные подсвечники с пудовыми свечами, ветхие книги, аналои и скамейки. Над волновавшеюся площадью высоко виднелся Пустосвят, взобравшийся на устроенные подмостки, а около него стоял его неразлучный спутник, Сергий.

— Пусть они идут к нам! Гони их из хлевов и амбаров! — рычал Никита, указывая на кремлевские храмы.— Чего они не выходят на Лобное место препираться с нами!

Протопоп колебался, идти ему или нет в это шумное сонмище. Он видел, что теперь временная его паства состояла не из мирных овечек, а из бешеных волков. Протопоп решился не идти и, остановясь на паперти, начал там наскоро читать отпечатанное накануне, по указу патриарха, отречение от раскола, которое дал на соборе Никита и в котором он просил прощения за отпадение в ересь. Не успел, однако, отец Василий прочесть даже наскоро двух строк, как стрельцы подхватили его, полумертвого от страха, под руки и потащили к подмосткам, на которых голосил Пустосвят. Раскольники с остервенением кинулись на протопопа.

— Не трожь! — крикнул Сергий.— Пусть читает обличие, нам только этого и нужно. С него мы и спор с никонианцами заведем.

Толпа послушалась Сергия, расступилась и поставила Василия на скамейку подле Никиты.

— Читай, батька! — закричали со всех сторон протопопу.

Дрожащим и прерывающимся голосом принялся он за чтение, но тотчас же на площади поднялся такой страшный шум, что нельзя было расслышать ни полслова, а стоявшие несколько поодаль от протопопа раскольники начали спускать с правого плеча накинутые на опашку кафтаны и вынимать из-за пазухи каменья, готовясь половчее метнуть ими в злосчастного обличителя.

— Всуе, отче, будешь трудиться. Видишь, никто тебя не слушает,— сказал Сергий Василию.— Слезай-ка, брат, по добру по здорову со скамейки да посмотри, как будут внимать нам, ибо мы не собою глаголем, а от божественных писаний.

Говоря это, Сергий потянул Василия за полу рясы, живо стащил со скамейки и взобрался на его место.

Толпа, увидя, что Сергий собирается говорить, мгновенно смолкла. Воспользовавшись вниманием, с каким раскольники слушали Пустосвята о силе двуперстного знамения и о нечестивом поклонении четырехконечному кресту, отец Василий проворно шмыгнул от скамейки и успел здраво и невредимо пробраться в Успенский собор, где и донес патриарху, что с раскольниками никак сладить нельзя, почему святейший и поспешил поскорее выбраться из собора и удалиться в свои хоромы.

Кончил свое поучение Сергий, и снова раздался на площади громовой голос Никиты.

— Пойдем, православные, препираться с патриархом. Осквернены церкви никонианцами! Наступило царство антихриста! — ревел Пустосвят, ведя толпу за собою к Красному крыльцу.

— Пусть выйдет к нам патриарх! — неумолчно голосила толпа.

В кремлевских палатах господствовали ужас и смятение. Бодрилась одна лишь правительница, порываясь выйти сама на Красное крыльцо, чтобы увещевать раскольников.

— Пошли к ним, благородная царевна, на Лобное место патриарха, и они с ним уйдут из Кремля, а сама к ним не ходи, не пускай к ним и государей. Убьют они вас всех,— запугивал Софью Хованский.— Умолите ее пресветлость не

выходить на Красное крыльцо, не пускайте туда и государей; не ровен час беда будет!

— Нет! — отвечала она.— Не оставлю я без защиты церкви и верховного ее пастыря. Если препираться о вере необходимо, то быть собору в Грановитой палате, туда пойду и я. Кто хочет идти со мной?

— Я пойду с тобою! — откликнулась царица Наталья Кирилловна, не желая дать царевне Софье случай одной показать свое бесстрашие.

— Пойду и я! — с живостью проговорила двадцатидвухлетняя царевна Марья Алексеевна, младшая сестра Софьи.

— Нешто не пойти ли и мне? — как бы про себя проговорила Татьяна Михайловна.

— Пойдемте! — воскликнула Софья и, взяв тетку и сестру за руки, повела их в Грановитую палату. Хованский вышел на площадь, объявил народу волю царевны и звал «отцов» в Грановитую палату.

— Сама царевна хочет выслушать вашу челобитную, не идти же ей к вам на площадь! — вразумлял Хованский раскольников, не желавших пойти во дворец.

— Государь, царский боярин,— возразил Сергий Хованскому,— идти нам в палату опасно, не было бы над нами какого вымысла и коварства. Лучше бы изволил патриарх здесь перед всем народом свидетельствовать священные книги. Как пустят в палату нас одних, что мы там станем делать без народа?

— Невозбранно никому идти туда! Кто хочет, тот и ступай! Кровью Христовою клянусь, что вас никто не тронет,— говорил Хованский.

— Идем, православные! — воодушевленно крикнул Никита.

XXI

Внушительно и великолепно выглядела Грановитая палата, бывшая главною приемною комнатою Кремлевского дворца. На стенах, расписанных цветами, узорами и арабесками, были нарисованы по золоту изображения всех великих князей и царей московских, а на сводах были картины из Ветхого завета и из русской истории. В торжественных случаях выставляли хранившуюся на казенном дворе золотую и серебряную посуду, изобилие и ценность которой так дивили иностранцев и давали им высокое понятие о громадных богатствах московских государей. В Грановитой же

палате стоял древний трон московских государей, сделанный из слоновой кости и золота. При введении царского двоевластия поставили для обоих государей одно, общее царское место, ступени которого были обтянуты багряным сукном и на помосте которого находились два царских трона, богато вызолоченных и обитых пурпуровым бархатом. На эти троны сели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна, а в креслах, поставленных на ближайшей к тронам ступени, поместились царица Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна и патриарх. Около царского места, справа, расселись на скамьях митрополиты и весь священный собор, а слева — бояре, думные люди и выборные стрельцы. Между тем священники и дьяконы огромными ворохами несли в палату старые и новые книги, а также древние рукописи славянские и греческие, на которые думали ссылаться отцы собора для поражения своих противников.

Радостно торжествуя, смотрела царевна Софья на это небывалое еще в Москве собрание, на котором не только явились царица и царевны с отброшенными фатами, но на котором женщины занимали первенствующее царское место. Не хотела, однако, она остановиться на первых шагах своего победного шествия и замышляла идти все дальше. Жажда безграничной власти и блестящей славы манила царевну, и Софья не знала, где и когда придется ей остановиться в ее смелых стремлениях и пылких мечтаниях.

Раздумья о заманчивой будущности прервали внезапно сильный шум и крики. В двери палаты врывалась толпа, таща с собою с площади огромную чашу со святою водой, иконы, свечи, аналои, просфоры, книги и скамейки.

На пороге началась страшная давка и вдобавок к этому раскольники затеяли на Красном крыльце драку с никонианскими попами. Стрельцы едва разогнали подравшихся, заступаясь, впрочем, за раскольников и порядком помяв бока неприязненным им богословам.

Буйный вход раскольников в царское жилище предвещал бурю, но, казалось, царевна была готова выдержать бестрепетно все ее порывы, и вот среди шума и стука раздался ее звонкий и твердый голос.

— Для чего так дерзко и так нагло пришли вы в царские чертоги, как будто к иноверным и не знающим Бога государям? — спросила она.

Густые темные волосы выбивались длинными прядями из-под надетого на ее голове и сиявшего драгоценными камнями золотого венца с двенадцатью, по числу апостолов,

закругленными зубцами. Лицо ее не поражало прелестью женственной красоты, но в нем выражались ум и мужество. Щеки царевны горели румянцем негодования, а глаза сверкали гневным блеском. Все приутихли. Видно было, что строгий женский голос, раздавшийся так неожиданно под сводами Грановитой палаты, подействовал на непривычную еще к нему толпу сильнее, нежели повелительный и грозный окрик мужчины.

— Пришли мы,— заговорил на первый раз смиренно Пустосвят,— к великим государям побить им челом об исправлении православной христианской веры. Пришли мы просить, чтобы царское рассмотрение дала ты нам с новыми законодавцами, чтобы церковь Божия была в мире и соединении, а не в мятеже и разодрании.

Царевна взглянула на патриарха и подала ему знак, чтобы он отвечал Пустосвяту.

— Не ваше то дело,— заговорил Иоаким,— судить о том надлежит архиереям. У нас вера старого православия. Мы от себя ничего не внесли, но все от божественных писаний заимствовали, вы же грамматического разума в книгах не коснулись.

— Мы пришли не о грамматике с тобою толковать,— резко перебил Никита,— а о церковном догмате. Ты, старик, отвечай только на вопросы.

Шепот негодования прошел по палате при такой дерзости. Царевна готовилась сдержать своею угрозою позабывшегося перед патриархом распопа, но холмогорский архиепископ Афанасий предупредил ее.

— Так ли ты дерзаешь, негодник, говорить со святейшим владыкой! — крикнул на всю палату архиепископ.

— А ты зачем выше главы ставишься? Не с тобою я говорю, а с патриархом! — отвечал Пустосвят, с презрением взглянув на оторопевшего архиерея.

Софья не выдержала.

— Да ты как смеешь говорить со святейшим патриархом? — крикнула она на Никиту.— Разве ты забыл, как отцу нашему царю Алексею Михайловичу, святейшему патриарху Питириму и всему освященному собору принес повинную, а ныне снова за прежнее дело принялся?

— Оно точно, что принес я повинную,— спокойно поглаживая бороду, отвечал Пустосвят.— Да принес я ее между топором и срубом, а ответом на мою покаянную челобитную была тюрьма. А за что? И сам я того не ведаю.

— Молчать! — крикнула царевна.

Никита не унялся окончательно, но продолжал что-то сердито ворчать.

— Ты, страдник, и замолчать не хочешь! — вмешался снова холмогорский владыка, но на этот раз весьма неудачно.

Разъяренный распоп заскрежетал зубами и кинулся на архиепископа. Все в ужасе вскочили.

— Вы видите, что делает Никита! — вскрикнула Софья.

— Не тревожься, государыня-царевна, он только рукою его от себя отвел, чтобы прежде патриарха не совался! — успокаивал хладнокровно Софью какой-то раскольник.

В палате начался общий переполох, среди которого с сильным стуком и треском валились на пол скамейки, аналои, свечи, книги и иконы. Выборные стрельцы кинулись на исступленного Никиту и с трудом оттащили его, но большой клок из бороды преосвященного остался в его руках. Утрата значительной части бороды, впоследствии не заросшей, расстроила благообразие святительского лика, и Афанасий стал брить бороду. Он был единственный безбородый иерарх в нашей церкви, и Петр Великий отменно любил его за это и чрезвычайно ласкал, вспоминая, что Афанасий утратил часть своей бороды в борьбе с расколом.

После нападения распопа на архиепископа едва удалось восстановить тишину. Стрельцы с трудом сдерживали за руки Никиту, который тяжело дышал и снова рвался в рукопашную.

— Читай их челобитную! — приказала царевна дьяку.

Дьяк принялся исполнять отданное ему приказание, но чтение прерывалось беспрестанно возгласами с обеих сторон. Царевна то взглядом, то движением руки, то словами унимала расходившихся богословов.

— Еретик был Никон! — гаркнул какой-то раскольник.— Никон поколебал душою царя Алексея Михайловича, и с тех пор благочестие у нас пропало!

В порыве страшного гнева вскочила царевна со своего кресла.

— Такой хулы терпеть нельзя! Если патриарх Никон и отец наш были еретики, значит, и мы тоже. Выходит, что братья наши не цари, а патриарх не пастырь церкви, и нам не остается ничего иного, как только покинуть царство и идти в иные грады...

С этими словами правительница стала спускаться со ступеней трона.

— Пора бы, государыня, вашей чести идти в монастырь! Полно вам царством мутить! Нам бы цари наши

здоровы были, а и без вашей милости место пусто не будет! — заговорили в толпе.— Пора бы вам на вашу разумную головку черный клобучок надеть да засесть в келейку.

Гневно озираясь кругом и тяжело дыша, остановилась царевна посреди Грановитой палаты. Духовные власти, бояре, думные люди и стрельцы выборные обступили ее.

— Преложи, благоверная царевна, гнев на милость! Прости невеждам за их продерзность и грубиянство! Соизволь по-прежнему править царством российским! — говорили они, готовясь упасть ей в ноги.

— А по правде-то сказать, не женского ума дело царством править,— громко сказал кто-то в толпе.

Задетая этими словами за живое, Софья побледнела от гнева и, не говоря ни слова, быстро повернулась назад, и, через расступившуюся перед ней толпу, взошла тихою и твердою поступью на помост и там снова села на прежнее место.

— Читай дальше челобитную,— спокойно приказала она дьяку.

Дьяк принялся снова за свое дело. Читал, читал, но нелегко было ему одолеть целых двадцать столбцов, тем более что и теперь, как и прежде, чтение беспрестанно прерывалось криками и спорами, но уже далеко не столь яростными. Стало вечереть. Наконец чтение челобитной окончилось. Все поумаялись порядком, и царевна воспользовалась усталостью собора.

— За поздним временем заседать долее собору нельзя, указ сказан будет после! — громко и твердо объявила она.

Послышалось было слабое выражение неудовольствия, послышалось и насмешливое шушукание. Но царевна поднялась с места, и за нею встали все прочие, участвовавшие в соборе. Царевна, ее сестры и их мачеха отправились в свои хоромы, а густая толпа, громко толкуя, повалила из Грановитой палаты на Красное крыльцо и потянулась из Кремля. Впереди ее горделиво выступал Никита, высоко держа поднятую вверх руку со сложенным двуперстным крестным знамением.

— Тако веруйте! — голосил он.— Тако творите! Всех архиереев попрахом и пострамихом.

Его сопровождали шесть чернцов «волочаг», тоже возвещавших народу о торжестве древнего благочестия над новою верою. Дойдя до Лобного места, толпа остановилась, раскольники расставили там иконы, свечи, аналои и скамейки, и Никита долго поучал народ истинному православию.

Затем с громким пением раскольники двинулись за Яузу. Там встретили их колокольным звоном, и они, отслужив молебен в церкви Спаса, что в Чигасах, разбрелись по домам, радуясь своей победе.

XXII

Следуя советам Голицына, царевна велела, чтобы назавтра были у нее в хоромах выборные от всех стрелецких полков. Они явились, и царевна вышла к ним, окруженная сестрами и боярами.

— Ужели вы променяете нас на шесть расстриг и предадите поруганию православную церковь и святейшего патриарха? — Сказав это, царевна приложила к глазам ширинку и громко заплакала.— Стыдитесь, вы отборное царское войско, а якшаетесь с глупою чернью, которую мутят побродяги. Или хотите, чтобы я ушла от правления? Так, что же, я уйду!

Слезы молодой царевны, ее вкрадчивый голос и складная речь сильно подействовали на выборных.

— Нет, государыня-царевна, не хотим, чтобы ты уходила от правления! — заговорили они.— За старую веру мы не стоим, она не нашего ума дело.

Удовольствовавшись на первый раз таким ответом, царевна пожаловала стрелецких пятисотенных в думные дьяки, допустила выборных к ручке, угостила их из царского погреба, приказала раздать денег и пообещала всем стрельцам новые милости и награды.

Обласканные и награжденные, а потому и чрезвычайно довольные царевною возвратились выборные в свои слободы и принялись отдалять своих товарищей от раскола, но рядовые стрельцы с негодованием слушали их внушения.

— Посланы вы были говорить о правде,— упрекали они выборных,— а говорите неправду, пропили вы нас на водках и на красных винах.

Ропот между раскольниками-стрельцами усиливался, но царевна не теряла бодрости. Она звала поочередно к себе стрельцов, на которых указывала ей Родилица, как на людей, готовых постоять за новую веру, выходила к ним, подолгу разговаривала, и число приверженцев ее в слободах быстро множилось. Прошла лишь неделя со времени бурного собора в Грановитой палате, как правительница решилась нанести жестокий удар по расколу. Она потребовала от преданных ей стрельцов, чтобы они представили на распра-

ву Никиту Пустосвята и главных его сообщников. Стрельцы исполнили это требование.

— Я не хочу сама решать его участь, не хочу также, чтобы Никиту судили бояре и приказные люди. Осудят они его хотя и правильно, да потом в народе примутся говорить, что они сделали мне это в угоду,— сказала царевна и приказала предать распопа «городскому» суду, составленному из одних только выборных.

Суд в тот же день порешил Никиту, признав, что он за хулу на святую православную церковь, за оскорбление царского величества, святейшего патриарха и за нападение на архиепископа подлежит смертной казни. 11 июля 1682 года, лишь только начало восходить солнце, на Болоте под ударом топора отскочила от туловища голова Пустосвята.

Главного его сообщника, Сергия, заточили в Спасский монастырь в Ярославле, некоторых разослали по разным монастырям, а прочие приверженцы в ужасе разбежались.

Москва притихла, но замыслы Хованского сильнее прежнего беспокоили Софью, а рассорившийся с ним неизвестно почему Иван Михайлович Милославский сделался вдруг непримиримым его врагом и решился рассчитаться, по своему обычаю, путем коварства и подкопов.

— Ты знаешь, царевна,— начал он нашептывать правительнице,— крепко обманулся я в князе Иване Андреевиче. Просил я за него, чтобы соизволила ты дать ему начальство над стрельцами, а теперь вижу, что ты была права, когда остерегалась его. Слишком силен и непокорен он стал: мутит стрельцов, царских указов не исполняет. Кажись, пора бы отнять у него силу.

Наговоры Милославского сильно действовали на Софью, и без того предубежденную против Хованского, но увещания Голицына ослабляли влияние этих наговоров. Стали доходить до Милославского слухи, что Хованский грозит ему. Милославский струсил и выбрался поскорее из Москвы в свою вотчину, настращав царевну при отъезде из Москвы преступными замыслами Хованского.

Все громче и громче начали распространяться по Москве слухи, будто бы Хованский, при содействии преданных ему стрельцов, имеет намерение захватить верховную власть в свои руки. Возмущения стрельцов оправдывали, по-видимому, достоверность таких слухов. Стрельцы называли Хованского отцом и батюшкой и выражали полную готовность умереть за него. Но самонадеянный и опрометчивый Хованский сильно вредил самому себе.

— Мною держится все царство,— спесиво говорил он

боярам,— не станет меня, и в Москве будут ходить в крови по колени.

Заговорили в Москве о том, что Хованский хочет убить патриарха, извести царский корень, оставив в живых только царевну Екатерину Алексеевну, чтобы женить на ней своего сына Андрея, что он хочет восстановить старую веру и перебить бояр. Хотя и не все противники Хованского придавали значение этим грозным слухам, тем не менее по злобе к нему усердно распространяли их; и многие бояре, в особенности же Иван Милославский, постановили погубить Хованского. Но прежде чем они обдумали, как им действовать, он сам решился идти навстречу их замыслам.

Казнь Пустосвята вызвала среди стрельцов-раскольников глухой, сдержанный ропот, и Хованский воспользовался им. На третий день после этой казни стрельцы, по наущению Хованского, явились перед Красным крыльцом и потребовали выдачи тех бояр, которые считались недругами их главного начальника. Предлогом к тому выставлялось намерение этих бояр перевести стрелецкое войско. Правительница решительно отказала стрельцам в таком требовании, пригрозив, в случае их упорства, крутою с ними расправою.

— Детки! — сказал стрельцам Хованский, выходя из боярской думы, где состоялось решение об обуздании строгостью своевольства стрельцов.— И мне из-за вас грозят бояре, ничего не могу я поделать! Как хотите, так сами и промышляйте.

Стрельцы вняли этому внушению и стали «промышлять». Начались опять между ними волнения. Послышались снова набат и барабанный бой и грозные крики: «Любо, любо, любо!» Но теперь было не прежнее время. Смятения продолжались два дня, но Софья одолела.

Когда волнение улеглось, Софья 19 августа выехала в село Коломенское, любимое местопребывание ее отца, где он построил обширный дворец самой затейливой архитектуры. Из Коломенского правительница потребовала к себе преданный ей стремянной полк.

— Не отпущу я его из Москвы, назначен он для похода в Киев,— отвечал Хованский, как будто не ставя ни во что повеление правительницы.

Но Софья настоятельно приказала исполнить ее требование, и Хованскому пришлось уступить.

Находясь в Коломенском, Софья Алексеевна продолжала править государством, так как большая часть бояр поехала вместе с нею, другие же разъехались на летнее время по

своим поместьям и вотчинам, так что из всех знатных лиц оставался в Москве один только Хованский.

Наступило первое число сентября. В этот день, по старинному церковному летосчислению, праздновалось в России новолетие, или Новый год. Праздник новолетия справлялся в Москве с особенною торжественностью.

1 сентября каждого года народ с самого раннего утра собирался на площади между Архангельским и Благовещенским соборами, и на ней, в присутствии царя, служили молебен. Патриарх, духовенство и вельможи поздравляли государя с Новым годом, а один из бояр говорил ему речь, наполненную похвалами и благодарениями за прошедшее время, а также пожеланиями и надеждами на наступивший новый год. После этого все московское духовенство, с крестами, иконами и хоругвями, отправлялось к Москве-реке на водосвятие. Двенадцать стрелецких приказов или полков сопровождали этот торжественный крестный ход. В нем участвовал и государь в полном царском облачении. Он шел пешком, вели его под руки стольники, а за ним стряпчие несли полотенце, стул и подножие или скамейку для ног.

За небытностью в Москве государей, царевна приказала Хованскому, как первому в Москве знатному сановнику, участвовать в этом церковном торжестве. Боярин-раскольник ослушался, уклоняясь от такого слишком явного знака уважения к новой вере, и Софья решилась отнять у него за это начальство над стрелецким приказом.

Занятая этою мыслью, она сидела в своем тереме, когда явившийся к ней стрелецкий полковник, Акинфий Данилов, подал ей бумагу.

— Найдена была у передних дворцовых ворот,— доложил царевне полковник.

Софья взяла бумагу и в сильном волнении начала читать. На наружной подписи значилось: «вручить государыне царевне Софье Алексеевне, не распечатав». Бумага эта оказалась подметным письмом, в котором какой-то стрелец и двое посадских, не называя себя по имени, но указывая свои особые приметы, извещали правительницу, что князь Иван Хованский намерен объявить обоих государей еретическими детьми, убить их, а также царицу Наталью Кирилловну и царевну Софью, женить на одной из царевен своего сына Андрея, а остальных постричь. Хованский, как говорилось в подметном письме, имел намерение расправиться и со служилыми людьми и с боярами, побить и тех и других за то, что они старой веры не любят и заводят новую, и, когда от всего этого замутится царство, то сделать так,

чтобы его, Ивана Хованского, избрали в цари, а в патриархи поставить того, кто любит старые книги.

Немедленно царевна собрала совет из бывших в селе Коломенском бояр. В ту пору подметным письмам придавали вообще большую веру, особенно в тех случаях, если было нужно или хотелось кого-нибудь погубить. Почти все члены временного совета, собравшегося в Коломенском, были заклятые враги Хованского, да и укрывались они там, потому что опасались его враждебных замыслов. Бояре порешили, что подметное письмо выставляет не надуманные, а истинные намерения Хованского, и предложили правительнице разослать немедленно окружные грамоты во Владимир, Суздаль и другие города, чтобы призвать тамошних дворян к Москве на защиту царского семейства.

— Ты здесь, великая государыня, не в безопасности,— говорили бояре Софье Алексеевне,— при родителе твоем приходили сюда гилевщики, и большой переполох они наделали. Надлежит на время укрыться великим государям и тебе, благородная царевна, в ближайшем надежном месте.

XXIII

Еще недавно, покуда железные полосы не легли между Москвою и Троице-Сергиевой лаврой, путь этот напоминал стародавнюю московскую богомольную Русь. По нему почти всегда тянулись нескончаемою вереницею ходившие в лавру или возвращавшиеся оттуда пешие богомольцы. По этой дороге цари и царицы московские предпринимали по нескольку раз в год благочестивые шествия или так называемые «походы» в Троицкую лавру. Не проходило в царском семействе ни одного, ни радостного, ни печального, события без того, чтобы русские государи и их супруги не отправлялись на поклонение мощам Св. Сергия Радонежского. Царские походы в Троицкую лавру отличались всегда пышною обстановкою. Хотя государи и государыни ходили пешком, их сопровождал многочисленный и разнообразный конный поезд, в особенности если вместе с царем отправлялась в лавру царица с семейством. Кроме длинного ряда колымаг и обозных телег, царский поезд состоял из стрельцов стремянного полка, бояр, окольничих, стольников и ближних людей, ехавших на конях. К ним присоединялись царицыны поезжане, ехавшие тоже верхом по-мужски с закрытыми лицами. Многочисленная придворная прислуга, ехавшая при обозе и шедшая при государе, государыне

и их семействе, открывала и замыкала царский поезд, который двигался медленно, соблюдая строгий порядок и тишину, и несколько раз останавливался для отдыха на подхожих станах, в числе которых считалось и государево село Воздвиженское с его путевым деревянным дворцом. На прочих же станах для кратковременного царского пребывания были устроены так называемые вышки.

В сентябре двигался тоже по московско-сергиевской дороге царский поезд, но на этот раз была заметна необычайная спешность в его движении. Колымаги, в которых сидели порознь оба государя, царица и царевны, ехали быстро, по дороге поднимались клубы пыли от мчавшихся во всю прыть всадников; на распутьях выставлялись сторожевые караулы. Сопровождаемые боярами и ратными людьми государи въехали в Троицкую лавру, которая обратилась тотчас в военный стан, напоминая этим смутное время, бывшее до воцарения Романовых. Ни царевны, ни царица не скрывались уже теперь, как прежде, от монахов, которым тоже не было запрета выходить из келий во время их пребывания.

Спустя трое суток по приезде государей по дороге из Москвы в Троицкую лавру двигался другой поезд, которым ехал начальник стрелецкого приказа, боярин князь Иван Андреевич Хованский. Он был вполне доволен своею судьбою, так как получил от великих государей милостивую грамоту «со многою похвалою прежних служб его» и с изъяснением, что «за те его прежние службы он и сыны его достойны высокого назначения, и милости, и чина, и деревень». В этой же грамоте указано было Хованскому приехать, не мешкав, в село Воздвиженское для выслушания царского повеления о принятии ехавшего в Москву сына малороссийского гетмана Самойловича.

Доехав до села Пушкина, боярин сделал привал. Он пообедал и в разбитом для него шатре, под горою, за крестьянскими избами, между гумнами, спокойно заснул, думая о той милостивой встрече, какая ему готовится в Воздвиженском. Но приятный послеобеденный сон боярина был внезапно прерван шумом, поднявшимся около его шатра. Бывшие с ним сорок человек стрельцов и многочисленная прислуга в испуге засуетились.

— Вставай живее, князь Иван Андреевич! Спасайся скорее! Беда! — торопливо крикнул один из выборных стрельцов, вбежав в княжеский шатер.

Не успел Хованский опомниться, как в шатер вошел окруженный царскими ратными людьми боярин князь Иван Михайлович Лыков.

— Собирайся проворней, князь Иван Андреевич! — повелительно сказал Лыков.— Великие государи указали мне привезти тебя под караулом в Воздвиженское.

Хованский хотел сказать что-то, но в это мгновение на него кинулись несколько служилых людей и, крепко скрутив его веревками по рукам и по ногам, вытащили из шатра, бросили в телегу и повезли обеспамятовавшего от ужаса в Воздвиженское.

Лыков в точности исполнил приказание, данное ему царевною-правительницею по наущению Милославского.

«Трудно будет взять Хованского добром, стрельцы отчаянно будут стоять за него. Вымани его, царевна, из Москвы и прикажи боярину князю Лыкову схватить его на дороге. Лыков на него злобствует и спуску не даст»,— говорил Милославский царевне, и по его совету была послана в Москву Хованскому зазывная грамота и отправлен навстречу ему князь Лыков.

Лыков опасался напасть открыто. Поэтому он посылал вперед разведочные отряды, которые следили тайком за Хованским и дали знать, когда представилась возможность напасть врасплох.

— А где князь Андрей Иванович? — спросил Лыков у прислуги Хованского.

— Его милость недалече отселе, в своей вотчине на Клязьме,— ответили Лыкову, который немедленно отправился туда.

Князь Андрей мог также дать сильный отпор, так как у него в вотчине находились и стрельцы и множество вооруженного народа из его дворовых холопов, но, узнав, что отец его уже захвачен, он сдался без малейшего сопротивления. Его также связали и вместе с отцом повезли в Воздвиженское.

Обрадовался Милославский, увидев, что Хованского так легко поймали в расставленную западню. Желая поскорее избавиться от своего лиходея и опасаясь, что при розыске Хованский может оговорить и его, Милославский повел дело так, что, еще до привоза Хованских в Воздвиженское, участь их была решена окончательно и боярами и правительницею.

Едва лишь привезли Хованских в Воздвиженское, как их без всяких расспросов повели за село для объявления смертного приговора. Казнь над ними должна была, по настоянию Милославского, совершиться немедленно, хотя было 17 сентября — день именин царевны Софьи.

— Господа бояре! — говорил испуганный и смущенный

старик Хованский своим товарищам по царской думе, собравшимся теперь присутствовать при его казни.— Выслушайте от меня о главных заводчиках с самого начала стрелецкого мятежа, от кого он был вымышлен и учинен, и их царским величествам милостиво донесите, чтобы дали нам с теми заводчиками очные ставки. Если же то все, как говорят мои враги, наделал мой сын, то я предам его проклятию.

— Поздно теперь толковать об этом! — крикнул Милославский.— Великие государи порешили казнить тебя за твои злодейства смертью. Выслушай-ка лучше свой приговор.

Изумленными глазами смотрели Иван Хованский и его сын на Милославского и других бояр в то время, когда с них снимали кафтаны, отрывали вороты их рубашек и связывали им назад руки, а заменявший палача стремянной стрелец пробовал пальцем только что отточенное лезвие простого деревенского топора.

Окончились все приготовления к казни, и выступил в середину составившегося около Хованского круга дьяк Федор Шакловитый и начал читать написанный им заранее приговор.

В приговоре этом старик Хованский обвинялся в том, что он «всякие дела делал по своим прихотям, не докладывая государям», «что он государеву казну истощил и выграбил, всему же государству тем учинил великое разорение и людям тягость», «что он учинил великим государям бесчестие», «держал мучительно за решетками и за приставы многих людей мучительно», «чинил жестокие правежи», «многих людей обесчестил, изувечил и разорил», «царское величество преслушался». Затем в приговоре, читанном Хованскому, объявлялось, что он говорил при государях и боярах, «будто все государство стоит по его кончину, и когда его не будет, то не спасется никакая плоть», что он «совокупя проклятых раскольников, Никиту Пустосвята с товарищами, ратовал на святую церковь» и «оберегал их от казни». Винили его и в том, что он не отпускал стрельцов против башкир и калмыков, а также и в Коломенское, что он не был «у действа нового лета и тем своим непослушанием то действо опорочил, святейшему патриарху досаду учинил и от всех народов в зазор привел». Обвиняли старика Хованского и в том, что он делал изветы на дворян новгородских, «облыгал надворную пехоту», а сам говаривал ей смутные речи. В заключение упоминалось о подметном письме, с которым «сходны были воровские дела и измена Хованского».

Кроме того, старик Хованский и его сын обвинялись еще

и в том, что они при великих государях и при всех боярах «вычитывали свои службы с великою гордостью, будто никто так не служивал, как они», тогда как — говорилось в приговоре — всюду, где ни бывали Хованские, «государских людей своевольством своим и ослушанием их государских указов и безумною своею дерзостью они напрасно теряли и отдавали неприятелям». Обвинялись оба Хованские и в том еще, что «в палате дела всякие отговаривали против их государскому указу и соборному уложению с великим шумом, невежеством и возношением, и многих господ своих и всю братию бояр бесчестили и нагло поносили и никого в свою пору не ставили, и того ради многим граживали смертью и копиями».

— И великие государи,— возгласил Шакловитый, окончив чтение обвинительных статей,— указали вас, князь Иван и князь Андрей Хованские, за такие ваши великие вины и за многие воровства, и за измену казнить смертью.

Старик Хованский понял, что всякие оправдания будут теперь напрасны. Молча, со злобным укором оглянул он бояр, исполнителей казни, подошел к заранее приготовленной плахе и положил на нее свою голову. Один стрелец схватил его за волосы, другой махнул топором, и отсеченная голова упала на землю.

С воплем кинулся молодой Хованский к плахе, с трудом нагнулся он со связанными назад руками, поцеловал сперва бледную голову отца, а потом его грудь, выпрямился во весь рост и, так же молча, как его отец, положил свою голову на плаху, уже залитую родною кровью. Стрелец взмахнул топором в другой раз, и голова князя Андрея отделилась от тела.

Третьим взмахом топора была отсечена на той же плахе голова Борису Одинцову, одному из самых преданнейших людей Хованского.

Обезглавленные трупы обоих князей были положены в один гроб и ночью отвезены в село Городец, недалеко от Воздвиженского.

Вздрогнула и побледнела царевна, узнав о казни Хованских. К устрашавшему ее призраку красавца юноши Нарышкина прибавились еще три новые тени. Не слишком, однако, поддалась она страху, оправдываясь необходимостью спасти церковь и государство и успокаивая себя тем, что приговоры об этих казнях были поставлены не ею, а боярами.

В числе стольников царя Петра Алексеевича был младший сын Ивана Хованского, князь Иван. Узнав о казни отца

и брата, он тотчас вскочил на коня и без оглядки помчался в Москву из Троицкой лавры. К ночи он был уже там. Прискакав в Стрелецкую слободу, он приказал ударить набат и сбор. Проворно на этот тревожный призыв сбежались стрельцы к съезжим избам.

— Отца и брата моего, князя Андрея, убили бояре, без розыска, без суда и без ведома царского! Переведут они и вас! — кричал Хованский собиравшимся около него стрельцам.

Начавшийся в стрелецкой слободе набат все далее и далее расходился над Москвою, и снова грозно загремели в ней стрелецкие барабаны. Стрельцы кинулись в Кремль и обставили его кругом орудиями, взятыми с пушечного двора.

— Хотят нас вырезать бояре, всех, до последнего младенца, а дома наши сжечь! — кричали озлобленные стрельцы, толпясь перед патриаршими палатами.

— Пойдемте, братцы, сами против бояр! Чего нам ждать, когда они нападут на нас! — говорили осмелевшие, подбивая своих товарищей к походу в Троицкую лавру.

— Надо прежде поговорить с патриархом, он без царя начальный человек в Москве. Потребуем от него, чтобы он разослал в окрайные города грамоты с приказанием тамошним служилым людям идти к Москве на нашу защиту,— советовали некоторые из стрельцов своим горячившимся товарищам.

На этом совете остановились, и выборные отправились к патриарху, который вышел к ним в Крестовую палату.

— Не смущайтесь, чада мои, прелестными словами, ждите царского указа и самовольно к царям в поход не ходите! — начал увещевать святейший Иоаким.

— Ведай, старче,— закричал ему один из выборных,— что если ты с боярами за одно мыслишь, то мы убьем и тебя, никому пощады не дадим!

Патриарх увидел бесполезность дальнейших увещаний. Со страхом удалился он в свои хоромы, а стрельцы между тем безвыходно толпились в Крестовой палате, все сильнее и сильнее негодуя на патриаршую «дурость».

— Пойдем на бояр! — вопили одни в палате.

— Успеем еще, подождем царского указа! — унимали другие.

Наступила ночь. Набат продолжал гудеть. Стрельцы вооружались и укрепляли Кремль. Переводили туда свои семьи, перекапывали улицы, строили надолбы и ожидали нападения служилых людей, бывших при царях в Троицкой

лавре. В то же время и там укреплялись против ожидаемого нападения стрельцов: втаскивали на раскаты пушки, расставляли стражу по зубчатым стенам монастыря. Высылали на дорогу разведочные отряды и устраивали в оврагах и лесистых местах засады для наблюдения за движением стрельцов в случае их похода из Москвы. Во всех этих распоряжениях Софья принимала деятельное участие, вверив оборону лавры князю Василию Васильевичу Голицыну с знанием ближнего воеводы.

Напрасны, однако, были все эти приготовления. Стрельцы на лавру пока не двигались.

Софья между тем принимала все меры для утишения стрельцов. Она послала в Москву указ о казни Хованских и думного дворянина Голосова для объяснения со стрельцами.

— Скажи им,— говорила царевна, отпуская в Москву Голосова,— чтобы за Хованских не заступались. Скажи им также, что суд о милости и казни поручен от Бога царям-государям, а им, стрельцам, не только говорить, но и мыслить о том не приходится. Объяви также стрельцам через патриарха, что им опалы не будет, если принесут повинную и пришлют в лавру по двадцати человек лучшей своей братии от каждого полка.

— Зачем нам идти в поход к государям? — заговорили стрельцы после того, как им был прочитан указ о казни Хованских.— Сами государи наших лиходеев изводят. Вот ведь и князю Ивану Андреевичу отрубили голову за то, что он «облыгал» нас, надворную пехоту, перед государями, а сам мутил нас своими речами. Казнь его праведна.

Быстро переменилось мнение стрельцов об их погибшем, прежде столь любимом начальнике. Принялись теперь стрельцы порицать Хованского и за то, и за другое и наконец порешили, что мстить за него боярам не приходится. Стали они также убеждаться и в том, что на них из лавры нападать не желают. Преданные царевне люди внушали стрельцам, чтобы они вполне успокоились. Стрельцы присмирели и стали просить патриарха, чтобы он уговорил государей возвратиться в Москву.

27 сентября выборные отправились в лавру и на пути встречали сильные отряды дворян и служилых людей. Смело и грозно заговорила правительница с прибывшими к ней стрельцами. Теперь она вышла к ним одна, без царевен, лишь с немногими боярами, не возбуждавшими к себе в стрельцах особой ненависти.

— Люди Божии, как вы не побоялись поднять руки на

благочестивых царей? Разве забыли вы крестное целование? Посмотрите, до чего довело ваше злодейство: со всех сторон ратные люди ополчились на вас. Вы именуетесь нашими слугами, а где ваша служба, где ваша покорность? Раскайтесь в ваших винах, и милосердные цари помилуют вас; если же не раскаетесь, то все пойдут на вас.

Выборные повалились царевне в ноги, заявляя, что у стрельцов нет злого умысла ни против царей, ни против бояр. Правительница отпустила их всех из лавры, а в Покров привезена была туда челобитная, в которой стрельцы клялись служить верно государям, без измены и шаткости, прежних дел не хвалить и новой смуты не заводить. 5 октября стрельцам, созванным в Успенский собор, было объявлено царское прощение, но правительница ожидала, пока они совсем успокоятся, и только 6 ноября она и все царское семейство вернулись в Москву, а 6 декабря думный дворянин Федор Леонтьевич Шакловитый был назначен начальником стрелецкого приказа, со званием окольничего. Возвышение его было неожиданно и чрезвычайно быстро.

Стрелецкая и раскольничьи смуты, подавленные царевною, придали ей и самоуверенности, и твердости. Все сильнее и сильнее чувствовала она власть, бывшую теперь в ее руках, и, по выражению одного современника, правила государством «творяще, яже хотяй».

По возвращении в Москву из лавры, она начала деятельно заниматься государственными делами. При этом главным пособником и постоянным ее руководителем стал князь Василий Васильевич Голицын. В то же время царевне пришел на память разговор с Милославским о том, что ей для государственных дел нужен «оберегатель», и она повелела Голицыну именоваться и писаться «новгородским наместником, царственной большой печати и государственных великих посольских дел оберегателем и ближним боярином».

XXIV

— Ты, Митька, сбегал бы на Ивановскую колокольню посмотреть на солнце, кажись, сегодня оно ясно взойдет! — говорил строитель Спасского монастыря, Сильвестр, в мире Семен Медведев, выглянув в окно своей кельи.

— Отчего же не посмотреть? Давно я этого не делал, может быть, что-нибудь и новое увижу,— отвечал живший при келье строителя мирянин Дмитрий Силин и, схватив

проворно картуз, побежал смотреть. Вернулся он очень приунылый, понурив голову.

— Ну, что же ты видел? — спросил торопливо Сильвестр.

Митька молчал.

— Верно, что-нибудь нехорошее...

— Так и есть, да только не пугайся, превелебный отец, это, должно быть, только временно, потом будет лучше,— успокаивал Силин.

— Да кто тебе сказал, что я боюсь? Рассказывай, что такое!

— Видел я,— заговорил Силин,— что у государей царские венцы на головах, у князя Голицына было два венца, один царский — тот мотался на спине, а другой, брачный, тоже мотался, да только на груди, а сам боярин стоял темен и ходил колесом; ты, отец, тоже был темен, как и он, царевна печальна и смутна, а Федор Леонтьевич стоял, повесив голову*.

— Что ты за вздор несешь? Да как боярин будет вертеться колесом? — перебил насмешливо отец-строитель.

— Да вот, поди же, вертелся, а как, я показать тебе этого не смогу. Да и мало чего не может быть на земле, а бывает в солнце, ведь у князя не мотается же два венца, а в солнце я их видел,— возразил Силин.

— Верно, ты так же умеешь хорошо смотреть в солнце, как умеешь лечить. Покойный отец Симеон вызвал тебя из Польши, чтобы ты вылечил глаза царевичу Ивану Алексеевичу, ты взялся, а что сделал? — с пренебрежением сказал Сильвестр.

— Да кто его вылечит? Разве знал я, живучи в Польше, что он почти слепой, да и лечить-то его не потреба, скоро он умрет,— возразил Митька.

— Болтай-ка побольше, так тебя отлично проучат в приказе тайных дел. Хвастунишка ты и враль! Ступай, я позову тебя, когда будет нужно.

Митька вышел. Хотя Сильвестр и говорил с ним насмешливо, но при уходе крепко призадумался.

— А ведь, пожалуй,— размышлял он,— Митька и правду сказал. У князя Василия могут быть два венца: царский за спиною, который достать трудно, и брачный на груди, который достать ему легче. Да и колесом в иносказательном смысле он вертеться может, то есть может действовать как колесо в огромной государственной махине... Эх, эх!

---

* Подлинные слова Силина.

Что-то будет? Не сочинить же так ловко самому Митьке, глуп он!

Он стал перечитывать и поправлять с особенною тщательностью те места своих записок, в которых говорилось о царевне Софье.

— «Премудрый Бог,— читал вполголоса Сильвестр,— яко Сый все в себе объем, и в длани своей концы земные держай, благоволил в промысле своем удивляти люди, да и ненадеющийся, надежду имевши возглаголять: яко есть Бог, сотворивший вся и оною твариею промышляяй и яко и древние роды чудодействуя жены мудрыя. К пособию правлению царства благочестивейшего царя и великого князя Петра Алексеевича, в юных его летех воздвиже сестру его, благородную царевну и великую княжну Софью Алексеевну, ей же даде чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком непрестанно творяще к российскому народу великий труд».

Сильвестр продолжал поправлять свои сказания, когда в келью вошел высокий и статный мужчина, лет около тридцати пяти, щегольски разодетый. Пышный наряд как нельзя более соответствовал его представительной наружности.

— Спасибо тебе, земляк, что не зазнаешься и не забываешь меня,— приветливо сказал монах вошедшему к нему Шакловитому.

— С чего же мне перед тобою, отец Сильвестр, зазнаваться? Перед другими, пожалуй, что и зазнаюсь в скорости, а тебе я слишком многим обязан! Пошли мне твои советы на пользу, да и теперь я пришел к тебе посоветоваться! — сказал гость, дружески поцеловавшись с хозяином.

— А что, Федор, думал ли ты, живя со мною в Новоселках, что дойдешь когда-нибудь до такой великой чести в царствующем граде российского государства? Помнишь, как мы, бывало, с тобою иной раз в пустынный Курск завернемся, так и там никто на нас смотреть не хотел. Впрочем, я-то и теперь только смиренный иеромонах, а ты уже стоишь на чреде боярской...

— Погоди, Сильвестр,— сказал ободрительно Шакловитый,— станешь и ты скоро на такую высоту, о какой тебе и не думалось.

— Нешто и я доберусь до пестрой патриаршей ризы? — полушутя спросил монах.

— Отчего ж не добраться, если только удастся то, что задумал я и о чем пришел потолковать с тобою.

— А что же такое ты задумал?

— Задумал я женить князя Василия Васильевича на царевне Софье Алексеевне, объявить его царем, самому стать при нем первым лицом, а тебя, земляка, поставить патриархом московским и всея Великия, Малыя и Белыя России.

Сильвестр добродушно засмеялся.

— Смел ты больно!.. Хватит ли у тебя на то сил?

— Сил-то как не хватить, когда стрельцы у меня под рукою! А хватит ли у меня уменья без твоих разумных советов?

— Ведь вот какие диковинные затеи у тебя в голове! Об них небось мы не только не смели сами помыслить, когда служили вместе в приказе тайных дел подъячими, да еще ловили и пытали таких затейщиков! — смеясь, проговорил Сильвестр.

— Прежняя служба пошла мне впрок, на ней ко многому я присмотрелся и многому научился; да времена-то теперь не те: из простого приказного попал я в окольничие, из бедного стал богатым, царевна пожаловала мне много вотчин и отписной двор в Белом городе на Знаменке. Неужели же остановиться на этом и не попытаться идти далее? — говорил Шакловитый.

— Ну, так если уже ты пришел ко мне, Федор Леонтьевич, за советом, скажу тебе вот что: нужно, чтобы царевна венчалась на царство и объявила себя самодержицею, тогда власть ее не только будет равна власти ее братьев, но, как старшая между ними, она будет первою царствующею особою. А о браке князя Василия с правительницею пока не думай. Еще Бог знает, кто может быть ее суженым! — сказал загадочно Сильвестр.

Шакловитый вопросительно взглянул на него и призадумался, а монах замолчал.

— Да кто же, кроме князя Василия, может быть достоин ее руки? — заговорил Шакловитый.

— Ну, Федор Леонтьевич, в истории разные случаи бывали. Да и что тебе за нужда идти в сваты? Выбрать мужа будет делом самой царевны, а ты только устрой при помощи стрельцов так, чтобы она венчалась на царство, а без этого ничего не выйдет. Подрастет царь Петр и отнимет у нее правление. Смотри, каким орлом этот малолеток и теперь уже выглядывает! Не даст он царевне долго оставаться с ним в одном гнезде, выживет ее оттуда.

Черные глаза Шакловитого злобно сверкнули, и судорожная дрожь подернула его губы.

— Ну, это еще посмотрим! — насупясь, промолвил он.— Хотя орел и знатная птица, да ведь и ее общипать можно!.. А что, отец Сильвестр, погадал ты мне на звездах?

Сильвестр вздохнул, медленно приподнимаясь с кресел: «Ох, ох! Плохо тебе будет!»

— Вот твой жребий,— сказал он, показывая Шакловитому кусок бумаги, исчерченный кругами и линиями, исписанный цифрами со множеством вычислений и помарок и испещренный разными непонятными фигурами.

— Ничего я тут, отец Сильвестр, в толк взять не могу! — сказал он.

— Еще бы захотел понять: всему, брат, нужна наука. Разъяснить эти чертежи, фигуры и цифры может только такой звездочет или астролог, как я,— не без гордости заметил монах.— Смотри,— начал он, положив на стол бумагу и указывая на ней циркулем,— вот здесь будут знаки зодиака, а здесь идут планиды, а тут звезды...

Шакловитый приготовился слушать, как вдруг вбежал в комнату молодой келейник.

— Боярин князь Василий Васильевич пожаловал к тебе, отец-строитель!

Сильвестр и Шакловитый выглянули в окно.

По дорожке, обсаженной молодыми березами, важно и медленно шел сановитый Голицын. Монах и окольничий поторопились выйти к нему навстречу, но, прежде чем успели подойти к боярину, к нему уже подбежал Силин. Митька упал на колени перед князем и раболепно поцеловал полу его ферязи, а боярин снисходительно протянул ему руку, которую он тоже поцеловал.

— Ну что же, Митька, гадал ты мне в солнце? — спросил Голицын.— Что же ты узнал?

— Ты любишь чужбину, и она тебя любит, а свою жену ты забыл,— шепнул ему на ухо Митька и, отскочив от боярина, встал почтительно за его спиною.

Голицын нахмурил брови.

— Глупости ты городишь! — бросил он ему через плечо и пошел далее. Сильвестр и Шакловитый поспешили к нему. Боярин, сняв шапку, подошел под благословение отца-строителя и приветливо кивнул окольничему.

Вошедшего в келью Голицына Сильвестр усадил в кресло около стола.

— А ты, отец Сильвестр, по-прежнему занимаешься отреченною наукою? — начал князь, увидев попавшийся ему на глаза гороскоп Шакловитого.— Смотри, сожжем мы тебя когда-нибудь на Болоте в срубе за колдовство!

— Это, боярин, не колдовство, а наука,— заметил Сильвестр.

— У нас, на Москве, наука и колдовство почитаются за одно и тоже.

— Правда твоя, боярин, не только черный народ, но и служилые люди и даже боярство куда еще не просвещены у нас. Для них разгадка тайностей природы кажется чародейством, тогда как познание таковых тайностей ведет к познанию величия Божьего! — говорил монах.

— Ну, знаешь, отец Сильвестр, по-моему, хотя в природе и есть божественные тайности, есть, однако же, и колдовство,— начал поучительно Голицын, отличавшийся при всем своем уме большим суеверием.

Шакловитый с напряженным вниманием, как бы переходившим в благоговение, стал прислушиваться к беседе между Сильвестром и Голицыным, считавшимися в ту пору самыми умными и просвещенными людьми не только в Москве, но и во всем московском государстве.

— Как, например, постичь то, что я однажды, в 1675 году, сам видел в царском дворце и о чем покойный царь Алексей Михайлович указал, на память будущим векам, записать в дворцовых книгах? А видел я вот что: какой-то простой заезжий в Москву человек положит на стол ножи, а потом они вдруг на пол-аршина, а почитай, что и боле, поднимутся над столом невидимою силою, да мало того, что поднимались сами, а поднимали за собою без всякой привязи и деньги и венки из цветов. Думали все, что тут дьявольское наваждение, ан нет, совсем не то. Позволял он крестить ножи, читать над ними: «Да воскреснет Бог» и кропить их святою водою, а они и после того поднимались со стола по-прежнему. Доказательно стало тогда всем, что нечистой силы тут нет, хотя, как известно, она при оплошке человека горазда действовать разными обмороченьями.

— Да, при крестном знаменьи, молитве и при святой воде нечистой силе ходу не бывает,— глубокомысленно заметил Сильвестр.— Тут должна быть наука.

— Вот о расширении-то ее в российских пределах и нужно нам усердствовать. К слову: когда же ты, отец Сильвестр, приготовишь привилегию на академию, для поднесения ее правительнице-царевне? Ведь она ждет ее с нетерпеливостью. А ты хорошо знаешь ее ревность к наукам.

— Как не знать! Сперва от покойного Симеона слыхал, а потом и сам в том убедился. Дивлюсь ей, дивлюсь и дивиться не перестану!— с восхищением говорил Сильвестр.

— Сдается мне, что скоро придет пора, когда царством

московским будут править женщины да книжные люди,— с уверенностью сказал Голицын.

— Если Господь Бог потерпит грехи наши и продлит благословенное правление царевны,— озабоченно промолвил Сильвестр,— царь Петр подрастет...

— И изведет нас всех! — вдруг с озлоблением крикнул Шакловитый.

Голицын исподлобья взглянул на него.

— Не изводить же его нам,— сказал сурово боярин.

— К чему посигать на царское величество! — перебил Сильвестр.— И без такого страшного злодейства обойтись можно! Отчего бы, например, правительнице не венчаться на царство и не объявить себя самодержавною? Тогда бы она стала вровень с братьями-царями и власть ее была бы без нынешней шаткости,— сказал Сильвестр.

— Мы здесь люди близкие между собою,— начал Голицын.— И скажу я тебе отец Сильвестр, что мне часто приходит на мысль то, о чем ты теперь говоришь. Да подождать надо. Вот как покончим мы переговоры со шведскими послами, заключим мир с Польшею да сходим в Крым войною на басурманов, тогда прославится во всей вселенной правление премудрой царевны Софьи Алексеевны и можно будет подумать об ее венчании на царство. А до той поры нужно только подготовлять к этому наш народ, потому что женское правление для него не за обычай.

Сильвестр и Шакловитый проводили Голицына за монастырские ворота. Против тогдашнего обыкновения бояр, Голицын ездил в колымаге без многочисленной прислуги. С ним были только два вершника, которых он, разъезжая по Москве, посылал иной раз с дороги за приказаниями к разным должностным лицам. Из Заиконоспасского монастыря Голицын поехал осматривать строившуюся тогда, по его распоряжению, на главных улицах Москвы бревенчатую и досчатую мостовую, для уничтожения в городе той грязи, которая в осеннюю и в весеннюю пору не позволяла иногда ни проехать, ни пройти. Заехал также Голицын и к нынешнему Каменному мосту на Москве-реке. На берегу ее, в этом месте занято было множество народу: одни свозили камень, другие тесали его, третьи устраивали на реке плотину.

— Бог на помощь! — весело смотря на рабочих, крикнул Голицын.

Завидев идущего к нему монаха с чертежом, Голицын вышел из колымаги и подошел под благословение.

— Живо, честный отец, идет у тебя работа! — сказал Голицын.

— Благодарение Господу! Задержки и препятствий пока никаких нет, кладу теперь первый устой и, кажись, будет прочно.

— Оканчивай, оканчивай поскорее,— одобрял Голицын.— Соорудишь ты мост, соорудишь себе и славу, и имя твое памятно будет в Москве вовеки,— предсказывал боярин строителю москворецкого моста, впрочем, ошибочно, так как имя его не сохранилось в потомстве.— Говорят,— продолжал Голицын,— что я люблю иноземцев. Правда, я люблю их за познания, но если я найду знания у православного русского человека, то всегда предпочту его. Ведь вот сколько иностранных архитекторов и художников вызывалось построить мост, а я все-таки доверил это дело тебе, преподобный отец, зная, что ты своими познаниями и сметливостью по строительной части не уступишь никому из иноземцев.

Голицын хвалил и ободрял монаха-техника и возвратился домой чрезвычайно довольный тем, что предпринятые им постройки идут так успешно.

XXV

Царевна Софья Алексеевна вошла в довольно просторную комнату, стены и потолок которой были обиты гладко выстроганными липовыми досками, а в углу была каменка — невысокая, с большими створчатыми дверцами печь из зеленых изразцов. Около одной стены стояла широкая с деревянным изголовьем лавка, с набросанными на нее свежими душистыми травами и цветами, покрытыми белою, как снег, простынею, а подле лавки были две большие лохани и шайка из липового дерева. У другой стены была поставлена постель, прикрытая шелковым легким покрывалом, с периною и подушками, набитыми лебяжьим пухом. Пол этой комнаты был устлан сеном и можжевеловыми ветвями, с разбросанными по ним березовыми вениками. Это была баня, или так называемая «мыленка». Вода сюда поднималась из Москвы-реки машиной, устроенной для Кремлевского дворца каким-то хитрым немцем, которому царь Алексей Михайлович, как говорили, заплатил за эту не виданную еще в Москве выдумку несколько бочонков золота, а ненужная вода стекала с полу мыленки в реку через свинцовые трубы.

Сопровождавшие царевну постельницы сняли с нее одежду и принялись мыть и парить, а потом она понежилась с часик на лебяжьем пуху.

По выходе из мыленки, царевна пошла в мастерскую палату, или «светлицу», просторную комнату с большими окнами. Здесь до пятидесяти женщин и девушек шили наряды для цариц и царевен. Софья захотела посмотреть, как идет работа по заготовке царственного облачения, в котором она через несколько дней должна была принять приехавших в Москву шведских послов. В обыкновенную пору мастерицы заняты были еще и заготовлением белья, а также шитьем облачения, вышивкою золотом и шелками пелен, воздухов, плащаниц и икон с мозаичных рисунков, и всеми этими предметами делались от царской семьи приношения в церкви и во святые обители. Заготовлялись также в мастерской палате разные подарки для европейских государей, турецкого султана и крымского хана. Теперь все эти работы, для которых так называвшиеся «знаменщики» рисовали узоры, были приостановлены, вся мастерская палата спешила окончить для царевны ее великолепный наряд.

Заглянула, кстати, царевна и в кладовую или, по-нынешнему, в гардеробную, где хранились разные принадлежности ее туалета. Там на «столбунцах» или болванах были надеты зимние и летние шляпы царевны. Летние ее шляпы были белые поярковые с высокою тульею: поля этих шляп, подбитые атласом и отороченные каемкою из атласа, были глянцовитые, так как они окрашивались белилами, приготовленными с рыбьим клеем. Шляпы по тулье были обвиты атласными или тафтяными лентами, расшитыми золотом и унизанными жемчугом и драгоценными камнями. Ленты эти шли к задку шляпы и там распускались книзу двумя длинными концами, к которым были пришиты большие золотые кисти. Здесь же хранились и зимние ее шапки с бобровыми и собольими околышами и с небольшим мыском спереди, а бархатные их тульи были сделаны «столбунцом», то есть имели цилиндрическую форму и были вышиты разными узорами, изображавшими пав, единорогов и орлов не только двуглавых, но даже и осьмиглавых.

Кладовая была наполнена крашеными сундуками, обитыми белым железом, и коробами, в которых, при отсутствии в ту пору шкафов, были сложены парчовые и бархатные наряды царевны, а также и «белая ее казна», то есть носильное и спальное белье. Хранились там и летники, и опаненицы, и охабни, теплые на меху чулки и «четыги» и «чедоги» — сафьянные чулки без подошв, которые царевна, как и другие богатые женщины, носила в комнатах. Наряд для царевны поспел к назначенному сроку, и в день

приема шведских послов спальницы и сенные девушки спозаранку ожидали царевну в ее уборной. На одном из столов, стоявших в уборной, лежала поднесенная царевне ее наставником, Симеоном Полоцким, рукопись, под заглавием: «Прохладные или избранные вертограды от многих мудрецов о различных врачевских веществах». В этом сочинении смиренный инок поучал свою молоденькую питомицу, «как наводить светлость лицу, глазам, волосам и всему телу». Царевна, должно быть, следовала внушениям своего мудрого наставника. В уборном ее ларце были: белила, румяна, сурмила, клей для равнения и вывода в дугу бровей. Были также в том ларце ароматы и «водки» — так назывались в ту пору духи. Были у царевны также бальзамы и помады, и все, употребляемые как ею, так и другими царевнами и царицами, косметики заготовлялись или в аптекарской палате по рецепту врачей, или «комнатными бабками», то есть лекарками.

В уборной царевна разделась до белой полотняной сорочки с короткими рукавами и с воротом, стянутым шнурком, и тогда начался ее туалет. Прислужницы не надели на нее ни корсета, ни юбки и никакого турнюра. Хотя все эти принадлежности туалета были уже давно в употреблении у западно-европейских дам, но их не носили и даже не ведали еще о них московские боярыни и боярышни, телеса которых привыкли к полному, ничем не стесняемому простору.

Готовясь к торжественному приему иноземных послов, царевна, не любившая прежде пышных нарядов, одевалась теперь со всевозможным великолепием. Вместо кроенных и сшитых в светлице атласных или тафтяных чулок она надела шелковые пестрые чулки, привезенные из Германии, и чеботы-полусапожки из бархата, строченные шелком, отделанные жемчугом и золотым кружевом и на таких высоких каблуках, что носки едва касались земли. Затем подали царевне вторую сорочку из белого атласа, шире и длиннее первой и с рукавами, собранными во множество мелких складок. Рукава шиты были золотом и украшены драгоценными камнями. Поверх сорочки надели на царевну через голову царское одеяние — шубку, длинное до пят, без разреза на полы, платье, с широкими рукавами, из аксамита, то есть плотной парчи, на которой вытканы были шелком двуглавые орлы. На плечи царевны накинули «ожерель» — пелерину из гладкого золотого глазета, отделанную узорами или кружевом из жемчуга и рубинов, и лаль со стоячим на картонной бумаге воротником, низанным жем-

чугом и застегнутым спереди алмазными пуговицами. Богатый и блестящий наряд царевны дополняли: алмазные серьги, длиною в два вершка, и «мониста» — тяжелая золотая цепь с крестом, осыпанным рубинами и яхонтами. Головным убором царевны был золотой о двенадцати зубцах венец, украшенный драгоценными камнями.

По окончании туалета следовало царевне закрыть лицо фатою, большим прозрачным покрывалом огненного цвета, завязанным у подбородка, но если уже в начале своей свободы она смело откидывала ее с лица, то теперь и вовсе не носила ее, возбуждая не только удивление, но и громкое порицание за такое неприличие.

В то время, когда царевна так пышно рядилась, цари, ее братья, принимали шведских послов в Грановитой палате, из которой послы, представившись государям, отправились в Золотую палату, куда пошла также и царевна, оглядевши себя перед выходом в большое венецианское зеркало. Осуждали Софью Алексеевну тогдашние богомолки и за зеркала, которые считались предметом соблазна и роскоши. Приличие не допускало держать зеркало постоянно открытым, поэтому его прятали в футляры, обитые бархатом или шелком, а висевшие на стенах зеркала закрывались тафтою. Зеркала были небольшие и вставлялись в рамки из слоновой кости, янтаря и перламутра. Царевна пошла против и этого обычая, и комнаты в новом ее дворце были украшены большими зеркалами, привезенными из-за границы, и оставались незавешенными. Перестала также царевна курить в своих покоях ладаном, заменив его розовою водою и ароматными порошками, которые сжигались в серебряных курильницах.

Недаром палата, в которую пошла царевна для приема шведских послов, носила такое громкое название: в ней все стены и потолок были расписаны золотом. Здесь правительница должна была явиться иноземцам во всем блеске своего царственного величия.

Послов повели бывшие при них приставы из Грановитой палаты по длинным переходам и крыльцам Кремлевского дворца, усыпанным просеянным желтым, белым и красным песком. По этим переходам и сеням, на пути к царевне, были расставлены стрельцы с золочеными пищалями и «терлишники», ее телохранители, одетые в «терлики», или в кафтаны с золотым позументом, с копьями в руках.

Послы увидели правительницу, сидевшую на «государском» месте, в вызолоченных и оправленных драгоценными камнями креслах. В правой руке она держала жезл из

черного дерева с серебряною рукояткою. В рукоятку жезла были вставлены часы и зрительная трубка, а украшена она была чеканным изображением льва, который дерется со змеем. В левой руке царевна держала ширинку, главный предмет хвастовства тогдашних московских барынь, так как вышивались они золотом, унизывались бурмицкими зернами и алмазами и украшались по углам золотыми кистями.

У ступеней царского места стояли по обеим сторонам кресел царевны две вдовы-боярыни, около каждой из них было по девице-карлице. За креслами царевны, на государском же месте, стояли бояре, князь Василий Васильевич Голицын и Иван Михайлович Милославский, разодетые в великолепные ферязи с высокими бобровыми шапками на головах.

Думный дьяк Украинцев «объявил», или представил, царевне послов, а бывший с ними переводчик заявил царене, что послы привезли ей поклон от короля и королевы.

— Вельможнейший король, государь Каролус, король свейский, и его королевского величества родительница, государыня Ульриха-Элеонора, по здорову ль? — спросила царевна послов через переводчика, и при этом вопросе она привстала с кресла в знак особого внимания к королю и его матери.

Послы, отчитав теперь весь королевский титул, отвечали на вопрос утвердительно; переводчик передал их ответ царевне, а она поручила послам отвезти королю свейскому и его родительнице ее поклон. Послы благодарили правительницу. Выслушав их благодарность, царевна допустила их к ручке и спросила послов об их здоровье. Затем введена была посольская свита и тоже допущена была к ручке.

Не без любопытства рассматривали шведы живопись, которая украшала Золотую палату. На стене, приходившейся за креслами царевны, был нарисован на небе Спас, восседающий на херувимах. На другой стене, по правой стороне, были изображены на аллегорических фигурах: мужество, разум, чистота и правда; а по левой — блужение, безумие и нечистота, а между этими двумя противоположностями являлся семиглавый дьявол, над которым «жизнь» держала в правой руке светильник, а в левой — копье. Над «жизнью» был изображен ангел — дух страха Божьего. На третьей стене в виде ангелов были нарисованы четыре ветра, тут же были представлены: ангел, летящий в пламени, и ангел, стреляющий из лука. На этой же стене были изображены вода, твердь небесная, солнце, заяц, волк и стрелец-человек, обвитый хоботом слона, и «всякие утвари Божии».

Не успели еще шведы присмотреться к этим загадочным изображениям, смысл которых объяснялся надписями, сделанными золотою вязью, как торжественная аудиенция кончилась.

Прием шведских послов имел чрезвычайное значение потому, что Софья в первый раз явилась перед иностранцами как царствующая особа. После этого она еще смелее пошла на высоту, которая так сильно манила ее, и по заключении мира с Польшею приняла титул: «Самодержицы всея Великия, Малыя и Белыя России».

Изумилась и сильно вознегодовала царица Наталья Кирилловна, узнав о таком громком титуле своей падчерицы.

— С чего вздумала она именоваться самодержицею? С чего стала она писаться сообща с великими государями? — выходя из себя, говорила мачеха-царица.— Ведь и у нас есть люди, которые заступятся за нас и дела этого не покинут! — с угрозою добавляла она.

Постельницы царевны, Нелидова и Синюкова, узнавали, что говорила царица, и передавали царевне, которая, делая вид, что не обращает на этот ропот никакого внимания, между тем обдумывала, как бы лишить мачеху всякого влияния. В свою очередь, Шакловитый деятельно принялся подготовлять стрелецкое войско к окончательному возвышению царевны, а Медведев заготовлял сочинение, в котором доказывал необходимость и право царевны торжественно возложить на себя царский венец в Успенском соборе.

— Согласится ли на это патриарх? — в нерешительности спрашивали стрельцы.

— Экая важность — патриарх! — несмешливо отзывался Шакловитый.— Не тот, так другой будет на его месте, и простого старца патриархом сделать сумеем!

— Да захотят ли бояре? — добавляли стрельцы.

— Нашли о ком толковать! — с презрением возражал Шакловитый.— И бояре отпадут от правления, как листья с зяблого дерева.

Некоторые стрельцы, однако, возражали наотрез.

— Статочно ли дело царевне венчаться царским венцом! только царю достоит такая честь,— говорили они.

Видя колебания стрельцов, Шакловитый на время приудержался от своего замысла. Между тем сама царевна становилась все притязательнее на присвоение царских почестей и приказала в церквах «выкликать свое имя в одной статье с царскими именами» и сильно разгневалась, когда какой-то протодьякон во время богослужения, по забывчи-

вости или по неведению, «обошел ее кадилом», то есть царям покадил особо, а ей этого не сделал.

А в Москве с каждым днем все громче и громче стали поговаривать о намерении царевны-правительницы повенчаться на царство.

XXVI

В Кремле, этой дворцовой крепости, обведенной зубчатыми стенами с башнями и стрельницами и окопанной глубокими рвами, высились палаты московских государей, живших в прежнее время в деревянных хоромах. В начале XVI столетия они были разобраны и на месте их итальянские зодчие выстроили каменный дворец, сохранив, однако, в этой новой постройке весь уклад старинного русского быта. И в новом здании были избы, горницы, клети, гридни, передние, палаты, терема, подклети, чуланы (последнее название носили тогда вообще все жилые покои). Каждая комната в дворцовом здании составляла как бы отдельное помещение, имея свои сени, и соединялась с другими частями жилья крытыми холодными переходами. Нижний этаж, или подклеть, нового дворца был со сводами, и под ним были устроены погреба и ледники. Дворец этот сгорел 27 июня 1547 года, но был снова выстроен; вскоре сгорел опять, и его отстроили вновь. В смутное время он был ограблен и поляками и русскими. Царь Михаил возобновил его, а сын Михаила, царь Алексей Михайлович, распространил и украсил жилище своего отца.

У царя Алексея Михайловича было большое семейство; тесен становился прежний Кремлевский дворец, и царь, по мере приращения своей семьи пристраивал для нее около дворца особые деревянные хоромы. В них до 1685 года жила и Софья Алексеевна, а в этом году она перешла в построенный для нее новый, каменный дворец, в котором почти все было устроено на европейский лад.

В Москве долго толковали о той роскоши, какою окружила себя царевна-правительница, но особенный говор шел по поводу одного обстоятельства.

«Затеяла царевна Софья Алексеевна отнять бояр у великих государей; видно, совсем хочет войти в царскую власть. Если бы не замышляла этого, так незачем бы ей было заводить в своем дворце новую боярскую палату»,— толковали москвичи.

Действительно, в нижнем этаже нового дворца царевны

была устроена обширная и великолепная палата, обитая бархатом и назначенная для заседаний боярской думы. Переводя думу в свой дворец, Софья хотела показать, что бояре точно так же должны служить советниками и ей, как служили они в этом качестве государям-самодержцам.

— Уж больно много князь Василий Васильевич силы набрался,— говорил однажды, при выходе из этой палаты, боярин князь Михаил Олегович Черкасский.— Да что с ним поделаешь! Царевне слишком он люб, горою стоит за него. Снова в поход против Крыма собирается, идет затем только, чтобы людей губить, а сам думает славы себе нажить.

— Не мешай ему, пусть отправится. Ходил раз, да ни с чем вернулся, а теперь, наверно, шею себе сломит. Я и другим боярам толкую: пусть они не только его от похода не отговаривают, а, напротив, подбивают. Пойдет он на этот раз на свою погибель,— отвечал боярин князь Иван Григорьевич Куракин.

— Знаешь, князь Михайло Олегович, не место, кажись, здесь говорить об этом,— заметил, боязливо озираясь, боярин князь Борис Иванович Прозоровский.— Лучше соберемся мы к тебе да в сторонке потолкуем об этом.

Говоря о Голицыне, Черкасский и Куракин вспоминали о неудачном его походе, предпринятом в Крым с осени 1686 года. Медленно продвигаясь вперед, Голицын только в конце апреля следующего года проходил лежавшую на пути его степь, когда в воздухе стал проноситься запах едкой гари, а на южной стороне степи начал подниматься дым, ночью же в том же месте стало видно зарево. Ясно было, что в степи начался пожар и что южный ветер нес его прямо на московское войско. На захватываемом пожаром пространстве, по иссохшей степной траве, стелились и быстро ползли вперед черные клубы удушливого дыма, при малейшем ветре над почерневшею степью вставало пламя. Его красные языки поднимались вверх и извивались точно огненные змеи, пепел кружился в воздухе, словно снег в сильную вьюгу. Измученные походом и истомленные палящим зноем и жаждою, ратные люди выбивались из сил и едва дышали воздухом, раскаленным и пропитанным дымом. Голицын увидел невозможность дальнейшего похода и повернул назад, а степной пожар без устали гнался по пятам отступавшего войска.

Несмотря на неудачу этого похода, Голицын был встречен в Москве правительницею, как победитель, и такая незаслуженная встреча еще более восстановила и озлобила бояр.

— Я знаю, что меня обвиняют в неудаче первого похода на Крым, но мог ли я предузнать, что гетман Самойлович изменит нам со своими казаками и подожжет степь, чтобы погубить московское войско? — оправдывался Голицын перед Софьей.— Нужно еще раз сходить мне на басурман и одолеть их.

Царевна вздохнула.

— Опять ты, Василий Васильевич, надолго покинешь меня! А знаешь ведь хорошо, как мне тяжела разлука с тобою! — печально проговорила Софья.

— И мне тяжка разлука с тобою, да ведь из-за меня ходит против тебя ропот! — сказал твердо Голицын.

— Не со мною тяжело тебе, Васенька, расставаться, грустить ты станешь по жене,— с чувством перебила Софья.— Ведь знаю, что ты любишь ее больше, чем меня!

— От жены у нас в Москве всегда легко избавиться,— глухо проговорил Голицын.— Пусть идет в монастырь, там ей жить будет лучше, нежели с мужем, если он невзлюбит ее. Я своей почасту говорю об этом.

— Что ж она? — с волнением спросила царевна.

— Плачет только. Впрочем, что же мне рассказывать об этом! Смутно у меня на душе от таких речей становится. Спроси у Ивана Михайловича, он все тебе расскажет, у меня от него никакой тайности нет!

Лишним было бы царевне спрашивать об этом у Милославского, который затеял теперь развести княгиню с мужем. Милославский внушал Голицыну, чтобы он убедил княгиню, урожденную Стрешневу, уйти добровольно в монастырь, и так как в то время пострижение жены освобождало мужа от брачных уз, то Милославский и рассчитывал обвенчать после этого Голицына с царевною. На эту смелую мысль навел его Шакловитый, и он, со свойственною ему беззастенчивостью, высказал об этом предположении Софье. Она же решилась сама заговорить с Голицыным об этом щекотливом предмете. И, как ни тяжело было ей расстаться с князем Василием, она признавала необходимым доставить ему случай прославиться бранными подвигами и заставить умолкнуть злобную молву о неудаче первого его похода.

Второй крымский поход под начальством Голицына был решен правительницею.

Покончив с Голицыным вопрос о втором крымском походе, царевна, с обычными предосторожностями, отправилась в Преображенское, чтобы предварить об этом брата и царицу. Софью считали там немилою гостьею, но царица

притворно соблюдала все, даже самые мелочные, обычаи тогдашнего радушного гостеприимства. С поклонами и упрашиваниями предлагались царевне и яства, и пития, и лакомства, но царевна отказывалась от всякого угощения, опасаясь отравы, и чем настоятельнее подчивали ее, тем более усиливалась ее подозрительность.

— Как знаешь, Софьюшка, так и делай, ты разумнее нас! На то ты и правишь царством, чтобы указывать другим, а Петруша тебе прекословить не станет,— с напускным смирением говорила Наталья Кирилловна, охотно, впрочем, разделяя мнение преданных ей бояр, что Голицына ждет новая неудача.

Петруша действительно по внушению матери не стал противоречить сестре, да, казалось, он пока и не думал вовсе о делах государственных, усердно занимаясь обучением «потешных».

Накануне выхода войска из Москвы Голицын пришел к царевне, печальный и мрачный. В этот день в дом князя какие-то неизвестные люди принесли для боярина наглухо заколоченный ящик. Голицын велел его вскрыть и, когда приподняли крышку, в ужасе отшатнулся: в ящике был гроб и в нем записка: «Вот что ожидает тебя, если поход твой в Крым будет неудачен».

Мрачное предчувствие овладело Голицыным при виде такой страшной посылки, и напрасно царевна старалась ласками ободрить и рассеять тоску своего друга.

Настали минуты их разлуки, рыдая, обнимала Софья Голицына.

— Я оставляю тебя под охраною Федора Леонтьевича, он со своими стрельцами убережет тебя до моего возвращения. Доверяйся ему во всем, пиши мне через него, и от него ты будешь получать вести обо мне и мои письма.

Осилив свое волнение, правительница с патриархом и боярами приехала на Девичье поле для провода войск. Болезненно замерло у ней сердце, и жгучие слезы подступили, когда грянули барабаны и московская рать с распущенными белыми знаменами двинулась в дальний поход, предводительствуемая князем Василием.

XXVII

С томительною тоскою возвратилась царевна во дворец и поспешила в опочивальню, чтобы там наедине выплакаться вдоволь.

Печальные дни потянулись для царевны, и как обрадовалась она, когда получила первое письмо Голицына, пренесенное ей Шакловитым. Он уже и прежде был вхож к царевне, как начальник стрелецкого приказа, и засматривалась порою на него царевна. Шакловитый был мужчина представительной наружности. Его большие темно-карие глаза смотрели то нежно, то сурово; из-под длинных черных усов виднелись свежие губы с привлекательною улыбкою, а черные, слегка вьющиеся волосы подходили к смуглому цвету его лица. Много, однако, он терял в глазах царевны при сравнении с князем Василием, умное лицо которого и величавая осанка гораздо более нравились Софье, нежели молодцеватость Шакловитого. Она беспрестанно молилась за Голицына, ходила по монастырям служить молебны об его благоденствии.

«Свет мой, братец, здравствуй, батюшка мой, на многие лета! — писала ему царевна.— И паки здравствуй! Свет мой, веры не имеется, что ты возвратишься, тогда веру поиму, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Велик бы мне день хоть был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Свет очей моих! Мне веры не имеется, сердце мое, чтобы тебя видеть, по всем монастырям сама пеша бродила, чтобы молиться о тебе».

«Радость моя, свет очей моих! Мне не верится, сердце мое, что тебя я увижу. Если бы было возможно, я единым бы днем поставила бы тебя перед собою». Так начиналось другое письмо Софьи, тоже наполненное нежностью и ласками.

В то время, когда царевна так тосковала о князе Василие, поверенный его, Шакловитый, все чаще и чаще стал являться к царевне то с письмом, то с вестями от Голицына, то с донесением царевне о том, что делается в Москве, или с известием о том, что намерены предпринять противники царевны.

— Ты, благородная царевна, соизволила бы взглянуть хоть раз на твое стрелецкое войско, хочет оно зреть твои пресветлые очи,— сказал однажды Шакловитый Софье Алексеевне.

Правительница давно уже приняла на себя все обрядовые обязанности царей, являясь вместо братьев всюду, где, по заведенному обычаю, требовалось присутствие государя. Она принимала благословение патриарха при празднествах, первенствовала на всех торжествах и председала в боярских собраниях, принимала иностранных послов, отпускала войска в поход, а также лично жаловала чины и награды.

Предложение Шакловитого понравилось царевне. В назначенный день она с большим поездом, окруженная боярами и ближними людьми, отправилась в раззолоченной карете на Девичье поле и там, войдя в разбитый для нее на высоком помосте шатер, смотрела на производимые по команде Шакловитого движения стрелецкой рати.

Смотр кончился. Ловко подскакал к шатру на лихом коне Шакловитый и осадил его перед царевною. Шакловитый был в бархатной ферязи вишневого цвета, обложенной широким золотым кружевом; из-под ферязи виднелась голубая шелковая однорядка. Подскакав к царевне с булавою в левой руке, он правою рукою проворно снял с головы бархатную шапочку с большим околышем, султанчиком из белых перьев и большою алмазною пряжкою.

— Что повелишь объявить, великая государыня-царевна, твоему верному стрелецкому войску? — спросил Шакловитый.

— Объяви ему мое милостивое слово,— величественно проговорила царевна, приветливо и страстно взглянув на молодцеватого наездника, который показался ей на этот раз гораздо красивее Голицына.

Тем же торжественным поездом возвратилась царевна в свой дворец.

— Оставил меня князь Василий под твоей охраной, а ты, Федор Леонтьевич, не всегда находишься у меня под рукой, хотя и часто бываешь мне нужен. Перебрался бы ты на время в хоромы позади моих палат, тебе сподручнее будет являться ко мне оттоль, да и дело идет теперь к лету, тебе можно будет ходить через сад,— говорила царевна Шакловитому на другой день после смотра.

Пришел май месяц. В так называемом комнатном саду царевны, устроенном на высоких каменных столбах и окруженном расписанными живописью стенами, с прудом в свинцовом водоеме, зацвели розы, сирень, гвоздика, фиалки и тюльпаны. С «ранжерейных» палат сняли стеклянные рамы, и появились в них на открытом воздухе виноград и грецкие орехи. Запели в саду в золоченых клетках соловьи, канарейки, жаворонки, щеглы и перепела. Начал в этом саду все чаще и чаще показываться Шакловитый, и не зря май месяц зовется у поэтов порою любви. Прежняя сердечная привязанность царевны к князю Василию заменилась страстною любовью к Шакловитому. Случилось то, что нередко случается в любовных делах: поверенный заступил место своего опрометчивого доверителя.

Старомосковский быт не оставил нам романтических

преданий, которыми так богат запад Европы. Затворничество русских женщин лишало их возможности любовных похождений. Но царевна Софья выбилась из прежней неволи и могла дать свободу своей сердечной страсти. Как начиналось в давнюю пору на Руси любовное сближение, как кокетничали в былое время русские боярыни и боярышни, об этом молчат московские сказания, и только суровый «Требник» делает на это намек, предписывая, между прочим, духовным отцам спрашивать у кающихся грешниц: не «подмигивали ли» они мужчине и «не наступали ли ему на ногу»?

Шакловитый сделался теперь самым близким к царевне человеком.

— Скоро возмужает царь Петр, и скоро не станет царя Ивана. Помяни меня, царевна, что младший твой брат будет злейшим твоим врагом. «Медведица» учит его ненавидеть тебя. Нужно было извести ее еще при первом стрелецком восстании, да на беду тебе она уцелела. Изведи ее теперь! — говорил с ожесточением Шакловитый, который, пользуясь отсутствием Голицына, сдерживавшего Софью от решительных и кровавых мер, хотел покончить с царицею Натальею и ее сыном до возвращения князя из Крыма, чтобы быть первым человеком не только при царевне лично, но и во всем государстве.

— Страшно, Федор, решиться на это,— возразила Софья.

— Так венчайся сама скорее на царство, тогда будет у тебя власть постричь и царицу, и ее сына,— говорил Шакловитый.

— Отец Сильвестр мне говорит тоже самое,— заметила царевна.

— А он человек разумный, и советов его слушать можно,— перебил Шакловитый.— Венчайся, царевна, скорее на царство, а Сильвестра сделай патриархом. Стрельцы постоят за тебя, все до последнего лягут они, когда будет нужно.

Царевна сомнительно покачала головою.

— Подождем князя Василия, когда он вернется со славою из похода, тогда можно будет отважиться на все.

Выражение неудовольствия пробежало по лицу Шакловитого.

— И без него сумею я охранить тебя, царевна! — самоуверенно и не без наглости сказал Шакловитый.— Я и теперь оберегаю тебя от твоих недругов: не проходит дня, чтобы я не захватывал и не пытал их, не отсекал бы им пальцев и не резал бы языков. Знай, царевна, что если бы я не охранял тебя...

— Знаю, знаю твою верность,— заговорила, нахмурясь,

Софья, недовольная самохвальством Шакловитого, и при этом в памяти ее ожил Голицын, никогда не раздражавший ее неуместными хвастливыми речами и так обаятельно влиявший на нее своим светлым и спокойным умом.

— Я прикажу Сильвестру посмотреть по звездам,— сказала царевна.— Он хороший звездочет, учился у покойного Симеона.

— Звездочет он и вправду хороший. Вот хотя бы мне он пророчит, что женою моею будет та, которой предназначено царствовать,— развязно сказал Шакловитый.

— Безумный и дерзкий холоп! Как ты скоро забылся! Я знаю, к чему ты говоришь это! — вскрикнула с сильным негодованием царевна.— Не думай много о себе и знай, что ты служишь мне только на время пустою забавою!

Шакловитый побледнел и опешил. Неожиданная вспышка Софьи изумила его, так как Шакловитому казалось, что правительница была в его власти.

— Благоверная царевна, великая государыня! — несвязно забормотал он.— Далек я от всякого дерзновения перед твоим пресветлейшеством.

Слегка улыбнувшись, взглянула Софья на смущенного Шакловитого. Самолюбию ее было приятно, что такой дерзкий и отважный человек, каким слыл Шакловитый, робел и терялся от нескольких гневных ее слов.

— Дурак ты, вот что! — засмеявшись, сказала она.— Ты полагаешь, что ты ровня московской царевне? Как же! Пригож ты, правда, да за то глуп же порядком, а глупых мужчин я не люблю.

— Всепресветлейшая великая государыня! — продолжал бормотать Шакловитый.

— Я простила тебе однажды твое дерзновение,— внушительно продолжала царевна.— Вспомни, что осмелился сделать с моею «персоною».

— Без всякого злого умысла, благоверная царевна, по неосмотру учинил я то, великая государыня. Отец Сильвестр был участником в этом.

— Прощаю я тебя и на этот раз, но впредь не осмеливайся не только говорить так дерзостно, но даже и мыслить! — С этим словом царевна дала ему поцеловать руку.

Выговаривая Шакловитому, царевна напомнила ему о недавно появившемся ее портрете, или, как тогда называлось, «персоне». Шакловитый без ведома царевны заказал жившему в Москве хохлу-художнику Тарасевичу выгравировать портрет Софьи. На этом портрете она была изображена в царской короне со скипетром и державою в руках.

Кругом портрета были аллегорические изображения семи даров Духа Святого, или добродетели царевны: разум, целомудрие, правда, надежда, благочестие, щедрость и великодушие. Под портретом были помещены вирши Медведева, общий смысл которых был тот, что как ни велико российское государство, но все оно еще мало перед благочестивою мудростью царевны, не уступающей ни Семирамиде вавилонской, ни Елизавете британской, ни Пульхерии греческой делами славы. Кругом портрета шла надпись:

«Наитишайшая, православнейшая, Богом венчанная защитительница христианского народа, Божиею милостью царевна, великая княжна московская, госпожа Софья Алексеевна, самодержица Великия, Малыя и Белыя России, многих государств восточных, западных и северных отчична, наследница, государыня и обладательница».

Портрет этот понравился царевне-правительнице, как славословие ее добродетелей и как указание на ту высоту, которой она достигла; но не понравилась ей сделанная к портрету прибавка. Под портретом царевны было изображение великомученика Феодора-Стратилата, а в день памяти этого святого были именины Федора Шакловитого. Намек на сближение с ним царевны был и ясен, и дерзок. Великомученик был изображен с воинскою у ног его «сбруею», или доспехами,— трубами, литаврами, пищалями, знаменами и копьями. Такое горделивое о себе самомнение начальника стрелецкого приказа затронуло ее за живое, оскорбило ее; между тем Шакловитый отпечатал этот портрет Софьи в громадном количестве и на бумаге, и на атласе, и на тафте, и на обьяри и не только раздавал эти портреты по Москве, но и в большом числе послал за границу.

Припугнутый царевной, Шакловитый не решался заводить речь об истреблении мачехи и ее брата Петра, но сам, без ведома ее, замышлял порешить как с ними, так и со всею семьею Нарышкиных. С этой целью он хотел зажечь разом несколько дворов в селе Преображенском, произвести этим пожаром суматоху, среди которой, как ему казалось, легко было убить Петра и его мать. Подумывал также Шакловитый и о том, чтобы бросить в Петра ручные гранаты или подложить их под сиденье в его колымагу или одноколку. Со своей стороны, и царица Наталья подготовляла и подстрекала своих приверженцев к низложению Софьи и вселяла в своего подраставшего сына непримиримую к ней вражду и беспредельную ненависть.

XXVIII

Царь Петр Алексеевич продолжал в селе Преображенском заниматься со своими потешными, которых обучал военному ремеслу при помощи иностранцев. Невзлюбили стрельцы этот початок нового царского войска и с презрением обзывали потешных конюхами, опасаясь, однако, что новые ратные люди скоро превзойдут их выправкою и навыком в военном искусстве. Быстро подрастал и заметно мужал учредитель новой московской рати, и Софья видела, что ей предстоит начать решительную борьбу с младшим братом, и подготовлялась к ней, опираясь на стрельцов и поджидая возвращения Голицына из крымского похода.

— Не выдавайте меня царице Наталье Кирилловне и ее сыну,— твердила правительница часто приходившим к ней выборным стрельцам.— Зачинает она против меня смуту с братьями.

— От чего бы тебе и не принять царицу! — отвечали стрельцы, подразумевая под этими словами окончательную расправу с Натальею Кирилловною.

— Жаль мне ее,— отвечала царевна.

— Твоя воля, государыня, что изволишь, то и делай,— говорили стрельцы, готовые и постоять за Софью, и щадить ее врагов, если она сама пожелает того или другого.

— Не о себе пекусь я, боюсь за вас! Переведут они стрельцов своими потешными,— озабоченно добавляла Софья, надеясь, что стрельцы и без ее участия догадаются избавить ее от мачехи и царя Петра и тем не особенно потревожат ее совесть.

Запугиваемые царевною стрельцы расходились по домам, унося с собою озлобление против царицы, ее сына и потешных.

— Хороша была бы вам пожива, если бы расправились с боярами,— внушал, в свою очередь, стрельцам их начальник Шакловитый.— Есть что пограбить у них. Отмолили бы потом да роздали часть по церквам и по монастырям, и отпустил бы вам Господь Бог ваши прегрешения!

Сильвестр Медведев также волновал против царицы и Петра людей богобоязненных.

— Смотрите,— говорил он,— благочестивая царевна постоянно молится, а они, нечестивцы, в Преображенском на органах и скрипицах играют.

8 июля 1689 года Красная площадь была усеяна народом в ожидании, когда по окончании обедни в Успенском соборе начнется крестный ход, установленный в память изгнания

из Москвы ляхов, а между тем в соборе произошла первая стычка Петра с Софьей.

— Не стать тебе, царевне, ходить по улицам и площадям с народом! — гневно сказал Петр, застанавливая дорогу сестре, которая, подняв местный образ, готовилась выйти из церкви, чтобы следовать с крестным ходом.

Презрительно и грозно сдвинув брови, взглянула она на брата.

— Говорю я тебе, не ходи! — с еще большим гневом повторил Петр.

Тот же взгляд царевны был ему ответом. Царь-юноша побледнел, свирепо посмотрел на сестру, вышел быстро из собора, вскочил на коня и поехал в Преображенское, а правительница, окруженная боярами, пошла с крестным ходом; в толпе же слышалась похвала ее благочестивому усердию.

Еще более разгневался Петр, подстрекаемый матерью, когда спустя одиннадцать дней после этого столкновения правительница выехала к возвращавшемуся из похода Голицыну, которому устроила торжественную встречу. Здесь явилась она во всем царственном величии, принимая воевод, спрашивала их, по государскому обычаю, о здоровье и объявила им и всему войску свое милостивое слово.

Поход Голицына, в сущности, кончился не блестящим образом. Со стадвенадцатьютысячным войском он пошел на крымцев в феврале 1689 года. Стужи и снега препятствовали быстрому движению. Он подходил к Перекопу только в начале мая. Хан собирался зажечь степь. Голицын встретил и отбил его, но опасность не миновала. Как грозная туча, двигались крымцы на московское войско, которое не находило ни рек, ни колодцев, ни корма для лошадей. Голицын увидел опасность, грозившую ему, и повернул назад. Татары преследовали, но не упорно, не слишком наседая на него.

Всем участвовавшим в походе, однако, роздали разные награды, а Голицын, вдобавок к ним, получил и похвальную грамоту.

«Неприятели твоей службою,— сказано было в грамоте,— нечаянно и никогда неслыханно от наших царских ратей в жилищах их поганых поражены, побеждены и прогнаны. Пришли они в отчаяние и ужас, все посады и деревни пожгли, и перед тобой не показались, за то милостиво тебя похваляем».

Пасмурно, однако, выглядел теперь прежний любимец Софьи. По прибытии в Москву узнал он о многом и увидел, что если Шакловитый и не оттер его окончательно, то все

же значительно отдалил от царевны. Москва искони была усердною сплетницею. Рассказывали, между прочим, что князь Василий, встретив, по возвращении из крымского похода, счастливого соперника в Шакловитом, призвал к себе знахаря, которому ведома была тайная сила трав, и, получив от него приворотные коренья, подсыпал их в кушанье царевне «для прелюбления». Рассказывали также, что, опасаясь болтливости этого чародея, Голицын приказал его сжечь в бане, чтобы не было от него «проносу».

Как бы то ни было, но теперь Голицын стал еще сдержаннее. Он советовал царевне помедлить некоторое время, не вступать в борьбу с Петром, но пылкий Шакловитый, напротив, торопил царевну покончить со своими недругами. Все более недобрые вести стали доходить до царевны о враждебных против нее намерениях, замышляемых в Преображенском, и вздрогнула Софья, когда царь Петр приказал схватить Шакловитого, хотя отлегло несколько у нее от сердца, после того, как он, без всякого допроса, приказал отпустить окольничего.

— Видно, заострились когти орленка! — с яростью говорил Шакловитый.— Вздумал он взяться за меня, да тотчас же одумался, испугался стрельцов. А кто знает, не станет ли он еще посмелее и не доберется ли до тебя, царевна? — грозил он Софье.— Позволь покончить с ним поскорее!

Наступили темные августовские ночи; царевна все чаще и чаще стала ходить по ночам на богомолье. Стрельцы, как стража, сопровождали правительницу в этих благочестивых хождениях, и она не упускала случая пожаловаться стрельцам.

— Долго ли терпеть нам? Уж житья не стало от дядьки царя Петра, Бориса Голицына, брата Иванушку ни во что ставит, меня девкою называют, как будто я не дочь царя Алексея Михайловича, князю Василию Васильевичу голову хотят отрубить, а он добра много сделал. Надобны ли мы вам? Если же нет, то мы пойдем с братом где келью искать.

— Не кручинься, царевна,— отвечали стрельцы.— Постоим и умрем мы за тебя, а твоим лиходеям тебя не выдадим.

Начались снова волнения между стрельцами, каждый день происходили их шумные сборища у съезжих изб, и слышались крики и угрозы. Пошли разные толки: одни опасались возмущения стрельцов, другие — нашествия на Москву потешных.

Особенно тревожна была в Москве ночь с 8 на 9 августа. Вооруженные стрельцы собрались на площади перед Кре-

млевским дворцом. Стоял зловещий гул. Стрельцы ждали только набата или боя барабанов, чтобы двинуться туда, куда поведет их Шакловитый.

Царевна вошла в Крестовую палату и, упав на колени перед образом Спаса, начала усердно молиться. Сзади нее, несколько поодаль, сумрачно стоял Шакловитый. Скрестив на груди руки, он с нетерпением ожидал, когда она окончит молитву. Тут же находился и Сильвестр. Он был бледен и, творя шепотом молитву, перебирал четки. По временам доходил в Крестовую палату усиливавшийся на площади шум.

Наконец Софья окончила молитву и, выйдя в сени, села на лавку, приказав сесть возле себя с одной стороны Сильвестру, а с другой Шакловитому.

— Успокойся, благоверная царевна! Пустые, значит, были слухи; начинает светать, теперь они уже не нападут на нас,— заговорил Сильвестр.

— Да, нынешняя ночь прошла благополучно,— перебил Шакловитый.— А кто скажет тебе, отец Сильвестр, что они не отложили своего замысла до завтра? Позволь, государыня, порешить мне с ними. Я пойду в Преображенское, перебью всех и приведу к тебе царицу Наталью и царя Петра Алексеевича, а ты уж поступи с ними, как будет на то твое соизволение.

— Боязно отважиться на это,— нерешительно проговорила царевна.— Лучше ждать их прихода в Москву, здесь на нашей стороне будет сила.

— Горше будет, когда...— начал было Сильвестр, но в это время послышался первый удар благовеста к заутрене.

Сильвестр встал с лавки и, сняв со своей лысой головы клобук, начал креститься. Царевна и Шакловитый тоже перекрестились.

— Возблагодарим Господа,— сказал Сильвестр,— что он сподобил нас провести сию ночь без нашествия врагов наших.

— Теперь можно распустить стрельцов,— сказала царевна.

Она вышла из сеней и в сопровождении Шакловитого стала спускаться с лестницы. Истопник Евдокимов нес за нею три больших мешка с серебряными деньгами.

— Вот вам награда за вашу верную службу,— сказала царевна стрельцам, выйдя на площадь.— Федор Леонтьевич раздаст вам пожалованные мною деньги.

— Рады мы постоять за тебя, великая государыня! — заговорили стрельцы, получая деньги и уходя с площади.

В это время подскакал к Шакловитому ездовой стрелец и шепнул что-то на ухо. Шакловитый опрометью кинулся по лестнице, по которой уже поднималась царевна.

— Царь Петр убежал из Преображенского! — в отчаянии вскрикнул он.

— Куда? — спросила изумленная Софья.

— Никто не знает! Сейчас оттуда прискакал гонец. Я расспрошу, а между тем велю ударить сбор.

Наутро вся Москва заговорила о том, что царь Петр Алексеевич пропал без вести. В городе поднялась страшная суматоха; все ожидали, что он откуда-то со стороны начнет наступать на Москву со своими потешными.

XXIX

— Спасайся, государь! — отчаянно крикнул стольник, вбежавший в полночь в спальню царя Петра Алексеевича.— Стрельцы из Москвы идут на нас!

Царь спрыгнул с постели, опрометью кинулся в конюшню, босой и в одной сорочке вскочил на неоседланного коня и помчался из Преображенского.

Во дворце началась страшная тревога. Боярин князь Борис Алексеевич Голицын, царский дядька, и несколько ближних людей спешно сели на лошадей и понеслись вслед за государем. Едва удалось им догнать Петра, они приостановились. Петр наскоро оделся в захваченное для него платье и снова помчался, опережая своих спутников, на взмыленном коне.

В течение пяти часов он без отдыха проскакал шестьдесят верст и в шестом часу утра внесся в ворота Троицкой лавры. Вслед за ним примчался туда же и Голицын. Утомленный Петр не в состоянии был слезть с лошади; его сняли, внесли в келью архимандрита и там положили на постель. Измученный Петр вскоре крепко заснул под однообразный и тихий говор отца-архимандрита.

Между тем в лавру с чрезвычайною поспешностью ехала царица Наталья Кирилловна с дочерью и беременною невесткою Евдокиею Федоровною. В лавру же торопились потешные; туда же из Преображенского везли пушки и скакали верхом и в колымагах бояре и царедворцы, бывшие на стороне Петра.

Оправившись через несколько часов от страшного утомления, Петр приказал князю Борису Голицыну заняться

укреплением мирной обители и отправил в Москву к царю Ивану запрос: зачем стрельцы собирались ночью в Кремле?

— Государыня-царевна намеревалась ночью идти на богомолье в Донской монастырь, и стрельцы были собраны для охраны ее чести и здравия на этом пути,— отвечали из Москвы.

Софья между тем не знала, как выйти из затруднительного положения. Василий Голицын советовал ей примириться с братом. Шакловитый и Медведев, напротив, подстрекали, чтобы она не уступала, и царевна приняла их совет.

Теперь главною задачею было заставить царя Петра приехать в Москву, и с целью склонить его к этому она отправила в лавру боярина князя Ивана Борисовича Троекурова. В ответ на это было повеление Петра, чтобы стрельцы шли к нему в лавру «для великого государственного дела, которое им будет объявлено, когда они, по прибытии туда, увидят пресветлые очи государя».

— В распрю мою с братом не мешайтесь и в лавру к нему не ходите,— объявила правительница собранным, по ее приказанию, стрельцам.— Ослушникам велю отрубить голову.

Никто из стрельцов не посмел пойти к Петру. Софья ободрилась и склонила царя Ивана, остававшегося в Москве, чтобы он отправил в лавру боярина князя Петра Ивановича Прозоровского уговорить Петра приехать в столицу. В подкрепление этому, хотя и весьма почтенному, но не слишком красноречивому послу был дан поп Меркурий. Но и боярин, и поп возвратились без успеха.

— Поезжай-ка ты, святейший владыко, в лавру, утиши неправедный гнев на меня брата Петра. Склони его прибыть в Москву и примириться со мною; не нам, единокровным, враждовать между собою,— поручала царевна патриарху.

— Исполню веление твое, благоверная царевна,— отвечал смиренно Иоаким.

— Да возвращайся поскорее!

«Как же! Будто я не знаю, что на мое место ты и Федька Шакловитый прочите другого, а меня хотите услать на покой в дальний монастырь!» — подумал бывший себе на уме старик, обрадовавшись случаю выбраться из Москвы.

Патриарх так и не вернулся, словно в воду канул.

Неподатливость Петра начала сильно смущать царевну. Пришла из лавры в Москву царская грамота, что «тем из стрельцов, кто не явится в лавру, быть в смертной казни».

Таким образом, стрельцы очутились между двух топоров, и потому часть их решилась отправиться в лавру.

— Федькина злого умысла мы не знаем, воров и разбойников ловить рады и во всем царскую волю исполним,— объявили Петру пробравшиеся в лавру стрельцы.

— Если говорите правду, то приведите ко мне первого вора и разбойника Федьку Шакловитого! — объявил Петр и, выбрав самых надежных стрельцов, приказал поймать Шакловитого.

Разведчики царевны, бывшие в лавре, донесли ей, что Петр ни за что не хочет приехать в Москву и что к нему все более собирается ратных людей.

— Поеду я сама в лавру, он не посмеет мне ничего сделать, а я, так или иначе, сумею поладить с ним,— сказала Софья Голицыну.

И 31 августа она выехала из Москвы. Царевна подъезжала уже к селу Воздвиженскому, когда на дороге вдали стала подниматься пыль.

Прошло несколько тревожных минут, и к карете подъехал стольник Бутурлин.

— Не ходи, благоверная царевна, в лавру,— доброжелательно предупредил он ее.

— Пойду! — гневно отвечала царевна и, не сказав более ни слова, тронулась далее. Но при самом въезде в Воздвиженское царевну остановил боярин князь Троекуров, явившийся к ней в сопровождении вооруженных ратных людей.

— Имею к тебе, пресветлейшая царевна, царский указ,— почтительно сказал Троекуров, сняв при приближении к правительнице шапку и низко поклонившись ей.

С негодованием вырвала царевна указ из рук боярина.

В указе этом от имени Петра объявлялось, что царевне впуска в лавру не будет и что «в случае дерзновенного ее туда прихода с нею поступлено будет нечестно».

— Скажи царю Петру Алексеевичу, что после такого указа я и сама не хочу к нему ехать. Скажи также ему, что и я выдам указ, чтобы не пускать его в Москву! — приказывала Троекурову раздраженная царевна, и затем ее поезд направился обратно к столице.

Озлобленною до крайности царевна возвратилась назад. Невозможность рассчитывать на поддержку со стороны царя Ивана, который сам прятался в своих хоромах, вынудила ее действовать решительно только от своего лица. 1 сентября стрельцы были собраны перед Красным крыльцом.

В сильном смущении вышла к ним царевна и остановилась на последней ступеньке лестницы.

— Вы тому верите,— громким голосом сказала она стрельцам,— что вам из Троицы пишут. Грамоты эти — выдумка злых людей. Зачем хотите выдавать добрых и верных моих слуг? Их станут пытать, а они, не стерпя, оговорят многих.

В этот день праздновалось новолетие, а потому, кроме стрельцов, около дворца собралось множество народа, ожидая торжественный выход правительницы на молебствие. Но теперь царевне было не до внешнего царственного величия.

— Злые люди поссорили меня с братом Петром Алексеевичем,— начала она, обратившись к народу.— Они подговорили злодеев разгласить о заговоре против него. Выставили они изменником Федора Леонтьевича Шакловитого только из зависти к его услугам. Брат Петр отверг меня, и я со стыдом возвратилась с дороги. Вам известно, что я более семи лет правила государством, была милостива и щедро награждала; докажите же мне теперь вашу преданность. Злодеи хотят погубить не Шакловитого, а меня; они ищут моей головы и жизни моего родного брата! — Царевна зарыдала.— Впрочем, если хотите, все до единого можете бежать в лавру, но помните,— добавила она вдруг твердым и грозным голосом,— что здесь останутся ваши жены и дети!

В народе прошел какой-то неопределенный гул, но что говорили в толпе, разобрать было невозможно. Между тем стоявшие вблизи царевны москвичи принялись низко ей кланяться, бормоча что-то себе под нос. Царевне казалось, что народ хочет взять ее сторону, как вдруг толпа заколыхалась.

— Раздайся! Раздайся! Пропусти! — закричали на площади.— Гонец от Троицы приехал!

Показался стрелецкий полковник Нечаев. Он подошел к царевне, поклонился ей и встал против нее с непокрытою головою.

— Привез я тебе, пресветлейшая царевна, царский указ. Соизволь допустить меня в твои хоромы,— сказал полковник.

— Можешь ты говорить со мною и здесь, при всем православном народе!

— Указал мне великий государь взять первого вора и изменника Федьку Шакловитого! — проговорил Нечаев.

— Никакого вора и изменника Федьки Шакловитого нет, а есть в Москве окольничий и начальник стрелецкого

приказа Федор Леонтьевич Шакловитый,— гневно перебила Софья.

— Он именно мне и нужен! Так соизволь, государыня-царевна, чтобы я забрал его...

— Схватите его! — крикнула в исступлении царевна, указывая на Нечаева.— Сейчас же отрубить ему голову!

Стрельцы бросились на ошеломленного Нечаева, чтобы исполнить приказание царевны. На площади все стихло, все, притаив дыхание, с любопытством смотрели, чем кончится дело. Борьба Нечаева с напавшими на него стрельцами скоро кончилась. Распоряжавшийся стрельцами голова Кузьма Чермной тут же на площади хотел отсечь голову полковнику, но не нашлось на месте палача, и потому связанного Нечаева потащили в стрелецкий приказ, чтобы там немедленно исполнить над ним приговор правительницы. Следом повалила толпа народа.

Царевна возвратилась в хоромы. Шакловитый упал ей в ноги.

— Благодарствую, государыня-царевна, что защитила меня! Взяли бы они меня на лютые пытки и на страшную казнь,— целуя ноги и руки царевны, говорил Шакловитый.

— Не посмеет никто тебя тронуть, пока я твоя заступница! Садись и пиши грамоту ко всем чинам московского государства!

В ней царевна жаловалась, между прочим, народу на то, что Лев Кириллович Нарышкин и его братья «к ее ручке не ходят и тем государскому ее имени ругаются», что от потешных многим людям чинятся обиды и насилия, что Федор Кириллович Нарышкин «забросал поленьями комнаты царя Ивана и изломал царский венец».

Шакловитый написал начерно воззвание. Царевна перечитала несколько раз, делая помарки и поправки. На другой день Шакловитый принялся переписывать воззвание начисто, а царевна в сопровождении отряда стрельцов отправилась к обедне в Новодевичий монастырь.

Ровно скрипело и прытко ходило по бумаге привычное перо бывшего приказного, когда явился в Москву новый посланец от Троицы. Не имея никаких известий ни от Нечаева, ни о нем самом, Петр отправил в Москву за Шакловитым и Сильвестром другого полковника с настоятельным требованием их выдачи. Новый посланец воспользовался отсутствием правительницы и через боярина князя Прозоровского потребовал у царя Ивана выдачи Шакловитого.

— По мне, пусть забирают кого хотят, лишь бы меня не

трогали,— равнодушно проговорил Иван, лежавший по обыкновению целый день в постели.

Прозоровский отправился с полковником и прибывшими из Троицы стрельцами в хоромы, которые занимал Шакловитый. Никто из бывшей при ней стражи не посмел задержать боярина.

— Иди, Федор, спешно к великому государю Ивану Алексеевичу, он тебя к себе требует! — как ни в чем не бывало сказал Прозоровский.

Не подозревая западни, Шекловитый тотчас побежал к государю. Но едва он показался на крыльце, как троицкие посланцы напали на него, крепко скрутили по рукам и по ногам веревками, ввалили в телегу и повезли в лавру.

Возвращаясь из монастыря, Софья узнала о захвате Шакловитого, но спасти его не было уже никакой возможности; теперь его быстро мчали по Троице-Сергиевой дороге. Гневу и отчаянию царевны не было пределов.

Еще до захвата Шакловитого стрельцы навестили Заиконоспасский монастырь, чтобы схватить Сильвестра Медведева, но след его уже простыл. Он выбрался из Москвы в село Микулино и, там переодевшись в крестьянское платье, побрел в виде странника по смоленской дороге, пробираясь в Польшу.

XXX

В то время, когда Шакловитый висел на дыбе в Троицкой лавре и бояре, преданные Петру, допрашивали его под ударами кнута, в селе Медведково, на реке Яузе, в семи верстах от Москвы, укрывался от гнева Петра князь Василий Васильевич Голицын, не принимавший никакого участья в действиях царевны Софьи со времени неудачной ее поездки к Петру. Голицын, которому в мечтах царевны Софьи приготовлялся царский венец, помышлял теперь о побеге в Польшу, но невозможность захватить с собою свои громадные богатства заставляла колебаться и без того не слишком решительного боярина.

С ужасом узнал он, что Петр, хотевший пощадить Шакловитого, приказал, по настоянию патриарха, отрубить ему голову, и что такой же казни, и тоже по требованию святейшего владыки, подверглись перед монастырем на московской дороге стрелецкие головы Петров и Чермной и трое рядовых стрельцов, выданные своими подчиненными и своими товарищами. С трепетом с часу на час ожидал

боярин в своем роскошном поместье, что за ним явятся грозные посланцы из Сергиевой лавры, но он несколько ободрился, когда родственник его, князь Борис Алексеевич Голицын, пользовавшийся особенною благосклонностью Петра, обнадежил его, что ему будет дана пощада, если он явится в лавру с повинною. Долго не отваживался на это боярин, но наконец решился. Приехавшего к Троице Голицына не пустили за монастырскую ограду, но приказали жить на посаде. На другой день его потребовали к Петру, но он не удостоился зреть пресветлые очи государя, так как у крыльца царских палат при многочисленном народе думный дьяк объявил Голицыну о лишении его самого и его сына чести боярства, отписке их имущества на государя и о ссылке их с женами и детьми в Каргополь.

Стрельцы, видя решительную расправу семнадцатилетнего царя с приверженцами правительницы, стали волею-неволею переходить на его сторону, и Софья поняла, что конец ее власти близится. Противники ее действовали смело и неутомимо.

«Вручен скипетр правления прародительского нашего российского царства,— писал в Москву из Троицкой лавры царь Петр своему брату Ивану,— двум особам, а о третьей особе, чтобы быть с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось, а как сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим учала владеть свою волею и в том владении, что явилось особам нашим противное, а народу тягость, о том тебе, государь, известно. А теперь, государь-братец, настоит время нашим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже мы пришли есьми в меру возраста своего и третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и расправе быти не изволяем, на то бы и твоя, государя моего брата, воля склонилась, потому что учала она в дела вступать и в титлах писаться без нашего изволения, к тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды венчаться хотела. Срамно, государь, при нашем возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебя, государя-брата, яко отца почитать готов. Писавый в печалях брат ваш Петр здравия желаю и челом бью».

С обычным равнодушием выслушал царь Иван прочтенное ему письмо.

— Пусть братец Петр поступает по своей воле,— только и пробормотал он.

Этих слов было достаточно. Петр тотчас же приказал исключить имя царевны Софьи из имен царей, и 12 сентяб-

ря 1689 года она сошла с той высоты, на которую возвел ее смелый ум.

XXXI

Под Москвою, у Воробьевых гор, по берегам реки Москвы расстилается широкий дол, носивший издавна загадочное название Девичьего поля. В 1524 году, по обету великого князя Василия Васильевича, была построена здесь женская обитель. В этот «обетный» монастырь собралось много инокинь «девичьяго чина», и он в отличие от старого, уже существовавшего в Москве женского монастыря был назван Новодевичьим. В него вступали представительницы только знатных московских родов. В отношении иноческого жития отшельницы Новодевичьего монастыря соблюдали общие для монашествующих обеты, но была у них одна особая верноподданническая обязанность: они должны были вязать для государя носки и рукавицы.

Новодевичий монастырь, как и другие стародавние наши обители, мог служить крепостью для обороны против неприятеля. Новодевичья обитель была обведена земляным валом и окружена высокою каменною зубчатою стеною с бойницами, стрельницами и башнями. Величаво выглядывали из-за монастырских стен большие каменные здания, а среди них высились храмы с вызолоченными главами, отличавшиеся внутри большим благолепием.

Богат был Новодевичий монастырь лугами, пожитями, лесами, рыбными ловлями и разными угодьями, и считалось за ним до 15 000 крестьян. Имел он для своего обихода всякие рукоделия и ремесла.

В этот монастырь в исходе сентября 1689 года была по распоряжению Петра заключена на безысходное житье «за известные подыскательства» царевна Софья Алексеевна. Долго и упорно противилась она такому распоряжению брата. С большим трудом настоял Петр на ее выезде.

С переселением царевны в Новодевичий монастырь богохранимая обитель приняла воинственный вид. Крепкие караулы, зорко, под главным начальством стольника князя Федора Юрьевича Ромодановского, строжили царевну, которая не унималась и за монастырскою оградою, продолжая по-прежнему именовать себя самодержицею Великия, Малыя и Белыя России.

Не в тесной и не в уединенной келье поселилась низложенная, но не постриженная еще в монашество бывшая

правительница. Для нее отведено было в монастыре обширное помещение, состоявшее из ряда келий, с окнами, выходившими на Девичье поле. Смотря на него, царевна с томительною тоскою вспоминала о былом своем величии, когда на этом самом месте перед нею, полновластною повелительницею государства, двигалась многочисленная стрелецкая рать.

— Не вечно же будет длиться мое заточение,— ободряла себя Софья в минуту страшного отчаяния.— Симеон говорил мне, что, по предсказанию астрологов, век Петра будет недолог. Да и царевна Пульхерия была также заключена братом в монастырь, но потом возвратилась во дворец и правила опять государством со славою до конца своей жизни.

Голицын, предмет первой любви, был ей мил и теперь в ее монастырской неволе. Перед самым выездом из своих кремлевских палат Софья нашла возможность переслать ему со стольником князем Крапоткиным триста червонных и узнала от Крапоткина, что Василий Васильевич находится в бедственном положении, что место его ссылки изменено, его отправили не в Каргополь, как было объявлено ему прежде, а в Яренск, убогую зырянскую деревушку в нынешней Вологодской губернии, где он томился в нищете и почти умирал с голоду со своей семьею, привыкнув к удобствам и роскоши.

Живя в Новодевичьем монастыре, Софья не могла жаловаться на строгое уединение. Молельщики и молельницы по-прежнему допускались в монастырь беспрепятственно, а в большие праздники навещали ее тетки и сестры. В монастыре она была окружена своими прежними мамами, постельницами и прислужницами; но скучна и томительна была для Софьи однообразная их беседа.

Пользовалась царевна в монастыре большим довольством. Каждый день выдавалось на нее по ведру приказного меду и мартовского пива и по два ведра приказного и хмельного пива, а также по два ведра браги. Съестное продовольствие было также изобильно: ежедневно присылали с царского кормового двора десять стерлядей, щуку, леща, трех язей, тридцать окуней и карасей, два звена белой рыбы, зернистую икру, просольную стерлядь и белужину. Можно было порядком насытиться этой, хотя и постной, трапезой, и, по всей вероятности, немало инокинь откормилось благодаря пребыванию царевны в их обители. Вдоволь было также у царевны хлеба: белого, зеленого, красносельского, папошников, саек, калачей, пышек, пирогов, левашников,

караваев, орехового масла и разных пряных зелей для вкусной приправы. Не обидел царь Петр свою сестрицу и сластями. Повелел он выдавать ей: по четыре фунта леденца белого и красного, полфунта сахару «кенарского», по пуду среднего и по четыре фунта леденцов «ряженных», по три фунта заграничных конфет и сколько угодно пряников, коврижек и иной всякой сласти.

Понятно, впрочем, что никакие снеди, хотя бы приготовленные на сахаре, меде и патоке с инбирною и другими приправами, не могли усладить горечи нынешнего положения Софьи. Бездействие всего сильнее угнетало и удручало царевну, привыкшую уже к кипучей и разнообразной государственной деятельности. Никогда не любила Софья женских рукоделий, а чтения на русском языке в ту пору было вообще мало, притом она перечитала уже все, да и зачем было читать, когда не с кем было потом разделить беседу о прочитанном.

Проходил год за годом, и минуло уже пять лет с того времени, как Софья, лишенная власти, въехала в монастырские ворота. Умерла злейшая ее ненавистница, царица Наталья Кирилловна, но положение царевны не изменилось: каждый день тот же благовест, то же молитвенное пение и, наконец, то же самое перед глазами. Братец Петруша был суров и непреклонен по-прежнему, да и царевна, строптивая от природы и побывавшая уже во власти, не хотела покориться ему и просить у него пощады.

В январе 1696 года умер царь Иван, не посещавший сестры под предлогом болезни, но, вероятнее, в угоду Петру, который даже не позволил Софье присутствовать на его похоронах. Петр стал единодержавствовать, и заговорили в Москве, что молодой государь хочет все царство переделать на иностранный лад.

— Наш-то Петрушка все на новые выдумки и затеи лезет, свернуть бы ему поскорее шею! — сказала как-то старшая из сестер, царевна Марфа Алексеевна, разделявшая с Софьею непримиримую ненависть к Петру.— Хорошо было бы, коли стрельцы, а за ними народ, поднялись против него и ты бы, сестрица, тогда на свободу вышла. Держит он тебя, злодей, в тяжкой неволе. Толковали прежде, будто все зло от Натальи Кирилловны шло, а теперь и нет ее, а тебе, родная моя, все-таки не полегчало.

— Крепко она научила его нас ненавидеть, весь грех за наши страдания на ее душе! — сказала гневно Софья с навернувшимися на глазах слезами.

— Господь Бог даст, все твои муки, Софьюшка, скоро

кончатся. Стрельцы снова шуметь принимаются, за тебя хотят постоять, все они тебя добром вспоминают,— утешала ее царевна Марфа.

— Бояре против меня, невзлюбили они меня за то, что я им воли не давала,— перебила Софья.

— Да бояре-то не постоят и за Петрушку, роптать на него начинают за то, что с иноземцами дружит, а своих русских как будто презирает.

— Надобно бы, Марфушка, со стрельцами поближе стакиваться, посылай-ка почаще в их слободы, пусть твои постельницы да другие надежные и толковые бабы со стрельчихами сходятся. Ведь и в прошлые годы я через них стрельцами распоряжалась,— наставляла сестру царевна.

— Исполню твои советы, сестрица-голубушка. Слышно, что Петрушка в Воронеж ехать собирается, суда там строить хочет, а потом пойти войною на басурман.

— Пропасть бы ему там! — пожелала Софья.

Надежды на перемену к лучшему, казалось, готовы были осуществиться, когда состоявший в царской службе и пользовавшийся прежде расположением Петра иноземец Цыклер, а из русских Соковнин и Пушкин, составили против Петра заговор. Смелый их замысел был, однако, открыт и их четвертовали: сперва отрубили руки и ноги, а потом и головы; а при производстве о них дела оказалось, что царевна Софья не была чужда замыслов заговорщиков. В 1697 году сходил Петр под Азов и, возвратясь в Москву победителем, задумал отправиться с великим посольством за границу.

— Смотри за царевною Софьею Алексеевною, да смотри, Федор Юрьевич, хорошенько, чтобы порухи какой не было. Гляди в оба, чтобы она никаких сношений за монастырскою стеною не заводила. Знаю я ее преотменно. И сидя в Новодевичьем, сумеет она наделать много бед. Не пускай к ней никого из чужих, да и за другими царевнами присматривай. Ведь и на них больно много полагаться нельзя. Сестрам не позволяй ездить в монастырь во всякое время, пусть приезжают только дважды в году: в Светлый праздник и в храмовой, да разве в случае тяжкой болезни Софьи Алексеевны дозволь им побывать у нее, но и тогда не оставляй их без присмотра. Молельщиков, как только служба кончится, а пуще всего баб, тури из монастыря вон, а кого в чем заподозришь, того тут и хватай. Особенно не допущай в монастырь певчих: в церкви они поют «спаси от бед рабы твоя», а на паперти денег дают на убийство! — наказывал Петр Ромодановскому.

— Положись на меня, великий государь, все по монастырю в порядке будет,— самоуверенно успокаивал Петра будущий князь-кесарь и будущий грозный начальник страшного Преображенского приказа.

Кроме словесных наставлений, царь дал Ромодановскому еще и письменные, пригрозив, разумеется, что плохо ему будет, если он сделает что-нибудь против государевой воли.

Уехал царь в чужие земли, крепко положившись на Ромодановского, и, надобно сказать правду, сторожил Ромодановский царевну усердно, приглядывался и прислушивался, расспрашивал и разведывал, хватал тех, которые казались ему подозрительными, и вообще исполнял царские наставления со всевозможною добросовестностью.

Сидел однажды Ромодановский у окошка своего жилья и поглядывал на монастырский двор. Перед ним то пройдет, еле плетясь, древняя старица с потупленными глазами, то живо шмыгнет молоденькая беличка, в остроконечной черной шапочке, и стыдливо, будто невзначай, вскинет глазки на здоровенного князя-стольника и плутовато улыбнется.

«Ведь вот поди,— думал Ромодановский, глядя на расхаживавших взад и вперед по монастырскому двору монахинь и беличек,— живи они мирянками, такой бы свободы не имели, ходили бы под фатою да укрывались бы от мужчин, а тут, знай себе, разгуливают промеж народа! Выходит, что в монастыре им вольготнее, чем было бы в супружеском или родительском доме. Да и к чему теснить люд Божий? Долга ли вся наша жизнь, а пожить-то каждому хочется!»

В ту пору курение табака было не в ходу. По патриаршим и царским указам «чертово зелье» находилось еще под запретом и за попытку курить, или, как тогда говорилось, «пить», его можно было поплатиться отрезкою носа, а потому стольник, не имея, чем бы развлечься, свесившись за окошко, поплевывал вниз да мурлыкал вполголоса какую-то заунывную песню.

— Эй ты, тетка! — вдруг встрепенувшись, крикнул он, завидя шедшую по монастырскому двору карлицу.— Куда бредешь?

— К государыне-царевне, милостивец! — бойко отвечала карлица, подняв к Ромодановскому свое безобразно-добродушное лицо.

— А от кого?

— От сестрицы ее, царицы Марфы Алексеевны.

— А как зовут тебя?

— Авдотькою, кормилец, Авдотькою.

— А что в узле тащишь?

— Стряпню, государь боярин!

— Ну, иди с Богом,— снисходительно проговорил Ромодановский.

— Да что, светик мой, караульные-то твои не хотят меня пропущать, больно уж теснят! — вздумала жаловаться карлица, ободренная обходительностью царского стража.

— Ничего, тетка, тебе ходить можно, я велю пропускать тебя.

Действительно, по приказанию царевны Марфы, карлица несла Софье Алексеевне стряпню: словом этим означалось в старину, между прочим, и женское рукоделье.

С волнением стала Софья перебирать присланную ей от сестры посылку и между «знамениями», или узорами для вышивания, мотками шелка, нитей бисера и бус, кусками бархата, парчи и атласа нашла письмо от Марфы. Из этого письма она узнала чрезвычайно важные вести, которые дошли до ее сестры от ходивших к ним на «кормки» стрельчих. Кормки бывали у цариц по девяти раз в году, а у царевны Марфы, как и у других ее сестер, по четыре раза. Происходили они во дни поминовения покойных их родителей, и тогда в кремлевские терема набиралось каждый раз всякого бабья не менее двух сотен. Угощали на кормках сытно; подносили также вдоволь вина, пива и меду. Всего более собиралось на эти кормки стрельчих, которые свели близкое знакомство с постельницами царевны Марфы, Анной Клушиной и Анной Жуковой, и через них до Марфы дошли известия о таких событиях, о которых не знали еще бояре-правители, назначенные уехавшим в чужие земли царем. Лицо царевны-узницы просияло радостью, когда из подосланного ей Марфою письма она узнала, что стрельцы, отправленные после азовского похода на литовскую границу, не захотели туда идти, что из них сто семьдесят пять человек убежали в Москву и здесь громко заговорили против царя и против бояр-правителей.

— Житья нам не стало от царя! Сперва он только пристал к немцам, а теперь и сам залетел в их сторону, а между тем мучают нас непосильною службою да никогда не бывалыми прежде «фортециями», а по милости бояр три года мы скитаемся в походах. Такое ли было наше житье при царевне Софье Алексеевне? Нужно опять посадить ее на державство, она нам повольготит.

Царевна схватила перо и принялась писать: «Постояли бы стрельцы за меня, а я службу их не забуду. Жаль мне их,

бедных, хотят изрубить их всех бояре», — и карлица понесла этот ответ к своей царевне.

Князь-стольник продолжал смотреть по-прежнему на монастырский двор, и низко поклонилась ему Авдотька, проходя мимо.

— Приходи, тетка, и в другой раз! — сказал ей почему-то особенно благодушествовавший в этот день Ромодановский, — пропускать я тебя уже велел.

— Благодарствуем, кормилец, благодарствуем, — бормотала карлица, спокойно выходя из монастыря, охраняемого у ворот сильною воинскою стражею.

Письмо Софьи тотчас же сделалось известно стрельцам, и они поспешили отправиться из Москвы к своим полкам, остановившимся в Торопце, чтобы мутить их, поручив выборным вести сношения с царевною. Карлица продолжала ходить в монастырь, и через нее обе сестры вели деятельную переписку под самым носом оплошавшего Ромодановского.

Софья как будто ожила. Ей после девятилетнего заточения стали грезиться в недалеком будущем кремлевские палаты и царский венец. Дело, казалось, шло успешно. За распутицею не было долго никаких известий о царе, подъезжавшем между тем к Вене. Пошел по Москве слух, что царь за границею умер, что бояре хотели задушить царевича Алексея Петровича и до того зазнались, что били по щекам его, царевича, мать, царицу Евдокию Федоровну. В Москве настало опять тревожное время, «на всех бабий страх напал», писал один из современников этой эпохи.

Софья же смело возбуждала новый стрелецкий мятеж.

«Пусть четыре стрелецких полка станут табором на Девичьем поле, — распоряжалась она в письме своем к Марфе, — и бьют мне челом идти к Москве против прежнего на державство, а если бы солдаты, которые стоят у монастыря, к Москве отпускать меня не стали, то управиться с ними и побить их, тоже сделать и со всеми, кто стал бы противиться».

Стрельцы, в свою очередь, не исполняли присланного им от бояр повеления о походе на литовский рубеж, но самовольно, грозя смертью своим начальникам, двинулись к Москве для выручки из монастыря царевны. Стрельцы пошли на Москву малыми отрядами, и 6 июня 1698 года все четыре полка соединились на реке Двине, но там заколебались: идти ли им далее или нет?

«Чего стали? — писала им туда Софья. — Ныне вам худо,

а будет еще хуже. Идите на Москву, про государя ничего не слышно».

— Грянем на Москву! Умрем друг за друга! Перебьем бояр, а чернь нас не выдаст. Кто не будет с нами, того посадим на копья, а на державство призовем царевну Софью Алексеевну! Коли царь жив, так не пустим его в Москву, начал он веровать в немцев, принял звериный образ и стал носить собачьи кудри! — кричали бурливо стрельцы, ободряемые Софьей.

Разинули рты и повытаращили от изумления глаза бояре-правители, когда нежданно-негаданно проведали, что не послушавшиеся их повелений стрельцы подходят к Москве. Выслали они против мятежников новые царские полки, при двадцати пяти пушках под начальством боярина Шеина, дав ему в товарищи иноземца генерала Гордона и воеводу князя Кольцова-Масальского. Приблизившись 18 июня к стрельцам, около Воскресенского монастыря, московские военноначальники вступили с ними в переговоры.

— Нечего нам с вами переговариваться! У всех у нас одна душа: ляжем за государыню Софью Алексеевну да и только! — отвечали стрельцы.

Гордон, принявший вместо оробевшего Шеина главное начальство, дал им четверть часа на размышление.

— Эй, вы, батьки! Живее служите молебен о победе и одолении! — прикрикнули стрельцы на своих попов.— Стойте, братцы, что Бог ни даст! — кричали они друг другу, и едва лишь выстроились они в боевой порядок, как над их головами с шипением и свистом пролетели пущенные из царских пушек четыре ядра для острастки.

— Пойдем, братцы, грудью напролом! — гаркнули стрельцы.

Полетели вверх их шапки, и начали они отстреливаться. Вскоре, однако, смешались и попятились назад, а преображенцы и семеновцы дружно ударили на них, кололи и рубили, а захваченных живьем тащили в тюрьмы Воскресенского монастыря.

Круто принялись бояре расправляться с забранными в полон стрельцами, допрашивали их с пытки и с огня, но ни один из них не выдал Софьи Алексеевны.

— Спроста хотели мы стать табором на Девичьем поле, потому что оттуда слободы наши близки,— отвечали они на все пыточные допросы и молча, творя только крестное знамение, шли на смертную казнь.

Вешали бояре сразу человека по три, по пяти и перевешали таким образом семьдесят четыре человека, немилосердно исполосовали кнутом спины у ста сорока стрельцов, а тысячу девятьсот шестьдесят пять, менее виновных, отправили в дальнюю ссылку.

XXXII

Пробыв уже полтора года за границею и узнав в Вене о возмущении стрельцов, Петр отложил свое дальнейшее путешествие и явился в Москву ранее, чем его ожидали бояре-правители. 25 августа, в шесть часов пополудни, он был в Москве, а на ночь уехал в Преображенское.

На другой день вельможи явились на поклон к государю. Ласково принял их двадцатишестилетний государь, многих обнимал, рассказывал о своем путешествии, а между тем бывшими у него в руках ножницами то одному, то другому отрезывал бороду, вдруг захваченную его державною рукою, освободив от этой операции только Тихона Никитича Стрешнева да князя Михаила Олеговича Черкасского, первого — в уважение его преданности, а второго — по уважению слишком преклонных его лет. Пошла теперь стрижка бород, а ими в ту пору всего более дорожили и всего более гордились русские люди. Спешно подбирали они с полу остриженные царем бороды и приказывали положить их с ними в гроб, чтобы не предстать на страшном судилище без бороды и хотя про запас иметь ее в руках в день ответа за все прегрешения вольные и невольные. Забыто было теперь, что на соборе, бывшем при царевом прародителе, патриархе Филарете, положили «анафемствовать» за бритье бород как за обращение лица человеческого, созданного по образу и подобию Божиему, в «псовидное безобразие». Забыто было гонение, поднятое отцом государя, царем Алексеем Михайловичем, на бривших бороду, которых он, как отлученных от церкви, воспретил предавать христианскому погребению. Не обращали внимания и на поучение настоящего патриарха Адриана, который в пастырских своих посланиях поучал, что «брадобритники с одними усами подобны котам и псам».

Обрезывая бороды, царь думал и о том, что не мешает для государственного блага отрезывать и головы.

— Бабьих рук дело был последний стрелецкий бунт!

Худо вы допрашивали, я допрошу лучше вашего! — гневно крикнул он, выслушав доклад бояр о стрелецком мятеже.

Голова его нервно задрожала, и судорожное подергивание, признак необузданного гнева, появилось на его лице.

Принялся сам царь за допросы. Разосланных стрельцов стали свозить отовсюду в Москву и рассаживать по тамошним монастырям или в крепких оковах, или прикованными на цепи к стенам. Устроили в Преображенском четырнадцать застенков, заскрипели там ремни и веревки, затрещали блоки и послышалось тяжелое шлепанье кнута. С лишком тридцать костров курилось в то время в Преображенском, и носился около них смрадный запах от сжигаемого человеческого тела, так как пытка огнем была в большом ходу.

В день именин бывшей правительницы, 17 сентября 1698 года, начался немилосердный розыск.

— Софью Алексеевну в управительство взять себе хотели? По письму ль ее вы ваше злодейское дело затеяли? — допрашивали стрельцов на пытке.

— Шли мы сами к Москве от голоду и скудости, а царевна ни в чем не виновата,— отвечали они.

Один только из них не выдержал пытки, да и то уже с третьего огня.

— Точно, что царевна писала, чтобы мы шли к Москве и, спросясь ее, стали бы табором под Новодевичьим,— пробормотал измученный стрелец Алексеев с растерзанною спиною, изломанными членами и вдобавок к тому с боками, поджаренными три раза на медленном огне.

— Подавай сюда баб! От них мы допытаемся, через кого сносилась со стрельцами Софья Алексеевна,— крикнул Петр, узнав о показании Алексеева.

Тотчас же захватили маму царевны Софьи, Марфу Вяземскую, четырех ее постельниц и карлицу Авдотью. Притащили также в застенки разных Любавок, Маринок, Улек, Оринок, Мавруток, Васюков, Танек, и начали раздаваться там женские взвизгиванья, вопль, плач и стоны.

— Вот все ждали бабьего царства, а наступила гибель бабьего рода! — заговорили по Москве, узнав о расправе Петра с женщинами.

— Помилосердуйте, отцы родные! Дайте хотя опамятоваться! — кричали женщины, приходившие, по тогдашнему выражению, «в изумление» от жестоких пыток.

Все сумрачнее становился царь по мере того, как откры-

валось прямое и деятельное участие Софьи в последнем стрелецком мятеже. Долго он не решался увидеть и допросить виновную сестру.

«Ну, как дрогнет мое сердце, когда я увижу ее?» — думал он и только после долгой борьбы решился отправиться в Новодевичий монастырь и лично допросить царевну.

Молча некоторое время стояли брат и сестра, злобно смотря друг на друга. Царевна тяжело дышала, Петр чувствовал, что голос его замирает от сильного волнения.

— Писала ты то письмо, которое стрельцы от твоего имени получили на Двине? — глухо спросил он.

Софья не отвечала.

— Ты слышишь, о чем я тебя спрашиваю?

— Такого письма я не посылала, и стрельцы пришли меня звать в правительство не по моему письму, а потому, что я была уже в правительстве,— задыхаясь от гнева, вымолвила царевна.

— Не хочешь сознаться добровольно, так сознаешься у пытки! — будто прорычал царь и, окинув сестру свирепым взглядом, быстро вышел из ее кельи.

— Мучитель ты мой! — взвизгнула Софья, хватаясь в отчаянии руками за голову.— Бог накажет тебя за твое злодейство!

— Не сознается,— сказал Петр приехавшему с ним вместе в монастырь Гордону и ожидавшему у крыльца государя.

— Казни ее смертью! — посоветовал сумрачно Гордон.

— Нет, Патрикий, казнить ее смертью я не буду, а пусть увидит она, к чему привели ее козни! — говорил царь, садясь на коня, и выехал он из Новодевичьего мрачнее тучи.

Еще до поездки Петра к Софье начали ставить виселицы в Белом городе и в стрелецких слободах у съезжих домов. Виселицы устраивались на двух высоких столбах с длинною поперечною перекладиною наверху. В некоторых местах виселицы располагали так, что они составляли равносторонний четырехугольник. 30 сентября начались в Москве казни. В этот день, рано утром, потянулись из Преображенского к Белому городу под сильным военным прикрытием сотни телег. В каждой из них сидели по два стрельца в саванах, с горящею восковою свечою в руках. За телегами с отчаянным воплем и воем бежали жены, матери

и дети обреченных на казнь. Ужасный поезд остановился у Покровских ворот в ожидании приезда государя. Вскоре приехал он туда в зеленом бархатном кафтане польского покроя, с маленькою шапочкою на голове. С ним явились в качестве приглашенных зрителей генерал Лефорт, а также множество бояр. Все они были на конях.

— Слушать и стоять смирно! — громко крикнул царь, сделав знак рукою, чтобы замолчали.— Читай приговор! — обратился он к дьяку.

Среди глубокой тишины началось чтение приговора. Беспрестанно слышались слова: воры, изменники, клятвопреступники, бунтовщики. По прочтении приговора дьяк стал вызывать по очереди присужденных к казни.

Безропотно всходили они на лестницы, приставленные к виселицам; палачи накидывали им на шеи петли и сталкивали их с подмостков, и вскоре двести шесть человек уже висели бездыханными. После вешанья началась рубка, и пять стрелецких голов мигом отделились от туловищ.

— Этих сберечь про запас для розысков! — крикнул Петр, когда стали подводить к плахе других стрельцов, приговоренных также к отсечению голов.

В то время, когда на Красной площади вешали стрельцов и рубили им головы, там же нещадно били кнутом других их товарищей, признанных менее виновными. В бессознательном состоянии снимали их с кобылки и тут же клеймили в левую щеку, рвали ноздри и резали уши и пальцы.

Вопль и стон стоял на этом ужасном месте. С суровым равнодушием разъезжал на коне царь между плахами, виселицами и кобылками, на которых лежали притянутые ремнями стрельцы, а между тем в Преображенском и на Красной площади готовились новые еще лютейшие казни. В этом селе, на возвышении, которое было занято торговою площадью, стояли ужасные орудия смерти, и здесь, рассказывает очевидец Корб, «благороднейшая десница Москвы отрубила пять мятежных голов». Офицеры Преображенского и Семеновского полков взялись также за топоры. Обезглавленные трупы валялись в крови на площади, и, казалось, с завистью посматривали на них те, которых ожидали колесование и четвертование. Казни продолжались с небольшими перерывами в несколько месяцев, и сбылось предсказание Долгорукого о том, что зубцы кремлевских стен будут унизаны повешенными на них стрельцами,

так как стрельцов вешали теперь и на этих зубцах. Повторялись казни и в Преображенском. Там принимались за работу все: бояре, думные дьяки, палатные и служилые люди. Они неопытными, дрожащими руками наносили казнимым неверные удары, то рубя их по затылку, то рассекая им спины. Немало досталось тут всем кровавой работы, так как в один прием было отхвачено триста тридцать голов. 28 октября вешали перед церковью св. Троицы расстриженных попов, служивших молебны при наступлении стрельцов на Москву. Сюда явился царский шут в красной однорядке, с надетым поверх нее синим кафтаном с земляным поясом и в такой же шапке с лисьим околышем и в красных сапогах. Живо сбросил он с себя этот обычный шутовской наряд, оделся попом и в этой одежде то накидывал одному из расстриг на шею петлю, то, быстро отбегая от него, рубил голову другому.

Отсюда по окончании казни царь поехал на Девичье поле.

Накануне этого дня царевна Софья была заперта одна в келье с тремя окнами, выходившими на поле, и вот около полудня под окнами ее кельи послышался шум и раздался конский топот. С ужасом, смешанным с любопытством, взглянула царевна сквозь железную оконную решетку: по полю двигался длинный ряд телег с посаженными в них стрельцами.

Задрожав всем телом, царевна забилась в угол кельи, и ей, точно в тяжелом забытьи, чудился громкий говор, слышались плач, рыдания, крики, а среди всего этого зловеще звучал повелительный голос Петра. Наконец все стихло. Софья подбежала к окну и в ужасе отшатнулась. Бросилась к другому и к третьему... Она вскрикнула, рванулась к двери, ударила в нее изо всей силы, но никто не откликнулся на ее отчаянный вопль. Среди мертвенной тишины глазам царевны представилось потрясающее душу зрелище. Перед каждым окном ее кельи на веревке, привязанной к бревну, укрепленному между зубцами монастырской стены, висел мертвец с посинелым, раздувшимся лицом, высунувшимся языком и выкатившимися глазами. У каждого из них правая рука была протянута к окну кельи, а в руку была вложена бумага — стрелецкая челобитная о вступлении царевны в правительство.

Настала ночь. Поднялся в небе полный месяц и навел свой бледный свет на мертвецов, которые протягивали

к царевне окоченелые руки, зазывая ее на державство, а несколько далее на поле виднелось в белых саванах еще сто девяносто пять повешенных стрельцов.

Тянулось медленно время день за днем, а пришельцы оставались на прежних местах. Слетавшиеся к ним вороны выклевывали глаза и рвали саваны, добираясь до мертвечины. Ветер качал трупы, становившиеся с каждым днем отвратительнее, и поотлегло от сердца у Софьи, когда зимний снег запорошил их, истрепались в клочки бывшие у них в руках челобитные, но стрельцы не отступали ни на шаг от окон царевниной кельи.

Все страшные рассказы о мертвецах беспрестанно приходили на память Софье, и ужас, нагоняемый суеверием, не давал ей покоя. Пробудились в душе царевны терзания совести при мысли, что она была виновата в гибели этих людей.

«Мы пришли к тебе, благоверная царевна, ударить челом и не отойдем от тебя, пока ты не пожалуешь к нам на державство. Мы надеялись на тебя и за тебя пострадали. Умерли мы мучениками, ты не видишь тех язв и пожогов, которыми покрыто все наше тело. Выходи поскорее к нам, великая государыня, давно мы ждем твоего царственного выхода, твоих милостей и наград!»

Вскоре после этого царевна Софья, некогда полновластная правительница государства, обратилась против воли, по принуждению брата, в смиренную инокиню Сусанну, и строже прежнего преображенцы и семеновцы стали сторожить ее в Новодевичьем монастыре. Теперь Софье, которой казался тесен и душен терем московской царевны, пришлось в течение многих лет испытать заточение в Новодевичьем монастыре, сделавшемся ее вечною темницею.

Сестру свою Марфу отправил Петр в Александровскую слободу, и там, в Успенском монастыре, она была пострижена под именем Маргариты.

Между тем повешенные и обезглавленные трупы оставались на прежних местах, а на Красной площади стояли столбы, на которых воткнуты были отрубленные головы. В начале февраля 1699 года вывезли из Москвы тысячу шестьдесят восемь трупов и разложили их грудами на двенадцати больших примосковских дорогах, а зарыли только в половине марта. Стрелецкое войско было уничтожено Петром в июле 1699 года, слободы стрелецкие разорены, а стрельчихи повысланы из Москвы.

Страшно отомстил Петр главному своему ненавистнику, уже умершему боярину Ивану Михайловичу Милославскому. Тринадцать лет лежал он спокойно в могиле, когда Петр приказал вырыть его труп и отвезти в Преображенский приказ. Когда труп откопали, голова у него оказалась цела, но сделалась величиною с кулак, борода у Милославского выросла в могиле почти до колен, а все тело его было твердо как камень. Этот безобразный труп от могилы до приказа везли в сопровождении палачей на тележке, в которую запряжены были шесть чудских свиней. В приказе труп рассекли палачи топорами на мелкие части, и эти куски были зарыты под дыбами во всех застенках.

— Он желал царской крови, так пусть теперь захлебнется иною кровью под дыбами! — сказал Петр, отдавая приказание о загробной казни своего врага.

На помосте, внутри соборной церкви Смоленской Божией Матери, находящейся в Новодевичьем монастыре, стоит каменная гробница, в подножие которой вделана следующая надпись: «Лета 1704, июля 3-го, в понедельник, в первом часу дня, скончалась благородная царевна и великая княжна Софья Алексеевна, от рождения 45 лет 9 месяцев и 16 дней. В соборе во имя Божией Матери погребена 4 июля».

Перед кончиною она постриглась в схимну и приняла при этом прежнее свое имя — Софья.

Участь лиц, близких царевне, была также печальна.

Сильвестр Медведев, не успев пробраться в Польшу, был схвачен на смоленской дороге и привезен в Москву. Его судили «царским» судом, расстригли, назвав опять Симеоном по мирскому его имени, «истязали огнем и бичми до пролития крови» и обвинили в ереси, чародействе, намерении убить патриарха, в участии в замыслах Шакловитого, в побеге в Польшу и в наущении народа к мятежу, за что и приговорили к смертной казни.

— Не вели казнить, великий государь, Семена Медведева смертью, а отдай его мне, я обращу его из еретичества и спасу его душу! — просил Петра патриарх Иоаким.

— Возьми его, святейший владыко, и делай с ним что заблагорассудишь! — отвечал царь на эту просьбу.

«Постой же,— думал со злобным простодушием Иоаким,— ты хотел добраться до моей пестрой ризы и до моего патриаршего жезла, так доберусь же я теперь до тебя. Покажу я тебе, что значит писать еретические книги, как твоя «Манна».

Принялся патриарх обращать бывшего инока Сильвестра из ереси в истинную веру. Отрекся Семен от своих заблуждений, свалив, разумеется, свои вины на дьявола, и тогда его святейшество постановил следующее решение: «Жить Семену Медведеву под началом искуснейшего в писании мужа, не давать ему бумаги и чернил и сдать его в твердое хранило». Таким «хранилом» была назначена Троице-Сергиева лавра. Менее полутора года прожил там Сильвестр, как обвинили его снова в ереси и чародействе, снова употребили над ним кнут и огонь и 11 февраля 1691 года ему, как неисправимому еретику и чародею, отсекли голову.

Долго томился в ссылке князь Василий Васильевич Голицын. Он умер в Пустозерске 13 марта 1714 года.

В 1740 году императрица Анна Ивановна тешила себя и русскую знать свадьбою своего придворного шута с калмычкою по прозванию Буженинова. Свадьбу эту справляли в «ледяном доме», и женихом калмычки был князь Михайло Алексеевич Голицын, родной внук знаменитого любимца царевны Софьи Алексеевны.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

К. МАСАЛЬСКИЙ

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Лучи заходившего солнца играли на золотых главах кремлевских церквей. Улицы и площади пустели. На лицах прохожих можно было заметить задумчивость, уныние и беспокойство.

— Прогневали мы, грешные, Господа Бога,— сказал купец Гостиной сотни Лаптев*, подходя к дому своему с приятелем, пятидесятником Сухаревского стрелецкого полка Борисовым.— Царь, говорят, очень плох! Того и жди, что... да нет! И выговорить страшно!

— Бог милостив, Андрей Матвеевич,— сказал пятидесятник.— К чему наперед унывать и печалиться. Авось царь и выздоровеет.

— Дай Господи! Да куда же ты торопишься, Иван Борисович? Неужто не зайдешь ко мне?

С этими словами купец, схватив пятидесятника за рукав, постучал в калитку. На дворе раздался лай собаки, и через минуту приказчик Лаптева отворил калитку.

— Ванюха! Беги в светлицу к хозяйке и скажи, чтоб прислала нам фляжку вишневки да пирога с говядиной.

Хозяин повел гостя через сени и чулан, где лежало несколько груд выделанной кожи и сафьяна, в горницу. Два

---

* Купечество разделялось тогда на гостей, на купцов Гостиной, Суконной и Черных сотен и слобод.

небольших окна ее выходили на Яузу. В одном углу горела серебряная лампада перед образами в богатых окладах. Другой угол занимала изразцовая печь с лежанкой. Подле дверей, в шкафу со стеклами, блестели серебряные ковши и чарки, оловянные кружки и другая посуда. Перед окнами стояли большой дубовый стол, накрытый чистою скатертью, и придвинутая к нему скамейка, покрытая пестрым ковром с красною бахромой.

Помолясь образам и посадив гостя к столу, хозяин, потирая руки, в молчании ожидал вишневки и пирога. Наконец дверь отворилась. Приказчик поклонился низко гостю и, поставив перед хозяином пирог на оловянном блюде и фляжку с двумя серебряными чарками, вышел.

— Милости просим выкушать,— сказал Лаптев, налив чарку.

— А ты-то что же, Андрей Матвеевич? Разве я один пить стану?

— И себя не обнесем,— отвечал хозяин, наливая другую чарку.— Ох, Иван Борисович,— продолжал он, вздохнув.— Сердце у меня замирает! Что будет с нашими головушками, как батюшки царя у нас не станет!

— Опять ты загоревал, Андрей Матвеевич. Что будет, то и будет! Если даже, сохрани Господи, и скончается царь — взойдет на престол наследник.

— Вот то-то и горе, Иван Борисович, что наследников-то у нас двое: царевич Иван Алексеевич да царевич Петр Алексеевич. Знакомый мне из Холопьего приказа подьячий вчера у меня ужинал. Выкушал целую фляжку настойки да и разговорился о разных важных делах. Сначала мне любо было его слушать, а напоследки так стало страшно, что меня дрожь проняла,— сказал Лаптев, понизив голос и тревожно оглядываясь.— Царь де очень плох, того и гляди Богу душу отдаст. А коли он скончается, то будет худо, очень худо! Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, когда был еще жив, хотел царевича Петра назначить наследником, да царевна Софья Алексеевна помешала. Всем известно, что Иван Алексеевич слаб здоровьем. Вот, слышь ты, нынешний царь Федор Алексеевич также написал грамоту, чтобы престол достался после него Петру Алексеевичу. А Софья-то Алексеевна опять помешала. Подьячий болтал, что ей самой хочется царствовать и что она прочит на престол Ивана Алексеевича. Царевна де думает: он будет хворать, а я делами управлять. Многие бояре ей помогают. Не в обиду твоей милости будет сказано, они подговаривают и стрельцов.

— Ты, кажется, Андрей Матвеевич, человек разумный, а веришь бредням пьяного подьячего. Желал бы я знать: кто бы меня мог подговорить! Ручаюсь тебе, что и все наши стрельцы не ударят лицом в грязь. Мы сыты, одеты! Царь к нам милостив! Чего же нам больше?

— Дай Бог, Иван Борисович, дай Бог! Подьячий меня напугал, а ты утешил. Выпьем же за здоровье нашего батюшки царя Федора Алексеевича!

С этими словами Лаптев наполнил снова чарки вишневкою. Приятели встали, обнялись, поцеловались и лишь только хотели взяться за чарки, как вдруг раздался в Кремле колокольный звон.

— Что это значит? — спросил Борисов.— Кажется, набат?

— Нет, куманек. Что-то больно заунывно звонят. Ох, Иван Борисович, что-нибудь да неладно! Посмотри-ка, посмотри, как народ бежит по улице.

Лаптев открыл окно и, увидев знакомого купца, закричал:

— Иван Иванович! Куда ты бежишь? Аль на пожар?

— Худо, Андрей Матвеевич! Очень худо! — ответил купец, останавливаясь и переводя дух.— Меня едва ноги несут.

— Да скажи, не мучай! Что случилось?

— Нашего батюшки-царя не стало! — выпалил купец и побежал далее.

Как громом пораженный, Лаптев отскочил от окна. Стрелец, изменясь в лице, перекрестился и утер слезу. Долго оба не прерывали молчания. Наконец Лаптев, отбив несколько земных поклонов пред образом Спасителя, закрыл лицо руками, и слезы покатились по бледным щекам его.

— Упокой, Господи, душу его во царствии небесном! — сказал он.

Борисов, крепко обняв хозяина, в мрачной задумчивости вышел из его дома, направившись в полк, а Лаптев взял под образами лежавший свиток бумаги, на котором написаны были святцы, и дрожащею рукою отметил подле имени св. Симеона: «Лета 7190* апреля в 28 день, в четверток, в 13 часу дня** преставился православный государь, царь и великий князь Федор Алексеевич».

---

* 1682 года.

** Часы разделялись тогда на дневные и ночные. Первые считались с восхода солнца, вторые — с заката.

II

Часы на Фроловской башне пробили 14-й час дня. Во дворце собралась Тайная Государственная Дума. В правой стороне обширной залы со сводами, поддерживаемыми посредине колонною, между двух окошек стоял сияющий золотом престол со столбиками по сторонам и с остроконечною крышею. Над нею блестел двуглавый орел. Под крышею, на задней стенке престола, видна была икона Божией Матери. С правой стороны, на невысокой серебряной пирамиде, накрытой золотой тканью, лежала осыпанная драгоценными камнями держава. Около стен стояли обитые красным сукном скамьи. Горевшие свечи разливали по зале тусклый свет и освещали сидевших на скамьях патриарха, митрополитов, архиепископов, бояр, окольничих и думных дворян. Думные дьяки стояли в некотором отдалении. Взоры всех устремлены были на патриарха Иоакима. Наконец он встал и, благословив собрание, сказал:

— По воле Бога Вышнего, сотворившего небо и землю, православный государь наш, царь и великий князь Федор Алексеевич перешел из сей временной жизни в вечную. Да совершится святая воля Его и да будет благословенно имя Его. Вознесем мольбы об упокоении души преставившегося царя и о даровании сиротствующему граду сему и всей России царя нового. Благоверному царевичу Ивану Алексеевичу подобает вступить на престол прародительский; но он изрек волю свою нам, зовущим его на царство. Он вручает державу брату своему, благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Да помолимся Господу Богу, направляющему сердца праведных ко благу, и да изберем царя и государя всея России.

В продолжение речи, каждый раз, когда патриарх произносил имя Божие, присутствовавшие, снимая свои высокие собольи и черные лисьи шапки, крестились. Когда патриарх сел на место, встал боярин Милославский и сказал:

— Не нам, рабам и верным слугам царским, решать, кому из царевичей престол наследовать. Искони велось, чтобы старший сын царя был наследником престола. Какое имеем мы право мимо старшего брата звать на царство младшего? Царевичу Ивану следует принять державу.

— Разве ты не слыхал, Иван Михайлович, что говорил святейший патриарх? — возразил брат царицы, боярин Нарышкин. — Разве можно принудить царевича Ивана вступить на престол, когда он того не хочет?

— Принуждать нельзя, а просить можно. Может быть, он и переменит свое намерение.

— Царевича уже просили, он отказался, так в другой раз просить негоже!

— Полно, так ли, Иван Кириллович? Хоть здесь в собрании и не следовало бы говорить, какие по Москве слухи носятся, однако же и скрыть грешно. Многие думают, что царевича Ивана принудили отказаться от престола.

— Да кто ж бы его мог принудить? — спросил начальник Стрелецкого Приказа, князь Михаил Юрьевич Долгорукий.

— Почем мне знать? Я этому и сам не верю, а говорю только, что слухи носятся.

— Не всякому слуху верь, Иван Михайлович! — продолжал Долгорукий.— Можно спросить самого царевича. Стыдно тогда тебе будет, когда все увидят, что ты напрасно наводишь на ближнего подозрение. Я вижу, в кого ты метишь.

— Неужто ты думаешь, что я говорю о царице Наталье Кирилловне? Сохрани меня Господи! Царица так справедлива, что никогда не предпочтет даже родного сына пасынку.

Последние слова Милославский произнес с ироническою улыбкой, которая явно открывала его настоящие мысли. Бояре разгорячились. Начался между ними жаркий спор, в котором постепенно и все собрание приняло участие. Наконец Дума решила: «Быть избранию на царство общим согласием всех чинов московского государства людей». Дьяки записали решение Думы. Между тем на площади перед дворцом собрались стольники, стряпчие, московские дворяне, дьяки, жильцы, городовые дворяне, дети боярские, гости, купцы и других званий люди. Стрельцы, предводимые своими полковниками, явились на площадь и построились в ряды. Некоторые полки были в темно-зеленых, другие в светло-зеленых кафтанах, застегнутых на груди золотыми тесьмами. Каждый был вооружен саблею, ружьем и блестящею секирой. Стрельцы воткнули перед собою секиры в землю и подняли ружья на плечо.

Князь Долгорукий, выйдя из дворца, сел на белого персидского коня, на котором блистал шитый золотом чепрак из алого бархата. Объехав ряды стрельцов, он приказал стоять вольно. Полковники, подполковники, пятисотенные, сотники и пятидесятники вложили сабли в ножны, а стрельцы составили ружья в пирамиды и, не сходя с мест своих, начали разговаривать между собою и с толпящимся на площади народом.

— Вот и я здесь, Иван Борисович! — сказал купец Лаптев, увидев среди стрельцов Борисова и подойдя

к нему.— Хотел было остаться дома: сынишка маленький болеет. Да сердце не утерпело! Хочется проститься с батюшкой-царем. Мне сказали, что всех пускать будут.

— Да, всех. Сейчас патриарх служит панихиду. Завтра в 5-м часу дня назначено погребение в соборной церкви Архангела Божия Михаила.

— Дай Господи усопшему царство небесное. Добрый и милостивый был царь!.. Чай, плачет царица?

— Плачет, что река льется! Легко ли, Андрей Матвеевич, через два месяца после венца овдоветь!

— Утешь ее, Господи, и помилуй нас грешных! А кто наследник-то?

— Да Бог весть. Говорят разно.

— Хорошо бы Петр Алексеевич! Недавно видел я обоих царевичей в селе Коломенском, на соколиной охоте. Старший-то такой бледный и задумчивый. А младший — настоящий сокол! Дай, Господи, чтобы Петр Алексеевич был нашим царем!

— А почему так? — спросил подошедший к ним дворянин Сунбулов.

Лаптев смутился и не знал, что отвечать. Но Борисов, смело глядя в глаза Сунбулову, сказал:

— А с какой стати ты вмешиваешься в наш разговор? Что хотим, то и говорим. Нечего подслушивать.

— Потише, потише, господин пятидесятник! Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Как подам на тебя челобитную в Стрелецкий приказ, так и напляшешься!

— Подавай, подавай! А теперь советую отойти подальше, иначе я с тобой по-стрелецки разделаюсь!

— Слово и дело! — закричал Сунбулов.

— Что здесь за шум? — спросил пятисотенный Бурмистров, приблизясь к ссорившимся.

— Да вот, Василий Петрович, этот дворянин пристает ко мне и буянит.

— Бери мушкет! Стройся! — закричал князь Долгорукий.

Стрельцы бросились к ружьям, а Бурмистров и Борисов, оставив Сунбулова, поспешили на свои места. Лаптев скрылся в толпе.

— Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет! — закричал Долгорукий, и ряды ружей, возвысясь из-за секир, воткнутых в землю, заблистали в воздухе. На Красном крыльце появился патриарх Иоаким, сопровождаемый всею Государственною

Думою. На площади водворилось глубокое молчание. Все сняли шапки, и патриарх сказал:

— Ныне изволением и судьбами Божиими наш великий государь Федор Алексеевич, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались братья его государевы, благоверные царевичи и великие князья Иван Алексеевич и Петр Алексеевич. Единодушным согласием и единосердечною мыслию объявите: кому из них, государей, преемником быть царского скипетра и престола?

И, подобно грому, раздался со всех сторон крик: «Да будет царем нашим царевич Петр Алексеевич!»

— Беззаконно обойти старшего царевича! — закричал после всех Сунбулов.— Надлежит быть на престоле Ивану Алексеевичу!

— Здравия и многия лета нашему царю-государю Петру Алексеевичу! — закричали тысячи голосов. Земля, казалось, задрожала от этого крика.

Патриарх, обратясь к Государственной Думе, спросил:

— Как поступить надлежит?

Все, кроме Милославского и других немногих приверженцев царевны Софьи, ответили:

— Да будет по избранию народа!

Патриарх в сопровождении Думы пошел во дворец, где находился юный Петр с матерью его, царицею Натальею Кирилловною, и благословил его на царство.

III

Благовест призывал православных к обедне, когда Сухаревского полка пятисотенный Василий Бурмистров шел к начальнику Стрелецкого приказа князю Михаилу Юрьевичу Долгорукому. Проходя по берегу Москвы-реки и поравнявшись с одним низеньким домиком, увидел он под окнами сидевшую на скамье старушку, одетую в черный сарафан и повязанную платком того же цвета. Она горько плакала. Бурмистров подошел к ней и спросил о причине ее слез. Отняв от глаз платок и взглянув на Бурмистрова, старушка покачала головой и сказала:

— Спасибо тебе, кормилец, за добрые слова. Бог заплатит тебе! Знаю, что ты мне не поможешь, но так и быть: я все тебе расскажу. Видишь там, за крашеным забором, большой сад и высокие хоромы? Там живет сосед мой, боярин Милославский. Мой покойный муж Петр Иванович Смирнов, здешней приходской церкви священник, оставил

мне домишко с огородом. Он преставился накануне Крещенья, незадолго до кончины царя Алексея Михайловича. Вот уж седьмой год, кормилец мой, как я вдовею. Сын мой Андрюша обучается в Андреевском монастыре. Не отдала бы я его туда ни за что, как бы не покойник муж завещал. Будущим летом, в день святой мученицы Аграфены-Купальницы, минет ему осьмнадцать лет; мог бы уж меня, старуху, кормить. А то бьет только баклуши, прости Господи! Кабы не помогала мне дочь Наташа, так давно бы я с голоду померла. Она одним годом помоложе брата, а какая разумная, какая добрая! Самоучкой выучилась золотом вышивать. Успевает и шить, и за хозяйством ходить, а по вечерам читает мне Писание да Житие. И в книжном-то ремесле она брату не уступит. Каково же мне, батюшка, расстаться с такою дочерью!

При этих словах старушка снова горько заплакала, а потом продолжила:

— Был у меня, батюшка, знакомец, подьячий Сидор Терентьич Лысков. Он часто навещал меня, ухаживал за мною, старухою, грамотки писал, по приказам за меня хлопотал. Не могла я нахвалиться им. Думала, что он добрый человек, а он-то, злодей, и погубил меня! В прошлом году на моем огородишке всю капусту червь поел да попущением Божиим от грозы учинился в домишке пожар. Наташа с испуга захворала. Хоть по миру иди! Я и сказала о своей беде подьячему. Он дня через два принес мне десять рублей серебряных и сказал, что упросил крестного отца своего, боярина Милославского, помочь мне, бедной, и дать взаймы без роста и без срока. Принес с собой писаную грамотку и велел в деньгах расписаться Наташе. Она было хотела грамотку прочитать: не дал, лукавец! Сказал, что она приказных дел не смыслит. Я и велела ей расписаться. А сегодня утром пришли ко мне подьячие из Холопьего приказа и объявили, что Наташа должна у Милославского служить во дворе и что он завтра пришлет за нею своих холопов. Я свету Божьего не взвидела! Уж не за долг ли, подумала я, берет боярин к себе Наташу? Побежала к знакомым просить взаймы десяти рублей, чтобы отдать долг боярину. Бегала, бегала, кланялась в ноги, никто не дал! У всех один ответ: самим, бабушка, есть нечего. Не знаю, что и делать! Погубила я, окаянная, мою Наташу!

Старуха вновь залилась слезами. Бурмистров, не говоря ни слова, вынул кожаный кошелек, отдал вдове и, не дав ей опомниться, поспешными шагами удалился.

Немедленно вдова побежала к Милославскому и, запла-

тив слуге, упросила его сказать боярину, что она пришла к нему для уплаты долга. Но через несколько минут слуга вышел к ней с ответом, что дело о ее долге уже кончено и что боярин денег от нее не примет. «Поди, поди! — говорил он, выводя плачущую старуху со двора.— Хоть до завтра кланяйся: не пущу к боярину! Не велено!»

Солнце давно уже закатилось, когда Бурмистров возвращался домой по опустевшим улицам. Пройдя переулком, вышел он на берег Москвы-реки и сел отдохнуть на скамью, стоявшую под окнами небольшого деревянного дома, от которого начинался забор Милославского. Густые облака покрывали небо. В окне, под которым сидел Василий, появился свет, и вскоре кто-то отворил окно, говоря сиплым голосом:

— Угораздила же его нелегкая истопить печь на ночь глядя! Я так угорела, что в глазах зелено.

— Боярин давно уж спит,— сказал другой голос.— Можно и выпить. Да вот этого не попробовать ли, Мироныч? Тайком у немца купил. Выкурим по трубке?

— Что это? Табак! Ах ты, греховодник! Получше нас с тобой крестный сын боярина, Сидор Терентьич, да и тому за эту поганую траву чуть было нос не отрезали. Коли поймают нас с табаком, так мы от кнута-то не отцелуемся*.

— Ну так выпьем винца.

— За твое здравие, Антипыч!

— Допивай скорее; другую налью!

— Нет, будет. Боюсь проспать. Боярин приказал идти за три часа до рассвета с Ванькой да с Федькой за дочерью попадьи Смирновой.

— За какой дочерью?

— Да разве ты ничего не слыхал?

— От кого мне слышать! Расскажи.

— Боярин, с год назад или побольше, за обедней у Николы в Драчах подметил молодую девку, слышь ты, красавицу! Я с ним был в церкви. Он и приказал мне проведать: кто эта девка? После обедни пошла она с молодым парнем домой, а я за ними следом. Гляжу: они вошли в избу, знаешь, там, подле нашего сада, а у ворот сидит мужик с рыжей бородой. Я к нему подсел и разговорился. Он мне рассказал, что эта девка — дочь вдовой попадьи Смирновой, а парень — ее брат. Я и донес обо всем боярину. Тут же случился Сидор Терентьич. «Да я давно знаком,— мол-

---

* Оправдаться присягою от обвинения в каком-нибудь преступлении называлось — отцеловаться.

вил он,— с этою старухою». Боярин тут же меня выслал вон, и начали они о чем-то шептаться. Долго шептались. А в прошлом году у попадьи невзначай дом загорелся. Тут Сидор Терентьич дал им денег и написал служилую кабалу, что если попадья с дочерью через год деньги не вернут, то дочь пойдет к нашему боярину в услужение.

— Так теперь дочь попадьи с нами стала одного поля ягода?

— Нет, брат, погоди! Боярин давно на нее зарился. Жениться он на ней не женится, а полубоярыней-то она будет. Ну да сам завтра увидишь. Боярин, слышь ты, велел привести ее к нему ночью, чтобы шуму и гаму на улице не наделать. Ведь станет плакать да вопить, окаянная. Она теперь в гостях у тетки, да не минует наших рук. Около дома на всю ночь поставлены сторожа с дубинами. Не уйдет, голубушка! Дом ее тетки неподалеку...

Окно затворилось. Бурмистров встал со скамьи и поспешил возвратиться домой.

IV

— Вставай, Борисов,— сказал Василий, войдя в свою горницу, освещенную одною лампадою, горящей перед образом.— Ишь, заспался! Ничего не слышишь.— Он потряс за плечо Борисова, который спал на скамье возле стола.— Вставай, нам надо идти.

Борисов потянулся, протер глаза и сел на скамью.

— Идти? Куда идти?.. Ах, это ты, Василий Петрович. Куда ты запропастился? Я ждал, ждал тебя, да и вздремнул со скуки. Какой мне страшный и чудный сон привиделся!

— После расскажешь, а теперь поскорее пойдем!

— Ночью-то! Да куда нам идти? Домовых, что ли, пугать?

— Не хочешь, так я один пойду. Эй, Гришка!

Вошел одетый в овчинный полушубок слуга с длинною бородою.

— Беги в первую съезжую избу и позови десятерых моих молодцов. Скажи, чтоб взяли сабли и ружья с собою! Проворнее! Да вели Федьке заложить вороную в одноколку.

— Куда ты собираешься? — спросил удивленный Борисов.

Василий, в ожидании стрельцов расхаживая большими шагами взад и вперед по горнице, рассказал Борисову о цели своего ночного похода.

— И я с тобой! — воскликнул Борисов.— Куда ты, туда и я.

На лестнице послышался шум шагов. Двери отворились, и вошли десять вооруженных стрельцов.

— Ребята! — сказал Василий.— Есть у меня просьба к вам. Один боярин обманом закабалил бедную сироту, единственную дочь у старухи матери. В нынешнюю ночь хочет он взять ее силой к себе во двор. Надобно ее отстоять. Каждому из вас будет по десять серебряных копеек за работу.

— Рады тебе служить верой и правдой! — закричали стрельцы.

— Тогда за мной!

Василий, сойдя с лестницы, сел с Борисовым в одноколку и поехал шагом, чтобы шедшие за ним стрельцы не отстали. На некотором расстоянии от дома Смирновой он остановился и вышел из одноколки, приказав Борисову и стрельцам дожидаться его на этом месте. Подойдя к воротам, он постучался в калитку.

— Кто там? — раздался грубый голос.

— Отпирай.

— Не отопру.

— Отпирай, говорят. Не то калитку вышибу.

— А я тебя дубиной по лбу да с цепи собаку спущу. Вздумали разбойничать на Москве-реке! Шли бы в глухой переулок!

— Дурачина! Какой я разбойник! Я знакомый вдовы Смирновой. У меня к ней срочное дело.

— Не морочь мне голову! Что за дело ночью? Убирайся подобру-поздорову, пока объезжие не наехали. Худо будет! Да и хозяйки нет дома.

— Скажи по крайней мере, где она?

— Не скажу. О, никак объезжие едут. Улепетывай, пока цел!

Вдали раздался конский топот. Василий с досадой еще раз ударил по калитке и пошел обратно к стрельцам.

— Куда ты теперь? — спросил Борисов.

— Сам не знаю,— садясь в одноколку, отвечал Василий.— Поеду куда глаза глядят, а ты с молодцами возвращайся домой.

— Ладно! — согласился Борисов.— Только ты это... Осторожнее. На рожон-то не лезь.

Василий молча стегнул лошадь и растворился в темноте.

V

— Иди попроворнее, красная девица! — говорил дворецкий Милославского, Мироныч, Наталье, ведя ее за руку по улице к берегу Москвы-реки.— Нам еще осталось пройти с полверсты. Боярин приказал привести тебя до рассвета, а уж солнышко взошло. Ванька! Возьми ее за другую руку, так ей легче будет идти. А ты, Федька, ступай вперед да посмотри, чтоб кто нашу лодку не увел. Теперь уж скоро народ пойдет по улицам.

Федька побежал вперед.

Сзади послышался голос плачущей женщины. Наталья оглянулась и увидела бежавшую за нею мать. Из дома тетки Наталья ушла тихонько с присланными за нею от Милославского людьми; она не хотела будить свою мать, которая всю ночь провела в слезах и уснула лишь перед самым рассветом. Бедная девушка хотела к ней броситься, но, удержанная Миронычем, лишилась чувств. Тут и мать ее, потеряв последние силы, упала в изнеможении на землю, не добежав до дочери.

— Черт бы взял эту старую ведьму! — проворчал Мироныч, стараясь поднять Наталью с земли.

— Потащим ее скорее, Мироныч! — сказал Ванька.— Вон кто-то едет в одноколке.

— Что вы делаете тут, бездельники? — закричал Бурмистров, остановив на всем скаку лошадь.

— Не твое дело,— ответил Мироныч.— Мы холопы боярина Милославского и знаем, что делаем. Бери ее за ноги, Ванька. Потащим!

— Не тронь! — закричал Василий, соскочив с одноколки и выхватив из-за пояса пистолет.— Пулю в лоб первому, кто ослушается!

Мироныч и Ванька остолбенели от страха. Бурмистров подошел к Наталье, взял ее осторожно за руку и с состраданием взглянул на ее лицо, покрытое смертною бледностью.

— Принеси скорее воды,— сказал он слуге.

— Не ходи! — опомнившись, крикнул дворецкий. Он неожиданно бросился на Бурмистрова и вырвал у него пистолет.— Садись-ка в свою одноколку да поезжай, не оглядываясь! Не то самому пулю в лоб, разбойник!

Выхватив из ножен саблю, Василий бросился на дерзкого холопа. Тот выстрелил. Пуля задела слегка левое плечо

Василия и впилась в деревянный столб забора, отделявшего обширный огород от улицы.

— Разбой! — завопил дворецкий, раненный ударом сабли в ногу, и повалился на землю.

— Разбой! — заревел Ванька, бросаясь бежать.

В это самое время послышался вдали конский топот, и вскоре со стороны Москвы-реки появились скачущие во весь опор объезжие.

Бурмистров, бросив саблю, поднял на руки бесчувственную девушку, вскочил в одноколку и полетел, как стрела, преследуемый криком: «Держи!» Петляя по улицам и переулкам, он с трудом оторвался от преследователей и вскоре остановился у ворот своего дома.

— Василий Петрович! — воскликнул Борисов, вскочив со скамьи у калитки, где нетерпеливо ожидал его возвращения.

— Отвори скорее ворота.

Борисов отворил и, пропустив на двор одноколку, снова запер ворота.

— Да ты не один! Боже мой, что это? Она без чувств?

— Помоги мне внести ее в горницу.

Они внесли Наталью и положили на постель Бурмистрова. Долго не могли они привести ее в чувство. Наконец она открыла глаза и с удивлением огляделась.

— Где я? — спросила она слабым голосом.

— У добрых людей! — отвечал Василий.

— А где моя бедная матушка?

— Ты с нею сегодня же увидишься.

— Отведи меня к ней скорее! — Наталья хотела встать, но в глазах ее потемнело, голова закружилась, и бедная девушка впала в состояние, близкое к бесчувственности.

В это время кто-то постучал в калитку. Василий вздрогнул. Борисов подошел к окну, отдернул занавеску и, взглянув на улицу, сказал шепотом:

— Это наш приятель, купец Лаптев.

— Выйди к нему, сделай милость. Скажи, что я нездоров и никого не велел пускать.

— Ладно.

Борисов вышел в сени, куда слуга уже впустил Лаптева.

— Василий Петрович очень нездоров! — сказал Борисов, обнимаясь и целуясь с гостем.

— Ах, Господи! Что с ним сделалось?

— Вдруг схватило!

— Пойдем скорее к нему! Ах, батюшки!

— Он не велел никого пускать к себе.

— Как не велел? Нет, Иван Борисович! Впусти меня на минутку: я его не потревожу. Писание велит навещать болящих!

— Приди лучше, Андрей Матвеевич, вечером, а теперь, право, нельзя. Меня даже не узнает. Совсем умирает!

— Умирает?! Ах, Боже милостивый! Пусти хоть проститься с ним.

Сказав это, растревоженный Лаптев, не слушая возражений Борисова, поспешно пошел к дверям. Борисов схватил его за полу кафтана, но он вырвался, вошел прямо в спальню и остановился, увидев прелестную девушку, лежавшую на кровати, и стоявшего подле нее Василия.

Увидев Лаптева, Василий смутился и покраснел. Это убедило гостя в основательности подозрений, мелькнувших у него при первом взгляде на столь необыкновенную в доме холостого человека картину. Он тоже смутился и готов был сгореть от стыда.

«Не вовремя же,— думал он,— навестил я больного!» Он поклонился низко Бурмистрову, желая показать, что просит прощения, и, не сказав ни слова, поспешно вышел в сени. Борисов, услышав шум шагов Лаптева, из сеней скрылся на чердаке.

— Куда ты торопишься, Андрей Матвеевич? — сказал Бурмистров, нагнав Лаптева на лестнице.— Из гостей так скоро не уходят.

— Не в пору гость хуже татарина! Извини, отец мой, что я сдуру к тебе вошел. Я не знал... я думал... Извини, Василий Петрович!

— Полно, Андрей Матвеевич, не в чем извиняться. Выслушай!

Василий, вернув гостя в сени, объяснил ему все дело.

— Вот что! — воскликнул Лаптев.— Согрешил я, грешный! Недаром Писание не велит осуждать ближнего. Ты защитил сироту, сделал богоугодное дело, а я подумал невесть что.

— Сделай, Андрей Матвеевич, и ты богоугодное дело. Я человек холостой, Наталье Петровне неприлично у меня оставаться, а ты женат, прими ее в свой дом на несколько дней. Я сегодня же пойду к князю Долгорукому и стану просить, чтобы он замолвил за нее слово перед царицей Натальей Кирилловной.

— Ладно, Василий Петрович, ладно! Я сегодня же вечером приеду к тебе с женой за Натальей Петровной. Жена ее укроет в своей светлице и всем скажет, что она, например, из Ярославля.

— И что зовут ее Ольга Васильевна Иванова.

— Ладно, ладно. Счастливо оставаться, Василий Петрович!

Лаптев ушел. Василий возвратился в спальню и, подойдя к кровати, увидел, что Наталья погрузилась в глубокий сон. Тихонько вышел он из горницы и затворил дверь, поручив Борисову быть в сенях на страже, после чего отправился к князю Долгорукому.

Через час он возвратился с необыкновенно веселым лицом. Борисов тотчас после его ухода запер дверь спальни и, утомленный ночным походом, сел на скамью, начал дремать и вскоре заснул. Едва Василий вошел на лестницу и отворил дверь в сени, Борисов вскочил и со сна закричал во все горло:

— Кто идет?

— Тише, приятель! Ты, я думаю, разбудил Наталью. Она все еще спит?

— Не знаю. Я спальню запер и туда не заглядывал.

— Запер? Вот хорошо!

Василий тихонько отворил дверь и увидел, что Наталья сидит у стола и читает внимательно книгу с апостольскими посланиями. Он вошел с Борисовым в горницу и сказал:

— Князь Долгорукий сегодня же хотел говорить о тебе, Наталья Петровна, царице. Он уверен, что царица защитит тебя.

Разговор между ними продолжался до самого вечера. Восхищенный умом девушки, Василий и не приметил, как пролетело время. Лаптев сдержал слово и приехал вечером за Натальей. Проводив ее до колымаги и уверив, что она скоро увидится с матерью в своем новом убежище, Василий, всходя по лестнице с Борисовым, крепко сжал ему руку и с жаром сказал:

— Какая прелестная девушка! Хороша лицом, а душой еще лучше! Ах, если бы она была моя суженая!

VI

Начинало смеркаться, когда боярин Милославский, возвратясь из дворца домой, ходил взад и вперед по горнице, погруженный в размышления. На столе, стоявшем возле окна и покрытом красным сукном, блестела серебряная чернильница и разложено было в порядке множество свитков бумаг. У стола стояла небольшая скамейка с бархатною подушкою. Серебряная лампада горела в углу пред образом Спаса Нерукотворного.

На боярине был кафтан из парчи с широкими застежками, украшенными жемчугом и золотыми кисточками. На голове у него была высокая шапка из черной лисицы, похожая на клобук, расширяющийся кверху. В левой руке держал он маленькую серебряную секиру — знак своего достоинства.

Сев наконец на скамейку, снял он с головы шапку и положил на стол вместе с секирою. Засучив рукав и взяв один из свитков, боярин начал внимательно его читать, разглаживая длинную свою бороду.

— Заступись, батюшка, за крестного сына твоего! — закричал, упав ему в ноги, вбежавший площадный подьячий Лысков.

Боярин вздрогнул, оборотился к нему и с удивлением просил:

— Что с тобой сделалось, Сидор?

— За кабалу, которую написал я в твою угоду на дочь вдовой попадьи Смирновой, царица приказала поступить со мною по Уложению. Да дьяк Судного приказа поднял старое дело о табаке. Если не заступишься за меня, горемычного, то за лживую кабалу отрубят мне руку, а за табак отрежут нос. Помилосердуй, отец мой! Куда я буду годиться?

— Будь спокоен! Встань! Ручаюсь тебе, что останешься и с рукой, и с носом.

— Князь Долгорукий на меня наябедничал. Уж меня везде ищут, хотят схватить и посадить на Тюремный двор до решения Приказа.

При имени Долгорукого боярин изменился в лице; губы его задрожали от злобы и досады.

— Останься в моем доме, Сидор. Посмотрим, кто осмелится взять тебя из дома Милославского! А я завтра же подам челобитную царевне Софье Алексеевне. Авось и Долгорукий язык прикусит!

— Вечно за тебя буду Бога молить, отец мой!

Лысков поклонился в ноги Милославскому и поцеловал полу его кафтана.

— Возьми вот этот ключ и поди в верхнюю светлицу, что в сад окошками. Запри за собою дверь, никому не показывайся и не подавай голоса. Один дворецкий будет знать, что ты у меня в доме. С ним буду я присылать тебе еду. Полно кланяться, иди скорее.

Лысков ушел. Солнце закатилось, и все утихло в доме Милославского. Когда же наступила глубокая ночь, боярин, надев простой кафтан и низкую шапку, похожую на скуфью, вышел в сад с потаенным фонарем в руке. Дойдя до небольшого домика, построенного в самом конце сада, он три раза постучал в дверь. Она отворилась, и боярин вошел в домик. Все его окна были закрыты ставнями. Около дубового стола, посередине довольно обширной горницы, освещенной одною свечою, сидели племянник боярина, комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, иноземец Озеров из Новгорода, стольники Иван Андреевич и Петр Андреевич Толстые, дворянин Сунбулов, стрелецкие полковники Петров и Одинцов, подполковник Цыклер и пятисотенный Чермной.

При появлении Милославского все встали. Боярин занял место во главе стола и, подумав немного, спросил:

— Ну, что, любезные друзья, идет ли дело на лад?

— Я отвечаю за весь свой полк! — ответил Одинцов.

— И мы также за свои полки! — сказали Петров и Цыклер.

— Ну а ты, Чермной, что скажешь? — продолжил Милославский.

— Все мои пятьсот молодцов на нашей стороне. За других же пятисотенных ручаться не могу. Может быть, я и смогу их уговорить, кроме одного; с ним и говорить опасно.

— Кто же этот несговорчивый?

— Василий Бурмистров, любимец князя Долгорукого. Он нашим полком командует вместо полковника. Я за ним давно присматриваю. Дней пять назад он ездил куда-то ночью и привез с собой какую-то девушку, а вечером отправил ее неизвестно куда. Вероятно, к князю Долгорукому, к которому он ходил в тот же день.

— Понимаю! — воскликнул Милославский.— Послушай, Чермной, я даю пятьдесят рублей за голову этого пятисотенного. Он может нам быть опасен.

— Конечно, опасен. Его надобно непременно угомонить. Завтра я постараюсь уладить это дело.

— Ну а ты что скажешь, племянник?

— Я достал ключи от Ивановской колокольни, чтобы можно было ударить в набат.

— Мы с братом Петром,— сказал Иван Толстой,— неподалеку от стрелецких слобод припасли дюжину бочек с вином для попойки.

— А я шестерых московских дворян перетянул на нашу сторону,— сказал Сунбулов,— да распустил по Москве слух, что Нарышкины замышляют извести царевича Ивана.

— А я распустил слух,— сказал Озеров,— что Нарышкины хотят всех стрельцов отравить и набрать вместо них войско из перекрещенных татар.

— Итак, дело, кажется, идет на лад! — продолжал Милославский.— Остается нам условиться и назначить день. Я подумал, что всего лучше приступить к делу пятнадцатого мая. В этот день был убит в Угличе царевич Димитрий.

— Прекрасная мысль! — воскликнул Цыклер.— Воспоминание о царевиче Димитрие расшевелит сердца даже самых робких стрельцов.

— Перед этим надобно будет их напоить хорошенько,— сказал Одинцов.

— Уж подлинно будет пир на весь мир! — промолвил Чермной, зверски улыбаясь.— Только пристанут ли к нам все полки? Четыре на нашей стороне, если считать и Сухаревский, а пять полков еще ни шьют, ни порют.

— Ничего, уговорим,— сказал Озеров.— Недаром ведь сказано в пословице, что серебряный молоток пробьет и железный потолок. Царевна Софья Алексеевна, я чаю, серебреца-то не пожалеет?

— Разумеется! — сказал Милославский.— Я у нее еще сегодня выпросил на всякий случай казну всех монастырей на Двине. Да, впрочем, у меня, по милости царевны, есть чем пробить железный потолок и без монастырской казны.

— Нечего сказать, мы довольны милостью царевны,— сказал Сунбулов.— Я чаю, она не забыла, Иван Михайлович, обещания своего пожаловать меня боярином, когда все благополучно кончится? Я ведь начал дело и подал голос на площади за царевича Ивана.

— Царевна никогда не забывала своих обещаний,— ответил Милославский.

— А меня с товарищами в стольники да по поместью на брата? — спросил Цыклер.

— Нечего и спрашивать. Что обещано, то будет исполнено. Ах, да! Хорошо, что вспомнил: составил ли ты, племянник, записку, о которой я тебе говорил?

— Готова,— сказал Александр Милославский и, вынув из кармана свиток, подал дяде. Тот бегло прочитал записку, покачал головою и произнес:

— И этого, племянник, не смог путем сделать! Артамошку Матвеева-то и не написал! Я тебе вчера сказывал, что царица велела ему возвратиться из ссылки. Он, конечно, помнит, что я ему этим удружил. Надобно отправить его туда, откуда никто не возвращается. Прибавь Матвеева да напиши поболее таких записок, для раздачи стрельцам. А как будешь раздавать, накрепко накажи им, чтоб никому спуску не было и чтоб начали с Мишки Долгорукого. Не поможешь ли ты, Петр Андреевич, в этом деле племяннику? — спросил он, обратясь к Толстому.

— С охотой!

В это время кто-то постучал в дверь. Все вздрогнули. Чермной, сидевший на конце стола, встал, вынул из-за кушака длинный нож и тихонько подошел к двери, удерживая дыхание.

Опять раздался стук и вслед за ним едва внятный голос:

— Пустите, я от царевны Софьи Алексеевны к боярину Ивану Михайловичу!

— А, это из наших! — сказал Чермной, отворяя дверь.

Вошла немолодых лет женщина, одетая в сарафан из алого штофа, с рукавами, обшитыми до локтей парчою. Поверх сарафана надет был на ней широкий шелковый балахон с длинными рукавами, который она сняла, войдя в горницу. Стуча высокими каблуками желтых своих сапожков, подошла она к столу и села возле Озерова, за которого царевна Софья обещала ее выдать замуж, если она будет исполнять все ее приказания. Это была постельница царевны Софьи, вдова родом с Украины, по прозвищу Назнанная.

— Добро пожаловать, Федора Семеновна! — сказал Милославский.— Что царевна?

— Царевна велела отдать тебе грамотку, которую ты вчера ей подал, и сказать, что всему быть так, как ты решил, да велела благодарить тебя за твое усердие.

— Итак, все решено, любезные друзья! — сказал Ми-

лославский.— Приступим к делу пятнадцатого мая. До тех пор я не буду выезжать из дому и скажусь больным. Ко мне приходите по ночам. А теперь пора расходиться. Прощай, Федора Семеновна. Скажи царевне, что дело идет на лад и что я все устрою как нельзя лучше.

Все поднялись с мест и вышли один за другим в сад. Боярин удалился в свои комнаты, а остальные, выйдя через небольшую калитку в глухой переулок, разошлись по домам.

VII

Пробыв целое утро у князя Долгорукого и получив приказание прийти опять к нему по возвращении его из собора Архангела Михаила, куда князь поехал на обедню и панихиду по царю, Бурмистров через Спасские ворота вошел в Кремль. Раздался благовест с колокольни Ивана Великого. Народ начал собираться в Успенский собор к обедне. Василий вошел в церковь. Когда служба кончилась и народ начал расходиться, на церковной паперти кто-то ударил слегка Бурмистрова по плечу. Он оглянулся и увидел своего сослуживца, пятисотенного Чермного.

— Здорово, товарищ! — сказал ему Чермной.— Какими судьбами ты попал в Успенский собор? Ты же обычно ходишь к обедне к Николе в Драчах.

— Да вот решил побывать в соборе и взойти после обедни на Ивановскую колокольню. Я давно на ней не был.

— Пожалуй, и я заберусь туда вместе с тобою и полюбуюсь на Москву.

При этом у Чермного мелькнула мысль воспользоваться случаем и исполнить обещание, данное им накануне Милославскому. Он решил, взойдя на самый верхний ярус колокольни с Бурмистровым, невзначай столкнуть его вниз, когда он засмотрится на Москву, и сказать потом, что товарищ его упал по собственной неосторожности. Василий, ни в чем не подозревая Чермного, согласился идти с ним вместе на колокольню. Пономарь за серебряную копейку отпер им дверь и, к великой досаде Чермного, пошел сам вперед по лестнице. Наконец они добрались до самого верхнего яруса.

Василий, подойдя к перилам, начал отыскивать взором дом купца Лаптева. Чермной думал, как бы избавиться от

безотвязного пономаря, который, побрякивая ключами, называл, показывая пальцем, колокольни разных московских церквей.

— Сделай одолжение, любезный! — перебил его Чермной.— Вот тебе две серебряные копейки. Я что-то нездоров, нет ли у тебя Богоявленской воды?

— Как не быть, отец мой, только идти-то за ней далеконько! — отвечал пономарь, почесывая затылок и уставившись на две серебряные копейки, лежавшие у него на ладони.

— Ну, вот тебе еще копейка, только сделай милость, принеси воды хоть немножко.

— Шутка ли вниз сойти и опять сюда взобраться! Ну, так уж и быть.

Пономарь пошел вниз, а Чермной, внимательно глядя на Бурмистрова и заметив, что он в глубокой задумчивости стоит у перил, начал украдкою к нему приближаться. Подойдя уже близко к товарищу, он тихонько стал нагибаться, держа в руке серебряную копейку, чтобы сказать, что поднял ее с полу, если Василий, неожиданно оглянувшись, приметит его движение. Он готов был уже схватить товарища за ноги и перебросить через перила, как вдруг опять раздался голос возвратившегося пономаря:

— Не прикажешь ли, отец мой, принести кстати просвирку? Да не поусердствуешь ли копеечкой на церковное строение? В селе Хомякове, Клюквино тож, сгорела недавно церковь.

— Где сгорела церковь? — спросил Бурмистров, выведенный из задумчивости громким голосом пономаря.

— В селе Хомякове, отец мой.

Василий вынул из кармана ефимок и отдал пономарю. И Чермной поневоле последовал его примеру, отдав серебряную копейку, которую держал в руке. Пономарь низко поклонился и, не сказав ни слова, пошел за кружкою простой воды, потому что Богоявленской у него не было.

Когда шум шагов его затих на лестнице, Чермной, видя, что Бурмистров отошел от перил и хочет идти вниз, остановил его и сказал:

— Мы с тобой давнишние сослуживцы и всегда были приятелями. Могу ли я на тебя положиться и поговорить с тобой откровенно об одном важном деле?

— Хочешь — говори, хочешь — нет, твоя воля. Я не хочу знать твоих важных дел, если меня опасаешься.

— Если б я тебя опасался, то и не начал бы разговора. Я тебя всегда любил и потому решил, как добрый товарищ, предостеречь тебя.

Чермной, не смея напасть открыто на Бурмистрова, решил притвориться преданным царю Петру Алексеевичу, подстрекнуть любопытство Бурмистрова обещанием открыть ему тайну, зазвать к себе обедать и за столом отравить его ядом, купленным недавно по поручению Милославского.

— О чем ты говоришь, Чермной? — сказал Василий.— Не понимаю!

— Неужели ты не слыхал, что царю Петру Алексеевичу грозит опасность?

— Какая опасность?

— Та самая, о которой ты говорил сегодня с князем Долгоруким и о которой я уже прежде тебя его уведомил.

Бурмистров устремил проницательный взор на Чермного.

— Спроси самого князя, если мне не веришь. Я обещал ему доставить полные сведения о числе и силе заговорщиков и о всех их замыслах. Я готов пролить кровь свою за царя Петра Алексеевича. Богом клянусь...

— Тебе не перехитрить меня, Чермной! — покачав головой, перебил его Василий.— Поверю ли я клятвам человека, который недавно уверял некоторых из стрельцов, что можно, не согрешив перед Богом, нарушить присягу, данную царю Петру Алексеевичу?

— Вот и вода! — сказал пономарь, лысая голова которого в этот момент появилась, как восходящее солнце. Он подошел осторожно к Чермному, чтоб не расплескать воду из кружки, но Чермной, раздраженный словами Бурмистрова, оттолкнул пономаря и сказал Василию:

— Нас рассудит князь Долгорукий. Ты обвиняешь верного слугу царского в измене! Или я, или ты положишь голову на плаху.

Сказав это, он пошел вниз.

— Ах ты бусурман нечестивый! — ворчал между тем пономарь, пускаясь за ним в погоню по лестнице.— Да как ты смеешь толкаться, когда я держу кружку с Богоявленской водой? Я половину воды пролил на пол! Погоди ужо, дешево от меня не отделаешься!

Спустившись вниз и обогнав разгневанного пономаря, Василий поспешил к дому князя Долгорукого. Он поведал

князю о разговоре с Чермным и помог ему составить доклад о заговоре, с которым князь поехал к царице Наталье Кирилловне, приказав находившимся в доме его десятерым стрельцам взять под стражу Чермного, если он, как обещал, придет к нему вечером. Василий же пошел к дому Лаптева, у которого еще ни разу не побывал с того времени, как тот укрыл у себя в доме Наталью. Предвидя, что вскоре вспыхнет в Москве мятеж, он решил проститься на всякий случай со старинным своим приятелем и Натальей.

VIII

— Полно тебе горевать, красная девица,— говорила дородная жена Лаптева сидевшей у окна Наталье.— Да ты этак глазки выплачешь.

— Как же мне не плакать, Варвара Ивановна, когда я до сих пор не знаю, где матушка и что с нею сделалось.

— Да полно, полно. Ведь Андрей Матвеевич обещал непременно узнать сегодня, где твоя матушка. Да и братец твой авось принесет радостную весточку о родительнице.

В это время раздался стук у калитки, и через минуту вошел Лаптев с печальным лицом. Не дожидаясь вопроса девушки, он сказал:

— Я не узнал еще, Наталья Петровна, где твоя матушка. Был у братца твоего в монастыре. Завтра, чуть свет, вместе с ним пойдем искать ее по всему городу... Ах, Господи! Наталья Петровна, что это с тобой? Воды, жена! Скорее воды!

Дородная Варвара Ивановна побежала по лестнице вниз за водою, а Лаптев, сидя на скамье подле Натальи, обнял ее и в испуге смотрел на ее бледное лицо и закрытые глаза.

Вскоре Варвара Ивановна, запыхавшись, явилась с кружкою в руке. Брызнув несколько раз в лицо Натальи холодною водою, Лаптев привел ее в чувство. В это время неожиданно вошел в светлицу Бурмистров. Девушка вспыхнула и, чтобы скрыть свое смущение, закрыла лицо платком.

— Что слышно новенького, Василий Петрович? — спросил Лаптев.— Мы давно уже с тобой... Что это?.. Набат?

— Кажется,— с тревогой сказал Василий.

— Неужто пожар?

Лаптев побежал на чердак, чтобы выйти на кровлю. Варвара Ивановна с Натальей подошли к одному окну, а Бурмистров к другому.

— Зарева нигде не видать,— сказал возвратившийся Лаптев.— Накрапывает дождик, кровля скользкая, и вечер такой темный, хоть глаз выколи. Я чуть не свалился. О, опять!.. Никак барабаны?

Бурмистров отворил окно, прислушался и сказал:

— Бьют тревогу! Прощай, Андрей Матвеевич!

Поклонившись Варваре Ивановне и Наталье, Василий поспешно вышел и у ворот встретил Борисова.

— Я к тебе, Василий Петрович. У нас в полку неспокойно!

— Как? Что это значит?

— Гришка Архипов да Фомка Еремин, десятники Колобова полка, пришли к нашим и наговорили такого, что и слушать страшно.

— А наши что?

— Наши связали их да посадили в рогатки.

— Хорошо сделали. Ну а еще что?

— Пяти полков стрельцы, кроме нашего, Стремянного, Полтева и Жуковского, разбрелись по Москве: кто на Отдаточный двор, кто в торговую баню, кто на колокольню. Напились допьяна, звонят в набат и бьют тревогу.

— Чего же полковники-то смотрят?

— Полковники? Поминай как звали! Всех их втащили на каланчи и оттуда сбросили. И ты берегись, Василий Петрович. Стрелец Федька Григорьев прибегал ко мне и сказал, что пятисотенный Чермной нанял за пять рублей несколько стрельцов, чтобы они ночью забрались в твой дом и зарезали тебя, да и меня кстати.

— Посмотрим, удастся ли им это! Пойдем скорее, Борисов. Скоро уже полночь, а до дому еще неблизко.

Они ускорили шаг и вскоре подошли к дому. Постучались, и Гришка отпер калитку.

— Недавно,— торопливо начал он,— прискакал сюда верхом десятник от князя Долгорукого с какою-то к тебе, Василий Петрович, посылкою.

— Где он?

— В сенях дожидается. Да вот и он.

Василий развернул свиток, поданный ему десятником, и прочитал: «Возьми двадцать человек надежных стрельцов и в полночь иди с ними к домам пятисотенного Чермного,

подполковника Цыклера и полковников Петрова и Одинцова. Забрав всех их, свяжи и приведи тотчас ко мне. Мая 13 дня 1790 года. Князь Михаил Долгорукий».

— Съезди покорее,— сказал Василий десятнику,— к съезжей избе нашего полка и скажи, что я велел позвать к себе теперь же двадцать стрельцов из полсотни Борисова. Скажи, чтобы не забыли ружей и сабель.

— Слушаю.

Десятник сел на лошадь и поскакал. Не прошло четверти часа, как явились двадцать стрельцов и стали в ряд на дворе, ожидая Василия, который с Борисовым побежал в спальню за пистолетами. В то самое время, когда они оба сходили по лестнице, раздался в сенях крик выбежавшего из горницы опрометью Гришки: «Воры, воры!»

Со страху споткнувшись на лестнице, слуга не сбежал, а пролетел мимо господина своего на двор и чуть не сшиб его с ног.

— Где воры? — спросил Борисов.

— У нас в саду! Целая шайка! Батюшки светы, что будет с нами?

— В сад, ребята! — закричал Борисов стрельцам.— Ловите разбойников!

Стрельцы бросились в сад вслед за Василием и Борисовым. При свете месяца увидели они приставленную к окну лестницу и на верхних ступеньках человека. Он пытался отворить окно. Два его товарища держали лестницу, и два готовились лезть вслед за ним. Стоявший на лестнице, услышав шум, соскочил с самого верха на землю, и все побежали.

— Лови! Держи! — закричали стрельцы, но те успели добежать до забора, отделявшего сад Василия от соседнего огорода, вскарабкались на него и, соскочив в огород, скрылись. Стрельцы хотели пуститься за ними в погоню, но Василий остановил их и повел за ворота. Дойдя до небольшого дома, где жил Цыклер, он окружил его и вошел в комнаты. Все двери были настежь отворены, и никого не было. В спальне Цыклера увидел Василий секиру, воткнутую перед окном в пол, и привязанный к ней свиток бумаги. Сняв его, он прочитал:

«По близкому соседству моему с тобою, я знал, что ты ко мне первому придешь сегодня в гости. Милости просим! Жаль только, что хозяина не застанешь дома. Я и все наши там, где тебе не найти нас. О приказе, который получен

тобою сегодня, узнали мы прежде тебя. Из этого ты видишь, что нас не перехитрить, да и не пересилить. Советую тебе взяться за ум. Плетью обуха не перешибешь. С одним полком немного против восьми сделаешь. На Стремянной, Полтев и Жуковский не надейся: все наши. Сухаревский смотрит на тебя и упрямится. Не образумишься, так изрубим и втопчем в грязь, а образумишься, так получишь поместье да триста рублей. Слышишь ли? Напиши ответ и положи сегодня же ночью в пустую избушку, что подле моей бани».

Бурмистров немедленно пошел со стрельцами к князю Долгорукому и, вручив ему найденный свиток, провел с ним, совещаясь, остаток ночи.

IX

Ударил первый час дня. Восходящее солнце осветило Кремль. Послав Бурмистрова к Ивану Кирилловичу Нарышкину и Артамону Сергеевичу Матвееву с приглашением явиться к царице Наталье Кирилловне для важного совещания, князь Долгорукий поспешил во дворец. Вскоре прибыли туда Нарышкин и Матвеев. Долгорукий встретил их на лестнице и молча подал брату царицы записку Цыклера. Нарышкин, прочитав ее, побледнел и передал бумагу Матвееву.

— Опасность велика! — сказал тихо Матвеев, прочитав записку и отдавая ее Долгорукому.— Видела ли царица эту бумагу?

— Нет еще,— ответил Долгорукий.— Я ожидал вашего прибытия и не велел докладывать обо мне.

Войдя в залу, где был стряпчий, Нарышкин сказал ему:

— Доложи царице, что Артамон Сергеевич, Михаил Юрьевич и я просим дозволения войти в ее комнаты.

Вскоре их пригласили к царице.

— Мы пришли к тебе, государыня,— сразу начал Матвеев,— с недобрыми вестями. Цыклер, Одинцов и все товарищи их неизвестно куда скрылись. В доме Цыклера нашел пятисотенный Бурмистров записку. Прочитай ее, Михаил Юрьевич.

Когда Долгорукий кончил чтение, Матвеев продолжил:

— Мы пришли спросить тебя, государыня, что делать велишь?

— Я полагаюсь во всем на вас. Делайте моим именем все, что считаете нужным.

— Я велел,— сказал Долгорукий,— десяти стрельцам, переодевшись в монашеское платье, разведать, где скрываются Цыклер и прочие заговорщики. Сейчас на стороне царевны Софьи Алексеевны восемь полков, а на стороне царя Петра Алексеевича только один Сухаревский. Но не в силе Бог, а в правде! Надобно приказать Сухаревскому полку и Бутырскому войти сегодня ночью в Кремль и запереть все ворота. Теперь же нужно отправить гонцов во все ближние города и монастыри с царским указом, чтобы всякий, кто любит царя, вооружился, чем может, и спешил к Москве защищать его от злодеев, замысливших пролить священную кровь царскую. Можно назначить сборным местом село Коломенское и послать туда кого-нибудь из бояр, а бунтовщикам объявить, что если они вздумают начать осаду Кремля, то мы будем защищаться до последнего, и что скоро придет к Москве ополчение и нападет на них, после чего ни одному бунтовщику, который в сражении уцелеет, не будет пощады: всем голову долой! Ручаюсь, государыня, что мятежники оробеют и будут просить помилования.

— А если не оробеют? — спросил Нарышкин.

— Тогда пускай сразятся с нами! — продолжил Долгорукий.— Мы будем держаться в Кремле, пока не подойдет ополчение и не нападет на них с тыла. Тогда мы сделаем вылазку и разобьем бунтовщиков.

— Боже мой! Боже мой! — сказала с глубоким вздохом царица.— Русские станут проливать кровь русских!

— Нельзя ли переговорить с царевной Софьей Алексеевной? — вмешался Матвеев.— Может быть, с ней можно будет договориться и не проливать кровь русскую.

— Нет, Артамон Сергеевич! — возразил Нарышкин.— Царевна слишком далеко зашла. Она не может уже повернуть, да и не захочет. Она желает царствовать именем Ивана Алексеевича и погубить ненавистный ей род Нарышкиных. Переговоры с нею невозможны.

— В таком случае,— сказал Матвеев,— больше нечего делать, как согласиться с предложением Михаила Юрьевича. За кровь, которая прольется, ответит Богу царевна Софья Алексеевна.

В это время отворилась дверь, вошла поспешно постельница и сказала:

— Царевна Софья Алексеевна изволила приехать к тебе, государыня, она уже на лестнице.

Бояре вскочили с мест. Царица молча указала им на дверь, завешенную штофным занавесом. Бояре вошли в темный коридор и, спустясь по крутой и узкой лестнице в нижние покои дворца, вышли через другие сени на улицу, избежав встречи с царевною.

— Я пришла,— сказала Софья, садясь подле царицы,— предостеречь тебя, матушка, от угрожающей опасности. Вся Москва ропщет, что братец Иван обойден в наследовании престола. Вчера два митрополита от лица всего духовенства, несколько бояр и многие выборные от народа били мне челом, чтобы он был объявлен царем московским.

— Ты знаешь, Софья Алексеевна, что он сам уступил престол брату.

— Справедливо, матушка, но не должно пренебрегать народным мнением. Я опасаюсь, как бы не было чего худого. Лучше уступить общему желанию: все хотят, чтобы провозглашен был царем братец Иван.

— Нет, Софья Алексеевна! Бог увенчал моего сына царским венцом, один Бог властен теперь лишить его этого венца. Да будет воля Божия!

— Послушай моего искреннего совета, матушка, может быть, раскаешься, но будет поздно.

— Да будет воля Божия! — повторила царица. Царевна, покраснев от гнева, вскочила с кресла и вышла поспешно из комнаты. Царица же, отстояв обедню в Успенском соборе и возвратясь во дворец, послала гонца к брату своему Ивану Кирилловичу, боярину Матвееву и князю Долгорукому с приглашением явиться к ней на другой день рано утром на совещание.

X

Когда солнце закатилось, в доме Милославского, которого никто не подозревал в преступных замыслах, собрались заговорщики, а стрельцы около съезжих изб своих зажгли костры и прикатили бочки с вином. Шумные разговоры и песни не умолкали всю ночь.

Восходящее солнце осветило пирующих. Многие, успев уже подкрепить себя сном, принялись снова за ковши, разговоры и песни. Вдруг у главной съезжей избы раздался звук барабана.

Сбежавшиеся стрельцы увидели полковников Петрова и Одинцова, подполковника Цыклера, пятисотенного Чермного, стольника Ивана Толстого, дворян Сунбулова и Озерова. Трое последних одеты были в стрелецкое платье.

— Товарищи! — закричал Цыклер.— Москва и все русское царство в опасности! Лекарь фон Гаден признался, что он по приказанию Нарышкиных поднес покойному царю яблоко с зельем. Они же, Нарышкины, придумали на поминках по царю угостить всех вас, стрельцов, вином и пивом и всех отравить. Они замышляют убить царевича Ивана Алексеевича. К ружью, товарищи! Заступитесь за беззащитного! Царевна Софья Алексеевна наградит вас.

— Смерть Нарышкиным! — закричали стрельцы и бросились в свои избы за оружием. Вскоре они собрались опять на площади с ружьями и секирами, некоторые и с копьями.

— Обрубите покороче древка у секир, товарищи! — закричал Цыклер.— С длинным древком труднее рубить головы изменникам!

Приказ был немедленно исполнен. Стук секир смешался с криком: «Смерть изменникам!»

В это время на площади появились два всадника, скачущие во весь опор. Это были Александр Милославский, племянник боярина Ивана Михайловича, и стольник Петр Толстой. Остановясь перед главною избою, они сказали несколько слов Цыклеру и другим заговорщикам.

— Стройтесь в ряды! — закричали Цыклер, Петров и Одинцов. Когда стрельцы исполнили приказание, Милославский и Толстой поехали мимо их рядов.

— Сегодня 15 мая,— кричали они,— сегодня зарезан был в Угличе царевич Димитрий. Сегодня Нарышкины удушили царевича Ивана Алексеевича! Отомстите за него и спасите святую Русь!

Стрельцы в ярости замахали секирами и закричали. Когда шум прекратился, Цыклер, сев на лошадь, подъехал к Милославскому, развернул свиток бумаги и, обратясь к стрельцам, сказал:

— Вот имена изменников и убийц царевича!

Потом он, Милославский и Толстой, объехав ряды стрельцов, останавливались пред каждою сотнею и повторяли имена невинных жертв, обреченных на гибель. Возвратившись к главной избе, Цыклер закричал:

— Грамотные вперед!

Из рядов двенадцатитысячного войска вышли семь чело-

век. Они приблизились к Цыклеру и получили от него, Милославского и Толстого списки, приготовленные для стрельцов по приказанию боярина Милославского.

— Смотрите же,— сказал Цыклер,— смерть всем убийцам и изменникам, которые в списках означены, чтоб ни один не уцелел!

Стрельцы возвратились со списками на места свои. В это время полковники Петров и Одинцов выехали из-за угла одной из съезжих изб. За ними везли пушки и пороховые ящики. Все заговорщики, сев на лошадей, поехали к Знаменскому монастырю. За ними пошло и все войско. Отслужив молебен, заговорщики вынесли из церкви икону Знамения Божией Матери и чашу святой воды. Стрельцы преклонили оружие пред образом, перекрестились, ударили в барабаны, подняли знамена и двинулись к Кремлю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Вместе с восходом солнца Матвеев, Нарышкин и Долгорукий явились во дворец. Вслед за ними приехали отец царицы Кирилл Полуектович Нарышкин, князья Григорий Григорьевич Ромодановский, Михаил Олегович Черкасский и другие преданные ей бояре. Бóльшая часть из них, видя, что происходит, надела под кафтаны латы. Патриарх уведомил царицу, что он занемог и не в силах встать с постели. Совещание продолжалось несколько часов, и после жарких споров все согласились с мнением князя Михаила Юрьевича Долгорукого. Царица поручила Матвееву съездить немедленно к патриарху, спросить о его здоровье, уведомить о принятых мерах и испросить его благословения.

Едва Матвеев вышел из комнаты, раздался отдаленный громовой удар.

— Что это значит? — спросила царица.

Князь Черкасский подошел к окну и заметил на юге большую черную тучу.

— Собирается гроза, государыня! — сказал он.

Царица встала и о чем-то тихо заговорила со своим престарелым отцом. Все бывшие в зале бояре также встали с мест своих и в почтительном молчании смотрели на царицу.

Вдруг отворилась дверь, и Матвеев вошел поспешно

в залу. На лице его заметно было беспокойство, которое он напрасно пытался скрыть. Взоры всех обратились на него, и царица спросила:

— Что ты, Артамон Сергеевич?

— Боярин князь Федор Семенович Урусов с подполковниками Стремянного полка Горюшкиным и Дохтуровым попались мне на лестнице. Они говорят, что стрельцы из слобод своих рано утром вступили в Земляной город, оттуда двинулись в Белый, в Китай-городе остановились у Знаменского монастыря и скоро подойдут к Кремлю. Я приказал как можно скорее запереть все кремлевские ворота.

— Хорошо, если успеют! — сказал Долгорукий.

Он сошел в нижние покои дворца, велел бывшему там пятидесятнику Борисову со своею полсотнею стрельцов выйти на площадь и ударить сбор, а Бурмистрова, который также ожидал приказаний князя, отправил верхом к полковнику Кравгофу с приказом поспешить со своим Бутырским полком к Красному крыльцу. Отряд Борисова вышел на площадь. В это время поднялся сильный вихрь, и вой его соединился с ударами грома, которые почти не умолкали.

— Бей сбор! — закричал Борисов барабанщику.

Однако стрельцы Сухаревского полка не могли расслышать звуков барабана при шуме жестокой бури, столь неожиданно поднявшейся.

Долгорукий, войдя опять в залу, начал говорить царице о сделанных им распоряжениях. В это время открылась дверь, ведущая в комнаты юного царя Петра и царевича Ивана, и они оба вошли в зал. Царица поспешно приблизилась к своему сыну, крепко обняла его и залилась слезами.

Вдруг на Ивановской колокольне раздался звук колокола.

— Что это значит? — спросил князь Черкасский, подходя к окну. Сильный удар грома заглушил унылый звон колокола. Гром стих, но звон продолжался, мешаясь с невнятными криками, раздающимися на площади, и с барабанным боем.

— Они уже у Красного крыльца! — воскликнул Черкасский.

— Кто? Бунтовщики? — спросил Долгорукий, вынимая саблю.— Не ошибаешься ли ты, князь? Может быть, это Сухаревский полк?

— Посмотри сам. Вон как машут секирами и кричат! Слышишь?

— Я уйму их! — сказал Долгорукий и подошел к двери, но царица остановила его, опасаясь, что с появлением князя начнется кровопролитие.

— Позволь, Михаил Юрьевич,— сказала она,— чтобы

Артамон Сергеевич первый вышел на крыльцо и постарался уговорить мятежников. Надобно узнать, чего они требуют. Может быть, не нужно будет проливать крови...

Долгорукий отошел от двери, приблизился к князю Черкасскому, смотревшему в окно, и крепко стиснул в руке рукоять сабли, увидев мятежников, окруживших со всех сторон Красное крыльцо.

— Смотри, смотри, Михаил Юрьевич! — закричал Черкасский.— Они ломают на крыльце решетки и перила!

— Государыня! — сказал вошедший в зал подполковник Дохтуров.— Меня послал к тебе Артамон Сергеевич. Мятежники думают, что царевич Иван Алексеевич убит, и требуют выдачи его убийц.

— Покажи им царя и царевича. Может быть, они успокоятся,— посоветовал Наталье Кирилловне ее отец.

Царица взяла за руку Петра и Ивана и вывела на Красное крыльцо. Толпа стрельцов, взбежав на ступени, окружила царицу.

— Ты ли царевич Иван? — спрашивали они.

— Я! — отвечал царевич трепещущим голосом.— Успокойтесь, меня никто не обижал и обижать не думал.

— Ой ли? — сказал стрелец гигантского роста.— Слышите, ребята? — закричал он.— Царевич говорит, что ему никто ничего плохого не делал! Не идти ли нам по домам?

В ответ раздался громкий крик. Бывшие на крыльце стрельцы сошли на площадь. Все кричали, но нельзя было разобрать ни одного слова. Царица с сыном своим и царевичем Иваном возвратилась во дворец, а Матвеев сошел с крыльца и, воспользовавшись минутою, когда шум немного утих, начал говорить:

— Я не узнаю вас, братцы. Вы были всегда храбрыми воинами и верными слугами царскими. Я не верю, чтобы вы сами захотели покрыть себя вечным позором и восстать против вашего законного царя: верно, подучили вас злые и коварные люди. Не слушайте их: они вас обманывают. Они говорили вам, что царевич Иван Алексеевич убит, а вы видели сами, что он жив и здоров. Неужели кто-нибудь из вас захочет погубить навеки душу свою? Вспомните Бога! Неужели вы надругаетесь над крестом Спасителя, который целовали с клятвою служить верой и правдой царю Петру Алексеевичу? Успокойтесь, возвратитесь в ваши слободы и докажите, что вы все те же храбрые и верные царю стрельцы.

— Кажись, боярин-то дело говорит! — шептали многие из стрельцов друг другу.

— По домам, ребята! — закричало несколько голосов.

Матвеев, обрадованный действием своих слов, вошел во дворец и сказал царице, что стрельцы, по-видимому, успокаиваются. Но едва успел он удалиться, раздался в толпе чей-то голос:

— Нарышкины убьют не сегодня, так завтра царевича Ивана и всех стрельцов перевешают! Иван Нарышкин вчера надевал на себя царскую порфиру и похвалялся своими руками удушить царевича!

— Смерть Нарышкиным! — воскликнули тысячи голосов.— Во дворец! Режь изменников!

Стрельцы бросились толпами к Красному крыльцу, но вдруг остановились, увидев на нем князя Михаила Юрьевича Долгорукого, стоящего с поднятою саблею.

Все притихли. Долгорукий сошел с лестницы.

— Бунтовщики! Изменники! — закричал он.— Голова слетит с плеч у первого, кто осмелится ступить на это крыльцо! Слушайте меня! Молчать, говорю я вам!.. Что? Меня не слушаться?.. Вели стрелять! — продолжал он, обратясь к Борисову, стоявшему со своею полсотнею по левую сторону Красного крыльца.

— Подыми мушкет! — закричал Борисов.— Посыпь порох на полку! Закрой полку! Положи пыж на пульку! Вынь забойник! Добей пульку и пыж до пороху!

Оставалось только закричать: «Приложися! Стреляй!» Но стрельцы, воспользовавшись продолжительной командой, успели опередить Борисова. Оглушенный ударом ружейного приклада по голове, он упал без чувств на землю, а стрельцы его, увидев это, разбежались.

Мятежники бросились на Долгорукого. Сабля его сверкнула, и голова стрельца, который первый подбежал к нему и замахнулся секирою, полетела на землю.

— Силен, собака! — закричал, остановясь шагах в двадцати от князя, один из бунтовщиков. Товарищи его также остановились, издали грозя Долгорукому секирами.

— Ну, что стали лешие! — крикнул десятник.— Одного испугались!.. Вперед!

— Погоди, я его разом свалю! — сказал стрелец, целясь в князя из ружья.

Раздался выстрел, пуля свистнула, но, попав вскользь по латам князя, надетым под кафтан, отскочила в сторону и ранила одного из бунтовщиков.

— Что за дьявольщина! — воскликнул десятник.— И пуля его неймет!

— За мной, ребята! — закричал пятисотенный Чермной, бросаясь на Долгорукого с толпою мятежников.

— Тьфу ты черт! Еще срубил одному голову! — воскликнул один из стрельцов, бежавших за Чермным, останавливаясь и удерживая своего племянника.— Погоди, Сенька, не суйся прежде дяди в петлю. Авось и без нас сладят с этим лешим!

— Посмотри-ка, дядя, как он саблей-то помахивает. Вон еще кого-то хватил, ажно секира из рук полетела!

— Нечего сказать, славно отгрызается! Да погоди ужо, не отбоярится! Что это? Он сам бросил саблю!

Долгорукий, видя, что ничто не может удержать мятежников, кинул саблю и закричал окружившим его со всех сторон стрельцам:

— Не хочу больше проливать кровь напрасно. Всю жизнь мою я старался делать вам добро и любил вас, как отец. Не хочу пережить позора, которым вы себя покрываете. Вы хотите изменить вашему законному государю, забываете, что целовали крест Спасителя! Предаю вас праведному суду Его. Я вас любил, как детей,— убейте вашего отца!

— Дядя, почто Чермной кафтан-то с князя снимает? — спросил Сенька своего дядю, который все стоял на прежнем месте, держа за руку племянника.

— Ба, под кафтаном у него латы!.. Ну, потащили голубчика! Ай да молодцы наши братья-стрельцы!

Втащив Долгорукого на крыльцо, стрельцы сбросили его на копья. Кровь несчастного князя потекла ручьями по длинным древкам и обагрила руки злодеев. Бросив его на землю, они принялись за секиры и вскоре с диким хохотом разбросали разрубленные его части в разные стороны.

Тем временем отряд мятежников ворвался во дворец через сени Грановитой палаты. Вбежав в комнаты царицы, злодеи увидели Матвеева.

— Хватайте этого изменника! Тащите, ребята! — закричал сотник.

— Не троньте моего второго отца! — воскликнула царица, схватив Матвеева за руку.

— Ну, что вы стали, олухи! — крикнул сотник.— Что вы на нее смотрите? Тащите!

— Прочь, изверги! — закричал князь Черкасский, бросаясь с саблей к мятежникам. Он вырвал из их рук Матвеева, которого они вытащили уже в другую комнату.

— Не раздражай их, князь Михаил Олегович, и не

подвергай себя опасности. Пускай они убьют меня одного, я не боюсь смерти.

— Нет, Артамон Сергеевич, жизнь твоя еще нужна для юного царя и для отечества. Прочь, изменники! Разрублю голову первому, кто подойдет.

— Ребята! Приткните его пикой к стене! — закричал сотник.

Черкасский, раненный в бок у самого сердца, упал. Злодеи, схватив Матвеева, вытащили его на Красное крыльцо. Приподняв и показывая боярина толпящимся внизу сообщникам, закричали они:

— Любо ли вам?

В ответ раздался крик: «Любо, любо!» — и боярин, любимый некогда стрельцами и народом, друг покойного царя Алексея Михайловича и воспитатель матери царя Петра, полетел на острые копья.

— Во дворец! — закричали злодеи.— Ловите прочих изменников! — С этими словами толпа стрельцов, опустив копья, взбежала на Красное крыльцо и рассеялась по всему дворцу. Трепещущая царица, проливая слезы, удалилась с сыном своим и царевичем Иваном в Грановитую палату. Бояре Ромодановские, подполковники Горюшкин и Дохтуров пали под ударами секир. В одной из комнат дворца скрывался стольник Федор Петрович Салтыков. Мятежники схватили его.

— Кто ты? — закричал один из стрельцов, приставя острие копья к его сердцу.— Отвечай! Афанасий Нарышкин, что ли? Так вот тебе, собака!

Обливаясь кровью, Салтыков упал на пол.

— Боже милосердый! Сын мой! — воскликнул боярин Петр Михайлович Салтыков, войдя в комнату и бросаясь на окровавленный труп своего сына.

— Сын твой? — спросил заколовший его стрелец.— А я думал, что он Афанасий Нарышкин.

— Дал ты маху, Фомка! — сказал десятник.— Кажись, в списке нет Салтыковых. Дай-ка справлюсь.— Он вытащил из-за кушака список и начал читать по складам.— Так и есть. Сына-то нет, а батюшка тут. Приколи его. Вишь, больно вопит по сыну: жаль бедного!

Удар секиры, разрубивший голову старцу, прекратил его страдания.

— Нам еще есть над кем поработать! — сказал десятник, заткнув за кушак список.— Пойдем обшарим все другие комнаты: не попадутся ли нам Иван да Афанасий

Нарышкины. За их головы цена-то подороже, чем за все прочие.

Переходя из комнаты в комнату, десятник увидел спрятавшегося под столом придворного карла, который, скорчившись от страха, прижался к самой стене.

— Эй ты, кукла! Не знаешь ли, где Иван и Афанасий Нарышкины?

— А что дашь, если скажу? — спросил тот.

— Да вот дам тебе секирой по макушке, если не скажешь. Говори, где Нарышкины?

— Иван близко от вас, только вам не найти его. Найдут другие. А Афанасий спрятался в дворцовой церкви Воскресения на Сенях.

— Пойдем туда! Если ты нас обманул, так осинового кола тебе не миновать! А откуда ты родом и как попал в придворные? — спросил десятник карла.

— Родился я неподалеку от Москвы, зовут меня Фомою Хомяком, а в придворные карлы при царице определил меня брат ее, Афанасий Кириллович.

— Тот самый, который теперь спрятался в церкви?

— Да.

— Не жил ли ты прежде в здешней богадельне? — спросил один из стрельцов.— Я тебя, кажись, там видал.

— Жил,— ответил карла.

— Где ж ты колдовству-то обучился,— продолжал стрелец.— Неужто в богадельне?

— Колдовству обучил меня покойный дед мой, а в богадельню я вступил только для того, чтобы позабавиться. В две недели пораспугал я там всех: и хромые, и безрукие, и слепые — все разбежались. То-то уж мне сделалось просторно. Хожу, бывало, из горницы в горницу один-одинехонек да посвистываю. Раз царица с Афанасием Кирилловичем приехали осмотреть богадельню. Он увидел меня и смекнул: на что де такому малому человеку одному этакий большой дом? «Хочешь ли ты в придворные?» — спросил он меня. «Хочу»,— ответил я. На другой день он приехал за мною, увез во дворец,— и с тех пор служу я при комнатах царицы.

— Моя тетка живет лет тридцать в богадельне,— сказал стрелец,— а ни один колдун оттуда ее еще не выживал. Она мне рассказывала, что царица взяла тебя к себе по просьбе Афанасия Нарышкина, сжалившись над твоим убожеством.

— А вот увидим,— подхватил десятник,— найдет ли этот колдунишка, кого нам надобно? Вот дверь в церковь.

Один из стрельцов отыскал пономаря и велел ему отпе-

реть церковь. Пономарь хотел возразить, но поднятая над головою секира заставила его замолчать и исполнить приказанное.

Афанасий Нарышкин, брат царицы, был комнатным стольником. Он отказался от боярства из скромности и наиболее охотно занимался благотворительностью. Услышав, что стрельцы везде его ищут, чтобы предать мучительной смерти, он поспешил к священнику церкви Воскресения на Сенях, некогда им облагодетельствованному, и просил причастить его перед смертью. Священник почти принудил его скрыться в церкви, под престолом. Придворный карла, проходя мимо церкви и увидев входивших в нее Нарышкина и священника, подсмотрел, что только один из них вышел оттуда и запер церковные двери.

Вдруг среди тишины, царящей в храме, Нарышкин услышал у дверей шум. Ключ два раза щелкнул — и тяжелая дверь заскрипела, медленно поворачиваясь на железных петлях. Кто-то вошел в церковь.

— Показывай, где он спрятался? — сказал один голос.

Другой голос ответил:

— Уж я тебе говорю, что он здесь. Вели-ка поставить у окон и дверей часовых.

По шуму шагов и голосам Нарышкин заключил, что целая толпа ищет его по церкви.

— Смотри ты, колдунишка, если мы его не сыщем — беда тебе! — сказал кто-то.— Осталось только алтарь обыскать!

Нарышкин услышал, как северные двери открылись и несколько человек вошли в алтарь.

— И здесь его нет! Разве что под престол спрятался. Сунь-ка туда пику, Фомка!

Пика проткнула парчовый покров престола и, слегка шаркнув по кафтану Нарышкина, вонзилась в пол.

— Кажись, никого нет!

— Загляни под престол.

— Вот он где, изменник! Тащите его оттуда!

Беззащитного Нарышкина схватили. Он не сказал ни слова своим убийцам, не издал ни одного жалобного стона. Когда его выносили из алтаря, он взглянул на образ Воскресения Христа, стоявший за престолом, вздохнул и закрыл глаза. Душа его погрузилась в предсмертную молитву.

Преддверие храма Божиего обращено было в плаху. Разрубленное на части тело Нарышкина изверги сбросили на площадь перед церковью.

Обыскав дворец, мятежники рассеялись по всей Москве,

грабили дома убитых ими бояр и искали везде Ивана Нарышкина и всех тех, которые успели из дворца скрыться. Родственник царицы, комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, живший за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и многие другие были отысканы и преданы мучительной смерти.

Солнце появилось из-за туч на прояснившемся западе и осветило бродящих по Москве стрельцов и брошенные на площадях их жертвы. Оставив в Кремле многолюдную стражу, мятежники возвратились в свои слободы.

II

Бурмистров, отправленный Долгоруким к Кравгофу, выехал из Кремля на Красную площадь и во весь опор проскакал длинную прямую улицу, которая шла к Покровским воротам. Проехав через них, он вскоре достиг Яузы и въехал в Немецкую слободу. Остановясь у дома Кравгофа и привязав к кольцу измученную лошадь, Бурмистров вошел прямо в спальню полковника. Кравгоф был датчанин, но звали его в народе немцем, как и всех западных иностранцев. По его настоянию Бутырскому полку дано было красное знамя с вышитою посередине крупными буквами надписью: «Берегись!» Он три недели выдумывал надпись и остановился на этой, как нельзя лучше выражающей, по его мнению, храбрость полка и тот страх, который он наводит на неприятеля. Но насмешники перетолковали это по-своему: «Кравгоф-то, — говорили они,— велит своим беречься и не очень храбриться».

— Князь Михаил Юрьевич Долгорукий прислал меня к тебе, господин полковник, с приказанием, чтобы ты шел как можно скорее с полком ко дворцу.

— К творес? — воскликнул Кравгоф, вскочив со стула.

— Да, ко дворцу. Восемь стрелецких полков взбунтовались.

— Мой не понимай, што твой каварить.

— Восемь полков взбунтовались, хотят окружить дворец, убить всех бояр, верных царице, и провозгласить царем Ивана Алексеевича. Ради Бога, поскорее, господин полковник!

— Ай, ай, ай! Какой кудой штук! А хто сказал маршировать с мой польк?

— Меня послал к тебе князь Долгорукий.

— Толгирукий? Гм! Он не есть мой нашальник. Еслип велел Сарись, то...

— Помилуй, Матвей Иванович, ты еще рассуждаешь, когда каждый миг дорог.

— Мой сосывать тольшен военный совет, а потом марш.

— Побойся Бога, Матвей Иванович, это уж ни на что не похоже. Есть ли теперь время думать о советах?

— Стрелиц не снает слюшпа и патому так утивлялся! Гей! Сеньке!

Вошел Сенька, слуга полковника.

— Побеши х косподин польпольковник, х майор, х каптень, х порушик, потпорушик, прапоршик, скаши, штоп все припешал ко мне. Ешо вели свать один ротна писарь.

Бурмистров, видя, что нет возможности поторопить упрямого Кравгофа, с досадой отошел к окну и, скрестив на груди руки, начал смотреть на улицу. Через некоторое время стали собираться офицеры Бутырского полка.

Сначала вошел майор Рейт, англичанин, потом полуполковник Биельке, швед, с капитаном Лыковым. Когда и все прочие офицеры собрались, Кравгоф приказал ротному писарю Фомину принести бумагу и чернильницу, пригласил всех сесть и сказал:

— Князь Толгирукий прислал вот этот косподин стрелица скасать, што восемь польк вспунтирофались и штоп наша польк марш ко творса. Сарись не скасаль нишего. Натопна ли марш?

— Господи, твоя воля! — воскликнул капитан Лыков.— Восемь полков взбунтовались! Да что же тут толковать? Пойдем скорее!

— Косподин каптень! Твой не тольшна каварить преште млатший офицер! — воскликнул Кравгоф.— Косподин младший прапоршик, што твой тумает?

— Тотчас же идти ко дворцу и драться!

— Траться? Гм! Господины все прошие прапоршик, што ви думает?

— Драться! — отвечали в один голос прапорщики.

— А косподины подпорушики и порушики?

— Драться!

— А где ешо три каптень? Зашем вишу отин?

— Двое захворали, а один, как известно, в отпуске,— ответил Лыков.

— А зашем нет рапорт о их полеснь?

— Есть, господин полковник! Я вчера подал,— сказал ротный писарь.

— Карашо!.. Ну а косподин Ликов, што твой тумает?

— Я думаю,— насмешливо сказал капитан,— что

надобно дать время бунтовщикам войти в Кремль, окружить дворец и сделать, что им заблагорассудится, а потом идти, не торопясь, ко дворцу, взглянуть, что они сделали, и разойтись по домам.

— Твой смеет шутить, косподин каптень! Твой смееть смеяльсяся! — закричал Кравгоф, вскочив со своего места.— Я твой велю сатить на арест.

— За что, господин полковник? Меня спрашивают — я отвечаю.

— Твой кавариль сперва траться!

— Я и теперь скажу, что без драки дело не обойдется и что надобно бежать ко дворцу, не теряя ни минуты.

— Мальши, каптень! Мой снает не хуше твой поряток. Косподин майор, што твой тумает?

— Я думаю, что тут нечего долго думать, а надо действовать! — отвечал сквозь зубы Рейт, довольно чисто говоривший по-русски, он давно уже жил в России.

— А твой што скашет, косподин польпольковник?

— Мой скажет, што в такой вашний дело нужно сперва тумать, карашенька тумать. Сперва план, диспосиция, а потом марш!

— Карашо, весьма карашо! Мой сокласна Фомкин! Тай пумага с перо, я стелай тотшас план и диспосиция.

Выведенный из терпения поведением Кравгофа, Бурмистров вскочил со своего места и хотел что-то сказать, но вдруг отворилась дверь и вбежал прапорщик Сидоров, посланный еще накануне полковником в Москву с каким-то поручением.

— Бунт! — закричал он.— Стрельцы убили князя Долгорукого и ворвались во дворец! Я сам видел, как несчастного князя сбросили с Красного крыльца на копья и разрубили секирами!

— Боже милостивый! — воскликнул Бурмистров, всплеснув руками.— Господин полковник, господа офицеры! Вспомните Бога, вспомните присягу! Пойдем против мятежников, защитим царя или умрем за него!

— Умрем за царя!— закричали, выхватив шпаги, все, кроме Кравгофа и Биельке.

— За мной! — крикнул басом англичанин Рейт, бросаясь к дверям с поднятой шпагой.

В дверях он столкнулся с капралом Григорьевым.

— Где господин полковник? — спросил капрал.

— Што твой надопна? — сказал Кравгоф.

Капрал, вытянувшись перед ним, доложил.

— Все солдаты нашего полка с капралами разбежались. Что прикажете делать, господин полковник?

— Какой кудой штук, какой кудой штук! — повторял Кравгоф. Бурмистров, поклонясь полковнику и офицерам, молча вышел, сел на лошадь и поскакал в Кремль.

— Вон бежит по улице солдат с ружьем! — сказал Лыков.— Так бы и приколол бездельника!

— Ге пешит? — спросил Кравгоф, подойдя к растворенному окну.— Гей, сольдат! Сольдат! Кута твой пешит?

— Молчи, немец, не твое дело! — бросил солдат, не останавливаясь.

— Косподины официр! — воскликнул Кравгоф.— Солдаты вспунтирофались! Што сделать с песдельники? Сольдат не хошет каварить с командир!

— А вот я его заставлю говорить,— проворчал Лыков, выбегая из комнаты. Нагнав солдата, он остановил его, отнял ружье и привел, держа за ворот, к полковнику. Приставив к груди его шпагу, капитан закричал:

— Говори, бездельник, куда ты бежал и зачем? Если солжешь, так я тебя разом приткну к стене.

— Виноват, батюшка! Помилуй! Скажу всю правду! Вчера ходил у нас по избам какой-то дворянин, раздал много денег и обещал еще, если мы заступимся за царевича Ивана Алексеевича. Он сказал, что все стрельцы на стороне царевича и что когда они войдут в Кремль, то он пришлет гонца за нами. Гонец приехал, мы и бросились в Кремль. Помилуйте, государи-батюшки, наше дело солдатское: что скажут — всему верит!

— Всему верит! — воскликнул Лыков.— Ах ты злодей, мошенник! Разве ты забыл присягу? Целовал ли ты крест, чтобы служить царю Петру Алексеевичу верой и правдой?

— Целовал, батюшка, целовал!

— А что же ты теперь делаешь? Дали алтына четыре, так и душу продал сатане! Беги, любезный, беги к ним, прямо к сатане в когти. Что ж ты стоишь? Я тебя не держу.

Солдат, пораженный словами капитана, заплакал и упал к ногам его.

— Приколи меня, батюшка! — говорил он, всхлипывая.— Погубил я свою душу! Приколи меня, окаянного! Отрекся я от Бога. Отцы мои родные, казните, расстреляйте меня.

— Ты еще не сделал греха, о котором я тебе говорил, а хотел сделать. И это согрешение велико, но если раскаешься, то Бог простит тебя!

— Отец мой! Научи, что мне делать, чтобы Бог простил меня!

— Беги вслед за своими товарищами и уговаривай, чтоб они не позорили себя изменой и не губили душ своих!

Солдат, обняв ноги капитана, вскочил.

— Побегу! — воскликнул он.— Стану уговаривать, убеждать. Не послушают, так один пойду против всех за Петра Алексеевича!

— Вот это дело, брат! — сказал Лыков.— И я побегу с тобой!

— И мы все! — закричали офицеры, кроме Кравгофа и Биельке.

— Хорошо, хорошо! — восклицал Рейт, махая шпагою.— Смерть всем изменникам и бунтовщикам!.. Что за дьявольщина! — закричал он, отворив дверь и увидав несколько солдат, стоящих в сенях.

— Стой! — закричали солдаты, прицелясь из ружей в Рейта.— Не велено никого пускать отсюда! Вокруг дома целая рота! И червяк отсюда не проползет на улицу!

— Я уж как-нибудь пролезу! — закричал Лыков и бросился к двери, но Рейт удержал его за руку.

— Капитан,— сказал он,— тебя убьют, меня убьют и всех нас убьют. А какая выйдет из того польза? Целая рота вокруг дома! Слишком много для этих бездельников будет чести, если мы дадим им случай перестрелять нас.

— Правда,— сказал Лыков,— убьют нас без всякой пользы. Целую роту нам не одолеть. Мы со шпагами, а бездельники с ружьями. Делать нечего! Подождем, когда нас выпустят...

Между тем солдат, бывший с офицерами в комнате, взял ружье свое, поставленное Лыковым в угол, и вышел смело в сени.

— Ты как сюда попал, Федька? — спросил один из его товарищей.

— Мне велено было посмотреть, что здесь делается у полковника, а потом нагнать мою роту. Стерегите же их крепко-накрепко, а я побегу за ротой. Прощайте!

Выйдя на улицу, солдат побежал к Покровским воротам, остановил крестьянина с пустою телегою и велел себя довезти до Кремля. Увидев на площади толпу своих товарищей, бродящих вместе со стрельцами, он перекрестился и побежал к ним. Когда в Москве восстановилось уже спокойствие, в полковом списке Бутырского полка против имени сего солдата отмечено было: «Пропал без вести».

III

На другой день, шестнадцатого мая, рано утром шел отряд стрельцов по одной из главных улиц Белого города. Поровнявшись с домом князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца начальника стрельцов, убитого ими накануне, они остановились и начали стучаться в ворота.

Малорослый слуга отворил калитку и едва устоял на ногах от ужаса, увидев пришедших гостей.

— Дома ли боярин? — спросил один из них.

— Как не быть дома! Дома, отец мой! — отвечал слуга, заикаясь.

— Скажи боярину, чтоб он вышел на крыльцо: у нас к нему дело.

— Слушаю! — сказал слуга и побежал на лестницу.

Через некоторое время появился на крыльце восьмидесятилетний князь. Он был без шапки, и ветер развевал его седые волосы. Лицо старца выражало глубокую скорбь.

— Мы пришли к тебе, боярин, просить прощения,— сказал стрелец, стоявший впереди своих товарищей.— Погорячились мы вчера и убили твоего сына!

— Бог вас простит! Я не стану укорять вас — это не воскресит мне сына!

— Спасибо тебе, боярин, что зла не помнишь,— сказал стрелец.

— Спасибо! — закричала вся толпа.

— Вели же дать нам выпить за твое здоровье и за упокой души твоего сына! — продолжал стоявший впереди стрелец.— У тебя, я чаю, погреб-то, как полная чаша!

Князь, не ответив ни слова, вошел в свою спальню, сел у окна и приказал слуге отпереть для стрельцов свой погреб. Выкатив оттуда бочку, незваные гости расположились на дворе, потребовали несколько кружек и начали пить. Малорослый слуга, отворивший калитку, наливал им и низко кланялся.

— Скажи-ка ты, холоп, старик-то вопил вчера по сыну? — спросил один из стрельцов.

— Да так, не особо,— уклончиво ответил слуга.

— Врешь, холоп! Скажи всю правду, не то хвачу по виску кружкой, так и ноги протянешь!

— Виноват, отец мой, не гневайся, скажу всю правду! — сказал дрожащим голосом слуга.

— Грозился ли на нас боярин?

— Грозился, отец мой.

— Ага, видно, щука умерла, а зубы целы остались! Что же говорил старый хрен?

— Говорил, отец мой, говорил!

— Тьфу ты дубина! Я спрашиваю: что говорил?

— Щука умерла, а зубы целы остались.

— Вот что! Ах, он злое зелье! Чай, рад бы всех нас перевешать! Что он еще говорил? — закричал стрелец, схватив слугу за шею.

— Взмилуйся, отец мой, совсем задавил! Отпусти душу на покаяние!

— Задавлю, коли не скажешь всей правды!

— Скажу, кормилец мой, скажу! Боярин говорил, что сколько на кремлевских стенах зубцов, столько вас повесят стрельцов!

— Слышите, братцы, что старый хрен-то лаял? Постой ты, собака!

С этими словами опьяневший уже стрелец вскочил и бросился на крыльцо. За ним побежало несколько его товарищей. Схватив старца за седые волосы и вытащив за ворота, злодеи изрубили его и, остановив крестьянина, который вез белугу на рынок, закололи его лошадь, отняли у него рыбу и бросили ее на труп князя.

— Вот тебе и обед! — закричали они с хохотом и побежали в Кремль.

В находившейся близ спальни царицы Натальи Кирилловны небольшой комнате, в которую вела потаенная дверь, родитель царицы Кирилл Полуектович и брат ее, Иван Кириллович, скрывшиеся туда накануне, придумывали, как им выйти из дворца и тайно выехать из города; убежище свое, указанное им царицею, но многим из придворных известное, они не считали верным. Вскоре после рассвета пошли они в спальню Натальи Кирилловны, которая всю ночь провела в молитве. Иногда, переставая молиться, подходила она к стоявшей у стены скамье, обитой бархатом, и, проливая слезы, благословляла сына своего. Одетый в парчовое полукафтанье, он спал. Трепеща за жизнь сына, мать решилась уложить его в своей спальне и всю ночь охраняла его. Видя ее беспокойство, отец и брат остались в спальне почти до полудня, стараясь успокоить ее советами и утешениями. Между тем проснулся Петр Алексеевич, встал, помолился и начал также утешать свою мать.

— Стрелецкий пятисотенный Бурмистров просит дозволения предстать пред твои светлые очи, государыня! — сказала постельница царицы, войдя в спальню.

— Бурмистров? Я сейчас выйду к нему,— сказала царица.— А вы, батюшка и братец, удалитесь в вашу комнату! Бурмистров до сих пор был предан моему сыну, но в нынешнее время на кого можно положиться?

Когда отец и брат царицы удалились, она вышла к Бурмистрову.

Он низко ей поклонился и сказал:

— Государыня, я собрал почти всех стрельцов нашего полка и спрятал в разных местах около Кремля. Мятежники и сегодня войдут опять в Кремль. Позволь, государыня, сразиться с ними! К нам пристанут все честные граждане. Я многим уже роздал оружие.

— Благодарю тебя за твое усердие и верность! Дай Бог, чтоб я могла наградить тебя достойно! Но хватит кровопролития. Я узнала, что Софья Алексеевна не хочет отнять царского венца у моего сына, а желает только, чтобы Иван Алексеевич вместе с ним царствовал.

— Как, государыня, у нас будут два царя?

— Софья Алексеевна желает именем их сама править царством и отнять у меня власть, которую мне Бог даровал. Я уступлю ей власть мою. Дай Бог, чтобы она употребляла ее лучше, нежели я, для счастия России. Не хочу, чтобы за меня проливалась кровь. Благодари от моего имени всех верных стрельцов и распусти их по домам. Поди и будь уверен, что я никогда не забуду твоей верности и усердия.

— Сердце твое в руке Божией, государыня! Я исполню волю твою!

Едва Бурмистров удалился, раздался звон на Ивановской колокольне, барабанный бой и шумные восклицания пред дворцом на площади. Царевна Марфа Алексеевна, старшая сестра царевны Софьи, поспешно вошла в спальню царицы. Бледное лицо выражало страх и смущение.

— Стрельцы требуют выдачи дядюшки Ивана Кирилловича! — сказала она.— Кравчий князь Борис Алексеевич Голицын пошел на Красное крыльцо объявить им, что Иван Кириллович из Москвы уехал. Злодеи, вероятно, станут опять обыскивать дворец, не лучше ли ему скрыться в моих деревянных комнатах, что подле Патриаршего двора? Туда мудрено добраться, не зная пути. Постельница моя Клушина, на которую я совершенно полагаюсь, проводит туда дядюшку.

Наталья Кирилловна хотела благодарить царевну, хотела что-то сказать ей, но ничего не могла выговорить. Она крепко обняла ее, и обе зарыдали.

Марфа Алексеевна кликнула свою постельницу, быв-

шую в другой комнате, и пошла с нею к родителю и брату царицы.

Через несколько минут толпа стрельцов вбежала в спальню Натальи Кирилловны.

— Где брат твой? — закричал один из сотников.— Выдай сейчас брата, или худо будет.

— Ты забыл, злодей, что говоришь с царицей! — воскликнул Петр Алексеевич, устремив сверкающий от негодования взор на сотника.

— Брата нет здесь,— сказала Наталья Кирилловна.

— А вот увидим! — продолжил сотник.— Ребята, пойдем и обшарим все углы.

Стрельцы вышли из спальни и рассеялись по дворцу. После напрасных поисков они вышли на площадь и вызвали на Красное крыльцо нескольких бояр.

— Скажите царице,— закричал пятисотенный Чермной,— чтобы завтра непременно был нам выдан изменник Иван Нарышкин, а не то мы всех изрубим и зажжем дворец!

После этого мятежники ушли из Кремля.

На другой день опять раздались в Кремле набат и стук барабанов. Вся площадь пред дворцом наполнилась стрельцами, которые вновь стали требовать выдачи брата царицы.

Устрашенные бояре собрались в ее комнатах. На всех лицах были ужас и недоумение.

— Матушка,— сказала царевна Софья, войдя в комнату,— все мы в крайней опасности! Мятежники требуют выдачи Ивана Кирилловича. В ином случае они грозят нас всех изрубить и поджечь дворец!

— Брата нет во дворце,— ответила царица.— Пусть рубят нас мятежники, если забыли Бога и перестали уважать дом царский.

— Где же Иван Кириллович? Если б он знал про наше положение, то, верно бы, сам решился пожертвовать собою для общего спасения.

— Он и пожертвует,— сказал Нарышкин, неожиданно войдя в комнату.

— Братец! Что ты делаешь? — воскликнула, побледнев, царица. Упав в кресло и закрыв лицо руками, она зарыдала.

Все присутствовавшие молчали. Удивленная Софья долго не могла ни слова выговорить. Великодушие Нарышкина победило на минуту ненависть, которую она давно к нему в глубине сердца питала. Наконец она сказала:

— Не печалься, любезный дядюшка! Все рано или поздно должны умереть. Счастлив тот, кто, подобно тебе,

может пожертвовать жизнью для спасения других. Я бы охотно умерла за тебя, но смерть твоя, к несчастью, неизбежна. Покорись судьбе своей!

— Я не боюсь смерти. Желаю, чтоб и другие могли ее встретить так же спокойно, как я встречаю. Дай Бог, чтобы кровь моя успокоила мятежников и спасла отечество от бедствий.

В дворцовой церкви Спаса Нерукотворного собралось множество стрельцов, согласившихся, по просьбе Нарышкина, чтобы он перед смертью исповедался и причастился. Нарышкин, царица Наталья Кирилловна и царевна Софья, в сопровождении всех бывших во дворце бояр, вошли в храм. После исповеди началась обедня. Каждая оканчивавшаяся молитва напоминала царице, что час смерти любимого ее брата приближается.

Наконец служба кончилась. Боярин Яков Никитич Одоевский вошел торопливо в церковь.

— Государыня,— сказал он, подойдя к царице,— стрельцы, стоящие на площади, сердятся, что заставляют их ждать так долго, и грозят всех изрубить. Нельзя ли, Иван Кириллович, выйти к ним скорее? — обратился он к Нарышкину.

Почти без чувств упала царица в объятия брата. Бояре плакали. Стрельцы изъявляли нетерпение.

Софья, смущенная раздирающим сердце зрелищем, отвернулась, подошла к иконостасу и, взяв с налоя образ Богоматери, подала царице.

— Вручи эту икону несчастному страдальцу, при виде ее, может быть, сердца стрельцов смягчатся.

Царица подала икону брату. Он с благоговением взял ее и спокойно пошел к дверям золотой решетки, сопровождаемый с одной стороны рыдающею сестрою, а с другой — царевною Софьей.

Едва отворились двери решетки, раздался неистовый крик:

— Хватай, тащи его!

Окружавшие дворец стрельцы, увидев Нарышкина, влекомого толпою товарищей их на площадь, наполнили воздух радостными восклицаниями. Теснясь вокруг своей жертвы и осыпая страдальца ругательствами, злодеи провели его через весь Кремль к Константиновскому застенку. Там за деревянным запачканным столом, на котором лежало несколько бумажных свитков и стояла деревянная кружка с чернилами, сидел под открытым небом крестный сын боярина Милославского, подьячий Лысков.

— Добро пожаловать! — воскликнул он, увидев Нарышкина.— Сестрица твоя хотела было меня сжить со света, а теперь я буду допрашивать ее братца. Эй, десятник! Подведи-ка боярина поближе к столу. Тише, тише, господа!

— Начинай же допрос! — сказал стоявший подле Лыскова сотник.

— Не в свое дело не суйся, господин сотник! Ты приказного порядка не смыслишь. Лучше поди-ка посмотри: готово ли все для пытки?

— Давно готово!

— Ну, Иван Кириллович, примемся за дело! — продолжал Лысков, развертывая один из лежавших на столе свитков.

— К чему меня допрашивать? — сказал Нарышкин.— Я не совершал никакого преступления! Не теряйте времени и убейте меня. За кровь мою дадите ответ Богу.

— Все это хорошо! А допрос-то надобно докончить. Тебя никто убивать не хочет. Оправдаешься — ступай на все четыре стороны, не оправдаешься — по закону казнят тебя. Плакаться не на кого. Закон для всех писан.

— Для всех! Вишь, что выдумал! — шепнул один из стоявших за стулом Лыскова стрельцов своему соседу.— По уложению надо было бы у самого нос отрезать, а нос-то у него целехонек. Вот те и закон!

— Замышлял ли ты извести царевича Ивана Алексеевича? — спросил Лысков.— Говори же, Иван Кириллович!.. Эй вы! В пытку его!

После жестоких пыток, которые не заставили Нарышкина признаться в преступлении, выдуманном его врагами, Лысков вслел снова подвести страдальца к столу.

— Упрям же ты, Иван Кириллович! Однако я не хочу тебя напрасно мучить, запишу, что ты признался. Согласен?

Нарышкин не отвечал ни слова.

— Молчишь — стало быть, соглашаешься. Дело доброе. Запишем!.. Надевал ли ты на себя царскую порфиру?.. Также молчишь? И это запишем.

Задав еще вопросы и не получив ни на один ответа, Лысков записал, что Нарышкин во всем признался. Развернув потом другой свиток, Сидор Терентьевич громко прочитал следующее: «Уложения главы II, в статье 2-й сказано, что буде кто захочет Московским Государством завладеть и Государем быть и про тое его измену сыщется до пряма, и такова изменника потому же казнити смертию».

— Итак, по оной статье,— сказал Лысков с расстанов-

кой, записывая произносимое,— боярина Ивана Нарышкина, признавшегося в измене, казнити смертию. Ну, господа, подписывайте приговор — и дело в шляпе. Господин сотник, не угодно ли руку приложить? Вот перо. Еще кому угодно?

— Подпишись за всех разом! — сказал десятник.

— Пожалуй! Надобно будет написать: за неумением грамоте.

Положив перо на стол и свернув свиток, Лысков подал его важно сотнику.

— Вот и приговор! Теперь можно его исполнить!

— Ладно,— сказал сотник, разорвав на клочки поданную ему бумагу.

— Что ты, что ты, отец мой! В уме ли ты? Да знаешь ли, что велено делать с тем, кто изорвет приговор?

— Не знаю, да и знать не хочу! Эй, ребята! Ведите боярина на Красную площадь. Ба, это еще кого сюда тащут? Что за нищий?

— Не нищий,— сказал пришедший с отрядом десятник,— а еретик и чернокнижник Гаден. Ишь, какое лохмотье на себя надел. Мы насилу его узнали!

— А, милости просим! — воскликнул сотник.— Не принес ли он такого же яблочка, каким уморил царя Федора Алексеевича?

— Надобно его допросить,— сказал Лысков.

— Вот еще! С этим молодцом мы и без допроса управимся! — возразил сотник.

Приведя Нарышкина и Гадена на место казни, стрельцы подняли их на копья и, сбросив на землю, изрубили.

В это время прибежал престарелый отец Нарышкина, Кирилл Полуектович, оставленный тихонько сыном в покоях царевны Марфы Алексеевны во время сна. Увидев голову сына, поднятую на пике, он воздел руки к небу и в изнеможении упал на землю.

— А, и этот старый медведь вылез из берлоги! — сказал Лысков.— Поднимите его! — закричал он стрельцам.

— Не хватить ли его лучше по затылку вот этим? — спросил стрелец, поднимая секиру.— Что старика долго мучить!

— Нет, нет, не велено! — сказал Лысков.— Отнесите его ко мне на двор: там готова для него телега. Приказано отправить его в Кириллов монастырь и постричь в чернецы. Пусть там спасается!

— Сегодня напишут указ о вступлении на престол Ивана Алексеевича.

— Вот что! А царя Петра Алексеевича в ссылку, что ли, пошлют? Ты мне, помнится, тайком сказывал, что царевна Софья думала прежде от него избавиться, знать, передумала?

— Да. Можно обойтись и без этого.

— Стало быть, Петр Алексеевич останется царем. Да как же это будет, Сидор Терентьич, кто же из двух будет царством править? Ведь надо бы об этом подумать.

— Не беспокойся! Об этом думали головы поумнее нас с тобой.

— Все так. Однако если Петр Алексеевич останется царем, то царица Наталья Кирилловна, пожалуй, захочет по-прежнему править царством, пока сын мал. А тогда худо дело! Как тут быть?

— А вот увидим: сегодня в Думе все это решат.

— Нечего сказать, боярин Иван Михайлович сыграл знатную шутку. Помощники-то его все награждены?

— Разумеется. Один Сунбулов недоволен: он ждал, что его пожалуют боярином, а его произвели в думные дворяне. Взбесился наш молодец и ушел в Чудов монастырь, хочет с горя постричься в монахи.

— Знать, его за живое задело.

— Теперь нам знатное будет житье. Крестный батюшка будет всеми делами ворочать по-своему.

— Ну а тебе какая награда, Сидор Терентьич?

— Меня крестный батюшка обещал посадить дьяком в Судный приказ. Уж то-то мне будет раздолье!.. Скажи лучше, как твоя нога?

— Заживает помаленьку. Поймать бы разбойника, который меня ранил: я бы его своими руками разорвал!

— А знаешь, кто тебя ранил? Стрелецкий пятисотенный Бурмистров. Крестный батюшка мне сказывал. Он приказал боярину князю Хованскому везде искать его.

— Рублевую свечу бы поставил, кабы поймали мошенника! Ах да, совсем забыл. Не напомнишь ли ты боярину, как он из Думы приедет, о старухе, что у нас в подвале сидит: что с ней делать?

— Что за старуха?

— Попадья Смирнова. По приказанию боярина вчера привели ее к нам из Земского приказа. Ее подняли на улице в тот день, как мне ногу подрубили. И с тех пор все держали на Тюремном дворе по приказу Ивана Михайловича.

— А, вспомнил. Выпытал крестный батюшка, где ее

— Сегодня напишут указ о вступлении на престол Ивана Алексеевича.

— Вот что! А царя Петра Алексеевича в ссылку, что ли, пошлют? Ты мне, помнится, тайком сказывал, что царевна Софья думала прежде от него избавиться, знать, передумала?

— Да. Можно обойтись и без этого.

— Стало быть, Петр Алексеевич останется царем. Да как же это будет, Сидор Терентьич, кто же из двух будет царством править? Ведь надо бы об этом подумать.

— Не беспокойся! Об этом думали головы поумнее нас с тобой.

— Все так. Однако если Петр Алексеевич останется царем, то царица Наталья Кирилловна, пожалуй, захочет по-прежнему править царством, пока сын мал. А тогда худо дело! Как тут быть?

— А вот увидим: сегодня в Думе все это решат.

— Нечего сказать, боярин Иван Михайлович сыграл знатную шутку. Помощники-то его все награждены?

— Разумеется. Один Сунбулов недоволен: он ждал, что его пожалуют боярином, а его произвели в думные дворяне. Взбесился наш молодец и ушел в Чудов монастырь, хочет с горя постричься в монахи.

— Знать, его за живое задело.

— Теперь нам знатное будет житье. Крестный батюшка будет всеми делами ворочать по-своему.

— Ну а тебе какая награда, Сидор Терентьич?

— Меня крестный батюшка обещал посадить дьяком в Судный приказ. Уж то-то мне будет раздолье!.. Скажи лучше, как твоя нога?

— Заживает помаленьку. Поймать бы разбойника, который меня ранил: я бы его своими руками разорвал!

— А знаешь, кто тебя ранил? Стрелецкий пятисотенный Бурмистров. Крестный батюшка мне сказывал. Он приказал боярину князю Хованскому везде искать его.

— Рублевую свечу бы поставил, кабы поймали мошенника! Ах да, совсем забыл. Не напомнишь ли ты боярину, как он из Думы приедет, о старухе, что у нас в подвале сидит: что с ней делать?

— Что за старуха?

— Попадья Смирнова. По приказанию боярина вчера привели ее к нам из Земского приказа. Ее подняли на улице в тот день, как мне ногу подрубили. И с тех пор все держали на Тюремном дворе по приказу Ивана Михайловича.

— А, вспомнил. Выпытал крестный батюшка, где ее

дочка?

— Спрашивал, грозился в пытку отдать. А она — одно: хоть зарежь, не знаю.

Со двора донесся звук подъезжающей кареты.

— Боярин приехал! — воскликнул Мироныч, поднявшись со скамейки.— Пойду к себе.

Дворецкий ушел, а Лысков выбежал на крыльцо встречать Милославского. Он поклонился ему и проводил в горницу.

— Ну, Сидор, дело кончено! — сказал Милославский, сняв шапку и садясь к столу.— Вот указ, который сегодня послали из разряда во все приказы и ко всем иногородным воеводам.

— Нельзя ли прочитать, батюшка?

— После обеда прочитаешь. Впрочем, ладно, покуда на стол не подали, расскажу тебе о нем. Указ славно написан: ни слова не сказано о прежнем решении Думы, чтобы быть избранию на царство общим согласием людей всех чинов московского государства; не упомянуто ничего об избрании; сказано только, что Иван Алексеевич уступил престол брату и что Петр Алексеевич, по челобитью патриарха с собором, Думы и народа, принял царский венец. О присяге стрельцов умолчано. Далее написано, что сегодня, 26 мая, патриарх с духовенством, Дума и народ били челом царю Петру, «что царевич Иван Алексеевич ему большой брат, а царем быть не изволил, и в том чинится Российского царства в народе ныне распря, и у них, царя и царевича, просят милости, чтоб они изволили для всенародного умирения на прародительском престоле учиниться царями, и скиптр и державу восприят и самодержавствовать обще». А далее сказано, что так как великие государи в юных летах, то править будет сестра их, Софья Алексеевна, и в конце прибавлено, чтобы в указах с именами царей писать имя и царевны.

— Пирог и щи давно уже поданы,— сказал вошедший слуга.

— Пойдем, Сидор, обедать. Ты, я думаю, не меньше моего есть хочешь.

На столе, не покрытом скатертью, стоял пирог на оловянном блюде и щи в медной вылуженной миске. Для боярина подали серебряную ложку, а для Лыскова деревянную. Разрезав пирог, Милославский взял в руки кусок и, пригласив Лыскова последовать его примеру, начал есть

с большим аппетитом. Когда с пирогом было покончено, слуги подали из пшеничной муки каравай. Взяв по куску каравая, Милославский и Лысков придвинули к себе миску и начали хлебать щи прямо из нее. Затем подали вареную в уксусе баранью голову, жареную курицу, приправленную луком, чесноком и перцем, и, наконец, каравай с медом. Все это запивалось пивом, крепким медом и французским вином. Встав из-за стола, боярин и крестный сын его, обратясь к висевшим в углу образам, так же, как и перед обедом, помолились, обтерли рукою усы и бороду и поцеловались. Потом вышли в сад и легли под тенью огромной липы на приготовленное для них сено, покрытое простыней.

— Ты не узнал еще, батюшка, где дочь старухи Смирновой, твоя беглая холопка? — спросил Лысков.

— Не узнал еще. Я велел Хованскому поймать Бурмистрова: от него выпытаем. Сегодня вечером придут ко мне десятка два стрельцов. Походи ты с ними, Сидор, по Москве да поищи беглянку. Авось попадется.

— Конечно, попадется.

— Объяви, что тому, кто ее найдет, дам я два десятка рубликов, да и впредь не оставлю своими милостями... Ну, хватит разговаривать: спать хочется. Не вели меня будить никому, Сидор. Ты-то соснешь?

— Сосну часок-другой. Только вот что, батюшка, стрельцы, как узнал я, изорвали дела во многих приказах. В Холопьем не оставили почти ни одного клочка бумаги. Можно написать новую кабалу на дочку Смирновой и сказать, что она принадлежит тебе по старинному и полному холопству. Тогда ты можешь все с нею делать, что душе угодно.

— Это дело,— сонно ответил Милославский и захрапел. И Лысков вскоре последовал его примеру.

V

Купец Лаптев с женой Варварой Ивановной возвращался с обедни домой.

— Что это за указ сегодня в церкви читали? — спросила Варвара Ивановна.

— Неужто ты не поняла? Царевич Иван Алексеевич вступил на престол вместе с братцем, а Софья Алексеевна будет делами править.

— Как? А царица Наталья-то Кирилловна?

— Ее от дел прочь.

— Здравствуй, Андрей Матвеевич,— сказал Бурмистров, идя ему навстречу.

— А! Василий Петрович! Господь Бог и тебя помиловал!

Со слезами на глазах от радости, Лаптев бросился обнимать Бурмистрова.

— Милости просим ко мне, хлеба-соли откушать,— сказал Лаптев.

— У меня к тебе дело, Андрей Матвеевич. Где Наталья Петровна?

— Ушла с братцем своим к Николе в Драчах. Жаль ее, голубушку, как свечка, тает с тоски по своей матери. До сих пор о ней ни слуху ни духу.

— Успокой Наталью Петровну: скажи ей, что она скоро с нею увидится.

— Как, Василий Петрович? Да где же она?

— В руках боярина Милославского,— шепнул на ухо Бурмистров Лаптеву.— Не говори Варваре Ивановне. Я боюсь, она проговорится об этом Наталье Петровне.

— Господи Боже мой! — сказал шепотом Лаптев.

Варвара Ивановна, хотя и шла впереди своего мужа и Бурмистрова, заметила, что они шепчутся, и очень заинтересовалась.

— По приказу Милославского,— шепнул Бурмистров,— объезжие с решеточными и бездельник Лысков со стрельцами третьего дня и вчера искали по всему городу Наталью Петровну. Верно, и сегодня искать будут.

— Ах батюшки! Как же быть?

— Надобно Наталью Петровну уговорить, чтобы она сегодня же поехала к моей тетке, в Ласточкино Гнездо. Это небольшая деревня в стороне от троицкой дороги. Я уже ее уведомил об этом, там всего семь дворов. Крестьяне никуда не ездят, да и в поместье никто не приезжает, кроме моего слуги Гришки, и то раза два в год. Кому придет в голову отыскивать там Наталью Петровну? А ей можно сказать, что она непременно увидится там со своей матушкою, и скоро. Борисов взялся бедную старушку выручить из рук Милославского. Мы с ним, кажется, придумали, как это сделать.

— Ладно, ладно, Василий Петрович. Ты человек разумный. Ты все устроишь, да и меня из беды выпутаешь.

— А тебе, Андрей Матвеевич, надобно будет сегодня подать челобитную в Земский приказ, что приехавшая к тебе из Ярославля крестница... как, бишь, ты назвал Наталью Петровну?

— Ольга Васильевна Иванова.

— Да, Ольга Васильевна Иванова двадцать третьего мая, когда стрельцы в последний раз приходили в Кремль, сидела на скамье за воротами и пропала без вести.

— Ладно, Василий Петрович, ладно! Пусть Земский приказ ее ищет. А чтоб усерднее искали, поклонюсь я дьяку приказа дюжиною мешков муки да бочонком вишневки. Ведь нельзя без этого.

— Полно, Андрей Матвеевич! К чему тебе добро свое терять понапрасну.

— Нельзя, отец мой, я знаю приказных. Подай челобитную хоть о том, чтоб тебя кнутом высекли, да не подари: не высекут!

Бурмистров улыбнулся.

— Ну, прощай, Андрей Матвеевич! — сказал он.

— Да куда же ты? Неужто не отобедаешь с нами?

— Нельзя, Андрей Матвеевич! Борисов меня дожидается. Вечером, я думаю, забегу к тебе на минуту.

Поклонясь Лаптеву и жене его, Бурмистров ушел.

— О чем вы это шептались? — спросила Варвара Ивановна.

— Не твое, жена, дело! — ответил Лаптев.

— Что за дело такое? Уж и жене сказать нельзя! Господи Боже мой! Двадцать три года прожили вместе, всегда были у нас совет да любовь, а теперь, на старости лет, вздумал от меня таиться. Уж не шашни ли какие затеял?

— Полно вздор-то молоть! Шашни! С ума, что ли, я сошел!

— Почем знать. Бес и горами качает!

— Ах ты дура, дура! Да что с тобой толковать! Не скажу, да и только!

— Не скажешь? Да я тебе покою не дам! Коли ты стал от меня таиться, так ты мне не муж, а я тебе не жена. Сегодня же со двора съеду!

— Ничего, не съедешь!

В молчании подошли они к дому. Надо заметить, что Лаптев, будучи от природы робкого характера, всегда рано или поздно уступал своей жене.

На столе стояли уже миска со щами и блюдо с пирогом, когда Лаптевы вошли в комнату.

— Дай-ка, жена, вишневки, да сядем за стол,— сказал Лаптев.

Варвара Ивановна не отвечала и, сидя на скамье у окна, смотрела на проходящих по улице.

— Аль ты оглохла? Давай, говорят тебе, вишневки!

Варвара Ивановна встала, обратясь к образам, помолилась и, сев в молчании за стол, разрезала пирог. Муж также, помолясь, сел к столу. Взяв ложку и кусок хлеба, Варвара Ивановна начала хлебать щи, не обращая никакого внимания на мужа.

— Что же, вишневка будет ли сегодня, аль нет? — спросил гневно Лаптев.— Давай ключ от погреба. Если тебе лень, так я сам схожу.

— Нет у меня ключа! Ты не сказываешь мне, про что вы шептались, а я не скажу, где ключ.

— Как, да разве я не хозяин в доме? Сейчас же принеси фляжку!

— Не принесу!

— Принеси, говорят! Худо будет! — закричал Лаптев, вскочив со скамьи.

Варвара Ивановна спокойно подвинула к себе блюдо с пирогом и, выбрав большой кусок, принялась есть. Лаптев прошел несколько раз по горнице и опять сел к столу.

— Варвара Ивановна, да принеси вишневки! Ты ведь знаешь, что я, не выпив чарки, обедать не могу.

— А мне что за дело! Не обедай!

Лаптев схватил в досаде кусок пирога и начал его есть. Можно было, глядя на него, подумать, что он каждым куском давится или принимает отвратительное лекарство.

— Ну, что тебе, жена, за охота знать, про что мы шептались? Плевое дело, да и до тебя совсем не касается.

— Коли плевое дело, так скажи, какое.

— Я боюсь, ты проболтаешься Наталье Петровне.

— Никому не скажу. Побожусь, если хочешь.

— Нет, не божись! Писание не велит божиться. Ну, так уж и быть. Давай вишневки! Расскажу тебе, только смотри не проговорись.

— Прежде скажи, а там и вишневки дам.

— Тьфу ты пропасть! Ну, все дело в том, что матушка Натальи Петровны попалась в лапы боярину Милославскому.

— Милославскому! Ах, батюшки!
— Василий Петрович хочет ее выручить!
— Помоги ему Господи! Ну а еще что?
— Больше ничего!
— Да о чем же вы так долго шептались?
— Экая неотвязная!

Лаптев рассказал жене все подробности разговора с Бурмистровым и заключил требованием, чтобы она не говорила ни полслова Наталье. Варвара Ивановна обещала крепко хранить тайну и пошла за вишневкой.

Лаптев, которому забота не дала уснуть после обеда, немедленно пошел к дьяку Земского приказа. Вскоре после его ухода, возвратились домой Наталья с братом.

— Садитесь-ка обедать, мои голубчики. Чай, проголодались? — обрадовалась Варвара Ивановна.

Брат Натальи тотчас после обеда ушел. Он каждое воскресенье бродил по Москве вдоль и поперек, в надежде случайно узнать что-нибудь о судьбе матери. Варвара Ивановна и Наталья сели у окна. Наталья была печальна.

Варвара Ивановна все думала, чем бы ей утешить Наталью. Не сказать ли ей, что матушка ее жива и здорова? Что за беда? Хоть муж и запретил говорить, да мало ли что он без толку приказывает.

Эти размышления мучили ее до самого вечера. Она не могла даже уснуть после обеда по обыкновению и все сидела у окна с Натальей, которая принялась вышивать на пяльцах.

— Эх, ладно, скажу я тебе добрую весточку,— сказала наконец Лаптева.— Я давно бы тебя порадовала, да муж не велел.

— Что такое, Варвара Ивановна? Уж не узнали ли что-нибудь о матушке?

— Матушка твоя жива и здорова.

— Боже мой! Не обманываешь ли ты меня, Варвара Ивановна? Где же она? Скажи, ради Бога!

Наталья, вскочив со своего места, бросилась целовать руки Лаптевой.

— Где она, нельзя еще тебе сказать, моя ласточка. Потерпи маленько. Ты скоро увидишься с родительницей. Не сегодня, так завтра.

— Почему же ты не хочешь сказать, где она? — сказала печальным голосом Наталья.— Может быть, она в руках недобрых людей? Скажи, ради Бога!

— Нет, нет, что ты! Она в руках у доброго человека.

— Отчего же ты не хочешь назвать его? Ах, нет! Я поняла: она в руках Милославского!

— Милославского? Что ты! Да кто это тебе сказал?

— Знаю, знаю! Она у него! Наверно, он ее до тех пор держать будет, пока меня не сыщут. Братец узнал от своего товарища, которого встретил в саду, что меня по приказанию Милославского искали по всему городу. Прощай, Варвара Ивановна!

— Куда, куда ты это? Господь с тобой,— закричала испуганная Лаптева, бросаясь за Натальей в погоню. Выбежав за ворота, Варвара Ивановна посмотрела во все стороны и, не видя Натальи, пустилась бегом к ближнему переулку, думая, что увидит ее там. Но Натальи там не было. Не имея сил бежать дальше, она, едва переводя дух, побрела к дому. Недоумение, раскаяние, сожаление, страх — вот что она теперь испытывала. «Что я скажу,— думала она,— мужу, когда он возвратится домой и спросит: где Наталья? Дернул же лукавый меня за язык!»

Едва она зашла в дом и присела на скамью, как раздался стук у калитки. «Муж!» — подумала Варвара Ивановна, вскочив со скамьи в испуге.

Дверь отворилась, и вошел Бурмистров.

— Дома Андрей Матвеевич? — спросил он.

— Нет еще.

— Что с тобой, Варвара Ивановна? Ты побледнела и вся дрожишь.

— Ничего, Василий Петрович. Так, что-то зябну!

— А где Наталья Петровна?

— Она все еще гуляет с братцем.

— До сих пор гуляет? Да как же это, Варвара Ивановна? Я братца ее встретил одного на улице, вскоре после обеда. Он сказал мне, что Наталья Петровна осталась с тобою.

— Ох, Василий Петрович! Если бы ты знал, как мне тяжко и горько! Ума не приложу, что мне делать окаянной. Лукавый меня попутал!

— Да что такое?

— Эх, батюшка. Пристала я давеча к мужу: о чем вы с ним шептались, когда мы шли с обедни? Он крепился, крепился да наконец мне все и рассказал, не велел только говорить Наталье Петровне.

— А ты, верно, не утерпела, Варвара Ивановна? Так?

— Согрешила, грешная! Хотела было ее утешить и сказала только, что матушка ее жива и здорова, а она и привязалась ко мне. Я ей больше ничего не открыла. Пусть провалюсь сквозь землю, если лгу! Она сама догадалась. Побледнела, задрожала, да и кинулась вон из горницы. Я за ней. Куда там! И след простыл! Выручи меня из беды, Василий Петрович, помоги как-нибудь, отец родной!

— Она, верно, пошла к Милославскому! Дай Бог, чтоб я успел остановить ее.

Бурмистров сбежал с лестницы и, вскочив на свою лошадь, пустился во весь опор по берегу Яузы к мосту. Он вскоре скрылся из глаз Варвары Ивановны, смотревшей из окна ему вслед.

Опять раздался стук у калитки, и в горницу вошел брат Натальи. Бедная Лаптева вынуждена была и ему покаяться в своем грехе. И тот бросился опрометью в погоню за сестрою.

А тут еще стучат в ворота. «Ну, это муж, сердце чувствует!» — шепнула Варвара Ивановна, вскочив со скамьи и отирая платком пот с лица.

— Куда ушел хозяин? — спросил решеточный приказчик, войдя в горницу.— У ворот сказали мне, что его дома нет.

— Не приходил еще домой! — ответила Варвара Ивановна.

— Да где ж это он до сих пор шатается? Уж солнышко закатилось, пора бы, кажется, и домой прийти. А ты хозяйка, что ли?

— Хозяйка, батюшка.

— Кто еще у вас в доме живет?

— Приказчик Ванька Кубышкин да работница Лукерья.

— А еще кто? Чай, дети есть?

— Были мальчик и девочка, да от родимца еще маленькие скончались.

— А нет ли еще кого в доме?

— Жила у нас крестница моего сожителя, Ольга Васильевна Иванова.

— Где же она?

— Пропала, батюшка.

— Пропала? Как так? Давно ли?

— В стрелецкий бунт, отец мой.

— В бунт? Да кто тебе сказал, что был бунт?

— Слухом земля полнится! Да вот и соседа нашего стрельцы ограбили.

— Врешь ты! Не смей этого болтать! Бунта никакого не было. Не только говорить, и думать об этом не велено, а не то в Тайном приказе язык отрежут.

— Виновата, батюшка! Мне и невдомек, что бунта не было. Мое дело женское.

— То-то, женское...

— А подана ли челобитная о пропаже?

— Не знаю, отец мой. Об этом у мужа спроси.

— Без тебя знаем, у кого спросить! А какова приметами крестница?

— Невдомек, батюшка. Волосы, кажись, рыжеватые, глаза карие, рот и нос как водится.

— Ну, ну, хорошо! Засвети-ка фонарь да ступай за мной.

— Куда? Зачем, отец мой?

— А тебе что за дело? Скорей поворачивайся!

Варвара Ивановна, дрожа как в лихорадке, пошла в находившуюся в конце двора поварню, достала огня и засветила фонарь. Лукерья, спавшая на полу, приподняла голову, поправила впросонках лежавшее у нее в головах толстое полено и снова заснула.

— Где лестница на чердак? — спросил приказчик.— Что глаза-то на меня уставила? Показывай лестницу!

Лаптева, едва передвигая ноги от ужаса, вошла со двора в сени и отперла дверь на чердак. Проходя по двору, приказчик закричал:

— Эй, вы! Не зевать! Двое встаньте у ворот. Никого не выпускайте и не впускайте!

Лаптева ни жива ни мертва взошла на чердак. Приказчик, осмотрев все углы, сказал:

— Веди теперь на сеновал. Да нет ли еще у тебя горницы какой или чулана? Во всех ли я был?

— Во всех, батюшка!

Осмотрев сеновал, конюшню, сарай, погреб и кладовую, приказчик возвратился с Варварой Ивановной в ее светлицу. В погребе взял он мимоходом фляжку.

— Ну, прощай, хозяйка! За твое здоровье мы выпьем. Что в этой фляжке?

— Вишневка, отец мой!

— Ладно! Не поминай нас лихом! Да смотри впредь не болтай пустого про бунт. Бунта не было!

Приказчик ушел. Варвара Ивановна, проводив его, перекрестилась. Не успела она сесть на скамью и поставить фонарь на стол, как на лестнице послышался шум шагов. Вошел Лаптев.

— Что ты, жена? — воскликнул он, взглянув на Варвару Ивановну.— Здорова ли? А фонарь на столе зачем?

— Сейчас ушел отсюда решеточный. Напугал меня до смерти! Весь дом обыскивал.

— Как так?

Выслушав подробное донесение, Лаптев похвалил жену. Она, между прочим, сказала ему, что скрыла Наталью на сеновале.

— Что же ты за ней не сходишь? Сходи за ней скорее!

Поправив тускло горевшую лампаду и взяв фонарь, Варвара Ивановна отправилась на сеновал. Возвратясь оттуда через некоторое время, она сказал:

— Наталья Петровна на сене уснула. Будить жалко.

— Вот вздор какой! Неужто ее на всю ночь оставить на сеновале?

— А что, погода теплая. Пусть поспит немножко.

— Ну, ладно, пусть. Вот, подумаешь, спокойная-то совесть. Беда над головой у бедняжки, а она спит себе, словно младенец!

При словах «спокойная совесть» Лаптева тяжело вздохнула.

— А знаешь,— продолжил Лаптев,— матушку-то Натальи Петровны выручили!

— Как? Кто выручил?

— Наш кум, Иван Борисыч, по просьбе Василия Петровича. Василий Петрович узнал, что сегодня Милославский, отобедав и отдохнув, поехал на весь вечер в гости к приятелю своему, князю Хованскому, а Лысков с дюжиной стрельцов пошел искать по Москве Наталью Петровну. Василий Петрович позвал к себе тогда Борисова да человек десять стрельцов Сухаревского полка и послал их в дом Милославского. За старшего в доме оставался дворецкий боярина, Мироныч. Когда стемнело, Борисов стук в ворота. «Кто там?» — закричал холоп. «Стрельцы Титова полка, от князя Хованского». Это, слышь ты, любимый полк боярина, потому что в нем множество раскольников, а он сам такой старовер, что сохрани Господи! Ворота отворили, и Борисов со стрельцами вошел во двор, вызвал дворецкого и сказал ему, что его де прислал боярин Милославский с прика-

зом: тотчас привести старуху Смирнову в дом князя. «Да как же это?» — молвил дворецкий.— «Боярин накрепко наказывал без него старуху не выпускать из дому». «Я этого ничего не знаю,— сказал Борисов.— Что нам приказано, то мы и делаем. Пожалуй, мы воротимся и скажем боярину, что ты боишься отпустить без него старуху». Дворецкий призадумался. «Постой, постой,— молвил он,— я сам приведу ее к боярину». «Как хочешь!» — ответил Борисов и пошел со двора. Перейдя мост, он спрятался со стрельцами на дровяном дворе и сквозь щелку в заборе стал наблюдать. Глядь: дворецкий идет на костылях впереди со старухой, а за ними четыре боярских холопа с дубинами. Лишь только поравнялись они с забором, Борисов и кинулся на них со стрельцами. Всех втащили на дровяной двор, связали приставили ружья ко лбу. «Если не перестанете кричать, тут вам и смерть!» Делать было нечего, замолчали. На крик их прибежал мужик, который сторожил двор. И мужика пугнули да велели молчать. Борисов приказал стрельцам продержать дворецкого с холопами и мужика на дворе до ночи, а сам увел матушку Натальи Петровны на постоялый двор. Там уже готова была повозка. Пришел Василий Петрович и растолковал все дело старухе. Она и поехала с Борисовым в Ласточкино Гнездо. Василий Петрович сам ее проводил до заставы и сказал на прощание, что через день и Наталья Петровна к ней приедет.

— Слава Богу! Спасибо Василию Петровичу!

— Точно, спасибо! Прежде дочь спас, а теперь и мать выручил, да и меня из беды выпутал. Я уже подал челобитную в Земский приказ. Пусть себе ищут мою крестницу! А теперь вот что: завтра утром приедет за Натальей Петровной ее братец. Он отпросился на неделю в отпуск из академии для свидания с родительницею, которая будто бы умирает. Наталье Петровне надобно было бы сегодня из Москвы уехать, да не успели всего приготовить. Сходи-ка за ней теперь да разбуди. Пусть собирается.

Варвара Ивановна, вздохнув, взяла фонарь и вышла из комнаты. В ожидании ее возвращения Лаптев нетерпеливо зашагал по комнате.

— Все пропало! Она уже в руках злодея Милославского! — воскликнул брат Натальи, внезапно войдя в комнату и бросив на пол свою суконную шапку.

— Что с тобой?

— Я бежал за нею, что было силы, как Гиппомен или Меланий за Аталантой, но не мог догнать.

— Господи помилуй! Да про кого ты говоришь? Что за Маланья с талантом?

Объяснив Лаптеву сравнение свое, взятое из греческой мифологии, Андрей прибавл:

— Перебежав мост, увидел я вдали, что сестра подходит к дому Милославского. Сердце у меня замерло! Я не мог бежать далее. Она остановилась у ворот, перекрестилась и вошла. Бедная сестра! Бедная матушка!

Андрей не мог говорить более и заплакал.

Во время рассказа его сострадание и гнев попеременно наполняли душу Лаптева. Наконец он вскочил и, ударив по столу рукою, воскликнул:

— Ах она, окаянная! Наделала делов да еще и обманывать меня вздумала! Погоди ужо! Видно, не смеет сюда идти-то. Пускай же сидит всю ночь на сеновале! Пускай терзается.

Андрей, ничего не слыша от горя, сидел у окна и смотрел на улицу. Густые облака, покрывавшие небо, превратили майский вечер в осеннюю ночь. В душе Андрея было еще темнее, нежели на улице. Лаптев то вскакивал, то садился, то ходил, то опять садился и опять вставал. Наступила ночь, и крупные капли дождя застучали по стеклам.

Тем временем Бурмистров, поскакав во весь опор вслед за Натальей от дома Лаптева, вскоре въехал в многолюдные улицы и должен был пустить лошадь рысью. В одном переулке встретился он с Борисовым, который шел с матерью Натальи к постоялому двору. Узнав от него, что он выманил дворецкого из дома Милославского и велел его продержать до ночи на дровяном дворе, Василий поехал к дому боярина. Привязав у вереи свою лошадь и постучась в ворота, сказал он, что прислан от князя Хованского. Во всем доме Милославского один Лысков знал Бурмистрова в лицо, но Василию было известно, что он ушел со стрельцами отыскивать Наталью.

— Пришла сюда молодая девушка? — спросил он холопа, отворившего ему калитку.

— Беглая-то? Пришла недавно.

— Где же она?

— Спроси об этом у других холопов. Мое дело стоять у ворот.

Василий вошел в дом. В сенях остановил его слуга вопросом:

— Кого твоей милости надобно?

— Я прислан боярином Иваном Михайловичем. Он из дома князя Хованского велел сюда прийти какой-то девушке. Где она?

— Мы отвели ее в горницу Сидора Терентьевича, крестного сына боярина, заперли и послали Федьку-садовника сказать об этом Ивану Михайловичу.

— Хорошо! Отведи меня к ней.

— А зачем? Я твоей милости не знаю.

— Ты вздумал еще умничать? Делай, что велят! — закричал Бурмистров грозным голосом.

Слуга, оробев, повел Василия вверх по крутой лестнице к светлице, где жил Лысков. Сняв со стены висевший на гвозде ключ, он отпер дверь и вошел за Бурмистровым в горницу. Наталья сидела у окна. Бледное лицо ее выражало безнадежность и отчаяние. Увидев Василия, она вскочила и закричала:

— Ради Бога, скажи: где моя бедная матушка?

— Успеешь еще с нею увидеться! — отвечал Бурмистров сурово.— А теперь ступай за мной: боярин Иван Михайлович велел теперь же привести тебя к нему.

— Постой, постой,— сказал слуга.— Я отпустить ее не могу.

— Разве ты не слыхал, дурачина, что боярин приказал привести ее сейчас же к нему?

— Воля твоя, господин честной, а один я отпустить ее не могу. О! Кто-то идет по лестнице,— сказал слуга, пойдя к двери.— Никак Сидор Терентьич! Он и есть. Изволь его спросить.

Слуга, пропустив Лыскова в горницу, пошел вниз в сени.

Сидор Терентьевич остолбенел от удивления. Услышав от слуг, что Наталья заперта у него в комнате и что за нею прислал крестный отец его какого-то стрелецкого пятисотенного, он вовсе не ожидал увидеть Бурмистрова.

— Послушай, бездельник,— сказал ему Василий,— если ты пикнешь, я тебе снесу голову.

— Что это значит?.. Открытый разбой, что ли?

— Молчать, говорю я тебе! — сказал Василий, вынув саблю.

Лысков замолчал, дрожа от страха и злости. На храбрость холопов Милославского не мог он надеяться, да и знал, что Бурмистров всегда исполнял свои обещания.

— Проводи нас с Натальей Петровной за ворота. И не вздумай хитрить.

Вложив в ножны саблю и взяв Лыскова под руку, он пригласил Наталью идти впереди. Увидев толпу слуг на дворе, он начал дружески с Лысковым разговаривать:

— Приходи завтра ко мне обедать. Грешно забывать старых приятелей,— сказал он громко.— Не забудь, что жизнь твоя на волоске,— прибавил вполголоса.

Они вышли за ворота. Лысков по приказанию Бурмистрова отвязал от вереи лошадь Василия, и тот повел ее одною рукою за повода, держа другою Лыскова. Окруженные густою темнотою вечера, приблизились они к мосту. Бурмистров, отпустив руку Лыскова, вскочил на лошадь, посадил Наталью вместе с собою и полетел как стрела.

— Держи! — закричал во все горло Лысков.

Через несколько минут Бурмистров был уже у своего дома и приказал Гришке, переодевшись ямщиком, заложить повозку. Взяв с собою все свои деньги и небольшой чемодан с вещами, Василий поехал с Натальей к Лаптеву.

Андрей все еще сидел у окна, а Лаптев расхаживал большими шагами по горнице. Вдруг услышали они шум на лестнице, дверь отворилась, и вошли Наталья с Бурмистровым. Она бросилась на шею брату. Долго не могли они оба ни слова выговорить. Бурмистров смотрел на них с умилением. Лаптев плакал от радости как ребенок.

— Ну, Василий Петрович,— сказал он наконец, отирая рукавом слезы,— ты настоящий ангел-хранитель Натальи Петровны! Как это ты ее выручил?

— После, Андрей Матвеевич. Теперь надобно подумать о том, как бы скорее отправить Наталью Петровну с братцем в дорогу.

— Как, неужто теперь, ночью? Да и лошадей нигде не достанешь!

— Повозка уже у ворот! Нельзя терять ни минуты.

— Коли так, то я мигом.

— А где Варвара Ивановна?

— На сеновале. Ушла туда и не возвращается. Глаза показать стыдно.

— Пойдем к ней.

Все сошли вниз. Лаптев засветил свечу и повел всех к сеновалу. Дождь уже перестал, облака редели, и месяц с усеянного звездами небосклона светил гораздо яснее, нежели свеча Лаптева.

— Жена! — закричал он.

— Виновата, Андрей Матвеич, виновата! — раздался голос на сеновале.— Попутал меня лукавый!

— То-то, лукавый! Вперед слушайся мужа. Сойди скорее, Наталья Петровна уже здесь.

— Здесь?! Ах ты, моя жемчужина! Где она, мое ненаглядное солнышко?

Варвара Ивановна слезла по крутой лестнице с сеновала и бросилась обнимать Наталью. Через полчаса все вещи были уложены. Лаптев тихонько положил в чемодан кожаный кошелек с рублевиками. Потом все вошли в светлицу Варвары Ивановны и сели. Помолчав немного, они поднялись, помолились и начали прощаться. Бурмистров помог Наталье сесть в повозку. Брат сел возле нее, и повозка поехала.

— Дай Бог вам счастья и благополучия,— говорил Лаптев, глядя вслед отъезжающим.

— Дай тебе Господи жениха по сердцу,— повторяла плачущая Варвара Ивановна.— Не забудь нас, моя ласточка! Мы тебя никогда не забудем!

Бурмистров ехал верхом рядом с повозкой. Вскоре они приблизились к заставе. За двадцать серебряных копеек стоявший на часах сторож пропустил их за город без всяких расспросов. До восхода солнца ехали они без отдыха. Тогда, остановясь в каком-то селе, оглянулись они на Москву, но она уже исчезла в отдалении.

VI

Узнав на опыте, как опасно поверять тайну не только женщине, но даже и женатому мужчине, Бурмистров не сказал при прощании Лаптеву, что он решился тихонько уехать из Москвы, чтобы скрыться от преследований Милославского.

Путешественники наши, отдохнув в селе Погорелово, пустились далее и вскоре с большой троицкой дороги свернули к югу, на проселочную, проходившую сквозь густой лес. Гришка ехал шагом. Брат Натальи вылез из повозки и пошел возле ехавшего верхом Василия, начав с ним разговор о событиях в Москве.

— Я удивляюсь,— сказал Андрей,— как царевна Софья Алексеевна до сих пор не наказала Сухаревский полк за его верность царю Петру Алексеевичу.

— Она хочет уверить народ, что бунт не ее рук дело и что она приняла правление по просьбе патриарха и Думы для того только, чтобы положить конец смуте. Но я узнал, что Милославский предложил ей послать весь полк в какой-нибудь дальний город и что она на это согласилась.

— Так и тебе, Василий Петрович, надобно будет идти с полком?

— Нет. В первый день после бунта я подал челобитную об отставке. Вчера узнал я, что меня уже уволили и что дано тайное приказание Милославскому при первом удобном случае схватить меня и отправить на всю жизнь в Соловецкий монастырь.

— Слава Богу, что ты успел из Москвы уехать.

Ехавшая впереди повозка, миновав лес, остановилась.

— Андрей Петрович! — закричал Гришка, приподнявшись и оборотясь к брату Натальи.— Сестрица просит тебя, чтобы ты сел в повозку. Дорога стала получше, все идет полем, да и Ласточкино Гнездо уж видно.

Андрей сел к сестре. Гришка свистнул и пустил вскачь лошадей. Переехав вброд небольшую речку, путешественники встретили на берегу другую повозку. Она остановилась.

— Василий Петрович! — закричали оттуда, и из повозки выскочил Борисов. Василий остановил свою лошадь, и Гришка с большим трудом удержал разбежавшуюся тройку.

— Матушка Натальи Петровны благополучно доехала,— сказал Борисов.— А ты как сюда попал, Василий Петрович?

Василий рассказал ему о причинах своего поспешного выезда из Москвы и поручил продать все оставшиеся в доме его вещи и деньги взять себе.

— Нет, Василий Петрович, я все деньги, какие выручу, тебе перешлю или привезу сам.

— Разве ты не хочешь принять от меня последнего, может быть, в жизни подарка? Мы Бог знает когда еще с тобою увидимся!

— Что ты говоришь, Василий Петрович!

Бурмистров соскочил с лошади, подошел к Борисову и сказал ему вполголоса:

— Меня из полка уволили, и царевна Софья Алексеевна тайно велела Милославскому схватить меня и отвезти в Соловецкий монастырь. А по твоей челобитной, которую ты

вместе со мною подал об отставке, приказано тебе отказать. Сухаревский полк скоро пошлют в какой-нибудь дальний город. Чаще уведомляй меня о себе. Старайся при первом случае выйти в отставку и прямо приезжай ко мне. Теперь все в руках царевны Софьи Алексеевны, но авось придет время — и все переменится. Тогда опять начнем служить по-прежнему. Ну, прощай, Борисов! Не забывай меня.

— Прощай, Василий Петрович, прощай! Накажи меня Бог, если я тебя забуду...

Борисов не мог говорить более: слезы градом покатились по лицу его.

Они бросились друг другу в объятия и долго не могли расстаться. Наконец Борисов вскочил в повозку, взял вожжи и, переехав речку, поскакал по дороге к лесу. Въезжая в лес, он оглянулся и, увидев на берегу речки Василия, который все еще стоял и смотрел ему вслед, закричал издали:

— Прощай, второй отец мой!

Через полчаса путешественники въехали в Ласточкино Гнездо. На холмистом берегу небольшого озера, в которое впадала речка, стояли восемь крестьянских хижин. Одна из них, находившаяся на краю, отличалась от прочих величиною, надстроенною над нею светлицею, размалеванными ставнями и вычурною резьбою около окошек. Это был дом помещицы. Гришка остановил у ворот тяжело дышащих от усталости лошадей. На скамье перед домом сидела старуха в черном сарафане.

Наталья и Андрей выпрыгнули из повозки. Раздались восклицания: «Матушка! Дети!» — и старушка радостно прижала к себе дочь, потом сына. Когда услышала она, что освобождением своим и спасением дочери обязана Бурмистрову, то, бросясь к нему, начала обнимать его ноги. Василий поднял ее и повел под руку в дом своей тетки.

На дворе встретила их пожилая женщина в сарафане из голубой китайки и в шапочке из заячьего меха, белизна которой делала еще заметнее смуглый цвет ее лица, загоревшего на солнце. Это была Мавра Саввишна Брусницына, владетельница Ласточкина Гнезда.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — сказала она.— Здравствуй, любезный племянничек! Мы уж с тобой, кажись, лет пять али побольше не видались!

— Да, тетушка! — отвечал, здороваясь с нею, Бурмистров.

— Милости просим в горницу! Я ждала еще сегодня

утром дорогих гостей. Что так замешкались? Скоро уж солнышко закатится.

— Нельзя было раньше приехать, тетушка.

— А у меня и ужин готов, и баня топится с раннего утра.

Угостив приезжих ужином, который состоял из нескольких ломтей ржаного хлеба, щей и гречневой каши, помещица пригласила сначала Наталью, а потом племянника и Андрея отправиться в баню. Затем все собрались в верхней светлице.

— Что это, племянник, у вас в Москве делается? — спросила помещица.— Вчера посылала я в село Погорелово моего крестьянина, Ваньку Сидорова, за харчами. Ему порассказали там такое, что волосы у меня на голове стали дыбом.

Василий рассказал тетке о бывших в Москве происшествиях. Тетушка поохала и, видя, что гости притомились, отправила всех спать.

Отпуск Андрея быстро закончился, и он возвратился в Москву. Бурмистров заменил его при прогулках, которыми Наталья, страстная любительница сельской природы, не упускала каждый день наслаждаться. Василий не помнил времени лучше и счастливее. Чем ближе узнавал он Наталью, тем более усиливались в нем любовь к ней и уважение. И в сердце девушки давно таившаяся искра любви, зароненная сначала благодарностью к своему защитнику и избавителю, постепенно разгоралась.

Однажды, в прекрасный день июня, под вечер, Василий и Наталья, прогуливаясь по обыкновению, дошли по тропинке, извивавшейся по берегу озера, до покрытой кустарником довольно высокой горы. С немалым трудом взобравшись на вершину, сели они отдохнуть на траву, под тень молодого клена. Под ними раскинулось озеро; на противоположном берегу видно было Ласточкино Гнездо, окруженные плетнями огороды, нивы и покрытые стадами луга. Слева по обширному полю, которое примыкало к густому лесу, извивалась и впадала в озеро река, по берегам ее желтели вдали соломенные кровли нескольких деревушек. Справа мрачный бор, начинаясь от самого берега озера, простирался вдаль и постепенно расширялся.

Солнце скрылось в густых облаках. На юго-восточном небосклоне засиял месяц и, отразясь в озере, рассыпался серебряным дождем на водной поверхности. Из-за бора

медленно поднималась туча; изредка сверкала молния и раздавались протяжные удары отдаленного грома.

— Посмотри, Василий Петрович,— сказала Наталья,— как бледнеет месяц, когда сверкает молния!

— Что? — переспросил с улыбкой Бурмистров, выведенный словами Натальи из глубокой задумчивости.— Извини, я так задумался, что не расслышал тебя, милая Наталья.

Яркий румянец покрыл щеки девушки. Она потупила глаза и начала дышать так прерывисто, как будто сильно испугалась. Это удивило Бурмистрова; он не заметил, что назвал Наталью милой.

— Что с тобой, Наталья Петровна?

— Ничего... Мне показалось, что за этим деревом... Я испугалась молнии.

— Как! Ты мне говорила, что не боишься грозы.

— Это правда! Я не знаю, отчего я в этот раз так испугалась. Скоро пойдет дождь: не пора ли нам домой, Василий Петрович?

— Мы за полчаса успеем дойти до дому. Мы еще так мало гуляли. Отчего сегодня ты так домой торопишься? Матушка знает, что мы всегда долго гуляем и что тебе опасаться нечего, когда брат тебя провожает. Ты помнишь, как она, отпуская тебя в первый раз гулять со мною, назвала меня в шутку своим сыном и сказала: смотри же, береги сестрицу! Скажи, Наталья Петровна, что думает обо мне твоя матушка?

— К чему об этом спрашивать? Ты сам знаешь, что ты для нее сделал.

— И всякий сделал бы то же на моем месте. А ты, Наталья Петровна, что обо мне думаешь?

— Ах, какая молния!.. Право, нам пора домой...

Наталья хотела встать, но Василий взял ее за руку. Сердце бедной девушки забилось, как птичка, попавшаяся в силок; едва дыша, она не смела поднять глаз, потупленных в землю. Бурмистров почувствовал, как дрожала рука ее, и горячо выпалил:

— Матушка твоя шутя назвала меня своим сыном. Но если бы она сказала это не в шутку, то я был бы счастливейшим человеком в мире. От тебя зависит, милая Наталья, мое счастье. Скажи: любишь ли ты меня так же, как я тебя люблю? Согласишься ли идти к венцу со мною?.. Реши судьбу мою. Скажи: да или нет?

Наталья молчала. Лишь прерывистое дыхание и дрожащая рука показывали всю силу ее душевного волнения.

— Не стыдись меня, милая! Скажи мне то словами, что давно говорили мне твои прекрасные глаза. Неужели я обманывался?

— Я должна во всем повиноваться матушке,— сказала Наталья трепещущим голосом.— Если она велит мне...

— Нет, милая Наталья, я не сомневаюсь, что матушка твоя согласится на брак наш, но я тогда только буду счастлив, когда увижу, что ты меня любишь. Скажи: любишь или нет?..

Крупные слезы покатились по пылающим щекам девушки. Закрыв глаза одною рукою, тихонько подала она другую Василию и произнесла едва слышным голосом:

— Да, люблю.

В это время вспыхнула молния и грянул сильный гром; поднявшийся ветер закачал вершины деревьев, в чаще бора раздался ружейный выстрел, но счастливцы ничего не видели и не слышали.

Возвращаясь домой и горячо поведывая друг другу о своих чувствах, они и не приметили, как дошли до Ласточкина Гнезда, и огорчились, что дорога не продлилась еще на несколько верст. Найдя в светлице одну мать Натальи, Василий сел возле старушки и начал с нею разговор, заставивший Наталью выйти из светлицы в огород, который хозяйка называла садом.

В тот же вечер вдова Смирнова со слезами радости благословила образом Спасителя дочь свою и Василия.

С указательного пальчика Натальи переместилось золотое кольцо на мизинец Василия, а он за этот подарок отблагодарил невесту жемчужным ожерельем, которое досталось ему в наследство от матери.

Хозяйка, узнав о помолвке своего племянника, долго их поздравляла, потом побежала в чулан, принесла оттуда фляжку с настойкой и глиняный стакан. Заставила всех выпить и затянула веселую свадебную песню.

На другой день, когда Василий ушел гулять с невестою, тетка его, призвав всех своих крестьян, приказала перегородить досками нижнюю свою горницу и прорубить посередине дверь, которую она завесила простыней. Из полотна, выданного помещицей, жены и дочери крестьян сшили перину и подушки и набили их сеном.

— Ну,— сказала она, отпустив крестьян и крестьянок

и осматривая приготовленную ею горницу,— вот и спальня готова! То-то племянник подивится!

Бурмистров, возвратясь с гулянья, в самом деле удивился неожиданной перестройке дома и долго благодарил тетку. Наталья, услышав, что Мавра Саввишна называет новую комнату спальней Василия, покраснела и убежала в сад.

День свадьбы, назначенный на начало июля, приближался. Василий, оседлав лошадь, поехал в село Погорелово, где, по словам тетки, мог купить все, что нужно для свадьбы. Приехав в село, он прежде всего отыскал священника. Не объявив ему своего имени и сказав, что он желает по некоторым причинам приехать из Москвы в село венчаться со своею невестою, Бурмистров спросил: можно ли будет обвенчать его без лишних свидетелей?

— А почему твоя милость так таится? Согласны ли родители на ваш брак?

— У меня родители давно скончались, а у невесты жива одна мать, она приедет вместе с нами. Нельзя ли, батюшка, сделать так, чтобы, кроме нас, никого не было в церкви?

— Гм! Это трудно. Надобно по крайней мере, чтоб приехало с вами несколько свидетелей, а то этак, пожалуй, и на родной обвенчаешь. Старинный знакомец мой, покойный отец Петр Смирнов, имел так было раз большие хлопоты.

— А, так ты был знаком с ним, батюшка?

— Как же! Я и до сих пор, как случится быть в Москве, навещаю старушку, вдову его. Жива ли она? Я ее года два не видал.

— Жива и здорова. Пожалуй, я ее попрошу приехать со мной.

— Хорошо, хорошо! Мне очень приятно будет с нею повидаться.

— Нельзя ли будет обвенчать меня попозже вечером или даже ночью?

— Ночью? Гм! А вдова-то Смирнова будет с вами?

— Будет.

— Ну ладно, если тебе так хочется. Но что это тебе вздумалось? Нет, тут что-то есть...

— После венца я тебе все объясню, батюшка.

— Ладно! Хорошо! А это что? — продолжал священник, увидев, что Бурмистров положил ему на стол кожа-

ный кошелек.— Нет, нет, я не возьму! После свадьбы, если ты захочешь чем-нибудь поблагодарить меня, я не откажусь: у меня большое семейство. А теперь я не приму ничего!

— Мне бы хотелось, батюшка, чтобы разговор наш остался между нами и...

— Обещаю тебе, что все останется в тайне. Только возьми назад свой подарок.

Бурмистров вынужден был взять назад кошелек и простился со священником. Выйдя на крыльцо, он удивленно застыл: лошадь, которая была привязана к перилам, исчезла. Думая, что она сорвалась и убежала, он вышел за ворота.

— Держи! Хватай его! — раздался крик. Толпа крестьян окружила Бурмистрова.

Не ожидая такого внезапного нападения, он не успел даже обнажить сабли, как его обезоружили и связали. В одном крестьянине узнал он переодетого десятника стрелецкого Титова полка. Десятник сел с ним вместе в телегу, стоявшую у ворот. Несколько конных стрельцов, переодетых в крестьянское платье, окружили их.

— Вези! — закричал ямщику десятник, и вскоре телега, сопровождаемая стрельцами, выехала из села на большую дорогу. Толпа любопытных смотрела им вслед.

— Куда это, кумушка, его повезли? — спросила одна поселянка у другой.

— Знать, в Москву.

— Зачем? Как его веревками-то, бедного, скрутили!

— Видно, он из Нарышкиных али изменник какой. Глядь, как скачут: пыль столбом!

— Жаль его, горемычного!

— И что его жалеть, кумушка, поделом вору и мука!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Солнце уже закатилось, когда Бурмистрова привезли в Москву. Телега остановилась в Китай-городе, близ Посольского двора, у большого дома, окруженного каменным забором. Ворота отворились, и телега через обширный двор подъехала к крыльцу.

— У себя ли боярин? — спросил десятник вышедшего на крыльцо слугу.

— Дома. У него в гостях Иван Михайлович с крестным сыном.

— Скажи князю, что мы поймали зверя. Спроси, куда его посадить.

Слуга побежал в комнаты и, вскоре возвратясь, сказал десятнику, что боярин с гостями ужинает и велел тотчас привести к нему пойманного. Четыре стрельца с обнаженными саблями и десятник ввели связанного Бурмистрова в столовую и остановились у дверей.

— Добро пожаловать! — сказал сидевший подле Милославского старик в боярском кафтане. Длинная седая борода, черные глаза, блестевшие из-под нахмуренных бровей, и лоб, покрытый морщинами, придвалаи лицу старика важность и суровость. Это был князь Иван Андреевич Хованский.

— Где ты поймал этого молодца? — спросил князь десятника.

— В селе Погорелово, верст за сорок от Москвы.

— Вот куда успел лыжи направить! Нет, голубчик, хоть бы ты ушел на дно морское, так я бы тебя и там отыскал. Ну что, Иван Михайлович,— продолжал Хованский, обратясь к Милославскому,— умею я держать слово? Уж коли я обещаю что-нибудь другу, так непременно исполню!

— Спасибо тебе, князь! — сказал Милославский.— Царевна Софья Алексеевна будет тебе очень благодарна.— И тут же, повернувшись к Бурмистрову, спросил грозным голосом:

— Как смел ты украсть мою холопку? Отвечай, бездельник!

— Я не украл, а освободил несчастную девушку, закабаленную обманом.

Губы Милославского посинели и задрожали. Ударив кулаком по столу, он вскочил, хотел что-то сказать, но не смог, задохнувшись от ярости. Даже Лысков испугался и облил себе бороду пивом из поднесенной ко рту серебряной кружки.

— И полно, Иван Михайлович, гневаться,— сказал Хованский.— Дай срок, авось запоет другим голосом!

— Куда ты скрыл мою холопку? — вскричал Милославский.— Признавайся, а то хуже будет.

— Никакие мучения,— отвечал спокойно Бурмистров,— не испугают меня и не вынудят открыть убежище Натальи.

— Отведите его на Тюремный двор! — закричал Милославский.— Скажите, что я велел посадить его на цепь, за решетку! Я развяжу тебе язык!

Когда увели Бурмистрова, Милославский, обратясь к Лыскову, сказал:

— Напиши, Сидор, сегодня же доклад. Завтра утром поеду к царевне, буду просить ее, чтобы велела этому бунтовщику отрубить голову!

— Не лучше ли, Иван Михайлович,— сказал Хованский,— отправить его в Соловецкий монастырь? Там под стенами, слыхал я, есть такие подвалы, что и повернуться негде.

— Нет, Иван Андреевич, оттуда можно убежать. Лучше разом дело кончить.

Простясь с Хованским, Милославский и Лысков отправились домой.

Через день, поздно вечером, Хованский получил следующую записку: «Боярин Иван Михайлович Милославский посылает к начальнику Стрелецкого приказа, боярину кня-

зю Ивану Андреевичу Хованскому, стрелецкого пятисотенного Ваську Бурмистрова, которого за измену велено казнить. Так как завтра будет венчание обоих царей, то казнить его в эту же ночь и не на площади, а где ты сам, князь, придумаешь. Июня 24 дня 7190 года».

В эту записку была вложена другая. В ней было сказано: «Постарайся, любезный друг Иван Андреевич, выведать у Бурмистрова: где скрывается беглая моя холопка? Если он это скажет, то будет помилован и только выслан из Москвы в какой-нибудь дальний город. Обе эти записки возврати мне, когда встретимся».

— А где арестант? — спросил Хованский у присланного гонца.

— Стоит на дворе со сторожами.

— Вели его привести сюда да позови ко мне моего дворецкого. Потом поезжай к боярину Ивану Михайловичу и скажи ему от меня, что все будет исполнено.

Гонец вышел, и вскоре в горницу ввели скованного Бурмистрова.

— Идите домой! — сказал Хованский сторожам.— Он останется здесь.

Оставшись наедине с Бурмистровым, князь спросил его:

— Не был ли родня тебе покойный Петр Бурмистров?

— Я сын его,— отвечал Василий.

— Сын? Жаль,что не в батюшку ты пошел! Я был с ним знаком.

Хованский прошел несколько раз взад и вперед по комнате.

— Что приказать изволишь? — спросил вошедший дворецкий Савельич, который отличался точностью в исполнении приказаний своего господина, длинным носом и способностью пить запоем две недели подряд, а иногда и более.

— Есть ли у меня в тюрьме место?

— Есть два, боярин. Одно в чулане, под лестницей, а другое на чердаке, где сидел недавно жилец Елизаров за то, что не снял на улице перед твоею милостью шапки.

— Отведи туда вот этого и ключ принеси ко мне.

— А цепи-то снять прикажешь?

— Нет, не снимай!

Дворецкий повел Бурмистрова к каменному, в два яруса, строению, которое примыкало к забору, окружавшему двор. Проходя по темному чердаку, Василий увидел справа и слева несколько обитых железом дверей, на которых висели большие замки; у одной из них дворецкий остановился, отворил ее и, введя Бурмистрова, запер. Осмотрев

новое свое жилище, Василий при свете месяца, проникавшего сквозь железную решетку узкого окна, увидел у стены деревянную скамью и небольшой стол, на котором стояла глиняная кружка с водою и лежал кусок черствого хлеба. Сквозь покрытое пылью и паутиною стекло окна Василий рассмотрел длинную улицу, которая вела на Красную площадь, а вдали — Кремль и колокольню Ивана Великого. Усталость принудила Бурмистрова устало лечь на скамью и вскоре погрузиться в сон. За полчаса до полуночи, когда отдаленный колокол на Фроловской башне пробил третий час ночи, звон ключей у двери разбудил Василия. С фонарем в руке вошел к нему Хованский.

— Прочитай! — сказал князь, подавая ему обе записки Милославского и поставив фонарь на стол.

Бегло прочитав бумаги, Василий возвратил их князю.

— Ну, что? — спросил Хованский.— Скажешь ли, где беглая холопка Ивана Михайловича?

— Никогда!

— Подумай хорошенько,— продолжал Хованский.— Если будешь упорствовать, то еще до зари труп твой с отрубленною головою будет зарыт в лесу.

— За предлагаемую цену не куплю я жизни! — твердо ответил Бурмистров.— Прошу одного: позволить мне по-христиански приготовиться к смерти.

— Сотвори крестное знамение,— сказал Хованский.

Бурмистров, пристально взглянув на князя, перекрестился.

— Ты не можешь умереть по-христиански,— сказал князь, заметив, что Василий крестился тремя, а не двумя сложенными пальцами.— Ты богоотступник! Ты отрекся от древнего благочестия и святой веры отцов.

— Я уповаю на милосердие Спасителя! — сказал с жаром Бурмистров.— Он один нам судья.

— Я вижу, что ты заблудшая овца, которую еще можно спасти из стада козлищ. В Писании сказано, что обративший грешника на путь правды спасет душу свою от смерти. Знай, я держусь древнего благочестия. Твой покойный отец тоже был ревностным его поборником. Я докажу тебе истину веры моей не словами, а делом. Отлагаю твою казнь. Если смогу обратить тебя на путь истинный, то спасу тебя не только от смерти временной, но и от смерти вечной. Милославскому скажу завтра, что ты уже казнен, и тебе принесу драгоценную книгу, которая откроет тебе заблуждение твое и наставит на путь правый. Прощай!

Сказав это, Хованский вышел. Спустя некоторое время

дворецкий князя принес подушку, толстую книгу в старом переплете, жареную курицу и кружку со смородинным медом. Сняв цепи с Бурмистрова, дворецкий положил все на стол, молча вышел и запер дверь. Василий принялся прежде всего за ужин: он три дня ничего не ел. Потом раскрыл книгу и увидел написанное красными чернилами и крупными буквами заглавие: «Страдание священнопротопопа Аввакума многотерпеливого». Не имея особого желания читать, он лег на скамью и вскоре заснул глубоким сном.

Проснувшись рано утром, Бурмистров услышал раздававшийся по всей Москве звон колоколов. Он подошел к окну и увидел, что вся улица, которая вела к Кремлю, наполнена народом. В полдень раздался звук барабанов и со стороны Кремля появились знамена приближавшихся стрельцов. Когда полки их проходили мимо дома Хованского, Василий рассмотрел, что впереди полков шли полковники Цыклер, Петров и Одинцов и подполковник Чермной. Первый нес на голове бумажный свиток. Это была похвальная грамота, данная стрельцам царевною Софьей за их усердие. Бурмистров нахмурился и отошел от окна. Вскоре появился дворецкий, который принес ему обед и ужин.

— Боярин,— сказал он,— не велел мне с тобой больше разговаривать.

Оставив еду, он вышел.

На следующий день Василий, не имея других занятий, принялся за чтение присланной Хованским книги. Наконец, на третий день, в сумерки, вошел к нему князь и, увидев, что он читает книгу, потрепал по плечу.

— Читай, читай, духовный сын мой,— сказал он.— Я уверен, что эта книга откроет твои глаза и спасет душу. Милославский спрашивал о тебе. Я сказал ему, что ты уже казнен. Не говорил ты моему дворецкому своего имени?

— Нет, князь.

— Хорошо. Если он вздумает спросить, как тебя зовут, не отвечай ему ничего или назовись каким-нибудь выдуманным именем. Иначе мне придется тебя казнить. Я и так подвергаю себя опасности поссориться с Иваном Михайловичем и навлечь на себя гнев царевны Софьи Алексеевны.

Василий поблагодарил князя. Сев на скамью и приказав Бурмистрову сесть рядом, Хованский продолжал ласковым голосом:

— Прочитал ли ты книгу, которую я тебе прислал?

— Еще не всю.

— Дай-ка мне ее сюда. Разверни любую страницу, и сразу видно, что писали ее люди не антихристу Никону и не

наследнику его, нынешнему патриарху Иоакиму, чета! Где ни открой, везде найдешь мудрые и душеспасительные поучения. Читай ее, спасай свою душу, пока не поздно.— Проговорив это, он встал и направился к двери.— До свидания!

Хованский вышел, а Бурмистров начал размышлять о странном положении, в котором он очутился.

II

Настало третье июля, день, назначенный для свадьбы Василия. В мрачной задумчивости сидел он у стола, устремив взор на кольцо, которое Наталья ему подарила. Скрежет замка двери прервал его мучительные размышления.

Вошел Хованский.

— Сын мой,— сказал он,— тебя желает видеть учитель и глава наш, священноиерей Никита. Я говорил ему о тебе, и он, начав пророчествовать, сказал, что ты скоро обратишься на путь правды и будешь ревностным поборником древнего благочестия. Иди за мною!

Удивленный Бурмистров последовал за Хованским. Они дошли до другого конца чердака и спустились по узкой и крутой лестнице в слабо освещенный одним окном подвал, в котором стояло множество бочек. С трудом пробравшись между бочками, приблизились они к деревянной стене. Хованский три раза топнул ногою, и в стене отворилась потаенная дверь. Князь ввел Бурмистрова в довольно обширную комнату. Окон в ней не было. Горевшая в углу, перед образами, лампада освещала каменный свод, налой, поставленный у восточной стены горницы, и стоящие вдоль стен деревянные скамьи. Человек в рясе среднего роста с бледным лицом и длинною бородою благословил вошедших и, обратясь к образам, начал молиться. Это был Никита. После нескольких земных поклонов он взял за руку Бурмистрова, подвел его к лампаде и, устремив на него быстрый взгляд, спросил:

— Как зовут тебя, заблудшая овца, ищущая спасения?

Бурмистров, не зная, сказал ли Хованский Никите его настоящее имя, посмотрел в недоумении на князя.

— Я говорил уже тебе, отец Никита,— пришел ему на помощь Хованский,— что его имя должно пока остаться в тайне.

— В тайне? У кого отверзты духовные очи, для того не может быть ничего тайного. Его зовут Василий Бурми-

стров! Нехорошо, чадо Иоанн! Зачем лукавить? Вижу, что ты еще ослеплен земными помыслами! Выйди вон и слезами покаяния омой твое прегрешение.

Хованский смутился, хотел что-то сказать в оправдание, но Никита закричал грозным голосом:

— Горе непокоряющемуся грешнику!

Князь, закрыв лицо руками, вышел, и Никита запер за ним дверь.

— Если я не ошибаюсь,— сказал Бурмистров,— я видел тебя однажды в доме покойного сотника Семена Алексеева.

— Я вовсе не знал Алексеева и никогда в доме его не бывал. Прочитал ли ты книгу, которую тебе дал князь?

— Прочитал.

— Сверг ли ты с себя иго антихристово и обратился ли к свету древнего благочестия?

— Я еще более убедился в истине моего верования и искренне пожалел, что между православными христианами начались расколы.

— Мы одни можем называться православными христианами, и не тебе, оскверненному печатью антихриста, судить нас. В нас обитает свет истинной веры, а вы во тьме бродите и служите врагу человеческого рода.

— Истинная вера познается из дел. Исполняете ли вы две главные заповеди: любить Бога и ближнего? Мы ближние ваши, а вы ненавидите нас, как врагов, мы ищем объединения с вами, а вы от нас отделяетесь.

— Ты говоришь по наущению бесовскому и не можешь говорить иначе, потому что служишь еще князю тьмы.— Никита, нахмурив брови, подошел к налою, взял с него крест и вернулся к Бурмистрову.— Скоро пройдет тьма и воссияет свет, хищный волк изгонится из стада! Сын нечестия, клянись быть с нами, целуй крест: он спасет тебя от секиры, и ты найдешь убежище!

Бурмистров поцеловал крест и сказал:

— Повторяю клятву жить и умереть сыном церкви православной.

— Горе, горе тебе! — закричал ужасным голосом Никита, отскочив от Бурмистрова.— Сокройся с глаз моих, беги к секире, черви ожидают тебя!

Положив крест на налой, он подошел к двери и, отворив ее, позвал Хованского.

Князь вошел со смиренным видом.

— Нехорошо, чадо Иоанн! — возгласил Никита.— Ты хвалился, что приблизил этого нечестивца к вертограду

древнего благочестия и подал мне надежду, но он не хочет исторгнуться из сетей диавольских.

— Ты сам пророчествовал, отец Никита, что он поможет нам исцелить от слепоты весь Сухаревский полк, поможет изгнать хищного волка со всем собором лжеучителей и воздвигнуть столп древнего благочестия.

— Да, я пророчествовал, и сказанное мною сбудется.

— Никогда! — возразил Бурмистров.

— Сомкни уста твои, нечестивец! Чадо Иоанн, вели точить секиру: секира обратит грешника.

— Не думаешь ли ты устрашить меня смертью? — спросил Бурмистров.— Князь, вели сегодня же казнить меня, пусть смерть моя обличит этого лжепророка! Поклянись мне перед этим крестом, что ты тогда отвергнешь советы этого врага православной церкви, поймешь свое заблуждение, оставишь свои замыслы и удержишь стрельцов от новых неистовств, поклянись — и тотчас же веди меня на казнь.

— Умолкни, сын сатаны,— закричал в бешенстве Никита,— не совращай с пути спасения избранных! Ты не умрешь, и предреченное мною сбудется... Я слышу глас с неба!.. Завтра выступят все воины и народ за древнее благочестие, завтра Красная площадь зашумит, словно море! Завтра спадет слепота с глаз учеников антихриста и низвергнутся в преисподнюю хищный волк и весь собор лжеучителей. Возрадуйся, чадо Иоанн, что слава твоего подвига распространится от моря до моря и от рек до конца вселенной! Завтра на востоке взойдет солнце истины, и ты принесешь через три дня кровавую жертву благодарения, не тельца упитанного, а этого грешника, противящегося твоему подвигу! Шествуй, чадо Иоанн, на подвиг! Сгинь, змей-прельститель!

Прокричав это, Никита упал и начал кататься по полу.

Хованский, крестясь, вышел с Бурмистровым и повел его в тюрьму. Взяв у него книгу, которой думал его обратить, князь сказал гневно, запирая дверь:

— Завтра восторжествует древнее благочестие, а ты через три дня принесен будешь в благодарственную жертву. Готовься к смерти!

Спустившись с чердака, Хованский встретил у лестницы выходящего из дому Никиту.

— Куда ты, отец Никита?

— Иду на подвиг за Яузу, в слободу Титова полка. Оттуда пойду к православным воинам во все другие полки и велю, чтобы завтра утром все приходили на Красную площадь.

— Отпусти мне, окаянному, прегрешения.

Князь закрыл глаза и смиренно наклонился перед Никитою.

— Отпускаю и разрешаю! — сказал Никита, благословив князя.

Хованский поцеловал его руку и, пожелав ему успеха, проводил до ворот.

— А мне приходить завтра на площадь?

— Нет! С солнечного восхода начни молиться и будь в молитве и посте до тех пор, пока я не извещу тебя о победе.

Сказав это, Никита надвинул на лицо шапку и вышел за ворота.

III

На другой день, еще до восхода солнца, Никита со своими сообщниками явились на Красную площадь. Посередине ее поставили большую бочку, покрыли коврами и сбоку приделали небольшую лестницу с перилами. Вскоре около воздвигнутой кафедры собралась толпа любопытных. Подошли отряды стрельцов, и вскоре вся площадь была заполнена народом.

Никита взошел на кафедру, поднял руки к небу и долго стоял в этой позе. Все смотрели на него с любопытством и страхом.

— Здравствуй, Андрей Петрович! — сказал шепотом Лаптев, увидев брата Натальи, который стоял поблизости со своими академическими товарищами.

— А, и ты здесь, Андрей Матвеевич!

— Шел было к заутрени, да остановился. Видишь, что делается!

— А меня с товарищами послал из монастыря отец-блюститель посмотреть, что здесь происходит, и ему донести. Сам-то страшится сюда идти.

— А там кукла стоит, что ли, или живой человек?

— Какая кукла! Это бывший суздальский поп Никита. Он затеял раскол, потом образумился, а нынче, видно, опять принялся за старое. Вон, смотри, креститься начал, видно, проповедь сказать хочет. Подойдем-ка поближе.

На площади водворилось глубокое молчание. Никита, поклонясь на все четыре стороны, начал говорить:

— Священнопротопоп Аввакум многотерпеливый, великий учитель наш, ограда древнего благочестия и обличи-

тель Никонова новозакония, не ел в великий пост четыредесять дней и видел чудное видение: руки его, ноги, зубы и весь он распространился по всему небеси, и вместил Бог в него небо и землю и всю тварь. И, познав тако все сущее, исполнилея разум его премудрости. И написал Аввакум дивную книгу, и нарек ее Евангелие Вечное; не им, но перстом Божиим писано. Немногие избранные из сей книжицы познали истинный путь спасения, его же хочу возвестити вам, народ православный. Несть ныне истинной церкви на земле ни в Руси, ни в греках. Токмо мы еще держим православную христианскую веру и крестимся двумя перстами, изобразующими божество и человечество Сына Божия. А тремя перстами кто крестится, тот со антихристом в вечной муке будет, ибо то есть печать антихристова. Кто же есть сей антихрист? Многие от неведения писания глаголют быти ему во Иерусалиме. Но глаголет пророк, что от севера лукавство изыдет. Хочет антихрист во всем быть равен Христу. Кто же построил Иерусалим в северной стране, и реку Истру Иорданом переименовал, и церковь такову, какова во Иерусалиме, построил*, и около своего льстивого Иерусалима селам и деревням имена новые надавал: Назарет, Вифлеем и прочие? Кто чернецов молодых, постригая, именовал херувимами и серафимами? Имея ум да разумеет прелести Никона антихриста и сосуда сатанинского. Число зверино явственно исполнил в тот год, когда пагубник Никон свои еретические служебники выдал, а святые прежние служебники повелел вон из церкви вынести. Да не погубите душ ваших, православные. Грядите в Кремль! Воздвигните брань за веру истинную, за древнее благочестие, да изгоним из стада хищного волка, наследника антихристова, с сонмом лжеучителей, и да восставим церковь Божию!

«Восставим церковь Божию!» — закричали тысячи голосов. «Врет Никита, хочет нас морочить! Бес в нем сидит!» — кричали другие. Вся площадь взволновалась. Никита сошел с кафедры, вынул из-под рясы крест и, подняв его, пошел к Спасским воротам. Более семи тысяч стрельцов и бесчисленное множество людей разного звания, как поток лавы, устремились за Никитой.

Лаптев, видя опасность, угрожающую церкви православ-

---

* Патриарх Никон в Воскресенском монастыре, им построенном в 1654 году, за 40 верст от Москвы, на реке Истре, и названном царем Алексеем Михайловичем за красоту здания и местоположения Иерусалимом, соорудил соборную церковь по подобию Иерусалимской.

ной, заплакал. Множество народа, не увлеченного проповедью Никиты, осталось на площади. Иной плакал, подобно Лаптеву, другой проклинал Никиту.

— О чем плачешь, Андрей Матвеевич? — спросил Борисов, приблизясь к Лаптеву.

— Как не плакать, Иван Борисович,— отвечал печальным голосом Лаптев, отирая рукавом слезы,— вон до каких времен мы дожили! Еретик не велит в церкви Божии ходить, грозит святейшего патриарха прогнать и навязывает всем православным свою проклятую ересь. Посмотри-ка, сколько за ним народу пошло, и стрельцы с ним заодно.

— Не все стрельцы, Андрей Матвеевич, не все. Многие остались в слободах и не хотят в это дело мешаться. Из нашего полка человек пятьдесят поддались на обман. Если б Василий Петрович был здесь, и того бы не было.

— Да куда девался Василий Петрович? — спросил Лаптев.— Вы оба словно на дно канули: я уж с вами с месяц не виделся. Вот и Андрей Петрович, Бог ему судья, совсем забыл меня!

— Василий Петрович,— шепнул Борисов Лаптеву на ухо,— получил отставку и тайком уехал в деревню своей тетки. А я с полком нашим через неделю пойду в Воронеж.

— Как так?

— Царевна Софья Алексеевна приказала.

— Жаль, жаль, Иван Борисович! Этак совсем без приятелей останусь, не с кем будет и слова перемолвить!

Андрей, пока они беседовали, протиснулся к кафедре и взошел на нее с намерением сказать обличительную речь против Никиты.

Увидев на кафедре новое лицо, окружавшая ее толпа замолчала. Ободренный этим Андрей, избрав за образец речь Цицерона против Катилины, принял величественное положение, приличное оратору. Никита в это время приблизился уже к Спасским воротам и с сообщниками своими стучался в них, требуя, чтобы его впустили в Кремль. Андрей, указывая на него, сказал:

— Доколи будешь, Никита, употреблять во зло терпение наше? До чего похваляться будешь необузданной своею дерзостью? Или не возмущает тебя ни стража около града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, ни взоры, ни лица собравшихся здесь православных христиан? Или ты не чувствуешь, что твои умыслы явны. Перемени свои мысли, поверь мне! Позабудь о своей ереси: со всех сторон ты пойман, все твои предприятия яснее полуденного света. (В это время Никита и несколько стрельцов толстым

чурбаном старались вышибить Спасские ворота.) Что ты ни делаешь, что ни предпринимаешь, что ни замышляешь,— то все я не только слышу, но ясно вижу и почти руками осязаю. Выведи с собою всех своих сообщников, очисти город. От великого меня избавишь страха, коль скоро между мною и тобою стена будет. С нами быть тебе больше невозможно!

Лаптев, заметив, что стрельцы поднимают камни и собираются около кафедры, уговорил Борисова и товарищей Андрея стащить его с кафедры — избавить от угрожающей опасности.

— Что это значит? Пусти, пусти меня, ради Бога, Иван Борисович, дай кончить речь! — закричал Андрей во все горло, когда его потащили с кафедры.— Да что вы на меня напали, белены, что ли, объелись? Пустите! Куда вы меня тащите?..

Несмотря ни на просьбы, ни на угрозы оратора, его стащили на землю. Стрельцы, думая, что Борисов и товарищи Андрея хотят поколотить его, бросились к ним на помощь, а стоявшие около кафедры мужики кинулись отнимать его у Борисова, чтобы вернуть на бочку и дослушать речь.

Таким образом, роковая речь Цицерона чуть было не навлекла на Андрея побои. Не понимая, куда и зачем тащили его в одну сторону Борисов с товарищами, в другую — мужики, а в третью — стрельцы, он дивился действию своего красноречия и думал, что его постигнет участь Орфея, растерзанного вакханками. Надвинув с досадой шапку на глаза, пошел он скорым шагом в Заиконоспасский монастырь. Между тем Никита, сопровождаемый множеством народа, вошел в Кремль и приблизился к царским палатам. Боярин Милославский вышел на Постельное крыльцо и от имени царевны Софьи Алексеевны спросил Никиту: чего он требует?

— Народ московский требует, чтобы восставлен был столп древнего благочестия и чтобы на площадь, перед конским стоялищем, которое вы именуете Успенским собором, вышел хищный волк и весь сонм лжеучителей, для разговора с нами о вере.

— Я сейчас донесу о вашем требовании государям,— сказал Милославский,— и объявлю вам волю их.

Боярин удалился во дворец, а затем, вернувшись опять на Постельное крыльцо, сказал:

— Цари повелели прошение ваше рассмотреть патриарху. А для вас, стрельцы, царевна Софья Алексеевна прика-

зала отпереть царские погреба в награду за ваше всегдашнее усердие и за верность вере православной. Она просит вас, чтобы вы в это дело не вмешивались. Положитесь на ее милость и правосудие.

Сказав это, Милославский удалился в покои дворца.

— Здравие и многие лета царевне Софье Алексеевне! — закричали стрельцы.— К погребам, ребята!

Никита, видя, что воздвигаемый им столп древнего благочестия, подмытый вином, сильно пошатнулся и что ряды его благочестивого воинства заметно редеют, закричал грозным голосом:

— Грядите, грядите, нечестивцы, из светлого вертограда во тьму погребов, на дно адово! Упивайтесь вином нечестия! Мы и без вас низвергнем в преисподнюю хищного волка!

С этими словами пошел он из Кремля, и вся толпа двинулась за ним.

IV

Тем временем Хованский, исполняя приказание, с солнечного восхода молился в своей рабочей горнице. Молился не столько об успехе древнего благочестия, сколько о скорейшем прибытии Никиты, потому что давно прошел уже полдень и запах жареных кур, поданных на стол, проникнув из столовой в рабочую горницу, сильно соблазнял князя. Сын его, князь Андрей, сидел в молчании на скамье у окошка.

— Взгляни, Андрюша,— сказал Хованский сыну, кладя земной поклон,— не идет ли отец Никита?

— Отца Никиты еще не видно,— ответил князь Андрей, растворив окно и посмотрев на улицу.

— И дай ему на хищного волка победу и одоление! — прошептал старик Хованский с глубоким вздохом, продолжая кланятся.— Скажи, чтоб Фомка кур подогрел: совсем небось остыли... Да прийдет царство антихриста, да воссияет истинная церковь и да посрамятся и низвергнутся в преисподнюю все враги ее!.. Андрюша, скажи дворецкому, чтоб приготовил для отца Никиты кружку настойки, кружку французского вина да кувшин пива.

Молодой князь вышел и, вскоре возвратясь, сказал:

— Пришел отец Никита.

— Пришел! — воскликнул Хованский, вскочив с пола и не кончив земного поклона.— Вели скорее подавать на стол! Где он?

— Здесь, в столовой.

Старик Хованский выбежал из рабочей горницы в столовую и остановился, увидев мрачное и гневное лицо Никиты.

— Так-то, чадо Иоанн, исполняешь ты веления свыше? Не дождавшись моего возвращения ты уже перестал молиться.

— Что ты, отец Никита! Я с самого рассвета молился и до сих пор блюл пост, хотя давно уже пора обедать. Спроси у Андрюши, если мне не веришь.

— Ты должен был молиться и ждать, пока не подойду к тебе и не возвещу победы. Но ты сам поспешил ко мне навстречу и нарушил веление свыше. Ты виноват, что пророчество не исполнилось и древнее благочестие не одержало еще победы, ибо, по маловерию твоему, ослабел в молитве.

Хованский не отвечал ни слова, он сильно смутился от мысли, что Никита как-то узнал, что им несколько раз овладевали во время молитвы досада, нетерпение и помыслы о земном, то есть о жареных курицах. Никита же, видя смущение князя, тайно радовался, что ему удалось неисполнение своего пророчества приписать вине другого.

Все трое в молчании сели за стол. По мере уменьшения жидкостей в кружках, приготовленных для отца Никиты, лицо его прояснялось и морщины разглаживались, по мере уменьшения его морщин слабели в душе Хованского угрызения совести. Таким образом, к концу стола опустевшие кружки совершенно успокоили совесть Хованского, тем более что он и сам, следуя примеру своего учителя, осушил кружки две-три веселящей сердце влаги. После обеда Никита пригласил князей удалиться с ним в рабочую горницу. Старик Хованский приказал всем холопам идти в свою избу, кроме длинноносого дворецкого, которому велел встать у двери перед сенями, не сходить ни на шаг с места и никого в столовую не впускать. Когда князья с Никитой вошли в рабочую горницу и заперли за собою дверь, любопытство побудило Савельича приблизиться к ней на цыпочках и приставить ухо к замочной скважине. Все трое говорили очень тихо, однако дворецкий успел кое-что услышать из их разговора.

— Завтра,— говорил Никита,— надо выманить хищного волка патриарха. Это твое дело, чадо Иоанн, а мы припасем камни. Скажи, что государи приказали ему идти на площадь.

— Убить его надо, спору нет,— отвечал старик Хован-

ский,— только как сладить потом с царевной? Не все стрельцы освободились от сетей дьявольских, многие заступятся за волка!

— Нет жертвы, которой нельзя бы было принести для древнего благочестия! Просвети царевну, а если она будет упорствовать, то...

Тут Никита начал говорить так тихо, что Савельич ничего не мог услышать.

— Кто же будет тогда царем?— спросил старик Хованский.

— Ты, чадо Иоанн, а я буду патриархом. Тогда расцветет во всем Русском царстве эра старая и истинная и посрамятся все враги ее. Сын твой говорил мне, что ты королевского рода?

— Это правда: я происхожу от древнего короля литовского Ягелла.

— Будешь на московском престоле!

— Но неужели и всех царевен надобно будет принести в жертву? — спросил князь Андрей.

— Тебе жаль их! Вижу твои плотские помыслы,— сказал старик Хованский.— Женись на Екатерине, не помешаем, а прочих разошлем по дальним монастырям. Так ли, отец Никита?

— Внимай, чадо Иоанн, гласу, в глубине сердца моего вещающему: еретические дети Петр и Иоанн, супостатки истинного учения Наталья и Софья, хищный волк со всем сонмом лжеучителей, совет нечестивых, называемый Думою, градские воеводы и все другие противники древнего благочестия обрекаются на гибель, в жертву очищения. Восторжествует истинная церковь, и через три дня принесется в жертву нечестивец, дерзнувший усомниться в словах пророчества, вещавшего и вещающего моими недостойными устами!

Последовало довольно продолжительное молчание.

— А что будет с прочими царевнами? — спросил наконец старик Хованский.

— Не знаю! — отвечал Никита.— Глас, в сердце моем вещавший, умолк. Делай с ними, что хочешь, чадо Иоанн! Соблазнительницу сына твоего, Екатерину, отдай ему головою, а всех прочих дочерей богоотступного царя и еретика Алексея, друга антихристова, разошли по монастырям.

— А как, отец Никита, быть со стрельцами, которые не обратятся на путь истинный?..

В это время дворецкий, почувствовав, что сейчас чихнет, на цыпочках удалился от двери. Схватив рукой свой

длинный нос и удерживая дыхание, он поспешил встать на свое место пред сенями и перекрестился, прошептав про себя: «Вот нашло на меня не в пору чиханье». Поуспокоившись, Савельич опять начал поглядывать на дверь рабочей горницы. Прошло более часа, прежде чем дверь рабочей горницы отворилась и князья вышли в столовую с Никитой, который, простясь с ними и благословив, отправился в слободу Титова полка.

— Позови ко мне десятника,— сказал старик Хованский дворецкому.

— Что прикажешь, отец наш? — спросил вошедший десятник.

— Когда пойдешь после смены в слободу, то объяви по всем полкам мой приказ, чтобы теперь присылали ко мне всякий день в доме стражи не по десять человек, а по сто и с сотником. Слышишь ли?

— Слышу, отец наш.

— Да чтобы все были не с одними саблями, а и с ружьями. Пятьдесят человек пусть надевают кафтаны получше, они станут сопровождать мою карету. И еще пошли теперь же стрельца ко всем полковникам, подполковникам и пятисотенным, вели им сказать, что я требую их к себе сегодня вечером, через три часа после солнечного заката. Ну, ступай!

— Про какого нечестивца,— спросил молодой Хованский,— говорил отец Никита?

— Про пятисотенного Бурмистрова, который у меня в тюрьме сидит. Хорошо, что ты мне о нем напомнил. Эй, дворецкий!

— Что приказать изволишь? — сказал дворецкий, отворив дверь из сеней, у которой подслушивал разговор боярина с сыном.

— Есть ли у нас дома секира?

— Валяется с полдюжины в чулане, да больно тупы, и полена не расколешь!

— Наточи одну поострее. Дня через три мне понадобится.

— Слушаю!

— Приготовь еще телегу, чурбан, веревку и два заступа. Ступай! Да смотри делай все тихо и никому не болтай об этом, не то самому отрублю голову!

— Слушаю.

— А носишь ты еще мед и кушанье с моего стола тому тюремному сидельцу, к которому я посылал книгу?

— Ношу всякий день.

— Впредь не носи, а подавай ему, как и прочим, хлеб да воду. Ну, ступай!

Вечером собрались в доме Хованского стрелецкие полковники, подполковники и пятисотенные и пробыли у него до глубокой ночи.

V

На другой день, пятого июля, патриарх Иоаким со всем высшим духовенством и священниками всех московских церквей молился в Успенском соборе о защите православной церкви против отпадших сынов ее и о прекращении мятежа народного. В это время Никита и сообщники его, собравшись за Яузой, в слободе Титова полка, вышли к Кремлю в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и множества народа. Перед Никитой двенадцать мужиков несли восковые зажженные свечи, за ним следовали попарно его приближенные сообщники с древними иконами, книгами, тетрадями и налоями. На площади перед церковью Архангела Михаила, близ царских палат, они остановились, поставили высокие скамьи и положили на налои иконы, перед которыми встали мужики, державшие свечи. Взяв свои тетради и книги, Никита, расстриги-чернецы Сергий и два Савватия, и мужики Дорофей и Гаврило начали проповедывать древнее благочестие, уча народ не ходить в хлевы и амбары (так называли они церкви). Патриарх послал из собора дворцового протопопа Василия убедить народ не слушать лживых проповедников, но толпа раскольников напала на протопопа и убила бы его, если бы он не успел скрыться в Успенском соборе. По окончании молебна и обедни патриарх со всем духовенством удалился в Крестовую палату. Никита и сообщники его начали с криком требовать, чтобы патриарх вышел на площадь перед собором для разговора с ними. Толпа староверов все время увеличивалась за счет любопытных, которые со всех сторон сбегались на площадь, и вскоре весь Кремль был полон народа.

Князь Иван Хованский, войдя в Крестовую палату, сказал патриарху, что государи велели ему и всему духовенству немедленно идти во дворец через Красное крыльцо. У этого крыльца собралось множество раскольников с камнями за пазухами и в карманах. Патриарх, не доверяя Хованскому, медлил. Старый князь, видя, что замысел его не удается, пошел во дворец, в комнаты царевны Софьи, и сказал ей с притворным беспокойством:

— Государыня, стрельцы требуют, чтобы святейший патриарх вышел на площадь для беседы о вере.

— С кем, князь?

— Не знаю, государыня, изволь сама взглянуть в окно. Господи Боже мой! — воскликнул Хованский, отворяя окно.— Какая бездна народу! Кажется, вон те чернецы, что стоят на скамьях близ налоев, хотят с патриархом беседовать.

— Почему же ты не приказал их схватить?

— Это невозможно, государыня! Все стрельцы и весь народ на их стороне. Я боюсь, как бы опять не произошло такое же смятение, какое было пятнадцатого мая.

— А я всегда думала, что князь Хованский не допустит таких беспорядков, какие были при изменнике Долгоруком.

— Я готов умереть за тебя, государыня, но что же мне делать? Я всеми силами старался вразумить стрельцов,— и слушать не хотят! Грозят убить не только всех нас, бояр, но даже... и выговорить страшно!.. даже тебя, государыня, со всем домом царским, если не будет исполнено их требование. Ради Бога, прикажи патриарху выйти. Я просил его об этом, но он не соглашается. Чего опасаться такому мудрому и святому мужу каких-то беглых чернецов?

— Хорошо! Я сама к ним выйду с патриархом.

— Сама выйдешь, государыня! — воскликнул Хованский с притворным ужасом.— Избави тебя Господи! Хоть завтра же вели казнить меня, но я тебя не пущу на площадь: я клялся охранять тебя и исполню свою клятву.

— Разве мне угрожает какая-нибудь опасность? Ты сам говорил, что и патриарху бояться нечего.

— Будущее закрыто от нас, государыня! Ручаться нельзя за всех тех, которые на площади толпятся. Пусть идет один патриарх, я буду охранять его!

— Благодарю тебя за твое усердие, князь. Я последую твоим советам. Иди к патриарху и скажи ему от моего имени, чтобы он немедленно шел во дворец.

— Через Красное крыльцо, государыня?

— Да. А мятежникам объяви, что я потребовала патриарха к себе и прикажу ему тотчас же выйти к ним для беседы.

По уходу Хованского Софья, кликнув стряпчего, немедленно послала его к патриарху и велела тихонько сказать ему, чтобы он изъявил на приглашение Хованского притворное согласие, но вошел во дворец не через Красное крыльцо, а по лестнице Ризположенской. Другому стряпчему царевна велела как можно скорее отыскать преданных

ей, по ее мнению, полковников Петрова, Одинцова и Цыклера и подполковника Чермного и приказать им немедленно к ней явиться.

Всех прежде пришел Цыклер.

— Что значит это новое смятение? — спросила гневно Софья.— Чего хотят изменники стрельцы? Говори мне всю правду.

— Я только что хотел сам, государыня, просить позволения явиться перед твои светлые очи и донести тебе на князя Хованского. Вчера по его приказанию мы собрались у него в доме. Он совещался с нами о введении старой веры во всем царстве и заставил всех нас целовать крест и клясться хранить его тайну.

— И ты целовал крест?

— Целовал, государыня, для того только, чтобы узнать в подробности все, что замышляет Хованский, и донести тебе.

— Благодарю тебя! Ты не останешься без награды. Кто главный руководитель мятежа?

— Руководитель явный — расстриженный поп Никита, а тайный — князь Хованский.

— Сколько стрелецких полков на их стороне?

— Весь Титов полк и несколько сотен из других полков.

— Хорошо! Иди в Грановитую палату и там ожидай моих приказаний.

Цыклер удалился. Войдя в Грановитую палату, он встал у окошка и, сложив на груди руки, начал придумывать, как бы уведомить Хованского, что царевне Софье известен уже его замысел. Не зная, которая из двух сторон победит, он хотел обезопасить себя с той и другой стороны.

В это время к царевне Софье пришел Чермной.

— И ты вздумал изменять мне? — сказала Софья грозным голосом.— Ты забыл, что у тебя не две головы?

Чермной, давший накануне слово Хованскому наедине за боярство и вотчину убить царевну, если князь признает это необходимым, сильно испугался, но, вскоре ободрившись, начал уверять Софью, что он вступил в заговор с тем только намерением, чтобы выведать все замыслы Хованского и ее предостеречь.

Заметив его смущение, Софья, хотя и не поверила его клятвам, однако решила скрыть свои мысли, опасаясь, как бы Чермной окончательно не перешел на сторону Хованского.

— Я всегда была уверена в твоем усердии,— сказала царевна притворно-ласковым голосом.— За верность свою

получишь достойную награду. Я поговорю с тобой еще о Хованском, а теперь иди в Грановитую палату и там ожидай меня.

Едва Чермной удалился, вошел Одинцов.

— Готов ли ты, помня все мои прежние милости, защищать меня против мятежников? — спросила Софья.

— Я готов пролить за твое царское величество последнюю каплю крови.

— Говорят, князь Хованский затеял весь этот мятеж. Правда ли это?

— Клевета, государыня! Не он, а нововведения патриарха Никона, которые давно тревожат совесть всех сынов истинной церкви. Этого надобно было ожидать. Отмени все богопротивные изменения, государыня, возроди церковь в прежней чистоте ее — и все успокоятся!

— Я знаю, что вчера у князя было в доме совещание.

— Он заметил, что все стрельцы и народ в сильном волнении, и советовался с нами, как предотвратить грозящую опасность.

— Не обманывай меня, изменник! Я все знаю! — воскликнула Софья в сильном гневе.

Одинцов, уверенный в успехе Хованского и преданный всем сердцем древнему благочестию, ответил:

— Я не боюсь твоего гнева: совесть моя чиста. Ты обижаешь меня, царевна, называя изменником: я доказал на деле мою верность тебе. Видно, старые заслуги скоро забываются! А ведь без нашей помощи не правила бы ты царством.

Пораженная дерзостью Одинцова, не стараясь скрыть свое негодование, Софья, помолчав, ответила:

— Я докажу тебе, что я не забываю старых заслуг. Докажи и ты, что верность твоя мне не изменилась.

Про себя же Софья твердо решила при первом случае казнить Одинцова.

— Что приказать изволишь, государыня? — спросил вошедший в это время Петров.

Царевна, приказав и Одинцову идти в Грановитую палату, спросила Петрова:

— Был ли ты вчера у Хованского на совещании?

— Не был, государыня.

— Не обманывай меня, изменник! Мне все известно!

Петров был искренно предан Софье. Слова ее сильно поразили его.

— Клянусь тебе Господом, что я не обманываю тебя, государыня! — сказал он.— Я узнал, что князь Иван Андре-

евич замышляет ввести во всем царстве Аввакумову веру, и потому не пошел к нему.

— Поздно притворяться! Одно средство осталось тебе избежать заслуженной казни: докажи на деле мне свою преданность. Если стрельцы сегодня не успокоятся, то тогда первому тебе велю отрубить голову.

— Жизнь моя в твоей воле, государыня! Не знаю, чем заслужил я гнев твой. Я, кажется, уже доказал тебе мою преданность: я первый согласился на предложение боярина Ивана Михайловича...

— Скажи еще хоть одно слово, то сегодня же будешь без головы! — воскликнула Софья, вскочив с кресла.— Поди, изменник, к Хованскому, помогай ему! Прочь с глаз моих!

Петров, оскорбленный несправедливыми обвинениями, повернулся и направился к выходу. Подойдя уже к дверям, он остановился и, снова приблизясь к Софье, сказал:

— Государыня, у тебя из стрелецких начальников немного верных, искренно тебе преданных слуг, на которых ты могла бы положиться. Один я не был на совещании у Хованского. Не отвергай верной службы моей.

Софья, думая, что Петров испугался и потому притворяется ей преданным, но считая, что в такую опасную для нее минуту может быть полезен и тот, кто из одного страха предлагает ей свои услуги, сказала Петрову:

— Ну, хорошо, загладь твою измену. Я прощу тебя, если делом докажешь свою верность.

— Увидишь, государыня, что ты меня понапрасну считаешь изменником.

По приказанию Софьи Петров тоже пошел в Грановитую палату.

— Что же нам теперь делать, Иван Михайлович? — спросила Софья.

Боярин Милославский, отдернув штофный занавес, за которым скрывался во время разговора царевны с Хованским и с приходившими стрелецкими начальниками, сказал:

— Я вижу, что на стороне Хованского не более половины стрельцов, так что бояться нечего. Только нельзя допустить, чтобы патриарх вышел на площадь. Если его убьют, то все потеряно.

— Я уже велела ему сказать, чтобы он вошел во дворец по Ризположенской лестнице.

— Для чего, государыня, велела ты Цыклеру, Петрову, Одинцову и Чермному идти в Грановитую палату? Мне кажется, что ни на одного из них положиться нельзя.

— А вот увидим.

Софья, кликнув стряпчего, послала в Грановитую палату посмотреть, кто в ней находится.

Стряпчий, возвратившись, донес, что он нашел в палате Цыклера, Петрова и Чермного.

— Вот видишь,— сказала Софья, когда стряпчий вышел,— я не ошиблась: только Одинцов изменил мне и пошел на площадь.

Однако Софья, несмотря на свою проницательность, ошибалась, потому что один Петров, на которого она всего менее надеялась, держался искренне ее стороны. Чермной, расхаживая большими шагами по Грановитой палате, снова решил действовать с Хованским заодно и по первому его приказанию принести Софью в жертву древнему благочестию. «Какая вера ни будь, новая или старая, и кто ни царствуй, Софья или Иван, для меня все равно,— размышлял он,— лишь бы добиться боярства да получить вотчину в тысячу дворов, а там хоть трава не расти!» Цыклер с нетерпением ожидал приказаний Софьи, чтобы скорее уйти из Грановитой палаты, предостеречь Хованского и, таким образом обманув и царевну, и князя, ждать спокойно конца дела и награды от того из них, кто победит.

— Не знаете ли,— спросил Петров,— для чего царевна сюда нас послала?

— Она велела мне ждать ее приказаний,— ответил Цыклер.

— А мне говорила,— сказал Чермной,— что сама придет сюда.

— Чем все это кончится? — продолжил Петров.— Признаюсь, мне эти мятежи надоели. Хоть мы и хорошо сделали, что послушались Ивана Михайловича и заступились за царевича Ивана Алексеевича, однако если бы не было бунта пятнадцатого мая, то не было бы и нынешнего.

— Стыдись, Петров! — сказал Цыклер.— После всех милостей, которые нам оказала царевна Софья Алексеевна, грешно так говорить. Этак скоро дойдешь и до измены! Что до меня, так я за царевну в огонь и в воду готов!

— И я также,— сказал Чермной.— Смотри, Петров! Чуть замечу, что ты пойдешь на попятный и задумаешь изменять Софье Алексеевне, так я тебе голову снесу, даром что ты мне приятель. Я готов за нее отца родного зарезать!

— Что вы, что вы, товарищи! Кто вам сказал, что я хочу изменять царевне? Я только хотел с вами поболтать.

— Говори, да не заговаривайся,— сказал Чермной.

Тем временем Софья совещалась с Милославским, а Хо-

ванский сообщил ее приказание патриарху: идти во дворец через Красное крыльцо. Патриарх, предупрежденный стряпчим, согласился, и Хованский, выйдя из Крестовой палаты на площадь, затесался в толпу.

Афанасий, архиепископ холмогорский, с двумя епископами, несколькими архимандритами, игуменами разных монастырей и священниками всех церквей московских, пошел из Крестовой палаты к Красному крыльцу. Все они несли множество древних греческих и славянских хартий и книг, чтобы показать народу готовность к беседе с раскольниками.

Вся площадь зашумела, как море. Не видя патриарха, стоявшие у Красного крыльца с камнями не знали, на что решиться, и шептали друг другу:

— Волка-то нет! Что же нам делать? Спросить бы князя Ивана Андреевича. Куда он запропастился? А, вон он!

Хованский, пробравшись сквозь толпу, приблизился к архиепископу Афанасию и спросил:

— А где же святейший патриарх?

— Он с митрополитами уже в царских палатах,— ответил Афанасий.

— Как, когда же он прошел? Я с Красного крыльца глаз не спускал.

— О святейшем патриархе заботиться нечего, он уж прошел. А вот как мы пройдем сквозь эту толпу? Вели, князь, твоим стрельцам очистить нам дорогу.

Вместе с Афанасием и следовавшим за ним духовенством Хованский вошел во дворец.

— Государыня,— сказал он Софье,— вели святейшему патриарху немедленно идти на площадь: проклятые бунтовщики угрожают ворваться во дворец и убить патриарха со всем духовенством и всех бояр. Я опасаюсь и за твое здоровье.

— Я назначила Грановитую палату для беседы,— отвечала Софья.— Объяви, князь, бунтовщикам мою волю.

Видя непреклонность царевны, Хованский вышел на Красное крыльцо и велел позвать Никиту с сообщниками в Грановитую палату, куда уже пошли Софья, сестра ее царевна Марья, тетка Татьяна Михайловна и царица Наталья Кирилловна в сопровождении патриарха, всего духовенства и Государственной думы, немедленно собравшейся по приказанию царевны. Софья и царевна Татьяна Михайловна сели на царские престолы; возле них в креслах расположились царица Наталья Кирилловна, царевна Марья и патриарх; потом, по порядку, восемь митрополитов, пять

архиепископов и два епископа. Члены думы, архимандриты, игумены, священники, несколько стольников, стряпчих, жильцов, дворян и выборных из солдатских и стрелецких полков, в том числе Петров, Цыклер и Чермной, стали по обеим сторонам палаты.

Наконец отворилась дверь. Вошел Хованский и занял свое место среди членов думы. За ним вошли двенадцать мужиков с зажженными восковыми свечами и толпа избранных сообщников Никиты с налоями, иконами, книгами и тетрадями; наконец явился сам Никита с крестом в руке. Его вели под руки сопроповедники его, крестьяне Дорофей и Гаврило, за ним следовали чернецы Сергий и два Саввация. На поставленные налои были положены иконы, книги и тетради, и мужики со свечами, как и на площади, стали пред налоями.

Когда шум, произведенный вошедшими, утих, Софья спросила строгим голосом:

— Чего требуете вы?

— Не мы,— отвечал Никита,— а весь народ московский и все православные христиане требуют, чтобы восстановлена была вера старая и истинная и чтобы новая вера, ведущая к погибели, была отменена.

— Скажи мне: что такое вера и чем отличается старая от новой? — спросила Софья.

— Вера старая ведет к спасению, а новая к погибели. Первой держимся мы, а второй следуете все вы, обольщенные антихристом Никоном.

— Я не о том спрашиваю. Скажи мне прежде: что такое вера?

— Никто из истинных сынов церкви об этом вопрошать не станет: всякий из них это знает. Я не хочу отвечать на твой вопрос, потому что последователи антихриста не могут понимать слов моих. Не хочу метать напрасно бисера...

— Лучше скажи, что ты не знаешь. Как же смел ты явится сюда, когда сам не знаешь, чего требуешь? Как смел ты надеть одежду священника, когда тебя лишили этого сана за твое второе обращение к ереси, в которой ты прежде раскаялся?

— Хищный волк с сонмом лжеучителей не мог меня лишить моего сана: власть его дарована ему антихристом. Я не признаю этой власти и не буду ей повиноваться.

— Замолчи, бунтовщик, и встань сюда, в сторону! И не вздумай ослушаться! Я тотчас же прикажу отрубить тебе голову!

Никита, нахмурив брови, замолчал и отошел в сторону.

— Говорите: зачем пришли вы? — спросила Софья, обратясь к сообщникам Никиты.

— Подать челобитную твоему царскому величеству! — ответил чернец Сергий, вынув из-за пазухи бумагу.

По приказанию царевны один из членов думы, взяв челобитную, начал читать ее вслух.

Челобитная состояла из двадцати четырех статей и никем не была подписана. По прочтении каждой статьи начинался спор между старообрядцами и священнослужителями.

Когда дошла очередь до пятой статьи, в которой было сказано, что в новом требнике напечатана молитва лукавому духу, Хованский, расхаживая по палате как бы для наблюдения за порядком, подошел к Никите и шепнул ему:

— Не опасайся, отец Никита, угроз царевны и не слабей в святом усердии.

Едва Хованский успел отойти от него, как Никита, не дав патриарху окончить начатое им возражение, закричал:

— Сомкни, хищный волк, уста твои, исполненные лести и коварства! Дела ваши обличают вас! Если б вы были не ученики антихристовы, то не стали бы молиться врагу человеческого рода!

— Ты говоришь это потому, что плохо знаешь грамматику! — сказал спокойно архиепископ холмогорский Афанасий. — В молитве на крещение сказано: «Ты сам Владыко Господи Царю прииди»; далее же следует: «Да не снидет со крещающимся, молимся тебе, Господи, дух лукавый» и прочее. Все, сказанное в этой молитве, относится к Богу, равно как и слова «молимся тебе, Господи». Если б последние относились к духу лукавому, то они не были бы отделены знаками препинания, да и «дух лукавый» надо было бы поставить в звательном падеже и сказать: «Душе лукавый».

— Сатана, которому вы молитесь, говорит твоими нечестивыми устами! — воскликнул Никита.

— Замолчи! — прикрикнула Софья и велела продолжать чтение челобитной.

По прочтении восьмой статьи, в которой доказывалось, что должно креститься двумя, а не тремя перстами, Никита, не обращая внимания на слова царевны, приказывавшей ему замолчать, с жаром воскликнул, обращаясь к Афанасию:

— Вот дела твои, душегубец! Вы повелеваете всем креститься тремя перстами, порицая истинное двуперстное сложение, а сами втайне слагаете пять перстов и призываете дьявола для обольщения православных! Горе тому, кто вас слушается! Ваше троеперстное сложение есть печать анти-

христа, а пятиперстное — знак союза с врагом человеческого рода!

— Душегубцы! Богоотступники! Дети антихристовы! — закричали все сообщники Никиты, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами.— Так, так дóлжно креститься!

Стрельцы, стоявшие на площади, слыша крик в Грановитой палате, начали громко роптать, вынимая сабли.

Софья с теткой и сестрой и царица Наталья Кирилловна встали со своих мест, намереваясь удалиться из палаты.

— Если вы разрешаете бунтовщикам в нашем присутствии и при святейшем патриархе творить такое,— сказала Софья Петрову, Цыклеру и Чермному,— то ни царям, ни мне, ни всему дому царскому в Москве более оставаться невозможно; мы все удалимся в чужие страны и объявим народу, что вы этому причиной.

— Мы готовы за тебя положить свои головы, государыня,— ответил Петров и начал умолять Софью переменить свое намерение.

После горячих просьб его, Цыклера и Чермного Софья опять села на один из престолов, и все заняли прежние места.

Когда в палате воцарилось молчание, архиепископ Афанасий сказал Никите:

— Греки, от которых Россия приняла православную христианскую веру при великом князе Владимире, крестятся, слагая три перста. Обычай этот сохраняет греческая церковь по преданию апостольскому. Вы ссылаетесь на Феодорита, епископа курского, будто бы повелевающего креститься двумя перстами; но вы лжете на Феодорита. Еще в лето шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое еретик Мартин Армянин учил слагать персты по-вашему и был предан проклятию собором, бывшим двадцатого октября того же года в Киеве. И потом, молитва не состоит из одного сложения перстов: надо поклоняться Богу духом и истиной. Если сердце ваше исполнено страстью к раздорам, гордости и ненависти к братьям вашим, если вы не покоряетесь властям и производите мятеж народный, то, как ни слагайте персты, молитва ваша не будет услышана. Бог внемлет молитвам праведных, которые соблюдают две главные заповеди Его: любить Бога и ближнего.

— Не тебе учить нас, душегубец! — крикнул Никита.— Не из любви ли к ближним уморил ты голодом великих страдальцев Феодора и Алексия?

— Ты клевещешь на меня! Узнав, что они учат народ не ходить в церкви, распространяют ересь свою вопреки цар-

скому запрещению, объявленному им при отправлении их еще при патриархе Никоне в Кандалажский монастырь, я потребовал их к себе и старался всеми мерами обратить их к церкви православной. Не моя вина, что в еде и питье, которые я им посылал с моего стола, грезились им какие-то черные змеи и что они бросали еду и выливали питье в окно. Вольно им было, испугавшись невидимых змей, уморить себя голодом и жаждою. За это нельзя винить меня.

— Ты уморил праведных страдальцев, душегубец! Услышьте моление мое, преподобный Феодор и многотерпеливый Алексий, помогите отомстить за смерть вашу. Погибни, сын погибели!..

С этими словами Никита бросился на Афанасия и хотел ударить его крестом в висок, но полковник Петров перехватил его руку и с трудом оттащил от архиепископа.

— Если ты осмелишься еще раз сойти со своего места и сказать хоть одно слово, то я, как ослушника царской власти, прикажу казнить тебя! — сказала Софья Никите.

Когда чтение челобитной закончилось, раздался благовест к вечерне. Начинало уже смеркаться. Софья встала с престола и сказала раскольникам:

— Теперь уже поздно что-либо решать. Все устали. Завтра продолжим, и вам объявят ответ на ваше прошение.

Софья с теткой и сестрой и царица Наталья Кирилловна удалились в свои покои, и все вышли из Грановитой палаты. Никита и сообщники его в сопровождении толпы народа пошли из Кремля на Красную площадь, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами и восклицая:

— Победили! Победили! Так слагайте персты! По-нашему веруйте!

Взойдя на Лобное место и положив на налои иконы, они продолжали кричать:

— По-нашему веруйте! Мы всех архиереев посрамили!

После этого они сказали народу поучение, будто бы по царскому повелению, и сошли с Лобного места, чтобы удалиться в слободу Титова полка.

Вдруг глаза у Никиты закатились и он упал на землю в страшных судорогах. Изо рта его пошла пена.

Сообщники его остановились в недоумении, толпа стрельцов и народа окружила их.

Наконец Никита пришел в себя и встал, шатаясь, на ноги.

— Хватайте его! — закричал полковник Петров, бросаясь с отрядом стрельцов своего полка к Никите.

— Не тронь! — закричали стрельцы — единомышленники раскольников.

— Хватайте, вяжите его! Крепче, Ванька, затягивай! — продолжал Петров.— Не мешайте нам, дурачье! Что вы за этого еретика заступаетесь, разве не видели вы, как его нечистый дух ударил оземь? От всякого православного дьявол бежит, не оглядываясь. Видно же, что этот бездельник — колдун и чернокнижник и всех нас морочит.

Слова эти произвели на защитников Никиты впечатление. Сообщники его в страхе разбежались, а толпа, шедшая за ним до Тюремного двора, постепенно рассеялась.

На другой день, шестого июля, рано утром вывели Никиту на Красную площадь. Палач с секирой в руке стоял уже на Лобном месте. Вскоре вся площадь наполнилась народом.

Думный дьяк прочитал указ об отсечении головы Никите, если он всенародно не раскается в своих преступлениях и ереси. В последнем случае велено было его сослать в дальний монастырь.

Никита, выслушав указ, твердыми шагами взошел на Лобное место.

— Одумайся! — сказал думный дьяк.

— Предаю анафеме антихриста Никона и всех учеников его! Держитесь, православные, веры старой и истинной!

— Итак, ты не хочешь раскаяться? — спросил дьяк.

— Умираю за древнее благочестие!

Перекрестясь двумя перстами, Никита положил голову на плаху. Народ хранил глубокое молчание.

Секира, сверкнув, ударила. Брызнула кровь, и голова Никиты, отлетев от туловища, покатилась. Все, бывшие на площади, невольно вздрогнули и, вполголоса разговаривая друг с другом, мало-помалу разошлись.

VI

Смерть Никиты сильно поразила и опечалила Хованского. С Одинцовым и некоторыми другими ревностными поборниками старой веры отслужив ночью панихиду по великому учителю своему и включив его в число мучеников, Хованский поклялся следовать по стопам его и во что бы то ни стало утвердить во всем Русском царстве древнее благочестие. Он начал еще больше потворствовать стрельцам, упросил Софью переименовать их. Надворной пехотой и всеми мерами старался их привязать к себе, чтобы с их

помощью достичь своей цели. Вскоре все стрельцы начали называть его отцом своим, и всякий из них готов был пожертвовать жизнью за старого князя. Поступки его не укрылись от Софьи. Опасаясь его авторитета у стрельцов, она продолжала оказывать ему прежнее внимание и искала случая удалить его под каким-нибудь благовидным предлогом из столицы. Милославский давно смотрел с завистью на возрастающее могущество Хованского и вскоре из друга превратился в непримиримого врага его. Наблюдая за поступками Хованского, он доносил обо всем Софье. Цыклер помогал и князю, и Милославскому. Незадолго до первого сентября, месяца через полтора после смерти Никиты, Цыклер рассказал Милославскому, что замыслы Хованского не ограничиваются восстановлением в государстве древнего благочестия, а простираются гораздо далее. Уведомленная об этом Софья, опасаясь, как бы Хованский не устроил опять мятеж, решила на время удалиться из Москвы с обоими царями и со всем домом царским в село Коломенское. Хованский остался в Москве. Перед отъездом Софья велела Хованскому присутствовать при молебне на дворцовой площади, который должен был совершать патриарх первого сентября, в день нового года, и наблюдать там за порядком. Этим она хотела обезвредить Хованского и обезопасить патриарха во время молебна среди тех самых стрельцов, которые недавно замышляли его убить.

Хованский, не имея возможности вновь устроить смуту, вопреки царскому повелению пробыл весь день нового года дома, не присутствовал на молебне и послал вместо себя окольничьего Хлопова.

Стрельцы, не смея ничего делать без приказа, ограничились лишь оскорбительными для патриарха восклицаниями во время молебна.

Поздно вечером пришли к Хованскому сын его князь Андрей, и полковник Одинцов и долго совещались с ним наедине в рабочей горнице боярина.

Во время ужина вошел в столовую дворецкий Савельич, уже весьма навеселе по случаю праздника.

Поклонившись низко князю и пошатнувшись в сторону, он оперся о стол руками и сказал довольно внятно, несмотря на то, что язык плохо ему повиновался:

— Хочу доложить тебе, что у нас приключилась превеликая беда. Не хотелось бы мне тревожить твою милость в такой день, да делать нечего, дело важное!

— Что такое? — спросил Хованский, несколько испугавшись.

— Этого нельзя сказать при других.

— Каково вам это? — сказал Хованский, посмотрев на сына и Одинцова.— Ты, видно, ум пропил, разбойник! Здесь лишних нет: все говори!

— Коли ты приказываешь, то я, пожалуй, скажу. А то сам же ты велел мне молчать и грозил отрубить голову, если я проболтаюсь.

— Добьюсь ли я от тебя сегодня толку, мошенник! — закричал князь, вскочив со своего места.

— Секира-то пропала!

— Какая секира, пьяница?

— Воля твоя, боярин, виноват не я. Ты сказал мне тогда, что эта секира понадобится тебе через три дня, и велел ее наточить. Я и наточил ее, вытесал и чурбан, веревки и два заступа приготовил, и убрал все в чулан, знаешь, в тот, где разный хлам валяется. Я несколько раз тебе докладывал, что надобно купить новый замок к чулану и что твой повар Федотка сущий вор. Ан так и вышло! Как он накануне твоего тезоименитства прошлого года бежал и замок тогда же украл, мошенник; сверх того, из погреба бутыль любимой твоей настойки, которую ты сам изволил делать, мой вязаный колпак да еще кой-какие мелочи...

— Что ты за вздор мелешь? Говори толком, пьяница!

— Изволь до конца выслушать. Ты мне на прошлой неделе приказывал купить на Отдаточном дворе вина для настойки. Прихожу я сегодня туда, не то чтобы выпить, а чтобы вина купить для твоей милости,— глядь, в углу стоит наша секира! Я спрашиваю у продавца: откуда он взял ее? Он сказал мне, что какой-то де мужик принес секиру и заложил ее за кружку вина. Я и смекнул: знать, кто-то стянул у нас секиру из чулана. Что тут за диво, коли замка нет! Вели купить замок, боярин, этак все растащат! Я, однако, беду поправил и выкупил секиру на свои деньги. Стало быть, два алтына с твоей милости. Ну, да ничего, сочтемся.

Одинцов и князь Андрей захохотали.

— Пошел вон, дурачина! — закричал Хованский.— Только из-за Нового года прощаю тебя. Напейся у меня в другой раз!

Дворецкий низко поклонился и, пошатываясь, вышел из комнаты.

— Про какую толковал он секиру? — спросил Одинцов старика Хованского.

— Я велел ее приготовить для Бурмистрова.

— Как, разве он еще жив? Я думал, что ему давно уже голову отрубили. По всей Москве говорили об этом.

Хованский объяснил Одинцову причины, по которым он отсрочил казнь Бурмистрова, и прибавил:

— Великий страдалец Никита повелел принести его в благодарственную жертву через три дня после восстановления древнего благочестия. Не сомневаюсь, что скоро принесем мы эту жертву.

— Я положил секиру в чулан,— сказал Савельич, войдя опять в комнату,— и привесил к двери замок с моего старого сундука.

— Убирайся вон, бездельник!— закричал Хованский.

— Я купил его лет пять тому назад за четыре алтына, а так как ты не господин наш, а настоящий отец, то я уступаю тебе этот замок, хоть он и новехонек, за три алтына. Стало быть, с твоей милости всего пять алтын. Еще забыл я спросить тебя: отцу-то Никите отрубили голову,— кто же теперь будет патриархом? Царем будешь ты, боярин,— это уже дело решенное, а патриарха-то где нам взять?

— Это что значит? — воскликнул Хованский, вскочив со своего места. Схватив со стола нож, он подошел к дворецкому и, взяв его за ворот, приставил нож к сердцу.— Говори, бездельник, где ты весь этот вздор слышал?

Дворецкий, как ни был пьян, догадался, однако, что выболтал лишнее. Чтоб выпутаться из беды, решил он прибегнуть к выдумке.

— Помилуй, боярин, за что ты на меня взъелся? — сказал он.— Я все это слышал на Отдаточном дворе.

— Что, на Отдаточном дворе? — воскликнул Хованский, изменяясь в лице.

— Истинно так! Там все говорят, что ты будешь царем и выберешь другого патриарха.

Хованский, стараясь скрыть испуг свой и смущение, сел опять к столу и отер с лица холодный пот.

— Насчитал я там человек тридцать подьячих, черно-слободских купцов и мужиков: все пили за твое государское здоровье. Грешный человек, не удержался и я, выпил за здоровье твоего царского величества!

— Поди выспись! Если ты скажешь кому-нибудь еще хоть слово о всех этих бреднях, то я велю тебе язык отрезать.

Когда дворецкий вышел, старик Хованский, обратясь к Одинцову, сказал:

— Кто-то изменил нам! Нет сомнения, что царский двор все уже знает, если уж на Отдаточном многое известно. Что нам делать?

— Не теряй, князь, бодрости,— ответил Одинцов.— Бог видит, что мы решились на доброе дело. Он наставит нас и нам поможет.

— Однако,— сказал молодой Хованский,— надо подумать о мерах предосторожности: могут схватить нас.

— Всего лучше, — посоветовал Одинцов,— скрыться в какое-нибудь не отдаленное от Москвы место, созвать туда всех наших сподвижников, посоветоваться и, призвав Бога в помощь, идти против еретиков. В Коломенском войска-то немного.

— Я сам то же думал,— сказал старик Хованский.— Но куда мы скроемся? Что обо мне подумают мои дети, моя Надворная пехота?

— Я объявлю им, чтобы они до приказа твоего оставались спокойно в Москве.

— Можно оставить здесь с ними Цыклера,— продолжил старик Хованский,— и поручить ему, чтобы он нас обо всем извещал.

— Цыклера? Давно я хотел сказать тебе, князь, что он человек ненадежный. Хоть он и притворяется тебе преданным, но я боюсь, что он ищет во всем своей только выгоды и при первой твоей неудаче предаст тебя.

— Почему ты так о нем думаешь? Он делом доказывает свое усердие.

— Притворяется! Ведь он перекрещен в нашу веру из немцев, а втайне наверняка держится своей лютеранской ереси. Я даже думаю, что это он донес о наших намерениях Софье и что от него разнеслись по Москве все эти слухи, о которых говорил твой дворецкий. Мне сказывал один из стрельцов, что видел недавно, как Цыклер поздно вечером пробирался в дом Милославского.

— Милославского? Это правда?

— Какая надобность стрельцу лгать на Цыклера!

— Благодарю тебя, Борис Андреевич, что ты меня предостерег.

Во время последовавшего затем молчания старый князь ходил взад и вперед по комнате; лицо его выражало сильное душевное волнение.

— Андрюша,— сказал он сыну,— проверь нашу стражу: все ли сто человек налицо? Вели им зарядить ружья и на ночь поставить у ворот часовых. Да скажи дворецкому, чтобы дал мне ключ от калитки, что на черном дворе, и чтобы велел оседлать наших лошадей и поставить у калитки.

— Куда ты, князь, собираешься? Теперь уже скоро полночь,— сказал Одинцов.

— Я хочу идти спать. Ночуй у меня, Борис Андреевич, а лошадь твою вели с нашими вместе поставить. Хоть опасаться нечего, все-таки лучше приготовиться на всякий случай, спокойнее спать будем. Да не лучше ли теперь же нам уехать из Москвы,— как ты думаешь?

— К чему так торопиться? Утро вечера мудренее. Успеем и завтра уехать. Прежде надо посоветоваться со всеми нашими сподвижниками да и взять их всех с собой. Пускай и Цыклер с нами едет, а в Москве оставим с Надворной пехотой Чермного: он будет один знать, где мы. Когда придет время, пошлем к нему приказ, чтобы поспешил к нам с войском, и пойдем истреблять еретиков.

В это время в комнату вошел Цыклер. Заметив беспокойство старика Хованского и то, как он переглянулся с остальными, Цыклер тотчас подумал: не узнал ли что-нибудь старый князь о его связи с Милославским?

— Я пришел к вам с важными вестями,— сказал он.— Слышал ли ты, князь, что Милославский вчера вечером, а Петров сегодня утром уехали в Коломенское?

— Я это знаю,— ответил старик Хованский.— Знаю и то, что ты по вечерам ходишь в гости к Милославскому.

— Я и пришел об этом поговорить. По старой дружбе зазвал он меня на днях к себе, сулил золотые горы и звал с собой в Коломенское. Я и притворился, что держусь стороны еретиков, а он сдуру и выболтал мне все. Уж как боятся тебя еретики! Однако ни он, ни супостатка Софья ничего не знают о наших намерениях. Хорошо бы застать их врасплох! Когда ты, князь, думаешь приступить к делу?

— Господь укажет час, когда должны мы будем извлечь мечи наши для поражения учеников антихриста. Завтра вечером уезжаем мы из Москвы.

— Куда?

— Увидишь, куда. Тебе надо ехать с нами. Ночуй у меня. Завтра целый день ты мне будешь нужен, а вечером отправимся вместе в дорогу.

— Очень хорошо! Вели, князь, послать за моей лошадью. Я пришел сюда пешком. Милославский велел подглядывать объезжим и решеточным за всеми, кто к тебе приезжает или приходит.

— Так ты его испугался?

— Есть кого бояться! Я решил приходить к тебе тайком, чтобы он думал, что я на их стороне. Я хочу на днях побывать в Коломенском. Он мне еще что-нибудь разболтает, а я все тебе перескажу. Я слышал, что он советовал Софье послать в Москву и во все города грамоты с указом,

чтобы стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары, солдаты, боярские слуги и другие ратные люди съехались в Коломенское. Не лучше ли, не теряя времени, нагрянуть в Коломенское, да и концы в воду? А там изберем царя и нового патриарха, хищного волка низвергнем в преисподнюю и составим новую думу. Ты наш отец, а мы дети твои. Будешь царем, а мы боярами!

— Не пленяйся, Иван Данилович, боярством и не прельщай меня царским венцом. Все в мире этом суета сует, кроме веры истинной. Если я и желаю царского венца, то для того только, чтобы ниспровергнуть царство антихриста, восстановить древнее благочестие и спасти душу мою.

Сказавши это, Хованский удалился в свою спальню. Одинцов и Цыклер в отведенной им комнате легли на ковры и, не сказав друг другу ни слова, заснули, а князь Андрей пошел проверять стражу и исполнять приказания отца. Когда часовые были расставлены и лошади оседланы, он лег в постель и целую ночь не смыкал глаз, мечтая о браке своем с царевной Екатериной. «Будет,— думал он,— сожалеть сестра ее, надменная Софья, что отвергла предложение отца моего. Родственный союз с князьями Хованскими, происходящими от короля Ягеллы, показался ей унизительным! Пусть же погибает она, пусть погибают все ее родственники, кроме моей невесты! После смерти отца я взойду на престол Московский. Я докажу свету, что Хованские рождены царствовать: завоюю Литву, отниму у турок Грецию и заставлю трепетать всех государей земли...»

Утренняя заря появилась уже на востоке, когда он заснул.

VII

Второго сентября на рассвете преданный Софье стрелецкий полковник Акинфий Данилов приблизился окольной дорогой к селу Коломенскому. Он выехал из Москвы ночью, чтобы донести царевне обо всем, что произошло в столице в день Нового года. Окна коломенского дворца, отражавшие лучи восходящего солнца, казались издали рядом горящих свеч. Подъехав ближе к дворцу, он увидел у одного из окон Софью.

Привязав лошадь к дереву, которое росло неподалеку от дворца, Данилов подошел к воротам. Прибитая к ним бумага бросилась ему в глаза. Он снял ее с гвоздя и увидел, что

это было письмо с надписью: «Вручить государыне-царевне Софье Алексеевне». Немедленно был он впущен в комнату царевны. Она стояла у окна. Милославский сидел у стола и писал.

— Что скажешь, Данилов? Что делается в Москве? — спросила царевна, стараясь казаться равнодушной.

— Вчерашний день прошел благополучно, государыня. Только во время молебна раскольники из стрельцов говорили злые слова.

— Был Хованский на молебне?

— Он послал вместо себя окольничьего Хлопова, а сам пробыл весь день дома.

— Слышишь, Иван Михайлович? Он ослушался моих повелений! Теперь я согласна поступить, как ты сегодня мне советовал... Это что за письмо? От кого?

— Не знаю, государыня,— отвечал Данилов.— Оно было прибито к воротам дворца.

Софья, распечатав письмо, прочитала его, топнула ногой и гневно заходила по комнате.

— Вот,— сказала она после долгого молчания,— дождались. Пишут, что Хованский с друзьями хотят новый мятеж учинить. Убить весь двор царский, бояр, патриарха и Ивана Хованского царем поставить. Каково? — Софья остановилась и пристально посмотрела на Милославского.— Грамоты, чтобы торопились сюда на помощь, всем разослали?

— Да, государыня,— поспешно ответил Милославский.

— Ну что ж, посмотрим,— прищурившись, сказала Софья и вышла из комнаты.

В тот же день весь царский дом поспешно удалился из села Коломенского в Саввин монастырь, а оттуда спустя несколько дней переехал в село Воздвиженское. Получаемые из Москвы от Цыклера известия то тревожили, то успокаивали Софью. Хованский пока бездействовал. Софья приписывала это его нерешительности и продумывала, как избавиться от человека, столь для нее опасного.

Хованский действительно никак не мог решиться перейти к активным действиям. С одной стороны, ложно понимаемый долг и слепое подчинение вере, с другой стороны, ужас, возбуждаемый в нем мыслью о цареубийстве, которое казалось ему необходимым,— все это порождало в его душе мучительную борьбу. Нередко со слезами молил он Бога наставить его на путь правый и ниспослать какое-нибудь знамение. Однажды после продолжительной молитвы старый князь взял евангелие. На раскрывшейся стра-

нице первые слова, попавшиеся ему на глаза, были следующие: «Воздадите Кесарева Кесареви и Божия Богови».

Эти слова Спасителя произвели непостижимое действие на князя. Он вдруг увидел бездну, на краю которой стоял до сих пор с закрытыми глазами. Грех цареубийства представился ему во всем своем ужасе. Он упал перед образом своего ангела и долго молился, не смея поднять на него глаз. В тот же день Хованский с сыном, Цыклером и Одинцовым тихо уехали в село Пушкино, принадлежавшее патриарху. Он твердо решил оставить все свои замыслы, служить царям до могилы и лишь просьбами своими пытаться склонить царей к восстановлению церкви, которую считал истинной.

Узнав, что сын малороссийского гетмана едет к Москве, Хованский через Чермного, оставшегося в столице, послал донесение к государям и в выражениях, которые показывали искреннюю его преданность, спрашивал: как принять гетманского сына? Шестнадцатого сентября Чермной, знавший один убежище князя, привез ему царскую грамоту, в которой содержались похвала его верной и усердной службе и приглашение приехать в Воздвиженское.

Одинцов и молодой Хованский, зная, что в Воздвиженском все делается не иначе, как по советам Милославского, предостерегали старого князя и не советовали ему ехать в Воздвиженское. Оба они тайно осуждали его за нерешительность и трусость и были неприятно поражены, когда он отказался от своих замыслов и решил верно служить царям. Молодой Хованский немедленно уехал из села Пушкина в принадлежавшую ему подмосковную вотчину на реке Клязьме.

Циклер проводил его туда, дал ему совет не отчаиваться и поскакал прямо в село Воздвиженское.

В селе Пушкине остался со стариком Хованским Одинцов. Он уговаривал князя, говорил ему о невозможности примирения с Софьей и с Милославским и угрожал ему неизбежною гибелью. Хованский показал ему царскую грамоту, в которой его звали в Воздвиженское, и сказал:

— Завтра день ангела царевны Софьи Алексеевны. Завтра поеду я в Воздвиженское и покаюсь перед нею. Она, верно, меня простит, и я до конца жизни моей буду служить ей верой и правдой.

Одинцов, слушая князя, закрыл лицо руками и заплакал.

— Губишь ты себя, Иван Андреевич, и всех нас вместе с собою!

Рано утром семнадцатого сентября боярин князь Иван

Михайлович Лыков с несколькими стольниками и стряпчими и с толпою вооруженных служителей их выехал по приказанию Софьи из Воздвиженского. Цыклер открыл ей, где скрываются Хованские, и получил за это в подарок богатое поместье.

Приблизясь к селу Пушкину, отряд остановился в густой роще. Лыков послал в село одного из служителей разведать, там ли старый князь. Вскоре тот вернулся и поведал, что Хованский живет не в селе, а неподалеку в лесу под горой. Лыков с отрядом немедленно направился туда и вскоре, миновав указанную гору, увидел в лесу шатер.

В шатре сидели старик Хованский с Одинцовым. Оба вздрогнули, услышав конский топот. Одинцов, вынув саблю, вышел из шатра.

— Ловите, хватайте изменников! — закричал Лыков.

Толпа служителей бросилась на Одинцова и, несмотря на отчаянное его сопротивление, скоро его обезоружила.

Хованский сдался сам. Его и Одинцова связали и, посадив во взятую из села крестьянскую телегу, повезли.

Когда они доехали до подмосковной вотчины, которая принадлежала молодому Хованскому, Лыков велел немедленно окружить дом владельца.

Вдруг из окна раздался выстрел, и один из служителей, смертельно раненный, упал с лошади. Тут же во всех окнах появились вооруженные ружьями холопы князя.

— Ломай дверь! В дом! — закричал Лыков.

Раздалось еще несколько выстрелов, но пули ранили только двух лошадей.

Дверь выломали. Сначала служители, а за ними Лыков со стольниками и стряпчими вбежали в дом. Князь Андрей встретил их с саблей в руке.

— Не дамся живой! Стреляйте! — кричал он своим холопам. Те, поняв безнадежность сопротивления, в панике бросили ружья и начали прыгать один за другим в окна. Молодого князя обезоружили, связали и, посадив на одну телегу с отцом и Одинцовым, повезли в Воздвиженское.

По приказанию Софьи все бояре, бывшие в этом селе, немедленно собрались, чтобы судить привезенных преступников.

Хованских и Одинцова ввели в залу. Думный дьяк Федор Шакловитый прочитал обвинение и приготовленный уже приговор.

Когда думный дьяк закончил чтение приговора слова-

ми «казнить смертью», старик Хованский всплеснул руками и, взглянув на небо, глубоко вздохнул, а князь Андрей, содрогнувшись, побледнел как полотно.

Вскоре Хованских и Одинцова вывели за дворовые ворота. Все бояре вышли вслед за ними.

— Где палач? — спросил Милославский полковника Петрова.

— Нигде не нашел,— ответил Петров в смущении.

— Сыщи, где хочешь! — закричал гневно Милославский.

Петров удалился и через несколько минут привел стрельца Стремянного полка, приехавшего вместе с ним из Москвы. Тот нес секиру.

Два крестьянина по приказанию Петрова принесли толстый отрубок бревна и положили на землю вместо плахи.

— К делу! — сказал стрельцу Милославский. Служители подвели связанного старика Хованского к стрельцу и поставили рядом с бревном на колени.

— Клади же, князь, голову! — сказал стрелец.

Читая вполголоса молитву, Хованский ничего не ответил и не пошевелился.

— Делай свое дело! — закричал Милославский стрельцу.

Стрелец взял князя за плечи, положил голову его на плаху. Раздался удар секиры, хлынула кровь, и голова упала на землю.

Князь Андрей, ломая руки, подошел к обезглавленному трупу отца, поцеловал его и положил голову на плаху.

Секира сверкнула еще раз, и голова юноши упала возле головы отца.

— Теперь твоя очередь! — сказал Милославский Одинцову.

Одинцов содрогнулся. Служители, схватив его, потащили к плахе.

— Бог тебе судья, Софья Алексеевна! — кричал Одинцов.— Вот мне награда за то, что я помог тебе отнять власть у царицы Натальи Кирилловны! Бог тебе судья, Иван Михайлович! Сжальтесь, бояре: дайте хоть время покаяться и приготовиться по-христиански к смерти.

— Руби! — закричал Милославский, и не стало Одинцова.

Тела Хованских положили в один гроб и отвезли в находившееся неподалеку от Воздвиженского Троицкое село, а труп Одинцова зарыли в ближнем лесу.

На другой день, восемнадцатого сентября, был отправ-

лен в Москву, к патриарху, стольник Петр Зиновьев с грамотой об измене и казни Хованских. Милославский также поручил ему, по приказанию царевны Софьи, освободить всех, кто содержался в тюрьме старого князя. Однако комнатный стольник царя Петра Алексеевича князь Иван Хованский, другой сын казненного, выехав в ночь на восемнадцатое сентября из Воздвиженского, прискакал в Москву раньше Зиновьева и объявил стрельцам, что его отец, брат и Одинцов казнены без царского указа и что бояре, находившиеся в Воздвиженском, набрав войско, хотят всех стрельцов, жен и детей их изрубить, а дома сжечь. Ярость стрельцов была беспредельна. В полночь раздался звук набата и барабанов, и вся Москва ужаснулась. Стрельцы немедленно бросились к Пушечному двору и его разграбили. Несколько пушек развезли по своим полкам, другие поставили в Кремле; ружья, карабины, копья, сабли, порох и пули роздали всем желающим; поставили сильные отряды для стражи в Кремле, на Красной площади, в Китай-городе, у всех ворот Белого города и во многих местах Земляного; воздвигли укрепления, загородили улицы насыпями и палисадами. Жен и детей своих со всем имуществом они перевезли из стрелецких слобод в Белый город. На всех площадях и улицах Москвы всю ночь раздавались неистовые крики мятежников, ружейные выстрелы, стук барабанов и скрип колес телег, везущих пушки и пороховые ящики. Среди этого смятения Зиновьев успел въехать в Москву. Приблизясь к Кремлю, он увидел, что ему невозможно туда пробраться для вручения грамоты патриарху, так как у всех кремлевских ворот стояли на страже толпы мятежников. Он вынужден был остаться в Китай-городе и решил пока исполнить другое поручение Милославского: освободить всех из тюрьмы Хованского.

Еле отыскав дворецкого Савельича, спрятавшегося с испуга на конюшне, Зиновьев строго сказал:

— Давай скорее ключи от тюрьмы! Царевна Софья Алексеевна приказала выпустить всех тюремных сидельцев.

— Не спросясь князя Ивана Андреича, я не могу,— отвечал Савельич дрожащим голосом.

— Ну так сходи на тот свет да спроси. Князю отрубили вчера голову за измену, и сыну его также.

— Как?! — воскликнул дворецкий, всплеснув руками. Он давно служил у Хованского и искренно был к нему привязан.— Ах, мои батюшки! — завопил Савельич, обливаясь слезами.— Отец ты мой родной, князь Иван Андреич! Пропали мы, бедные, осиротели без тебя!

— Ну, полно выть! Давай ключи! — закричал Зиновьев.

— Возьми, возьми,— сказал дворецкий, продолжая плакать и отвязывая ключи от кушака.— Я уж не дворецкий теперь. Ох, горе, горе!

Зиновьев выпустил всех из тюрьмы князя, и вскоре Бурмистров, никем не узнанный, торопливо шел к дому приятеля своего, купца Лаптева.

VIII

— Молись, Варвара Ивановна, молись, не отставай! — говорил Лаптев жене своей, которая уже устала вместе с ним класть перед иконами земные поклоны.— Писание велит непрестанно молиться!

— Я чаю, скоро светать начнет, Андрей Матвеевич! Пора поесть сготовить!

— До еды ли теперь! По всему видно, что настали последние времена. Что это? Ну, пропали мы! Кажется, кто-то стучит в калитку. И опять из пушек палят! А колокола-то, колокола-то как звенят!

— Господи Боже мой, помилуй нас грешных! — прошептала с глубоким вздохом Лаптева.

Муж и жена начали еще усерднее кланяться.

Вдруг отворилась дверь, и вошел Бурмистров. От долгого пребывания в тюрьме он так похудел и побледнел, что не только ночью, в горнице, освещенной одною лампадой, но и днем можно было его счесть за мертвеца.

— С нами крестная сила! — воскликнул Лаптев, падая на пол и закрывая лицо руками.— Мертвые встают из гробов!

Лаптева, оглянувшись на вошедшего в горницу и рассмотрев лицо его, закричала что было силы и полезла под кровать.

— Что вы так перепугались? — сказал Василий.— Я такой же живой человек, как и вы. Встань-ка, Андрей Матвеевич, да поздоровайся со мной, мы уж с тобой давно не виделись.

С этими словами поднял он своего приятеля с пола.

Лаптев, всмотревшись пристально в лицо Бурмистрову и убедившись, что перед ним стоит не мертвец, а старинный друг его, заплакал от радости и бросился его обнимать.

— Жена! — кричал он.— Вылезай скорее!.. Господи, не ждал я такой радости!.. Да как это Бог тебя сохранил, Василий Петрович? Я уж давно по тебе панихиду отслужил... Варвара Ивановна! Да что ж ты не вылезаешь!

Лаптева, лежа под кроватью, от сильного испуга услышала только, что муж ее кличет.

— Прощай, Андрей Матвеич, прощай, голубчик мой! Пусть уж он тебя одного тащит, а я не вылезу! Приведи меня Господь на том свете с тобой увидеться!

— Авось и на этом еще увидимся! — сказал Лаптев, подходя к кровати.— Помоги мне, Василий Петрович, ее вытащить. Она так тебя перепугалась, что ее теперь оттуда калачом не выманишь. Да помоги, Василий Петрович! Видишь, как упирается, мне одному с ней не сладить!

Бурмистров, едва удерживаясь от смеха, подошел к Лаптеву, который с трудом тащил жену свою из-под кровати. Василий помог ему поднять ее с пола.

Варвара Ивановна в ужасе зажмурила глаза, замахала руками и потеряла сознание.

В это время в горницу вошел Андрей, брат Натальи, и в изумлении остановился у двери. Лаптев и Бурмистров, хлопотавшие около Варвары Ивановны, его не заметили.

«Что бы это значило? — подумал он.— Каким образом очутился здесь Василий Петрович, которому давно голову отрубили? Если он не мертвец, то отчего Варвара Ивановна в таком ужасе? Если же он мертвец, то почему Андрей Матвеевич с таким усердием помогает ему тащить жену свою? Вспомнив, что Плиний повествует о явлении мертвеца в одном римском доме, он разрешил свое недоумение тем, что Бурмистров после казни был брошен где-нибудь в лесу и теперь явился Лаптеву, как Патрокл другу своему Ахиллесу, требуя погребения. При этой мысли Андрей почувствовал по всему телу озноб, перекрестился и хотел бежать вон из горницы. На беду свою он при входе плотно затворил за собой дверь, не зная, что замóк этой двери испорчен и что ее нельзя отворить, если она захлопнется. Схватясь за ручку замка, начал он ее проворно вертеть то в ту, то в другую сторону; с каждым безуспешным поворотом ручки ужас его возрастал и достиг высшей степени, когда Бурмистров и Лаптев положили на кровать Варвару Ивановну и Василий, увидев наконец Андрея, пошел к нему с распростертыми объятиями.

— Чур меня! Чур меня! — закричал Андрей во все горло, бросаясь опрометью от двери. В испуге перескочил он через Варвару Ивановну, лежавщую на краю постели, приподнял другой край перины, касавшийся стены, и под нее спрятался.

Бурмистров не мог удержаться от смеха; Лаптев также захохотал, схватясь обеими руками за бока.

— Ах ты, Господи, и смех и горе! — проговорил он прерывающимся от хохота голосом.— Добро моя жена, а то и Андрей Петрович подумал, что ты мертвец. Ох, батюшки мои, бока ломит от смеху!

— Неужто ты думаешь, Андрей Матвеевич, что я на самом деле испугался? Хе, хе, хе! Я не так суеверен, как ты думаешь,— сказал Андрей, приподняв перину и высунув улыбающееся лицо, на котором не изгладились еще признаки недавнего ужаса.— Я решил пошутить и насмешить вас. Правда, я очень удачно притворился и весьма естественно изобразил испуг и ужас?

— Кто это тут говорит? — спросила слабым голосом Лаптева, которая пришла тем временем в себя и приободрилась, видя, что и муж, и Бурмистров хохочут.

— Это я, Варвара Ивановна! — ответил Андрей, вылезая из-под перины.

— Господи, твоя воля! Да откуда ты это взялся, Андрей Петрович, в моей постели? — сказала удивленная Лаптева, оглянувшись на Андрея.

— В самом деле, это забавно! Хе, хе, хе! Я пошутил, Варвара Ивановна! — ответил тот, перешагнув через нее и спрыгнув на пол.

— Осрамил ты мою головушку! — сказала Лаптева, слезая с постели.

По просьбе Андрея, Лаптева и жены его Бурмистров объяснил, отчего прошел по Москве слух о его казни, и каким образом избежал он смерти.

Несколько отдаленных пушечных и ружейных выстрелов повернули разговор к делам насущным.

— Что-то будет с нами? — сказал со вздохом Лаптев.— Не убраться ли нам скорее из Москвы?

— Это невозможно,— ответил Бурмистров,— на всех заставах стоят отряды мятежников. Они никого не выпускают за город и не пропускают в Москву.

— Позавидуешь, право, матушке и сестре! — сказал Андрей.— Они, я думаю, ничего и не знают, что здесь делается.

— Здоровы ли они? — спросил Бурмистров.

— Я уже месяца три не получал от них никакого известия,— ответил Андрей.— С тех самых пор, как в конце июня приезжал сюда из Ласточкина Гнезда твой слуга Гришка. Он расспрашивал меня, что с тобой было после того, как схватили тебя в селе Погорелове. Я сказал ему, что ничего толком неизвестно. Он заплакал да с тем и поехал назад.

В это время в комнату вбежал приказчик Лаптева Иван Кубышкин и бросился ему в ноги.

— Взгляни-ка, хозяин, как меня нарядили! — воскликнул он сквозь слезы.— Научи меня, что мне делать?! Бунтовщики всучили мне в руки вот это ружьецо, напялили на меня кожаный кушак с этими окаянными пистолетами да прицепили эту саблю и велели, чтобы я с ними заодно бунтовал. Не то де голову снесем! Я с самой Красной площади бежал сюда без оглядки.

— Господи Боже мой! Сними-ка скорее все это да засунь куда-нибудь. Вот хоть сюда. Под кровать, или нет, постой, брось лучше всю эту дрянь в помойную яму.

— Для чего бросать? — вмешался Бурмистров.— Может быть, эта дрянь пригодится. Подай все сюда. Какой славный карабин! Сними-ка саблю. Кто это тебе надел ее на правый бок?

— Дали-то мне ее бунтовщики, а нацепил я сам,— отвечал приказчик, подавая Василию саблю вместе с пистолетами.

— Ого, какая острая! И пистолеты хороши.

Вынув из кожаного пояса две пули и две жестяные трубочки с порохом, заткнутые пыжами, Бурмистров начал заряжать пистолеты. Приказчик, сдав оружие, перекрестился и вышел из комнаты.

Безоблачный восток зарумянился зарей, и вскоре лучи утреннего солнца осыпали золотом спокойную гладь Яузы.

Вдруг под окнами дома Лаптева послышался шум. Бурмистров, выглянув в окно, увидел, что несколько солдат тащат мимо дома связанного офицера. Схватив саблю и пистолеты и надев на себя кожаный пояс с зарядами, Василий выбежал из комнаты.

Нагнав солдат, он закричал:

— Стой! Куда вы его тащите, бездельники?

— А тебе что за дело? — ответил один из солдат.

— А ну развяжите!

Солдаты остановились.

— Да что ты нам за указчик? Знать мы тебя не хотим! — бормотали некоторые из них.

— Что? Не слушаться?! Вас всех расстреляют!

— Не расстреляют! — сказал один из солдат.— Иди-ка ты, куда шел.

— Ах так?! — воскликнул Бурмистров и выстрелил в бунтовщика из пистолета. Солдат, раненный в плечо навылет, упал.— Хватайте, вяжите их! — закричал Бурми-

стров толпе мужиков, собравшейся около солдат из любопытства.

Мужики повиновались. Быстро они обезоружили и связали бунтовщиков.

Офицера, отнятого у солдат, Бурмистров пригласил войти в дом Лаптева, а связанных солдат велел вести к нему во двор и запереть в сарай.

— Кому обязан я своим избавлением? — спросил офицер, войдя за Василием в дом и поклонясь хозяину, хозяйке и Андрею.— Кого должен благодарить я за спасение моей жизни?

— Без помощи этих добрых посадских я бы ничего не сумел сделать,— отвечал Бурмистров.— Меня благодарить не за что.

— Как не за что? Если бы не ты, так капитана Лыкова поминай как звали! Бездельники тащили меня на Красную площадь и хотели там расстрелять.

— Капитан Лыков?.. Боже мой! Да мы, кажется, с тобой встречались? Помнишь, в доме полковника Кравгофа...

— То-то я смотрю: лицо твое вроде знакомо. Как, бишь, зовут тебя? Ты ведь пятисотенный?

— Был пятисотенным. После бунта пятнадцатого мая вышел я в отставку. Ну, что поделывает Кравгоф? Где он теперь?

— Он через неделю после бунта уехал со стыда в свою Данию. Полуполковник наш, Биельке, умер — вечная ему память! — и майор Рейт начал править полком. Недели на две уехал он в отпуск, оставив меня за старшего, а без него, как нарочно, и стряслась беда. Сегодня в полночь услышал я, что в Москве бунт. «Ах ты дьявол! — подумал я.— Да будет ли конец этим проклятым бунтам?» Собрал я весь наш полк и хотел из нашей слободы нагрянуть на бунтовщиков. Дошли мы до Земляного города. «Ребята! — крикнул я.— От меня не отставай!» Первая рота, нечего сказать, отличилась, молодец: так на вал за мной и полезла. Стрельцы начали было отстреливаться, но потом не выдержали — побежали. Я с вала кричу прочим ротам: «За мной!» А они, подлецы, ни с места! Спустились мы с первой ротой с вала и давай бунтовщиков свинцом поливать. Преследовали мы их, пока не наткнулись на пушки. Тут уж делать нечего, пришлось отступать. Вышли мы из Земляного города, и я прямо к прочим ротам. Начал их ругать, на чем свет стоит а они меня, подлецы, схватили, руки назад затянули веревкой да и потащили к этому сатане, Чермному, на Красную площадь. Тьфу, срамота! Лучше удавиться! Ведь

полк-то наш, кроме первой роты, опять себя опозорил и пристал к этим окаянным бунтовщикам.

Лыков от сильного негодования вскочил со скамьи, и слезы навернулись у него на глазах.

— А знаешь ли, что поганые бунтовщики было затеяли? — продолжал он, обратясь к Бурмистрову.— Поймали они стольника Зиновьева, который прислан был из Воздвиженского с царской грамотой к патриарху, привели его к святейшему отцу и велели грамоту читать вслух. Как услышали они, что Хованские казнены за измену — батюшки-светы! — взбеленились и заорали в один голос: «Пойдем в Воздвиженское и перережем там всех!» И патриарха убить грозились. А как услышали, что царский дом со всеми боярами едет в Троицкий монастырь, что там есть войско, крепкие стены, а на стенах чугунные дуры, так и храбрость прошла. Хвосты поджали, бездельники, и объявили, что если из монастыря придет войско к Москве, то они поставят посадских с женами и детьми перед собой и из-за них станут драться. Я думаю как-нибудь из Москвы дать тягу в монастырь. Не поедешь ли и ты вместе со мной?

— Был бы рад,— ответил Бурмистров,— да нет возможности отсюда вырваться. Надо здесь что-нибудь делать.

— А что?

— Можно подговорить посадских и других честных граждан. Бунтовщики всем жителям раздали оружие. Нападем на них врасплох ночью. Жалеть их нечего!

— Ай да пятисотенный! — воскликнул Лыков, вскочив со своего места и бросаясь обнимать Бурмистрова.— Знатно выдумал!

Лаптев, тихонько дернув Бурмистрова за рукав, повел его из светлицы в нижнюю комнату, затворил дверь и сказал шепотом:

— Не во гнев тебе будет сказано, Василий Петрович, но мне кажется, что тебе лучше спрятаться на несколько дней у меня в доме, а потом тихо выбраться из Москвы. Если дойдет до царевны Софьи Алексеевны и Милославского, что ты жив, то тебя схватят, отрубят голову или пошлют туда, куда ворон костей не заносит. Милославский, ты сам знаешь, на тебя пуще сатаны зол. Уж он тебя не помилует да выпытает еще, где Наталья Петровна. Ты и себя, и ее погубишь. Бунтовщиков и без тебя уймут, а Софье-то Алексеевне впредь наука. Ее, видимо, Бог наказывает за то, что она обидела царицу Наталью Кирил-

ловну. Пусть капитан один усмиряет разбойников, а тебе, Василий Петрович, лучше из Москвы подальше убраться. Поезжай с Богом в Ласточкино Гнездо и обрадуй твою невесту.

— Нет, Андрей Матвеевич, не могу,— власть, какая бы ни была, лучше безначалия. Например, теперь всякий бездельник, всякий кровожадный злодей может безнаказанно ворваться в дом твой, лишить тебя жизни, ограбить; может оскорбить каждого мирного и честного гражданина, обесчестить его жену и дочерей, зарезать невинного младенца на груди матери. Милославский как ни зол, но этого не сделает. Если не любовь к добру, то по крайней мере собственная польза и безопасность всегда будут побуждать его к сохранению общего спокойствия и порядка, которых ничем нельзя прочнее охранить, как исполнением законов и строгим соблюдением правосудия. Так что если бы даже стрельцы бунтовали против одной Софьи Алексеевны, и тогда бы я стал против них действовать. Но вспомни, что злодеи хотят погубить весь дом царский и царя Петра Алексеевича — надежду отечества. Не клялся ли я защищать его до последней капли крови?

— Эх, Василий Петрович, да мне тебя жаль! Подумай о своей головушке, вспомни о своей невесте: ведь злодей Милославский запытает тебя до смерти, чтобы узнать, куда ты скрыл ее.

— Ну, что ж, я умру, но Милославский не узнает ее убежища.

Лаптев хотел что-то еще сказать, но не смог больше вымолвить ни слова; заплакал и крепко обнял Бурмистрова.

— Да благословит тебя Господь! — сказал он наконец, всхлипывая.— Делай, что Бог тебе на сердце положил, а я буду за тебя молиться. Он посильнее и царевны Софьи Алексеевны, и Милославского. Он защитит тебя за твое доброе дело.

После этого оба пошли в светлицу.

— Ну что, пятисотенный, когда приступим к делу? У нас есть еще помощник.

— Кто? — спросил Бурмистров.

— А вот этот молодец! — ответил Лыков, взяв за руку Андрея.— У него так руки и зудят подраться с бунтовщиками! Я бы его сегодня же принял в наш полк прапорщиком! Брось-ка, Андрей Петрович, свою академию да возьми вместо пера шпагу.

— Можно владеть и мечом, и пером вместе!

— Пойдем, капитан, и ты, Андрей Петрович, в нижнюю

горницу,— сказал Бурмистров.— Надо посоветоваться. Не пойдешь ли и ты с нами, Андрей Матвеевич?

— Посоветоваться? Ох, уж мне эти советы! — воскликнул Лыков.— Кравгоф был большой до них охотник и до того досоветовался, что нас чуть было всех не перестреляли, как тетеревов!

— А нам надо,— сказал Василий,— посоветоваться для того, чтобы перестрелять бунтовщиков, как тетеревов!

Лыков пошел с Бурмистровым и Лаптевым в нижнюю горницу. Андрей, радуясь, что его пригласили для военного совета, последовал за ними.

— Да не лучше ли вам здесь посоветоваться? — спросила Варвара Ивановна.— Ведь я никому ничего лишнего не выболтаю.

— Нет, жена! Не мешай дело делать, а лучше приготовь-ка обед. Помнишь сеновал-то?

— Да, я чаю, и ты его не забыл! — отвечала Лаптева.

— Ну, ну, полно! Кто старое помянет, тому глаз вон!

IX

Через несколько дней после совещания капитан Лыков пришел утром к Лаптеву.

— Не здесь ли Василий Петрович? — спросил он хозяина, который вышел в сени его встретить.

— Здесь, господин капитан, в верхней светлице.

— Все, пятисотенный,— воскликнул Лыков, войдя в светлицу,— все труды наши пропали, все пропало!

— Как! Что это значит? — спросил Бурмистров с беспокойством.

— А то, что не удастся нам с тобой повоевать с проклятыми бунтовщиками! Дошел до них слух, что около Троицкого монастыря собралось сто тысяч войска. Так теперь собачьи дети не знают, куда деваться со страха. Бросились к боярину Михаилу Петровичу Головину, который на днях от государей в Москву приехал, и давай в ноги ему кланяться. Нас де смутил молодой князь Иван Иванович Хованский! Ревут, как бабы, и помилования просят.

— Слава тебе, Господи! — воскликнул Лаптев, перекрестясь.— Стало быть, бунтовщики унимаются?

— Унялись, разбойники! От боярина Головина они бросились к святейшему патриарху, и тому бух в ноги. Патриарх отправил в Троицкий монастырь архимандрита Чудова монастыря Адриана с грамотами к царям, что бунтовщики

де просят их помиловать и обещают впредь служить верой и правдой. Софья Алексеевна прислала в ответ приказ, чтобы до двадцати человек выборных из каждого полка Надворной пехоты пришли в Троицкий монастырь с повинной головой. Собрались все, мошенники, на Красной площади и начали советоваться: идти ли выборным в монастырь? Ни на одном лица нет.

— Какие чудеса происходят на Красной площади! — сказал Андрей, войдя в светлицу.— Такие чудеса, что и поверить трудно.

— Что, что такое? — спросили все в один голос.

— Сотни две главных бунтовщиков надели на шеи петли и выстроились в ряд. Перед каждым из них встали два стрельца с плахой, а с боку еще стрелец с секирой. И Черной надел на себя петлю...

— О, кстати,— перебил его Лыков.— Хорошо, что вспомнил. Вели-ка, Андрей Матвеевич, моих солдат, что у тебя в сарае сидят, вывести на двор. Я сейчас приду.

Лыков поспешно вышел. Через полчаса привел он на двор Лаптева около тридцати солдат первой роты и поставил их в ряд. Один из них держал пук веревок. Бурмистров, Лаптев и Андрей вышли на крыльцо, а Варвара Ивановна, отворив из сеней окно, с любопытством смотрела на происходившее.

— Ребята! — закричал Лыков солдатам первой роты.— Вы дрались с бунтовщиками по-молодецки! Я уже благодарил вас и теперь еще скажу спасибо и, пока у меня язык не отсохнет, все время буду это повторять!

— Рады стараться, господин капитан! — гаркнули в один голос солдаты.

— За Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Будь я подлец, если вам через три дня не выпрошу царской милости. Всех до одного в капралы, да еще и деньжонок вам выпрошу.

— Много благодарствуем твоей милости, господин капитан!

— А покуда сослужите мне еще службу. Всем этим подлецам, трусам, бунтовщикам и мошенникам наденьте петли на шеи. Я научу их не слушаться капитана и таскать его по улицам, словно какую-нибудь куклу! Отведите их всех на Красную площаь.

— Взмилуйся, господин капитан! — заговорили выведенные из сарая солдаты.

— Молчать! — закричал Лыков. Он взошел на крыльцо и вместе с Бурмистровым, Лаптевым и Андреем, войдя

в нижнюю горницу, сел спокойно за стол, на котором стояли уже пирог и миска со щами.

Прошло несколько дней. Наконец возвратились в Москву все мятежники, которые пошли в Троицкий монастырь с повинной головой. Софья объявила им, чтобы они немедленно прислали в монастырь князя Ивана Хованского, возвратили на Пушечный двор взятые оттуда пушки и оружие, покорились безусловно ее воле и ждали царского указа. Патриарх Иоаким сочинил между тем «Увет духовный», содержавший в себе опровержение челобитной, которую подал Никита с сообщниками, и призыв ко всем раскольникам, чтобы они обратились к церкви православной.

Восьмого октября собрались стрельцы и солдаты Бутырского полка на площади перед Успенским собором. По окончании обедни патриарх прочел «Увет духовный» и объявил, что цари, по ходатайству его приняв раскаяние бунтовщиков, их прощают. Все после этого целовали положенные на налоях Евангелие и руку святого апостола Андрея Первозванного, изображавшую тремя сложенными перстами крестное знамение. Один Титов полк остался непреклонным, не захотел отречься от древнего благочестия и с площади возвратился в слободу.

Когда дом царский возвращался в столицу, по обеим сторонам дороги стояли безоружные стрельцы и громко благодарили царей за оказанное им милосердие. Царь Иван Алексеевич, бледный и задумчивый, ехал, потупив глаза в землю, и не обращал внимания на происходившее. Огненные взоры юного царя Петра, бросаемые на мятежников, выражали попеременно то гнев, то милость.

Ивана Хованского сослали в Сибирь. Чермной по ходатайству Милославского получил прощение. Цыклеру пожалована была вотчина в триста дворов, а Петрову в пятьдесят, и все многочисленное войско, собравшееся к Троицкому монастырю для защиты царей от мятежников, было щедро награждено и распущено. Софья, повелев разослать всех непокорившихся стрельцов Титова полка по дальним городам, назначила начальником Стрелецкого приказа думного дьяка Федора Шакловитого и пожаловала его в окольничие.

X

Когда в Москве все успокоилось, Бурмистров тайно выехал ночью из города. Лаптев, Андрей и капитан Лыков проводили его до заставы. Лаптев при прощании обещал

неусыпно наблюдать за Варварой Ивановной, чтобы она кому-нибудь не проговорилась о том, что Василий жив.

Начинало светать, когда Бурмистров въехал в село Погорелово. Расплатясь со своим извозчиком, он купил в селе лошадь, надел на нее седло и сбрую, взятые им из Москвы, и немедленно поскакал далее. Вскоре увидел он проселочную дорогу, которая вела в Ласточкино Гнездо. Сердце его забилось сильнее. Нетерпеливо погонял он лошадь, которая и без того неслась во весь опор. Он не знал, что случилось в Ласточкином Гнезде несколько дней назад, но будто чувствовал. А случилось вот что.

Крестьянин Мавры Саввишны Брусницыной, Иван Сидоров, под вечер пошел по ее поручению в Чертово Раздолье, чтобы настрелять дичи. Не смея зайти далеко в бор, бродил он между деревьями шагах в двадцати от озера, на берегу которого стояло Ласточкино Гнездо. На беду его не попалось ему на глаза ни одной птицы до позднего вечера. Уже стемнело. Бедный охотник так и ждал, что попадется ему навстречу леший ростом с сосну или пустится за ним в погоню Баба Яга в ступе. Наконец с большим облегчением заметил Сидоров на березе тетерева. «Слава тебе, Господи! — прошептал он.— Застрелю этого глухого черта да и домой вернусь! Нет, Мавра Саввишна, вперед изволь сама ходить сюда за дичью по вечерам».

Прицелившись в тетерева, Сидоров уже хотел выстрелить, как вдруг услышал позади себя чей-то голос. Руки опустились у него от страха, ноги продкосились, и он, упав на землю, пополз, извиваясь, как змея, и скрылся под ветвями густого кустарника. Вскоре услышал он, как сухие листья и ветви хрустят под чьими-то ногами. Голос, его испугавший, становился все громче и громче. Прижавшись к земле от страха и творя молитву, Сидоров услышал следующие слова:

— Сядем на кочку. Не знаю, как ты, а я очень устал.

— И я чуть ноги волочу,— проговорил другой голос.— Ведь целый день бродим. Ну и лесок! Нечего сказать! Если бы не солнышко, точно бы заблудились. Думали ли мы, когда жили в Москве, что будем скитаться в этаком омуте. Злодей этот Милославский!

Вдруг они встали. Сидоров услышал, как они двинулись в его направлении. Сидоров замер, вжавшись в землю. Неизвестные прошли мимо него, приблизились к берегу озера и остановились шагах в пятнадцати от Сидорова, повернувшись к нему спиной. Они долго стояли там и смо-

трели на Ласточкино Гнездо, а один из них, продолжая говорить, несколько раз указал на дом Мавры Саввишны. Потом они возвратились к той самой кочке, на которой прежде отдыхали, и сели боком к Сидорову на таком от него расстоянии, что он мог рассмотреть их лица и явственно слышать все их слова. Это были стрельцы.

— Нет, Иван Борисович, не ропщи на Милославского! — сказал один из них.— Я больше потерял, нежели ты. Я был сотником, а ты пятидесятником. У меня был дом в Москве, а ты жил у приятеля. Конечно, мы всего лишились, однако я за все благодарю Господа! Во всем этом я вижу перст Его, указующий мне путь спасения. Девять лет хранил я тайну, которую тебе теперь открою. Срок, назначенный преподобным Аввакумом, настал, и я должен исполнить его повеление. В изгнании нашем из Москвы, в лишении всех суетных благ земных, в найденном нами в глубине этого леса убежище, в усердии твоем, в покорности всех моих стрельцов,— во всем я вижу знамение, что наступило время совершения дела, возложенного на меня свыше. Священнослужителя только недостает нам, но сегодня в полночь пошлет его нам Господь, в этом я не сомневаюсь.

— В последний раз,— сказал другой стрелец,— как ходил я, переодетый крестьянином, в деревню за съестными припасами, расспрашивал я о ней мальчика и узнал, что ее зовут Наталья. Нам легко будет ее похитить. В доме помещицы теперь нет ни одного мужчины. Она была помолвлена. Жених ее жил некоторое время в этой деревне, но с тех пор, как схватили его в селе Погорелове, ни один мужчина к помещице не приезжал. Крестьян у нее также немного, всего человек семь или восемь; что они сделают против десятерых? Я велел всем взять ружья и дожидаться нас у горы, вон там, на берегу озера.

— Пойдем в деревню ровно в полночь, а покуда отдохнем здесь. В ожидании ночи открою тебе тайну, о которой говорить начал. Ты знаешь, что я учился четыре года в Андреевском монастыре. И вот однажды посетило меня чудное видение: вдруг явился мне преподобный Аввакум в белой одежде. «Иди за мною!» — сказал он мне и повел меня на какую-то высокую гору, с которой спустились мы в густой лес. «Девять лет храни в сердце твоем все, что ты услышишь от меня и увидишь. Нынешний мир утопает в нечестии; нигде нет истинной церкви; все на земле осквернено и нечисто. Удались в глубину леса, сокройся навеки от мира и возроди истинную церковь, которую покажу тебе.

Для этого подвига должен ты принять крещение водой небесной, ибо на земле нет воды не оскверненной. Все моря, озера, реки и источники заражены прикосновением слуг антихристовых». Сказав это, повел он меня в самую середину леса и, показав истинную церковь, исчез. Девять лет хранил я молчание о моем видении, терпел часто голод и холод и наконец, по настоянию дяди, вступил в стрельцы. В конце прошедшего августа минуло девять лет с тех пор, как я сподобился беседовать с преподобным Аввакумом. Памятуя слово его, удалился я однажды в лес, наломал ветвей, скрепил их тонкими прутьями, древесной смолой и глиной и устроил купель. В то время шел дождь несколько дней подряд. Когда купель наполнилась до половины небесной водой, я погрузился в нее и принял крещение, мне заповеданное. Возвратясь в Москву, начал я помышлять о воздвижении истинной церкви. Ты знаешь, что́ потом случилось с нашим полком. Я с радостью услышал весть о нашем изгнании из Москвы, с радостью вышел из этого Содома. Здесь, в этом лесу, сокроемся навсегда от служителей антихриста и от всего нечестивого мира, воздвигнем втайне истинную церковь и достигнем золотой небесной двери.

Вечерняя заря угасла. Стрельцы встали и пошли по берегу озера к горе, у которой их ожидали десять сообщников. Сидоров вылез из-под куста и побежал без оглядки в дом своей помощницы.

— Ну что, принес ли дичи? — спросила его Мавра Саввишна, выйдя по его зову в сени.

— Какая дичь, матушка! Я насилу ноги унес, чуть не умер со страху.

— Ах ты, мошенник! Дуру, что ли, ты нашел, не обманешь меня, плут! Видно, ты в лес-то не ходил, а весь вечер пролежал на палатях.

— Нет, Мавра Саввишна, не греши! Я пролежал не на палатях, а под кустом.

— Что? Под кустом? Да ты никак потешаешься надо мной?

— Нет, Мавра Саввишна, как можно! Прошу, выслушай меня.

— Ну говори, плут, говори.

— Бродил я долго по лесу, нет ни одной птицы, хоть ты плачь! Напоследок вижу я: сидит на дереве тетерев. Я как раз прицелился, но тут услышал голоса и увидел двух человек. Кто такие — хованские или просто беглые стрельцы — лукавый их знает! Сели они неподалеку от меня

и понесли околесицу про какого-то дворянина, про Милославского и про всякую всячину! Один, который постарше и с бородавкой на щеке, указывал, кажись, на твой дом и болтал, что надо сегодня ночью утащить Наталью Петровну.

— Утащить Наталью Петровну?! Да что ты, мошенник, в самом деле меня пугаешь!

— Нет, матушка, нет, все как есть говорю.

Испуганная Мавра Саввишна, приказав Сидорову собрать во двор всех крестьян ее с семействами, побежала в верхнюю светлицу, чтобы сообщить ужасную весть старухе Смирновой и Наталье.

Вскоре все жители Ласточкина Гнезда собрались на двор помещицы. Мавра Саввишна, посоветовавшись со старухой Смирновой и Натальей, осталась при том мнении, что какая-то шайка воров собирается ограбить ее дом, который стоил ей стольких трудов. Она решила защищаться до последнего, приказала Сидорову зарядить ружье целой пригоршней дроби, всем же другим крестьянам, женам их, сыновьям и дочерям велела вооружиться топорами, косами, вилами и граблями. Старуху Смирнову и Наталью из верхней светлицы она переместила на ночь в баню и, уверив их, что опасаться нечего, с косой в руке и в мужском тулупе, надетом поверх сарафана, вышла к своему войску.

— Смотрите вы, олухи! — закричала она.— Не зевать! Только лишь воры нос сунут — колоти их, окаянных, чем попало!

— Слушаем, матушка Мавра Саввишна! — закричало войско на разные голоса, дрожа от страха.

Вскоре после полуночи вдруг раздался у ворот стук. Войско Мавры Саввишны тут же испуганно рассыпалось в разные стороны, как груда сухих листьев от набежавшего вихря. Сама предводительница, кинув оружие на землю, опрометью бросилась в курятник и захлопнула за собой дверь, всполошив его обитателей. Один Сидоров доказал свою неустрашимость. Он подошел к самым воротам, прицелился, выстрелил, влепив всю дробь в ворота, и последний убежал с поля сражения. Предводительница, услышав выстрелы, упала навзничь и потеряла сознание...

Неизвестно, сколько именно пробыла владетельница Ласточкиного Гнезда в курятнике. Известно только, что она, на рассвете войдя в баню, нашла там одну старуху Смирнову, которая горько плакала. От нее узнала она, что два человека, вооруженные саблями, вырвали из рук ее

Наталью и, несмотря на крик и сопротивление бедной девушки, унесли прочь.

Нужно ли говорить, что почувствовал Бурмистров, когда приехал в Ласточкино Гнездо и узнал о похищении Натальи? Напрасно расспрашивал он бестолкового Сидорова о разговоре, им подслушанном, и о приметах похитителей его невесты; напрасно искал он ее по всем окрестным местам. Услышав от Сидорова, что похитители упоминали в разговоре не один раз имя Милославского, Василий решил, что Наталья попала в руки сладострастного злодея и что он разлучен теперь с нею навсегда. В состоянии, близком к отчаянию, простясь с ее матерью и со своей теткой, сел он на коня и поскакал по первой попавшейся ему на глаза дороге. Мавра Саввишна стояла на берегу озера и, обливаясь слезами, смотрела ему вслед.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Был прекрасный майский вечер. Заходившее солнце золотило верхи отдаленных холмов. Поселянки гнали с полей стада свои и при звуке рожка, на котором наигрывал молодой пастух, дружно и весело пели: «Ты поди, моя коровушка, домой!»

На скамье под окнами опрятной и просторной избы сидел священник села Погорелова отец Павел. Вечерний ветер развевал его седые волосы. Перед ним на лугу играл мячом мальчик лет пяти в красной рубашке. Священник задумчиво смотрел на мальчика, и лицо его выражало тихое спокойное удовольствие.

Всадник, по-видимому приехавший издалека и остановивший перед священником свою лошадь, прервал его задумчивость.

— Нельзя ли, батюшка, мне переночевать у тебя? — спросил всадник, спрыгнув с лошади.— Лошадь моя очень устала, и я не надеюсь поспеть до ночи туда, куда еду.

— Милости просим,— отвечал гостеприимный старик.

Всадник, привязав лошадь к дереву, которое густыми ветвями закрывало дом священника, сел возле него на скамью.

— Издалека ли, добрый человек, и куда едешь? — спросил отец Павел.

— Еду я в поместье моей родственницы, с которой уже шесть лет не виделся.

— А как зовут тебя?

— Другому бы никому не сказал своего имени, а тебе скажу, батюшка. Я давно знаю тебя.

— Давно знаешь? — спросил священник, пристально вглядываясь в лицо незнакомца.— В самом деле, я, кажется, видел тебя. Однако не помню, где. Не взыщи, память у меня уже не та, что в прежние годы.

— А помнишь ли, батюшка, как приезжал к тебе однажды стрелецкий пятисотенный и просил тебя обвенчать его ночью, без свидетелей?

— Да неужто это ты в самом деле? Быть не может!

В это время подошла к разговаривавшим пожилая женщина со смуглым лицом и, взглянув на приезжего, бросилась его обнимать, восклицая:

— Господи Боже мой! Да откуда ты взялся, мой дорогой племянник?

— А ты как попала сюда, тетушка? Я ехал к тебе в поместье.

— В поместье? — сказала, вздохнув, женщина.— Было оно у меня, да сплыло! И домик мой, который я сама построила, попал в недобрые руки. Что делать, видно Богу так было угодно.

— Как, разве ты продала свою деревню?

— Нет, племянничек, ни за что бы не продала. Выгнали взашеи. Взвыла голосом да и пошла по миру. Если бы не укрыли нас со старухой, с нареченной твоей тещей, отец Павел — дай Господи ему много лет здравствовать! — так бы мы обе с голоду померли.

— Полно, Мавра Саввишна! — сказал священник.— Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Нет, батюшка, воля твоя, пусть выколют мне хоть оба глаза, а я все-таки скажу, что ты добрый человек, настоящая душа христианская. Много натерпелась я горя без тебя, любезный племянничек! Вскоре после того, как ты от нас уехал, Милославский узнал, что невеста твоя жила у меня в доме. Прислал он тотчас за нею холопов, а как услышал, что Наталья Петровна пропала, так и велел меня выгнать, а поместье мое подарил, злодей, своему крестному сыну, площадному подьячему Лыскову. Долго мы с твоей нареченной тещей шатались по деревням, милостыню просили. Как бы не батюшка, так бы мы...

— Ну, полно же, Мавра Саввишна! — прервал ее священник.— Хватит об этом.

Бурмистров, тронутый несчастьем тетки и оказанной ей помощью, хотел благодарить священника, но последний, желая перевести разговор на что-либо другое, спросил:

— А куда пошла наша старушка?

— Смирнова-то? В церковь, отец мой. Сегодня поминки Милославскому. По твоему совету мы каждый год ходим с ней вместе в храм Божий за его душу помолиться.

— Как, разве умер Милославский? — воскликнул Бурмистров.

— Умер, три года тому назад,— отвечал священник.— Боярин князь Голицын да начальник стрельцов Шакловитый мало-помалу вошли в такую милость у царевны Софьи Алексеевны, что Ивану Михайловичу пришлось уехать в свою подмосковную вотчину — она верст за пять отсюда — и жить там до самой своей кончины. Он призывал меня к себе, чтоб исповедать и приобщить его перед смертью. Но Господь не сподобил его покаяться и умереть по-христиански.

— Мы молились сегодня за его душу, помолись и ты, племянник, чтобы... Экий ты баловень, Ванюша, ведь прямехонько мне в лоб мячом попал!

— Играй, Ваня, осторожнее! — сказал священник мальчику в красной рубашке.

— Что это за дитя? — спросил Бурмистров.

— Он сиротинка,— отвечала Мавра Саввишна.— Отец Павел взял его к себе в дом вместо сына.

— Какая холодная роса поднимается! — сказал священник.— Не лучше ли нам в дом войти? Милости просим.

II

Бурмистров рассказал священнику, своей тетке и возвратившейся вскоре старухе Смирновой, что он более шести лет ездил по разным городам, напрасно старался заглушить свое горе и наконец не без труда решился побывать в тех местах, где был некогда счастлив.

— Мне бы легче было,— говорил он,— если бы Наталья умерла; тогда бы время могло постепенно утешить меня. Мысль, что потеря моя невозвратна, не допускала бы уже никогда в сердце мое надежды когда-нибудь снова быть счастливым и не возбуждала бы во мне желания освободить из рук неизвестного похитителя мою Наталью.

— Да, да, любезный племянник! — сказала Мавра Саввишна со вздохом.— До сих пор о ней ни слуху ни духу! Да и слава Богу!

— Как «слава Богу», тетушка?

— А вот, вишь ты, Милославский завещал кое-какие пожитки свои крестному сыну, этому мошеннику Лыскову, да и Наталью-то Петровну назначил ему же после своей смерти. Прежний мой крестьянин Сидоров приезжал прошлой осенью сюда и сказывал, что Лысков везде отыскивает твою невесту, что она, дескать, принадлежала его крестному батьке по старинному холопству, что он волен был ее кому хотел завещать и что Лысков норовит ее хоть на дне морском отыскать и на ней жениться.

— Так не Милославский ее похитил? — воскликнул Бурмистров.

— Какой Милославский! — отвечала Мавра Саввишна.— Если бы тогда попалась она в его руки, так уж давно была бы замужем за этим окаянным Лысковым и жила бы с ним, проклятым, в моем домике.

На другой же день Бурмистров сел на коня и поскакал в Ласточкино Гнездо. Отыскав Сидорова, начал он его снова расспрашивать о приметах похитителей Натальи, о месте, где он их подслушал, и об их разговоре. Ответы Сидорова были еще бестолковее, нежели прежде. Он прибавил только, что недавно, рано утром отправясь на охоту в Чертово Раздолье, видел там опять несколько человек в стрелецком платье, и среди них того самого, у которого при первой встрече в лесу заметил на щеке черную бородавку.

— Не заметил ли ты, куда он пошел из леса?

— Кажись, он пошел по тропинке в лес, а не из леса. Да здоров ли, Василий Петрович, Мавра Саввишна? Я уж давно в Погорелове-то не бывал. Чай, ты оттуда?

— Она велела тебе кланяться и попросить тебя, чтоб ты сослужил мне службу. Проводи меня к той тропинке, по которой стрелец в лес ушел.

— Нет, Василий Петрович, теперь я для отца родного в Чертово Раздолье не пойду. Взглянь-ка, ведь солнышко закатывается. Разве завтра утром...

— Я бы тебе дал рубль за работу.

— И десяти не возьму!

— Ну, нечего делать! Хоть завтра утром проводи меня да покажи тропинку.

— Хорошо. А на что тебе это? Ты этих бродяг искать хочешь? Вот и мой теперешний боярин, Сидор Терентьич, собирается также послоняться по лесу. Он ездил нарочно в Москву и просил своего милостивца, Шакловитого, чтобы прислать к нему десятка три стрельцов. У меня де в лесу

завелись разбойники. Тот и обещал прислать. А ведь обманул его Сидор-то Терентьевич. Он хочет искать не разбойников, а Наталью Петровну. Не ехать ли вам в лес вместе, авось вы двое-то лучше дело сладите. Ты сыщешь этих бродяг, а он Наталью Петровну.

Заночевав в избе Сидорова, Бурмистров на рассвете оседлал лошадь и поспешил вместе с ним к Чертову Раздолью. Въехав в лес, они вскоре прискакали к оврагу, слезли с лошадей, перебрались на другую его сторону и увидели тропинку, которая, извиваясь между огромными соснами, терялась в глубине бора. Отдав Сидорову обещанный рубль, Василий накрепко наказал ему ни слова не говорить об их свидании и разговоре Лыскову и поскакал далее по тропинке. Сидоров, посмотрев ему вслед, махнул рукой, проворчал что-то сквозь зубы и, вскочив на свою клячу, отправился домой. Чем далее ехал Василий, тем лес становился мрачнее и гуще, а тропинка менее заметною. Часто густые ветви деревьев, наклонившиеся почти до земли, преграждали ему дорогу. Иногда он был вынужден слезать с лошади, брать ее за повода и пробираться через заросли. Долго углубляясь таким образом в лес, увидел он наконец довольно широкую просеку и вдали покрытую лесом гору. Приблизясь к горе и поднявшись на нее, Василий влез на дерево и рассмотрел на вершине горы обширное деревянное здание, весьма странной наружности, обнесенное высокой земляной насыпью. Спустившись с дерева, сел он снова на свою лошадь и между мрачными соснами, окружавшими со всех сторон насыпь, объехал ее кругом и увидел запертые ворота. Он постучался.

— Кто там? — спросил за воротами грубый голос.

— Впусти меня! — сказал Василий.— Я заблудился в лесу.

Ворота отворились. Бурмистров въехал в них и едва успел слезть с лошади, как человек, впустивший его, опять запер ворота и, подбежав к лошади Василия, воткнул ей в грудь саблю. Бедное животное, обливаясь кровью, упало на землю.

— Что это значит? — воскликнул Бурмистров, выхватив свою саблю.

— Ничего! — ответил ему хладнокровно неизвестный.— Волей или неволей ты сюда попал, только должен будешь навсегда остаться; у нас такое правило. Да не горячись так, любезный, здесь народу-то много: быстро усмирят. Пойдем-ка лучше к нашему старшему. Да вот он никак и сам сюда идет.

Василий увидел приближавшегося к нему в черном кафтане человека; за ним следовала толпа людей, вооруженных ружьями и саблями. Всмотревшись в него, Бурмистров узнал бывшего сотника Титова полка Петра Андреева. Тот, вдруг остановясь, начал креститься и, глядя на Василия, не верил, казалось, глазам своим.

— Что за чудо! — воскликнул сотник.— Не с того ли света пришел ты к нам, Василий Петрович? Разве тебе не отрубили голову?

— Ты видишь, что она у меня на плечах,— отвечал Бурмистров, пристально глядя на черную бородавку на щеке сотника и вспоминая рассказ Сидорова.

— Да какими судьбами ты сюда попал?

— Я рад где-нибудь преклонить голову. Ты ведь знаешь, что Милославский наговорил на меня Бог знает что царевне Софье Алексеевне и что она велела мне давным-давно голову отрубить. Я бежал из тюрьмы Хованского и с тех пор все скрывался в этом лесу. Не дашь ли ты мне приют в твоем доме, Петр Архипович?

— Это не мой дом, а Божий. Все в него входящие из него уже не выходят.

— Я готов здесь на всю жизнь остаться!

— Искренно ли ты говоришь это?

— Ты знаешь, что я никогда не любил лукавить. я искренно рад, что нашел наконец себе убежище.

— Иван Борисович,— сказал сотник, обращаясь к стоявшему позади него пожилому человеку, бывшему пятидесятнику Титова полка,— отведи Василия Петровича в келью оглашенных и подготовь его.

Бурмистров, надеясь выведать что-нибудь у Андреева о судьбе своей Натальи, решился во всем ему повиноваться и беспрекословно последовал за пятидесятником.

Андреев, подозвав последнего к себе, шепнул ему что-то на ухо и ушел в небольшую избу, которая стояла близ ворот.

Пятидесятник ввел Бурмистрова в главное здание, которое стояло посреди двора, спустился с ним в подполье и запер в небольшой горнице, освещенной одним окном с железной решеткой. Осмотрев горницу, в которой не было ничего, кроме деревянного стола и скамьи, покрытой войлоком, Василий вдруг заметил на стене несколько едва заметных слов, нацарапанных чем-то острым. Многие слова невозможно было разобрать, и он с трудом прочитал лишь следующее: «Лета 194-го месяца июля в 15-й день заблудился я в лесу и... во власть... долго принуждали... их ересь, но

я... морили голодом... повесит... через час на смерть... священнический сын Иван Логинов».

Нужно ли говорить, какое впечатление произвела на Василия эта надпись, по-видимому, еще не замеченная Андреевым, который, похоже, один был грамотен из всех обитателей таинственного убежища?

Наступила ночь. Утомленный Бурмистров лег на скамью, но не мог заснуть до самого рассвета. Утром послышались ему в верхних горницах дома пение и какой-то шум. Вскоре опять все затихло, и Василий, как ни напрягал слух, не мог больше ничего услышать, кроме ветра, который однообразно свистел в вершинах старых сосен и елей.

III

Вскоре после солнечного восхода вошел в горницу бывший пятидесятник Титова полка Иван Горохов. После длинной речи, в которой он доказывал, что на земле нет уже нигде истинной церкви и что антихрист воцарился во всем русском царстве, Горохов спросил:

— Имеешь ли ты желание убелиться?

Бурмистров, хотя и не вполне понял этот вопрос, однако отвечал утвердительно, потому что не видел других способов спасения себя и своей невесты, которая, по догадкам его, могла находиться во власти Андреева.

Пятидесятник взял Василия за руку и сказал:

— Горе тебе, если притворяешься. Ужасная казнь постигнет тебя, если ты из любопытства или страха изъявил согласие сделаться сыном истинной церкви! Пророческая обедня изобличит твое лукавство.

После этого он вывел Василия из подполья и, взойдя вместе с ним по деревянной лестнице в верхние горницы дома, остановился перед небольшой дверью, которая была завешена черной тафтой.

— Отче Петр,— сказал пятидесятник,— я привел к двери истинной церкви осквернённого человека, желающего убелиться.

— Войдите! — ответил голос за дверью, и пятидесятник ввел Бурмистрова в церковь, наполненную сообщниками Андреева. Все стены этой церкви, от потолка до пола, были покрыты иконами. Перед каждой иконой горела восковая свеча. Нигде не было заметно ни малейшего отверстия, через которое дневной свет проникал бы в церковь. Вместо алтаря устроено было возвышение, обитое холстом и распи-

санное в виде облака, а на возвышении стояла деревянная дверь, увешанная бисером, стеклянными обломками и другими блестящими вещами.

— Скоро начнется обедня,— сказал Андреев Бурмистрову.— Ты прежде должен покаяться. Встань на колени, наклони голову и ожидай, покуда священник не позовет тебя.

Бурмистров исполнил все, что было приказано.

Все бывшие в церкви запели:

Прииде последнее время,
Грядут грешники на суд,
Дела на раменах несут!
И глаголет им Судия:
Ой вы, рабушки рабы!
Аз возмогу вас простити,
И огонь вечный погасити.

Когда кончилось пение, Бурмистров услышал, что дверь, находившаяся на возвышении, отворилась, и чей-то нежный голос сказал:

— Иди ко мне!

Бурмистров встал... На возвышении, перед блестящей дверью, стояла в белой одежде, с венком из лесных цветов на голове и с распущенными по плечам волосами, Наталья. Радость и изумление потрясли его душу. Он долго не верил глазам своим. И бедная девушка, увидев жениха своего, едва не лишилась чувств. С трудом она взяла себя в руки и с сердечным трепетом подала знак Василию, чтобы он к ней приблизился.

— Поклянись священнику, что ты отрекаешься от прежнего твоего нечестия и всякой скверны,— сказал Андреев,— покайся ему во всех грехах твоих и скажи, что ты хочешь убелиться.

Все, стоявшие у возвышения, удалились, чтобы не слышать исповеди Бурмистрова. Подойдя к своей невесте, он встал перед ней на колени и тихо сказал:

— Наталья, милая Наталья, скажи, ради Бога, как попалась ты в этот вертеп изуверов? Научи меня, как спасти тебя?

— Да, спаси, спаси меня! — отвечала дрожащим голосом Наталья.— О, если бы ты знал, сколько я перенесла мучений от них.

— Научи меня, я на все готов.

— Отсюда невозможно убежать. Всякого беглеца они называют Иудой-предателем и вешают на осине.

— Скажи, что же нам делать? Неужели нет никаких способов побега?

— Никаких. Прошу тебя об одном: беспрекословно повинуйся здешнему главе. За малейшее непослушание он сочтет тебя клятвопреступником и закоснелым противником истинной церкви. Пятеро несчастных уже случайно попали в его руки. Я убеждала их исполнять все его приказания, но они, считая меня сообщницей еретиков, не вняли убеждениям моим, с твердостью говорили, что они не изменят церкви православной, и все погибли.

— И я не изменю истинной церкви!

— От тебя еретики потребуют торжественной клятвы, что ты по собственной воле вступаешь в их сообщество и никогда им не изменишь.

— Я дам эту клятву и ее нарушу. Если бы безумный, бросаясь на меня с ножом, принудил меня произнести какую-нибудь нелепую клятву, неужели я должен был бы исполнить ее или упорством заставить его меня зарезать?

— Слова твои успокаивают мою совесть. Меня часто мучило раскаяние, что я, спасая жизнь свою, решила исполнять все нелепости, которые меня заставляли делать. Много раз решалась я неповиновением избавиться от мучительной жизни, но всегда ты приходил мне на ум. Ради тебя перенесила я все мучения и дорожила жизнью.

— Милая Наталья! Сам Бог послал меня сюда! Положимся на Его милосердие. Я не вижу еще, как спасти тебя, но Он наставит меня.

— Пора уже кончить исповедь. Не забудь моей просьбы: исполнять все, что тебе скажут.

Наталья, положив руку на голову Бурмистрова, сказала:

— Буди убелен!

Андреев и сообщники его подошли к возвышению и начали целовать Бурмистрова.

— Поклянись,— сказал он Василию,— что ты добровольно вступаешь в число избранных сынов истинной церкви. Оборотись лицом к небесным вратам, подними правую руку с двуперстным знамением и повторяй, что я буду говорить. Никон, антихрист и сосуд сатанинский, бодай церковь рогами и уставы ее стирай! отрекаюсь тебе и клянусь соблюдать уставы истыя церкви; аще ли же нарушу клятву, да буду сожжен огнем, уготованным дьяволу.

По произнесении клятвы Андреев подвел Бурмистрова к двери, находившейся на возвышении, и сказал ему, чтобы он три раза перед нею повергся на землю. После этого все вышли из церкви, надели на себя белые саваны и взяли

в руки зажженные свечи зеленого воска. Андреев, подавая саван Бурмистрову, приказал ему надеть его на себя и также взять свечу. Когда все возвратились в церковь, Наталья, в белой широкой одежде, с черным крестом на груди, подпоясанная кожаным поясом, на котором было начертано несколько славянских букв, вышла из небесных врат и стала посреди церкви. Андреев и все его сообщники окружили Наталью и начали бегать около нее, восклицая, чтобы на нее сошел дух пророчества.

Через некоторое время все остановились, и Андреев, встав перед Натальей на колени, спросил:

— Новый сын истинной церкви будет ли всегда ей верен?

— Будет,— отвечала Наталья.

— Нет ли у него в сердце какого-нибудь злого умысла против меня?

— Нет!

— Не грозит ли мне какая-нибудь опасность?

— Не грозит!

— Не буду ли я когда-нибудь схвачен слугами антихриста?

— Не будешь!

Таким образом все сообщники Андреева один за другим предлагали вопросы. Нелепость их часто затрудняла Наталью, однако она, по врожденной остроте ума, всегда находила точные ответы.

Наконец дошла очередь до Бурмистрова. Он встал на колени и спросил:

— Не смутит ли меня когда-нибудь враг человеческого рода, и не изменю ли я истинной церкви?

— Ты всегда будешь ей верен!

Андреев, услышав этот ответ, ласково взглянул на Бурмистрова.

Когда очередь спрашивать дошла опять до Андреева, то он спросил:

— Антихрист Никон давно уже пришел и умер: когда же будет кончина мира, и нынешние времена последние или еще не последние?

— Я скажу тебе это через три дня,— ответила Наталья, несколько затрудненная таким вопросом, и вышла из церкви. За ней вышли и остальные.

Наталья стала священником раскольников совершенно случайно. Андреев скрывался в лесу, чтобы возродить, как он считал, истинную церковь. Случайно Андреев увидел Наталью прогуливающейся на берегу озера и проследил до

Ласточкиного Гнезда. А так как священником в церкви, которую он собирался воздвигнуть, должна была стать молодая девушка, то он и решил ее похитить. Как он это сделал — читатель уже знает.

Андреев, помня пророчество Натальи о Бурмистрове, начал обходиться с ним ласково и доверчиво, давал ему разные поручения и ходил однажды с ним вместе в лес на охоту, которая была главным способом пропитания членов воздвигнутой им церкви.

Вечером, накануне дня, назначенного Натальей для ответа на вопрос Андреева, он послал Василия в ее горницу, чтобы спросить, в какое время можно будет на другой день служить пророческую обедню? Бурмистров воспользовался случаем, чтобы поговорить с Натальей о побеге. Долго обсуждали они разные способы побега, отвергая один за другим, пока Василию не пришла в голову одна мысль...

Наталья назначила служить обедню за три часа до захода солнца. Бурмистров, сообщив об этом Андрееву, сказал, что священник повелевает весь завтрашний день всем поститься и надеется ответить на предложенный ему великий вопрос в ту самую минуту, когда солнце закатится.

И Василий, и Наталья целую ночь не смыкали глаз, нетерпеливо ожидая рассвета. Наконец солнце появилось на востоке. Оба думали о том, что готовит им наступивший день: спасение или гибель?

За три часа до солнечного заката собрались все в церковь, одевшись в саваны и взяв в руки зеленые свечи. Когда Наталья встала посреди церкви, началось пение и беготня вокруг нее. Утомившись, несколько раз все останавливались и, отдохнув, снова начинали бегать. Поставленному на кровле дома часовому было приказано известить о минуте, когда солнце начнет закатываться. Все поглядывали на церковную дверь, не исключая Василия и Натальи, хотя они по другим причинам, нежели прочие, нетерпеливо ждали вестника. Наконец он вошел в церковь и сказал:

— Закатывается.

Любопытство еретиков достигло высшей степени. Они перестали бегать и, храня глубокое молчание, устремили взоры на Наталью.

— Я не в силах еще открыть вам великую тайну, которую вы желаете знать,— сказала Наталья торжественным голосом.— Повергнитесь все на землю и вознесите души ваши к небу. Изгоните из сердец все суетные помыслы. Да не смутит слуха вашего никакой земной звук, и да не прельстят зрения никакие суетные призраки этого мира, ни

камень, ни дерево, ни вода, ни свет, ни мрак; все земное заражено прикосновением слуг антихриста. Скоро услышите тайну тайн!

Все раскольники с благоговением легли на пол, лицом вниз, зажали уши и зажмурили глаза.

Бурмистров тихонько встал с пола и, взяв Наталью за руку, пошел из церкви. Бедная девушка едва дышала. Они подошли к двери. Василий начал ее медленно отворять, опасаясь, как бы она не заскрипела. Наконец они вышли из церкви, спустились с лестницы и, пройдя поспешно двор, приблизились к воротам. Они были заперты. Через высокую насыпь перелезть было невозможно, другого же выхода, по словам Натальи, не было. По ее совету Бурмистров вошел в избу привратника, стоявшую близ ворот, и начал искать в ней ключ. Осмотрев все уголки, он в недоумении остановился перед деревянным столом у окошка, не смея выйти к Наталье и сказать ей о безуспешности своих поисков. В эту минуту Наталья сама вошла в избу, держа ключ в руках.

— Он висел на верее,— сказала она шепотом.

Бурмистров осторожно отворил ворота и вывел невесту за насыпь. Оба перекрестились и поспешно начали спускаться с горы к просеке. Вскоре они достигли ее и побежали к тропинке.

Все это время раскольники, лежа на полу, с нетерпением ожидали повеления священника встать для провозглашения тайны. Так прошло около часа. Андреев, долго лежа на полу наравне с другими, наконец потерял терпение и решил тихонько взглянуть на Наталью. Увидев, что ее в церкви нет, он вскочил и закричал:

— Измена! Предательство!

Все раскольники, услышав его крик, вскочили. Вмиг выбежали они вслед за своим главой из церкви, переоделись в стрелецкие кафтаны, схватили сабли и пустились в погоню за беглецами.

Василий и Наталья, добежав до тропинки, поспешно шли по ней к выходу из леса. Видя утомление девушки, Бурмистров вынужден был идти потише и наконец остановиться, чтобы дать ей время отдохнуть. Едва переводя дыхание, она села на кочку, покрытую мхом. Вдруг позади них послышался отдаленный шум.

— Побежим, милая Наталья, за нами погоня! — воскликнул Бурмистров.

Они побежали. Бедная девушка вскоре потеряла последние силы. Схватив Василия за руку и прислонясь к плечу его, она сказала:

— Я не могу бежать далее!

Бурмистров схватил ее на руки и продолжил бег по тропинке. Наклонившиеся до земли ветви и широко раскинувшиеся кустарники часто его останавливали. Наконец тропинка пресеклась оврагом, и оставалось уже не более версты до выхода из леса, который заметно поредел. Перебравшись через овраг, утомленный Бурмистров остановился для краткого отдыха и посадил Наталью на камень, лежавший между кустами. В это самое время раздался в отдалении голос: «Вон, вон они!» — и вскоре начали один за другим появляться из оврага бегущие толпой раскольники с поднятыми саблями.

Василий хотел снова взять Наталью на руки, но она, вскочив с камня, указала ему в ту сторону, куда им надо было бежать, и произнесла с отчаянием в голосе:

— Мы погибли!

Василий, взглянув туда, куда Наталья ему указывала, увидел Лыскова, ехавшего верхом им навстречу в сопровождении конного отряда стрельцов. Сидоров шел возле него, сняв шапку. Оружия у Бурмистрова не было, потому что он бежал с Натальей прямо из церкви. Деваться было некуда, Василий замер, не зная, на что решиться. А бегущие раскольники и Лысков были к нему все ближе и ближе. Последний, однако, был к нему вдвое ближе, нежели первые. Схватив толстый сук с земли, Василий решил защищать свою невесту до последнего.

— Обоих на осину! — кричал Андреев своим сообщникам.— Не уйдете, предатели! Бегите, друзья, бегите за мной скорее!

— Тропинка уже близко отсюда, барин, вон там, за оврагом,— говорил Сидоров Лыскову.— Я тебе покажу, куда ехать, а там и ступай все прямо... Господи, твоя воля! — воскликнул он в ужасе.

— Что с тобой, дурачина? — спросил Лысков.— Чего ты испугался?

Сидоров не мог ничего ответить от страха и, дрожа, указал на Василия и Наталью. Они стояли неподвижно. Белая одежда их освещена была вечерней зарей, алое сияние которой проникало сквозь ветви деревьев и кустарников.

— Что за дьявольщина! — воскликнул Лысков, несколько испугавшись и всматриваясь в двух человек.— Они как будто бы в саванах! Это какие-то плутни! За мной, ребята! Схватим этих мошенников!

Он поехал со стрельцами вперед, а Сидоров пустился

бежать из леса с такой быстротой, что и гончая собака едва ли бы перегнала его. Прибежав в Ласточкино Гнездо, объявил он там крестьянам, что господин их встретил в лесу двух мертвецов и хотел было бежать, но тут они его, по дьявольскому наваждению, потянули к себе со всеми стрельцами.

Подскакав на близкое расстояние к Бурмистрову, Лысков закричал:

— Кто вы? Отдайтесь нам в руки, а не то я велю изрубить вас.

— Прежде размозжу я тебе голову, а потом сдамся! — отвечал Бурмистров.

Лысков, услышав знакомый голос и всмотревшись в лицо Василия, содрогнулся и от ужаса выпустил из рук повода своей лошади. Он был уверен, что Василию давно уже отрубили голову, и никак не ожидал увидеть его в сабане посреди леса. Наталью, вероятно, он не узнал или счел ее за привидение.

— Что же ты медлишь? — закричал Бурмистров.— Нападай на меня, если смеешь!

Лысков дрожащей рукой начал искать повисшие повода, чтобы ускакать из леса без оглядки. Лошадь, приметив, что седок на ней ворочается, и ожидая удара поводом, подвинулась еще ближе к Бурмистрову. Стрельцы остались на прежнем месте, в некотором отдалении, и, ожидая приказаний, смотрели со страхом и изумлением на происходившее. Бурмистров заметил ужас Лыскова и тотчас понял причину его. В голове его блеснула счастливая мысль.

— Час твой настал, злодей! — закричал он торжественным голосом, бросив на землю толстый сук, который держал в руке.— Никто на свете не спасет тебя! Иди за мной!

Лысков, обеспамятев от страха, спустился с лошади и повалился на землю перед Бурмистровым.

— Позволю тебе жить на этом свете еще пять лет, если ты сделаешь хоть одно доброе дело,— продолжил Бурмистров.— Схвати этих разбойников, которые бегут сюда, и предай их в руки правосудия.

Лысков вскочил с земли, сел на лошадь, махнул стрельцам и пустился с ними навстречу раскольникам.

Началась упорная драка. Долго раздавались удары сабель и крики сражающихся; долго ни та, ни другая сторона не уступала. Наконец раскольники побежали, и Лысков со стрельцами пустился их преследовать. Тем временем Василий и Наталья, выбежав из леса, пошли в Ласточкино Гнездо. Заря уже угасла на западе. Бурмистров решил идти.

в избу Сидорова, выпросить у него телегу и немедленно ехать с Натальей в село Погорелово, покуда Лысков не воротился еще в деревню, где почти все жители уже спали.

— Кто там? — закричал Сидоров, услышав стук у дверей своей избы.

— Впусти меня скорее! — сказал Бурмистров.

— Ах, это никак ты, Василий Петрович. Слава тебе Господи, видно, ты цел воротился из леса.

Сидоров, отворив дверь и увидев наряд Василия и Натальи, отскочил от них аршина на три и прижался к стене.

— Что ты, что ты, брат! — сказал Василий, входя с Натальей в избу.— Ты, верно, подумал, что к тебе мертвецы в гости пришли? Не бойся, мы тебе ничего не сделаем. Заложи-ка поскорее телегу да ссуди меня каким-нибудь кафтаном и шапкой, а для Натальи Петровны достань где-нибудь сарафан и повязку. Мы теперь же уедем в Погорелово. Приезжай завтра туда за своим платьем. Да нельзя ли, братец, все это сделать попроворнее? Я тебе завтра дам три серебряных рубля за хлопоты. Только смотри: ни слова не говори Лыскову.

— Да ты никак и впрямь не мертвец! — сказал Сидоров, все еще посматривая с недоверчивостью и страхом то на Василия, то на его невесту.— Да кто вас угораздил этак нарядиться? Святки, что ли, справляете? Раненько что-то...

— Однако, братец, нельзя ли поскорее? — сказал Василий.— Нам дожидаться некогда. Да одолжи мне, кстати, до завтра свое ружье.

— Сейчас, сейчас, Василий Петрович. Все мигом будет готово!

Сидоров проворно заложил лошадь в телегу, сбегал к замужней сестре своей за сарафаном и повязкой, вытащил из сундука свой праздничный кафтан и шапку, достал из чулана ружье с сумкой и отдал все Бурмистрову.

Когда Василий и Наталья, переодевшись, сели уже в телегу, Сидоров сказал:

— А кто же будет лошаденкой-то править? Разве мне самому, Василий Петрович, вас прокатить!

Без шапки сел он на облучок телеги, взял вожжи, приосанился, ударил лошадь плетью и поскакал по дороге к Погорелову, присвистывая и крича:

— Ну, родимая, не выдай! Знатно скачет, только держись.

Еще прежде полуночи он приехал в Погорелово. Нужно ли описывать радость Натальиной матери, которая так неожиданно увидела дочь свою после долгой разлуки? Отец

Павел не мог удержаться от слез, глядя на обрадованную старуху и на восторг дочери. Мавра Саввишна, вскочив со сна, второпях надела на себя вместо сарафана подрясник отца Павла и выбежала здороваться с нежданными гостями, а потом от восхищения пустилась плясать, несмотря на свою одежду.

— Мавра Саввишна,— сказал, улыбнувшись, отец Павел,— погляди на себя: ты, кажется, мой подрясник надела. Полно плясать-то!

— Ничего, батюшка, от такой радости не грех и в подряснике поплясать — прости, Господи, мое согрешение!

Сидоров, которому Мавра Саввишна после пляски поднесла стакан настойки, остался ночевать в доме отца Павла и, получив свое платье, ружье и обещанную награду, на другой день возвратился в Ласточкино Гнездо в полной уверенности, что барина его, Лыскова, утащили мертвецы в преисподнюю и что никто не спросит его, куда он и с кем ночью ездил.

IV

Было около полудня, когда Сидоров подъехал к своей избе. На беду его, Лысков сидел на скамье перед своим домом, под тенью березы, отдыхая после вчерашней безуспешной погони за раскольниками и ломая голову над встречей его в лесу с Бурмистровым. Увидев Сидорова, махнул он ему рукою. Впустив лошадь с телегой во двор, бедняга почувствовал холод и жар в руках и ногах от страха и побежал к своему барину.

— Куда ты ездил, мошенник?

— А в лес за дровами, батюшка.

— Неужто ты шатался целую ночь напролет по лесу, а? Говори же, разбойник! Ты и днем боишься в лес ходить!

— Виноват, батюшка!

— Так куда же ты ездил? Федька, палок!

— Взмилуйся, отец родной, Сидор Терентьич, за что?

— Я тебе покажу, за что. Катай его! — закричал Лысков своему холопу Федьке, главная обязанность которого состояла в том, чтобы иметь всегда запас палок и колотить без пощады всякого, кого барин прикажет.

Сидоров повалился в ноги Лыскову и признался, что он ездил в село Погорелово.

— В Погорелово? А зачем? Небось к прежней помещице? Ах ты, бездельник! Она-то вас и избаловала! Федька, принимайся за дело!

— Помилуй, Сидор Терентьич! — продолжал Сидоров, кланяясь в ноги Лыскову.— Я не к помещице ездил.

— Так к черту, что ли, мошенник? Говори мне всю правду, не то до полусмерти велю колотить.

— Скажу, батюшка, всю правду-истину! Лаптишки у меня больно изорвались, так я и собрался в Погорелово за покупкой. Там кума моя, Василиса, знатные лапти плетет.

— Да что ты, бездельник, меня обманываешь?! Понадобились лапти, так ночью за двадцать верст за ними поехал? Ах ты, разбойник! До смерти прибью, если не скажешь правды. Привяжи его к этой березе, Федька, да принеси палки потолще. Я из тебя выбью правду!

Холоп потащил беднягу к березе.

— Скажу, Сидор Терентьич, все скажу, только помилуй! — закричал крестьянин, вырвавшись из рук холопа и снова упавши в ноги Лыскову.— Я отвез в Погорелово Василия Петровича с Натальей Петровной.

Лысков, несмотря на свое изумление, схватил палку и собственноручно излил гнев свой на бедного крестьянина. Потом велел оседлать свою лошадь и, взяв с собой Сидорова и еще четырех крестьян, вооруженных ружьями, поехал немедленно в Погорелово, чтобы отнять у Бурмистрова Наталью.

Приехав в село, он остановился у дома священника, зная, что у него живет тетка Бурмистрова, и потому полагая, что Наталье более негде быть, как здесь.

Лысков вошел прямо в горницу. Мавра Саввишна ахнула, старуха Смирнова заплакала, Наталья, побледнев, бросилась на шею матери, а отец Павел, не зная Лыскова, смотрел на всех в недоумении. Бурмистрова не было в горнице.

— Ну, голубушка, теперь не уйдешь от меня! Изволь-ка собираться проворнее. Простись с родительницей да поедем.

— Прежде умру! — отвечала Наталья, рыдая и обнимая мать свою.

— Вот пустяки какие! Есть от чего умирать! Да тебе, моя красоточка, будет у меня не житье, а масленица. Эй, Ванька, Гришка, подите все сюда: тащите ее в телегу!

— Хоть я не знаю твоей милости,— сказал отец Павел, с изумлением и негодованием смотревший на Лыскова,— однако, как хозяин этого дома, кажется, могу спросить: по какому праву разлучаешь ты мать с дочерью?

— Ха, ха, ха! По какому праву! Она моя холопка, вот и все тут. Ну, поворачивайтесь!

— Это что? — воскликнул Бурмистров, входя в горницу.— Прочь, бездельники! Вон отсюда!

Крестьяне, испуганные грозным голосом Бурмистрова, отошли от Натальи.

— Не лучше ли тебе идти вон? — сказал Лысков.— Я сегодня же донесу царевне Софье Алексеевне, что ты живехонек. Она ведь голову велела тебе отрубить.

— Доноси кому хочешь, только убирайся вон! — закричал Василий.

— Да как ты смеешь отбивать у меня мою холопку? Ты думаешь, что я тебя испугался? Только меня тронь, так я стрелять велю! Хватайте его, ребята, вяжите! У него сабли нет, чего вы трусите? Хватай его, Ванька!

— Как, это ты, Сидоров, на меня нападаешь? Ну, ну, смелее! Попробуй схватить меня!

— Да что ж, Василий Петрович, делать, воля господская: велят, так и на отца родного кинешься!

— Полно, Сидоров, отпусти-ка лучше мою руку; ведь я посильнее тебя. Мне не хочется с тобой драться.

— Мошенник ты, Ванюха! — закричала Мавра Саввишна.— Забыл мою хлеб-соль?!

Бурмистров между тем схватил ружье Сидорова. Последний притворился, будто старается удержать ружье всеми силами, и тихо шептал Бурмистрову:

— Дай мне тычка, а ружье-то отними!

Другие крестьяне хотели броситься к Сидорову на помощь, но отец Павел остановил их, закричав:

— Грешно, дети, грешно пятерым нападать на одного!

Бурмистров для вида толкнул своего противника и вырвал у него ружье.

— Ой, мои батюшки! — закричал Сидоров, упав на пол.— Экий медведь какой, никак мне ребро переломил!

Лысков задрожал от злости и закричал крестьянам:

— Стреляйте! Я ответчик!

Крестьяне, исполняя приказ господина, прицелились в Бурмистрова.

— Застрелите, дети, тогда и меня! — сказал отец Павел, встав возле Василия.

Все ружья опустились.

Бурмистров, прицелясь в Лыскова, сказал:

— Ты хотел меня застрелить, как разбойник, а против разбойников, по закону, позволено защищаться. Сейчас уйди отсюда, а не то выстрелю.

— Хорошо! — воскликнул Лысков, задыхаясь от зло-

бы.— Я уйду, только сегодня же пошлю челобитную к царевне Софье Алексеевне.

— Да уж поздно, хамово поколение, поздно, семя крапивное! — закричала Мавра Саввишна, которая вместе со старухой Смирновой старалась привести в чувство упавшую в обморок Наталью.— Я уже с племянником сама написала на тебя сегодня челобитную батюшке царю Петру Алексеевичу!

— Очень рад,— сказал Лысков.— Пусть нас царь рассудит.

— Племянник-то мне растолковал, что ты в моем поместьи не владелец и что Ласточкино Гнездо мое!

— Не рассказывай всего этому плуту, тетушка. Убирайся вон! Чего ты еще дожидаешься?

— Уйду, сейчас уйду, дай только слово сказать. Ты ведь, святой отец, хозяин этого дома. Если укрываешь у себя мою холопку, так и отвечать должен за нее, если она убежит. Тогда я за тебя примусь. Не забудь этого. Прощай! Авось скоро увидимся. Пойдемте, мошенники! — закричал Лысков крестьянам.— Я с вами дома разделаюсь! Пятеро не могли с одним сладить!

— Если хочешь, тетушка, то прикажи твоим крестьянам остаться здесь,— сказал Василий.— Лысков не помещик их; он завладел твоим имением не по закону, а самовольно. Ты — настоящая помещица.

— Коли так,— воскликнула Мавра Саввишна, посадив пришедшую в чувство Наталью на скамью,— то я вам всем приказываю не уходить отсюда!

— Слушаем, матушка! — сказали в один голос обрадованные крестьяне.

— Кормилица ты наша! — прибавил Сидоров, бросаясь к Мавре Саввишне.— Дай поцеловать твою ручку! Опять ты наша госпожа! Слава тебе, Господи!

— Врешь ты, разбойник! — закричал Лысков.— Я ваш господин! Осмельтесь не пойти со мною: до полусмерти всех велю батогами запороть.

— Не прикажешь ли, матушка Мавра Саввишна, самого его образумить и проводить отсюда? — спросил Сидоров, сжав кулаки.

— Вон его толкай, Ванюха! — закричала Мавра Саввишна.— Живет, мошенник, в моем доме да еще над моими крестьянами смеет издеваться! Вон его!

— Ребята, не отставай! — закричал Сидоров, выталкивая Лыскова в шею из горницы.— Проводим его милость за ворота, ведь госпожа приказала!

— Прибавь ему, Ванюха, прибавь! — кричала Мавра Саввишна.

Крестьяне, вытолкав Лыскова за ворота, возвратились в горницу и спросили помещицу: что им еще делать?

— Пусть они покуда останутся у меня в доме,— сказал отец Павел,— да не велишь ли им, Мавра Саввишна, помочь моей работнице? Она пошла в огород грядки полоть.

— Слышите, ребята? Ступайте грядки полоть да смотрите: не пускайте козла в огород. Если Лысков сюда воротится, так опять его в шею!

— Слушаемся, матушка! — сказали крестьяне и вышли из горницы.

— Ну, племянник,— сказала Мавра Саввишна,— потешили мы себя: вытолкали мошенника. Только что-то будет с нами? Ведь разбойник на всех нас нажалуется царевне Софье Алексеевне!

— Пусть его жалуется. Твоя челобитная прежде придет к царю Петру Алексеевичу.

— Разве он за нас заступится, а не то — беда: все пропадем!

— И, полно, тетушка! Правому нечего бояться. Я теперь же поеду в село Преображенское и ударю челом царю.

— Да, да, поезжай скорее, пока нас всех еще не перехватали да не заковали.

V

Солнце поднялось уже до половины из-за отдаленного бора, когда Бурмистров подъехал к Преображенскому с челобитной своей тетки. При въезде в село он услышал оклик часового: «Кто идет?» — и остановил свою лошадь.

— Здесь ли его царское величество? — спросил Бурмистров.

— Его царское величество в Москве,— ответил часовой.

— Как? Мне сказали, что царь Петр Алексеевич здесь, в Преображенском.

— Говорят тебе, что царя здесь нет. Посторонись, посторонись! Прапорщик идет: надобно честь отдать.

Бурмистров увидел приближавшихся к нему двух офицеров. Один из них был лет семнадцати, высокого роста, с открытым лицом, пышущим силой и здоровьем. Другой был человек тоже высокого роста, лет тридцати пяти,

привлекательного вида и с благородною поступью. Оба разговаривали по-голландски.

Бурмистров, соскочив с лошади и сняв шапку, приблизился к молодому офицеру, опустился перед ним на колени и подал ему челобитную.

Офицер, взяв бумагу, спросил:

— Кто ты такой?

— Я бывший пятисотенный Сухаревского стрелецкого полка, Василий Бурмистров.

— Бурмистров?.. Про тебя мне, как помнится, говорила что-то матушка. Не ты ли удержал свой полк от бунта?

— Я исполнил свой долг, государь!

— Встань! Обними меня! Тебе неприлично стоять передо мной на коленях: я прапорщик, а ты пятисотенный.

Бурмистров, встав, почтительно приблизился к царю, который обнял его и поцеловал в лоб.

— Вот, любезный Франц,— сказал монарх, обращаясь к полковнику Лефорту и потрепав Бурмистрова по плечу,— верный слуга мой, даром что стрелец. А где теперь полк твой?

— Не знаю, государь. Я вышел давно уже в отставку.

— Почему?

Бурмистров рассказал все, что с ним было. Царь несколько раз не мог удержать своего негодования, топал ногой и хмурил брови, внимательно слушая Василия.

— Отчего Милославский так взъелся на тебя? Что-нибудь произошло между вами?

Бурмистров, зная, что Петр столь же любил правду и откровенность, сколь ненавидел ложь и скрытность, объяснил государю, чем навлек он на себя несчастья.

— Так вот дело в чем!.. А где теперь твоя невеста?

— Неподалеку от Москвы, в селе Погорелове. Тамошний священник приютил ее вместе с ее матерью и моей теткой, которая лишена противозаконно своего небольшого поместья. Ее челобитная и головы наши в твоих руках, государь! Заступись за нас! Без твоей защиты мы все погибнем.

Бурмистров снова опустился на колени перед Петром.

— Встань, встань, говорю я тебе!

Прочитав челобитную, Петр воскликнул:

— Так этот Лысков отнял имение у твоей тетки да еще и невесту у тебя отнять хочет? Не бывать этому!

— Они поехали в Москву на меня жаловаться.

— Кому жаловаться?

Бурмистров смутился, не смея произнести имени царевны Софьи.

— Что ж ты не отвечаешь? Кому хотел он жаловаться? Сестре моей, что ли?

— Он угрожал, что добьется исполнения приговора по старому докладу покойного боярина Милославского.

— То есть что сестра моя велит этот приговор исполнить? Говори прямо, смелее! Я люблю правду!

— Он надеется на помощь главного стрелецкого начальника, окольничего Шакловитого.

— Пускай надеется! — воскликнул Петр, топнув ногой.— Будь покоен: я твой защитник! Иди за мной.

Бурмистров, взяв свою лошадь под уздцы, последовал за царем и Лефортом. Вскоре вышли они из села в поле, где Преображенские и Семеновские потешные, в ожидании прибытия царя, стояли уже под ружьем.

— Начни, полковник, ученье, и где стать мне прикажешь? — спросил Петр Лефорта.

— У первой Преображенской роты.

— А ты, пятисотенный,— сказал Петр Бурмистрову,— останься на этом месте да посмотри на ученье моих преображенцев и семеновцев. Это не то, что стрельцы.

Царь, положив в карман челобитную, которую держал в руке, вынул шпагу и стал на указанное место.

По окончании ученья, Петр подошел к Лефорту и пожал ему руку.

— Ну, что? — спросил государь, обратясь к Бурмистрову.— Каково мои потешные маршируют и стреляют? Они успеют три раза залпом выстрелить, покуда стрельцы ружья заряжают! А за все спасибо тебе, любезный Франц! Обними меня!

После этого царь вдруг спросил Бурмистрова:

— Где же была до сих пор твоя невеста? Ты ведь говорил, что Милославский завещал ее Лыскову. Почему же этот плут только теперь вздумал ее у тебя отнимать?

Бурмистров рассказал, как он освободил ее из рук раскольников.

— Что же ты мне давеча этого не сказал?

— Я думал, что это не стоит внимания твоего царского величества.

— Не хорошо, пятисотенный, от меня не должно ничего скрывать. Царю все знать нужно.— По кратком размышлении Петр продолжил: — Я велю дать тебе охранную грамоту. Посмотрим, кто осмелится тронуть тебя или твою невесту. Лыскову прикажу я возвратить немедленно поместье

твоей тетки и заплатить ей сто рублей убытков, чтобы он вперед не обижал честных людей... Справедливо ли написана челобитная твоей тетки?

— За справедливость челобитной ручаюсь я моей головой, государь.

— Не забудь слов твоих и помни, кому они сказаны... Полагаясь на жалобу одной стороны, я никогда не действую; но для тебя отступаю от своего правила, потому что тебе верю и потому что дела поправить уже будет нельзя, когда отрубят тебе голову... Ну, слушай же еще: я дам тебе роту моих потешных. Исполни прежде все то, что будет написано в грамоте, а потом иди с ротой, схвати всех раскольников, у которых была твоя невеста, и приведи их в Москву, на Патриарший двор. Я напишу о них святейшему патриарху. Которую роту, полковник, можно будет с ним послать? — спросил Петр Лефорта.

— Я думаю, что лучше выбрать охотников.

— Хорошо! Объяви, в чем состоит поручение, и вызови охотников.

Лефорт, подозвав к себе всех офицеров, передал им приказание царя. Офицеры, возвратясь на места свои, объявили приказ полковника солдатам.

— Ну, кто охотники? — закричал Лефорт.— Выступите из ряда!

Весь длинный строй потешных двинулся вперед.

— Ого! — воскликнул государь.— Все охотники! Похвально, ребята! Но всех вас много для этого похода; пусть идет третья рота. Смотри, пятисотенный, я поручаю эту роту тебе. Да не переучи ее по-своему. Не отправить ли с тобой офицера? Нет, только будете мешать друг другу да и солдат с толку собьете. Следуй за мной: я дам тебе грамоту.

Петр, сопровождаемый Лефортом и Бурмистровым, при громком звуке барабанов, пошел к селу. Через несколько часов Бурмистров с ротой потешных спешил уже к селу Погорелову.

В грамоте, данной ему государем, было сказано, что тот, кто убьет Бурмистрова, будет наказан смертью и заплатит семь тысяч рублей. В конце было прибавлено, что кабала, написанная на Наталью, уничтожается, что Ласточкино Гнездо возвращается прежней помещице и что завладевший этой деревней подьячий Лысков обязан ей заплатить сто рублей; если же считает себя правым, то пусть явится немедленно в Преображенское с доказательствами необоснованности принесенной на него Бурмистровым жалобы и челобитной тетки последнего.

VI

Через несколько дней Бурмистров был уже в Погорелове. Назначив одни сутки солдатам для отдыха и разместив их по крестьянским избам, он пошел к дому отца Павла.

— Ну что, племянник,— воскликнула Мавра Саввишна,— подал ли ты мою челобитную батюшке царю Петру Алексеевичу?

— Подал, но еще не знаю, чем дело кончится,— ответил Василий. Он хотел не сразу объявить тетке о царском решении, чтобы более ее обрадовать.

Мавра Саввишна тяжело вздохнула. Отец Павел начал ее утешать. Вскоре вошли в горницу Наталья со своею матерью. Обе начали расспрашивать Василия о результатах его поездки в Преображенское, но он не успел еще им ответить, как под окнами дома раздался конский топот, и Мавра Саввишна, взглянув в окно, закричала:

— Ну, пропали мы!

— Что такое, тетушка? — спросил Бурмистров.

— Мошенник Лысков приехал, и с ним отряд на конях! Ох, мои батюшки, пропали наши головушки!

— Ничего, тетушка, будь спокойна!

— Желаю здравия! — сказал Лысков, входя в горницу со злобной улыбкой на лице.— Я говорил вам в прошлый раз, что мы скоро опять увидимся. Вот я и приехал, да еще и не один: со мной тридцать конных стрельцов. Эй, войдите сюда! — закричал он, повернувшись к двери.

Вошли шесть стрельцов с обнаженными саблями.

— Схватите этого молодца,— сказал он им, указывая на Бурмистрова,— свяжите и отвезите в Москву к благодетелю моему, а вашему главному начальнику!

— Постойте, ребята! — сказал спокойно Василий подошедшим к нему стрельцам.— Еще успеете взять и связать меня, я никуда не уйду. По чьему приказу,— спросил он Лыскова,— хочешь ты отослать меня в Москву?

— Да вот прочти эту бумагу; увидишь, кто приказал схватить тебя.

Василий, взяв протянутую ему бумагу, начал ее читать, а Лысков повернулся к Наталье и сказал:

— А ты, моя холопочка, собирайся проворнее. Поедешь со мной.

Наталья посмотрела на него с презрением и, обняв свою мать, заплакала. В это время вошел в горницу Сидоров с вязанкой дров для печи. Увидев Лыскова со стрель-

цами, он от страха уронил дрова на пол и, всплеснув руками, застыл у двери.

— Не плачь, милая Наталья, успокойся! — сказал Бурмистров.— Тебя Лысков не увезет отсюда и меня не отправит в Москву: эта бумага ничего не значит!

— Как ничего не значит?! — воскликнул Лысков.— Да ты бунтовать, что ли, вздумал? Разве не прочитал ты повеления царевны Софьи Алексеевны, объявленного мне главным стрелецким начальником?

— Я прочту тебе другую бумагу. Слушай.

Вынув из кармана грамоту царя Петра, начал он читать ее вслух.

Отец Павел был тронут до слез правосудием государя. Наталья в восторге обнимала мать свою и плакала от радости. Стрельцы вложили в ножны свои сабли и сняли шапки. Лысков то краснел, то бледнел, дрожа от досады, а Мавра Саввишна восклицала:

— Что, взял, мошенник? Недолго пожил в моем домике.

Обрадованный Сидоров подбежал к ней и, поцеловав у нее руку, спросил:

— Не прикажешь ли, матушка Мавра Саввишна, опять проводить отсюда его милость Сидора Терентьича?

— Не тронь его, Ванюха! Лежачего не бьют.

— Да он, матушка, не лежит еще, а стоит, словно пень какой.

— Дай срок, сам уйдет!

В самом деле, Лысков, видя, что делать нечего, и не смея ехать в Преображенское, поглядел на всех, как рассерженная ехидна, поспешно вышел из горницы, сел на свою лошадь и поскакал с сопровождавшими его стрельцами в Москву.

На другой день Бурмистров, простясь с отцом Павлом, с Натальей, ее матерью и своей теткой, повел роту потешных в Ласточкино Гнездо. Немного отдохнув, пошел он потом в Чертово Раздолье и вскоре достиг горы, на которой находилось жилище Андреева и его сообщников. Бурмистров приказал солдатам зарядить ружья и начал подниматься на гору. На площадке, расчищенной перед насыпью в том месте, где были ворота, Василий поставил роту, а сам взлез на дерево, чтобы взглянуть на насыпь. На дворе не было ни одного человека. Вдруг послышалось в здании, которое стояло посреди двора, пение, и вскоре опять все утихло. Бурмистров приказал одному из солдат выстрелить, чтобы вызвать раскольников из дома и объявить царское повеление. Раздался выстрел, и Бурмистров через несколь-

ко минут увидел Андреева и его сообщников, поспешно выходивших из дома. Все они были вооружены саблями и ружьями. Один из них нес стрелецкое знамя. Андреев взошел на насыпь по приставленной к ней лестнице и, увидев роту, закричал:

— Все сюда за мной!

Бурмистров, спустившись с дерева, встал перед ротой. Раскольники один за другим поспешно влезли на насыпь.

Василий объявил Андрееву о цели своего прихода и прибавил:

— Ты видишь, что со мной целая рота солдат. Если станешь сопротивляться, мы начнем приступ. Не принуждай нас к кровопролитию, лучше сдайся и покорись царской воле.

Вместо ответа Андреев выстрелил в Бурмистрова; пуля, свистнув, вошла в землю у ног Василия.

— Огонь! — закричал Василий.

Грянул залп, и несколько убитых и раненых полетело с насыпи.

— Стреляйте! — воскликнул в бешенстве Андреев, махая саблей. Два или три выстрела один за другим раздались с насыпи, но никого не ранили из потешных, которые снова выстрелили в своих противников залпом.

Не слушая крика Андреева, раскольники побежали к лестнице, тесня друг друга.

— На деревья, ребята! — закричал Бурмистров потешным.— Стреляй беглым огнем!

Солдаты проворно вскарабкались на густые деревья, окружавшие со всех сторон насыпь, и начали стрелять в бегущих к главному зданию раскольников.

Андреев, оставшийся на насыпи, в ярости рубил саблей землю. Когда пальба прекратилась, Василий, стоявший около ворот, закричал ему:

— Сдайся! Ты видишь, что сопротивление бессмысленно.

Андреев, заскрежетав зубами, бросил в Бурмистрова свою саблю. Тот отскочил, и сабля, перевернувшись на лету, рукояткой ударила в землю с такой силой, что ушла в нее до половины. Андреев бросился на колени, вполголоса произнес какую-то молитву и спустился по лестнице с насыпи.

Бурмистров приказал нескольким потешным остаться на деревьях наблюдать за действиями раскольников, собрал остальных перед воротами, велел устроить перекладину, срубить дерево и вытесать тяжелое бревно, с одного конца заостренное. Повесив на перекладину это бревно на вере-

вочной лестнице, взятой им из Преображенского, приказал он солдатам ломать ворота. Вскоре они в нескольких местах раскололись.

— Кто-то вышел из дома и идет к насыпи! — закричал один из потешных с дерева.

— Бейте сильнее, ребята, в правую половину ворот! — воскликнул Бурмистров.— Она больше раскололась.

— Остановитесь! — закричал пятидесятник Горохов, появившийся на насыпи.— Не трудитесь понапрасну. Глава наш требует полчаса на молитву и размышление.

— Передай ему,— сказал Бурмистров,— что я согласен на его требование. Если же через полчаса вы не сдадитесь, мы вышибем ворота и возьмем вас силой.

Горохов, спустясь с насыпи, возвратился в дом.

Бурмистров велел солдатам отдохнуть. Через некоторое время один из потешных закричал с дерева:

— Несколько человек вышли из слухового окна на кровлю дома. Все без оружия и на всех, кажется, саваны.

— Наверно, хотят помолиться,— сказал Бурмистров.

— Что это?! — воскликнул потешный.— Двое тащат на кровлю какую-то девушку в белом.

— Это их священник,— объяснил Василий.

— Из нижних окон дома появился дым. Господи Боже мой, кажется, там пожар.

— Ломайте скорее ворота, ребята!— закричал Василий.

В это время все раскольники в саванах вышли на кровлю дома и запели свою предсмертную молитву. Они решили лучше сжечь себя, чем возвратиться в «нечестивый мир». Несчастная девушка, видимо, похищенная ими после бегства Натальи, громко кричала и вырывалась из рук державших ее раскольников, которые, не обращая на нее внимания, продолжали петь предсмертную песню.

Расколотые ворота слетели с петель, и Бурмистров с потешными вбежал во двор. Из всех нижних окон дома клубился густой дым и вырывалось яркое пламя. Спасти кого-нибудь с крыши было уже невозможно. Вопль несчастной жертвы, заглушаемый унылым пением ее палачей, раздирал сердце Бурмистрова.

— Кто из вас лучший стрелок? — спросил он потешных.

— Капрал наш, Иван Григорьич,— ответил один из них.

— Эй, капрал! — закричал Василий.— Убей этих двух, которые держат бедную девушку.

— Как бы в нее не попасть.

— Стреляй смелей, авось как-нибудь спасем несчастную.

— Как твоей милости угодно,— сказал капрал и начал

целиться из ружья. Несколько раз дым закрывал фигуры на крыше.

— Помоги, Господи,— сказал шепотом капрал и, выждав миг, когда дым немного развеялся, спустил курок. Один из раскольников отпустил руку девушки, схватился за грудь и упал.

— Молодец! — воскликнул Бурмистров.— Теперь постарайся попасть в другого.

Один из потешных подал свое ружье капралу.

— Ох, батюшки,— сказал тот, вздохнув,— душа не на месте! Рука-то проклятая дрожит.

— Стреляй, брат, скорее, не робей!— закричал Бурмистров.

Капрал, перекрестясь, начал целиться. Сердце Бурмистрова сильно билось, и все потешные смотрели с беспокойством на первого своего стрелка.

Раздался выстрел, и другой раскольник, державший девушку, упал.

— Слава Богу! — выдохнули в один голос потешные.

Девушка подбежала к краю кровли той стороны дома, которая еще не была объята пламенем. Раскольники, смотревшие на небо и продолжавшие погребальное пение, не заметили этого. Продолжая жалобно кричать, она глядела с кровли вниз. Горевшее здание было в два яруса и довольно высоким.

— Ребята! — закричал Бурмистров.— Поищите широкий холст, иначе она убьется!

Потешные рассыпались по двору. Один из них увидел большое стрелецкое знамя, брошенное раскольниками у насыпи, схватил его и закричал:

— Нашел!

Подбежав к горящему дому, потешные сорвали с древка и натянули стрелецкое знамя.

— Прыгай сюда! — закричал Василий девушке.

Девушка в нерешительности замерла на краю крыши. В это время Андреев подбежал к ней и хотел ее остановить.

— Ну, быстрей! — гаркнул Бурмистров, и девушка, перекрестившись, спрыгнула на знамя.

Радостный крик потешных потряс воздух. Упав на знамя, девушка потеряла сознание, и ее вынесли прямо на знамени за ворота. Бурмистров с трудом привел ее в чувство. Посмотрев на себя и с ужасом увидев, что она еще в саване, девушка вскочила и сбросила его с себя.

— Посмотри-ка, красавица какая,— шепнул один из

потешных другому.— Какой сарафан-то на ней знатный, никак, шелковый.

— Нечего сказать,— отвечал другой,— умели же еретики ее нарядить. На этакую красоточку надели саван, словно на мертвеца!

Девушка так ослабла, что была не в силах идти. Ее опять положили на знамя и понесли с горы. Яркое пламя охватило уже все здание, и унылое пение раскольников, прерываемое иногда невнятными воплями и треском пылающих бревен, начало постепенно стихать. Вскоре Василий с ротой достигли просеки и, пройдя ее, остановились на отдых у тропинки. Солнце уже закатилось, и вечерняя темнота покрыла небо. Отдаленное яркое зарево освещало красным сиянием верхи мрачных сосен.

Вскоре после полуночи Бурмистров пришел в Ласточкино Гнездо и приказал потешным провести ночь в крестьянских избах. Потом, выслав из дома своей тетки холопов Лыскова, поместил в верхней светлице спасенную им девушку, а сам решил ночевать в спальне, которую Мавра Саввишна приготовила для его свадьбы. Долго еще сидел он у окна и смотрел с грустным чувством на зарево, разлившееся в отдалении над Чертовым Раздольем. Потом оно стало гаснуть и совсем исчезло при серебристом сиянии месяца, который, выглянув из-за облака, отразился в зеркальной поверхности озера.

На другой день Василий узнал от спасенной им девушки, что она ехала со своим дядей, бедным дворянином Сытиным, из Ярославля в Москву, и ночью раскольники напали на них, дядю убили, а ее увели с собой, и что Андреев долго морил ее голодом и вынудил наконец принять на себя звание священника устроенной им церкви.

— Господи Боже мой, что будет со мной? — говорила девушка, заливаясь слезами.— Теперь я сирота!

— Успокойся, Ольга Андреевна,— сказал ей Бурмистров.— Что-нибудь придумаем.

Вскоре после полудня Василий, собрав свою роту, отправился с девушкой в Погорелово и встречен был там радостно Натальей, старухой Смирновой, отцом Павлом и Маврой Саввишной. Все вошли в горницу. Расспросам не было конца. Когда Василий рассказал, как спас девушку от смерти, Наталья, взяв ее ласково за руку, посадила возле себя и стала утешать. Ольга горько плакала.

— Ах, Господи, Господи! — восклицала Мавра Саввишна, слушая рассказ Бурмистрова.— Так ты, горемычная моя, осталась на белом свете сиротинкой?! Неужто у тебя, кроме покойного твоего дядюшки, никого не осталось?

— Никого! — отвечала Ольга, не переставая рыдать.

— Не плачь, не плачь, мое солнышко. Коли нет у тебя родни, так будь же моей дочерью. Батюшка царь защитил меня, бедную. Есть теперь у меня деревнюшка с домиком; будет с нас, не умрем с голоду. Обними меня, старуху!

Ольга бросилась на шею Мавре Саввишне и начала целовать ее руки. Та хотела что-то сказать, но не смогла и, обнимая Ольгу, навзрыд заплакала. Все были тронуты.

— Господь вознаградит тебя за твое доброе сердце, Мавра Саввишна! — сказал отец Павел.

После общего совета было решено, что Бурмистров отвезет Ольгу сначала в Преображенское, чтобы представить ее царю Петру, а потом приедет с нею в Ласточкино Гнездо, куда Мавра Саввишна со старухой Смирновой и Натальей намеревались через день отправиться.

Прибыв в село Преображенское, Василий пошел с Ольгой ко дворцу; за ним следовала рота потешных. Царь сидел у окна с матерью своей, Натальей Кирилловной, и супругой Евдокией Феодоровной Лапухиной. Увидев Бурмистрова в окно, он спросил его:

— Ну что, исполнил ли ты мое поручение? А это что за девушка? Твоя невеста?

— Это, государь, племянница дворянина Сытина, убитого раскольниками. Они хотели ее сжечь вместе с собой.

— Сжечь вместе с собой?! — воскликнул Петр.— Идика сюда.

Бурмистров, войдя во дворец, подробно рассказал все царю.

— Это ужасно! — повторял Петр, слушая Василия и несколько раз вскакивая с кресла.— Вот плоды невежества! Изуверы губили других, сожгли самих себя, хотели сжечь эту бедную девушку, и все были уверены, что они делают добро и угождают Богу.

— Они более жалки, нежели преступны,— сказал Лефорт, стоявший возле Петра.— Просвети, государь, подданных твоих.

— Да, да! — воскликнул с жаром Петр, схватив за руку Лефорта.

— Остались ли у тебя родственники после погибшего дяди? — спросила Ольгу царица Наталья Кирилловна.

— Нет, государыня, никого не осталось,— ответила Ольга дрожащим от робости голосом.— Тетка моего избавителя берет меня к себе в дом, вместо дочери.

— Твоя тетка? — спросил Петр Бурмистрова.— Та самая, у которой Лысков отнял поместье?

— Та самая, государь!

— Скажи ей, что если Лысков и кто бы то ни было станет притеснять ее, то пусть она приезжает прямо ко мне с жалобой: я буду ее постоянный защитник и покровитель.

— Отдай твоей новой матери этот небольшой подарок,— сказала царица Наталья Кирилловна, снимая с руки золотой перстень с драгоценным яхонтом и подавая Ольге.— Скажи ей, чтоб она уведомила меня, когда станет выдавать тебя замуж: я дам тебе приданое!

— Чем заслужила я такую милость, матушка царица? — сказала со слезами на глазах Ольга, бросаясь на колени перед Натальей Кирилловной.

— Можно ли и мне подарить этой девушке перстень? — спросила царя на ухо юная супруга его.

Петр легким наклоном головы согласился, и юная царица подала Ольге со своей руки золотой перстень с рубином.

— Ну, пятисотенный,— сказал Петр Бурмистрову,— спасибо тебе за твою службу! Чем же наградить тебя?.. Хочешь ли ты служить у меня, в Преображенском? Да что тебя спрашивать: по глазам вижу, что хочешь. Назначаю тебя ротмистром. Ты, как я заметил, хорошо верхом ездишь. Здесь есть у меня особая конная рота. Объяви ей любезный Франц, что я назначил Бурмистрова ее начальником. Ах да, совсем забыл! Прежде тебе надобно жениться. Отвези эту девушку к твоей тетке, потом женись и приезжай с молодой женой ко мне, в Преображенское. Пойдем, любезный Франц,— продолжил Петр, обращаясь к Лефорту.— Надо сказать спасибо солдатам третьей роты и за поход наградить.

Петр вышел с Лефортом из горницы, потрепав мимоходом Бурмистрова по плечу и примолвив:

— Прощай, ротмистр, до свидания!

Бурмистров и Ольга вышли из дворца и отправились в Ласточнико Гнездо, где встретились с Маврой Саввишной, Натальей и ее матерью.

Все рассказав и оставив Ольгу у тетки, Бурмистров в тот же день поскакал в Погорелово, чтобы посоветоваться с отцом Павлом о своем браке. Наступал июнь месяц, и через день начинался Петров пост, так что свадьбу, можно было справлять лишь через несколько недель.

VII

— Нет, князь,— говорила царевна Софья ближнему боярину князю Василию Васильевичу Голицыну,— не могу сносить этого более! Мальчишка смеет мне противиться и вмешиваться в дела правления! Скажи мне откровенно: какие меры мне принять?

— Не смею ничего советовать в таком важном деле, государыня. Одна твоя мудрость может указать выход. Долг мой состоит в беспрекословном и ревностном исполнении воли твоей.

— Ты удивляешь меня, князь. Если б я давно не знала тебя и менее была уверена в твоей преданности, то могла бы подумать, что ты, подобно многим другим боярам, держишься стороны младшего моего брата. Неужели мальчик может лучше меня управлять государством? Нет я найду средство его остановить. Он не лишит меня власти.

— Я вот думаю,— осторожно сказал Голицын,— не лучше ли будет не бороться с ним, а, наоборот, сблизиться. Разрыв с ним опасен для твоего царского величества. Уступчивость и ласка гораздо более на него подействуют, нежели пренебрежение к нему и явная ссора. Он будет доволен и самым малым участием в делах правления. Ласковость твоя совершенно его обезоружит.

— Неужели ты думаешь, что я себя унижу до такой степени и стану искать благосклонности моего брата? Пусть он ищет моей! И чем он может мне быть опасен? Все подданные любят меня; все стрельцы готовы, по первому моему слову, пролить за меня кровь свою!

— Его потешные, государыня... я давно уже говорил, что...

— Его потешные мне смешны! Пусть забавляется с ними и с иноземными бродягами в Преображенском.

— Окольничий Федор Иванович Шакловитый,— сказала постельница царевны, войдя в горницу,— просит дозволения предстать пред светлые очи твоего царского величества.

— Позови его.

Шакловитый низко поклонился царевне и подал ей жалобы Лыскова. Софья, прочитав бумагу, покраснела от гнева.

— Прочитай,— воскликнула она, подавая челобитную Лыскова князю Голицыну.— Не посоветуешь ли ты после этого сблизиться с моим братом?

Голицын принялся внимательно читать бумагу, а Шакловитый начал вкрадчиво говорить Софье:

— Если и впредь все так пойдет, то не следует ждать

ничего хорошего. Ты повелеваешь, государыня, казнить бунтовщика, а Петр Алексеевич его защищает; ты приказываешь отдать помещику беглую холопку, а брат твоего царского величества освобождает ее от кабалы, выгоняет помещика из деревни и отдает ее какой-то нищей.

— Я прекращу это безобразие! — воскликнула Софья.— Приказываю тебе сегодня же схватить и казнить бунтовщика Бурмистрова, холопку Наталью возвратить Лыскову, а отнятую у него деревню также отдать ему. Возьми для этого целый полк стрельцов, если нужно.

— А я бы поступил иначе, государыня. Торопиться не надо. Пусть в Москве побольше об этом деле заговорят, а там будет видно, что́ лучше всего предпринять.

— И мне кажется,— сказал князь Голицын,— что лучше сначала объясниться с царем Петром Алексеевичем: он увидит свою ошибку и, без сомнения, охотно ее исправит.

— Благодарю тебя за твой совет, князь! — сказала Софья, стараясь казаться спокойной.— Сходи теперь же к святейшему патриарху и скажи ему, чтобы он завтра утром приехал ко мне.

Когда Голицын ушел, Шакловитый, посмотрев насмешливо ему вслед, сказал:

— Хитростью похож он на лисицу, а трусостью на зайца. Мне кажется, что он держится стороны врагов твоих, государыня!

— Я узнаю это,— ответила Софья.

— Зачем, государыня, послала ты его к святейшему патриарху? Неужели хочешь ты со святым отцом в таком деле советоваться? Положись на одного меня. Из всех слуг твоих я самый преданный и усердный. Я доказал уже тебе это и еще докажу.

— Уверена в этом. Я удалила Голицына для того, чтобы поговорить с тобой наедине. Посмотри, нет ли кого за дверью?

— Никого нет, государыня! — ответил Шакловитый, распахнув дверь и заглянув в другую горницу.

Дверь снова закрылась. Часа через три Шакловитый вышел из горницы царевны Софьи и поехал к полковнику Цыклеру. Возвратясь домой, он велел призвать к себе полковника Петрова и подполковника Чермного. Они ушли от него ровно в полночь.

VIII

Петров пост прошел и наступил июль месяц. Бурмистров в Ласточкином Гнезде занемог, и свадьба была отложена до его выздоровления. Лишь в начале августа он выздоровел. Спеша исполнить повеление царя, приказавшего ему приехать тотчас после женитьбы на службу в Преображенское, он просил Мавру Саввишну как можно скорее сделать все приготовления к его свадьбе. Вскоре Василий с невестой, старуха Смирнова и сама Мавра Саввишна с Ольгой отправились в село Погорелово, чтобы отпраздновать сговоры в доме отца Павла; на другой день можно было венчать Василия и Наталью, а на третий они хотели отправиться в Преображенское.

Брат Натальи, Андрей, который уже кончил академический курс, купец Лаптев с женой и капитан Лыков приехали по приглашению на сговор Василия. Бурмистрова благословили образом и хлебом-солью Лаптев и жена его, а Натальею — ее мать и капитан Лыков, принявший на себя с большим удовольствием роль посаженого отца невесты. Отец Павел, совершив обряд обручения, соединил руки жениха и невесты. Начались поздравления, и Мавра Саввишна явилась из другой горницы с большим подносом, уставленным серебряными чарками. Проговорив длинное поздравление обрученным, она начала угощать всех вином. Андрей, приподняв чарку и любуясь резьбой на ней, сказал:

— Какая роскошь и прелесть! Не знаешь, чему отдать предпочтение: содержащему или содержимому!

— Выкушай, Андрей Петрович, за здравие обрученных! — сказала Мавра Саввишна, кланяясь.

— Если б я был Анакреон, то написал бы стихи об этой чарке.

— Ну, ну, хорошо! Выкушай-ка скорее, а там, пожалуй, пиши, что хочешь, на чарке.

Андрей, усмехнувшись, выпил вино и, обращаясь к Бурмистрову, спросил:

— Откуда, Василий Петрович, взялись на твоих сговорах такие богатые сосуды? У иного боярина таких нет.

— Не знаю,— ответил Василий.— Спроси у тетушки.

— Эти чарки привезены в подарок обрученным их милостью,— сказала Мавра Саввишна, указывая на Лаптева и жену его.

Бурмистров и Наталья горячо поблагодарили старинных своих знакомых.

После этого начались разговоры о столичных новостях.

— Как жаль, что тебя не было в Москве восьмого июля! — сказал Лыков Бурмистрову.— Уж полюбовался бы ты на царя Петра Алексеевича. Показал он себя! Нечего сказать! Софья-то Алексеевна со стыда сгорела.

— Что такое? — спросил Василий.— Что-то случилось?

— Да ты, видно, ничего еще не слышал. Я тебе расскажу. В день крестного хода из Успенского собора в собор Казанской Божией Матери оба царя и царевна приехали за обедню. После службы, когда святейший патриарх вышел из Успенского собора, Софья Алексеевна хотела идти вместе с царями. Я как раз был в толпе неподалеку от их царских величеств и слышал, как царь Петр Алексеевич сказал царевне: «Тебе, сестрица, неприлично идти в крестном ходе вместе с нами; этого никогда не водилось. Женщины не должны участвовать в подобных торжествах». «Я знаю, что делаю!» — ответила Софья Алексеевна, гневно посмотрев на царя, а он вдруг отошел в сторону, махнул своему конюшему, велел подвести свою лошадь, вскочил на нее да и уехал в Коломенское. Царевна переменилась в лице, сперва покраснела, а потом вдруг побледнела и начала что-то говорить царю Иоанну Алексеевичу...

— Да,— перебила его Лаптева,— по всей Москве несколько дней только и разговоров было, что об этом. Сказывала мне кума, что царевна разгневалась так на братца, что не приведи Господи!

— Молчи, жена! — воскликнул Лаптев, гладя бороду.— Не наше дело!

— Кума-то сказывала еще, что злодеи стрельцы опять начинают на площадях собираться, грозятся и похваляются...

— Да перестанешь ли ты, трещотка! — закричал Лаптев.

— Пусть я трещотка, а уж бунту нам не миновать.

— Я того же мнения,— сказал важно Андрей, осушавший в это время пятую чарку вина. Но если правду сказать, то и родственники царя Петра Алексеевича поступают неразумно. Я сам видел, как боярин Лев Кириллович Нарышкин ездил под вечер с гурьбой ратных людей по Земляному городу, у Сретенских и Мясницких ворот ловил стрельцов, приказывал их бить обухами и плетьми и кричал: «Не то вам еще будет!» Сказывали мне, что он иным из них рубил пальцы и резал языки. «Меня,— говорил он,—сестра, царица Наталья Кирилловна, и царь Петр Алексеевич слушают. За смерть братьев моих я всех вас истреблю!» Такими поступками в самом деле немудрено взбунтовать стрельцов.

— И я слышал об этом,— вмешался Лыков.— Только говорили мне, что будто не боярин Нарышкин этим занимается, а какой-то подьячий Приказа большой казны, Матвей Шошин. Этот плут лицом и ростом очень похож, говорят, на Льва Кирилловича. Тут, впрочем, большой беды я не вижу. Боярин ли он, подьячий ли — все равно, пусть тешится над окаянными стрельцами, поделом им, мошенникам.

— Нет, капитан,— сказал Бурмистров,— я на это смотрю другими глазами... Давно ли ты, Андрей Петрович, видел этого мнимого Нарышкина?

— Видел я его на прошлой неделе да еще сегодня ночью в то самое время, как шел через Кремль от одного из моих прежних учителей к Андрею Матвеевичу, чтобы вместе с ним на рассвете сюда отправиться.

— Что же он делал в Кремле?

— Бродил взад и вперед по площади около царского дворца с каким-то другим человеком и смотрел, как выламывали во дворце, у Мовной лестницы, окошко. Мне показалось это странным, однако я подумал: боярин знает, что делает; видно, цари ему приказали. Я немного постоял. Окно выломали, и вышел к Нарышкину из дворца истопник Степан Евдокимов, которого я в лицо знаю, да полковник стрелецкий Петров. Начали они что-то говорить. Я расслышал только, что Петров называл неизвестного человека, стоявшего с Нарышкиным, Федором Ивановичем.

— Так зовут Шакловитого,— сказал Бурмистров с тревогой в голосе и, вскочив, заходил по комнате.

— Ночь была довольно темная,— продолжал Андрей,— и они сначала меня не видели. На беду, месяц выглянул из-за облака. Вдруг Нарышкин как закричит на меня: «Пошел своей дорогой, зевака! Не смей смотреть на то, что мы делаем по царскому повелению». «Нет, нет! — закричал Федор Иванович.— Лучше поймать его. Хватай его, Петров!» Полковник бросился за мной, но не догнал: я бегать-то мастер.

— А где царь Петр Алексеевич? В Москве? — спросил Бурмистров.

— Я слышал, что его ждали в Москву сегодня к ночи,— ответил Андрей.

— Прощай, милая Наталья! — сказал Бурмистров.— Я сейчас же еду! Дай Бог, чтоб я успел предостеречь царя.

Все удивились. Наталья была поражена и встревожена

таким внезапным решением жениха, но, видя его состояние, спрашивать ничего не стала. Спросил его Лыков.

— Да с чего ты, пятисотенный, взял, что царю грозит опасность?

— Я тебе это объясню на дороге. Ты поедешь со мной?

— Пожалуй. Для царя Петра Алексеевича готов я ехать на край света, не только в Москву. К ночи-то мы туда поспеем.

— И я еду с вами! — сказал Андрей.— Я хоть и плохо верхом езжу, однако с лошади не свалюсь и от вас не отстану. Александр Македонский и с Буцефала, правильнее же сказать с Букефала, не свалился. Неужто, Андрей Матвеевич, твой гнедко меня сшибет?

— А меня пусть хоть и сшибет моя вороная, только я от вас не отстану, опять на нее влезу да поскачу,— сказал Лаптев.— Прощай, жена!

Все четверо сели на лошадей, быстро простились и поскакали к Москве.

IX

С наступлением вечера в Москву начали стекаться стрельцы из окрестных слобод. Цыклер и Чермной расставляли их в разных укромных местах, а бóльшую часть собрали на Лыков и Житный дворы, находящиеся в Кремле, и стали ждать приказаний Шакловитого.

— Мне кажется,— сказал Чермной стоявшему рядом полковнику Цыклеру,— что мы и сегодняшнюю ночь проведем здесь зря. Вчера мы его тоже ждали, однако он не приехал из Преображенского.

— Авось приедет сегодня. Это кто к нам крадется? — насторожился Цыклер, пристально всматриваясь в приближавшегося к ним человека.— Ба, да это истопник Евдокимов! Добро пожаловать! Что скажешь нам, Степан Терентьич? Что у тебя за мешок?

— С денежками, господин полковник. Изволь-ка их посчитать да раздай теперь же стрельцам. Так приказано.

— Давай сюда! Это доброе дело! Не видал ли ты нашего начальника? Куда он запропастился? Мы уж давно здесь его ожидаем.

— Сейчас он в Грановитой палате. Там и заночует, если и сегодня не приедет к ночи из Преображенского он-то. Вы понимаете, о ком я говорю?

— Где нам понять! — воскликнул Чермной.— Эх ты,

придворная лисица! Даже с нами не можешь говорить без обиняков. Чего ты трусишь?

— Лучше, господин подполковник, лишнего не говорить! Счастливо оставаться! Мне идти пора!

Вскоре после ухода истопника явился Шакловитый. Собрав около себя пятидесятников и десятников стрелецких, он сказал:

— Объявите всем, что я с часу на час жду вестей от полковника Петрова, который послан мною в Преображенское. Если вести придут оттуда хорошие, то на Ивановской колокольне ударят в колокол, и тогда надо напасть на дома изменников и врагов царевны и всех изрубить без пощады. Вот вам список изменников. Все, что вы найдете в домах у них, возьмите и разделите между собой. Потом ступайте к лавкам торговых людей, которые держат сторону изменников: все товары и добро их — ваши!

В списке, который Шакловитый подал стоявшему близ него пятидесятнику, были имена бояр, преданных царю Петру Алексеевичу, и многих богатых купцов. В числе последних находился и Андрей Матвеевич Лаптев.

Сказав еще несколько слов на ухо Цыклеру и Чермному, Шакловитый вместе с ними удалился в Грановитую палату. Вскоре прибыл к нему стрелец, посланный из Преображенского Петровым, с письмом. Шакловитый, вырвал от нетерпения из его рук письмо и, приказав ему идти на Лыков двор, прочитал вполголоса Цыклеру и Чермному:

— Сегодня в Москве он не будет и ночует в Преображенском. По приказу твоему расставил я, когда смеркалось, надежных людей в буераках и в лесу и зажигал два раза близ дворца амбар, чтобы выманить кого нам надобно, но проклятые потешные тотчас сбегались и тушили пожар. Теперь они разошлись уже по избам. Скоро наступит полночь. Когда все в селе угомонятся, я опять зажгу амбар. Авось в третий раз удастся приказ твой исполнить. Тогда я сам прискачу в Москву с вестью.

— Какая досада! — воскликнул Шакловитый, разорвав письмо на мелкие части.— Он просто трусит! Жаль, что я послал его туда! Не идти ли нам всем в Преображенское?

— Оно, кажется, будет вернее! — сказал Чермной.— Окружим село, нападем на потешных врасплох и разом все дело кончим.

— А может, подождем немного? — возразил Цыклер.— Может быть, Петров скоро привезет нам добрую весточку.

— Ты, видно, такой же трус, как он! — сказал Шакловитый, сердито посмотрев на Цыклера.— Потешных, что ли, испугался? Мы вчетверо их сильнее! Пойди-ка на Лыков двор и скажи моим молодцам, чтобы все шли на Красную площадь, к Казанскому собору, а ты, Чермной, с Житного двора веди всех стрельцов к собору да пошли гонцов и за прочими полками. Оттуда все пойдем к Преображенскому.

Около полуночи на Красной площади собралось несколько тысяч стрельцов. Шакловитый раза три прошел мимо рядов их, ободряя свое войско. Потом велел подвести лошадь и занес уже было ногу в стремя, как вдруг появился гонец от Петрова и подал ему письмо.

Прочитав письмо, Шакловитый побледнел и задрожал.

«Измена! — писал Петров.— Стрельцы Мишка Феоктистов и Митька Мельнов переметнулись на сторону врагов наших и впущены были во дворец. Нет сомнения, что царь все уже знает. Вскоре после полуночи уехал он с обеими царицами и сестрой царевной Натальей Алексеевной неизвестно куда из Преображенского. Я спешу теперь со всеми нашими окольной дорогой к Москве. У всех у нас руки опустились. Близ Бутырской слободы обогнал нас Бурмистров. Лошадь его неслась как стрела, и мы не успели остановить его. Я его видел сегодня мельком в Преображенском, незадолго до отъезда царя. Верно, он послан к генералу Гордону с приказом привести к царю Бутырский полк, которым этот иноземец правит. Преображенские и Семеновские потешные также выступили куда-то из села».

— По домам! — закричал Шакловитый, дочитав письмо.— Никто не смей и заикнуться, что было здесь. Голову отрублю тому, кто проболтается.

Все стрельцы беспорядочными толпами удалились с площади и возвратились в свои слободы, а Шакловитый с Цыклером и Чермным поспешно пошли в Кремль. Близ крыльца, через которое входили в комнаты царевны Софьи Алексеевны, попался ему навстречу Сидор Терентьевич Лысков.

— Слава Богу, что я нашел тебя, Федор Иванович! — воскликнул он.— Я обегал весь Кремль. Слышал ты, что о н из Преображенского уехал?

— Слышал, слышал,— раздраженно ответил Шакловитый.

— А знаешь, куда? Так вот — в Троицкий монастырь.

— Ну и что?

— Да там еще нет ни одного потешного! Зачем ты стрельцов-то распустил; нагрянул бы туда врасплох, так и дело было бы в шляпе.

— Ага — «нагрянул бы»! Потешные и Бутырский полки пошли уже давно к монастырю. Теперь и на гончих собаках верхом их не обгонишь!

— И, Федор Иванович! Ты, как я вижу, совсем дух потерял. Дай-ка мне десятка хоть три конных стрельцов. Увидишь, что я прежде всех поспею в монастырь и все дело улажу.

— Бери хоть целую сотню, только меня в это дело не путай. Удастся тебе — все мы тебе спасибо скажем; не удастся — один за все отвечай. Скажи тогда, что я тебе стрельцов брать не приказывал и что ты сам их нанял за деньги.

— Ладно, согласен. Увидишь, что я всех вас выручу из беды. А нет ли, Федор Иванович, деньжонок у тебя, чтобы стрельцов-то нанять? Одолжи, пожалуйста.

— На, вот пять рублей. Больше нет, все стрельцам давеча роздал.

— Ладно! Дай-ка мне ручку твою на счастье перед походом. Вот так! Прощай, Федор Иванович!

Лысков побежал к постоялому двору, где оставил свою лошадь, два пистолета и саблю, а Шакловитый ушел во дворец. Чермной и Цыклер, переглянувшись, молча разошлись по домам.

Всю ночь Цыклер не мог заснуть. Он мучительно думал — на чей быть стороне? Кто победит? Лишь на рассвете он принял решение донести обо всем царю. Едва взошло солнце, он оседлал лошадь и поскакал в Троицкий монастырь.

На половине дороги нагнал его Лысков с толпой конных стрельцов, спешивший к Троицкому монастырю.

— Ба! — закричал Лысков, увидев Цыклера.— Ты тоже пробираешься к монастырю! Доброе дело! Поедем вместе. Ум хорошо, а два лучше. Ты ведь знаешь, для чего я туда еду?

— Знаю! — ответил Цыклер.— Поезжай скорее и не теряй времени. Жаль, что лошадь моя очень устала: я за тобой никак не поспею. Уж видно, тебе одному придется дело уладить; тогда и вся честь будет принадлежать тебе одному.

— Видно, ты трусишь, господин полковник! До свидания! За мной, ребята! — закричал он стрельцам.— Во весь опор!

Цыклер удержал свою лошадь, которая пустилась было вскачь за понесшейся толпой.

— Если ему удастся — хорошо! — вслух размышлял он.— Я тогда ворочусь в Москву и первый донесу об успешном окончании дела царевне. Если же его встретят потешные, то, без сомнения, положат всех на месте, и я не опоздаю приехать в монастырь с доносом и с предложением услуг моих царю Петру.

X

— Вот и монастырь! — закричал Лысков стрельцам.— Скорее, ребята! К воротам!

Подъехав к монастырской стене, Лысков начал стучаться в ворота.

— Кто там? — спросил привратник.

— Солдаты,— ответил Лысков.— Его царское величество приказал нам приехать сюда из Преображенского. Потешные-то еще не прибыли?

— Нет еще. Вы первые приехали. А вы точно из Преображенского? Мне велено лишь оттуда впускать в монастырь, и то спросив прежде — как это? Слово такое мудреное!

— Пароль, что ли?

— Да, да, оно и есть. Ну-ка, скажи это слово.

— Вера и верность. Ну, отворяй же скорее ворота.

— Сейчас, сейчас.

Ворота, заскрипев на тяжелых петлях, растворились, и Лысков въехал со стрельцами за монастырскую ограду.

Царь Петр Алексеевич с матерью Натальей Кирилловной находился в это время в церкви и стоял у алтаря. Стрельцы, обнажив сабли, рассыпались в разные стороны для поисков. Двое из них вошли в церковь. Юный царь, оглянувшись и увидев двух людей, быстро приближавшихся к нему с обнаженными саблями, схватил мать свою за руку и ввел в алтарь. Стрельцы вбежали за ним туда же.

— Чего хотите вы? — закричал Петр, устремив на них сверкающий взор.— Вы забыли, что я царь ваш!

Оба стрельца, невольно содрогнувшись, остановились.

Царь Петр Алексеевич, поддерживая одной рукой испуганную мать, другой оперся об алтарь.

— У него оружия нет,— шепнул наконец один из стрельцов.— Я подойду к нему.

— Нет, нет,— сказал шепотом другой, удержав товарища за руку.— Он стоит у алтаря. Подождем, когда он выйдет из церкви; ему уйти отсюда некуда!

В это время послышался конский топот, и оба злодея, вздрогнув, побежали вон из церкви.

— За мной! Смерть злодеям! — воскликнул Бурмистров, въезжая во весь опор со своими солдатами в монастырские ворота. Лысков, услышав конский топот, с несколькими стрельцами выломал небольшую калитку и выбежал за ограду. Остальные стрельцы, оставшиеся в монастыре, были изрублены. Бурмистров с двумя своими людьми бросился в погоню за Лысковым, оставив лошадей у калитки, в которую было не проехать. Вскоре нагнал он Лыскова и пятерых стрельцов. Те остановились, увидев погоню, и приготовились к обороне.

— Сдавайся! — закричал Лыскову Василий.

Лысков выстрелил в Бурмистрова из пистолета и закричал стрельцам:

— Рубите его!

Пуля со свистом пронеслась мимо, и Лысков бросился на Василия с саблей, но один из потешных предупредил его, снеся ему голову и сам упал, проколотый саблей одного из стрельцов. На оставшегося потешного напали двое, а на Бурмистрова трое. Потешному удалось скоро разрубить голову одному из противников; потом он ранил другого и бросился на помощь к Василию. В это время раненый дополз до трупа Лыскова, вытащил из-за его пояса пистолет и, выстрелив в потешного, убил его. Василий дрался, как лев, с тремя врагами. Одному разрубил он голову, другого тяжело ранил, но третий ему самому нанес удар в левую руку и бросился в лес, увидев бежавших к ним от монастыря двух человек.

Василий, чувствуя, что силы его слабеют, правой рукой поднял с земли свою саблю и, опираясь на нее, пошел к монастырю. Вскоре голова у него закружилась, и он упал без чувств на землю.

Через несколько часов Бурмистров пришел в себя. Открыв глаза, увидел он, что перед ним стоят купец Лаптев и брат Натальи, а он сам лежит в постели в избе. Изба эта

находилась за оградой, неподалеку от главных монастырских ворот.

— Слава Богу! — сказал Лаптев.— Наконец он очнулся! Мы, Василий Петрович, думали, что ты совсем умер. Если бы не нашли и не перевязали тебя вовремя, ты бы кровью изошел!

— Спасибо,— сказал слабым голосом Бурмистров.— Как попал ты сюда, Андрей Матвеевич?

— Сегодня на рассвете услышали мы в Москве, что царь Петр Алексеевич ночью уехал из Преображенского в монастырь и разослал во все стороны гонцов с указом, чтобы всякий, кто любит его, спешил к монастырю для защиты царя от стрельцов-злодеев. Я с Андреем Петровичем и побежал в Гостиный двор, собрал около себя народ и закричал: «Друзья! Злодеи-стрельцы хотят убить нашего царя-батюшку. Он теперь в Троицком монастыре: поспешим туда и положим за него свои головы!» «В монастырь!» — крикнули все в один голос. «Кому надобно саблю, ружье, пику,— закричал я,— тот пусть бежит в мою оружейную лавку и выбирает, что кому надобно». Посмотрел бы ты, Василий Петрович, как мы из Москвы сюда скакали в телегах: земля дрожала! В каждую телегу набралось человек по десять.

В это время послышался громкий звук барабанов. Андрей, выглянув в окно, увидел, что Преображенские и Семеновские потешные и Бутырский полки с распущенными знаменами скорым шагом шли к монастырским воротам. Перед полками ехали верхом генерал Гордон и полковник Лефорт.

— Ба! — воскликнул Андрей.— А вон и капитан Лыков со своей ротой.

— Как это полки-то так скоро сюда поспели? — спросил Лаптев, подойдя к окну.

— Видно, на крестьянских подводах прискакали,— предположил Андрей.

— Экое войско: молодец к молодцу! — продолжал Лаптев.— Сердце радуется! А это что за обоз там приехал?.. Никак все крестьяне. С топорами, косами, вилами. Эк их сколько высыпало. А впереди-то священник, кажется...

Когда толпа крестьян, предводимая священником, приблизилась, Андрей воскликнул:

— Да это же отец Павел! А крестьяне, видимо, из Погорелова!

Андрей и Лаптев долго еще смотрели в окно. Со всех сторон подходили к монастырю стольники, стряпчие, дворяне, дьяки, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары. Все бояре, преданные царю Петру Алексеевичу, также прибыли в монастырь. Вскоре в монастырских стенах стало так тесно, что многие из приезжавших вынуждены были оставаться под открытым небом, за оградой монастыря.

Лаптев, оставив с Бурмистровым Андрея, вышел из избы, чтобы отыскать отца Павла и порасспросить его. С трудом отыскал он его в бесчисленной толпе народа и узнал, что и Варвара Ивановна, и Мавра Соввишна с Ольгой, и Наталья с матерью хотели непременно ехать к монастырю, и он с большим трудом отговорил их от этого.

Они не успели еще закончить разговор, как все, прибывшие в монастырь для защиты государя, начали выходить на поле. Полки построились в ряд, и вскоре Петр, на белом коне, в мундире, выехал из ворот в сопровождении бояр, генерала Гордона и полковника Лефорта. Земля задрожала от криков восхищенного народа. Царь снял шляпу, начал приветливо кланяться во все стороны, и на глазах его навернулись слезы.

Бурмистров, услышав крик, попросил Андрея узнать о его причине. Тот вышел из избы, вмешался в толпу, увидел вдали царя и вместе со всеми начал кричать:

— Ура!

В это время прошла поспешно мимо него женщина в крестьянском кафтане и с косой на плече. За нею следовало человек семь крестьян, вооруженных ружьями.

— Здорово, Андрей Петрович! — сказал один из них.

— Ба! Сидоров! Как ты здесь очутился?

— Мавра Саввишна изволила сюда приехать с твоей сестрицей, с матушкой, хозяюшкой Андрея Матвеевича и с Ольгой Андреевной. Они остались вон там, в той избушке.

— Куда же вы идете?

— Не знаю. Госпожа приказала нам идти за нею.

Андрей, нагнав Мавру Саввишну, которая ушла довольно далеко вперед, спросил ее:

— Куда это ты спешишь?

— Хочу голову свою положить за царя-батюшку! Жив ли он, наше солнышко?

— Вон он, на белой лошади.

— Слава Богу! — воскликнула Мавра Саввишна и, оборотясь лицом к монастырю, несколько раз перекрестилась.

— А где же стрельцы-то разбойники? Дай мне только до них добраться, я их, окаянных!

— Нет, здесь стрельцам уже не место, Мавра Саввишна.

— Вот незадача. А нет ли где хоть одного какого забеглого? Я бы ему косой голову снесла! Да вот, кажется, идут разбойники. Погляди-ка, Андрей Петрович, глаза-то у тебя помоложе. Вон, вон! Видишь ли? Да их никак много, проклятых!

Андрей, посмотрев в ту сторону, куда Мавра Саввишна ему указывала, увидел в самом деле вдали приближавшийся отряд стрельцов.

— Что это значит? — удивился Андрей.— Они, видно, с ума сошли.

— Ванюха! — закричала Мавра Саввишна Сидорову. — Ступай навстречу. Ступайте и вы все с Ванюхой! — сказала она прочим крестьянам.— Всех этих мошенников перестреляйте.

— Народу-то у нас маловато, матушка Мавра Саввишна,— возразил Сидоров, почесывая затылок.— Стрельцов-то сотни две сюда идут, а нас всего семеро: нам с ними не сладить!

— Не робей, Ванюха, сладим с мошенниками. Коли станут они, злодеи, вас одолевать, так я сама к вам кинусь на подмогу.

— Нет, матушка Мавра Саввишна, побереги ты себя. Уж лучше мы одни пойдем. Скличу я побольше добрых людей да и кинемся все гурьбой на злодеев.

Сказав это, Сидоров вмешался в толпу и закричал:

— Братцы! Разбойники-стрельцы сюда идут — проводим незваных гостей!

Толпа зашумела и заволновалась, несколько сот вооруженных людей побежало навстречу приближавшемуся отряду стрельцов. Начальник их, ехавший верхом впереди, не вынимая сабли, поскакал к толпе и закричал:

— Бог в помощь, добрые люди! Мы стрельцы Сухаревского полка и спешим на защиту царя Петра Алексеевича!

— Обманываешь, разбойник! — закричало множество голосов.— Тащи его с лошади! Стреляй в него!

— Господи Боже мой! — воскликнул купец Лаптев, рассмотрев лицо начальника отряда: — Да это никак ты, Иван Борисович!

— Андрей Матвеевич! — закричал стрелец, спрыгнув с лошади и бросаясь на шею Лаптеву.

Они крепко обнялись. Тем временем несколько человек окружили их и многие прицелились в стрельца из ружей.

— Не троньте его, добрые люди! — закричал Лаптев.— Это пятидесятник Иван Борисович Борисов. За него и за всех стрельцов Сухаревского полка я вам порука! Этим полком правил пятисотенный Василий Петрович Бурмистров.

— Коли так, пусть идут! — закричала толпа.

— А где Василий Петрович? — спросил Борисов Лаптева.

— Он лежит раненый, вон в той избушке.

— Раненый? Пойдем, ради Бога, к нему скорее!

Дорогой Лаптев узнал от Борисова, что Сухаревский полк шел к Москве по приказу Шакловитого, а по дороге встретил гонца с царским повелением и пошел тотчас же к монастырю.

— Я со своей полсотней опередил остальных,— прибавил Борисов.

Они вошли в хижину. Бурмистров сидел в задумчивости на скамье, с рукой на перевязи.

— А я к тебе нежданного гостя привел, Василий Петрович,— сказал Лаптев.

Бурмистров, несмотря на слабость, вскочил со скамьи, увидав Борисова. Долго обнимались они, не говоря ни слова. Наконец Лаптев, заметив, что повязка на руке Бурмистрова развязалась, посадил его на скамью. Только он успел перевязать ему снова рану, как отворилась дверь и в комнату вошли Наталья с матерью и братом, отец Павел, Мавра Саввишна с Ольгой, Варвара Ивановна и капитан Лыков.

— Здравия желаю, пятисотенный! — воскликнул Лыков.— Я слышал, что тебя один из этих мошенников-стрельцов царапнул саблей. Как рука твоя?

— Лучше.

— Признаюсь, завидно мне: приятно пролить кровь свою за царя!.. Поди-ка поздравь жениха, дочка! — продолжил он, взяв за руку Наталью и подведя ее к Бурмистрову.— Не стыдись, Наталья Петровна, не красней! Ведь я твой посаженый отец: ты должна меня слушаться. Поцелуй-ка жениха да пожелай ему здоровья.

Он заставил раскрасневшуюся Наталью поцеловаться со своим женихом.

— Ну, теперь он завтра же выздоровеет! — сказал довольный Лыков.— Что, пятисотенный? Ты, я чаю, и про рану свою забыл?

Андрей в это время украдкой смотрел на Ольгу. Еще при первой встрече в Погорелове она ему так понравилась, что он твердо решился к ней свататься.

Наступил вечер. Около монастыря запылали в разных местах костры, и пустынные окрестности огласились шумным говором бесчисленной толпы и веселыми песнями.

XI

Вскоре Москва узнала о собравшемся в Троицкий монастырь бесчисленном множестве народа. Царевна Софья немедленно призвала к себе князя Голицына и Шакловитого.

— По моему мнению,— сказал Голицын,— твоему царскому величеству всего лучше удалиться на время в Польшу. Все верные слуги твои последовали бы за тобой... Я слышал, что полковник Цыклер подал подробный донос царю.

— И это ты, князь, мне советуешь?! — воскликнула с гневом царевна.— Мне бежать в Польшу?.. Никогда! Это бы значило подтвердить донос презренного Цыклера! Я права и потому ничего не опасаюсь. Младший брат мне не страшен; другой брат мой такой же царь, как и он. Ты забыл, князь, что я еще правительница!

— На тебя одну возлагаем мы все надежды! — сказал Шакловитый. — Спаси всех нас, государыня! Клеветники очернили верного слугу твоего перед царем Петром Алексеевичем. Погибель моя несомненна, если ты за меня не заступишься. Полковника Петрова и подполковника Чермного увезли уже по приказу царя в Троицкий монастырь для допросов.

— Как же ты допустил увезти их? — воскликнула Софья, стараясь скрыть овладевшее ею смущение.

— Я не смел противиться воле царской. Чермной не хотел даться живым в руки приехавших за ним стрельцов Сухаревского полка, ранил их пятидесятника, однако должен был уступить силе.

Софья, подумав послала Шакловитого пригласить к ней сестру ее, царевну Марфу и Марию, и тетку, царевну Татьяну Михайловну. Когда они прибыли к ней, она со слезами рассказала им все, что, по словам ее, сообщили о ней царю Петру Алексеевичу клеветники и недоброжелатели. Убежденные ее красноречием, царевны поехали немедленно в Троицкий монастырь для оправдания Софьи и для примирения ее с братом. Услышав, что избранные ею посредницы остались в монастыре, царевна пришла еще в большее смущение и послала через несколько дней к царю Петру патриарха. Но и это посредничество не имело успеха. Наконец царевна сама решилась ехать в монастырь. В селе Воздвиженском встретили ее посланные царем боярин князь Троекуров и стольник Бутурлин и объявили ей, по царскому повелению, что она в монастырь впущена не будет. Пораженная этим, Софья возвратилась в Москву. Вскоре прибыли туда боярин Борис Петрович Шереметев и полковник Нечаев с сильным отрядом и, взяв всех сообщников Шакловитого, отвезли в монастырь; самого же Шакловитого нигде не нашли.

Через несколько дней прибыл из монастыря в столицу полковник Серчеев и объявил, что он должен что-то сообщить Софье, по воле царя Петра Алексеевича. Немедленно был он впущен в ее комнаты.

— Зачем прислан ты сюда? — спросила Софья.

Серчеев, почтительно поклонясь царевне, подал ей запечатанную царской печатью бумагу.

Софья велела бывшему в комнате князю Голицыну распечатать ее. Князь распечатал и дрожащим голосом прочитал:

— Великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы, указали в своих великих государей грамотах и в приказах во всяких делах и в челобитных писать свое великих государей именование и титлу по сему, как писано в сем указе выше сего, и о том из Разряду во все Приказы послать памяти. Сентября 7 дня 7198 года.

— Они не в праве этого сделать! — воскликнула Софья.— Моего имени нет в этом указе. Он недействителен!.. Князь, напиши сейчас же другой указ об уничтожении присланного. Объяви, что тот будет казнен смертью, кто осмелится исполнить указ, написанный и разосланный без моего согласия.

— Государыня, позволь мне еще раз, может быть, последний, сказать откровенно свое мнение. Указ твой не будет иметь никакой силы и действия без имен обоих царей. Если же имена их царских величеств написать в указе без их согласия, то они могут обвинить тебя в присвоении принадлежащей им власти.

— А разве я не имею теперь права обвинить их в отнятии у меня власти, неоспоримо мне принадлежащей? — гневно закричала Софья.— В объявлении о вступлении их на престол было сказано, чтобы во всех указах писали вместе с их именами и мое. С тех пор власть их соединена нераздельно с моей. Покуда они цари, до тех пор я правительница... Поезжай сейчас же в монастырь,— продолжила она, обратясь к Серчееву,— и перескажи все слышанное здесь тобою. Объяви младшему брату моему, что я решусь на самые крайние средства, если он не отменит этого несправедливого указа.

— Исполню волю твою, царевна! — сказал Серчеев.— Но прежде должен я исполнить еще одно повеление царя Петра Алексеевича. Он приказал взять Шакловитого и привезти в монастырь.

— Шакловитый бежал из Москвы, и ты напрасно потеряешь время, если станешь его отыскивать.

— Царь повелел мне искать его везде, не исключая и дворца.

— А я тебе запрещаю это!

— Не заставляй меня, царевна, оказывать неуважение к повелению дочери царя Алексея Михайловича. Дозволь мне исполнить царское повеление.

С этими словами Серчеев пошел к двери, которая вела в другую комнату.

— Ты осмеливаешься обыскивать мои комнаты?! — воскликнула Софья.— Остановись! Я велю казнить тебя!

В это время вошел князь Петр Иванович Прозоровский и сказал царевне, что царь Иоанн Алексеевич велел сообщить ей, чтобы она дозволила Серчееву взять Шакловитого, скрывающегося в ее комнатах.

Софья переменилась в лице, хотела что-то сказать, но Серчеев отворил уже дверь в другую комнату и вывел оттуда Шакловитого.

— Спаси меня, государыня! — воскликнул тот, бросаясь к ногам Софьи.— Тебе известна моя невиновность!

— Покорись, Федор Иванович, воле царской! — сказал

Прозоровский.— Если ты невиновен, то тебе нечего бояться: на суде докажешь правоту свою. Правый не боится суда. Если же ты станешь противиться, то полковнику приказано взять тебя силой и привезти в монастырь. С ним присланы сто солдат, которые стоят около дворца и ожидают его приказаний.

Шакловитый, ломая руки, вышел из дворца с Прозоровским и Серчеевым.

После четырехдневных допросов Шакловитый, Петров и Чермной были уличены в умысле лишить жизни царя Петра Алексеевича и его мать и учинить мятеж. Одиннадцатаго сентября царь повелел думному дьяку выйти на крыльцо и прочитать всенародно розыскное дело о преступниках. По окончании чтения со всех сторон раздался крик: «Смерть злодеям!» Дума приговорила их к смертной казни. Истопник Евдокимов, подьячий Шошин и другие сообщники Шакловитого сосланы были в Сибирь.

Вскоре после казни Шакловитого и его сообщников боярин князь Троекуров послан был царем Петром в Москву. Он пробыл около двух часов у царя Иоанна Алексеевича и пошел потом в комнаты царевны Софьи для объявления ей воли царей. Властолюбивая Софья принуждена была удалиться в Новодевичий монастырь. Там постриглась она и провела остальные дни жизни под именем Сусанны. Боярина князя Голицына приговорили к ссылке в Яренск.

XII

— Что это, Андрей Матвеевич, за звон по всей Москве сегодня? — спросила Варвара Ивановна своего мужа, который отдыхал на скамейке в светлице жены. Накануне, тридцатого сентября, возвратился он из Троицкого монастыря домой.

— Разве ты забыла, что сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

— Конечно, не забыла. Но обедни-то давно уже прошли, а все звонят и звонят.

— Как, Андрей Матвеевич, ты дома?! — воскликнул Андрей, входя в комнату.— Разве не слыхал ты, что сегодня царь Петр Алексеевич выезжает в Москву?

— Неужто? — вскричал Лаптев, спрыгнув со скамей-

ки.— Жена, одевайся проворнее, пойдем встречать царя-батюшку.

Все трое вышли из дома и поспешили к Кремлю. Народ толпился на улицах. На всех лицах сияла радость. От заставы до Успенского собора стояли в два ряда Преображенские и Семеновские потешные, Бутырский полк и стрельцы Сухаревского полка. Даже заборы и кровли домов были усыпаны народом. Взоры всех обращены были к заставе. Наконец, раздался крик: «Едет, едет!» — и вскоре царь, на белой лошади, в сопровождении Лефорта и Гордона, появился между стройными рядами войска. За ним ехала рота под предводительством Бурмистрова. Черная повязка поддерживала его левую руку. Гром барабанов не мог заглушить радостных восклицаний народа. Когда царь подъехал к кремлевскому дворцу, Иоанн Алексеевич встретил на крыльце своего брата, нежно им любимого. Они обнялись и оба пошли к Успенскому собору. Там патриарх совершил благодарственный молебен. По выходе из храма цари едва смогли дойти до дворца сквозь толпу ликующего народа. В тот же день щедро были награждены все, прибывшие к Троицкому монастырю для защиты царя.

День уж заканчивался. Бурмистров, поместив своих людей на Лыкове дворе, поспешил к своему дому. При взгляде на этот дом, так давно им оставленный, сердце Василия наполнилось каким-то сладостно-грустным чувством. Сколько воспоминаний, приятных и горестных, возбудил в Василии вид его жилища! Он вспомнил беспечные, счастливые дни молодости, проведенные вместе с другом Борисовым, вспомнил первую встречу свою с Натальей, вспомнил и бедствия, которые так долго их преследовали.

Долго стучался он в ворота. Наконец слуга его, Григорий, живший в доме один, как затворник, и охранявший жилище своего господина, отворил калитку.

— Барин! — воскликнул он и упал к ногам своего господина, заплакав от радости.

— Встань, встань! Поздоровайся со мной, Григорий,— сказал Бурмистров.— Мы давно с тобой не виделись.

— Отец ты мой родной! — восклицал верный слуга, обнимая колени Василия.— Не чаял я уже тебя на этом свете увидеть.

Василий вошел в дом и удивился, найдя в нем все в прежнем порядке. Григорий сберег даже дубовую кадочку с померанцевым деревцем, стоявшую в спальне Бурмистрова,— последний подарок прежнего благодетеля его и начальника, князя Долгорукова. Всякий день слуга поливал

это деревце, обметал везде пыль и перестилал постель, как будто бы ожидая к вечеру каждого дня возвращения хозяина.

Когда Василий вышел в свой сад, то увидел там цветник, над которым он и Борисов часто трудились весной. Цветы поблекли, и весь цветник засыпан был желтыми листьями деревьев, обнаженных рукою осени.

— Помнишь ли, барин, как Иван Борисович любил этот цветник? Уж не будет он, горемычный, гулять с тобой в этом саду!

— Как, почему? — всполошился Василий. — Что случилось?

— Да разве ты не знаешь, барин, что он приезжал в Москву из монастыря со стрельцами и что полковник Чермной, когда Иван Борисович хотел взять этого злодея, ранил его ножом?

— Поведи меня, ради Бога, к нему скорее! — воскликнул Бурмистров.— Где он теперь?

— Лежит он неподалеку отсюда, в избушке какого-то посадского. Я его хотел положить в твоем доме, да сам Иван Борисович не захотел. «Все равно,— сказал он,— где умирать».

Встревоженный Бурмистров последовал за слугой и вскоре подошел к избушке, где лежал Борисов. Послав слугу за лекарем, осторожно отворил он дверь и увидел друга своего, который лежал на соломе, умирая. Возле него сидела жена посадского и плакала. Пораженный Василий взял за руку Борисова. Тот открыл глаза и устремил угасающий взор на своего друга.

— Узнаешь меня? — спросил Василий, стараясь скрыть свое горе.— Я пришел помочь тебе: сейчас придет лекарь и перевяжет твою рану.

— Уж поздно! — ответил слабым голосом Борисов.— Слава Богу, что я с тобой успею проститься!

Бурмистров хотел что-то сказать своему другу в утешение, но не смог, тихо опустил его холодеющую руку, отошел к окну и заплакал.

— Сходи скорее за священником! — сказал он тихо жене посадского.— Он умирает.

— Я уже посылала за священником,— прошептала женщина,— но его нигде нет.

Тем временем купец Лаптев, услышав об отчаянном положении Борисова, бросился к отцу Павлу, который вместе с ним из Троицкого монастыря приехал в Москву и остановился в доме своего племянника, также священника

приходской церкви. По просьбе Лаптева отец Павел немедленно пошел к Борисову, неся Святые Дары. Перед ним, по обычаю того времени, шли два причетника церковные, с зажженными восковыми свечами, а священника окружали десять почетных граждан, в том числе Лаптев. Все они, сняв шапки, держали их в руках. Прохожие останавливались, всадники слезали с лошадей и молились, когда мимо них проходил священник. Царь Петр, случайно проезжавший мимо верхом, тоже слез с лошади, снял шляпу и присоединился к гражданам, окружавшим отца Павла. Вместе со всеми вошел он в хижину, где лежал Борисов.

— Приступи к исполнению твоей обязанности,— сказал царь тихо священнику и, увидев Бурмистрова, спросил его: — Не родственник ли твой болен?

— Это, государь, пятидесятник Сухаревского полка Борисов. Его ранил ножом Чермной, когда он хотел взять его и отвезти в Троицкий монастырь.

— Злодей! — воскликнул монарх с негодованием. Потом приблизился к Борисову, взял его за руку и с чувством сказал: — Ты за меня пролил кровь свою, Борисов. Дай Бог, чтобы здоровье твое скорее восстановилось. Исповедуй, батюшка, и приобщи больного Святых Тайн,— продолжил царь.— Мы все покуда выйдем из дома, чтобы не мешать тебе, а потом все вместе поздравим Борисова.

С Борисовым остался один отец Павел. Он приобщил его и потом отворил дверь хижины.

— Поздравляю тебя, друг мой! — сказал царь Петр Борисову, взяв его за руку.— Лучше ли себя чувствуешь?

— Ах, государь, я умираю, но мне стало легче! — ответил Борисов прерывающимся голосом.— Да благословит тебя Господь и да ниспошлет тебе долгое и благополучное царствование!.. Прощай, Василий Петрович! Боже милосердный! Услышь молитву мою: утверди и возвеличь царство русское и сохрани его от...— Голос Борисова начал слабеть. Он перекрестился, тихо вздохнул, прижал к устам образ, присланный ему матерью, взглянул на Василия и умер.

У Лаптева катились в три ручья слезы. Бурмистров тоже был безутешен.

На другой день прах Борисова предали земле, и царь почтил память доброго и верного подданного своим присутствием на похоронах. Спустя какое-то время Бурмистров узнал, что из Архангельска пришел родной брат Борисова, рыболов Александр, которого покойный считал давно умершим. Крайняя бедность вынудила его идти в столицу,

чтобы там искать работу и пропитание. Царь Петр, услышав об этом от Бурмистрова, щедро одарил Александра и велел ему сказать: «Государь пожаловал тебе награду за верность и заслуги умершего брата твоего».

XIII

Наступил декабрь. Царь Петр с Лефортом и Гордоном удалился из Москвы в Преображенское и повторил Василию приказание: приехать туда вслед за ним не иначе, как с молодой женой.

Мавра Саввишна за одни сутки сделала в доме своего племянника все нужные приготовления к свадьбе. Когда собрались гости, она посадила за стол, уставленный кушаньями, Василия с его невестой, и два мальчика разделили их занавесом из красной тафты. Варвара Ивановна, сняв с головы Натальи подвенечное покрывало, начала расчесывать гребнем из слоновой кости прелестные ее волосы. Вскоре прибыл отец Павел, благословил крестом жениха и невесту, и все отправились в церковь. Наталью посадили в богато убранные сани, в которых ехала некогда к венцу Варвара Ивановна. Хомут лошади увешан был лисьими хвостами. С невестой сели жена Лаптева и Мавра Саввишна. Василий, капитан Лыков, Андрей и Лаптев отправились в церковь верхом. По возвращении из церкви все сели за стол и не успели еще приняться за первое блюдо, как вдруг отворилась дверь и вошел царь в сопровождении Лефорта. Все вскочили в мест.

— Поздравляю тебя, ротмистр! — сказал царь.— И тебя поздравляю, молодая! Садитесь, садитесь. Чего вы так все всполошились. Я сейчас не царь, а гость ваш. Садись-ка, любезный Франц, сюда к столу, а я возле тебя сяду. Вот сюда! Проси же, молодая, прочих гостей садиться.

После застолья, где царь выпил первый за здоровье молодых, все встали с мест и в почтительном молчании смотрели на Петра, который, подойдя к окну, начал разговаривать с Лефортом.

Лаптев, дрожа от восхищения и робости, смотрел на Петра во все глаза.

— Как зовут тебя, добрый человек? — спросил царь, приблизясь к нему и потрепав по плечу.

Лаптев вместо ответа повалился в ноги царю.

Петр поднял его и сказал:

— Встань и поговори со мной. Скажи-ка мне: кто из Гостиного двора и купеческих рядов привел к Троицкому монастырю до четырехсот человек для моей защиты?

— Я только скликал народ и объявил твой указ, государь.

— Приготовь-ка, любезный Франц, грамоту о награждении купца Гостиной сотни Лаптева.

Лаптев снова упал к ногам царя и заплакал, не имея сил выговорить ни одного слова.

— Ну, полно же,— сказал Петр,— встань! Я знаю, что ты благодарен, и вперед тебя не забуду. А ты, Лыков, что поделываешь? Бутырский полк не поддержал, как прежде, стрельцов?

— Бог не допустил этого позора, государь! — ответил Лыков, вытянувшись.

— Что же ты ныне не подрался со стрельцами? Ты ведь однажды с одной ротой чуть не отбил у них пушки в Земляном городе.

— Отбил бы, государь, да народу у меня было мало. Поневоле пришлось отступить!

— Знаю, знаю, что и храбрые офицеры иногда отступают. А что тебе больше нравится: идти назад или вперед?

— Вперед, государь, когда можно поколотить неприятеля, и назад, когда должно поберечь и себя, и солдат для другого раза. Так мне покойный майор Рейт приказывал.

— Будь же сам майором. Я посмотрю, что ты приказывать другим станешь.

— Стану всем приказывать, чтобы шли за мной в огонь и в воду за твое царское величество.

— Ну а ты, ученый муж, что скажешь? — сказал Петр, обращаясь к Андрею.— Ты тоже с Лаптевым приехал к монастырю?

— Точно так, государь.

— Я слышал, что ты большой мастер сочинять и говорить речи. Кто тебе из древних ораторов больше всех нравится?

— Цицерон, государь.

— Мне сказывали, что ты говорил речь на Красной площади против расстриженного попа Никиты Пустосвята.

— Я успел сказать только введение, договорить же не смог, потому что народ стащил меня с кафедры и едва не лишил жизни.

— Договори же речь твою на кафедре в Заиконоспасском монастыре. Я назначаю тебя учителем в академию. Только смотри, чтобы ученики не стащили тебя с кафедры. Ну, прощай, ротмистр! — продолжал царь, обращаясь к Бурмистрову.— Я нарочно приехал в Москву, чтобы побывать на твоей свадьбе. Приезжай скорее в Преображенское. До свидания! Вручи завтра эту грамоту священнику села Погорелова, который привел всех своих прихожан к Троицкому монастырю. Я его назначаю в дворцовые священники. Это ожерелье, которое жена моя носила, надень на твою жену; а ты, молодая, возьми эту саблю и надень не на ротмистра, а на подполковника.

Вручив Василию драгоценное жемчужное ожерелье, царь снял с себя саблю, подал Наталье и вышел с Лефортом из горницы.

— Посмотри, милый,— сказала Наталья, надевая саблю на мужа дрожащими от волнения руками,— на рукояти вырезаны какие-то слова.

Василий, вынув из ножен саблю до половины, взглянул на рукоять и прочитал надпись: «За преданность церкви, престолу и отечеству».

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

П. ПОЛЕЖАЕВ

ПРЕСТОЛ И МОНАСТЫРЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — 1682 ГОД

ГЛАВА I

Поздним вечером последних чисел августа 1681 года, в одном из теремных покоев московских царевен велся оживленный разговор двух лиц — молодой женщины, лет двадцати пяти, как видно, из царского семейства, и уже пожилого московского боярина. Молодая женщина — царевна Софья Алексеевна, боярин — Иван Михайлович Милославский.

Наружность Софьи Алексеевны не могла назваться красивой. Стан, при начинающейся полноте, не стесняемый костюмом того времени, не выказывал той женственности и грации, которые так присущи ее возрасту. Лицо бело, но широко и с чертами, не выдающимися ни тонкостью линий, ни их правильностью. Только одни глаза выделялись, и то не приятностью очертаний, а глубоким, умным выражением, обильным внутреннею силой, умевшей выражать то приветливую, душевную ласку, то холодную власть. За исключением же этой характеристической черты, царевну можно было бы принять за натуру обыкновенную, дюжинную, с сильным золотушным оттенком.

В наружности Ивана Михайловича Милославского, при внимательном наблюдении, сказывалась натура эгоистическая, вдосталь насыщенная только собственными своими интересами, глубоко изощренная в проведении разнообраз-

ных интриг и придворных козней,— как и всех почти зауряд бояр доброго допетровского времени. Одна только черта резко бросалась в глаза в наружности боярина и царского свойственника — это сильное развитие нижней части лица, указывавшее на преобладание чувственности.

— Каково здоровье государя, нашего батюшки Федора Алексеевича? — спрашивал боярин царевну Софью Алексеевну.

— Плохо, Иван Михайлович, очень плохо. Ты знаешь, он здоровьем-то с измалолетства был слаб, а теперь еще хуже. Все еще он не может оправиться после кончины государыни Агафьи Семеновны, которой вот завтра будет только сороковой день, да к тому ж, как ты знаешь, на другой раз Ильина умер и сынок Ильюша.

— Знаю, государыня, и болезную. Тяжкое это несчастие для всех нас.

Боярин задумался, потупился, изредка закидывая пытливые взгляды на царевну.

— Прошлого не воротишь, царевна, мертвых не воскресишь, надо подумать о будущем.

— Я и то думаю, боярин. Теперь брата лечим усердно, сама без устали хожу за ним, никому не доверяю, сама и лекарство подаю. Немчик-лекарь из кожи лезет — старается, да все толку мало.

— Ну, будет ли толк или не будет, царевна, на все воля Божия. Немец, оно, конечно, лекарь, знает свое ремесло, а все же не Бог; да ведь и за ним надо примечать. Неужто забыла, государыня, Артамона Матвеева?

— Не бери лишнего на душу, Иван Михайлович, Артамон не был виноват. Он был лишний нам человек, больно уж стоял горой за мачеху и надо было его удалить, а в умысле извести царя он не виноват.

— Как не виноват? А отчего же не хотел сам отведывать всякого лекарства прежде, чем подавать государю?

— Да ведь у всякого лекарства, боярин, свое свойство. Иное приносит больному пользу, а здоровому вред.

— Оно, может, и правда твоя, государыня, да все не мешает быть поопасливей. У Нарышкиных глаза зоркие и руки длинные.

Наступило несколько минут молчания. Боярин, видимо, колебался, хотел спросить об чем-то и не решался.

— А что, царевна,— и голос боярина почти спустился до шепота,— если да царь, наш батюшка, помрет — ведь все мы ходим под Богом,— как ты об этом изволишь?

— И полно, боярин, братец слаб здоровьем, но, Бог

даст, оправится, да и теперь ему полегчало. Я надеюсь, он скоро совсем оздоровеет, и тогда уговорю его жениться, да, кажется, у него уж и ноне есть на примете невеста.

— А можно спросить, государыня, из какого рода суженая?

— Сиротка, Иван Михайлович, Марфа, дочь покойного Матвея Васильевича Апраксина, убитого калмыками, кажется, лет тринадцать назад. Братьев ее, Петра, Федора и Андрея ты знаешь. Они комнатными стольниками у братца государя.

— Апраксина... Апраксина,— повторял задумчиво Иван Михайлович,— ладно ли это будет, царевна? Ведь, кажись, Марфа-то Матвеевна — крестница Артамонова, да и все Апраксины не из нашей статьи... они норовят нарышкинцам и артамонцам. Не по наущению ли братцев суженой царь указал воротить Артамона из Мезени в Лухов и обратить ему все его вотчины, московский дом и пожаловал дворцовое село Ландех в 700 дворов? От Лухова и до Москвы недалеко.

— Не так близко, боярин, не ближе Мезени. Да пока жив братец и я подле него, Артамону не бывать здесь на очах у царя.

В голосе царевны слышался тон твердой решимости, обдуманной и холодной.

— Думаю я, царевна, не о себе. Правда, Артамон мой ворог кровный, он меня ссылал и от царского двора, да у нас свои счеты и мы сведем их со временем. А теперь заботит меня твое царское положение и всех сторонников наших. Была наша семья в чести и в славе, и в царском жалованьи при покойном твоем родителе царе Алексее Михайловиче, а потом что вышло? Кто из нас был сослан, а кто хоть и уцелел, так все-таки должен был уступить место новым пришлецам, подручникам какой-то бабы бездомной, голи перекатной. Пошли новые порядки, старых слуг оттиснули, явились выскочки из борку да из-под сосенки и забрали все в руки, а мы, царские ближние, должны были спину гнуть перед какими-нибудь Нарышкиными. Ведь больно, царевна... Посмотри на свое положение. Теперь ты в чести, братец царь Федор Алексеевич слушается тебя, ты всем заправляешь, как и прилично по высокому разуму твоему, а отдай братец Богу душу свою, что из тебя сделают вороги нашего дома... ототрут, как последнюю челядь, а не то так и совсем запрут в монастырь. Не из какой-нибудь лихой корысти говорю я тебе так, царевна, а из нелицемерной преданности твоим и нашим интересам.

Странно подействовала речь боярина на молодую женщину. Не бросилась ей краска в лицо, не живее потекла по жилам горячая кровь, не заколыхалась грудь, не дрогнула она ни одним нервом, а только как будто брови немножко посодвинулись, складочки вертикальные обозначились на лбу, да лицо стало побледнее и холоднее.

Несколько минут продолжалось молчание, как обыкновенно случается после живо затронутых жизненных, основных вопросов, решение которых скрывается в далеком неизвестном будущем.

— Ну, сколько страхов наговорил ты, Иван Михайлович, хорошо, что я не робкая. Грозен сон, да милостив Бог! Вот и братец, может, встанет, женится, будут дети, сын... наследник.

— Хорошо, кабы так, царевна, ну а если...

— Ну тогда... тогда... да кто знает, что будет? Одно только могу сказать, что не уступлю мачехе, не дам ей властвовать и мудровать, как бывало при покойном батюшке. И у меня есть люди преданные и сильные.

— Немного их, царевна, да и те верны только до времени, до черного часу. Все они будут на стороне предержащей власти, а власть заломают в свои руки нарышкинцы.

— Никогда, боярин, сын у мачехи ребенок, а мой брат Иван старший царевич. Если он болезнен, слеповат и скудоумен, так ведь болезнен и Федор, а царствует же с моими советами. Точно так же будет править и Иван под моим руководством. Не читал ты, боярин, об императрице Пульхерии?

Боярин молчал, но, казалось, остался доволен ответом; даже насмешливая улыбка пробежала тайком под рукой, гладившей усы и бороду.

— Да полно говорить об этом, Иван Михайлович,— продолжала царевна,— скажи-ка лучше, что слышно в городе?

— Все по-прежнему. Посадские в тревоге: стрельцы волнуются. Слышал я, государыня, будто мутится Грибоедовский полк и будто его поддерживают и другие полки, собираются кругами...

— Спасибо, боярин, что напомнил. Я посоветуюсь с Василием Васильевичем.

— Что тебе, государыня, дался все Василий Васильич да Василий Васильич. Не больно ты ему доверяйся: скрытная он душа... Нет в нем нашей старинной боярской чести. Уж что он за родовитый человек, когда у него

пошевелился язык советовать батюшке государю уничтожить нашу службу боярскую, пожечь разрядные книги.

— О князе прошу тебя, боярин, вперед никогда со мной не говорить. Не понимаешь ты его, да и мало кто его понимает.

— Как не понять! Человек, который отрекается от своего отца и матери, от дедов и прадедов...

— Нет, боярин, неправда,— с непривычной живостью перебила его Софья Алексеевна,— не отрекается он ни от отца, ни от матери, ни от предков своих, а смотрит он пошире, чем мы с тобой, видит подальше и понимает, что есть многое подороже своей корысти и чести предков.

— Однако прощай, царевна; прости, если я сказал тебе что не в угоду. Поверь, по преданности.

— Охотно верю, боярин. Ведь у нас с тобой общие предки, стало быть, и смотренье одно,— говорила Софья Алексеевна, улыбаясь и провожая гостя.

По уходе боярина Милославского царевна несколько минут прислушивалась к шуму удаляющихся шагов гостя, потом быстро пошла в свою опочивальню и позвала к себе ближнюю постельницу Федору Семеновну.

Федора Семеновна, казачка, по прозванию Родимица, не заставила себя долго ждать. Это была женщина средних лет, с мелкими чертами лица, востреньким носиком и бойко бегавшими глазками,— вообще не красива и не дурна, не глупа и не особенно умна. Давно служившая своей госпоже, она свыклась, прилипла к ней. Безграничная преданность, редкое и случайное явление ныне, не было редкостью в то время, когда интересы служа́щих были так узки и коротки, так поглощались интересами господскими. Федора Семеновна напоминала собой те вьющиеся около дерева растения, которые из коленец своих запускают корешки в кору своей крепкой опоры. От госпожи своей она не отделяла своей личной радости, своего горя, и в ней она свила себе теплое гнездышко. Кроме беззаветной преданности, Федора Семеновна отличалась еще особым весьма драгоценным качеством: чутьем ищейки. Не рассуждая, не входя ни в какие более или менее тонкие соображения, она каким-то нюхом ощущала все касающееся до своей госпожи, предана была друзьям ее, ненавидела врагов и недоброжелателей. Мало того, что она ненавидела последних, она чутьем слышала их приближение, как собака чует приближение волка.

— Ну что, Федора Семеновна? — с тревожной торопливостью спрашивала царевна.— Видела ты Василия Васильича? Что он? Как? Здоров?

— Видела, государыня матушка, князя, самого его лично видела, изволит тебе низко, земно кланяться. Слава Богу — здоров.

— Отдала ему письмо?

— Отдала самому ему в руки. При мне он и прочитал его, лицо таково просветлело и глаза будто заиграли.

— А хорош он, Федора Семеновна, краше его нет никого у нас в Москве?

— Хорош-то хорощ, государыня, да, по-моему, не рука он тебе,— протянула постельница.

— Как не рука? Разве он не умен и не пригож?

— Пригож и умен, родная, да не под стать тебе. Уж если позволишь сказать правду, так не совсем у меня и сердце-то к нему лежит. Первое слово — любит ли он тебя, как надо бы, а второе — судьба его уж покончена с законной женой и детьми.

— Так что ж, что женат,— разве развести нельзя? Бывали нередкие примеры. Не захочет жена доброй волей постричься, так неволей запрут в монастырь.

— Нет, государыня, это дело нелегкое. Кого Бог соединит, того человек не разлучает. Да и то еще подумай: положим, он княжеского рода, да все же не царского. И родня твоя вся не потерпит этого: царь, братец твой, и старшие твои сестрицы и тетушка Татьяна Михайловна. Как хочешь, а царскому роду зазорно.

— Зазорно, говоришь ты, Семеновна, да, зазорно, а по Божьему справедливо ли? — с нервным раздражением заговорила царевна.— Вот другие девушки хоть в Божий храм ходят Богу помолиться, все-таки народ живой видят, а мы сидим, век свой сидим взаперти, точно птицы в клетке, света не видим, волюшки своей не имеем, в церковь когда входим, так все скрытыми переходами, тишком да закрывшись, а ведь и в нас такое же сердце, так же кровь бежит, как и в других. И такое заведение только у нас одних, в чужих землях женщины и царского рода имеют везде свободный доступ.

— Да ведь то, матушка, у басурманов, на то они и нехристи, а у нас, православных, всегда женщины, а пуще царского рода, как жемчуг драгоценный хоронились.

— Было так, да вперед не будет,— перебила ее царевна.— Не у одних басурманов женщина вольная птица, вот и у эллинов в Царьграде — даже царством правили.

— Мне не сговорить с тобой, государыня, не моего ума дело. Ты обучена разным наукам, а я человек темный и знаю только, что я твоя раба верная: прикажешь что —

все выполню по приказу без хитрости и лукавства, без жалобы и нескромного слова.

— Я и люблю тебя, Федора Семеновна, больше других и не таюсь перед тобой ни в чем.

Разговор затих.

— Поздно теперь, государыня,— заговорила постельница,— пора тебе и опочивать, позволь я раздену.

— Нет, Федора Семеновна, поди, спи спокойно, а я сама разденусь. Спасибо за службу.

Федора Семеновна направилась из опочивальни.

— А отчего, Семеновна, князь ответа на письмо не прислал? — спросила царевна уходившую постельницу.— И когда мы свидимся?

— Нельзя было, государыня, ему ответа писать, какой-то непростой гость с важными делами его дожидался в приемной комнате, должно быть из посольских. А увидится он с тобой завтра на докладе у государя.

Ну прощай же, родная моя государыня, спокойной тебе ночи и золотые сны увидать.

Постельница вышла.

ГЛАВА II

Взволнованные нервы царевны Софьи Алексеевны долго не могли успокоиться. Спать не хотелось. Быстро раздевшись и порывисто побросав в беспорядке верхнюю одежду, царевна подошла к окошку терема и отворила его.

Освежающий воздух широкой волной хлынул в душную комнату. Молодая женщина остановилась у отворенного окна, бессознательно любуясь на дивную панораму, раскрывшуюся перед глазами. С жадностью глотая прохладу, она невольно поддавалась успокаивающему влиянию прелестной летней ночи. И действительно, если что еще в силах успокаивать возбужденные нервы, утишать лихорадочное волнение крови, умиротворять бурные страсти и тревоги человека, так это таинственная мирообильная красота отдыхающей природы. Вид из окна представлялся очаровательный. Вдали, в Замоскворечьи, в мягких волнах матового лунного света, среди темных гущ листвы окружающих садов, выделялись жилища слобожан; ближе серебристой лентой прорезывалась между неровными берегами река, местами загроможденная плотами и судами, у бортов которых однообразно журчали набегавшие струи. Вправо поднимался к нему Божий храм с блестевшим в вышине золотым

крестом, как будто указывающим на единственно верное упокоение там, в недосягаемой, бесконечной выси. А там, еще дальше, еще выше над крестом, над жилищами людскими, над вечно бегущей людской суетой беспредельно широко раскинулось небо, в темной глубине которого мерцали и сверкали мириады звезд. А кругом такой ароматный ласкающий воздух, такие живительные струи ветра! Тихо... беззвучно... изредка только то там, то сям послышится лай испуганной дворовой собаки. Улеглись на несколько часов людские волнения, затихли человеческие звуки, только кое-где проносятся окрики недельщиков, часовых и караульных, да не то песня, не то брань какого-нибудь запоздалого гуляки.

И все мирнее и светлее в взволнованной душе царевны. Постепенно стали отодвигаться назад все тревожные вопросы дня, бледнели и умалялись все минутные интересы и вместо них возникали в памяти дорогие для каждого образы прошлого.

Припомнилось царевне бесцветное, но вечно милое детство на руках у нянюшек и мамушек, под заботливым взором нежной и любящей матери. Весело было это детство в кругу большого семейства восьми сестер и четырех братьев, правда хилых и слабых, но дружных между собою. Да и нельзя им было быть недружными, для всех для них одинакова была материнская ласка, одинаково нежен поцелуй и для всех одинаково любящее самоотверженное сердце матери. Эта любовь отзывалась и в их ребяческих сердцах. Любили и они мать свою чисто и глубоко. Резко и ярко рисовался в памяти царевны задумчивый облик матери, нежно склоненной над ее детской кроваткой, тихо шептавшей горячие молитвы и так любовно благословлявшей ее. Затем вспомнился царевне черный и несчастный день. В дворцовых теремах, всегда спокойных и чинных, вдруг началась какая-то необычная беготня и суета, потом все как-то страшно выжидательно стихло, потом прозвучал дикий раздирающий крик, крик матери их, и потом все смолкло. Новый ребенок явился к ним в товарищи, но этот ребенок уже был сирота. Больше она не видела лица матери, но любовь к ней сохранилась, прошла за весь последующий период и теперь даже остро и болезненно отразилась в захолонувшем сердце.

Вспомнила потом царевна время — хотя ей было тогда с небольшим десять лет,— потянувшееся после смерти матери, место которой заступила старшая верховая боярыня, царская нянька Анна Петровна Хитрова. Ласкова была

и боярыня, да не ласковей матери, учила и она Богу молиться и всякому добру, да как-то не так, как-то иначе. Вместо всеобильной любви явилась любовь односторонняя, любовь партий, вместо ясного взгляда на жизнь явились разные внушения, наущения и интриги.

Со смертью матери и любовь отца хоть не изменилась, но приняла другой оттенок. Подходил он по-прежнему к ее детской кроватке благословлять, да не так уже любовно и кротко, как бывало прежде. От государевых ли дел и забот, но только день от дня дальше становился отец от детей, а сердце девочки подмечало, болезненно ныло и тосковало.

Пришла пора усадить девочку за грамоту. Она понимала бойко и быстро. Скоро и далеко опередила своих сестер и братьев под руководством опытного наставника, приставленного к брату Федору, знаменитого Симеона Полоцкого. Без особенного труда выучилась читать, писать, закону Божию и всякой эллинской премудрости. Но никого не радовали ее успехи, мало того, отцу даже отчасти неприятно было, когда девочка опередила брата, объявленного наследником престола Алексея.

Через два года после смерти матери опять новая перемена: с какой-то нескрываемою злостью боярыня Анна Петровна объявила детям о решении отца государя вступить в новый брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной.

— Вот и заведет новая государыня новые порядки и плохо нам будет, милые детки, от недоброй мачехи,— жалобно говорила верховая боярыня, и врезались эти слова в головку развитой девочки и посеяли в ней семена непримиримой ненависти к новой матери, ненависти еще неопределенной, но сильной еще более по затаенности своей. Новых порядков не наступало, но каждое незначительное изменение и отклонение стало объясняться недоброжелательным влиянием новой царицы на государя в ущерб детям от первой жены.

Да, впрочем, была и существенная перемена, но только не вследствие недоброжелательности мачехи, даже, может быть, против ее желания. Полюбив молодую и симпатичную Наталью Кирилловну, Алексей Михайлович естественно предался ей всей душой и тем самым отдалился от болезненных детей умершей жены. Отдалению еще более способствовало рождение такого здорового ребенка, каким был Петр. И это живо понималось понятливой девочкой, и злобное чувство вырастало все больше и больше.

Стала формироваться девочка, вместе с ней формирова-

лась в более определенные очертания и ненависть к новым приближенным отца. Реже стал призывать к себе отец государь больных детей, только по вечерам по приказу его являлись в его хоромы на разные комедиантские представления, на музыку и рассказы бывалых людей здоровые в то время дети, а в числе их, разумеется, и она — Софья, более других бойкая и здоровая. Но не сближали эти представления отца с детьми. Девочка видела его постоянно окруженным заклятыми врагами покойной матери, а следовательно, и их самих, по объяснению матушек и нянюшек. Увидеть же отца одного, рассказать ему свое горе, выплакать у него на груди свое наболевшее сердце не было возможности: всюду эти Нарышкины и этот исконный ворог их дома — Матвеев, из дома которого явилась мачеха. Умирающего проводника не было, кругом все замкнуто, в их терем не мог проникнуть никакой посторонний нескромный глаз, и оставалась девочка вечно в заколдованном кругу тех же нянек и мамок, нашептывающих злобно на новых появившихся людей.

Под таким влиянием сформировалась она уже взрослой девушкой с полным, по тогдашнему времени, образованием и с хорошо развитыми способностями, дававшими ей перевес и влияние над сестрами и братьями. Сознала это она сама и тесно ей стало в четырех стенах, в среде неразвитых, по большей части тупоумных, сенных девушек и мамок. Не могли удовлетворить ее ни их красивые, затейливые механические рукоделия, ни их обычные сплетни и рассказы. Пробудившиеся силы требовали жизни, широкой деятельности и борьбы.

Прошло еще несколько лет. Вдруг ее поразила неожиданная и негаданная весть о смерти отца, бывшего и больным-то только всего несколько дней. Как подействовала на нее эта весть? Помнит она, что в первое мгновение это несчастие как-то ошеломило ее, придавило, как будто что-то близкое, часть своего существа, оторвалось от сердца, а затем второе чувство, и она не может это скрыть от самой себя, второе ощущение было ощущение облегчающее, как бывает от струи свежего, прохладного воздуха в душной, запертой комнате.

Государем делался брат ее Федор, моложе ее тремя годами, больной, слабый, одаренный способностями, но податливый к ее влиянию. И воспользовалась она этим влиянием вволю. Переступила она запертые двери, пошла свободно и гордо по царскому дворцу сначала под видом ухаживания за больным любимым братом, а потом советни-

цей его, разделявшей с ним бремя правления. Артамон Матвеев, как главная опора Нарышкиных и самый опасный человек по уму и дарованиям, был сослан сначала в Пустозерск, а потом в Мезень. Не пропали даром уроки эллинской истории об императрицах Пульхерии и Евдокии. Стала она присутствовать почти постоянно на докладах царских против обычая, рассуждать и решать вопросы по своим личным убеждениям. На этих-то докладах в первый раз заговорило иным языком ее девическое сердце.

Часто встречала она на совете у брата князя Василия Васильевича Голицына, которому в то время не было еще и сорока лет. Его ласковые, манящие глаза, приятные, правильные, ничем резко не выдающиеся черты лица, мягкий, прямо западающий в душу голос, непринужденные ловкие манеры, отделяющиеся от неуклюжих манер других бояр, производили приятное впечатление. Часто и с особым вниманием вслушивалась она в его речи, с особым расположением останавливались на нем ее взгляды, и без ведома ее новое чувство незаметно закрадывалось в сердце.

Раз утром, памятным для нее утром, не отмеченным никаким важным, серьезным событием, но навсегда глубоко врезавшимся в ее памяти, она сознала свою любовь и без всякой борьбы, без всякого колебания отдалась своему новому чувству.

Пустой, ничтожный случай.

Князь докладывал, государь слушал, казалось, с утомлением, прищуриваясь близорукими глазами; слушала с вниманием и царевна. Заглядевшись на докладчика, она не заметила, как с ее колен соскользнул платок и упал на пол, но князь заметил и поднял его, при этом рука его коснулась ее руки. Ярким румянцем, пробившимся сквозь едва заметный слой белил*, загорелись не только щеки, но даже лоб и плечи ее. С неудержимой силой заколотилось сердце, грудь поднялась высоко под широким покровом, и в глазах показались слезы. Она порывисто встала и вышла.

— Вот как разгорелась, родимая,— встретила ее мамушка в светлице,— вижу, что сглазу, дай-ко я тебя умою

---

* По общему свидетельству всех иностранцев, бывших в России в XVI и XVII веках, все русские женщины белили лица и плечи, румянили щеки, в особенности ягодицу, красили волосы, брови, ресницы и даже пускали черную краску в самые глаза в виде особого состава из металлической сажи с гуляфною водкою или розовою водою.

с уголька и надену на тебя монисто с корольковою пронизью*, а все оттого, что ходишь туда, не девичье дело...

Но царевна с уголька не умылась и глаза не побоялась.

Доклады продолжались обыкновенным порядком, и ни разу она не пропускала их. Все ближе и ближе подходила она к нему, все чаще и чаще становились их, по-видимому, случайные встречи; все смелее и решительнее становились они в отношениях друг к другу: то снова упадет платок, то оба они вдруг потянутся к склянке лекарства для больного, то оба они вместе поспешат поправить подушку у брата, то интерес доклада заставит внимательнее вслушиваться и ближе садиться к докладчику.

Раз государь, чувствуя себя особенно нехорошо, просил сестру прослушать князя без него. Царевна назначила князю быть утром на другой день у ней в терему.

Памятно ей это утро и будет памятно и дорого до конца жизни. С особенным тщанием умывалась и убиралась она в это утро, с особенным искусством распущены были по плечам ее роскошные волосы, подвитые локонами. В назначенный час князь пришел, но о чем он говорил, какой вопрос разбирал, она ничего не слыхала, она только всматривалась в милые черты, только вслушивалась в звуки очаровательного голоса.

Кончилась речь князя, царевна одобрила и задумалась.

— Ты сегодня печальна, государыня,— заговорил мягкий участливый голос князя.

— Да, грустно, князь, брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит.

— Ты ошибаешься, царевна,— и в голосе князя звучала особенная нежность,— нет, ты не права. У тебя верные, преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь, и душу свою...

И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвились кругом его шеи и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на

---

* Монисто — шейный убор, золотое ожерелье с золотыми привесками на гайтане (снурке). В старинных лечебниках о корольковом монисте говорится: «Аще который человек на монисте кралки носит, того колдование и иной никакое ведовство не имет, а как тот человек позаneможет, то кралки красные белети станут, а как поздоровеет тот же человек, так кралки опять станут черны... От тех же кралков дух нечистый бегает, понеже кралек крестообразно растет». Домаш. быт рус. цариц И. Забелина. М. 1869 г.

губах этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна увлекавшей ее страсти.

Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном...

По выходе из терема царевен боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких стах шагах от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась... да... вряд ли... в Москве Пульхерии... влюбилась... надо отвести»,— почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созревал в опытной боярской голове.

Карета остановилась у каменного дома Милославского, но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж подвернулся и упал набок.

— Что за притча! — удивился боярин.— Лошади смирные, никогда с ними такого случая не бывало.— И суеверный ум его задался вопросом: к добру ли?

Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу.

Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило о нем по Москве. Рассказывали, будто Федюша был сыном одного богатого торгового человека, красавец собой и известен по грамотности и по бойкости разума, что будто по смерти родителей, лет двадцать тому назад, Федюша повел дела свои еще шире, еще оборотливее. Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном, но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая, в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица, как ни старались узнать добрые соседи — не могли, а только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи: девица исчезла,

а куда — неизвестно. «Должно быть, бежала аль руку на себя наложила»,— решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени в одно прекрасное утро исчез и сам Федюша, распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь.

Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжении лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях, с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, в трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился — никто не знал, да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды как-то выворотились и высохли, лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, речь бессвязная, и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливого Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить.

Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Федюша более десяти лет по улицам московским и днем и ночью без пристанища и без призора, отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все обыватели благоговейно чтили Федюшу, ласкали его, разговаривали с ним, полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего, но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить — пробежит мимо зверь зверем.

Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему.

— Здравствуй, Федюша!

— У-у-у...— хрюкнул сердито юродивый.

— Устал, чай, Федюша,— продолжал ласково боярин.— Поди, Федя, ко мне на двор, там тебя накормят, и я вышлю тебе алтын.

— У-у-у... не хочу... не хочу...— зарычал Федюша, тряся головой,— не хочу... у-у-у... свиньи бегут... труп везут... не хочу, боюсь... кровь-то... кровь-то...— И юродивый быстро побежал от боярина.

«Что бы это значило — «свиньи бегут и труп везут»? Не

молвил ли он в свиньях ворогов моих?» — раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу.

— Был у меня кто-нибудь? — спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова.

— Как же, ваша боярская милость, были Иван Андреич Толстой да племянничек Александр Иваныч. Долго было поджидали, да уж решили пожаловать завтра.

— Хорошо, Иваныч. Ступай спать, а ко мне пришли Груню.

ГЛАВА III

Больной, золотушный Федор Алексеевич умирал бездетным, прожив только 20 лет и 11 месяцев. С кончиной его возникал важный государственный вопрос о престолонаследии.

В древние времена в княжеских волостях наследство волостью переходило по старшинству рода, причем дяди имели преимущество перед племянниками — сыновьями княжившего. С образованием Московского княжества выделился другой взгляд: наследство стало переходить по нисходящей линии от отца к сыну, с соблюдением старшинства и с исключением женского пола. Такой взгляд по мере сформирования государственного начала, все более и более укоренялся и приобретал силу обычая до начала XVII века, когда старый рюриковский дом по прямой линии пресекся.

Смутное время междуцарствия выдвинуло по необходимости опять идею выборного начала, которое по стечению событий того времени едва не привело к гибели всего государственного строя. Быстро следовавшие друг за другом Борис Годунов, Лже-Димитрий, Василий Шуйский и королевич Владислав не оставили по себе почти никакого следа в государственной организации и уже, конечно, не могли содействовать к упрочению государственной формы. Мало того, деятельное вмешательство иностранцев и внутренние раздоры расшатали государство до самого основания, до полного его разрушения, и оно погибло бы, если бы вся предшествующая жизнь не выработала прочно идею национальности.

С избранием Михаила Федоровича национальное дело хотя и было спасено, но поступательному движению народной жизни предстояло еще великое и трудное дело исцеления всех ран, уничтожения множества повсюду возникших беспорядков, неустройств и злоупотреблений.

Как велики были эти неустройства и злоупотребления, как тяжка была жизнь народная, можно видеть из тех ярких явлений, которые продолжались не только в царствование Михаила Федоровича, но и во все тридцатилетнее правление сына его Алексея Михайловича. От внешних войн, бродячих отрядов шведских и польских, от вольности казацкой, от разбойничьих шаек шишей народ обеднел до крайности. Целые поселения лишались всяких средств к существованию и разбегались кто в степи, кто в леса, кто на Волгу-матушку, где становились сами разбойниками. Ощущался недостаток в самом хлебе, так как истреблялся или в полях неприятельскими отрядами, или зарывался в землю самими хозяевами в запас для прокормления себя в будущем. В таком положении оставшимся на своих местах *людишкам,* конечно, платить податей и отбывать повинность было не можно, а между тем расходы государственные на содержание ратных людей и другие потребности возрастали в значительном размере. Затем, кроме этих законных поборов, существовало еще более поборов незаконных — взяток местных правителей, воевод, наместников и дьяков, пользующихся нетвердостью правительства и потому уверенных в безопасности. Каким же влиянием пользовались бояре, можно видеть из следующего примера: в царствование Федора Алексеевича стряпчий из дворцовых волостей Юрьевца Повольского Терентий Копытов сослан был из Москвы в Нерчинск «по приказу бояр, без царского указу». Сам Копытов сказывает, что на Москве вся воля боярская, что бояре хотят, то и делают (Раск. дела Есипова, 1.590—591).

Казна была истощена. Правительство, нуждаясь в деньгах, должно было прибегать к различным средствам. Оно то принимало на себя продажу богомерзской травы (табака), то увеличивало пошлину на соль, то выпускало медные деньги вместо серебряных. Подобные меры, конечно, не только не поправляли зла, но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться и действительно являлись, беспрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, например, Алексея Михайловича происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства: в 1648 году 21 июня в г. Сольвычегодске, 8 июня в г. Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре (1668), на Волге — Стеньки Разина и,

наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское волнение 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников тестя государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведывавшего пушкарским приказом Траханиотова, думного дьяка Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского, боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже рассвирепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дома Шорина, князя Львова, князя Одоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до ста потоплено; остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом.

Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва и смертность доходила до страшных размеров: из 6 стрелецких приказов не осталось ни одного стрельца, в Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок, в Архангельском соборе весь причт вымер, в Благовещенском соборе остался один священник, в Чудовом монастыре из 182 братий осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19, у князя Трубецкого из 278 человек осталось только 8. Народ волновался, колодники из тюрем разбегались, торговля прекращалась.

Уничтожался род человеческий Божиим попущением, уничтожалось и достояние его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали

со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные, по злоупотреблениям в исполнении*.

Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление зла, въевшегося в плоть и кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости, проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века, и делали они попытки на сближение с Западом, попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий и другие; но эти лица не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений, но они дороги нам, они подготовили новых лиц — Софью и Петра, сильным умом и вполне понявших необходимость поворота к свету.

Весь XVII век — первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению; он волновался и восставал.

Для усмирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством — воинской силой в виде стрелецких полков, но эта сила в известных условиях могла оказаться со своей стороны весьма опасным оружием.

До Петра Великого наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из поместников — поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которое обязаны были выста-

---

* 23 октября 1681 года велено было всякое палатное строение крыть тесом, по которому насыпать землю и устилать дерном, людям же состоятельным дозволялось крыть дранью на подставках. Далее в этом же указе повелевалось обывателям больших улиц Китая и Белого города строить дома каменные, для чего разрешалось отпускать им кирпич из приказа Большого дворца по указанной цене в долг с рассрочкой уплаты на 10 лет. Мера эта действительно могла бы быть практична и полезна, если бы только возможно было без подарков выходить разрешения из приказа Большого дворца.

влять по величине своего поместья. Дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек, и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и ни исполнительностью при выполнении военных операций. И действительно, от такого неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско.

Неудовлетворительность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалованьи и известного под названием стрельцов.

В первый раз название стрельцов встречается в 1551 году в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на Казанский престол присяжника Шиг-Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давало им жалованье, строило им дома и снабжало оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в ведении голов, и управлялось стрелецкой избой или приказом. Впоследствии избы или приказы были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления организовался стрелецкий приказ в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину.

В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городовых от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники «резвые и стрелять гораздные» и то не иначе, как с поручною записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы.

Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрыничская победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариною, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено коломенское восстание черни, мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька Разин и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров.

Но образовывая, таким образом, главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начала весьма опасные для государственного устройства. Эти начала заключались в слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того времени жалованья (на стрельцов расходовалось более ста тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора), они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судных и печатных пошлин и, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы. Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собою силу реми, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольничьи и думные дворяне.

Заседание открылось речью патриарха Иоакима:

— Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющею судьбами царей и царств, наш православный великий государь царь Федор Алексеевич отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о ниспослании сиротствующему царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу, но, не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша* с соизволения благочестивейшей цари-

---

* Титул, присваиваемый патриархами.

цы Натальи Кирилловны призывает Государеву Думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России.

Кончив речь, патриарх опустился на место, за ним расселись по своим местам и прочие члены Государевой Думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения — и тревожного опасения и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую сановность.

Никому не хотелось высказываться первым.

Наконец заговорил боярин Иван Михайлович Милославский.

— Не подобает нам, верным слугам царевым, рассуждать об избрании себе государя тогда, когда здравствует благоверный царевич Иван Алексеевич, которому, как искони велось на Руси, и следует править государством по старшинству.

— Твоя правда, боярин Иван Михайлович,— заговорил один из Нарышкиных,— но ведь святейший патриарх просил уж царевича, и он добровольно отрекся в пользу младшего брата.

— Просил святейший патриарх,— отвечал Милославский,— один, от своего лица, а теперь мы будем просить от лица всей земли — может, он и переменит свою волю.

— Да ведь мы все знаем немощность царевича,— отозвался уже с некоторым раздражением в голосе Иван Кириллович Нарышкин,— а в другорядь просить, когда добровольно...

— Полно, добровольно ли? — с усмешкой перебил его Милославский.— Мало ли на Москве ходит разных слухов...

— Каких слухов? — почти с запальчивостью закричал Иван Кириллович.— Ты, боярин, заговорил о слухах, так укажи нам прямо, без домеков.

— Не мое дело передавать все слухи, мало ли что говорят... А тебе, Иван Кириллович, не след указывать постарше себя, еще молод.

Спор начал принимать все более и более крупные размеры. Страсти разгорелись; к споривши м примкнули их сторонники.

Наконец после долгих жарких прений, по предложению патриарха согласились: быть избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей. Такое решение Думы и записали дьяки.

На площади перед дворцом толпилось и колыхалось все московское население: стольники, стряпчие, московские

и городовые дворяне, дети боярские, дьяки, жильцы, гости, купцы, посадские и люди черные, ожидая с нетерпением решения Думы. Тут же на площади, примыкаясь к самому дворцу, поставлены были вольными рядами стрелецкие полки, резко отличающиеся между собою цветами кафтанов синих, голубых, темно- и светло-зеленых, малиновых и алых с золотыми перевязями, с ружьями на плечах, с воткнутыми в землю бердышами и с развевающимися знаменами, на которых виднелись изображения то Страшного Суда, то Архистратига Архангела Михаила, то красных и желтых львов.

Все более или менее ясно сознавали законность старшинства царевича Ивана Алексеевича, но все также знали его неизлечимую болезненность и очевидную неспособность к личному твердому управлению государством. Каково же постоянное боярское управление ближних свойственников от первого брака Алексея Михайловича с их приспешниками и кормильцами, было слишком хорошо известно всем и всем ненавистно. Правда, и царевич Петр был еще десятилетним ребенком, но ребенком здоровым, цветущим, быстрым, не по летам разумным, обещающим скоро освободиться от боярской опеки. Тысячи рассказов ходили в народе об остроте его ума, схватывавшего все на лету и лично вникавшего в каждое дело. Затем и ближние царицы Натальи Кирилловны были людьми новыми, свежими, еще не резко отделявшиеся от народа боярской спесью, еще не наложившими на него тяжелую руку.

Вот почему, прислушиваясь к глухому говору народа, нельзя было не заметить решительной симпатии к юному Петру.

— Стройся! Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси другой! Клади руку на мушкет! — скомандовал по оригинальному тогдашнему многосложному артикулу начальник стрельцов, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, вышедший из царской Думы.

Ряды стрельцов выровнялись, ружья засверкали стройными бороздами в лучах заходящего солнца.

На Красном крыльце, предшествуемый духовным синклитом, со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый Государевой Думой, появился патриарх Иоаким. Все головы обнажились. Воцарилась глубокая тишина.

— Богом хранимое Русское царство,— заговорил патриарх взволнованным голосом,— в державстве переходило от родителя к сыну: избранному всеми чинами Московского государства после смутного времени блаженной памяти

царю и государю Михаилу Федоровичу наследовал сын его государь и самодержец Малой и Белой России Алексей Михайлович. По кончине же государя Алексея Михайловича державствовал также сын его, объявленный наследником при жизни самого родителя, царь и государь Федор Алексеевич. Ныне же, по преставлении Божиею волею великого государя Федора Алексеевича. Не осталось ни объявленного им наследника, ни сыновей, а остались братья его благоверные царевичи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Спрашиваю вас, все чины Московского государства, объявить единою волею: кому из сих царевичей быть государем и самодержцем русским?

— Царевичу Петру Алексеевичу! — раздался единодушный крик со всей площади.

Только один голос послышался после этого крика, голос приверженца царевны Софьи Алексеевны, дворянина Сунбулова: незаконно обходить старшего, следует быть царем царевичу Иоанну Алексеевичу!

Но этот крик утонул, замер в общем клике:

— Многая лета царю Петру Алексеевичу!

— Глас народа — се глас Божий,— проговорил святейший пастырь и, обратившись к боярам, добавил: — Что же надлежит теперь?

— По избранию всех чинов Московского государства должен быть наследником царевич Петр Алексеевич,— отвечали почти все бояре Государевой Думы, за исключением только немногих приверженцев царевны Софьи.

Патриарх и бояре возвратились в дворцовые покои, где с таким живым нетерпением ожидала их царица Наталья Кирилловна.

Патриарх благословил молодого монарха.

Рушились заветные, золотые мечты царевны! Опять та же ей ненавистная мачеха стала на дороге, и опять должна она войти в запертые двери теремной тюрьмы. Но нет, игра еще не проиграна, молодой ум гибок в изворотах и сумеет проложить себе дорогу широкую... хотя бы эта дорога и залита была кровью.

ГЛАВА IV

Шумный и тревожный день 27 апреля сменила ночь, ночь первых весенних дней, светлая, сырая, насквозь обхватывающая воздухом только что проступавшей земли и лопающихся почек. Темно и неприглядно, как и во всякое

переходное время. Чуется будущее, теплое, летнее с роскошными плодами, с обильной жатвой, а в настоящем топь да невылазная грязь...

Безлюдно на московских улицах, ворота у всех на запоре, ставни плотно закрыты и на железных болтах.

В доме боярина Милославского, по-видимому, точно так же спокойном и сонном, однако ж не спят. В одной из внутренних комнат, выходящей окнами в сад, собралось несколько человек ближних людей боярина, преданных слуг царевны Софьи Алексеевны.

Комнаты даже знатных лиц в XVII веке не отличались затейливым убранством. В переднем углу, как у всех и всегда, находилась образница с иконами в серебряных вызолоченных окладах, перед которыми теплилась серебряная лампадка. На одной из стен висели часы, тогда только что начинавшие входить в употребление. Между окон стоял длинный стол, покрытый красным сукном, с серебряной чернильницей, несколькими свертками бумаг и с восковой свечой.

С одной стороны стола скамейка с бархатной подушкой, с других двух сторон скамьи, покрытые коврами. На скамье с бархатной подушкой сидел сам хозяин дома Иван Михайлович Милославский* одетый в обиходный наряд того времени, в темно-зеленый суконный кафтан и в шапке, напоминавшей форму скуфьи. С других боков помещались гости: племянник хозяина комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, стольники Иван и Петр Андреевичи Толстые, городовой дворянин Сунбулов, из новгородских дворян кормовой иноземец Озеров, возле него старая знакомая, постельница царевны Софьи Алексеевны Федора Семеновна, одетая нарядно в алый сарафан с парчовыми до локтей рукавами, в желтых сапожках на высоких каблуках; на ее шее красовалось жемчужное ожерелье, а в ушах длинные серьги. По другую сторону стола разместились стрелецкие полковники Петров, Одинцов, подполковник Цыклер и пятисотенный Чермной, одетые в обыкновенные форменные стрелецкие кафтаны.

— Так как же, Федора Семеновна, по твоим речам, царевна согласна?

— Да, боярин Иван Михайлович, милостивая царевна

---

* Иван Михайлович Милославский мог считаться самым влиятельным человеком царского двора, так как с 22 мая 1680 г. он управлял *Приказом большой Казны, московскою таможнею, номерною и мытною избою, городовыми таможнями и всякими денежными доходами.*

велела благодарить тебя за усердие к общему делу, согласна и заранее одобряет все твои распоряжения в защиту ее и старшего царевича.

— Слышите, други,— сказал боярин, обращаясь к гостям,— наша благоверная царевна не только согласна, она заранее одобряет наши действия. Царевич Иван и царевна полагаются на нас, постоим же за них верой и правдой, не выдадим их в обиду нарышкинцам, и достойная награда не оставит каждого из вас по мере усердия.

— Мы все готовы стоять за правое дело и положить головы за царевича и царевну,— первым отозвался Цыклер с тем жаром, в котором опытное ухо чуяло напускную ревность,— только укажи нам, как и что делать.

— Прежде всего нужно избавить царевича и царевну от их заклятых, исконных врагов — Нарышкиных, а от кого именно, племянник мой изготовил список,— сказал боярин, указывая на сверток бумаг, лежавший на столе.

— Это-то мы и сами знаем, боярин, да как спустить их? — спросил Одинцов.

— По-моему,— отвечал хозяин,— втихомолку да исподволь дело не может идти. Первый же случай пробудит подозрение, заставит других быть осторожными и даст время приготовиться. Нет, надо действовать решительно и открытой силой, а сила вся в стрельцах. Кстати, они волнуются, так и нужно поддерживать их неудовольствие, нужно как можно более раздражать и направлять их сначала против тех полковников, которые держат сторону Нарышкиных, а потом... ну, потом обрушиться решительным бунтом, то есть не бунтом, а твердой защитой правой стороны.

— От сторонников нарышкинских, изменных полковников, избавиться нетрудно, их как раз свои же стрельцы спустят с каланчей, ведь всеми они недовольны то за вычет из жалованья, то за строгость, а как направить против самих Нарышкиных? — спросил Петров.

— Нетрудно, полковник,— отвечал Милославский,— надо только как следует объяснить стрельцам, как Нарышкины на них злобятся, как замышляют разослать их по дальним городам, оторвать от отческих домов, хозяйства и родных, а потом и совсем извести за прежнюю-то их всегда верную службу лишь назло царевне, всегда горячо стоявшей за них, и как Нарышкины заместо их хотят устроить все войско из иноземцев. А главное, господа полковники, нужно внушать им, что они пойдут за правое дело, на защиту законного наследника царевича Ивана Але-

ксеевича, которого Нарышкины всеми мерами пытаются загубить вконец.

– За свои полки мы ручаемся,— отозвались Одинцов, Петров и Цыклер.— Только примкнут ли к нам остальные?

— И я ручаюсь за свою пятисотню сухаревцев,— отозвался и Чермной,— а другая половина, наверное, не пойдет с нами. Пятисотенный Бурмистров — любимчик Долгорукого, так, стало, будет тянуть на сторону Нарышкиных.

— Этого-то молодчика и я давно заприметил, надо бы спустить его с рук, мешает он нам.

— Трудно, боярин, любят его в пятисотне и служилые, и пятидесятники. Разве уж постараюсь как-нибудь один на один.

— Ну, так постарайтесь же, други мои, чтоб все было единомысленно. Приманите служилых и из других полков... Если не пойдут с вами, так чтоб не перечили... Петр Андреич,— продолжал Милославский, обращаясь к младшему Толстому,— достаточно ли ты запасся зеленым вином?

— По твоему приказу, боярин, я уж несколько бочек заполучил с отдаточного двора, да еще на днях получу, а потом все бочки передам по полкам сколько кому угодно.

— А вы, полковники, поставьте к кругам при выпивке людей надежных да толковых, которые бы сумели направить куда следует...

— Выполним, боярин, об этом не сомневайся, только не мешало бы денег раздать сколько-нибудь по рукам да пообещать наград.

— Серебра у меня довольно,— отвечал Иван Михайлович,— будет для начала, да к тому ж царевна приказала доставить казну из всех монастырей по Двине. Ведь понапрасну там лежит, а тут дело богоугодное... защита обиженных... А что до наград, так пусть каждый выскажет чего желает...

— А когда, боярин, начинать дело? — спросили полковники.

— Да, думаю я, около половины месяца. Недельки через две, кажись, пятнадцатого-то мая день убиения Димитрия царевича в Угличе, так оно и было б кстати.

— Так и мы к этому дню будем готовиться, боярин.

— Готовьтесь, други мои, готовьтесь, только не пускайте заранее в огласку. Тогда все дело изъяните. Нарышкины увернутся, а вы поплатитесь головой. А ты бы, Федора Семеновна, попригляды вала в тереме-то Натальи Кирилловны и как что услышишь, дала бы нам весточку.

— Свое дело я знаю, боярин,— отозвалась постельница,— свела я задушевное знакомство с двумя сенными ближними девицами царицы и выведаю от них всю подноготную; они мне передают каждое словечко царицы...

Во все время совещания Федора Семеновна казалась необычно рассеянной, поглощенной своим личным интересом. Дело в том, что давно уже приглянулся ей сосед ее кормовой иноземец Озеров, давно уже сердечко ее пылало тайной страстью к пригожему молодцу. Эту страсть знала добрая царевна и обещала устроить свадьбу своей верной постельницы по сердечному выбору в случае желанного успеха. Вот почему Федора Семеновна и казалась рассеянной, вот почему глазки ее так часто покоились на пригожем лице кормового иноземца, а тощенькое, непорочное тельце ее все ближе и ближе подвигалось к дюжему соседу. Но приглядываясь и прижимаясь к милому ей человеку, она все-таки следила за ходом дружеской беседы. Многое в этой беседе не нравилось ей. «Отчего это,— думала она,— боярин все напирает на царевича да выставляет себя, а об царевне говорит как будто вскользь. Ну, не разумней ли их всех моя, жемчуг перекатный, царевна, ну, не достойна ли она править не то что каким-нибудь Русским царством, а и всем миром. Нет, не для пользы царевны хлопочет боярин,— решила она,— а для своих видов да из злобы на Нарышкиных».

— А как говорят при дворе царицы Натальи Кирилловны? — спросил Иван Михайлович постельницу.

— Да вот поджидают Артамона Сергеича, вчера, вишь, послали нарочного гонца в Лухов. Ден через пять, чай, прибудет.

— Прибудет, да поздно будет,— заметил боярин.— Да, кстати, племянничек, в списке твоем, кажись, нет Артамона?

— Не записан он, дядюшка, не знал я, что вернется к тому времени.

— Нет, племянник, его запиши первым. Пусть вспоминает услугу Ивана Михайловича... по-приятельски с ним рассчитаемся... Да не забудь, племянник, написать побольше таких списков для раздачи по нескольку штук на каждый полк.

— Да растолкуй, боярин,— спросил молчавший до сих пор Петров,— как это могло случиться, что Государева Дума при жизни наследников предоставила выбор всем чинам московским, ведь этого никогда еще не бывало!

— Мало ль что не бывало,— угрюмо отвечал Иван

Михайлович,— при наших порядках не то еще увидишь. Понасажали в Думу разных молокососов... родственников да свойственников царицыных, ну они и вертят по своей воле. До того было дошло, что родимый-то братец царицы вздумал сделать царем Петра Алексеевича от имени Думы по одному лишь заявлению патриарха об отречении старшего царевича. Да я по-своему осадил Ивашку Нарышкинского, а Думе говорю: мол, не по закону и не по обычаю обходить старшего брата, что по всем правам подобает царствовать Ивану Алексеевичу. И перетянул бы я, да к ним на подмогу заговорил Михайло Юрьич, известный их прихлебальник. Правда, и к моей стороне стал князь Иван Андреевич, да ведь не речист он в делах царских-то, ему бы только каноны говорить... Вот как я увидел, что нашим не пересилить, так и согласился на избрание по земству. Авось, думаю, хоть там потянут по старине, а вышло не так... Загорланили иноземцы, приспешники козьих бород*, а за ними и все чины. Ну, да в наших руках сила... поставим по-своему...

— А правду ль говорят, боярин,— спросил один из полковников,— будто молодой-то боярин Нарышкинский, срам сказать, сквернословил про покойного царя?

— Да как же неправда! Всем известно... сама сестрица потатчица, при ней и дело было. Все мы видели, как Наталья Кирилловна с сыном не хотели отслушать до конца отпевания. Все тогда смутились, а тетки-то покойного Анна Михайловна и Татьяна Михайловна не удержались и выговаривали Наталье Кирилловне через монахинь. Так, вишь, стала отговариваться, будто сынок мал, не мог выстоять на голодный желудок, а братец-то Ивашка тут и брякнул: кто умер, тот пускай-де и лежит, а царь не умирал и живет**.

— Ну уж и люди эти Нарышкины,— единодушно отозвались слушатели,— от таких срамословов и святотатцев чего ожидать доброго!

— Прощенья просим, боярин, не будет ли от тебя какого-нибудь наказа к царевне,— говорила постельница, собираясь уходить.

— Расскажи, Федора Семеновна, все, что видела и слышала, передай государыне мою нелицемерную рабскую верность — готов служить ей до гробовой доски. Да вот что, Семеновна,— продолжал боярин, понижая голос и отводя

---

* Бранное прозвище Нарышкиных.

** Др. рос. Вивлиоф. XI. 212. Более подробно об этом случае упоминается в польских источниках.

постельницу в сторону,— сослужи ты мне добрую службу, и я не забуду тебя никогда. Вот и теперь есть у меня для тебя богатые запястья с самоцветными камнями, которые привез мне иноземный гость, да еще дорогая телогрейка.

— И без посулов, боярин, я готова завсегда служить тебе, спрашивай только, не таись.

— Скажи же мне по правде, по душе, как часто бывал у нашей царевны князь Василий Васильич. Об чем они разговаривают? Не заходит ли когда речь обо мне? Насколько милостива к нему царевна?..

— Бывал, боярин, князь Василий Васильич у царевны, не солгу, бывал, только нечасто, когда только, бывало, пришлет к ней покойный государь братец за каким ни есть делом. А так, чтоб без делов, никогда не бывало. Об тебе же, боярин, царевна разговаривает нередко, вот хоть бы и со мной, и считает тебя что ни есть самым умнейшим и разумнейшим.

— А как царевна говорит о других, вот хоть бы о князе Иване Андреиче?

— О князе Иване Андреиче? Хованском? Как-то мало приходилось разговаривать об нем, боярин. Царевна уважает его. Да она и видит-то его нечасто.

Постельница собиралась уходить, но, уходя, она еще раз умильно поглядела на бывшего соседа и ласково проговорила:

— Не по дороге ли нам идти, Иван Андреич. Пошли бы вместе, а то боязно, как бы не обидели прохожие или дозорные с решетчатым.

— Хоть не по дороге, Федора Семеновна,— ответил бравый кормовой иноземец,— а проводить всегда готов.

И оба, простившись с хозяином и гостями, вышли.

— Время и нам расходиться, боярин. Позволь проститься,— заговорили и прочие гости, кланяясь хозяину.— Когда прикажешь нам наведаться?

— Да всем-то собираться незачем. Приметно, да и все уж улажено; а кому случится нужда, так и завернет либо ко мне, либо к племяннику. До назначенного дня я под видом болезни выезжать не буду. Только не забудьте уговор.

— Помним, помним, боярин.

Гости вышли, кроме подполковника Цыклера.

— Боярин,— заговорил подполковник, оставшись наедине с хозяином,— я нарочно остался переговорить с тобой.

— Рад служить тебе, подполковник.

— Видишь что, боярин. Дело, за которое мы беремся,— дело опасное и будет стоить головы или теперь же, если не

удастся, или впоследствии. А за такое дело берутся или неразумные из непонятной для меня собачьей преданности, или умные за что-нибудь для себя выгодное. Так как я не считаю себя неразумным, то прошу тебя, боярин, сказать мне откровенно, на что я должен рассчитывать.

— А чего бы ты желал, подполковник?

— Желал бы я не очень многого, боярин: поместья доброго да звания боярского.

Передернуло едва заметно боярина такое нахальное требование, складывались уж губы в презрительный ответ, но, вовремя спохватившись, Иван Михайлович ласково улыбнулся и, погладив бороду, спокойно ответил:

— Люблю подполковника за откровенную речь. По крайности начистоту. Обещаю тебе за царевну в случае успеха боярство и поместье.— И боярин, кивнув головой подполковнику, вышел во внутренние покои.

«Поместье и боярство,— думал про себя Цыклер, выходя из комнаты,— оно, конечно, дело хорошее, а все-таки своя голова дороже. С головой добудешь и того и другого, а без головы не помогут ни поместье, ни боярство. Надо подумать и рассчитать повернее. Теперь, кажется, дело верное и безопасное, а после можно будет вовремя и другой стороне... верно, не останется без благодарности».

Затихло все в доме боярина Милославского, не слышно ничего, кроме храпа многочисленной челяди боярской да прихлебальников. Только долго не мог заснуть сам боярин под влиянием картин воспаленного воображения о будущем величии. Обаятельная мечта уносила его далеко: то она казала ему его самого во главе Думы царской как самовластного, сильного правителя, перед которым смиренно преклонялись боярские головы, покорно ожидающие от него милостивого слова или опального голоса, а там, в пустынях какого-нибудь Пустозерска, обнищалые и голодные тянут безотрадную жизнь его вороги, то представляла ему, как он будет принимать всех послов, которые, пораженные его умом и величием, разнесут славу об нем по всем концам крещеного и некрещеного мира, то представляла ему славу мудрого законодателя, осыпанного повсюду благословениями. Впрочем, мечта о мудрости законодательной недолго останавливалась в его голове и скоро сменилась другими, более усладительными образами. В разыгравшемся воображении боярина стали носиться другие облики, прелестные тени юных красавиц. Вот она, обольстительная русская женщина,— стройная, высо-

кая, с полными развитыми формами, с густыми шелковистыми, длинными, почти до пят, волосами, с глубокими, полными нежной истомы очами...

Любил боярин и Груш, и Марфуш, и Любаш и беззаветно отдавался их губительным ласкам. Не действовали на него и мудрые предостережения книги «зело потребной, а женам досадной о злонравных женах». Напрасно читал боярин разумные советы: «Не помысли красоте женстей, не падайся на красоту ея, не насладишися речей ея и не возведи на нея очей своих, да не погибнешь от нея. Бежи от красоты женския невозвратно, яко Ной от потопа... Человече, не гляди на жену многохотну и на девицу красноличную, да не впадеши нагло в грех... Не дай жене души своея... девы не глядай, с мужатницею отнюдь не сиди — о доброте бо женстей мнози соблазнишася, даже и разумные жены прельщают... Взор на жены рождает уязвление, уязвление рождает помышление, помышление родит разжение, разжение родит дерзновение, дерзновение родит действо, действо же исполнение хотения, исполнение же хотения родит грех... Человече, отврати лицо свое от жены чужия прекрасныя, не зри прилежно на лице ея: красоты ради женския мнози погибоша. Красота жены веселит сердце человека и введет человека в жалость на всякое желание. Человече, с чужою женою на едине николи же беседуй, ни возлагай с нею за столом лахтей своих; словеса ея яко огнь попаляет и похоть ея яко попаляет пламя, отрезвися умом и отскочи жен блудливых»*.

Не вразумлялся Иван Михайлович разумными наставлениями, попалялся он в пламени и погиб.

ГЛАВА V

Постельница Федора Семеновна о призыве к двору боярина Матвеева сказала правду. По кончине Федора Алексеевича царица Наталья Кирилловна увидела себя во главе партии, правда, довольно многочисленной, но совершенно неопытной, молодой, увлекающейся, еще неокрепшей в ведении исконных придворных интриг. Требовался опытный руководитель, и боярин Артамон Сергеевич Матвеев как нельзя более мог удовлетворить все вопросы сложившихся обстоятельств.

---

* Старинная рукопись. Опыты изучения русских древностей и истории И. Забелина. Москва, 1872, стр. 150.

Артамон Сергеевич происходил не из знатного рода «дьячих детей», но выдвинулся на вершину умом, способностями и образованием. Служа стрелецким головою, он под Смоленском своею распорядительностью обратил на себя внимание царя Алексея Михайловича. Затем, по обязанности уже думного дворянина, он участвовал в совещаниях Думы Государевой, а впоследствии заведывал некоторыми приказами (аптекарским). Скоро он сделался самым ближним сотрудником царя, «его верной и избранной головой».

Считаясь во главе новаторов того времени, Матвеев действительно был передовым и самым развитым из своих современников русских. Он занимался науками и искусствами, оставил после себя первый опыт русской истории (государственная большая книга, описание великих князей и царей российских) и первый устроил из своих дворовых труппу актеров. Дом его был обставлен по-европейски — с большими стенными часами и картинами по стенам. В этом-то доме царь Алексей Михайлович в первый раз увидел Наталью Кирилловну Нарышкину, полюбил и потом женился на ней. При свадьбе Артамон Сергеевич был пожалован в окольничьи, а через год и в бояре.

Отделяясь от придворных образованием, он в то же время отличался редкой в современниках добросовестностью, отсутствием корыстолюбия и не относился к народу с обычной спесью. Москвичи любили его. Сохранился известный характеристический анекдот о постройке его дома. Старый, ветхий дом Артамона Сергеевича требовал большой перестройки, о чем не раз настаивал и Алексей Михайлович, вызываясь принять издержки по постройке на счет казны. Боярин, наконец, обещался перестроить, но решительно отказался от казенной помощи. Таким решением он поставил себя в затруднительное положение. В наличности денег не было, да и камня в ту пору тоже не оказывалось в продаже. И вот однажды утром на двор к нему въехало множество телег с камнями. Оказалось, что московские обыватели, стрельцы, торговые и посадские люди, узнав о его затруднении, собрали камни с могил своих отцов и поклонились ими боярину, отказавшись, разумеется, от всякой платы.

Пользуясь значением при дворе только по личному расположению царя, Матвеев, по кончине Алексея Михайловича, не мог выдержать борьбы со старой боярской придворной партией. И действительно, вскоре, не далее полугода по воцарении Федора Алексеевича, вследствие доноса сначала в корыстолюбии, а потом в чародействе, Артамон Сергее-

вич сослан был воеводствовать в Верхотурье, а потом в ссылку в Мезень.

Понятно, какую значительную поддержку могла оказать опытность Матвеева партии царицы Натальи Кирилловны, понятна поспешность, с какой был послан в Лухов за боярином Матвеевым стольник Алмазов, понятно, с каким нетерпением ожидала его приезда царица и понятна, наконец, торжественность его приема. Еще в Троицкой лавре он был встречен приветствием от имени царя Петра Алексеевича Юрием Лутохиным, а в селе Братовщине Афанасием Кирилловичем Нарышкиным от имени царицы.

Прибыв в Москву 11 мая, Матвеев нашел положение дел весьма опасным и неисправимым. Волнения стрельцов приняли громадные размеры, а неопытное правительство не только не принимало строгих и внушительных мер, но, напротив, робкою уступчивостью поощряло их к дальнейшим волнениям.

Соединившись с Грибоедовским полком, прочие стрельцы 30 апреля подали общую челобитную, в которой повторялись те же жалобы на притеснения своих полковников в недодаче им жалованья, с угрозой в случае отказа правительства расправиться самим. Вместо быстрого и беспристрастного расследования жалобы правительство поспешило отставить от должностей полковников, возбудивших жалобы, взыскать с них правежем удержанные будто бы ими деньги стрельцов и удалить нелюбимых стрельцами оружейничего боярина Ивана Языкова и братьев Лихачевых. Поощренные таким образом робостью правительства по отношению к жалобам на главных начальников, стрельцы сочли себя в праве разделываться своим судом с лицами второстепенными,— и вот строгие, обуздывавшие их пятисотенные, сотенные, пятидесятники и пристава — все погибли, сброшенные с каланчей.

Развитием мятежного настроения весьма ловко воспользовались люди, преданные царевне Софье Алексеевне. Разгоряченное воображение легко и слепо поддается обману. Искусственные рассказы о злобных умыслах Нарышкиных против стрельцов, об отравлении ими покойного царя Федора Алексеевича, о насильном принуждении старшего царевича отречься от престола, о намерении изгубить Ивана Алексеевича, может быть, в другое время остались бы без внимания, но теперь, при общем воспалении, находили доверчивых слушателей. Истребить, наказать зловредный род губительных временщиков становилось в их глазах делом справедливости, значило постоять за правду, за ца-

рей, за веру. Осязательный факт был налицо: царевич Иван обойден, а неслыханно быстрое возвышение молодых, еще неопытных Нарышкиных против старых бояр, неоправдываемое никакими еще заслугами (из Нарышкиных Иван Кириллович пожалован был оружейничим и саном боярским на 23 году. Афанасий Кириллович комнатным стольником, Кирилл Алексеевич кравчим), не могло не возбудить общего неудовольствия и не могло не казаться подозрительным. Как же было не верить стрельцам своим любимым полковникам, когда вся внешняя обстановка совершенно согласовалась с их рассказами и когда в среде их не раздавалось ни одного голоса, раскрывавшего истину.

Увлечение стрельцов было глубокое и истинное. На бесчеловечную форму проявления этого увлечения имело неоспоримое влияние доброе вино отдаточного двора и богатые награды. Да, впрочем, конец XVII века и нигде не отличался особенной мягкостью нравов.

Утром 14 мая. В приемной комнате перед внутренними покоями царицы Натальи Кирилловны дежурил стряпчий. Характер дежурства того времени нисколько не отличался от нашего: та же бездеятельность и томящая скука, то же невыносимое однообразие, та же досада на бесконечно долго тянущиеся часы. Стряпчий от нечего делать занимался глубокомысленным созерцанием линий на ладони левой руки, то сгибая, то их расправляя.

— Передай матушке царице, что я пришла повидать ее,— сказала неожиданно вошедшая царевна Софья.

Озадаченный необычным приходом царевны, стряпчий сначала как-то бессознательно оглядел ее, а потом опрометью бросился в соседнюю комнату, где вышивала за пяльцами золотом и жемчугом постельница царицы Натальи Кирилловны.

— Доложи государыне царице, изволила прибыть к ней царевна Софья Алексеевна и ожидает в приемной палате.

Постельница быстро направилась к опочивальне и передала изумленной Наталье Кирилловне поручение стряпчего.

Изменилась в лице царица при этой вести, не ожидала она такого поступка от падчерицы, с которой никогда не могла сойтись подушевно, от которой никогда не видела приветливого взгляда. Едко защемило сердце мачехи.

— Спасибо, царевна, что вздумала проведать меня,— говорила царица, выходя к ожидавшей ее Софье Алексеевне в Большую парадную приемную.

Обе женщины уселись одна против другой за столом, украшенным искусной золотой резьбой.

Трудно представить себе более противоположных типов, как Наталья Кирилловна и Софья Алексеевна. Во всем облике первой, без ведома ее самой, так и бросалась в глаза натура женственная, не способная к геройским подвигам, но вместе с тем самоотверженная и любящая к дорогим ее сердцу. Цветущая молодостью и красотой, описывает ее Рейтенфельс (1671—1673 гг.), стройная, черноокая, с челом прекрасным и с приятной улыбкой, она пленяла и мелодичною речью, и прелестью всех движений. Пять лет вдовства, полного горя, стеснений, оскорблений, мелких, но тем не менее чувствительных уколов, пять лет ссылки от двора уничтожили цветущий румянец, охолодили нежное сердце.

Холодом веяло от царевны. Стальной энергией смотрели голубые глаза, на губах лежала нервная улыбка. Воспитание сумело развить ей ум, но не развило чувства. Правда, и царевна любила, но как любила? В самой любви ее сказывалось более эгоистичности и более чувственной стороны.

— Как здоровье твое, царевна? — продолжала царица приветливо.

— Благодарю, матушка. После смерти братца все еще не могу прийти в себя: голова болит, грудь ломит, во всех суставах какая-то немочь — точно будто свалилась с высокого места. Заниматься ничем не могу...

— Понимаю, царевна, и сочувствую тебе,— участливо отвечала царица.

— А как твое, матушка, здоровье и государя братца Петра Алексеевича?

— Мы, как видишь, слава Всевышнему. Сын занимается теперь с учителем. Боюсь за него, царевна, больно уж резов...

— А я к тебе, царица, по особому делу. Вчера были у меня митрополиты, епископы и выборные люди от народа, молили воцарения на прародительский престол законного наследника царевича Ивана Алексеевича.

— Да как же это, царевна? — не веря ушам своим и с недоумением глядя, спросила царица.— Ведь все же чины Московского государства единодушно выбрали моего Петра?

— Видно, одумались, матушка,— с некоторой насмешкой ответила царевна.

— Невозможное дело, Софья Алексеевна. Царевич Иван сам добровольно и решительно отказался от престола.

— Ничего не значит, матушка. Справедливо — он отказался, но по просьбе всего народа московского может пере-

менить и согласиться, а царевич Петр может разделиться царством с братом, может добровольно со своей стороны уступить ему первенство как старшему.

— Да ведь царевич Иван больной, не может... не в состоянии править государством.

— И... и... матушка царица, не все же цари и короли — голиафы. На что ж советные-то мужи и Государева Дума? Точно также и Петр-царевич — еще ребенок, также не может сам править царством...

Если бы дело касалось лично только до Натальи Кирилловны, то, вероятно, она не оказала бы большого противодействия, но в настоящем случае терял ее милый сын, интересы которого она, как мать, должна отстаивать твердо. И вот в одно мгновение она решилась всей жизнью своей защищать права своего ненаглядного Петруши.

— Нет, царевна,— с решительностью отозвалась царица,— кого раз избрал весь народ и кто получил Божье благословенье, тот не может уж отрекаться от своего назначения.

— Ну, как знаешь, матушка. Как близкая родная я хотела предупредить тебя, как бы не вышло смуты великой в государстве... Народ волнуется... Не полилась бы неповинная кровь.

— Что Богу будет угодно. Надеюсь на Его милосердие и готова на все...

Обе стороны остались недовольны свиданием.

— Напрасно только послушалась я Василия,— говорила про себя царевна уходя,— попытайся да попытайся... Может, она добровольно уступит Ивану Алексеевичу, тогда и смуты никакой не будет, и кровь не прольется... Не такие люди Нарышкины... добром с ними не разделаешься... с корнем только можно вырвать злое племя. Как бы еще не испортили... теперь ведь предупреждены... Хорошо, что не разболтала...

Ошеломленной и растерянной осталась после свидания царица. Что делать? Что предпринять? Она не знала, она знала только и на что твердо решилась — это неотступно стоять за судьбу дорогого сына, не уступать никому Богом предназначенного ему предопределения. К кому обратиться за советом? Отец стар, да и неопытен в подобных делах. Братья? Молоды и бессильны. К Артамону Сергеичу? Да, к нему. Он опытен и умен. Он сможет отвратить беду.

— Пошли скорей гонцов к Артамону Сергеичу и брату Ивану Кирилловичу,— приказала она стряпчему,— зови их сейчас ко мне.

Отдав приказание, Наталья Кирилловна вошла в свою опочивальню и опустилась на колени перед ликом Пресвятой Девы. И горяча была материнская молитва, слезы струями текли по побледневшим щекам, губы судорожно шептали бессвязные звуки, но с одним глубоким смыслом мольбы о счастии сына.

— О Боже милостивый, спаси его! Если нужна жертва — возьми меня, отними от меня все, лиши всего, но надели его всеми земными благами, отклони от него все несчастия и передай их все на мою несчастную голову. Сделай бессильными козни врагов его, подай мне крепость и силу на борьбу, научи меня, слабую женщину...

Вошла постельница с докладом о приезде Ивана Кирилловича и Артамона Сергеича.

— Что с тобой, сестра? — спросил встревоженный Иван Кириллович вышедшую сестру.— На тебе лица нет!

— Я в страшной тревоге... послала за вами, благодетель и друг мой Артамон Сергеич и брат Иван. Была у меня сейчас царевна Софья.

И царица передала весь свой разговор с царевной.

По мере рассказа все более и более бледнело лицо Ивана Кирилловича и все серьезнее становился Артамон Сергеич.

— Да, царица, дело важное и опасное,— сказал Артамон Сергеич,— я знаю царевну. Если она решилась высказаться, так, значит, совершенно уверена в успехе, значит, все подготовлено...

— Неужто ты думаешь, сама царевна подымает смуту? — спрашивала недоверчиво Наталья Кирилловна, не понимая, как царевна, при тогдашней обстановке женского царского семейства, могла быть основой какого-нибудь политического движения.— С какой же целью?

— Я не думаю, царица, а убежден в этом — Софья Алексеевна хочет власти. Как властвовала она при царе Федоре Алексеевиче, так будет властвовать, если еще не больше, при больном Иване. А может быть, она пойдет и дальше... Ясно. Но не в этом важность, а важно знать: какими средствами решилась действовать... Я здесь всего только два дня, не успел присмотреться к новым порядкам. На преданность каких бояр можно рассчитывать?

— Да ведь они все кажутся преданными,— ответила Наталья Кирилловна.

Старый боярин улыбнулся.

— Отстала от двора, родная... Скажи мне по крайности: кто в Государевой Думе говорил за Ивана Алексеевича?

— Говорили Иван Михайлович Милославский, Иван Андреевич Хованский, поддерживал князь Василий Васильевич Голицын, да еще кто-то...

— Василий Васильевич? Нет... он слишком осторожен, не пойдет он явно в мятежники... Иван Андреевич? Глуп — быть вожаком. Иван Михайлович? Ну, у этого голова изворотливая...

— Боярин Иван Михайлович лежит дома больной,— вмешался Иван Кириллович,— я вчера встретил его холопа... спрашивал: больной, говорит, трясучкой лежит... Вот уж недели две никуда не выезжает.

— Болезнь может быть и отводная... и не выходя из дома можно орудовать... Ты не распорядилась, царица, за ним присматривать? Кто у него бывает?

— Нет, Артамон Сергеич, мне этого и в голову не входило.

— Народ волнуется,— как будто сам с собой говорил Матвеев.— Какой народ? Давно ли этот народ выбрал единодушно царем Петра Алексеевича? По какому поводу в такое короткое время мог измениться? Странно! По улицам не видно никакого волнения... ни между посадскими, ни торговыми, ни жильцами... не заметно волнения в духовенстве и в думе боярской... Где ж волнение? Слышал я, царица, стрельцы крамольничают. Чего они хотят?

— Они были недовольны своими полковниками, просили о недоданных деньгах, и челобитную их тотчас уважили, стрельцов-то я не опасаюсь,— отвечала Наталья Кирилловна.

— Уважены, говоришь, да как? Без разбора, без розыска, как я слышал, царица. Так такая поноровка только пуще вредит. Говорят, по ночам в их слободах пьянство да крики. Кто мутит? Уверена ты, царица, в Михайле Юрьиче?

— Ты знаешь его больше меня, Артамон Сергеич. По мне, он не способен на измену.

— Правда твоя — он честная, открытая душа, не пойдет на хитрости. Завтра надо его расспросить. Жаль, человек он не покладливый... горд... держит себя далеко от стрельцов. Ноне же,— продолжал Артамон Сергеич, обращаясь к Ивану Кирилловичу,— оповести патриарха, Долгорукого, Черкасского и других, кого ты знаешь из наших ближних, прибыть завтра к царице по важному делу на совет. Завтра мы переговорим и решим, как должно делать, а теперь прощай, Наталья Кирилловна, будь покойна. Грозен сон, да милостив Бог. Может, и все пройдет благополучно.

— А будет велика смута,— говорил Иван Кириллович

боярину Матвееву, спускаясь по дворцовой лестнице.— Чаю я от царевны конечной гибели себе и всему нашему роду.

— Да,— раздумчиво ответил последний,— не пройдет даром наша затея. Бог один знает, что будет. Щемит у меня сердце больше, чем, бывало, в ратном деле. Много будет пролито невинной крови... во многом отдаст царевна отчет Богу на последнем суде.

Бояре расстались, отправляясь каждый в свою сторону, под влиянием тяжелого чувства. И во весь тот остальной день боярин Матвеев, возвратившись домой, был сам не в себе. Грустно останавливались его глаза на юном его сыне Андрюше, которого он с такой нежной любовью старался образовать и воспитать сообразно с европейскими условиями. Не знали его хлопоты по устройству заброшенного в его отсутствии дома, и с удвоенной лаской целовал он сына при прощании.

Чувствовалось ему, что это прощание на ночь 15 мая будет последним поцелуем сыну.

ГЛАВА VI

На другой день ранним утром 15 мая съехались в дворец к Наталье Кирилловне оповещенные Иваном Кирилловичем все приближенные нарышкинской партии. Тут были, кроме отца царицы Кирилла Полуектовича и брата Ивана Кирилловича, патриарх Иоаким, боярин Артамон Сергеич Матвеев, князь Михаил Юрьич Долгорукий, князь Михаил Олегович Черкасский, боярин Петр Михайлович Салтыков и другие.

Совещание началось заявлением Артамона Сергеича о вчерашнем предложении царевны Софьи.

Предложение царевны было отвергнуто всеми с негодованием. По общему единодушному мнению, уступка престола царем Петром Алексеевичем была бы нарушением законного порядка и что всякая попытка на осуществление предложения силою должна считаться, после торжественного избрания и объявления царем Петра, после данной ему от всех чинов и обывателей московских присяги,— должна считаться мятежом и бунтом.

— Но царевна ссылается на волнения и требования народа,— начал боярин Матвеев,— не может никто указать, на какие волнения и требования намекала царевна, откуда выходят эти требования и какие по этому надо взять меры. А я со своей стороны,— продолжал боярин,— не слыхал ни о каких волнениях, кроме буянства стрельцов.

— По сведениям, доставленным мне пятисотенным Сухаревского полка Бурмистровым, одним из самых преданных слуг законного царя,— отвечал князь Михаил Юрьич Долгорукий, особенно отчеканивая слова «законного царя»,— стрельцы почти всех полков чуть не каждую ночь собираются в своих съезжих избах кругами, пьянствуют и болтают разный вздор. Какие-то зловредные люди распустили между ними слух, будто родственники царицы замыслили всех их извести, будто царевич Иван Алексеевич отказался по принуждению от престола. Рассказывают, будто на днях Иван Кириллыч надевал на себя царскую корону, что будто бы видела царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна; царевна и царица упрекали его, а он в озлоблении бросился на Ивана Алексеевича и чуть не задушил его. Вздор, о котором не стоит и говорить и которому верит разве только одна пьяная сволочь.

— А давно ли, князь, начались эти слухи? — спросил Матвеев.

— Недели с две.

— И ты, князь, ни разу не доложил об них царице?

— Зачем мне было тревожить государыню разным вздором, болтовней пьяных.

— Но этими пьяными, князь, управляют трезвые головы, они составляют силу, способную погубить царя, царицу и всех нас.

— И... полно, Артамон Сергеич. Не след бывшему стрелецкому голове и начальнику стрелецкому трусить пьяной толпы...

— Теперь, когда мы знаем, откуда идет гроза, надо обсудить, каким путем отвратить ее,— продолжал Матвеев.

— По-моему,— отозвался Михаил Юрьич,— с пьяной толпой справиться трудно, но если мятежники действительно окажутся силой и покусятся на царский дворец, так мы можем отразить их тоже силой: у нас преданный Сухаревский полк, Бутырский и Стремянной. С этими полками мы можем запереть все входы в Кремль и держаться до прибытия подкреплений. А между тем мы сейчас же можем разослать гонцов с призывом по ближним воеводствам ратного ополчения. Тогда это ополчение ударит на мятежников с тыла, и мы одновременно сделаем вылазку из Кремля. Ручаюсь — не спасется ни одна голова.

— Твое мнение хорошо, князь,— возразил Артамон Сергеич,— но подумай только: ратное ополчение собирается медленно, можем ли мы с двумя, много тремя полками, и то, вероятно, неполными, так как и в их числе найдутся

изменники, продержаться долго в Кремле, содержа караулы при всех выходах? Поэтому, по моему бы мнению, к такому средству можно прибегнуть только в крайности... предварительно же надо испытать другие меры. Может, удастся избежать кровопролития.

— А какие средства пригодны по-твоему, Артамон Сергеич? — спросил боярин Салтыков.

— Пусть Михаил Юрьич через преданных стрельцов Сухаревского полка узнает, кто зачинщики мятежа и кем разносятся нелепые слухи. Узнав их, мы можем призвать их, убедить в нелепости наговоров и привлечь на свою сторону. Полезно было бы святейшему патриарху послать в стрелецкие слободы надежных отцов для увещевания и вразумления.

— Поможет ли это, боярин? — заметил патриарх.— В полках стрелецких появилось много раскольников после возвращения из астраханского похода на Стеньку Разина. Лучшие стрельцы оставлены там, в Астрахани, а сюда прислано много людей буйных и еретиков.

— Узнав главных вожаков, — продолжал боярин Матвеев, — и перетянув если не всех, то некоторых из них, мы разрушим единодушие и, во всяком случае, замедлим мятеж, а тем временем соберется ратное ополчение. А как твое мнение, царица?

— По мне,— отвечал Наталья Кирилловна,— нужно все сделать, чтобы только кровь не лилась. Впрочем, я во всем полагаюсь на вас, бояре.

— Не мешало бы, отозвался князь Долгорукий,— запретить отпуск вина с отдаточного двора для стрельцов.

— Это бы хорошо,— возразил боярин Салтыков,— да трудно выполнить. Они могут получать вино не прямо с отдаточного двора, а от своих знакомцев, да, вероятно, у них есть и свои запасы.

Наконец после долгих прений и рассуждений положено было принять оба мнения: и боярина Матвеева, и князя Долгорукого, то есть при неуспешности предварительных мер, в случае крайности действовать энергически согласно мнению Михаила Юрьича.

Близилось к полудню. Собрание предполагало было расходиться, как вдруг послышался набат в ближайших к Кремлю церквах и вслед за тем отдаленный барабанный бой.

— Как? Что такое? Отчего? — спрашивали царица и бояре друг друга.

— На полдень, государыня,— сказал князь Черкасский,

подходя к окну,— видна не то туча, не то пыль, и оттуда несется гул какой-то.

— Узнай, Артамон Сергеич,— распорядилась Наталья Кирилловна,— и распорядись как нужно.

Матвеев вышел.

Через несколько минут он воротился бледный и расстроенный.

— Поздно, государыня,— сказал он.— На лестнице встретили меня князь Федор Семеныч Урусов, подполковники Горюшкин с Дохтуровым и передали мне, будто мятежники стрельцы еще ранним утром вышли из своих слобод при пушечных снарядах, прошли Земляной и Белый город, отслужили молебен в Китай-городе у Знаменского монастыря и теперь подходят к Кремлю. Стрельцы пьяны... Кричат: «Всем Нарышкиным отомстим за смерть царевича Ивана!» Им кто-то насказал, будто царевича убили... Я велел запереть все кремлевские ворота.

— А я прикажу построиться в боевой порядок очередным караульным стрельцам при дворце.— Михаил Юрьич вышел из палаты и, приказав полсотне Сухаревского полка, стоявшей в тот день на карауле, быть наготове, сам воротился к царице.

Но отданные приказания не могли быть исполнены. Громадные толпы пьяных стрельцов успели ворваться в Кремль и окружить Красное крыльцо. Звуки набата на Ивановской колокольне, бой барабанов, неистовые крики и проклятия, гул и треск наводили невольный ужас. Царица бросилась к образам и казалась в отчаянии, губы ее шевелились, но из них вылетали только неопределенные звуки, молящие, скорбные звуки, не слагавшиеся в слова молитвы.

Все присутствующие, кроме царицы, стояли у окон.

— Посмотри, Михаил Юрьич,— говорил князь Черкасский,— с какой яростью лезут стрельцы на крыльцо. Они ломают решетку.

— Государыня,— сказал подполковник Дохтуров, входя в палату,— бунтовщики думают, будто царевич Иван Алексеевич убит, если б показать им царевича...

В это время вошел Кирилл Полуэктович, держа за руки царя Петра Алексеевича и царевича Ивана.

— Вот, дочь моя, я привел к тебе твою силу и защиту.

Все бояре решили немедленно же показать обоих братьев разъяренной толпе и видимо обличить ложь. С мужеством отчаяния, доведенного до крайнего предела, царица взяла обоих братьев и в сопровождении патриарха и всех бояр вывела их на Красное крыльцо.

Выставленных напоказ царевича и царя вмиг окружила толпа, перелезшая через перила. Шестнадцатилетний больной царевич дрожал от испуга, бледное лицо еще более помертвело, а загноившиеся подслеповатые глазки беспрерывно моргали от напиравших слез. Иначе действовал испуг на ребенка Петра. Глаза его смело смотрели на пьяную, бесчисленную, ревущую перед ним толпу, и только легкое подергивание личных нервов, явление, выражавшееся у него и впоследствии всегда при сильных ощущениях, указывало на коренное нравственное потрясение.

— Ты ли это, царевич Иван?— спрашивали старшего царевича многие из стрельцов, бесцеремонно ощупывая его руками.

— Аз есмь,— отвечал он,— жив и никем не обижен.

— Как же, братцы, стало, нас обманули, царевич-то здоров и не обижен,— говорили в передовых рядах стрельцы и попятились назад. Крики смолкли, наступила минута недоумения и нерешительности.

Царица увела братьев в палаты, а оставшиеся на крыльце патриарх и боярин Матвеев старались воспользоваться благоприятной минутой и уговорить стрельцов. Боярин напомнил то время, когда он был их головой при покойном царе Алексее Михайловиче, как он делил с ними одну хлеб-соль, горе и радость, как за них всегда стоял грудью, любил их, как детей своих.

— Тогда вы верили мне, братцы, верьте же и теперь. Злые люди смутили вас, насказали неправду, как вы и сами убедились, с умыслом обольстить вас... отвести от крестного целования. Но стрельцы никогда не были изменниками, они всегда были за правое дело... за избранного венчанного царя. Успокойтеєь же, братцы, и с миром разойдитесь по домам. Вы не виноваты... Царица вас любит и прощает... Никто не имеет против вас ничего, и никто не желает вам никакого лиха.

Речь боярина произвела, видимо, сильное впечатление на стрельцов.

— А что ж, ребята,— слышалось в рядах,— боярин-то правду сказал, не разойтись ли нам по домам.

— Передние ряды отступали.

Это был решительный момент, и им-то боярин Матвеев не сумел воспользоваться. Вместо того чтоб остаться и лично руководить выходом стрельцов из Кремля, он, обрадованный успехом, поспешил уйти во дворец объявить добрые вести беспокоившейся царице. Его удаление дало возможность сторонникам царевны дать делу иной оборот.

— Не слушайте его! — стали кричать в задних рядах.— Известно... он из нарышкинских. Разве царица Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна не видели сами, как Ивашка Нарышкинский надевал корону, надругался над царевичем и чуть не задушил его? Нынче надругался, завтра изведут. Потом и нас всех изведут. Смерть Нарышкиным! Режь их!

И тысячные толпы снова бросились на Красное крыльцо.

Вдруг они остановились. На крыльце стоял князь Михаил Юрьич Долгорукий с обнаженной саблей.

— Прочь, изменники, бунтовщики! Первого, кто взойдет, разрублю! — прогремел звучный голос князя.

Отчаянная решимость и твердая воля ошеломили толпу и остановила ее... на минуту. Несколько человек бросились на князя. Передовой из них скатился с разрубленной головой, второй тоже упал раненый, но третьему удалось ударить князя копьем так ловко, что тот пошатнулся и упал. Тотчас же на него бросилась масса, схватила на руки, раздела, подняла на вершину крыльца и оттуда с силой бросила вниз на копья стрельцов. Грузное тело князя пронзилось остриями копий, и ручьи крови, сбежав с древок, обагрили руки.

— Любо ли? — кричали сверху.

— Любо! Любо! — отвечали снизу.

Сбросив тело князя с копий на землю, толпа рассекла его бердышами на куски. Это была первая, но не последняя жертва первого кровавого дня. Страсть дикого, хищного животного пробудилась в человеке от запаха крови.

В это время другая толпа стрельцов ворвалась во дворец через сени Грановитой палаты и, обежав комнаты, увидела боярина Матвеева в спальне царицы.

— Берите его: он из тех! — закричал, видимо, руководивший толпой.

— Оставьте его, моего благодетеля, второго отца, берите, что хотите, но не трогайте его! — молила царица, не выпуская из своих рук Матвеева.

— Тащите его, кончайте, как велено,— приказывал тот же голос, и стрельцы вырвали Матвеева из рук царицы и перенесли в другую комнату.

— Прочь! — На выручку Матвеева бросился князь Черкасский с обнаженной саблей, но эта помощь одного человека была слишком ничтожна. Раненный в плечо пикой, Черкасский упал, а Матвеева вынесли на Красное крыльцо, где, раскачав, как и князя Долгорукого, сбросили вниз на

копья с тем же криком «любо ли» сверху и с тем же откликом «любо, любо» — внизу.

В это время часть стрельцов, находившихся на площади, схватила между патриаршим двором и Чудовым монастырем боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского и, «ведуще его за власы браду зело ругательно терзаху и по лицу бивше», подняли против разряда вверх на копья и потом, сбросив, всего изрубили; сына же его Андрея освободили, вспомнив его долгий мучительный плен у татар.

— Во дворец, во дворец! — кричали рассвирепевшие стрельцы.— Ищите изменников Нарышкиных! — И дворец наполнился толпами по всем палатам. Царица с сыном Петром и царевичем Иваном удалилась в Грановитую палату.

Обегая комнаты, мятежники нашли подполковников Горюшкина и Дохтурова и изрубили их бердышами, у которых для более свободного действия окоротили древки еще перед выходом из слобод.

В одной из палат они отыскали стольника Федора Петровича Салтыкова.

— Кто ты? — допрашивали его убийцы.

Молодой человек от испуга не мог отвечать.

— Молчит — ну так, стало, изменник.— И юноша упал под секирой.

— Сын мой, сын мой! — вскричал несчастный отец Петр Михайлович Салтыков, вбегая в этот момент в комнату и бросаясь на окровавленный труп сына.

— Так он не Афанасий Нарышкин? Ну ошиблись, извини... по спешности... боярин. А сам-то ты кто? Салтыков? Записан... надо покончить!

И труп отца свалился на труп сына; отец пережил сына только несколькими минутами.

Убийцы искали Ивана и Афанасия Нарышкиных. Перебегая из комнаты в комнату, один из них заметил спрятавшегося под стол человека.

— Вылезай, проклятый, а не то приколю к стене!

Вылез карлик царицы Натальи Кирилловны Фомка Хомяков.

— Говори, кукла, куда спрятались Иван да Афанасий Нарышкины? — допрашивали стрельцы.

— Где спрятался Иван — не знаю, а Афанасия указать могу: он в церкви Воскресения на сенях.

— Туда, братцы! Идем!

Отыскали пономаря и заставили его отпереть церковь, где действительно укрывался Афанасий Нарышкин.

Этот юный брат царицы мог быть обвинен разве только в одном преступлении: быть Нарышкиным. Отказавшись от боярства и считаясь только комнатным спальником, он не вмешивался в государственные дела и деятельность свою исключительно посвятил благотворительности. Услыхав об участи Матвеева и Долгорукого, он поспешил к священнику церкви Воскресения на сенях и там, исповедовавшись и причастившись, приготовился встретить смерть безропотно. Только настоятельные просьбы священника заставили его согласиться укрыть себя в алтаре под престолом. К несчастью, в это время проходил мимо карлик Хомяков. Он заметил вход в церковь священника вместе с Афанасием Нарышкиным и выход оттуда уже только одного священника.

Не найдя жертвы ни в церкви, ни в алтаре, стрельцы решились было выходить, когда один из них, просунув под престол пику, скользнувшую по кафтану Нарышкина, приподнял ею покров престола.

— А... вот где он, изменник! — И вся толпа, в одно мгновение бросившись к жертве, вытащила ее из-под престола и, положив на церковный порог, как на плаху, отсекла голову. Затем, разрубив тело на части, окровавленными кусками сбросила на площадь.

Принялись отыскивать Ивана Нарышкина, но во дворце его нигде не нашли. Оставив дворец, мятежники рассыпались по всему городу, разбивая кружалы, пьянствуя, грабя, впрочем, только дома одних убитых бояр и отыскивая тех, которые скрывались и которые числились в списках. Тогда погибли укрывавшиеся в домах своих родственник царицы комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, дом которого находился за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и другие.

Вечером этого же кровавого дня бродячие по городу толпы разбили приказы судный и холопий, разломали находившиеся там сундуки и истребили дела кабальные и разного рода записи.

— Всем слугам боярским дана от нас полная воля на все стороны! — кричали мятежники.

Предоставляя таким образом боярским холопам полную свободу, стрельцы надеялись на поддержку их против бояр. Но холопы не приняли никакого участия в мятеже и даже во многих случаях выказывали высокую преданность господам.

Наконец вечером после солнечного заката, оставив в Кремле у всех выходов значительные караулы, стрельцы вернулись в свои слободы.

Коротки майские ночи. Одна заря сменяет другую, освещая мерцающим светом окровавленные трупы, разбросанные члены и куски человеческого мяса. Опустели площади. Кто и не спал, все-таки поглубже упрятался дома. Только не боится юродивый Федюша. И ходит он по площадям, всматриваясь в тела и ворча свою непонятную речь.

ГЛАВА VII

Те же страшные сцены бесчеловечных убийств и истязаний на другой день, 16 мая с раннего утра. Проходя по главной улице Белого города мимо дома князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца убитого накануне Михаила Юрьича, толпа стрельцов ворвалась в дом. Восмидесятилетний старик, огорченный смертью сына, лежал больной. Действительно ли из сострадания к горю отца, или притворно, но только стрельцы на коленях просили прощения у старого князя, оправдываясь в убийстве ослеплением раздражения.

Старик, по-видимому, чистосердечно простил убийц и приказал отпереть для них погреб с вином. Но в то время, когда стрельцы перепились, один из боярских холопов передал им, будто старый князь, получив известие о смерти сына, выразился: «Щуку убили да зубы остались... придет время... перевешают бунтовщиков по всем зубцам городских стен». Злодеи рассвирепели, бросились в комнаты и, стащив старика с постели за седые волосы на двор, убили и бросили на навозную кучу. Потом, захватив в кухне приготовляемую к обеду рыбу, кинули ее на грудь убитого.

— Вот тебе щука! Вот тебе зубы!

В этот день, как и в предшествующий, главные силы стрельцов сосредоточивались около Кремля. Оставался еще в живых один из главных намеченных жертв — Иван Кириллович.

С открытия мятежа отец царицы Кирилл Полуэктович и брат Иван Кириллович в продолжении всего дня скрывались в одной потайной комнате подле спальни царицы, где и провели тревожную ночь. На другой день из опасения другого, более тщательного обыска царского дворца царевна Марья Алексеевна, старшая из царевен, предложила царице перевести их в ее деревянный дворец, подле патриаршего двора, куда трудно было добраться, не зная всех переходов, темных сеней и лестниц. Нарышкины перешли туда.

Опасения оправдались. Прибывшие 16 мая к дворцу стрельцы произвели более тщательный поиск, осматривали подробно все комнаты и тайники, перевертывали постели, сундуки, пробуя в глухих местах копьями. Однако же и теперь все поиски оказались бесплодными.

Напрасно кравчий князь Борис Алексеевич Голицын уверял их, будто Иван Кириллович уехал из Москвы. Стрельцы не верили и, собравшись на Красном крыльце, вызвали к себе бояр.

— Передайте царице,— кричали они,— что если завтра не будет выдан изменник Ивашка, то все будут изрублены и дворец сожжен!

После этого мятежники с прежними предосторожностями оставили Кремль.

На третий день, то есть 17 мая, снова раздался зловещий набат и барабанный бой, и снова вся кремлевская площадь наполнилась мятежниками, но только крики их теперь стали грознее и требования настоятельнее.

В страшной тревоге собрались бояре в палатах царицы. Каждый в тайном уголке своего сердца желал избежать личной опасности от дальнейшего укрывательства Ивана Кирилловича, но никто не решался выразить открыто своего желания. Более откровенной выказалась царевна.

— Матушка царица! — сказала она, неожиданно входя в палату.— Стрельцы требуют выдачи Ивана Кириллыча, они грозятся всех изрубить и сжечь дворец.

— Я готов! — вдруг послышался в дверях голос Ивана Кирилловича.

Странное впечатление произвело неожиданное появление молодого человека. Недоумение, сожаление и вместе с тем радость можно было прочитать почти на всех лицах бояр. Царица онемела от горя и отчаяния. Все молчали. Первая пришла в себя царевна:

— Ты жертвуешь собой за всех нас, дядюшка. Жизнь твоя спасет царство, и я завидую тебе.

И в первый раз еще в душе царевны шевельнулось непривычное чувство, так резко противоположное прошлому, мягкое чувство, как будто симпатия к одному из всего ненавистного рода Нарышкиных.

— Я желал бы только,— сказал Иван Кириллович,— прежде чем явиться к ним, выслушать последнее христианское напутствие.

Царевна поспешила послать к стрельцам оповестить, что требуемый ими Нарышкин передается им после обедни в дворцовой церкви Спаса Нерукотворенного.

В церковь отправились, кроме самого Нарышкина, царицы Натальи Кирилловны, царевны Софьи и бояр, множество стрельцов, стороживших жертву. После исповеди началась литургия — последняя литургия для несчастного. Теперь только стали совершенно понятными для него, добровольно предававшего себя за спасение других, божественные слова Спасителя об искуплении. Жадно вслушивался он в эти слова, и высокая тайна самоотвержения вливала в его душу чувство успокоения. Но и в эти последние минуты земная жизнь мгновениями брала свое: мелькали и неуловимо следовали одно за другим представления пережитого, и детские годы, и страстные увлечения юности, и полное гордой надежды будущее. В один час сконцентрировалась вся человеческая жизнь.

Под тяжелым впечатлением важности последнего часа священнодействие проникалось особенным благоговением: понятно и выразительно выговаривались пресвитером слова Спасителя, гармонически-сладко звучали песни и славословия хора. С каким глубоким значением повторялись теперь в душе несчастного слова «да будет воля Твоя» и «остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». И от всего сердца простил он теперь долги своим должникам, мало того, что простил, он просил, он молился за них. Наступило высокое таинство общения с Богом с призывом «со страхом Божиим и верою приступите». Совершилось таинственное общение, и отразилось оно во всем существе человека. Беспредельною любовью осветился взор, бесконечной приветливостью очертились уста. Легко на сердце, нет и следа животного страха.

Обедня кончилась. Настала последняя и самая тяжкая минута прощания с близкими. Царица-сестра, казалось, потеряла сознание. Она как смотрела на любимца брата, как обвилась руками вокруг его шеи, так и замерла.

Вошел боярин князь Яков Никитич Одоевский.

— Государыня,— сказал он с необычной торопливостью,— стрельцы там... внизу торопят... раздражены... грозятся всех изрубить...— Но не слыхала царица слов Одоевского, по-прежнему смотрела она на брата, по-прежнему рука ее судорожно обвивала его шею.

— Ну, прощай, сестра, не мучь себя,— сказал он, с усилием вырываясь из рук сестры,— мне не страшно... готов... помни и молись обо мне...

Какое впечатление произвела эта раздирающая сцена на душу царевны Софьи? Пробудившаяся симпатия в душе ее достигла даже до реального осуществления настолько, на-

сколько способно было это чувство уместиться с ее честолюбивыми стремлениями. Она подошла к иконостасу, взяла с налоя икону Божией матери и, отдавая ее царице, сказала:

— Передай этот образ брату, может быть, при виде его стрельцы смягчатся и он спасется от смерти.— Слова эти, сказанные громко и с особенным ударением, очевидно, предназначались мятежникам.

Приняв образ, Иван Кириллович спокойно пошел к дверям золотой решетки в сопровождении царицы и царевны. Внушительный намек царевны не остался бесплодным. Молодой человек не был растерзан, как его предшественники, но тем не менее участь его еще более отягчилась. Ожидавшие у золотой решетки стрельцы взяли его из рук сестры и племянницы, вывели из Кремля и повели в Константиновский застенок.

Там за столом со свертками бумаг сидел подьячий, один из преданных и усердных слуг царевны.

Начался допрос — с *пристрастием*.

— Признавайся, боярин,— допрашивал подьячий,— замышлял ли извести благоверного царевича Иоанна Алексеевича? Не сознаешься?.. Надо пытать...

Жестокие страдания от пытки измучили страдальца, но не привели к сознанию в ложном обвинении.

— Опять не сознаешься в злом умысле? Молчишь? Впрочем, молчание можно принять и за сознание. Ну, так дальше... Надевал ли на себя царскую порфиру? Молчит... стало, согласен, сознался... Соображая же теперь твою государеву измену, доказанную собственным сознанием, в силу 2-й статьи главы II Уложения ты подлежишь смертной казни.

Странный суд и — достойный его приговор, на законность или незаконность которого никто не обращал никакого внимания.

Стрельцы повели осужденного к Красной площади.

В это время к Константиновскому застенку привели еще нового преступника, одетого в лохмотья доктора Стефана Гадена. По рассказам прибывших, они поймали его переодетого нищим в немецкой слободе и хотели было тут же покончить, да он, чернокнижник, запросил суда.

— Какой суд чернокнижнику!— заревели стоявшие кругом стрельцы.— Все мы знаем, как он яблоком отравил покойного государя царя Федора Алексеевича! На Красную его!

Нарышкина и Гадена повели обоих на место казни.

Красная площадь в те дни служила главным средоточи-

ем злодейств. На ней по преимуществу совершались казни, и на нее же приносили в сваливали тела тех бояр, которые были убиты в Кремле.

— Дорогу! Дорогу боярину! — кричали с хохотом стрельцы, волоча через Никольские или Спасские ворота обезображенные трупы.— Едет боярин, кланяйтесь его чести!

Приведя с ругательствами на площадь Нарышкина и Гадена, стрельцы раздели их, подняли на копья и, сбросив на землю, разрубили по членам. Отсеченные головы подняли на пики.

В эту минуту прибежал на площадь старик отец Кирилл Полуэктович. Утомленный предшествующей бессонной ночью, он заснул в скрытом тайнике царевны Марьи Алексеевны, куда был отведен вместе с сыном Иваном. Этим-то сном и воспользовался сын, добровольно отдаваясь в руки убийц.

Проснувшись, отец догадался о поступке сына, бросился искать его и вот, прибежав на площадь, увидел на копье голову любимца.

Старик лишился чувств.

— Поднимите-ка и его, братцы, что ему горевать,— заговорили было некоторые стрельцы.

— Нет, братцы,— отвечали другие,— кончать его не указано.— И после небольшого совещания старика отправили в Чудов монастырь, где потом архимандрит Адриан постриг его в монашество под именем Киприяна. Вскоре несчастный отец перевезен был на покой в Кириллов монастырь на Бело-озеро.

В эти дни погибли также боярин Иван Максимович Языков, скрывшийся было в доме священника церкви св. Николая на Хлыпове, но преданный холопом, Василий Филимонович Нарышкин, сын доктора Гадена, думный дьяк Аверкий Кириллов — заведовавший приказом большого прихода, доктор Гутменш и другие. Всего же в эти дни погибло шестьдесят семь жертв, следовательно, одиннадцатью жертвами более, чем значилось в списке, переданном Милославским стрелецким полковникам.

Нарышкинская партия обессилена; крупные ее представители — Артамон Сергеич, опасный по опытности государственной, и Иван Кириллыч, опасный по энергии и смелости,— исчезли, исчезли также и все влиятельные бояре этой партии. С казнью Ивана Кириллыча задача мятежа выполнилась, и дальнейшее продолжение не имело бы смысла. И действительно, вечером после убийства Ивана

Нарышкина стрельцы воротились в свои слободы, не оставив в Кремле значительных сторожевых постов. Правда, в Москве еще не водворилось спокойствие, бродячие шайки все еще шатались по улицам, грабя, пьянствуя и распевая непристойные песни, это были эпилоги кровавой драмы.

Первая главная часть задуманного дела выполнена: Нарышкиных нет, но тем не менее на престоле оставалась отрасль Нарышкиных — царь Петр Алексеевич. Необходимо было если не совершенно отстранить, то по крайней мере совместить с его законным правом еще более веское право первородства, право царевича Ивана Алексеевича.

Царица Наталья дрожала, уединившись во дворец, боясь разлуки с сыном, боясь насильственного заключения в монастыре, дрожали и бояре, попрятавшись в своих хоромах, заперлись посадские и торговые люди, закрыв свои лавки и торговые помещения, на улицах редко можно было видеть прохожего не стрельца — разве уж только выгоняла самая крайняя нужда. Не боялась стрельцов, не пугалась их буйства одна только царевна Софья. Напротив, она смело распоряжалась, и они в ее руках делались верными, хоть и не всегда послушными орудиями. Среди неистовой, буйной толпы мятежников видел ее датский резидент Бутелант фон Розенбуш, и лично сам слышал этот резидент, как князь Иван Андреич Хованский спрашивал царевну, не изгнать ли Наталью Кирилловну из царского дворца. Этот же резидент в донесении своему двору объясняет свое опасение от ярости стрельцов, принявшего его за лекаря Данила, только объявлением его проводников, что он посланный и говорил с царевной.

И благодарила же царевна Софья Алексеевна стрельцов за верную службу. Не успел еще кончиться мятеж, как каждый из стрельцов получил по 10 рублей, если не более, так как в награду им истратилась огромная сумма, какая могла только набраться в то время, и весь стрелецкий корпус получил почетное название надворной пехоты, в начальники которой назначен любимый ими князь Иван Андреевич Хованский.

Опираясь на такую силу, царевна могла смело идти вперед — и она пошла. Тотчас же после мятежа забегала по стрелецким слободам доверенная ее постельница Родимица с тайными поручениями и приказаниями: результат этих посещений не замедлил обнаружиться.

Не прошло недели (23 мая), как явились во дворец выборные от стрелецкого войска, объявившие через своего начальника Хованского желание свое и чинов Московского

государства видеть на престоле обоих братьев. При этом в челобитной своей добавляли: «если же кто воспротивится тому, они придут опять с оружием и будет мятеж немалый».

Для рассмотрения требования стрельцов собралась Государева Дума, которая, не смея противоречить, определила собрать для решения вопроса собор, пригласив к участию выборных из всех сословий. Собравшийся собор, приняв в руководство примеры разделения власти между двумя лицами из византийской истории, решил совместное царствование обоих братьев, а патриарх с духовенством, отслужив торжественное в Успенском соборе благодарственное молебствие, благословил на царство обоих братьев — Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича.

Новое изменение составляло, очевидно, только переходный шаг, так как оно по слабости и болезненности Ивана Алексеевича не изменяло сущности дела. И вот не далее как через день (25 мая) снова в Кремль явились выборные от стрельцов по одному от каждого полка «для устроения порядка в государстве». Этот порядок заключался в назначении первым царем Ивана Алексеевича, а вторым уже — Петра Алексеевича. Послушный воле стрельцов, новый собор 26 мая утвердил этот порядок, и цари снова приняли поздравление от всех чинов, несмотря на пассивный протест со стороны Ивана Алексеевича.

Заручившись в этих определениях твердой почвой, царевна Софья Алексеевна решительнее двинулась далее. 29 мая стрельцы объявили Государевой Думе новую свою волю, чтоб правительство по болезненному состоянию старшего царя и по малолетству второго было вручено их сестре Софье Алексеевне. Исполняя эту волю, цари и царевны, патриарх и бояре обратились к царевне Софье с молением о принятии на себя правления царством. Долго отказывалась царевна, долго не соглашалась на общее желание и только после продолжительных общих настойчивых просьб согласилась наконец взять себе управление государственными делами. «Для совершенного уже утверждения и постоянной крепости» новая правительница повелела во всех указах имя свое писать с именами государей, ограничиваясь титулом великой государыни, благоверной царевны и великой княжны Софьи Алексеевны.

ГЛАВА VIII

В богато убранной шелком, парчой и золотом рабочей палате царского дворца правительницы царевны Софьи Алексеевны докладывали два боярина — Иван Михайлович Милославский и князь Иван Андреевич Хованский.

Новый начальник стрельцов, Иван Андреевич, мог по справедливости назваться типом боярской сановитости того времени. Далеко еще не старый (ему было под пятьдесят), он обладал хорошим физическим развитием, а густые с проседью волосы, длинная, окладистая полуседая борода, густые темные, полунахмуренные брови, блестящие черные глаза, правильный орлиный нос, суровое и важное выражение всей фигуры заметно выделяли его в среде опухлых и расплывшихся от жира бояр. Это был цельный представитель старой жизни с ее замкнутостью, фанатизмом и беспредельным тщеславием. Не обладая обширным умом, остававшийся от стрелецкого мятежа постоянно в тени и обязанный настоящим высоким положением дружбе с Милославским и преданности интересам царевны, он с замечательной наивностью тотчас же нашел себя не только в уровне с передовыми людьми, но даже выше их, нашел себя вдруг и достойным и способным стать во главе государственного движения из того только, что стал во главе всерешающей грубой силы. Впрочем, такие типы еще не редкость и в наше время, но только в скорлупе более элегантной.

— Не скупись, государыня,— говорил он царевне,— стрельцы служили тебе верой и правдой... отблагодари и ты их по-царски. Они тебе пригодятся и впредь...

Легким движением сдвинулась морщинка на лбу правительницы... Неприятное впечатление произвело на нее это напоминание, как напоминание старого долга, долга, еще не оплаченного и с которым сливается и напоминание нечистого дела, породившего заем.

— Я готова награждать по-царски за заслуги, оказанные государству, но я замечаю, князь,— и в медленном тоне царевны слышалось особенное ударение,— что ты пришиваешь к государственным делам какие-то личные счеты, которых не было и не могло быть. Стрельцы были недовольны неслыханными притеснениями и корыстием своих начальных людей, как были недовольны посадские взятками почти во всех приказах... Стрельцы видели, как их начальных людей поддерживают и покрывают временщики Нарышкины, злобились на них и опасались, как бы эти

временщики, повыскакивавшие в бояре чуть не с пеленок, не укрепились еще больше за своим родичем — ребенком и не извели бы сначала царевича Ивана, а потом и их самих. Но лично мне их мятеж принес нежеланную тягость. Видя общее настроение, шатость и повсюду зло, я против воли своей согласилась на общие моления править государством по моему разуму и по совету,— прибавила она с ласковой улыбкой,— опытных и преданных мне слуг... твоих, например, вот боярина Ивана Михайловича... Василия Васильича...

Во все продолжение внушительной речи Иван Михайлович, казалось, весь погружен был сосредоточенным рассматриванием узорчато-отчеканенной большой серебряной чернильницы в виде глобуса на столе правительницы.

— Но, царевна, разве освободить народ от притеснителей — не заслуга, разве не должна быть награждена? Разве не должны мы все сделать, чтоб успокоить волнение и шатость умов? — сказал князь Хованский, насупливая еще более густые брови.

— Боярин,— сказала правительница, обращаясь к Милославскому,— укажи нам, какие награды даны стрельцам.

— Первая награда, государыня, именоваться впредь вместо стрельцов надворной пехотой, вторая — выстроить каменный столб на Красной площади у лобного места, с прописанием преступлений избиенных. Потом жалованною грамотою 6 июня повелено: деяния стрельцов впредь называть побиением за дом Пресвятой Богородицы, воспрещено попрекать их изменниками и бунтовщиками. Затем от твоего доброго сердца, царевна, пожалованы им многие льготы, увеличено жалованье, служба в городах определена только в один год, строго воспрещено начальным людям назначать стрельцов на свои работы и наказывать телесно без царского указу, прощены разные недоимки, предоставлено право судиться с кем бы то ни было в своем стрелецком приказе, куда они могут приводить всякого, кто объявится в каком-либо *воровстве*, указано, чтоб во всех приказах дела их вершились без волокиты. А для временной награды деньгами ты, царевна, приказала стольнику князю Львову ехать в монастыри на Двине за монастырской казной да указала еще выслать таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву.

— Что ж, князь, разве этих наград от меня мало? Чего ж ты хочешь еще?

— Стрельцы просят, царевна, дозволения о своих нуждах прямо просить тебя чрез своих выборных.

— Я согласна... но без особого указа. Все или еще что есть?

— Стрельцы просят даровать им самим своим судом взыскивать своих начальных людей все несправедливо удержанные у них деньги и вычеты их жалованья.

— Об этом, князь, по-настоящему-то не должно быть и речи. Все долги свои стрельцы выколотили уж с полковников правежом, а дозволять это и на будущее, значит, потакать своеволиям и буйствам... Впрочем, я подумаю... посоветуюсь... Все?

— Да вот еще, царевна, и на этом стрельцы особенно стоят. Большая часть стрельцов держится старой, истинной веры... Они желают просить тебя, царевна, дозволить им словопрение с патриархом о вере на площади. Так как они надеются уличить обманы новых толкований... то отменить неподобные меры, установленные покойным государем царем Федором Алексеевичем.

— А сколько, полагаешь, князь, раскольников в стрелецких полках?

— До подлинности сказать не умею, государыня, а только большая часть их держится старой веры. Вот на днях весь Титов полк положил единодушно взыскать старую веру...

— А как ты сам думаешь об этом, князь?

— По моему разуму, государыня, нужно уважить жалобу стрельцов. В словопрении обнаружится, которая сторона права, которая вера настоящая, истинная... тогда уничтожится всякое разномыслие.

Дело принимало серьезный оборот.

— Я подумаю, князь, о твоем предложении,— ответила Софья Алексеевна после нескольких минут молчания.— Ты знаешь, как я ценю своих верных стрельцов... Я желала б оказать им милость, но в этом деле нужна осторожность... нельзя восстановить...

— Пока за тебя, государыня, стрельцы, тебе бояться нечего и некого. Подумай. Вот недели через две будут венчать на царство обоих государей... Стрельцы боятся, как бы венчание не было по никоновскому чину. Нельзя ли, государыня, словопрение назначить до этого времени. Опасно раздражать стрельцов.

— Я не боялась и не боюсь стрельцов, князь, и теперь, когда у них любимый начальник, мой самый верный и преданный слуга и друг...

В голосе царевны слышались мягкость и добродушие, в глазах выражалось столько дружеской приветливости...

Опутала эта ласка сурового князя и верил он ей, как всегда охотно верится в счастливую будущность.

— Теперь прощай, князь, будь уверен в моем неизменном расположении. Успокой стрельцов. Да, чуть было не забыла спросить тебя: какие полки ты полагаешь назначить на службу по городам? Не Титов ли?

— Об этом не заботься, государыня, это мое дело, и я распоряжусь *сам*, когда *мне* что будет нужно,— отвечал князь, низко откланиваясь царевне и гордо оглядев Милославского.

Собрался уходить и Иван Михайлович, но царевна удержала его. Хованский вышел, бросив искоса суровый взгляд на оставшегося боярина.

— Ну, что скажешь? — спросила царевна, обращаясь с дружеской короткостью к родственнику.— Ведь по твоему совету я назначила стрелецким начальником Ивана Андреича.

— Вижу сам, государыня. Ошибся. Я знал его как человека недальнего и тебе преданного, стало, самым подходящим. Не чаял я за ним такой гордости.

— Известно, чем глупей человек, тем больше думает о себе, тем больше в себе уверен. Да не в этом теперь дело... каяться поздно. Скажи — что делать?

— Зачем тебе, царевна, мой глупый совет, есть советники у тебя поопытней да поумней, к ним оборотись.

— На каких советников намекаешь, Иван Михайлович?

— Да вот хоть бы князь Василий Васильич. Не успела и осмотреться, как пожаловала его в ближние да в оберегатели большой и малой печати. Он человек умный... советный. А мы что? Нам можно только лоб подставлять, а потом и в сторону...

— Грешно тебе, Иван Михайлович. Не из одного ли мы рода? Не одни ли у нас интересы?

— Куда уж мне, царевна, я и явился-то к тебе только попрощаться.

— Как? Ты оставляешь меня на первых же порах? Ты уезжаешь? Куда? Надолго ли?

— Вотчины свои осмотреть, царевна. Давно в них не бывал, а главное — из Москвы нужно скорей выбраться.

— Отчего?

— Разве сама не видишь, каким зверем смотрит на меня князь Иван Андреич, а он теперь человек властный. Прикажет какому ни есть стрельцу... изведут ни за что ни про что.

— Не осмелится.

— Он-то? Плохо же ты его знаешь, государыня. Если

ты хочешь правды, так я тебе скажу, что настоящий-то государь он, а не ты.

Софья Алексеевна задумалась.

— Вот, государыня, ты не соизволила стрельцам самовольно расправляться со своими начальными людьми, а он без твоего разрешения дозволял, да и теперь запрета не наложит.

— Я властна его сменить... казнить...

— Властна? Нет, Софья Алексеевна, власть-то у него, а не у тебя. Его стрельцы любят, родным отцом величают, за него головы готовы положить, а стрельцы ноне, сама знаешь, сила... ничего не поделаешь въявь.

— Я найду средства...

— Ну это другое дело, если успеешь вызвать его из Москвы, а здесь нельзя... стрельцы берегут.

— Я подумаю и...— хотела что-то добавить царевна и остановилась.

— Подумай, государыня, а меня теперь уволь.

— Ну как хочешь, Иван Михайлович. Прощай. В какую вотчину едешь?

— И сам еще не знаю, государыня. Встретится во мне надобность, так потрудись повестить на дом, там уж знают, где меня найти.

Царевна протянула ему руку. Иван Михайлович горячо поцеловал ее.

ГЛАВА IX

Насмешливой улыбкой проводила уходившего боярина царевна. «Все они таковы,— думала она,— все они готовы есть друг друга, унижать, грубить, всеми средствами очищать себе дорогу вперед. А к чему приводит эта дорога-то? Вот и мое желание исполнилось, а счастлива ли я? Я думала, какое будет счастье, когда унижу, уничтожу женщину, которая ввела в нашу семью раздор, которая отвратила от родных детей сердце отца и государя. Я достигла цели. Эта женщина сброшена, таится, никто в ней не ищет, ближние ее уничтожены. А счастлива ли я? Нет... я дошла до высоты, до которой не доходила еще ни одна женщина в Московском государстве... Мне повинуются миллионы людей, мое слово может осчастливить, обогатить и уничтожить тысячи людей, моего взгляда ловят, в моей воле — воля земного бога, управляющего царством. Все это я знаю... Чего же мне еще и куда мне идти? Я поведу мой

народ к свету. Все силы мои будут посвящены этому полудикому, но верному народу, я открою ему лучшую будущность, сведу его с другими народами, покажу ему, что значит просвещение, наука, искусства, имя мое будут благословлять в потомстве, я буду идти к моей цели твердо, и горе тем, кто станет мне на дороге. Уж, конечно, я не побоюсь женщины без воли и силы или ребенка — товарища уличных мальчишек. Я не остановлюсь ни перед чем. Я теперь — судьба народа и останусь ею. А между тем,— и мысль ее снова перебежала к себе,— счастлива ли я? Нет... При счастии я жила бы полною жизнью ума и сердца, не было бы тоски, не чувствовала бы себя одинокой... А разве я не люблю и разве меня не любят?.. Да любит... я счастлива его любовью... Только любовь ли это? Не просто ли увлечение?»

И как будто ответом на этот вопрос вошел без доклада князь Василий Васильич Голицын. Князю было лет сорок, но по наружности казался моложавей. Среднего роста, стройный, с правильными, нерезкими чертами лица, с нежною белизною, с обычной приветливой улыбкой, с умным взглядом почти всегда полуопущенных глаз, он мог назваться еще красивым и привлечь внимание женщины.

— Не помешал тебе, царевна? — ровным голосом сказал князь, входя без торопливости и волнения.

— Ах, Васенька, Васенька! Можешь ли ты когда-нибудь помешать мне...— И Софья Алексеевна с необычной порывистостью поднялась к нему. Руки ее крепко обвились около шеи князя, и губы горячо прильнули к его губам.

— Я ждала тебя, Васенька, и задумалась. Отчего запоздал?

— Надо было повидаться с патриархом, условиться с ним, а потом распорядиться, моя дорогая, насчет церемонии венчания обоих царей 25 июня.

— Ты не ввел никаких перемен против прежних?

— Никаких. Я прочту тебе весь порядок: поутру все бояре соберутся, с окольничими и думными дворянами у государей в Грановитой палате, а в сенях перед палатою будут находиться стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости — в золотом платье. Государи прикажут мне, князю Голицыну, как оберегателю большой и малой государевой печати, принести с казенного двора животворящий крест и святые бармы Мономаха для царевича Иоанна и другие точно такие же, сделанные нарочно для царевича Петра. По принесении все эти царские утвари бояре отнесут на золотых блюдах под пеленами, унизанными драгоценными каме-

ньями, в Успенский собор и передадут патриарху. В соборе же устроено будет против алтаря у задних столпов высокое чертожное место с двенадцатью ступенями, укрытое красным сукном. На чертожном месте поставлено будет двое кресел, обитых бархатом и украшенных каменьями, а налево кресло для патриарха. От чертожного места до алтаря с обеих сторон устроены будут две скамьи, покрытые золотыми персидскими коврами, для митрополитов, архиепископов и епископов. Когда бояре передадут царские утвари патриарху, он положит их на шести налоях, поставленных на амвоне, и пошлет меня с боярами звать царей в собор. Государи изволят идти в храм с Красного крыльца. Впереди государей пойдут окольничие, думные дьяки, стольники, стряпчие, дворяне и протопоп с крестом в руке, окропляющий путь их святою водою, позади же государей будут следовать бояре, думные дворяне, дети боярские и всяких чинов люди, а по сторонам поодаль солдатские и стрелецкие полковники. Затем по правую и по левую руку от Красного крыльца будут стоять ряды стрельцов.

— Напрасно меня не вписал в церемонии, Васенька,— прервала царевна чтение.— Надо же народу привыкать видеть меня.

— Привыкнут, государыня, потом, а теперь не след нарушать установленный чин.

— По пришествии в храм,— продолжал чтение оберегатель,— государей встретит пение многолетия, после чего государи приложатся к иконам, Спасовой ризе, мощам, и патриарх благословит их. После благословения государи и патриарх сядут на места свои и спустя несколько времени, встав с патриархом, объявят ему, что желают быть венчаны на царство по примеру предков и по преданию святой восточной церкви. Тогда патриарх спросит их: как веруете и исповедуете Отца и Сына и Св. Духа, а государи скажут символ веры. После же сего патриарх благословит царей двумя животворящими крестами и, приняв с налоев царскую утварь, передаст ее государям, посадив их на царском месте при пении многолетия, и затем общий собор, а за ним бояре и все находящиеся в храме принесут свои поздравления, чем и окончится первая часть церемонии. Начнется литургия, в продолжение которой государи будут стоять на древнем царском месте в правой стороне собора, от которого места до царских врат постлан будет алый бархатный ковер, шитый золотом. По этому пути государи приблизятся к царским вратам, а патриарх выйдет из алтаря с митрополитом, который будет иметь золотое блюдо со святым мирром

в хрустальном сосуде. Государи, приложась к Спасову образу, письма греческого царя Еммануила, к иконе Владимирской Божией матери, письма св. евангелиста Луки и к иконе Успения Богродицы, остановятся перед царскими вратами, снимут венцы и отдадут как их, так скипетры и державы боярам. Совершив миропомазание, патриарх велит двум ризничим и двум диаконам ввести государей в алтарь чрез царские врата, где подаст им с дискоса часть животворящего тела и потир с кровью Христовой. Причастившись Св. Таин, цари выйдут из алтаря и, получив от патриарха часть антидора, наденут венцы, возьмут скипетры и станут на свои прежние места. По совершении литургии государей поздравят с помазанием мирром и с принятием Св. Таин, а они пригласят патриарха, весь собор, бояр, окольничих и думных дворян к своему государеву столу. При выходе царей из собора в венцах и бармах сибирские царевичи (Григорий и Василий Алексеевичи) осыпят их золотыми монетами. Из Успенского собора цари пойдут по устланному красному сукну в церковь Михаила Архангела приложиться к мощам св. Дмитрия-царевича, к гробницам своих родителей и к прочим царского рода, а из церкви Михаила Архангела пройдут в церковь Благовещения Пресв. Богородицы приложиться и там к св. иконам и уже по выходе из церкви Благовещения возвратятся чрез постельное крыльцо в царские палаты. Как при выходе из Архангельской церкви, так и из Благовещенской те же сибирские царевичи будут осыпать государей золотом. Вот, царевна, весь обряд церемонии венчания,— закончил Василий Васильич.— Как ты прикажешь насчет обеденного стола? По-моему бы, быть трем столам: за особым столом сидеть государям и патриарху, за другим столом по левую руку митрополитам, архиепископам, епископам и всем священнослужителям, бывшим при венчании, а за третьим *кривым* столом, по правую руку, сидеть боярам, окольничим и думным дворянам. Как же прикажешь, государыня, рассаживать бояр?

— Быть всем без мест, Василий Васильич.

— И я то же думал, только ты все-таки укажи, кому быть на первых местах.

— На первом, конечно, тебе, Василий, на втором пусть сядет Иван Михайлович, а на третьем князь Иван Андреич. Да, кстати, Васенька, перед тобой были Иван Михайлыч да Иван Андреич. Иван Михайлыч собирается уехать в вотчины...

— Что так? Осерчал за посольский приказ да за оберегателя государевых печатей? На то была не моя воля...

Софья Алексеевна улыбнулась.

— Не опасайся, Вася, он сердится не на тебя, а на князя Ивана Андреича.

— Об князе-то и я хотел доложить тебе. Превозносится уж выше меры. Вчера после совета напомнил я ему твое приказание насчет посылки стрелецких полков в Казань на обереженье тамошних окраин, так он прямо отказал да в споре-то и говорит мне, что он-то и есть глава всему, что нечего ему кого слушать, что им только и держится Московское государство и что-де без него в Москве и теперь бы ходили по колени в крови.

— Иван Михайлыч уж докладывал мне. Надо бы, Вася, от него избавиться.

— Опасно, царевна. Около дома караулы стрелецкие берегут. Спускает он им всякие бесчинства. Вот хоть бы насчет самовольных взысканий. Какому ни на есть стрельцу вздумается объявить на кого долг, так без всякого розыска тотчас того и тащат на правеж. Навели такой страх по городу, что всякий боится за себя да за добро свое.

— Надо же, Вася, положить конец своеволию. Придумаем средство...

— По моему мнению, царевна, Ивана Андреича нужно захватить не в Москве, а где-нибудь за городом да прежде тихомолком обезопасить себя ратным ополчением земских людей на случай, если б стрельцы вздумали выручать его силой.

— Хорошо, князь, спасибо, я придумаю, как сделать.

— Об чем же тебе, царевна, докладывал князь Иван Андреич?

— Передал челобитную стрельцов о назначении всенародного словопрения с патриархом по вере, просил назначить этот день вскорости. Я хотела посоветоваться с тобой и ничего ему не сказала.

— Видишь что, дорогая моя царевна. Я слышал от верных людей, будто князь сам раскольник и хочет ввести снова прежние заблуждения. Он-то сам и мутит стрельцов. А с какой целью — доподлинно не знаю. Говорят, будто в этой смуте он замыслил сначала покончить патриарха, а потом будто и все царское семейство, кроме царевны Екатерины Алексеевны, на которой задумал женить сына Андрея, а самому управлять государством. Не с этой ли целью он и торопит словопрением до царского венчания? Не отказать ли, государыня, вовсе в челобитной стрельцов?

— Нет, если я прямо откажу, так они повторят прежние смуты... Лучше назначу словопрение после венчания, слово-

прение после венчания, а тем временем придумаем, как обезопасить себя от стрельцов на будущее.

— Дело не очень мудреное, дорогая, если б удалось только отстранить князя. Тогда бы все ненадежные полки разослать по дальним городам и туда же бы перевести людей беспокойных из других полков. В начальники назначить людей-сподручных, а главное, верного человека выбрать в начальники всего стрелецкого приказа.

— Верного человека,— задумчиво повторила царевна,— а где найдешь такого верного человека? На кого можно положиться-то?

— Знаю я такого человека, государыня моя, преданного тебе и неглупого: Федор Леонтьевич Шакловитый...

— Думного дьяка?

— Его самого, царевна.

— Молод... и рода невидного.

— Что молод-то, государыня, не порок. Ведь управиться со стрельцами не старик нужен, а молодой, со свежими силами и смелый. А что незнатного рода — так это обезопасит от крамолы. Не стать из незнатного рода лезть в головы. Напротив, как обязанный всем тебе, он будет стоять за тебя верно. Да посмотри-ка и на бояр-то наших... нешто люди? Спесь, чванство да дуровство одно...

— Правда твоя, Вася. Да он мне и самой нравится. Заметила его: он такой решительный, а мне такие люди нужны...— При этом неожиданно вырвавшемся выражении царевна в первый раз еще сделала сравнение, и это сравнение не было в пользу князя Василия Васильича. Его осторожный, обдумчивый, порою нерешительный склад характера не роднился ее решительному и смелому взгляду. Судьба соединила их, но не сроднила.

Заметил ли мимолетную мысль царевны или нет, на лице дипломата-князя прочитать было нельзя. В душе своей он и сам осознавал рознь между ними, не раз пугали его смелые замыслы царевны, подчас готов был бы он и отстраниться от нее, да куда идти? Где дорога? Везде непроходимая глушь да лес... везде полное бездорожье, а самом прокладывать дорогу не под силу было способному, умному, но далеко не энергичному боярину.

— Прощай, царевна,— сказал Василий Васильич после непродолжительного молчания.

— Как? Уж уходишь? — как будто очнулась царевна.— Куда торопишься?

— Да надо разослать гонцов с известительными грамо-

тами о восшествии на престол царей Ивана и Петра к иностранным государствам.

— Куда посылаешь? Кого?

— В Варшаву к королю польскому посылаю подьячего посолького приказа Никифора Венюкова, к королю шведскому в Стокгольм подьячего Никиту Алексеева. Венюков же потом проедет в Вену, а Алексеев в Копенгаген. В Гагу и Лондон отправляется гонец Дмитрий Симановский, а к султану турецкому в Константинополь Михайло Тарасов. Всем им надо дать словесные наказы по разным вопросам.

— А вечером придешь, Вася?

— Приду, царевна.

— Ну прощай! — Царевна горячо поцеловала оберегателя.

— Постой, постой! — крикнула царевна вслед уходившему Голицыну.— Изготовь пожалование ко дню венчания старшего сына князя Ивана Андреича в бояре.

— Как, царевна, из стольников прямо в бояре? Да к тому же сына Ивана Андреича?

— Да, голубчик, да.

«Прост же ты, Васенька! — прибавила она мысленно.— Да не за это ли я и полюбила-то тебя?»

ГЛАВА X

Не без основания боярин Милославский и князь Голицын предупреждали правительницу. Смуты и волнения стрельцов не только не утихали, но, напротив, принимали все большие и большие размеры.

Кроме того, что расходившееся раздражение не могло само собой скоро улечься, его постоянно поддерживали и пропойки награбленных боярских богатств, и легкость добывания денег, и возможность, как будто узаконенная, самоуправства, а главное, мятежные речи раскольнических попов. В особенности отличался любимый начальником князем Хованским полк Титов.

Начало раскола относится к государствованию царя Алексея Михайловича. С тех пор раскол вследствие неудачных мер, принятых правительством, постепенно принимал прочное положение, проникая во все слои общества, даже в церковь и царский двор, приобретая фанатических последователей, запечатлевших кровью преданность своим убеждениям. Поводом к расколу послужила мера разумная

и совершенно необходимая, но, к несчастью, в исполнении допустившая жестокость насилия, немыслимого в сфере внутренних убеждений.

Переведенные еще в VIII столетии с греческого языка славянскими апостолами богослужебные книги от умышленных и неумышленных ошибок переписчиков заключали в себе весьма большие уклонения от подлинников и даже разнились между собою. Требовалось исправление их по лучшим старинным рукописям, и наши святители заботились об этом ревностно и усердно. К сожалению, выбор лиц, назначенных к сличению и исправлению книг, оказался в высшей степени неудачным. Избранные протопопы Аввакум, Иван Перинов, попы Лазарь и Никита, диакон Федор Иванов по незнанию греческого языка не могли руководствоваться подлинным текстом, а потому, ограничиваясь только древними славянскими рукописями, нередко разноречивыми между собой, принимали текст своеобразный по своим толкованиям и личным взглядам. Таким образом, в круг служебных книг, напечатанных около половины XVII столетия, вошли ложные учения о двуперстном крестном знамении, о сугубой аллилуии, в символ веры прибавлено о Св. Духе слово «истинного» и проч.

Такое искажение церковных книг тотчас же было замечено как у нас, внутри государства, так и за границей. Никон, бывший в то время митрополитом новгородским, энергически писал об этом патриарху Иосифу и требовал исправлений. Монахи Афонской горы, получив эти книги, в которых заключалось учение о двуперстном кресте, сожгли их на соборе и об этом написали в Москву. И, наконец, бывший в 1649 году в Москве Иерусалимский патриарх Паисий признал напечатанные книги отступлением от правил восточной церкви.

Все эти заявления открыли глаза патриарху Иосифу, но зло было уже сделано. Патриарх, отстранив Аввакума и его товарищей от печатания церковных книг, вызвал для этого из Киева людей ученых и православных, которым и поручил пересмотреть уже изданные.

Но еще более ревности по исправлению книг оказал вступивший в управление церковью Никон. Сознавая, что толкования лжеучителей имели значительный успех в народе, в особенности с тех пор, как учения их получили как будто освящение изданием печатных книг, Никон нашел необходимым всенародно на соборе 1654 года поставить вопрос: должно ли руководствоваться вышедшими печатными московскими книгами, несогласными с греческими, или

же держаться древних греческих и славянских, которым следовали восточные церкви и московские святители?

По единогласному мнению собора положено было исправить вновь изданные книги по древним оригиналам греческим и славянским, на что испросить благословения восточных патриархов. Присылая на такое святое дело свое благословение, патриарх Паисий прислал вместе с тем и самый верный список Никейского символа веры для обличения Аввакума относительно члена о Св. Духе.

Заручившись определением собора и одобрением вселенских иерархов, Никон с обычной своей энергией принялся за исправление изданных при его предшественниках церковных книг. Добросовестная проверка этих книг лицами просвещенными и сличение их с огромным запасом как греческих, так и славянских оригиналов обнаружили не одно невежество прежних издателей, но и умышленные искажения. Вследствие этого бывшие издатели были преданы суду и обвинены: Аввакум сослан в Сибирь к берегам Байкала, а князь Львов, начальник типографии, заведовавший изданиями, заключен в Соловецкий монастырь. Учения их о двуперстном знамении и сугубой аллилуии как в России, так и в Греции признаны уклонениями, а патриарх Макарий, бывший в Москве в 1655 году, предал последователей анафеме.

Новые книги изданы, а старые стали отбираться к уничтожению. Вместе с уничтожением старых книг началась по церквам принудительная замена икон старого письма — новым, живописным. Такой крутой поворот, действовавший не путем убеждения, а силою власти, не мог не взволновать умы, склонные упорно держаться старых порядков. В их глазах всякое улучшение казалось пагубной новизной, всякая свежая мысль обличала опасного новатора. К несчастью еще большему, крутой и гордый Никон, возбудивши против себя суровостью требований большинство общества, в это критическое время вовлекся в открытый самонадеянный спор с государем. Это обстоятельство развязало руки врагам его и побудило их даже к открытому осуждению всех его действий. Ободрились и последователи старых книг и ободрились до того, что ученики Аввакума, Авраамий, Никита и Лазарь, осмелились даже подать царю челобитную о старой вере и выпустить несколько сочинений в ее защиту. Сам ересиарх Аввакум, успев бежать из ссылки, явился в Москве и был принят там с большим почетом.

При такой обстановке, конечно, не могли иметь серьезного влияния на соборы греческих и русских святителей,

одобривших все распоряжения Никона по делам церковным, ни увещания восточных патриархов, ни царские грамоты. Последователи старых книг упорно держались своих убеждений и образовали собою первую основу раскола, под именем старообрядцев.

Расколу держались и в простом народе, и при царском дворе, и в чернцах. При царском дворе две знатнейшие боярыни, сестры, урожденные Соковнины, Феодосия Прокопьевна (вдова боярина Глеба Иваныча Морозова) и Евдокия Прокопьевна (жена боярина князя Петра Семеныча Урусова), предпочли перенести всевозможные угнетения, чем отречься от раскола. Они умерли в боровском заключении, заслужив у раскольников славу преподобных мучениц.

Упорство чернецов соловецкой братии разразилось открытым бунтом, и хотя в царствование Алексея Михайловича усмирился мятеж, но не искоренилось упорство раскольников. Напротив того, крутые меры приводили раскольников еще к большему жесточению, еще к большему ослеплению. Они рассеялись по поморью, завели в недоступных глухих местах скиты и сделались рассадником для дальнейших разветвлений. Правительство после смерти Алексея Михайловича прибегло к крайним жестоким мерам. По настоянию патриарха Иоакима главные ересиархи Аввакум и Лазарь были сожжены всенародно, и указано сжигать в срубах всех, упорно держащихся раскола. Вследствие такого гонения раскольники становились ожесточеннее и многочисленнее — в особенности в самой Москве между стрельцами.

Назначение князя Хованского, придерживающегося раскола и обожаемого раскольниками, должно было иметь громадное влияние. И действительно, в двадцатых же числах мая стрельцы Титова полка начали составлять круги с целью взыскать старую веру. Они составили челобитную, в которой, дерзко обвиняя православных пастырей, упрекали их в том, «будто они повелевают христианам ходить без крестов по-татарски, признают Спасителя грешником, не веруют в пришествие Сына Божия, не проповедуют Воскресения Христова, допускают моление к лукавому духу, умерших, вместо елея, посыпают пеплом, отвергают животворящий крест Господень от певга, кедра и кипариса, заменив его крыжем латынским, заставляют креститься тремя перстами, а не двумя вопреки преданию Св. отцов, отвергают сугубую аллилуию, издревле установленную, в молитве господней не именуют Иисуса Христа Сыном Божиим, искажают символ веры, исключив из члена о Духе Святом слово

«истиннаго», в троицкой вечерне молятся по-римски, стоя на коленях, не преклоняя главы, допускают истощение Св. Духа, печатают новые служебники несогласно с древними харатейными, совершают службу не на седьми просфорах с истинным крестом, а на пяти с крыжом лытынским, вместо жезла святителя Петра чудотворца носят жезлы с проклятыми эмиями, искажают иноческий чин, надевая клобуки, как бабы, и, наконец, греческими книгами истребили христианскую веру до такой степени, что и следов православия не осталось».

Когда эта челобитная была прочитана в съезжей избе Титова полка Саввою Романовым, бывшим келейником архимандрита Макариева-Желтоводского монастыря, раскольники стрельцы умилились и поклялись стоять за истинную веру не щадя живота своего. Один экземпляр челобитной оставлен был в Титовом полку за рукоприкладством девяти стрелецких полков и Пушкарского приказа, а другой был передан князю Хованскому для представления на царское усмотрение. Князь Иван Андреич благосклонно принял челобитную и обещал свое содействие, посоветовав им выбрать для словопрения искусного книжника, так как представители раскольников, посадские люди, Никита Борисов, Иван Курбатов, Павел Захарьев, келейник Савва Романов и нижегородский чернец Сергий, далеко не могли назваться искусными адвокатами.

Для защиты своих убеждений стрельцы вызвали в Москву книжных ересиархов отцов Великоламских пустынь: Саввация, Дорофея и Гавриила, но самым горячим адвокатом выступил на сцену известный *Никита Пустосвят*. Бывший суздальский священник, отличавшийся красноречием, Никита писал еще при Никоне в защиту раскола и с таким успехом, что вызвал появление против себя особого сочинения «Жезл» Симеона Полоцкого. За упорное распространение раскола Никита Пустосвят собором 1667 года лишен был священства и сослан в заточение. Вскоре после того он притворился раскаявшимся и просил патриарха Иоакима о помиловании. Обманутый патриарх освободил его, но не возвратил, однако, священнического сана. С тех пор Никита Пустосвят жил постоянно в Москве, распространяя раскол.

Князь Хованский, лично зная Никиту и считая его за достойного соперника патриарху, слывшему между раскольниками под названием «хищного волка», совершенно одобрил выбор стрельцов. Полный уверенности в победе, он настаивал перед царевной Софьей о назначении словопрения 23 июня, но правительница отклонила...

ГЛАВА XI

Вечером 4 июля в одной из комнат солидно устроенного дома, перед отходом ко сну, князь Иван Андреич по обычаю читал душеспасительную книгу. Но или князь был плохой грамотей, или печать от частого употребления сделалась неудобочитаемою, или мешало неправильное освещение от лучей западавшего солнца, лившихся в комнату через мелкостекольчатую раму и беспрерывно менявшихся цветами в тени оконных переплет, или, что всего вероятнее, сам князь был настроен не для такого назидательного занятия, только его чтение в полувслух как-то не клеилось, звуки выходили отрывистыми, непонятными и разделялись значительными паузами. А между тем книга была поучительная и вразумительная: в ней заключались и страдание священнопротопопа Аввакума многотерпеливого, и житие многострадального Иоанна от Великих Лук, и страдание за древнее благочестие Василия иже бысть Крестецкого Яму и инока Авраамия, выписано о времени сем елико от отец навыкох, реку тебе, рассуди писания, да познаеши время совершенно.

Мысли боярина никак не могли, на все усилия чтеца, сосредоточиться на Аввакуме, ни на Василии, ни на Иоанне. И они поглощались более интересными — самим собою.

— «Оклеветан же бысть от некоего болярина ко царю, яко держится древнего благочестия и отвращает народы, еже к церкви Божией не приходити и нового учения не слушати»,— произносят бессознательно губы боярина, а в голове слагается другая нить мыслей: «Царевна, видимо, не хочет допустить всенародного словопрения, не хочет торжества истинного православия и изгнать хищного волка... пусть пеняет на себя. Меня, грешного и ничтожного, избрал Господь орудием своей пресвятой воли, по пророчеству отца Никиты, и я повинуюсь призванию. Пусть погибнуть все претящие мне».

— «Посылает царь гонцы по Иоанна и ят бывает и к судии градскому представиша его. Судия же невероваша, зане возрастом бе Иоанн мал худозрачен и возопив гласом велиим»,— снова продолжает читать князь, с усилием отбрасывая своенравные мечты, и снова они помимо его воли отрывают его от спасительных слов и уносят к светлому будущему: «Если в праведном восстании христолюбивых воев погибнет царский род и исчезнет хищный волк — кому править царством?.. Конечно, мне, держащему и ныне тяжкие бразды правления... Да и в ком же теперь царский род-

то? Иоанн слаб и немощен... Петр детеск, неразумен и склонен к пагубным забавам, а женщинам не подобает быть в главе православного царства... а может, царевна еще согласится разделить со мной...»

— Ох... грешные мысли одолевают,— проговорил князь как будто очнувшись и снова монотонным голосом продолжал читать.

— Во имя Отца и Сына и Св. Духа,— послышался голос за дверью.

— Аминь. Гряди, отче Никита,— отвечал князь, поднимаясь со скамьи.

В комнату вошел человек среднего роста, в монашеской рясе, с бледным лицом и с длинной седой бородой. Блуждающие, огневые взгляды, беспрерывно подергивающиеся углы рта, продолговатая и узкая форма головы обличали натуру нервную, увлекающуюся и фанатическую. Голос его был звонок и довольно приятен, только верхние ноты выдавались резкостью. Это был Никита Пустосвят.

Князь подошел под благословение.

— Благо поучаться житиям многострадальных пастырей древнего благочестия, чадо Иоанне, но теперь пришла пора действовать истинным ревнителям.

— Я готов, отче Никита. Что прикажешь? — с покорностью отвечал князь.

— Слово мое одно, чадо: исхитить из рук хищного волка святительский жезл и обличить всенародно на Красной площади у Лобного места суемудрые умыслы нечестивых толкователей. Скажи мне, что сделал ты по моему слову?

— Настаивал я, святой отче, у правительницы ускорить словопрение для обличения и торжества истины, но царевна, видимо, стоит за хищного волка и до сих пор того словопрения не разрешила. Видя ее упорство в защите неправды, я вчера призывал в Ответную палату всю надворную пехоту и Пушкарский приказ и спрашивал их: готовы ли они ополчиться за веру православную? Когда они утвердили единодушно, я повел их в Крестовую палату и вызвал туда самого хищного волка.

— И ты выпустил его, чадо, из рук цела и невредима?

— Нельзя было, отче, его окружали все власти. Силой брать — не решился, пожалуй, стрельцы не послушались бы... тогда хуже...

— Нет достойной ревности в сердце твоем, чадо. Что ж дальше?

— По вызову моему вышел хищный волк и спрашивает,

для чего мы пришли. Пришли мы, надворная пехота, пушкари и всяких чинов люди, чернослободцы и посадские, отвечаем, просить об исправлении старого благочестия православной христианской веры и как служили при великих князях и благоверных царях российские чудотворцы и святейшие патриархи по старым книгам, так и ныне служить бы в соборной церкви по тем же книгам единогласно и не мятежно по апостолу: «Един Господь и едина вера, едино крещение и един Бог, отец всех». Потом стрелец Воробьина полка Алексей Юдин настойчиво допрашивал, почему отринуты старые книги, печатанные при великих государях и патриархах.

— А что ж хищный волк?

— Принял на себя, отче, личину смирения. Я де не своей волей сел на апостольский престол, а по выбору покойного государя царя Алексея Михайловича и по благословению всего освященного собора. Потом стал убеждать, будто в старых книгах по незнанью вкрались ошибки. Я было испугался, отче, как бы волк не смутил кого из наших, еще не твердых в нашей истинной вере, да благо выручил Павел Даниловец. Он с похвальным дерзновением спросил алчного волка: как же по старым книгам угодили Богу наши великие святители и чудотворцы? Смутился волк и начал ссылаться на наше невежество, не дело де наше судить о таких предметах, вы де чина воинского, и не подобает вам судить своих пастырей. Тут наши стали неотступно требовать и вызывать его на Красную для словопрений... Испугался волк и выходить решительно отказался. Как же нам делать, прикажите, отче!

— Принудить его, нечестивца, силою его, чадо Иоанне, тащить. Тебе подобает... Можешь приказать ему от имени царевны.

— Опасно... ведь не все стрельцы держатся нашего православия, много из них после пребывают в когтях диавольских, как бы не навлечь на свою голову напрасной срамоты. Трепещет душа моя, отче.

— Маловерен еще ты, чадо, и пути Божии еще не открыты тебе. Внимай и уповай на меня, ибо Дух Божий глаголет моими устами. Восторжествует наше древнее благочестие и погибнут все супротивние порождения сатаны.

— Кто же, отче, погибнет? И царский род погибнет? И цари, и царевны?

— И цари, и царевны погибнут, и хищный волк, и весь сонм лжеучителей.

— Кто же царствовать-то будет? — с замиранием сердца спрашивает князь.

— Ты, чадо Иоанне, будешь царем православным и превознесется глава твоя выше всех владык земных. Из царского рода произошел ты, чадо, и на царство воссядешь!

— Правда твоя, святитель, происхожу я из рода литовского короля Ягеллы.

— Пути грядущего открыты мне. Взоры мои видят венец, опускающийся на главу твою,— говорил вдохновенным, глубоко убежденным голосом Никита. Глаза его горели безумным огнем, руки, простертые к небу, дрожали, дрожал и весь сам он в припадке фанатического исступления.

Принимая это болезненное явление за боговдохновенное пророчество, князь пал ниц перед пророком и едва слышным голосом пытал будущее:

— Царевна Софья погибнет?

— Погибнет нечестивая.

— Царевна Катерина Алексеевна?

— Тоже погибнет, если не примет нашего православия.

— Сын мой Андрей приведет ее, святой отче, к нашему благочестию. Он задумал приять ее себе в жены.

— Пусть приведет заблудшую овцу к верному единому стаду и тогда получит благословение от пастыря.

Нервное возбуждение начинало ослабевать, мускульная сила упала, и отец Никита с закрытыми глазами опустился на скамью.

Просидев несколько минут неподвижно, Никита поднялся и упавшим голосом сказал:

— Прощай, чадо Иоанне, приготовь все к завтрашнему великому дню. Прикажи полкам следовать при солнечном восходе к Кремлю для исхищения хищного волка.

— Куда грядешь теперь, святой отче?

— Иду за Яузу в слободу Титова полка, оттуда по другим полкам и по всем градским стогнам буду проповедовать слово истинное и призывать к завтрашнему подвигу на Красную площадь.

По уходе учителя и наставника князь приказал дворецкому позвать очередного по его дому стрелецкого караульного десятника.

— Пошли стрельца по всем полковникам, подполковникам и пятисотенным,— приказал князь вошедшему десятнику,— и оповести от меня явиться сюда немедленно же. А сам после смены, когда воротишься в слободу, передай мой приказ с завтрашнего дня являться ко мне в доме, не десяти стрельцам, как было до сих пор, а сотне, с сотником, вооруженными не одними саблями, а и мушкетами.

По выходе десятника князя взяло раздумье. «Завтра,— думал он,— великий день. Завтра все вои небесные ополчатся на злого духа... и победа, несомненно, останется за нами... Идти ли мне завтра самому — забыл спросить об этом святого отца. Если пойду — весь подвиг останется за мной в случае удачи, а если будет неудача? Тогда... тогда... Нет, я лучше буду пребывать дома и молиться... Молитва — всесильное орудие на одоление врага Божия. Да... а как же стрельцы будут без пастыря, кто ж будет руководить ими? Нет... лучше сам».

ГЛАВА XII

Утром 5 июля в слободе Титова полка проявилось особенное движение: суетились и волновались стрельцы этого полка, стекаясь толпами к площадке перед своей съезжей избой, куда прибывали, хотя и меньшими партиями, стрельцы и из других полков. На площадке перед избой служился молебен Никитой Пустосвятом по раскольничьему толку. По окончании молебна Никита в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и простого народа, постоянно все более и более прибывавшего, направился к Кремлю для состязания о вере. Толпа представляла странный вид и не могла не привлечь всеобщего любопытства.

Впереди открывали шествие двенадцать мужиков с восковыми зажженными свечами. За ними шел сам Никита с крестом в руке, поднятой кверху, громко говоря по обе стороны народу:

— Православные! Постойте за истинную веру, православие погибе на земли, ибо антихрист настал. Гряду, братие, очистить святую церковь от когтей хищного волка!

За Никитой попарно шли сподвижники его с древними иконами, книгами, соловецкими тетрадями и налоями. Вся толпа, войдя в Кремль, расположилась у церкви Михаила Архангела перед царскими палатами, установила высокие скамьи, сложила на налои иконы, пред которыми стали мужики с зажженными свечами.

Устроившись, Никита и чернецы Сергий, два Савватия, проповедники Дорофей и Гавриил разложили свои тетради и начали поучать народ истинному православию, указывая на храмы, обращенные еретиками в амбары и хлевы. Их проповедям вторили неистовые крики буйных, исступленных изуверов, вызывающих патриарха на прение.

Между тем патриах Иоаким с высшим духовенством,

бывшим тогда в Москве, и со всем духовенством московских церквей совершал молебен о спасении царства и церкви от мятежа раскольников. Когда исступленные крики раздались близ стен Успенского собора, патриарх выслал протопопа Василия для вразумления народа и обличения Пустосвята. Посланный при себе имел копию с той повинной, которою Никита еще при царе Алексее Михайловиче каялся в своих еретических заблуждениях, умолял о прощении и отрекался торжественно от раскола. Но обличений отца Василия никто не слушал, самого его избили, повинную изорвали в мелкие клочки, и только чудом мог он спастись, скрывшись снова в Успенском соборе.

По окончании молебна и обедни патриах с духовенством ушли в Крестовую палату. Крики, вызывающие патриарха, обратились в оглушительный рев. Толпа, увеличиваясь с каждым часом любопытными, наполняла всю кремлевскую площадь, но в особенности скучивалась у Красного крыльца, где стоявшие раскольники держали в руках камни для убеиения патриарха.

Князь Хованский пошел в Крестовую палату и передал патриарху желание государей, чтобы все духовенство вместе с патриархом пришло во дворец через Красное крыльцо. Испуганный патриарх, опасаясь насилий от исступленной толпы, не согласился. Тогда князь явился к правительнице.

— Укажи, царевна, патриарху выйти на площадь к народу для словопрения,— докладывал Хованский.

— Для какого словопрения, князь, с кем и о чем? — спросила царевна почти ровным голосом, едва обличавшим признаки внутреннего волнения.

— Видишь, государыня, на площади чернецов с книгами? Они желают говорить с патриархом о вере.

— Кто ж их позвал сюда? Кто позволил?

— Самовольно, царевна. За них стоят весь народ московский и стрельцы. Посмотри в окно, какая давка у Красного крыльца.

— И князь Хованский, глава, начальник стрельцов, любимец их, допустил к такому своевольству?! Не ожидала.

— Что ж могу сделать один против всего народа? Опасаюсь того же, что было пятнадцатого мая, если не будет уважено. Я готов защищать тебя до последней капли крови... но...

— Хорошо, князь.

После минутного раздумья твердая решимость создалась, голос отвердел.

— Хорошо. Позови патриарха ко мне во дворец, со всем духовенством.

Князь вышел.

По выходе князя Софья Алексеевна тотчас подозвала двух стряпчих и послала первого к патриарху передать секретное приказание спешить во дворец, но не через Красное крыльцо, а через лестницу Ризположенскую, а второго отыскать и привести сейчас же стрелецких начальников полковников Цыклера, Озерова, Петрова и пятисотенного Бурмистрова.

Между тем к царевне собрались, исключая государей, почти все члены царского семейства: царевна Татьяна Михайловна, царица Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна, множество бояр, окольничих и других думных чинов. Пришел и патриарх через Ризположенскую лестницу. В то же время прочее духовенство с книгами и свертками переходило через Красное крыльцо. Труден и опасен был этот небольшой переход сквозь тесно сплоченную народную массу, но, к счастью, он совершился без особенных приключений. Приготовившись убить патриарха во время перехода, изуверы, не видя его в числе духовенства, не сделали и прочим никакого насилия.

Вскоре явились в царский дворец отысканные стрелецкие полковники Цыклер, Озеров, Петров и пятисотенный Бурмистров.

— Я призвала вас,— сказала им правительница,— зная ваше усердие и преданность нам. Мятежные отступники от веры православной с угрозой и насилием требуют состязания с патриархом. Я согласилась дозволить это прение в надежде образумить изуверов, но хочу сама присутствовать на нем. Вам приказываю быть тут же и охранять нас, святейшего патриарха, православное духовенство и преданных нам бояр. Вы отвечаете за безопасность своей головой... а за верную службу обещаю награды.

— Как, государыня,— вскричал воротившийся во дворец князь Хованский,— ты сама хочешь присутствовать на словопрении! Невозможно! Ради своей безопасности ни ты, ни государи не должны показываться перед разъяренной толпой...

— Неужели ты думал, князь, что я покину святую церковь и нашего пастыря? Если необходимо словопрение, то... я назначаю собор в Грановитой палате. Я иду туда, и пусть идут за мной все, кто пожелает. Вы, полковники, выберите надежных стрельцов и будьте там, а ты, князь, позови чернецов в Грановитую.

Вслед за правительницей пошли царица Наталья Кирилловна, царевны Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна, духовенство и вся Государева Дума.

Назначение состязания в Грановитой палате и выбор надежных стрельцов разрушали все предположения раскольников. То, что казалось возможно и легко на площади середи несметной массы, в хаосе общего движения, крика и шума, становилось невозможным в палате, где за размещением царского семейства, духовенства, членов Думы, выборных стрельцов и чернецов оставалось слишком мало места для народа. Быстрое соображение царевны сказалось и выручило в решительную минуту.

Ошеломленный князь вышел на площадь и объявил, что государыни царевны желают лично сами слышать челобитную и присутствовать при словопрении, а как им на площади быть зазорно, то и приказали отцов ввести в Грановитую палату.

Масса заволновалась.

— Боярин, государь батюшка,— первым выступил вперед чернец Сергий.— Идти нам в палату опасно... там мы будем одни... народу не пустят, а что мы сделаем без народу? Пошли лучше хищного волка сюда перед всем народом припираться...

— Никому не воспрещено быть в палате,— отвечал князь,— а если вы боитесь, святые отцы, то, клянусь пречистою кровью Спасителя, вам не сделают никакого зла. Что будет со мной, то будет и с вами.

Мятежники колебались, но не колебался Никита, фанатически преданный своему делу.

— Идем! — вскричал он, и вся многочисленная толпа его сподвижников двинулась ко дворцу на Красное крыльцо. Здесь произошло смятение: ломившийся народ встретился с возвращавшимися в Успенский собор священниками, относившими во дворец церковные книги. Началась драка; несколько священников было изувечено и избито, остальные разбежались.

Шумно ввалилась толпа в Грановитую палату, где уже находились царское семейство, духовенство и бояре. На царских тронах сидели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна, ниже их, в креслах, царица Наталья Кирилловна и Марья Алексеевна, на особом кресле патриарх; по правую руку от тронов разместились митрополиты: Корнилий Новгородский, Никифор Астраханский, Павел Сибирский, Иона Ростовский, Маркел Псковский, Варсонофий Сарский, Филарет Нижегородский, Павел Рязанский, архи-

епископы:. Семен Вологодский, Сергий Тверской, Никита Коломенский, Афанасий Холмогорский, Герасим Устюжский, епископы: Леонтий Тамбовский и Митрофан Воронежский, архимандриты, игумены и священники. На левой стороне члены Государевой Думы, между которыми был и князь Хованский, дьяки, придворные и выборные стрельцы.

Впереди толпы раскольников ворвались в палату двенадцать мужиков с зажженными восковыми свечами, за ними сотоварищи Никиты с иконами, книгами, тетрадями и налоями; наконец, сам Никита с крестом в руке, поддерживаемый под руки Дорофеем и Гавриилом. За Пустосвятом следовали чернецы Сергий и два Савватия. Едва поклонившись царскому семейству и отворотившись от духовенства, раскольники спешили расставить налой и разложить на них иконы, книги и тетради. Впереди каждого налоя стал мужик со свечой.

— Зачем вы пришли сюда к царскому дворцу в таком множестве, с угрозами и насилием? — спросила царевна, сурово смотря на вошедших.

— Пришли мы,— отвечал Никита,— от всего народа московского и всех православных христиан просить о восстановлении старой истинной веры, как было при покойном благоверном государе Михаиле Федоровиче и святейшем патриархе Филарете Никитиче, и чтоб церкви Божии были в мире и согласии, а не в мятеже и в раздражении.

— Не ваше дело — исправление церковное,— заметил патриарх.— Заботятся об этом архиереи, которые носят на себе образ Христов и имеют власть вязать и разрешать. Ваша же обязанность повиноваться общей нашей матери соборной апостольской церкви и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении. Вера наша старого православия греческого закона, исправленная с греческих и наших славянских харатейных книг по грамматике, от себя мы ничего не внесли, вы же грамматического...

— Пришли мы,— с пылкостью перебил его Никита,— не о грамматике рассуждать, а о догмате веры.

— Да знаешь ли ты сам, что такое вера и различие старой веры от новой? — спросила правительница, обращаясь к Никите.

— Старая вера спасает души, а новая ведет к погибели. Старая вера наша, а новая последователей антихриста Никона.

— Я тебя спрашиваю, что такое вера? — повторила вопрос царевна.

— Не вопрошать следует о вере, а следовать ее учению, никто из истинных сынов православия и не будет спрашивать об этом, только сподвижники антихриста...

— Как же ты смел явиться сюда, когда сам не знаешь, чего требуешь? Как смел ты надеть на себя одежду священника, когда ты лишен ее? Забыл разве свою повинную блаженной памяти отцу нашему, святейшему патриарху и всему собору с великою клятвою никогда впредь не бить челом о вере!

— Правда, приносил я повинную да за мечом, да за срубом и та повинная не в повинную. А сана моего священнического не мог меня лишить хищный волк, так как сам он антихрист и нет у него власти над истинными православными...

— Молчи! — с гневом перебила правительница.

— Не я говорю, а Дух Божий говорит устами моими. Подавал я собору челобитную о вере, которую писал семь лет, а что было ответом? Тюрьма да истязания. Написал, правда, против нее Симеон Полоцкий книгу «Жезл», да в ней не разобрано и пятой доли моей челобитной. Так я теперь готов разобрать этот Жезл и очистить...

И речь фанатика ересиарха полилась обильным потоком витиеватых толкований и хитрых софизмов опытного оратора, ловко направленная, чтоб смутить скромного и небойкого патриарха. Но этот удар встретил противник опытный и сильный — Афанасий, архиепископ Холмогорский, иерарх очень почитаемый и, главное, основательно знакомый с раскольничими софизмами.

— Ты как смел? Я не тебе говорю, а патриарху. Разве нога выше головы становится? — в бешенстве закричал Никита, бросаясь на архиепископа с поднятыми кулаками. Выборные стрельцы едва могли защитить Афанасия от насилия.

— Видите ли буйство Никиты! — закричала правительница, вставая с трона.— В нашем присутствии осмеливается бить архиерея, что же будет без нас?

— Нет, царевна,— заговорили сопровождавшие Никиту раскольники,— он только рукой отвел, чтоб не говорил прежде патриарха.

Правительница сдержалась. Она умела владеть собой всегда и во всех обстоятельствах. Затворническое детство в затхлых теремах научило искусству уходить в себя, не выдавать волнений, и это искусство пригодилось ей в жизни, полной тревог и опасностей.

— Говорите же теперь вы: зачем пришли сюда? — гово-

рила уже спокойным голосом царевна, обращаясь к товарищам Никиты.

— Мы принесли тебе челобитную, государыня царевна,— отвечал чернец Сергий, вынимая бумагу.

Правительница приказала дьяку взять бумагу и читать вслух.

Эту челобитную составляли двадцать четыре пункта, никем не подписанных и озаглавленных: «Бьют челом святые восточные церкве Христовы, царские богомольцы, священнический и иноческий чин и вси православныи христиане, опрично тех, которые новым Никоновым книгам последуют, а старые хулят».

Стали прочитывать все пункты, начиная с первого по порядку, и по каждому из них следовали возражения и опровержения; некоторые в особенности возбудили неистовые крики и проклятия.

Когда прочтен был пятый пункт, в котором говорилось, что будто бы в новом требнике изложено моление к лукавому духу, архиепископ Афанасий спокойно начал говорить:

— Клевета эта проистекла от незнания грамматики. В молитве при крещении после слов: «Ты сам Владыко Господи Царю прииди»,— говорится: «Да не снидет с крещающимся, молимся Тебе Господи, дух лукавый». В молитве слова *«молимся Тебе Господи»* поставлены в звательном падеже и потому отделены запятыми, как слова обращения, слова же *«дух лукавый»* поставлены не в звательном падеже, не сказано «душе лукавый» и потому относятся к словам, предшествующим словам обращения. Поэтому смысл молитвы таков: молимся Тебе Господи! Да не снидет с крещающимся дух лукавый.

— Что ты мне говоришь, сын сатаны,— запальчиво возразил Никита,— о грамматике. Разве грамматика учит православному догмату? Это вы, антихристовы ученики, кривите и изворачиваете все под видом грамматических художеств, а мы понимаем прямо, как и следует православным.

По прочтении восьмого пункта челобитной, в котором говорилось, что в новых книгах велено креститься не двумя, а тремя перстами, против предания святых отцов, тот же архиепископ ответил:

— Учение креститься тремя перстами перешло к нам от греческой церкви еще при Владимире святом и сохраняется как в Греции, так и у нас до сих пор по преданию апостольскому. Ссылка ваша на Феодорита, епископа Курского, лжива, а действительно еретик Мартин армянин еще в 666

году учил двуперстному знамению, но за то в том же году и был предан за это проклятию киевским собором.

Вместо логического возражения против этого объяснения архиепископа раскольники неистово завопили, подняв правые руки со сложенными двумя перстами:

— Так надо креститься, так! А вы сыны дьявола, богоотступники!

С трудом правительница могла заставить замолкнуть вопли, угрозы и продолжать чтение челобитной.

В девятом пункте заключалось обвинение на проповедников новой веры в гордости и немилосердии: за каждое противное слово мучат и предают смерти.

Как только кончилось чтение этого пункта, Никита развернул лежавшую перед ним тетрадь и с жаром начал читать:

— «Великие страдальницы Алексий и Феодор града Ростова начаша обличати Никоново новопредание, царь же восхоте сих озлобити, аще и духовнии наступоваху на кровопролитие, но не послуша царь, во изгнание осуждает их в поморскую страну, во окиянские пределы близ Кольского острога в монастырь Кондолажский идеже всякую скорбь и тесноту и скудость приемлюще яко до сорока лет. Сего ради отвсюду народи притекающе слышати от них душеполезные словеса от всея поморские страны. Тогда на Холмогорех новопреставленному архиепископу Афанасию лютейшу зело завистию, Никоновых новопреданий любителю, возвещено бысть о сих блаженных яко всю поморскую страну подтверждают еже о древнем благочестии. Архиерей яростию распалився, воины взяв от воеводы в Кондолажский монастырь посылает. Тогда взяша страдальцев, в темницу за крепкую стражу посадиша, посем представиша архиерею, и прежде увещеваху, еже крестися тремя персты и прияти новопечатные книги. Они же не приемляху, но и приемлющих поношаста. Тогда архиерей повеле бити их и вопрошаше: покорятеся ли? Страдальцы же никакого же хотяху, но терпети обещевающеся за древнее благочестие. Недоумеваяся архиерей коим бы хитротворением привлещи к своей воли, повеле их в темницу посадити и гладом морити, хотя сих некими прелестью одолети. Брашно начат к тем от себя посылати, но прежде нечто действовав над брашны, и рукою пятиперстым благословением оградив посылает. Спяще вседивному Феодору, Алексий брашно приемлет, и егда гладом преклоняем восхоте Алексий от принесенного прияти брашна, восстав Феодор, удержа его за руку и рече: не прикасайся приносимым, не видиши ли

змия черного на брашне лежаща? Прежде помолися со слезами, и увидиши прелесть. Тогда Алексий начат молитися и виде на всех брашнех змиево лежание. Тогда взем брашно, верзе за оконце на землю. Стрегущие зряху, возвещают сия архиерею. И начаста страдальцы гладом пребывати, от архиерея не приемлюще брашна. И некогда Алексий жаждою объят быв, повеле стрегущему сосудец принести воды. Стрегущий шед доложися архиерею. Повеле архиерей принести воды и взем к себе нечто действоваше, и рукою оградив пятиперстным сложением, посылает. Но духопрозрительный Феодор, взем сосуд, рече Алексиеви: видиша ли яко змий в сосуде на воде плавает? Таже дивный Феодор глагола к стрегущему: был где с водою? Оному же отпирающуся, глаголаше старец: само видение воды являет, яко у архиерея был еси, сего ради змий черный по воде плавает невидимо. И тако взем воду за окно изливает на землю. Преподобный Феодор гладом преставися, многотерпеливый же Алексий девять седьмиц (63 дня) без пищи и пития препроводив, преставися и тако оба скончастася за древнее благочестие».

— Вот как поступаешь ты, порождение сатаны, душегубец с праведными, святыми мужами,— заключил Никита, кончив чтение и обратясь к Афанасию Холмогорскому.

— Новая клевета, как и другие все обвинения,— ответчал Афанасий тем же ровным голосом, в котором слышалась даже некоторая доля иронии,— клевета, видимая сама собой при простом чтении. Дело было так. Дошли до меня верные вести, что сосланные по царскому указу в Кондолажский монастырь раскольники учат народ не бывать в церквах и повсюду распространяют свою ересь. Я вызвал этих раскольников к себе и всеми средствами убеждения и кроткими увещаниями старался опять возвратить их к православной церкви. Но как закоснелые еретики, они не хотели слушать ни разъяснений, ни доказательств. Мучений и терзаний им никаких не было. Голодом их никто не морил. По моему приказанию им носили пищу и питье, и я не виноват, если им казались плавающими на поверхности пищи черные змии невидимые. Сам же Феодор говорит, что змии были невидимы — как же он их видел? И как многотерпеливый Алексий имел терпение без пищи и питья прожить шестьдесят три дня.

Если б это объяснение было высказано спокойно, тоном теплого убеждения, то, может быть, оно бы и имело влияние хоть на некоторых из еретиков, но в настоящей обстановке оно было искрой для полного взрыва. Как обыкно-

венно ровный и насмешливый тон на противника в состоянии возбужденном производит разрушительное действие, приводит его к совершенной потере самообладания, к полному исступлению.

— Святые Феодор и Алексий, услышьте молитву нашу, помогите отомстить за вашу смерть этому нечестивцу,— завопили раскольники. И Никита первым бросился на архиепископа, замахнулся на его голову тяжелым крестом, но выборные стрельцы удержали поднятую руку.

— Не смейте сходить с мест своих,— закричала правительница раскольникам, — а тебе, Никита, если ты осмелишься еще раз поднять руку, я прикажу отрубить голову.

Волнение стихло, но ненадолго. Когда раскольники стали называть еретика Никона развратителем души царя Алексея Михайловича и доказывать исчезновение в Руси святого благочестия, Софья Алексеевна сошла с трона и, обращаясь к боярам и стрельцам, сказала:

— Мы не можем выносить такой хулы. Если Никон и отец наш были еретиками, так и мы все тоже. Стало быть, и братья мои не цари и патриарх не пастырь. Ни мне, ни всему царскому дому оставаться в Москве больше нельзя, и я удалюсь в чужие страны.

Не успела царевна выговорить свои угрозы, как из скучившейся толпы ясно послышался чей-то голос:

— И пора, государыня, давно бы пора вам в монастырь, полно-де вам царством-то мутить, были бы только здоровы цари-государи, а ваше место пусто не будет.

Но этот голос заглушился громким общим криком бояр и стрельцов, окруживших правительницу с заявлениями о готовности положить головы свои за царский дом. Царевна и бояре воротились на свои места. Чтение челобитной продолжалось. Напрасно патриарх и все духовенство старались вразумить упорных отступников, доказывая всю ошибочность их мнений, напрасно они предлагали им греческие и старинные славянские рукописи для сличения с печатанными при прежних патриархах с указанием явных ошибок в последних, раскольники не хотели ни видеть, ни слышать, ни понимать. Так, когда один из священников указал им в книге, напечатанной при патриархе Филарете, следовательно, авторитетной для них, явную несообразность о разрешении в великий четверг и в великую субботу употребления мирянами мяса, а иноками масла и сыра, Никита не задумываясь отвечал: «Такие же плуты писали, как и вы».

Вечерняя служба в церквах оканчивалась. Все, присутствующие на прении с утра, крайне утомились.

Правительница объявила раскольникам, что продолжать прение невозможно, что челобитная их будет рассмотрена и чтоб они ожидали царского указа. Высказав это, царевна сошла с трона и удалилась из Грановитой палаты, за ней последовали тетка ее Татьяна Михайловна, сестра Марья Алексеевна, царица Наталья Кирилловна, патриарх и присутствовавшие бояре.

Раскольники считали свое дело выигранным. С торжеством они вышли из дворца и, подняв кверху руки со сложенным двуперстным знамением, кричали ожидавшей их на площади толпе: «Так веруйте! Так веруйте! Всех архиереев препрехом и посрамихом!» С кремлевской площади торжественной процессией они перешли на Красную площадь к Лобному месту, где остановились, установили снова свои налои и долго поучали народ по своим Соловецким тетрадям. Отсюда раскольники в сопровождении многочисленной толпы отправились в том же порядке за Яузу, где в слободе Титова полка встречены были колокольным звоном. Здесь отслужено было благодарственное молебствие в церкви Всемилостивого Спаса на Чигачах.

Постоянное напряжение нервной натуры Никиты не обошлось ему даром. При последнем слове молебна смертельная бледность разлилась по лицу, голова запрокинулась на спину, руки вытянулись вперед, как будто ища себе опоры, и все тело, упав на землю, закорчилось в страшных судорогах.

ГЛАВА XIII

Преждевременно торопились раскольники благодарственным молебном. Нелегко было Софью Алексеевну испугать народной смутой и заставить ее растеряться. Она не теряла времени в обдумываниях и колебаниях... напротив, быстро и энергично принимала решительные меры. Вечером того же дня она призвала к себе на Верх выборных стрельцов от всех полков. По приказу ее явились все, кроме выборных Титова полка, не приславшего ни одного человека.

— Вы или ваши товарищи сегодня видели сами,— говорила выборным правительница,— до чего дошла дерзость Пустосвята и раскольников. Они не уважали ни царского рода, ни святейшего патриарха, ни именитой издревле боярской думы. В нашем присутствии Пустосвят осмелился нанести руку на служителя Божия и убил бы его, если б не

доблестная защита всегда преданных царскому престолу стрельцов. Если оставить безнаказанным подобное оскорбление царского имени, то до чего дойдет их смелость? Могут ли существовать торговля и промыслы — чем занимаетесь и вы также,— если не будет порядка и безопасности, если не будет никакой управы на злодеев? Никакое царство не может существовать без царской власти, которая казнит и награждает. Стрельцы всегда были опорой царей и деда моего блаженной памяти царя Михаила Федоровича и родителя моего великого царя и государя Алексея Михайловича и недавно скончавшегося братца царя Федора Алексеевича. Все они любили, жаловали и награждали вас. И я разве не люблю вас и не жалую вас,— голос царевны задрожал, и слезы показались на глазах,— разве не отличала вас, своих верных слуг! Вот и теперь в тяжкую смуту я обращаюсь к вам же и требую вашей помощи. Доколе будут свободны изуверы, дотоле не будет покоя и порядка. Необходимо изыскать Пустосвята и его главных сообщников и представить их к моему царскому беспристрастному суду. Неужели вы променяете нас на каких-то чернецов и предадите святейшего патриарха на поругание?

Речь царевны, ее умение затронуть живую струну, вовремя стыдить, хвалить и ласкать произвели глубокое впечатление на простые души стрельцов. И царевна достигла своей цели: выборные Стремянного полка, в рядах которого почти вовсе не было раскольников, первыми заговорили в один голос:

— Мы, государыня-царевна, за веру старую не стоим и не наше это дело. Это дело патриарха и всего освященного собора, а за тебя мы готовы положить свои головы с радостью.

То же отвечали и выборные других полков.

Для поощрения правительница тотчас же двух пятисотенных Стремянного полка, особенно выказавших свое усердие, пожаловала в думные дьяки, а всех прочих угостила вином из царских погребов. Кроме того, каждый из них в награду за преданность, в виде особенной милости, получил денежный подарок.

— Нет нам дела до старой веры,— говорили они, возвращаясь в свои слободы,— постоим мы за нашу матушку государыню царевну.

Так кончился в Москве день 5 июля, богатый событиями, имеющими особое влияние, по местным усложнениям, на весь последующий ход общественной жизни. Для нас, по истечении почти двухсот лет, эти события могут казаться не

особенно рельефными, не выражающими почти никакого значения. Что значит какой-нибудь нелепый заговор каких-то безграмотных, безумных чернецов? Но если мы подойдем к этим событиям ближе, если отрешимся от настоящего склада и поживем жизнью того времени, то мнимая легкость исчезнет сама собою. В речах Пустосвята и его сообщников не должно видеть выражения одиночных воззрений... нет, это был формальный протест всей старой жизни, страстное стремление к удержанию старого порядка и к отрицанию всякого поступательного движения. Это было не несколько изуверов — это была масса, это было большинство, отвергавшее всякую новизну, видевшее в каждом новаторе антихриста. Удайся замысел раскольников — к чему имелось немало шансов, по малолетству царей и по разъединенности государственных партий,— течение русской общественной жизни, вероятно, надолго получило бы иное направление. Ум правительницы понял значение протестации, и, хотя последняя скорее могла бы быть в пользу ее личных честолюбивых видов, могла бы быть могущественным орудием в ее руках, она без колебания двинулась навстречу поднявшейся грозе. Только ее энергическим мерам обязана была новая жизнь своей окреплостью, а следовательно, и способностью к дальнейшему движению.

Усталая и измученная легла Софья Алексеевна в ночь на 6 июля, но зато в полном сознании исполненного долга. Меры, принятые ею, оказались действенными, хотя тем не менее протестация не покорилась безмолвно.

Выборные стрельцы всеми силами старались в пользу правительницы, но рядовые высказывали явное неудовольствие на них.

— Вы выбраны были говорить правду,— кричало недовольное большинство,— а вы поступили не по правде. Вы прельстились водкой да красным вином.

И неудовольствие росло все больше и больше, опасность становилась грозней и грозней. Не раз уж приходили выборные к правительнице с жалобой и мольбой о помощи против товарищей, грозивших побить их камнями. В Титовой слободе почти ежедневно слышались крики:

— Добром не разделаешься... пора опять приниматься за собачьи шкуры...

С другой стороны, и выборные царевны не уставали работать. С каждым днем они привлекали на ее сторону новых сподручников, которые, побывав у нее на Верху и обласканные, возвращались в слободы самыми рьяными

агентами. Сторона ее росла, и через несколько дней уже на ее руке было большинство. Оставался один опасный и сильный, по своей искренней фанатической преданности своему делу, враг — Никита Пустосвят. Его привлечь было невозможно: ни на подкуп, ни на ласки, ни на какие обещания он поддаться не мог. Как бы ни были ложны и неосновательны его убеждения, но он верил им, они были его плоть и кровь, и с ними он мог расстаться только с потерей жизни. И он расстался с ними, только расставшись с жизнью.

Двое стрельцов из Стремянного полка дали обещание правительнице изловить Пустосвята и передать его суду. Изловить было нетрудно. Никита не скрывался, напротив, он ежедневно, то в одной, то в другой слободе всенародно проповедовал учение. За ним стали следить и подстерегать.

Раз уже почти ночью, возвращаясь в слободу Титова полка с проповеди в другой отдаленной части города, Никита проходил длинным, узким переулком, по бокам которого тянулись нескончаемые заборы. Сосредоточенный, как обыкновенно, Никита не замечал, как почти с самого места проповеди следили за ним двое стрельцов. В середине переулка эти два стрельца быстро кинулись на него и прежде, чем тот заметил опасность, нанесли ему сильный удар в голову. Никита упал без чувств, не издав ни крика, ни стона. Стрельцы, вместе с еще несколькими подоспевшими к ним на помощь, подняли ошеломленного и отнесли на Лыков двор. В этот же вечер схвачены были и другие более выдающиеся из учителей и приведены на тот же двор, где и были рассажены по разным местам.

На рассвете начался суд, и не более как в один час Никита был приговорен к смертной казни — отсечению головы, в случае нераскаяния, и к ссылке в отдаленный монастырь, если б раскаялся в своих преступлениях и всенародно признал заблуждение ереси.

Суд и исполнение заняли немного времени. В опровержение общего ропота на медленность и волокиту суда того времени, тем же утром и все еще довольно рано Никиту вывели на Красную площадь, быстро наполнившуюся толпами народа.

Думный дьяк прочитал указ.

Не сказав ни слова, не выразив ни одной жалобы, ни одной просьбы, осужденный твердыми шагами пошел к приготовленной плахе.

— Раскаиваешься ли? — спросил его думный дьяк.

— Проклинаю антихриста Никона и всех сподвижников его! — сказал твердо и громко Никита и потом добавил еще

громче, обращаясь к народу: — Постойте, братия, за старую веру православную и истинную.

— В последний раз тебя спрашиваю: раскаиваешься ли? — более для соблюдения формальности спросил дьяк.

— Умру за истинное древнее благочестие!

И перекрестившись двумя перстами, преступник склонил голову на плаху.

Палач, широким кругом махнув секирой, сильным ударом опустил ее на плаху. Отсеченная голова скатилась, и кровь ручьем брызнула на помост. Народ молча разошелся по домам.

Из последователей Никиты чернец Сергий сослан в Ярославль в Спасский монастырь, другие же разосланы по разным отдаленным местам в заточенье. Вся толпа многочисленных последователей рассеялась в разные стороны.

ГЛАВА XIV

Казнь Пустосвята, при остром характере положения общества того времени, оправдывалась государственною необходимостью. Она разрубила главный узел, привязывавший Русь к старине. Правда, смерть ересиарха не поколебала ложных убеждений, так как кровью не только никогда не истреблялись никакие верования и убеждения, напротив, кровью эти убеждения становились жизненнее и устройчивее, но она лишила раскольников значения государственной партии. Остававшиеся в Москве раскольники не могли быть опасными, они по крайней мере в большинстве сами не были проникнуты силой правоты своих верований и потому не доходили до самоотвержения.

С Пустосвятом раскол лишился воодушевления, но оставалась внешняя сила — в князе Хованском. Как сила, князь казался громадной опасностью, но и как во всякой только внешней силе, лишенной внутренней крепости, эта опасность не имела в себе существенного значения.

Князь отслужил панихиду по убиенному учителю и записал его кончину как кончину мученика, пострадавшего за веру. Князь не был человеком мысли и дела, храбрость и решительность его всегда были следствием чуждого побуждения. А теперь явилось перепутье, и ему самому предстояло выбрать себе путь. Одна дорога, казавшаяся ему особенно привлекательной, вела далеко — к самому трону. На эту дорогу указывал ему покойный учитель и все его приверженцы из староверов-стрельцов, этой дороги желал

старший его сын Андрей, и об этой дороге не раз мечтал и он сам. Другая дорога скромно вела к первым рядам преданных слуг Софьи. Последняя дорога безопасна, но совершенно противоречила завещанию учителя и ставила его лицом к лицу на одну доску с другими придворными, более его ловкими, более его изворотливыми, подпольная борьба с которыми была ему не по силами. Да и тяжело было ему становиться на одну доску с теми, которых он так высокомерно унижал и оскорблял и которым не раз говаривал в Думе:

— Никто из вас так не служивал, как я... где вы ни бывали, куда вас ни посылали, везде государство терпело только вред и поношение от вашей безумной гордости, мною же держится все царство.

Нерешительный характер заставил его выбирать средний путь, оставить обстоятельства складываться помимо его воли своим обычным течением и принять только полумеры в виде ограждения своей личной безопасности. В этом последнем отношении он чрезвычайно успел. Выхлопотав формальный царский указ о переименовании стрельцов в надворную пехоту, исполняя все требования стрельцов, когда даже эти требования расходились с видами правительства, награждая и одаряя даже при полном истощении казны, обращаясь приветливо и ласково, он совершенно овладел нехитрыми душами стрельцов. Все полки — за исключением Сухаревского и Стремянного, отделявшихся из общей массы особняком,— видели в нем отца родного и готовы были положить за него свои головы. Таким образом, имея под руками стрелецкие слободы и окружась у себя дома достаточной стражей, он мог считать себя в полной безопасности, а при благоприятных обстоятельствах и полным самовластным решителем судьбы государства.

Отчетливо и ясно сознавала Софья Алексеевна все внутреннее бессилие князя, и лично он сам не казался ей опасным, но она понимала ненормальность положения того государства, где решающая сила находилась в топоре. Воспользовавшись сама этой силой, она не могла не видеть возможности и другой более смелой узурпации. Требовалось во что бы то ни стало разрушить этот грозный фатум, сделать из него слепое и послушное орудие,— а это казалось невозможным, пока во главе войска стоял обожаемый им начальник, горячо отстаивавший все его интересы.

А между тем скорейшее принятие мер вызывалось настоятельно. Буйство стрельцов превосходило всякие грани-

цы. На другой день после казни Никиты Пустосвята толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи им головой некоторых бояр, будто замыслившись перевести стрельцов. Волнение, продолжавшееся два дня, утихло только с казнью пустившего в ход между стрельцами этот слух Одышевского царевича, недовольного правительством за малый себе почет и за скудное содержание. Не успело стихнуть это волнение, как возникло другое по такому же поводу, вследствие слуха, распущенного каким-то посадским человеком, ярославцем. Не раз подавал повод и сам князь Хованский, в досаде на бояр высказывавший стрельцам:

— Ну дети, уж и мне за вас грозят бояре, мне делать больше нечего, как хотите, так и промышляйте сами.

При такой группировке обстоятельств судьба князя составляла решительный момент, и только недальновидный, нерешительный ум его не мог сознавать этого значения, мог предоставлять свою судьбу течению обстоятельств.

В некоторых наших хрониках встречается указание на более деятельную роль князя, на заговор его, на подговор будто бы им стрельцов погубить все царское семейство в день праздника (19 августа) Донской Богоматери во время крестного хода в Донской монастырь, неудавшийся только по предусмотрительности правительницы, приехавшей с царями в монастырь уже после хода, когда началась церковная служба. Это известие нельзя считать достоверным, оно не встречается в других, более верных хрониках и не согласно с характером князя.

За несколько дней до Нового года* на царском дворе началось особенное движение. Выдвигались и тщательно осматривались дорожные объемистые колымаги, вытиралась и чистилась сбруя, смазывались колеса, нагружались экипажи разного рода вещами и, как видно, не для одного путешествия, а для более или менее продолжительной остановки где-нибудь.

Все царское семейство выезжало — но куда? Никто не

---

* До принятия христианской веры в России год считался с весны от первого новолуния по равноденствии. После принятия христианства время стало считаться с сотворения мира и новый год начинался различно: церковный 1 марта, а гражданский 1 сентября. По определению же Московского собора, бывшего при митрополите Феогносте, новый год решено считать как гражданский, так и церковный 1 сентября. Такое исчисление продолжалось до 1700 г., когда Петр Великий указал празднование Нового года совершать 1 января и исчисление вести с Рождества Христова.

знал. Немало хлопотали узнать комнатные стольники, стряпчие и низшая дворцовая челядь, да узнали только то, что царевна приказала укладываться как возможно поспешнее. Терялась в догадках дворцовая челядь, да и было отчего растеряться. С незапамятных времен не запомнят, чтоб весь царский род выезжал из Москвы. Выезжали, правда, и прежде цари-государи в свои подмосковные села, но не надолго, не всем семейством, а только потешиться своей любимой соколиной охотой. Старшему царю не до охоты, а младшему не по душе были такого рода забавы. Петр из всего урядника охоты нашел любопытными только одну приписку отца покойного Алексея Михайловича: «Правды же и суда и милостивые любве и ратного строя николи же не забывайте: делу время и потехе час» — и не пленяли его молодого воображения красноречивые для того времени советы урядника охотникам: «Приимает кречета образцовато, красовато, бережно и держит честно, смело, весело, подправительно, подъявительно, к видению человеческому и красоте крещатьей и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно и т. д.». Следовательно, о забаве соколиной не могло быть и речи.

Да и зачем бы выезжать всем царевнам? На богомолье? Не статочное теперь время для богомолья, да и снаряженье другое. Едут вместе и отстраненная царица Наталья Кирилловна, и правительница Софья Алексеевна, тогда как с самого стрелецкого бунта царица Наталья Кирилловна жила в Преображенском особняком, ни во что не вмешиваясь.

Недолго продолжались дорожные сборы, так спешили и суетились. Наконец после обычных хлопот, беготни и размещений царский поезд тронулся из Москвы по Коломенской дороге. За выездом его с каждым днем стали разъезжаться и боярские чины, кто в Коломенское, а кто по своим вотчинам и поместьям.

С удивлением провожали москвичи эти длинные поезда. Не добром веяло от этих неожиданных, негаданных отъездов. Осиротела Москва. Когда это бывало, чтоб вдруг ни с того ни с сего весь царский двор покидал столицу, как будто подступал к ней какой-нибудь ворог с необъятной силой.

Из первостепенных сановников остался в Москве только один князь Хованский. Приуныли посадские и городские, попрятавшись по домам. Только одни стрельцы гордо расхаживали по городу, чувствуя себя полными хозяевами и считая себя в полном праве опустошать то погреб, то клеть которого-нибудь из уехавших бояр. Да и действительно,

фактическое право, право силы, было на их стороне. Куда идти жаловаться? Где искать суда и защиты? В те же стрелецкие приказы, к тем же стрельцам. Грустно провожали москвичи последние дни умирающего года, и все с нетерпением ожидали наступления нового.

Привыкли москвичи встречать Новый год в общении с царем, усердной молитвой к Всевышнему о ниспослании благ на грядущее лето. Привыкли они присутствовать в день Нового года вместе с царем на торжественном молебствии, совершаемом самим патриархом на кремлевской дворцовой площади. Вероятно, к этому дню, чаяли москвичи, воротится в Москву если не все царское семейство, то уж непременно царь-государь.

Наступил и этот торжественный день, а никто из царского семейства в Москву не приехал. Только накануне прискакал из Коломенского гонец с наказом царевны к князю Хованскому быть ему непременно лично на молебствии вместо государей на площади. Задумался старый князь, получив эту грамоту.

«Исполнить или нет? — раздумывал он.— Хорошо бы исполнить — пусть народ видит вместо царей-государей — глаз привыкает... А с другой стороны, не будет ли от этого какого лиха? С какой целью царевна велела... а спроста она не прикажет. Вот, дескать, самовольно занял царево место... недругам боярам на руку... распишут... обвинят. Другое бы дело, если б здесь был царский двор, тогда... тогда... молодцы мои могли бы сразу порешить все... А теперь лучше я вовсе не пойду на площадь, останусь дома... скажусь, дескать, болен».

Так на молебствие старый князь и не явился, а послал окольничего Хлопова. Молебен прошел благополучно, без помехи, только как-то необычно грустно, да и стрельцы не скупились на неопределенные угрозы и оскорбительные восклицания против патриарха.

Дни шли за днями однообразно и утомительно — скучно. Через несколько дней после Нового года новый гонец от царевны к князю Ивану Андреевичу с требованием присылки в село Коломенское преданного правительнице стрелецкого полка Стремянного.

В то время как гонец явился к князю, у него в гостях сидел стрелецкий полковник Одинцов. Прочитав грамоту, князь передал ее Одинцову.

— Что скажешь, Борис Андреич? — обратился князь, когда Одинцов прочитал грамоту.

— Не знаю, как и думать, боярин,— отвечал Один-

цов,— только не чаю тут хорошего. Для чего царевне понадобился Стремянной полк? Не для забавы же Петра Алексеича? Ему и дворовых мальчишек довольно. И заметь, князь, именно Стремянной — самый для нас ненадежный.

— Может, для собственной охраны, Борис Андреич.

— Что за охрана, боярин, в селе Коломенском-то! Нет, тут, ведаю, потаенное... Говорил мне сегодня Иван Борисов, стрелец моего полка, брат его еще служит конюхом у царевны, будто она разослала гонцов по разным городам с приказом собирать рать. Не ведомо тебе для чего?

— Не знаю... не слыхал... Борис Андреич, кажись бы, незачем... Недавно поехали наши гонцы к соседям с приглашением съехаться с обеих сторон для переговоров о вечном мире.

— Так для чего ж ополчение?

— Не знаю... полагаю так... пустая болтовня. Мало ль что врется в челяди.

— Ну а зачем Стремянной полк царевне?

— Может, какая-нибудь надобность встретилась. Может, жалоба какая на кого из стремянных... Она многих знает лично, принимает участие.

— Если б жалоба, то передала бы тебе, князь, или переслала б в приказ.

— А может, и в самом деле царю Петру Алексеевичу хочется научиться воинскому строю. Он хоть и ребенок, а вострый.

— Да дело не в этом, Борис Андреич,— продолжал князь,— а скажи мне: посылать ли стремянцев к царевне.

— Я бы не послал, князь.

— Да и я так думаю. Скажу, что, мол, полк собирается идти на очередь в Киев.

— Да вот еще забыл передать тебе, боярин. Тот стрелец сказывал мне, будто как только приехала царевна в Коломенское, так туда тотчас же явился Ванька Надорванный.

— Как, Надорванный в Коломенском? — с живостью спросил князь.— Правду ли сказал твой стрелец? Не врет ли?

— Не ручаюсь, от того же брата он слышал.

— Может, оба были пьяны?

— Не знаю. Оно правда, стрелец-то мой шибко запивает, до беспамятства, да, кажись, теперь не очередь. А с Надорванным разве ты разошелся, боярин?

— Разошелся,— отрывисто и насупившись отвечал князь.

— Что так? Про что?

— Да так... вздумал приказывать. Считал на свойство с царевной и задрал нос, да я скоро ошиб. Молод... не больно из дальних... старыми князьями помыкать не след. Я ему и пригрозил по-своему.

Разговор оборвался. Напоминание о Милославском, видимо, раздражало князя. Одинцов скоро ушел.

На другой день гонец уехал в Коломенское с отказом князя в высылке туда Стремянного полка.

ГЛАВА XV

Между тем как в Москве все стихало и таилось в каком-то болезненном ожидании, в селе Коломенском проявились необычные движения и деятельность. Давно Коломенское не видало у себя таких многочисленных гостей и притом таких беспокойных. Не успевал первый поезд разгрузиться, как следует домовитым хозяевам, не успевала пыль улечься по старым местам, как новая поднималась в безветренном воздухе и новый поезд подходил к селу, а за этим поездом еще и еще... Кончились поезда, стали наезжать отдельные экипажи.

Шум, беготня, смех и ругань на царском дворе неумолчные; то ногу кому-нибудь прихватит колесом, то какой-нибудь ловкий парень изловчится ущипнуть бойкую сенную девушку на бегу, и каждый пользуется неурядицей для своего личного дела.

Наконец разгруженные экипажи задвинуты на задний двор, лошади пущены на подножный корм. Казалось, можно было бы человеку и угомониться, сходить в приготовленную баньку, покушать поплотнее на живительном деревенском воздухе и заснуть сном безмятежного праведника — так нет... Несонливые гости наехали. Гонцы верхами засновали по дороге, тот в Москву, этот из Москвы — и конца и счета им нет.

Мало-помалу все-таки стало поутихать, и день Нового года прошел благополучно, а на другой день — новая перемена.

На рассвете второго сентября подъехал к Коломенскому дворцу преданный царевне стрелецкий полковник Акинфий Данилов. Сойдя с лошади и подойдя к запертым еще воротам, он при свете пробивающегося дня приметил прибитую к полотну ворот бумажку.

«Ба, что это? Не приказ ли какой приезжающим,—

подумал он и, осторожно сняв бумажку, с трудом прочитал крупно начерченные знаки: «Вручить царевне Софье Алексеевне». Странное письмо, а все-таки нужно передать государыне»,— решил он, спрятав письмо в карман. Затем он постучал в ворота.

— Что, государыня царевна еще не изволила встать? — спросил он, входя во внутренний двор, привратника, лениво затворявшего за ним ворота.

— А вот видишь отворенное окно-то? Это в ее опочивальне. Видно, уж изволила встать.

— Так скажи кому-нибудь доложить государыне о приезде из Москвы стрелецкого полковника.

Привратник направился ко дворцу.

Вскоре из внутренних покоев вышел ближний стряпчий царевны и, подойдя к приехавшему, с неласковостью и видимым оттенком подозрительности допросил:

— Кого тебе нужно, честной господин?

— К государыне приехал, к царевне Софье Алексеевне,— отвечал приехавший.

— А как обзывать тебя?

— Акинфий Данилов.

— А званья какого и откуда?

— Стрелецкий полковник, из Москвы.

— А с каким умыслом?

— Про то буду докладывать государыне, а не тебе,— с досадой уже ответил полковник.

— Ну иди за мной. Государыня сама изволила тебя видеть в окошко и приказала привести к себе, да опасливо...

Царевна действительно не только встала, но уж успела сделать свой утренний туалет и помолиться Богу. Теперь она у окна читала книгу.

— Здравствуй, мой верный Данилов,— приветливо начала она вошедшему, благосклонно протягивая руку, которую тот поцеловал.

— Когда из Москвы и каких вестей привез?

— Выехал я, государыня, ночью тайком от стрельцов других полков и вестей особливых с собой не привез.

— Когда Стремянной полк придет сюда?

— Не ведаю, государыня, а слышал я, будто князь назначает его к походу в Киев.

— Да, он мне писал об этом, но я приказала переменить и назначить к походу другой полк,— с раздражением стала говорить правительница, и снова на лбу ее образовалась знакомая складка.

— На молебствии вчера ничего не случилось?

— Ничего, государыня, говорили, правда, стрельцы из раскольников против патриарха непригожие слова, да пустое.

— Как осмелились при князе? И он дозволил... не остановил их?

— Князя Ивана Андреича на молебне не бывало.

— Как не бывало, когда я ему именно приказывала быть?

— Князь весь день вчера пробыл дома, может, по болезни... А на молебне вместо него был окольничий Хлопов.

— А...— протянула правительница.

— Вести-то для тебя, царевна, я подобрал на дороге. Вот сейчас снял с дворцовых ворот письмо к тебе,— сказал полковник, вынимая из кармана письмо и подавая его царевне.

Софья Алексеевна взяла письмо и стала читать; по мере продолжения чтения лицо ее становилось беспокойней и мрачней.

Письмо заключало в себе донос на князя*.

---

* «Царем, государем и Великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алекссевичу всея Великия и Малыя, и Белыя России Самодержцам, извещают Московской стрелец, да два человека посадских на воров на изменников, на боярина князя Ивана Хованского, да на сына его князя Андрея. На нынешних неделях призывал он нас к себе в дом девяти человек пехотнаго чина, да пяти человек посадских и говорил, чтобы помогли им доступати царства Московскаго, и чтобы мы научали свою братью Ваш царский корень известь, и чтоб придти большим собранием изневесть в город и называть Вас государей еретическими детьми и убить Вас Государей обоих и царицу Наталью Кирилловну, и царевну Софью Алексеевну, и патриарха и властей, а на одной бы царевне князь Андрей женится, а достальных бы царевен постричь и разослать в дальнии монастыри, да бояр побить Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; а как то злое дело учинять, послать смущать во все Московское государство по городам и по деревням, чтобы в городах посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян научать, чтоб побили бояр своих и людей боярских; а как государство замутится и на Московское бы царство выбрали царем ево князя Ивана, и патриарха, и властей поставить ково изберут народом, которые б старые книги любили; и целовали нам на том Хованские крест, и мы им в том во всем что то злое дело делать нам вообще крест целовали, а дали они нам по двести рублев человеку и обещалися пред образом, что если они того допустят, пожаловал нас в ближние люди, а стрельцам велел наговаривать: которые будут побиты и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им стрельцам на все приказы и мы три человека убояся Бога, не хотя на такое дело дерзнуть извещаем Вам Государем, чтобы Вы Государи, свое здоровье оберегли. А мы холопи ваши ныне живем в похоронках, а как Ваше государское здравие сохранится и все Бог утишит, тогда мы Вам государем объявимся: а имян нам своих написать невозможно, а примет у нас: у одного на правом

— Хорошо, полковник,— сказала правительница, кончив читать,— спасибо за преданность, поверь — не забуду. Оставайся здесь при нас... нам нужны теперь преданные слуги. Поди отдохни покуда да скажи, чтоб позвали ко мне Ивана Михайловича да Василия Васильевича.

Через несколько минут тот и другой были в приемной.

— Сейчас был у меня стрелецкий полковник Акинфий Данилов, приехавший сюда из Москвы ночью похоронком, и привез нехорошие вести. Верного мне Стремянного полка, несмотря на мое вторичное приказание, князь не присылает до сих пор и не знаю — пришлет ли когда-нибудь. Потом приказывала я князю непременно самому лично быть на молебне в день Нового года, а он опять ослушался въявь, на молебне не был, оставил нашего святейшего патриарха выносить оскорбления от раскольников-стрельцов. И, наконец, вот я получила известительное письмо о злоумышленных делах Ивана Хованского, как изменника явного. Прочтите и скажите, как поступить.

Правительница передала письмо Василию Васильевичу, но тот отклонился.

— Пускай прежде, государыня, прочтет Иван Михайлыч, он постарше меня.

Боярин стал читать, а мягкий, но внимательный взгляд князя не уставал следить за выражением лица читавшего. Это выражение читавшего ясно высказывало удивление и негодование, но странное дело, глаза боярина не следили за каждой буквой, что можно было бы ожидать от небойкого грамотея, а скользили по письму, как будто по давно знакомому полю.

Прочитав донос, боярин, передал его князю. Этот, напротив, читал не торопясь и не волнуясь — только углы губ его передергивало от сдержанного движения.

— Что, мои верные, ближние, посоветуете? — спросила правительница.

Первым начал говорить Милославский.

— Я давно говорил тебе, царевна, давно предупреждал о злых умыслах Хованского, писал к тебе не раз из деревни, наконец приехал сам лично рассказать, что мне передавали за тайну верные мои люди из стрельцов, а вот теперь и письмо... Верно и Василий Васильевич тоже...

— Ну, положим, письмо-то ровно ничего не показывает,— спокойно отозвался князь.

плече бородавка черная, у другова на правой ноге поперечь берца рубец, посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».

— Как? Разве не читал, князь...— с жаром заговорил Милославский.

— Читал, боярин, да не признаю в нем важности. Первое — оно пашквиль, а пашквилям, по-моему, веры иметь не должно, второе — ничего не мешало доносчикам явиться самим к царевне, бояться им нечего, третье — по характеру князь не способен на исполнение такого дела, четвертое — об таких умыслах не говорят на площадях или, что все едино, с десятками лиц, в верности которых не убеждены. Правда, нанимают убийц, но когда верность их обеспечена. Нет, не подметным письмам верить, а нужно, боярин, в душу человека заглянуть, да так заглянуть, чтоб порошинки не осталось утайной... Да что мне тебе рассказывать, боярин, ты сам лучше меня знаешь,— заключил князь, улыбаясь и как-то двусмысленно глядя на Милославского.

Во все время Софья Алексеевна с любовью смотрела на князя.

«Вот таким-то я и люблю тебя, мой милый,— думала она.— Выше ты их всех по разуму, и далеко они отстали от тебя... А то иной раз таким покажешься двуличневым да трусливым, так бы и отвернулась от тебя...»

— Так, по-твоему, князь,— между тем говорил Иван Михайлович, горячась и с покрасневшими глазами,— царевне нужно добровольно протянуть шею и ждать, когда голову снимут...

— Ты не понял меня, боярин,— спокойно отвечал Голицын.— Я говорил только о подметном письме, а что до безопасности, так я уж докладывал государыне о мерах...

— Какие ж меры, князь?

— Долго говорить об этом, боярин, теперь не время,— уклончиво отозвался князь.

— Видишь, в чем дело, Иван Михайлович, если б дерзость Хованского превысила пределы моего терпения и сделалась бы опасной, так я задумала устранить его от стрельцов, а для своей безопасности призвать к себе земское ополчение.

— Хорошо, царевна, да невозможно,— заметил Милославский.

— Отчего ж, боярин, невозможно?

— Да оттого, что по князе все стрельцы встанут грудью, а земская рать собирается медленно.

— И то и другое не помеха. Князь Иван Андреевич может сам приехать сюда ко мне — за это я берусь,— а земское ополчение из ближних мест может собраться скоро, особенно если на сборных местах будут наблюдать

и торопить мои гонцы. Готовы ли у тебя окружные грамоты, Василий Васильевич?

— Давно готовы, еще в Москве,— отвечал Голицын, вынимая из кармана сверток.— Не изволишь ли прислушать?

И обычным своим мягким, ровным голосом князь прочитал воззвание правительницы о крамолах стрельцов по подстрекательствам Хованского, избивших столько бояр. «Спешите,— говорилось в заключение,— всегда верные защитники престола, к нам на помощь; мы сами поведем вас к Москве, чтобы смирить бунтующее войско, наказать мятежного подданного, очистить царствующий град Москву от воров и изменников и отомстить неповинную кровь».

«Так вот оно что,— думал Милославский во время чтения Голицына,— здесь все уже покончено, все устроено, и я опять лишней спицей. Так-то вот всегда со мной. Сначала Артамон, ворог мой, мешал, стер его... вот, думал, буду властвовать, а вышло не так... на нос сел мой же подручник Хованский. Хлопочу спихнуть этого, скачу сюда, подвожу ловко, а на деле опять ни при чем... место занято. Нет... верно, опять укрыться в своем углу да забавиться домашней ягодкой».

— Не нужно ли, Василий Васильич,— говорила Софья Алексеевна,— прибавить в грамоте об умысле Хованского извести весь царский род и сесть самому на Московском государстве?

— Не нужно, государыня, будет совсем лишнее. Зачем понапрасну тешить досужих вымышленников? — отвечал князь, лукаво и искоса поглядев на Милославского.— Из этого не стоит составлять новые грамоты.

— Еще одно слово, Василий Васильевич, не находишь ли ты Коломенское опасным? Не переехать ли нам в другое место?

— Да, государыня, не мешает,— отвечал Голицын.— От Москвы недалеко, а борониться здесь негде и нечем. Предложил бы я переехать в Саввин-Сторожевский монастырь. Там хоть ветхие, да все-таки стены, и можно отсидеться хоть некоторое время до ополчения.

— И ты то же думаешь, Иван Михайлыч?

— Да, государыня, и я то же думаю,— подтвердил Милославский, почти бессознательно.

— Так чем скорее, тем лучше. Прикажи, Василий Васильич, сбираться в Саввин.

Голицын вышел. Стал прощаться и боярин Милославский.

— Ты куда, боярин?

— Думаю, государыня, отправиться в вотчины. Уволь. Здесь-то, я вижу, ни к чему не пригоден.

— Полно, Иван Михайлыч, я не отпущу тебя. Кому же, как не тебе, делить со мной опасное время? — сказала царевна с той улыбкой, которая так притягивала к ней и которая так редко в последнее время появлялась у ней.

— А теперь прощай. Иду собираться в дорогу. Сбирайся и ты со мной, Иван Михайлыч.

И снова колымаги вывозились на передний двор, и снова начались та же суетня, те же хлопоты, то же ворчание старых и заигрывание молодиц. Ближайшая постельница царевны лично присматривала за укладкой и торопила. Различного рода и вида сундуки и сундучки, ларцы и ларчики, узлы и мешки быстро прятались внутри колымаг. Наконец экипажи подвезли к крыльцу, и все царское семейство и ближние люди разместились на мягких подушках и перинах, наложенных чуть не до верха. Поезд тронулся и длинной вереницей потянулся по дороге в Саввин монастырь.

Снова опустело Коломенское со своей немногочисленной дворцовой прислугой. За воротами стоял старый привратник и долго следил за удалявшимся поездом, прикрыв прищуренные глазки ладонью от лучей западавшего солнца, бивших ему прямо в глаза.

— Слава тебе, Господи, милосердному Создателю нашему, уехала со своей бесовской прелестью. Измаялся деньденьской. Пойти отдохнуть маленько.— И, перекрестившись двуперстным знамением, поплелся старик в свою коморку.

ГЛАВА XVI

Как все почти наши древние русские обители, Саввин-Сторожевский монастырь построен в одной из самых живописных местностей Московского государства, в пятидесяти верстах к западу от Москвы и в полутора верстах от Звенигорода на довольно высокой горе Сторожи, составляющей левые берега речек Москвы и Разварни. В древние времена, во времена нежданных, негаданных литовских набегов перед основанием монастыря на этой горе постоянно находился сторожевой пост, наблюдавший над Смоленской дорогой. Трудно было выбрать место более удобное. С горы открывался далекий вид на окрестности, на тянувшуюся серую полосу дороги, обрамленную густой листвой,

на разбросанные там и сям поселки и на самый удельный город Звенигород.

Основание монастыря относится к последнему или предпоследнему году XIV столетия и приписывается Савве, иноку и питомцу Сергия Радонежского. Любимый ученик св. Сергия, славившийся своей строгой жизнью, Савва был духовным отцом Дмитровского и Звенигородского удельного князя Юрия Дмитриевича, брата Василия Дмитриевича, великого князя московского. По настоятельному убеждению духовного сына князя Юрия Савва, покинув основанную им Дубенскую обитель, где был настоятелем, перешел в Звенигород и, выбрав место для новой обители на горе Сторожи, срубил деревянную церковь во имя Рождества Богородицы. Вскоре вместо этой деревянной церкви ревностью князя Юрия выстроена была новая, уже каменная церковь*, обильно снабженная всей церковной утварью, а весь монастырь обнесен деревянной стеной. Семь лет управлял Савва новоустроенным монастырем и умер 3 декабря 1407 года. После смерти основателя монастырь не только не умалился, но, напротив, все более и более расширялся. Богато наделил обитель князь Юрий, много дал он ей земель и сел, но еще более дары умножились, когда в народе стали распространяться слухи о чудесах над гробом почившего основателя.

Рассказывали, например, что будто бы много лет спустя игумену Сторожевскому Дионисию во сне явился инок и сказал:

— Напиши образ мой.

— Но кто ж ты? — спросил Дионисий.

— Я начальник месту сему, Савва,— отвечал инок.

Проснувшись, Дионисий стал расспрашивать о покойном Савве. Нашелся один старик, еще помнивший Савву, и, по его рассказам, явившийся во сне инок оказался действительно почившим основателем. Дионисий, искусный в живописи, по памяти написал образ.

Слухи все более и более распространялись, число братий увеличивалось, обитель богатела. Великие князья московские под влиянием религиозного чувства стали помещать чудотворное место, совершать обычное богомолье, внося каждый раз от себя щедрые вклады. Но из всех государей самым щедрым оказался царь Алексей Михайлович. Этот государь, любя страстно охоту в привольных монастырских окрестностях построил себе на монастырском дворе особый дворец с крытым переходом в собор.

---

* Церковь эта сохранилась и до настоящего времени.

Одно предание, записанное в монастырских хрониках, объясняет религиозную ревность государя Алексея чудом покойного, чудом, послужившим будто бы основой к открытию мощей св. Саввы.

Вот этот случай.

Раз, охотясь в лесах, окружавших Звенигород, Алексей Михайлович отдалился от всей сопровождавшей его свиты. Очутившись совершенно одиноким в незнакомом месте среди почти непроходимой чащи, государь смутился, невольно закралось в его душу тревожное чувство. Опасность действительно была, и даже близкая, неотразимая. В нескольких шагах от государя и прямо к нему направлялся громадный медведь, по-видимому, раздраженный шумом охоты. Алексей Михайлович оледенел от ужаса, но вдруг совершилось чудо: подле государя неведомо откуда явился старец в иноческой одежде, от взгляда которого медведь побежал прочь. Изумленный царь спросил об имени избавителя.

— Я инок Сторожевской обители, Савва,— отвечал незнакомый и пошел к монастырю. Государь последовал за ним, но при въезде в монастырь потерял из виду. Вскоре прибыли и отставшие придворные.

Увидев архимандрита Сторожевского, государь поспешил рассказать ему об этом случае и приказал привести к нему инока Савву-избавителя.

— Государь, такого инока нет у нас в обители,— отозвался настоятель.

— Нет? А вот его образ у вас? — И государь указал на портрет, рисованный настоятелем Дионисием.

Оказанная помощь объяснилась заступничеством св. Саввы.

После этого происшествия Алексей Михайлович приказал вскрыть гроб покойного Саввы. По вскрытии оказалось, что тело, лежавшее в земле 245 лет, осталось нетленным.

Алексей Михайлович часто и подолгу, со всем своим семейством, живал в монастыре и в настоящее время сохраняются богатые ризы и пелены, низанные крупным жемчугом — рукоделья дочерей царя Алексея. Царевна Софья выстроила церковь во имя Преображения (к северу от главного собора). Трапеза этой церкви, по позднейшей переделке, сделалась помещением для классов духовных училищ.

Начало сентября и глубокие сумерки. Как будто в укор, в обличение людских несправедливых поговорок и прозва-

ний, сентябрь 1682 года выдался особенно приятной погодой. После удушливого знойного лета начались теплые, мягкие дни с длинными сумерками осенних вечеров. Это время полного умирающего отдохновения. Производительная сила природы после страстного напряжения отдыхает и нежится, любуясь грандиозностью созданного ею в течение нескольких месяцев.

Чудный вечер. В ароматном воздухе слышится ласкающее, освежающее, возбуждающее нервы. Почти полная луна то высвободится от быстро бегущих неопределенных очертаний облаков, обольет матовым светом и деревья, и каждый кустик, придаст им вдруг причудливые формы, отбросит от них играющие тени, то вдруг мгновенно спрячется в бегущей воздушной группе, оставя прежнюю серую темь.

На довольно обширной дерновой скамье Саввин-Сторожевского монастырского сада, искусно устроенной монахами под кустами акаций с переплетенными верхними ветвями в форме беседки, полусидели или, лучше сказать, полулежали двое Голицыных, двоюродных братьев, Василий Васильевич и Борис Алексеевич, кравчий двора царицы Натальи Кирилловны.

Трудно представить типов более резко различных. Насколько во всех движениях Василия Васильича виднелась холодная сдержанность, обычное свойство дипломатов всех веков и народов, настолько же во всей наружности Бориса Алексеича так и бросалась размашистая славянская натура. Борис Алексеич был весь наружу и всегда нараспашку. В больших голубых глазах его почти постоянно искрилась беззаботная веселость, толстые подвижные губы дышали простодушием, а широкий нос, начинавший краснеть, выдавал слабость кравчего к увеселительным напиткам. Откровенный характер Бориса Голицына целиком выливается в каждой строчке последующей переписки его с Петром, в которой, например, встречается подобная подпись: «Бориско хотя быть пьян».

Но некоторые черты у обоих братьев были общими. Оба считались передовыми, образованными людьми своего времени, оба были знатоками латинской премудрости, но один извлекал из нее уроки житейской горькой опытности, а другой беспечного наслаждения благами мира сего. Оба были преданы своему делу и тем, кому посвятили свои силы. Борис Алексеевич душой привязался к царице Наталье Кирилловне и ее сыну, игривому, бойкому мальчику. Не задумавшись, не моргнув глазом, не поведя бровью,

отдал бы жизнь свою Борис Алексеевич за матушку царицу и за своего питомца Петра и отдал бы со своей всегдашней любящей, незлобной улыбкой. Отдал бы жизнь свою и Василий Васильич за свое дело, но отдал бы не опрометчиво, а испробовал бы прежде всего все другие обходные средства, обезопасил бы себя от неприятных случайностей.

— Я тебе говорю, брат Василий Васильич, он удивительный ребенок. Ты всмотрись хорошенько в глаза, в каждое его движение: огонь, пламя. Как быстро схватывает на лету каждую мысль и не как-нибудь, а целиком и не какую-нибудь обиходную, а над которой голову поломаешь.

— Ну, ты судишь пристрастно.

— Хорошо — согласен. Я сужу пристрастно... не отрекаюсь... я люблю его... Ну, спроси датского резидента.

— Жаль, если таким способностям не дадут хорошего развития, а, как я знаю, его выучил только одной грамоте дьяк Никита Зотов.

— В этом я с тобой, Василий Васильич, не согласен. По-моему, пичкать и набивать молоденькую головку ребенка ученьем бездарных учителей — приносить только вред. А где у нас хорошие учителя? Правду сказал наш Симеон Полоцкий о воспитании:

Плевелы от пшеницы жезл тверд отбивает,
Розга буйство из сердец детских прогоняет,
Родителем древянный жезл буди...

— Положим, при Наталье Кирилловне древянный жезл в употреблении не был, а все-таки в воспитании то же бездарное вколачивание.

— У нас хороших наставников, конечно, вовсе нет, но можно бы найти толкового иностранца.

— Да, конечно, можно б. Да и говорили одно время о генерале Мезениусе... как-то не состоялось. Сама Наталья Кирилловна не желает изнурять ребенка... Может, и к лучшему. Пусть мальчик растет и набирается силы — пригодится потом.

А недостаток познаний пополнится. При бойкости и остроте он в час сделает, что другой в год. Посмотрел бы ты на него в Преображенском, на его игры с мальчишками.

— Возня и беганье с дворовыми мальчишками едва ли, Борис Алексеевич, полезны ребенку. Разовьются дурные наклонности, неблагородные привычки.

— А по-моему, дурного тут нет. Никакой мальчишка на него влияния иметь не может. Он всех их выше и умней: ему теперь не вступило 11 лет, а кажет лет четырнадцати.

Да и игры их — потешные бои, баталии, постройка крепостей и оборона их всегда на моих глазах. И посмотрел бы ты, как он распоряжается! Нет, брат, с ним сладить нелегко. Вот годика через три-четыре из него выйдет прямой русский богатырь. Несдобровать тогда сестрице Софье.

— Улита едет — когда-то будет. Да и царевна сама не очень покладистая женщина... не даст себя сломить мальчику.

— Ну, брат, каков мальчик! Наш скоро сделается орлом... не под силу будет бороться с ним царевне. Не забудь, брат, что все эти смуты стрельцов и раскольников, убийства родных и дорогих лиц не могли не засесть в впечатлительную душу ребенка, а все эти смуты связаны с именем царевны...

— Так по-твоему, Борис Алексеевич, Софья Алексеевна выходит заводчицей смут... Не кажусь ли я убийцей?

— Трудно судить, а тем больше обвинять в тайных делах, но...

— Да тут и тайны никакой нет, а дело явное. Стрельцы бунтовали и прежде, злились на начальство. Мудрено ль сорвать злобу, когда не было твердой руки в правлении. На Нарышкиных оборвалось, как на временщиках...

— Не спорю, брат Василий Васильевич, и не хотелось бы видеть в царевне злодея, а все-таки, Бог знает, чего бы не дал я видеть тебя между нас, людей, преданных настоящему государю, а не в ряду сторонников царевны,— с глубокой грустью высказался Борис Алексеевич.

— Не должен ли я стать наряду с Нарышкиными? — с раздражительностью и несвойственной живостью отвечал Василий Васильевич.— Не получать ли мне от них милостивые слова, как подачек? Нет, брат, я выбрал дорогу по убеждению и твердо пойду по ней, куда бы ни привела... хоть на плаху. Не мог и не могу иначе,— продолжал он все с большим одушевлением.— Государство при последних годах Алексея Михайловича и при Федоре стояло на скользком пути, оно расшатывалось от прежних тяжких неустройств. Вести государство в такое время не мог ребенок, да и из приближенных Нарышкиных не было способных. Ты укажешь, может быть, на Артамона Матвеича? Хорош он был в свое время, как советник такого государя, как Алексей Михайлович, а заправлять смутой не его силе. А между тем еще при Федоре я сошелся ближе с царевной, узнал ее ум, образование, твердую волю, верный взгляд и горячее желание блага государству. Это сближение решило...

Василий Васильевич вдруг замолчал. Разговор оборвал-

ся. Оба брата невольно сознали невозможность дальнейшей откровенности.

— В каком, однако ж, мы странном положении,— первым заговорил Борис Алексеевич,— вдруг убежали из Москвы и бегаем теперь, как от гончих.

— Гоняться-то теперь никто еще не гонится, а могут гнаться, и надо принять заранее меры. Сегодня я разослал окружные грамоты в Суздаль, Владимир и другие ближние города с призывом ополчения и велел гонцам лично наблюдать за сбором поместных. Как только соберется сколько-нибудь, тотчас вести сюда, не ожидая других.

— Сколько тревоги по милости этих стрельцов... не мешало б обуздать.

— Для безопасности государства это, пожалуй что, и необходимо, да подходить-то к такому делу надо с большой опаской.

Больше этого Василий Васильич или не мог, или не хотел сказать.

Разговор опять приостановился.

— А когда вы ждете первых поместных?

— Да так, дня через два или три.

— Как вы их разместите здесь? Видишь — везде какая теснота?

— Я говорил уж об этом царевне... Кажется, она думает ехать в конце этой недели в Троицкий монастырь через Воздвиженское — дворцовое село.

— Ну... опять перебираться,— заметил с неудовольствием Борис Алексеич,— да когда же перестанем прятаться?

— А вот что Бог даст. Что делать — время такое тяжкое...

— Однако поздно, брат. Пора спать. Прощай.

Братья расстались, отправясь каждый в свое помещение.

ГЛАВА XVII

Почти три недели миновало с выезда царского двора и приближенных бояр из Москвы. Испуганные жители, торговые и посадские люди ждали какой-нибудь решительной перемены, и это ожидание томило умы неопределенным, давящим кошмаром. Спокойными казались только одни стрельцы, а в особенности любимый начальник их, князь Хованский.

Оставаясь в Москве полным распорядителем судьбы государства, благодаря всемогущей поддержке стрелецких

полков князь не проявлял никакой деятельности, не принимал никаких мер, которые могли бы его подвинуть к исполнению его заветной цели. Это был один из тех так часто встречаемых характеров, которые сильны и деятельны только под влиянием посторонней силы, которые способны и к великим подвигам, но когда их приведет к тому сила обстоятельств. Но когда обстоятельства выставляют их самих действующими лицами и решителями общественных вопросов, тогда эти случайные герои безучастно складывают руки. Так и теперь Хованский оставался спокойным более всех москвичей и выжидал извне какого-либо указания, не понимая всей важности настоящего положения дел и серьезности роли, которую бросила ему судьба.

В таком странном положении князь мог бы оставаться бесконечно долго, если б не вывел его опять-таки случай извне. В Москву прискакал гонец с известием о скором приезде туда сына малороссийского гетмана. Надобно было принять гостя, необходимо было сказать слово по назойливому общественному делу. И вот Хованский — Тараруй почувствовал себя не в уровне с обстоятельствами, не способным к самостоятельному ходу и вместо всяких личных распоряжений поспешил уведомить царевну о скором прибытии гостя и просить ее указаний. Но вместо просимых инструкций он получил от царевны милое письмо, в котором она так ласково и любезно хвалит его за верную службу и так приветливо приглашает приехать к ней на свидание для совещания по малороссийским делам.

Быть или не быть? Ехать или не ехать?

Ехать значило ставить себя в положение опасное, отдать себя в руки врагов, от которых трудно ожидать пощады, судя по молве о призывных грамотах земских ратных людей; не ехать значило сделать решительный шаг к восстанию, открыто поставить себя узурпатором.

После долгих колебаний князь решился на первое, как более согласное с его личной храбростью и слабостью воли. Да и чего ж было опасаться? Не служил ли порукой безопасности самый день свидания 17 сентября, день именин царевны Софьи Алексеевны? Можно ли бояться ему, князю Хованскому, обожаемому стрельцами, готовыми на защиту его встать поголовно? Да ведь и не один же он и поедет-то на свидание в село Воздвиженское — с ним будет его многочисленная дворня и хоть немногочисленный, но верный отряд стрельцов, которых не испугает какой-нибудь мужичий сброд вовсе не привычных к ратному делу? А между тем свидевшись лично с царевной, он досконально узнает

положение дел и вернее сможет определить свои будущие отношения.

Неприветливо проглянул на свет Божий день 17 сентября. Однообразным, сереньким полотном закуталось так недавно сиявшее и блестевшее голубое небо. Мелкий, почти нераздельный для глаза дождик моросил без устали, образуя какой-то сплошной туман. Сырой воздух с резким ветром обхватывал человека, проникал под его одежду и раздражал даже привыкшие ко всякой непогоде нервы. В такую непогодь дороги становились почти непроходимыми. Грязь налипала к колесам, уходившим по ступицу в размокшие колеи. Лошади тонули в топкой глине, откуда с трудом выдирали ноги.

Угрюмо подвигались небольшой поезд и свита князя Хованского в это утро по дороге к селу Воздвиженскому.

— Ну уж погодка! И что это батюшке вздумалось в такое время тащиться к царевне и за каким прахом! Бросила Москву — сама виновата... проживем и без нее,— говорили провожатые стрельцы, ежась и кутаясь, протирая глаза, утирая носы и отворачиваясь от свежего, резкого ветра.

Невесело было и на душе самого князя. Тяжелым камнем лежали на сердце его размолвки с преданным другом, полковником Одинцовым и с любимым старшим сыном Иваном. Оба они настойчиво уговаривали его не ехать к царевне, не верить льстивым словам и оба, однако ж, не хотели отделиться и покинуть его в минуты опасности. Одинцов провожал его, а сын отделился только на время, по крайней нужде заехать по дороге в свою вотчину на Клязьме.

Напрасно пытался князь рассеять свои мрачные думы, рисуя в воображении ласковый прием царевны, ее внимательность к нему предпочтительно перед всеми боярами, похвальные речи, угодливость его желаниям и, наконец, теплый приют и вкусный обед. Помимо воли непослушная мысль вдруг переносилась от лакомых яств к обезглавленному трупу Пустосвята, от задушевных звонких речей царевны к свисту секиры над плахой, от фряжских вин к теплой крови. Перекрестился князь — и крест не помогает.

— Что за чертовщина лезет в голову,— говорил он с досадой, отряхиваясь и внимательно всматриваясь в дорожную смурую даль, а между тем снова перед глазами те же бессмысленные глаза Пустосвята. И вот кажется князю, будто бы безжизненный труп оживает, глаза загораются ярким огнем, немые уста шевелятся, и вот чудится князю, будто мученик машет ему рукой, зовет к себе.

С большим трудом и вдосталь намучившись, поезд проследовал только 25 верст и продвинулся к патриаршему селу Пушкино. Необходимо было и коням дать отдых, и людям перекусить. Раскинули шатер у пригорка при опушке леса за пушкинскими крестьянскими гумнами. Это был последний отдых князя.

Извещенная о намерении князя Хованского приехать к ней в село Воздвиженское 17 сентября, правительница поспешила принять решительные меры. По приезде в Воздвиженское, встретив первые отряды ратных людей, прибывших по призыву ее на защиту царского дома, она тотчас же распорядилась послать их под начальством боярина князя Ивана Михайлыча Лыкова на дорогу из Москвы в Воздвиженское караулить князя Хованского, захватить его и привезти под крепким караулом к ней.

Лыков расположил свой отряд по избам села Пушкино, выставив на дорогу наблюдательные сторожевые посты. Вскоре гонцы из расставленных постов один за другим донесли ему о приближении князя Хованского к селу Пушкино, а вслед за тем и о выборе им места для отдыха. Собрав свой отряд и проведя его незаметно по опушке, он вдруг, словно цепью, окружил шатер князя. Безоружные, ошеломленные дворня и стрельцы, конечно, не могли сопротивляться, точно так же, как и князь с Одинцовым.

— Сдайся, князь! — сказал вошедший в шатер Хованского Лыков.

— Как смеешь ты нападать на дороге, как разбойник? Разве не узнал меня! — нахмурившись, спросил князь.

— Узнал, Иван Андреич. Только я не дорожный разбойник, а слуга царский и беру тебя по приказу царевны. Не самовольно же я мог взять ратных людей!

— Ты лжешь! Я покажу тебе милостивое письмо самой царевны ко мне с приглашением.

— Может, князь, царевна и вызвала тебя ласковым приглашением из Москвы, как гостя дорогого, а по дороге велела схватить тебя, как изменника и ослушника.

Спорить не приходилось. Князь и Одинцов дозволили обезоружить себя и связать. Их обоих посадили на крестьянскую телегу.

— Теперь, ребята, за князем Андреем,— распорядился князь Лыков, садясь на коня и отправляя в то же время нарочного гонца к царевне с известием о благополучном выполнении поручения.

Отряд двинулся к вотчине князя Андрея Хованского.

Здесь дело не обошлось так легко. Выехав на деревен-

скую площадь и окружив господский дом, князь Лыков хотел войти туда, но двери оказались запертыми. На грозное требование отворить их в ответ отворились окна в верхнем жилье и выставились дулы ружей.

— Стреляйте в разбойников! — послышался голос князя Андрея. Раздались выстрелы, и один раненый свалился из нападавших.

— Ко мне, сюда, молодцы, с топорами! Ломайте двери! — закричал Лыков, и толпа ратников бросилась на крыльцо. Здесь они были безопасны от выстрелов из окон. Под дружными ударами топоров скоро выломались сенные двери, и толпа ворвалась в комнаты. Испуганная дворня побросала ружья и бросилась бежать, оставив князя Андрея одиноким. Несмотря на отчаянное сопротивление последнего, его обезоружили, связали и усадили в телегу рядом с отцом и Одинцовым.

Выразительным взглядом обменялись отец с сыном: на любовную мольбу отца, как будто искавшего прощения, ответило горячее скорбное участие сына. Одинцов сидел, опустив голову.

Окончив вполне поручение, отряд, сопровождая телегу с пленниками, двинулся к селу Воздвиженскому.

Во всю непродолжительную дорогу на тряской телеге пленники не разменялись ни словом. Томительно-жгучий, недоумевающий вопрос поднимался у каждого в голове, хотя решение могло казаться неизвестным только для самих жертв.

Человек по природе своей существо самообольщающееся. Как бы ни были грозны и тяжки обстоятельства, он всегда отыщет в них сначала вопрос, недоумение и сомнение, потом благоприятную для себя сторону и, наконец, дойдет до полной уверенности в светлом обороте. И даже чем грознее и очевиднее обстоятельства, тем сильнее работает самообольщающееся чувство. То же испытывал и старый князь. Ошеломленная неожиданностью удара, его мозговая система парализовалась, но потом, мало-помалу освобождаясь от тяжелого впечатления, он стал обдумывать свое положение.

«Что ж это значит? — начал он вопросом.— Зачем бы так поступать царевне с таким верным и преданным слугою, как я? Не я ли работал для нее со стрельцами и не я ли подвел ее к престолу? Не я ли защитил ее от старых ревнителей православия? Нет... Тут должна быть очевидная ошибка. Могла царевна обмолвиться, мог и Лыков обслышаться, принять одно имя за другое... мало ли у царевны

ворогов. Вот приедем — все разъяснится... тогда уж я потребую полного удовлетворения... Да и опасаться мне нечего,— продолжал убаюкивать себя князь,— мои детки-стрельцы разве потерпят лиха надо мной! Как только узнают — а узнают они тотчас же,— всеми полками явятся в Воздвиженское, камня на камне не оставят, скорее весь царский двор изведут, а меня выручат. Может, это еще и к лучшему... сама судьба ведет к гибели моих ворогов... Припомню же я Ивану Михайлычу».

В это время телега и ратники въезжали в длинную улицу села Воздвиженского. На улице было людно, так как до солнечного заката было еще далеко. Во многих местах то толпились кучками, то расхаживали по одиночке вновь прибывшие земские ратники. Все останавливались и провожали глазами проезжающую телегу с пленниками, и из многих кучек слышались слова:

— Ага, попался-таки изменник! Недолго, значит, мы будем здесь гостить. Скоро, как раз вовремя поспеем в поле к бабам на помощь.

Телега между тем въезжала на центральную площадь села перед царским дворцом. На площади точно так же сновали люди и в особенности на одной стороне ее, где лежало случайно оставленное толстое бревно. Тут недалеко от этого бревна, почти против царского дворца, остановилась телега, и пленников поставили на площади. Недолго пришлось им ожидать решения своей участи. Не прошло и десяти минут, как с дворцовой лестницы уже сходили бояре с дьяком, в руках которого находился уж готовый боярский приговор.

Подойдя к обвиняемым, дьяк прочитал звонким голосом во всеуслышание толпившемуся народу:

— «Князь Иван! Заведывая Стрелецким приказом, ты действовал самовольно без доклада государям, ты раздавал денежную казну и тем, кому не надлежало, в отягощение государства и народа, ты позволял стрельцам входить в царские палаты с наглым невежеством, ты пытал и истязал в стрелецком приказе многих людей, твоему суду неподсудных, ты взыскивал незаконно бесчеловечным правежом с разных лиц большие суммы, ты дозволил стрельцам беззаконно собрать с дворцовых волостей более 100 000 рублей, ты, не уважая царского присутствия, пред всеми боярами с чрезмерной гордостью похвалялся своей службой, ты несколько раз высказывал в палате, что государство стоит только по твою кончину, а после тебя все будут ходить по колена в крови, ты с дерзостью и наглым шумом оспаривал

дела, вершенные по уложенью, оскорбляя свою братью бояр и даже угрожая им копьями, ты восставал вместе с раскольниками на св. церковь и потом защищал их от заслуженной кары, ты ослушался царских указов об отправлении стрельцов для защиты казанских мест от калмыков и башкирцев, ты не отпустил в село Коломенское Стремянной полк ко дню тезоименитства царя Иоанна Алексеевича, ты ослушался указа и не присутствовал в Москве на праздновании нового лета в неприязнь к патриарху, ты насказывал царевне Софье Алексеевне на новгородских дворян, что они собираются на Москву для избиения всех без исключения, ты своевольно назначал в города воевод, ты насказывал на надворную пехоту, будто она питает мятежные замыслы, которых в действительности у нее не было, и в то же время надворной пехоте, не выходя из царских палат, говорил смутные речи. К тому ж на тебя явилось в селе Коломенском обвинительное письмо (при этом дьяк прочитал все подметное письмо). А так как воровские дела твои с тем обвинительным письмом сходны, злохитростный умысел твой на царское здоровье обличился и измена твоя несомненна, то *великие государи указали тебя, князь Иван Хованский, за многие твои великие вины и за многие воровства и за измену казнить смертью*».

Смертный же приговор был прочитан и сыну князю Андрею, но только в нем, вместо исчисления вин, глухо упоминалось «за многие преступления».

Гробовое молчание последовало за объявлением приговора.

— Без суда и без розыска обвиняете меня, бояре, братья мои. Самого последнего холопа, ведомого злодея, вы спрашиваете, слушаете его оправданий, а меня лишаете слова, не захотели выслушать от меня правды. Я виноват перед вами, братья, я унижал и оскорблял вас, но в преступлениях я неповинен. Я всегда служил царевне честно всеми своими силами. За что же казнить меня? Молю вас, братья, выслушайте меня, выслушайте мою правдивую речь, исповедь мою, как пред Богом. Вы узнаете тогда, кто виноват, какого голоса я слушался, и вы отмените приговор. Я навсегда удалюсь отсюда, не буду мешать вам, похоронюсь в далеких лесах, и никогда не услышите имени моего — только не убивайте меня, не отрывайте навсегда от жены и малых детей. Вы сами мужья и отцы, вы исполните мою последнюю просьбу: доложите царевне о моем молении, и я вечно буду молить за вас Бога.

Правда слышалась в судорожном, прерывистом, полном

рыдания голосе старого князя и отозвалась участливым ответом в сердцах многих. Двое бояр выделились из толпы и пошли ко дворцу. Их встретил во дворце, в первых же комнатах, боярин Иван Михайлович Милославский.

— Царевна приказала сейчас же исполнить приговор и не слушать от князя никаких оправданий,— проговорил он, не давая высказать боярам ни слова.— А ты, полковник,— продолжал он, обращаясь к начальнику Стремянного полка,— приведи скорей надежного стрельца для выполнения казни.

Бояре и полковник вышли на площадь. Молча бояре заняли места свои.

Немым, тревожным вопросом уставился князь в глаза пришедшим и понял бесплодность попытки.

Часто видел старый князь смерть в кровавых боях и смело, нетрепетно смотрел ей прямо в глаза, ведя свой полк в жестокий огонь. Отчего же теперь так бледно лицо его? Отчего так нервно подергиваются его члены? Казалось бы, дело привычное... Нет, никогда человек не может привыкнуть к смерти, никогда не может с ней освоиться. Смерть в бою представляется случайностью, имеются некоторые шансы на спасение... Человек увлекается примером товарищей, укрепляется необходимостью долга, воодушевляется идеей. Фанатик мужественно и без всякого колебания встречает смерть ради развития идеи, поглощающей все его существо. Умирает с наслаждением еще тот, кто потерял для себя цель жизни, все для себя дорогое и видит в будущем только долгую, бесконечную цепь страданий. Но князь Хованский не принадлежал к числу таких лиц. Он не был фанатиком, он видел в жизни только одну привлекательную сторону: общественное положение вполне удовлетворяло его самолюбию, любовь жены и детей приносили ему только радость. Он черпал все блага земные, еще не пресытившись ими. И вот все это должно порваться — и как порваться! Бесчестно, позорно, с клеймом для близких, с вечным осуждением потомства!

Ужас насильственного перерыва жизни, еще не исчерпанной и еще жаждавшей, леденил весь организм старого князя. От чрезмерного напряжения духа умственные представления прожитого быстро, неопределенно и смутно сменялись: то мелькало перед его глазами детство с такими давно забытыми подробностями, которых могла вызвать только такая усиленная до последних пределов работа духа, то рядом с детством врывались в память образ царевны, некогда, может быть, слишком им горячо любимый, то

образы товарищей — бояр, к которым уж не ощущалось в глубине сердца ни гнева, ни сильной злобы, то образы жены, детей, стрельцов и всего, что имело для него живую окраску.

Не слыхал князь, как грубая рука служителя взяла его за руку, подвела к лежавшему на площади бревну, поставила на колена и наклонила его голову так, что шея приходилась на самой верхней окраине бревна. Но это еще не конец. Судорожно дрогнули нервы, и голова снова поднялась: мелькнула мысль: молиться... молиться...

— Господи! Господи! — начали шептать бескровные губы, но дальше слов не было, они не навертывались на язык, не облекались в форму человеческой речи. Это была молитва духа, последнее прощание с земным. Стремянной стрелец снова наклонил голову князя, снова обнаженная шея очутилась на бревне. Секира взвизгнула в воздухе, и голова князя отлетела от бревна... полились потоки крови...

Князь Андрей рванулся вперед к трупу отца, схватил отлетевшую голову, из которой текла ручьями кровь, долго и нежно целовал в сомкнутые глаза и губы.

— Ну пойдем, князек, за тобой очередь...— сказал ему исправлявший должность палача, взяв за руку молодого князя и подводя его к окровавленному бревну. Юноша сам скинул боярский кафтан, три раза перекрестился двуперстным знамением, глянул на него и без всякой жалобы, ропота, не промолвив ни одного слова, обнажил сам шею и положил ее на бревно. Во второй раз сверкнула секира в воздухе, и другая голова отскочила от бревна. Кровь отца и сына слилась вместе.

Тупым и бессмысленным взглядом следил за казнью любимого начальника и его сына третий пленник, стрелецкий полковник Одинцов. Ему не был прочитан приговор, и он не считал себя осужденным... И вдруг, к его крайнему изумлению и ужасу, палач, после казни Хованских, прямо подошел к нему и точно так же взял за руку.

— Прочь от меня! Меня не судили, мне не читали приговора,— кричал несчастный, отдергивая локоть из сильной руки палача.

— Не читали... стало, и не стоило, а мне приказано.

Одинцов упирался и отбивался всем телом, и хотя руки его были связаны, но нервное напряжение до такой степени удвоило его отчаянные усилия, что потребовалась помощь нескольких служителей. Одинцова скрутили и уложили на плаху:

— Матушка царевна Софья Алексеевна! Смилуйся! Заступись! Я ни в чем неповинен перед тобой... За что хотят казнить меня! Я ль не служил тебе! Бояре, дайте мне время покаяться!

Недолго раздавались мольбы и вопли несчастного. В третий раз сверкнула секира, и еще новая голова покатилась по земле, облитая кровью.

Народ стал расходиться с площади молча, под тяжелым впечатлением виденного; не слышалось уже укорительных, бранных слов. Не в русской натуре осуждать наказанного.

Трупы казненных Хованских, отца и сына, сложили вместе в один гроб и перевезли в село Троицкое, городец то ж, близ села Воздвиженского, а тело Одинцова просто зарыли в ближайшем лесу.

ГЛАВА XVIII

В комнате, смежной с опочивальней царевны Софьи Алексеевны, у окна, из которого открывался вид на всю площадь, во время совершения казни находились сама царевна, боярин князь Василий Васильич Голицын, боярин Иван Михайлович Милославский и Федор Леонтьевич Шакловитый.

Царевна сидела за столом, боком к окну, облокотившись на левую руку и отворотившись вполоборота от площади. Во всей фигуре ее, полной самообладания и сдержанности, едва было можно уловить определенное выражение чувства и внутреннее волнение. У противоположной стороны стола, прямо к окну стоял боярин Милославский, не сводивший глаз с площади. Лицо его, истощенное страстями и носившее ясные следы той болезни, которая недолго спустя после казни Хованских свела его в могилу, было бледно и подвижно. По вниманию, с которым он следил за разыгрывающейся драмой, по легкой усмешке, вырезавшейся еще более глубокой складкой у углов рта, по расширенным ноздрям можно было ясно видеть в нем если не автора, то главного актера драмы. Напротив того, насколько внутреннее движение пробивалось у царского свойственника, насколько оно было похоронено у князя — оберегателя. В его полуопущенных глазах невозможно было ничего прочесть, кроме обычной мягкости. Да и стоял он в полутени, позади царевны. Подле боярина Голицына, несколько позади, стояло новое лицо в интимном кружке царевны — Федор Леонтьевич Шакловитый.

По первому взгляду можно было судить, что этому лицу будет предстоять видная роль. Высокий, стройный, с выразительными чертами лица, он выдавался именно тою энергическою красотою, которая так нравится женщинам. Черные волосы, смуглый цвет лица, правильные, хотя и резкие линии, большие черные глаза, из которых так и била беззаветная отвага, составляли тип совершенно противоположный тому типу, представителем которого мог назваться Голицын. Это был тип физической силы, не лишенной здравого ума, но и не надломленный чрезмерным развитием духовной стороны.

— Покончено... не раскаиваюсь,— говорила царевна медленно, ни к кому особенно не обращаясь, как будто заикаясь и к чему-то прислушиваясь внутри себя.— Такой порядок, какой был при Хованских, невозможен.

Никто не возражал.

— Василий Васильич не совсем согласен? — спросила она, уж прямо обратившись к Голицыну, и в то же время взгляд ее, скользнув с лица любимца, упал на красивого Шакловитого.

— Нет, царевна, я то же думаю. Порядки Хованского не могут быть допускаемы в государстве, но я полагал бы... было бы... могли бы быть и другие меры... не такие решительные...

— Других мер не было, Василий Васильич. Хорошо знаю князя Хованского. Никакой монастырь, никакие стены не удержали бы стрельцов освободить его... В этом, кажется, нельзя сомневаться...

— Да, государыня, но...

— Понимаю, князь. Ты хочешь сказать, что в Иване Андреиче я потеряла верного слугу, на которого могла бы иметь влияние. В том-то и беда, что на покойного,— при этом царевна перекрестилась,— могли иметь, если еще не больше, влияние и другие... Ты знаешь,— продолжала она уже с некоторым раздражением в голосе,— в какое опасное положение для всех стали стрельцы. Никто, начиная с нас и до последнего чернослободца, не был в безопасности. Я не менее твоего, Василий Васильич, против казней, не менее твоего жалею Хованских, но никогда не отступлю, когда потребует общее благо... А ты как думаешь? — спросила царевна, вдруг оборотившись к Шакловитому.

— По моему разуму, государыня,— отвечал Шакловитый,— к цели лучше идти смело, прямой дорогой, а то разные обходные пути могут сбить самого и привести совсем не туда, куда нужно...

Ответ понравился Софье Алексеевне, и она милостиво улыбнулась дьяку.

— В твоих словах много правды, Федор Леонтьевич,— заметил Голицын,— только не забудь: иногда прямая дорога бывает непроходною.

— Э... боярин, была бы воля... и новую можно проложить.

— По необходимости приговор мой исполнен, и говорить об этом нечего,— начала царевна после непродолжительного молчания.— Теперь надо подумать, кого назначить в Стрелецкий приказ и какие принять меры к обороне.

— По моему мнению, царевна,— высказался Голицын,— лучше всего назначить окольничего Змеева.

— Почему ж лучше, князь?

— Змеева, государыня, стрельцы знают давно и не будут против него, а он, хоть и не из худородных, а все из твоей воли не выйдет.

— Согласится ли он?

— Разве государыня должна спрашивать согласия у слуги своего? Будет не по силам, так и сам попросит уволить.

— Хорошо. Приготовь грамоту. Много будет хлопот ему, да и всем нам, как узнают стрельцы о смерти *батюшки*. Много ли у нас в сборе ратных людей, Василий Васильич?

— Стрельцов, государыня, не опасайся. Будут они горланить, да единства у них нет, а без единства только будет шум да пьянство. Притом же с нашей стороны надежные меры: сегодня переезжаем к Троице, где, как ты сама знаешь, есть и боевой снаряд и прочные стены, за которыми легко отсидеться.

— Медленно собираются, Василий Васильич, ратные люди, не послать ли гонцов с понуждением...

— Сегодня утром, царевна,— отвечал Василий Васильич, вынимая из кармана книжечку и справляясь с заметками,— я отправил боярина Петра Семеныча Урусова в Суздаль, Владимир, Юрьев, Лух и Шую; окольничего Матвея Петровича Измайлова в рязанские пригороды; боярина Алексея Семеныча Шеина в Коломну, Комиру, Тулу и Крапивну; казначея Семена Федоровича Толочанова в Кострому, Углич, Романов и Пошехонье; думного дворянина Зова Демидовича Голохвостова в Ростов, Ярославль и Переяславль-Залесский. Всем им я наказывал как можно настойчивей спешить, без всяких отговорок, сбором ратных людей к Троице во всем вооружении. С таким же требованием послал я тоже царскую грамоту и в Новонемецкую слободу

к полковникам и начальным людям. Вероятно, передовые скоро уж будут подходить.

— Кому поверить главное начальство, Василий Васильич?

— Кого назначишь, государыня. В твоей воле.

— Кому ж, как не тебе, родной мой. Изготовь грамоту о том, что государи оборону Троицы и все воинские распоряжения вверяют тебе, дворовому воеводе и ближнему боярину, а в товарищи к тебе напиши боярина, князя Михаила Ивановича Лыкова, думного дворянина Алексея Ивановича Ржевского и думного генерала Аггея Алексеевича Шепелева.

— Слушаю, царевна. А теперь позволь мне удалиться... прибираться к дороге.

— Ступай, князь, и торопи других к выезду,— сказала царевна, отпуская Голицына и Шакловитого.

Выйдя из комнаты царевны, они молча прошли все покои и молча спустились с лестницы. Только на последней ступени Шакловитый решился спросить всесильного любимца.

— Позволь мне сказать тебе, боярин, Змеев не сладит в теперешнее смутное время со стрельцами. Царевна, как я замечаю, желает сократить их, а Змеев не способен на такое опасное дело.

— Знаю.

— Какой же он начальник?

— Он и не будет.

— Да ведь царевна приказала назначить?

— Она приказала, да он сам откажется.

— Откажется... а кто ж будет?

— Кто? Ты, Федор Леонтьич...

— Я? Шутишь, боярин, надо мной — малым человеком. Стрелецким приказом всегда заправляли знатные бояре, а я, как ты сам знаешь, из худородных. И царевна не согласится.

Тонкая улыбка пробежала по губам Василия Васильича.

— Ныне, Федор Леонтьич, не прежние времена, считаться местами не след. Царевне не знатные роды нужны, а люди верные. Мало ль что может случиться... может, ты не только стрелецким начальником, а будешь и повыше... Будь только предан и не жалей головы...

— Я ли не предан, Василий Васильич? Отца и мать родных для нее не пожалел бы... Да и не только что за нее, я и за тебя готов голову свою сложить, кровь пролить.

— Хвалю тебя за это, Федор Леонтьич,— говорил князь

с той же тонкой улыбкой, смысл которой не высказывался словами.— Ты пойдешь далеко, но помни всегда: всем ты будешь обязан царевне... для тебя — она свет Божий. У других... у знатных — сильные руки в родне, а у тебя никого и ничего нет — только она одна... А за твое расположение ко мне — спасибо: верю тебе и надеюсь — надейся и ты на меня.

Новые друзья расстались, крепко пожав друг другу руки.

Отпустив любимца и думного дьяка, Софья Алексеевна крепко задумалась.

«Вот еще новый шаг по крови,— думала она,— а к чему он приведет? Какой мудрец ответит на это? Но к чему бы ни привел он, а я пойду вперед... Я одна в силах вырвать из болотной гнили и показать дорогу к лучшему... Я найду преданных людей и обопрусь на них, людей новых, с умом и дарованиями, дам им ход, с помощью их уничтожу злоупотребления тупого боярства».

Этими думами не старалась ли она обманывать и сама себя? Не представлялись ли эти новые люди в красивых чертах думного дьяка? Общим благом не маскировалась ли потребность собственного сердца? Ее любовь к милому Голицыну приняла с некоторых пор странное направление. Встретившись у постели больного брата в ту пору женского сердца, когда оно жаждет любви, несмотря на все оковы замкнутой теремной жизни, она полюбила его неудержимым порывом, но она полюбила бы в то время всякого... Но потом, когда насыщен был первый пыл страсти, стали возникать иные вопросы. Как передовой, умный и образованный человек, он упрочил за собой внимание и уважение молодой женщины, умевшей по собственному развитию оценивать эти качества, но вместе с тем стало все больше и больше выясняться различие характеров, наклонностей и воззрений. Житейская опытность, врожденная и еще более развившаяся от склада своих обязанностей, сдержанность и осторожность не могли приурочиваться к порывистой страсти женщины, только что начавшей так поздно жить сердцем. И эти чувства женщины оставались неудовлетворенными.

— Позволь и мне удалиться, государыня.

— Как, Иван Михайлович, ты здесь еще? — невольно сорвалось у царевны, смутившейся от неожиданности услыхать голос свойственника, о котором она совершенно забыла.

Действительно, Милославский, так внимательно следивший во все время за исполнением казни на площади, по

окончании ее отошел от окна в полутьму простенка и во все продолжение разговора хозяйки с обычным советником не высказал ни слова.

— Куда ж ты? — спрашивала царевна.

— Если позволишь, государыня, так я бы отъехал опять в вотчины свои... делишки там кой-какие есть... Да и здесь мне оставаться незачем.

— Ну как знаешь, родной, не удерживаю.

— Не удерживаю... не удерживаю...— бормотал про себя боярин Милославский, сходя с лестницы.— Вот тебе и награда за верную старую службу. Не удерживаю... значит, отправляйся, мол, на все четыре стороны, обойдемся де и без тебя. Старые слуги держатся старых порядков, а ты, Софья Алексеевна, пошла по новой дорожке... Только далеко ли уйдешь-то? Наметила ты себя высоко... да оборвешься... Новые люди тебя не поддержат... Они будут на стороне силы и закона, а сторонники твои будут крамольниками.

ГЛАВА XIX

Обыкновенно большие люди не замечают людей маленьких. Какое им дело до их ощущеньиц, чувствованьиц! Это так мелко, ничтожно, и не стоит обращать никакого внимания. Так и при дворе царевны Софьи Алексеевны не обратили внимания, что в числе зрителей казни князей Хованских находились: комнатный стольник царя Петра Алексеевича, юный сын казненного князя Иван Иваныч и друг его, сын окольничего, Григорий Павлович Языков.

Ужасное впечатление произвела на молодых людей казнь дорогих для них лиц, в их глазах невинных и погибших единственно по боярским интригам. Без определенной цели, под влиянием охватившего все их существо чувства злобы, поскакали они из села Воздвиженского в Москву и, не останавливаясь для отдыха, в ту же ночь явились в стрелецких слободах.

— Отца нашего казнили позорно по козням бояр,— кричали они собравшимся стрельцам,— без суда, без розыска и без царского указа! Покончив с отцом, бояре, по замыслам Одоевских и Голицыных, хотят истребить всех вас, стрельцов, с вашими женами и детьми, а дома ваши пожечь. Мы сами дорогою видели ратных людей, собранных боярами.

Язык глубокого и истинного чувства почти всегда отзы-

вается полным сочувствием, а тем более когда этот язык защищает наши личные интересы. Поэтому неудивительно, что почти одновременно по всем стрелецким полкам разлилось всеобщее волнение. В полночь же во всех съезжих избах ударили в набат и загремели барабаны. Прежде всего стрельцы бросились к пушечному двору и разграбили его. Из захваченных пушек часть увезли по своим полкам, а часть поставили в Кремле. Из других орудий, ружья и карабины, сабли и копья, а также порох и пули частью взяли себе, а частью раздали народу. Решившись *засесть* Москву, они поставили сильные сторожевые отряды в Кремле, на Красной площади, в Китае и Белом городе и начали устраивать несколько укреплений в Земляном городе, где загородили улицы насыпями и палисадами. Семейства свои и имущество для большей безопасности стрельцы перевели из своих слобод в Белый город.

Москва неожиданно, негаданно, вдруг, в одну ночь преобразилась в военный город. Почти на всех площадях раздавались грозные крики стрельцов, ружейные выстрелы, треск барабанов и грохот колес от перевозимых пушек и пороховых ящиков. Испуганные мирные жители впросонках повскакали с постелей, не зная причины волнения, и в страхе и трепете ожидали общей резни.

Но во всей этой суматохе не было единства, не было головы, способной руководить определенным движением. Самые смелейшие требовали немедленного похода на Воздвиженское уничтожить бояр, весь царский двор и преобразовать государство. Ночью они ворвались в Крестовую палату, разбудили патриарха и требовали от него грамот в украинские города с призывом оттуда на помощь служилых людей. Напуганный патриарх плакал, умолял успокоиться, не верить подстрекательствам, терпеливо ожидать царского указа и не решаться на своевольный поход.

— Знай,— отвечали ему мятежники на увещевания,— если и ты заодно с боярами, так убьем и тебя.

Часы проходили, а буйные толпы не приходили ни к какому решению. Одни упорно кричали: «Идем в Воздвиженское на бояр!», другие, более осторожные, говорили: «Подождем, пока все выяснится».

Настало утро... Вдруг шумная толпа, стоявшая в Крестовой палате, заколыхалась: сторожевой отряд привел к патриарху схваченного у заставы гонца, стольника Петра Зиновьева, посланного из Воздвиженского с царскою грамотою к патриарху. Стрельцы требовали прочитать им грамоту вслух. В этой грамоте цари извещали патриарха

о казни князей Хованских за вины, которые уже известны из обвинительного приговора, и указывали объявить о том всему духовному ведомству.

Вслед за Зиновьевым явился к надворной пехоте стольник Григорий Бахметьев с грамотою, в которой цари извещали о том же пехоту, убеждали служить верно по-прежнему, не верить никаким коварным наветам и не опасаться ни опалы, ни гнева. По неопределенности своей грамоты эти, конечно, не могли успокоить мятежников, и они продолжали ожидать с часу на час нападения бояр с ратными людьми.

Прошли сутки, а никакого нападения не было, и это, видимо, успокоило стрельцов. Одумавшись на другой день, бунтовщики явились к патриарху уже с поклоном и просьбой отписать к царям, что с их стороны никакого злого умысла нет, что они готовы служить верно по-прежнему и что они умоляют царей возвратиться в Москву, так как такое долгое отсутствие царей их крайне смущает. Патриарх старался их успокоить, объясняя отсутствие государей древним обычаем творить шествие в Троицкую лавру в память преподобного Сергия и обещаясь донести царям о желании надворной пехоты. Действительно, он исполнил свое обещание, послал вместе со стольником Зиновьевым в Троицкую лавру архимандрита Чудова монастыря Андриана, но поручил последнему тайно предостеречь царевну насчет стрельцов, не отказавшихся еще совершенно от мысли истребить бояр.

Предостережение едва ли не было излишним. Правительница знала хорошо положение дел и приняла свои меры.

Лавра, поступившая в ведение нового дворцового воеводы, приняла очень внушительный воинственный вид: на раскатах стояли пушки, по стенам размещалась воинская рать, ворота охранялись достаточной стражей, а по дороге к Москве, по всем оврагам, расположились наблюдательные отряды. С каждым часом прибывали ополченцы, но, находя прибывающие отряды все еще недостаточными, царевна послала с новыми понуждениями стольника князя Порфирия Иваныча Шаховского в Дмитров, Кашин, Углич и Бежецкий Верх, стольника князя Ивана Федорыча Волконского в Старицу, Тверь, Торжок и Клин, стольника Дмитрия Артемьича Камынина в Можайск, Верею, Рузу, Звенигород, Борисов и Волоколамск, стольника Ивана Богданыча Яковлева в Калугу, Малоярославец, Боровск, Воротынск и Перемышль, стольника Михаила Денисыча Тургенева в Серпухов, Алексин и Одоев.

Увидев наконец в распоряжении своем значительные силы, Софья Алексеевна стала действовать смелее и решительней. В ответ (20 сентября) на прошение стрельцов, переданное патриархом чрез архимандрита Адриана о возвращении царей в Москву, она уже твердым тоном потребовала от стрельцов отказаться от всяких мятежных действий за казнь Хованских, напомнила им о достоинстве царской власти и об обязанности безусловного ей повиновения. Вместе с тем она поручила патриарху убедить стрельцов в ее добром расположении, если только они раскаются, будут служить верно и дадут обязательства в своей преданности, доказательством которой должна служить присылка в Троицкий монастырь лучших людей по 20 человек от каждого полка. Увещания патриарха должен был поддерживать присланный для смотренья в Москву боярин Михаил Петрович Головин.

По мере того как укреплялась одна сторона, сторона правительства, падала бодрость духа у стороны мятежников. Сознавая свое полное бессилие в виду сбирающихся в стороне лавры земских ополчений, они думали только о том, как бы выйти живыми из своего критического положения. По словам очевидца Медведева, вместо прежних буйных криков в стрелецких слободах господствовали уныние и ужас. Так, недавно суровые мстители теперь плакали, как дети, безропотно перенося насмешки мирных обывателей.

— Куда вам, сиволапым, указывать великим государям и распоряжаться умными людьми! — говорили им в глаза успокоенные москвичи, и, сознавая справедливость насмешек, стрельцы молча выносили оскорбления. По-прежнему толкались они в Крестовой палате, но теперь уж не с наглыми требованиями, а со слезной мольбой о заступлении и о милости. Подозревая в требовании выборных лучших людей назначение им заранее смертного приговора, они несколько дней колебались, но наконец успокоенные словами патриарха, решились исполнить и это требование царевны.

24 сентября выборные выступили из Москвы в Троицкий монастырь в сопровождении Суздальского митрополита Иллариона, простившись с братьями, родными и товарищами, как прощаются перед эшафотом. Убежденные в неизбежной смерти, несчастные выборные во всю дорогу воображали видеть везде засады, поимки и казни. В каждом встречавшемся им отряде ратных людей на пути через села Мытищи и Пушкино они ожидали своих палачей, но отряды проходи-

ли мимо и мимо. Когда же перед селом Воздвиженским они увидели сплоченную, многочисленную рать, бодрость их совершенно покинула. Многие из выборных убежали, да, вероятно, они разбежались бы и все, если б не подоспел к ним стольник Нармацкий, высланный царевной с милостивым словом и обещанием полной безопасности.

Положение стрельцов действительно было опасное. Сильные отряды земских ополченцев все теснее и теснее железным поясом стягивали Москву: на Тверской дороге в селе Черкизове стоял Северский полк боярина князя Андрея Иваныча Голицына, на Владимирской дороге Рогожу занимал Владимирский полк воеводы князя Петра Семеныча Урусова, на Коломенской дороге, у Боровского перевоза, находился Рязанский полк боярина и воеводы Алексея Семеныча Шеина и, наконец, Заоцкий полк боярина и воеводы Ивана Федоровича Волынского располагался в Вязьме, на Можайской дороге. Правда, все эти войска составляли толпы непривычных к ратному делу людей, неспособных выдерживать правильного боя с обученными стрельцами, но тем не менее они подавляли и душили массами.

Между тем выборные, прибыв к Троице, с тревогой ждали решения своей участи. 27 сентября царевна Софья Алексеевна вышла к ним, и очевидцы передали нам речь ее, в которой вместо прежних просьб и жалоб слышалось неудовольствие укрепившейся власти. Выборные, стоя на коленях, униженно молили о прощении, каялись в своих заблуждениях и вручили царевне письменную сказку служить на будущее время неизменно, не слушая никаких наветов. Царевна похвалила покорность, дозволила им возвратиться домой и объявить товарищам, что государи готовы простить их, но только с условиями, о чем будет написано в особой грамоте.

— Но если не выполните этих условий,— сказала в заключение царевна,— то горе вам! Великие государи пойдут на вас с великим воинством.

Радостные отправились домой накануне праздника Покрова Богородицы выборные, и радостно встретили их в Москве товарищи, отчаявшиеся видеть их живыми. После обедни в праздник Покрова патриарх созвал стрельцов в Крестовую палату и прочитал им царскую грамоту, в которой высказывались условия прощения. Условия эти состояли: 1) мятежей на будущее время не возбуждать, кругов не устраивать и к крамольникам не приставать, 2) о всяких смутных наветах и подстрекательствах доносить тотчас же в приказ надворной пехоты, 3) к начальствующим с наглостью не ходить, никого не клепать и не в свое дело не

вмешиваться, 4) самовольно никого не хватать и быть у начальников в безответном послушании, 5) боевой снаряд, самовольно взятый с казенного двора, возвратить в целости, 6) на царскую службу, хотя бы и в поход, отправляться беспрекословно, 7) чужих дворов не отнимать и не сговаривать в пехотный строй несвободных, 8) никого без царского указа в стрельцы не приписывать, а принятых прежде в смутное время возвратить назад их помещикам, 9) за казнь Хованских не вступаться ни под каким предлогом, 10) служить государям вперед непоколебимо верно, покорно и с чистым сердцем и 11) если кто прежние дела начнет хвалить или затеет новое смятение или же кто, услыша о таких преступных замыслах, не донесет, того казнить смертью без всякого милосердия.

Так как эти условия были приняты стрельцами без возражений, то оставалось только объявить прощение с приличным торжеством. Для этого патриарх назначил день 8 октября. В этот день, отслужив торжественно литургию в Успенском соборе, в присутствии стрельцов, первосвятитель на амвоне пред св. Евангелием и нетленной рукой апостола Андрея Первозванного прочитал во всеуслышание милостивую царскую грамоту и условные статьи. Стрельцы единогласно изъявили готовность в точности выполнить царскую волю. Затем патриарх роздал по полкам отдельные экземпляры статей, и каждый полк, подходя к налою, клялся в исполнении над Евангелием и рукой св. апостола. После этого полки возвратились в слободы. Здесь снова в своих съезжих избах стрельцы перечитали статьи и снова не нашли в них никакого повода к возражению.

На следующий день выборные от всех полков приходили к патриарху благодарить его за ходатайство и снова повторили обещание служить на будущее время верно и без всякой шатости.

Отдаваясь на всю волю правительницы, стрельцы выдали боярину Головину молодого Ивана Иваныча Хованского, виновника последнего мятежа. Боярин переслал его к правительнице в Троицкий монастырь, где ему объявили смертную казнь, но приговора не привели в исполнение; его сняли с плахи и сослали.

Мятеж совершенно прекратился еще в первых числах октября, но царский двор медлил переездом в Москву и распущением собранного ополчения. Какая была причина медленности, неизвестно, но, вероятно, правительница все еще не доверяла верности стрельцов и желала обеспечить безопасность более коренными мерами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — 1689 ГОД

ГЛАВА I

Начальник стрельцов, окольничий Федор Леонтьевич Шакловитый, казался особенно озабоченным. Сидел он за своим рабочим столом в своем загородном доме с пером в руке и наклонив несколько набок красивую голову. Работа не спорилась. Внимание бывшего думного дьяка не поглощалось всецело, как бывало прежде, процессом писания букв; взгляд его, обыкновенно заботливо следивший за красивым вычерчиванием тогдашнего писания, был теперь устремлен как-то неопределенно, будто уходил в себя, задавался внутренним вопросом. Поэтому-то и неудивительно, если, за отсутствием руководителя, рука грамотея выводила вместо букв странные узоры.

С последних событий достопамятного 1682 года протекло пять лет. В эти пять лет многое пережилось если не во всем укладе старой русской жизни, то по крайней мере в том пункте, где сосредоточивались политические движения. Подавление второго стрелецкого бунта, меры, соображенные правительницею и добросовестно выполненные новым стрелецким начальником, бывшим худородным подьячим, прочно утвердили правительство царевны Софьи. Вместо странного двоевластия царей, больного косноязычного Ивана и ребенка Петра Алексеевичей, в действительности существовала одна могучая власть царевны-правительницы,

захватившей царское достояние в свои руки, вразрез с существовавшим тогда взглядом на положение женщины. Но захватить не значит еще удержать. Для удержания и упрочения власти, кроме личных качеств, нужно и *право,* осознанное окружавшей средой. А этого-то права и недоставало царевне.

Правда, до сих пор ее правление имело еще некоторый вид права по болезни старшего царя и малолетству младшего, но это призрачное право не могло продолжаться долго. Жизнь Ивана Алексеевича не обещала продолжительности, а малолетство Петра, видимо, должно было сократиться чрезвычайно быстрым развитием здоровых сил ребенка. Какое же будущее ожидало царевну? Возвращение к прежней затхлой теремной жизни или монастырское пострижение? От того и другого отворачивались ее молодые силы; то и другое казалось ей уж невозможным, как невозможно птице жить в воде, как невозможно рыбе нырять в вольном воздухе. Самая смерть казалась приветливее ей, изведавшей обольщения власти. Обладание властью всегда и во все времена имело и имеет на природу человека всемогущественное влияние, каково же должно быть это влияние на существо, достигшее власти усилием *своей воли,* и притом же после теремной жизни...

И вот царевна стала задумываться все более и более об упрочении за собой этой власти, о приискании каких-нибудь, хоть бы только призрачных, прав на нее.

Раздумывалась Софья Алексеевна, раздумывались преданные ее делу бояре, об том же раздумывался и теперь ближний ее человек окольничий Федор Леонтьевич Шакловитый, сидя за своим письменным прибором. Только думы его никак не могли уложиться в письменную форму; вместо красивых букв из-под пера опытного дьяка выходили не то цветы, не то здания, не то птицы, не то квадраты, не то треугольники какие-то.

— Монах пришел к тебе, Федор Леонтьич,— доложил вошедший в комнату караульный стрелецкий урядник Афанасий Ларионов.

— Какой монах?

— Сил... Сил... имя-то мудреное. Мы зовем его лешим медведем.

— Какой леший медведь?! — с досадой повторил вопрос окольничий.

— Да вот что живет в Андреевском монастыре*.

— Дурак! Не смей обзывать так преподобного отца Сильвестра Медведева. Проси его скорей сюда.

Вошел небольшого роста плотный монах. На широком, одутловатом лице его на первый взгляд бросалось выражение смирения и благодушия, не ладившееся с лукавым огоньком быстро бегавших глазок в узких разрезах прищуренных век. С сильною проседью густая, окладистая борода и такие же густые волосы, выбивавшиеся из-под черного клобука, придавали физиономии некоторую сановитость, скрывавшую от наблюдения сильно развитую челюсть.

— Благослови, преподобный отче,— с оттенком особенного благословения обратился к вошедшему хозяин, низко кланяясь и протягивая руки под благословение.

— Да благословит Бог тебя, доброе чадо, и дом твой,— отвечал тот несколько певучим голосом, осеняя крестным знамением хозяина и подавая ему для поцелуя руку, предварительно помолившись перед образами, стоявшими в киоте в серебряных и золотых окладах, украшенных драгоценными камнями. Мелкими разноцветными искрами горели драгоценные камни, отражая мерцающий свет предыконной лампадки.

— Милости прошу присесть сюда, преподобный отче,— говорил хозяин, усаживая гостя в переднем месте у стола и заботливо подкладывая за его спину подушку, вышитую хитрым узором.

— Уж несколько дней собираюсь к тебе, отче,— продолжал хозяин,— каждый день собираюсь, да все не удосужился: делов много, а нужно бы тебя видеть очень.

— И я о тебе соскучился, Федор Леонтьич; в последние дни никто из наших не забегал ко мне.

— Не прикажешь ли, отче, медку?.. Видишь, как па́рит, а в жар-то он хорошо прохлаждает, особливо после пути.

Скоро искристый мед зашипел в объемистом кубке.

— А какая нужда случилась во мне? — спросил отец Сильвестр, отведывая понемногу шипучего напитка и прищуривая глазки.

— Да что, отче, все по старому делу. Заботит оно больно нашу матушку государыню. Об этом-то деле я и хотел поговорить с тобой.

---

* В этом монастыре помещалась при царе Алексее Михайловиче основанная окольничим Федором Михайловичем Ртищевым в 1665 году Славяно-греко-латинская академия, переведенная в 1679 году в Заиконоспасский монастырь.

— Давненько я государыню не удостоился видеть, да как быть! В Успеньев пост хворь накинулась, так мне и не случилось побывать на Верху. Какое же дело-то это?

— Перед тобой мне скрываться нечего, отче, ты и сам без меня все знаешь, знаешь, каково положение нашей милостивицы. Ведь она и сама с тобой частенько советуется. Вот что: прихожу это-то я к государыне, а на ней и лица нет, бледная такая и дрожит вся. Что, мол, с тобой приключилось, матушка государыня, спрашиваю я ее, а она как вскинет на меня очи да так и залилась слезами. «Не долго уж, видно, мне быть с вами, други мои,— отвечала она мне сквозь слезы,— отымут вас от меня вороги злые». Я допытываюсь и, как бы ты думал, что узнаю?.. Сидела государыня за своими царскими делами, как вдруг грянет гром, стекла даже зазвенели в палате. Государыня к окну, смотрит, а небо такое синее да чистое, ни одного облачка не видно на нем. Государыня и вспомнила тогда такой же гром и в такое же ясное время — помнишь, пятнадцатого-то мая? Вспомнила и испугалась. Опять, видно, кара будет, только от кого будет эта кара — неизвестно. Думает так-то государыня, а к ней и входит стряпчий и говорит: не извольте, мол, беспокоиться государыня, это потешные конюхи царя Петра Алексеича тешатся. Видишь, отче, они уж и пушки завели. Ну долго ль до беды с такой забавой?

— Опасная забава, Федор Леонтьич, совсем непригодная,— вставил отец Сильвестр, прихлебывая из кубка,— а особенно в руках таких пьяных озорников и головорезов, как потешные.

— Вот государыня и говорит мне: «Видно, Федор, век мне быть под опаской от мачехи да от сына ее. Горько мне, а пуще горько за моих ближних. Возьмут пьяницы верх, пойдет все вверх дном, смута будет без конца; мне будет тошно, а вам еще тошней: изведут вас в корень конюхи». Зачем, государыня, отвечаю ей, доводить до этого, мы прежде того сами их изведем. Она выслушала меня да так ласково улыбнулась и говорит: «На тебя-то я, Федор, надеюсь да еще на двух-трех, а прочие-то как? Сможете ли вы? Ты бы, Федор, проведал у стрельцов, какая будет от них отповедь, если б я вздумала венчаться царским венцом».

— Ну, что ж, Федор Леонтьич, говорил со стрельцами?

— Сегодня вечерком велел собраться сюда человекам тридцати стрелецким урядникам. Поговорю с ними, да не чаю от них большого проку. Народ ноне в стрельцах не прежний — послушливый да смирный такой. Всех бойких-то мы ведь повыметали.

— Да, народ не прежний,— задумчиво повторил Сильвестр,— забегает он ко мне в монастырь частенько побеседовать. С таким народом ничего не поделаешь.

— Так вот, преподобный отче, я и хотел поговорить с тобой, позаймовать от тебя ума-разума. Как тут быть?

— Времена трудные, Федор Леонтьич, больно трудные. Надо нам действовать сообща, дружно.

— Как действовать-то?

— Первое, Федор Леонтьич, нужно зорко наблюдать за тамошним двором, что делается у конюхов-то.

— Это-то мы наблюдаем. Постельницы Натальи Кирилловны нам передают все в точности. Рассказывали они нам, как обозлилась Наталья Кирилловна, когда узнала, что царевна в грамотах стала писаться самодержицей наряду с братьями-государями. Даже не утерпела и высказала своим-то: «Для чего учала она писаться с великими государями обще? У нас люди есть и того дела не покинут». Кто же эти люди, и не замышляют ли они чего? Для разведок я и подсылаю к ним в тайности моих молодцов наблюдать и передавать мне. Раз сказали они мне, будто стольник Григорий Языков при многих людях выболтал: «Государское имя царя Петра Алексеича видим, а бить челом ему ни о чем не смеем». Я и хотел допытать, что значат те его речи. Приводили его ко мне стрельцы, и пытал я его один на один крепко, да ничего не узнал. Стоит в одном: сказал де зря, без всякого умыслу. Так и выгнал его из Москвы, пригрозив не болтать напредки под смертной казнью. Были у меня и другие люди под пытаньем: верховый дьякон дворцовой церкви Воскресения Никифор да еще татарин Обраим Долокадзин, частенько пришатывающийся к Кирилле Полуектовичу и к кравчему Борису Алексеичу, да и от них тоже ничего не допытался, хоть пытал и крепко, клал на плаху и грозил топором. Вот сегодня не будет ли удачней. Велел ночью привести сюда поблизости, в Марьину рощу, какого-то дворянина, приметного в доброхотстве к конюхам. Уж я ли не стараюсь, отче, ничего, кажись, не упускаю из виду. Вот когда князь Михаил Олегович Черкасский представлял Петру новгородских дворян, перед Крымским походом, так при имени князя Путятина что-то шепнул царю... я сейчас же послал гонца к Василию Васильичу, чтоб зорко смотрел за этим Путятиным.

— Все это хорошо, Федор Леонтьич, да все мало, надо принять и другие меры...

— Какие же?

— Мало ль их! Всякая хороша, если ведет к цели,—

значит, Богу годна. Разумно делает царевна по моему совету, что приучает народ к своему государствованию, заранее именуясь самодержицею и приготовляясь к венчанию. Русский народ не любит новизны, и необходимо ему давать свыкнуться с новыми порядками; но это не все...

— Что ж еще-то?

— Нужно,— продолжал Медведев внушительным тоном, прищуривая и почти закрывая глазки,— нужно возбудить народ, а главное, стрельцов против наших ворогов.

— Да как возбудить?

— Вот хоть бы письмецо написать какое-нибудь подметное с известием о смутных замыслах потешных. Это может большую пользу принести, главное, отвратить народ. А стрельцов можно раздражать какими-нибудь стеснениями или, например, истязаниями, причиняемыми будто бы Нарышкиными... Разве нет у тебя между верными людьми схожих по облику с Львом Нарышкиным?.. Да ты понимаешь, как это сделать! Не учить же тебя, Федор Леонтьич!

— Понимаю, отче. У меня в стрельцах есть один молодец, схожий со Львом, а в потемках так и совсем не распознаешь.

— Понял, Федор Леонтьич?.. Ну а когда начнется смута против конюхов, так мудрено ль в смятении *принять* не одних потешных или ближних людей — Льва и Бориса, а и самою медведицу с сыном. Только помеха будет большая от старика Иоакима.

— А разве старика, отче, нельзя также принять? Царевна не токмо что стоять за него, она даже сама рада будет. Я знаю ее мысли... и доподлинно говорю тебе, что Иоакиму при царевне не быть.

— Да и сам посуди, Федор Леонтьич, какой Иоаким патриарх! На таком месте нужно человека ученого и речистого, который бы твердо стоял за царевну, а старик едва грамоте знает. Кого ж царевна метит назначить патриархом?

— Кого ж, отче, как не тебя! Ты разумом дошел и велеречием. Всем известно, как еще покойный государь-батюшка Федор Алексеич тебя изволил сам навещать, лично беседовать... и посылать за тобой не за редкость. А расположение-то царевны к тебе ты и сам знаешь какое. Она без твоего совета, почитай, ничего не делает.

— Так... так... Федор Леонтьич, государыня меня жалует. Да и тебя тоже прошу при случае молвить обо мне доброе словечко, а я в долгу не останусь: буду за тебя радеть всеми силами... А не знаешь ли, как мыслит об этом князь Василий Васильич?

Напоминание о князе темным облаком пробежало по красивому лицу бывшего думного дьяка.

— От князя, отче, не скоро допытаешь правду, да и человек-то он нетвердый. Вот хоть бы и насчет царевны. Где он показал ей преданность? Все мотает, как бы вильнуть в сторону. Раз только он и проговорился. Закручинилась как-то царевна уж очень сильно,— забоялась за свое государствование... я утешал ее. Тут только он и обмолвился: «Для чего и прежде вместе с братьями ее (Наталью Кирилловну) не уходили, ничего бы теперь и не было». Да и государыня-то, я тебе скажу, отче, по тайности, не так уж к нему благоволит, как прежде.

Отче Сильвестр не отвечал, но лукаво метнулись его глазки на хозяина, и едва заметная насмешливая улыбка передернула углы рта.

— Засиделся, однако, я у тебя, Федор Леонтьич, а у самого на дому есть нужное дельце,— говорил гость, поднявшись с места и молясь перед иконами.

Федор Леонтьич снова почтительно подошел под благословение святого отца и снова усердно облобызал его руку.

— Не смею удерживать тебя, святой отче, знаю, как время тебе дорого. Не забудь и меня грешного в своих святых молитвах.

ГЛАВА II

Проводив преподобного отца Сильвестра, Шакловитый вышел на крыльцо, выходящее на двор, где кучками толпились стрельцы. На дворе собралось до тридцати урядников четырех стрелецких полков, между которыми находились пятисотенные Ларион Елизарьев и Василий Бурмистров, пятидесятники и пристава Андрей Кондратьев, Обросим Петров, Алексей Стрижов, Афанасий Ларионов, Борис Дмитриев и другие.

— Пятисотенные и пятидесятники стрелецкие! Сами вы видите, как велика к вам царская милость, а вся эта милость исходит только от одной нашей благоверной государыни, царевны Софьи Алексеевны. Докажите же ей вашу преданность, вашу готовность служить ей честно, нелицемерно, вашу готовность положить за нее животы свои. А доказать ноне вы можете челобитною, чтобы ей, благоверной государыне, венчаться царским венцом. Если таково ваше желание, то напишите челобитную, я доложу царевне, а потом

подадим великим государям, когда они выйдут на обновление лета (1 сентября).

Речь была коротка, но не убедительна. Видно было, что бывший думный дьяк, борзый в писании, не обладал даром элоквенции, да и в тоне его голоса не звучало той твердости и уверенности, которые так влияют на неразвитые умы.

Вообще отношения нового начальника к стрельцам нисколько не напоминали отношений бывшего начальника — князя Хованского. Бывало, простые слова покойного князя-товарища и такого же служаки, разделявшего нередко труды походной жизни с простыми людьми, прямо доходили до нехитрых душ стрельцов и звучали симпатичной струной. Не таковы были отношения Шакловитого. Бывший подьячий обращался со стрельцами холодно, высокомерно и строго. Между ним и стрельцами не было ничего общего. Они боялись, но не любили его.

— Как изволишь,— нерешительно ответили стрельцы на речь начальника,— а мы челобитной писать не умеем.

— Это ничего,— заметил им Федор Леонтьич,— челобитную я вам сам напишу.

Решение это, видимо, еще более озадачило стрельцов.

— Да послушает ли нас царь Петр Алексеевич? — заговорили они опасливо и с явным желанием избавиться от предложенной чести.

— Если не будет слушать вас,— ответил бывший дьяк,— и отойдет от вас на Верх, так вы задержите ближних его людей, боярина Льва Кирилловича и кравчего Бориса Алексеевича, тогда он остановится и ваше челобитье примет.

— Да патриарх с боярами откажутся венчать царицу,— послышались некоторые более смелые голоса из стрельцов.

— А что такое патриарх? — запальчиво закричал Шакловитый, раздосадованный нерешительностью и колебанием подчиненных.— Не теперешний, так другой будет на его месте, свято место пусто не будет! Любой из духовных властей пойдет на его место, а если и откажутся, возьмем простого старца. Такая же честь будет и ему! А о боярах не тревожьтесь: все они сохлое, зяблое дерево; только один из них постоит до времени — князь Василий Васильич.

Затем, отпуская стрельцов, Шакловитый наказывал:

— Когда воротитесь в слободы, призовите тихомолком в съезжие избы известных вам товарищей, в небольшом числе, правоверных, *старых* и разумных, поговорите с ними накрепко, а что скажут они вам, донесите мне. Челобитную же я приготовлю.

Для более чувствительного убеждения при отпуске каждый стрелец получил по пяти рублей.

Сцена эта разочаровала Шакловитого. Вместо жданных восторженных изъявлений беззаветной готовности и преданности в ответах стрельцов ясно проглядывало сомнение, видимое нежелание вмешиваться не в свое дело. Времена были не прежние — не прежние были и люди.

Взбешенному дьяку-окольничему хотелось на ком-нибудь сорвать раздражение.

«Бабы, трусы,— думал он про себя, провожая далеко не ласковым взглядом уходящих стрельцов,— изменники, предатели, а может, и подкупленные потешными конюхами. Не из этих ли подкупателей-лиходеев сидит у меня теперь в тайнике? Душу у него вытяну, а допытаюсь о замыслах конюхов...»

— Эй!.. Терентьич!

— Чего изволишь...— отозвался выбежавший из ближайших служб старший домоправитель.

— Тот сидит в тайнике?

— Сидит, батюшка Федор Леонтьич.

— Взять его сейчас туда... знаешь, в Марьину... Я сам допрошу его.

— Слушаюсь, батюшка, а мастера брать с собой?

— Взять.

В то время Марьина роща далеко не была таким избитым, расчищенным и излюбленным местом общественных гульбищ, как в настоящее время. Тогда это было дикое, глухое место, где могло удобно хоронить всякое преступление, оставаясь незримым Божескому свету в густой, с трудом проходимой чаще. По такому дорогому качеству роща эта сделалась любимым местом допросов с пристрастием людей, преданных юному царю Петру. Здесь пытали стольника Языкова, дьякона Никифора, татарина Долокодзина и многих других. Сюда же привели и новую жертву, какого-то дворянина, часто бывавшего, по словам шпиона-стрельца, в домах Льва Нарышкина и Бориса Голицына.

— Говори все, что знаешь, да говори правду, а не то допытаюсь пыткой,— начал свой допрос Шакловитый.— Бывал ли в домах Льва Нарышкина и Бориса Голицына?

— Бывал... и нередко. Дворецкий нарышкинский мне кум, а милостником у Бориса Алексеича братец моей супружницы.

— Рассказывай, что там говорят о царевне Софье Алексеевне.

— Разговаривали мы о своих делах, а о царевне не слыхал я ни разу ни единого слова.

— Врешь... не будешь говорить доброй волей, так скажешь под пыткой... Что умышляют против царевны? Говорят ли о скором венчании ее на царство?

— Ничего не говорили, ничего не слыхал,— был ответ.

— Так принимайтесь,— распорядился окольничий.

Связанного по рукам дворянина раздели и с обнаженной спиной положили ничком на землю. Жертва билась, сколько позволяли члены. Служители стали держать за голову и за ноги.

— Мастер — за дело!

Заплечный мастер расправил свою плеть или, вернее, кнут с длинными ременчатыми концами, постепенно сужающимися до толщины тонкого шнура. Ловко взмахнул он кнутом; тонкий ремень, опоясав в воздухе изогнутую линию, со свистом упал на обнаженную спину. Ярко-багровый рубец резко обозначился во всю ширину спину. Несчастный громко вскрикнул от боли.

— Скажешь теперь, что слышал у злодеев?

— Знать не знаю, ведать не ведаю.

— Бей!

Новый свист, и новая полоса легла подле первой. За этим ударом следовали другие в правильных промежутках. Отчаянные вопли и раздирающие крики несчастной жертвы все более и более раздражали самовольного судью — и палача — и доводили его до самозабвения. Скоро из-под новых ударов потекли кровавые струйки; крики становились тише и глуше.

— Скажешь теперь?

— Ничего не знаю.

— Встань.

Несчастный пробовал приподняться, но силы ослабели, и он не мог даже подняться на колени. Его подняли и держали служители.

— Не скажешь?

— Не ведаю.

— Мастер, долой два пальца с каждой руки!

Палач мигом отхватил от рук по два пальца; кровь ручьями блызнула из порубленных мест.

— Скажешь?

— Не ве...— Несчастный не в силах был говорить.

— Не говоришь... так вырвать у него язык!

Служители схватили голову дворянина, раскрыли рот, и палач острым ножом вырезал язык. Кровь полила изо

рта. Весь окровавленный, искалеченный, несчастный лишился чувств, а может быть, и жизни.

Так ничего и не сказал.

А в голове окольничего все без умолку и безустанно слышатся слова Натальи Кирилловны: «У нас люди есть и того дела не покинут». Значит, есть же, живут же подле меня такие люди и замышляют же они против нас злое! Знать бы их... всем бы урезал языки... Да как тут узнаешь!

Между тем как ретивый окольничий пытал и допытывался признаний в таких замыслах, которых в действительности не было, выборные стрелецкие, возвратившиеся в слободы, стали исполнять данное им поручение. В слободских полковых съезжих избах поочередно сменялись толпы за толпами. Рьяные пропагандисты стороны царевны Софьи Алексеевны, между которыми выдавались Обросим Петров, Андрей Кондратьев и в особенности пятидесятники Никита Гладкий, Кузьма Чермной и Алексей Стрижов, до хрипоты кричали о милостях к ним царевны, для которой следовало изготовить челобитную о венчании ее на царство. Но холодно принимали стрельцы дело царевны: иные колебались, иные наотрез отказывались от всякого участия.

— Дело это великое и вовсе не подходное нам,— говорили они,— не рука нам вмешиваться в государственные распри, а можем мы только молить Бога об устроении царства по его святой воле.

Так ли говорили стрельцы пять лет назад!

Охотников подписать челобитную оказывалось мало. Наступило и прошло новолетие 1687 года, а Софья Алексеевна на свое коронование не решилась и отложила его до ближайшего будущего, когда вернее подготовятся меры и обеспечится успех. Каковы же были эти меры?

Мудрые советы преподобного отца Сильвестра упали на плодородную почву.

Вдруг по всей Москве разнеслась молва о подметном письме. Пятисотенный Ларион Елизарьев, возвращаясь в стрелецкую слободу, поднял на Лубянке письмо, которое и принес к своему начальнику Шакловитому. По прочтении этого письма оказалось, что в нем заключается только объявление народу, будто в Казанском соборе, за иконою Богоматери, имеется другое письмо с подробным содержанием. Действительно, на указанном месте нашлось это другое письмо — четырехлистовая тетрадь, написанная полууставом, вся наполненная самыми оскорбительными выражениями о царевне Софье и с призывом народа к избиению всех бояр, ей преданных.

Это письмо давало царевне право казаться испуганной и принимать для своей защиты всевозможные меры, но оно не затрагивало интересов стрельцов и не возбуждало их против партии царицы. Требовалось действовать и с этой стороны.

И вот по улицам московским стали совершаться странные дела. В июльские ночи 1688 года стала разъезжать по улицам толпа всадников под предводительством знатного боярина на богатом коне, одетого в белый атласный кафтан и боярскую шапку. Этот боярин, встречая случайно попадавшихся ему стрельцов и наезжая на стрелецкие караулы при Мясницких и Покровских воротах, бил их нещадно обухами, чеканами и кистенями, забивая почти до смерти, причем приговаривал:

— Вот вам за братьев моих! Да погодите... еще будет хуже!

Во время таких истязаний сопровождавшие боярина усовещевали его, говоря:

— Да полно тебе бить их, Лев Кириллыч, и так умрут!

А когда изувеченные и искалеченные стрельцы приходили в Стрелецкий приказ с жалобами, Шакловитый осматривал эти раны, переломленные члены, отрубленные пальцы, показывая их посторонним людям и выдавая лекарства из царской аптеки, с глубоким соболезнованием повторял:

— Жаль мне вас... будут и вас таскать за ноги, как вы прежде таскали! Всех вас переведут! Меня высадят из приказа, стрельцов разошлют по разным городам из Москвы. Кого им теперь бояться? Называют же Лев Нарышкин и Борис Голицын нашу милостивую государыню девкой и хотят ее выгнать. Если же не будет нашей матушки, пропадем мы все... А всем царством мутит царица Наталья Кирилловна...

ГЛАВА III

Преображенский дворец в настоящее время не существует, и место, занимаемое им, ныне застроено городскими зданиями*, но в XVII столетии он считался любимым загородным потешным дворцом. В нем-то, по известиям разрядных записок, в 1677 году представлялись комедии отсечения

---

* Преображенское находилось на левом берегу Яузы, за Сокольниками, в 7 верстах от Кремля. В настоящее время — 2-й квартал Покровской части.

головы Олоферна и подвиги царя Артаксеркса, играли немцы на органах, фиолах и других инструментах и танцевали. В нем-то покойный царь Алексей Михайлович любил проводить свободные часы в потехе соколиной охотой.

И действительно, красивое местоположение села Преображенское вполне оправдывало царское предпочтение. Широкие хлебные поля, отделяя его от назойливой столичной суеты, невольно наводили мирное настроение на истомленную душу, а густая растительность и красивые пруды садов, окружавших самый дворец, целили нанесенные раны вечно свежим, вечно понятным голосом природы. По смерти Алексея Михайловича вдова его, Наталья Кирилловна, с сыном, ребенком Петром, во все время царствования Федора Алексеевича и потом правления Софьи Алексеевны почти постоянно жила в Преображенском дворце. Здесь на привольном воздухе свободно, без всякого гнета развивались богатырские силы Петра. Почти совершенно не стесняемый книжным учением, иссушающим силы ребенка в затхлой атмосфере, молодой царь рос вне всяких хитросплетенных этикетных пут, как растет всякое произведение природы при благоприятных условиях.

— Не было недостатка в ребяческих играх, так сильно влияющих на организм человека. Юный государь окружил себя сверстниками из окрестных мальчиков, играл с ними в войну и сделал из них для себя потешное войско. И это войско, эта ребяческая игра, мало-помалу постепенно увеличиваясь и устрояясь, стала принимать вид постоянного правильного военного строя. Из этих ребятишек образовалась сначала рота, обученная иноземцами по артикулу с более быстрыми приемами, потом из роты образовался полк, впоследствии разделившийся на два по имени двух сел: Преображенского и Семеновского. В рядах потешных простым солдатом служил и сам царь Петр, одинаково с прочими рядовыми спал в палатке, учился барабанному бою, бил зорю, отправлял по очереди караульную службу, копал и возил землю для сооружения различного рода укреплений, *служил* в полном и действительном значении этого слова и выслужился, к крайнему его удовольствию, до чина сержанта.

Странна казалось эта служба старым русским людям, не привыкшим видеть своих царей простыми чернорабочими. И не раз патриарх, по совету бояр, пытался отклонить молодого государя от трудов, будто бы несоразмерных с его здоровьем, и каждый раз получал решительный ответ.

— Труды не ослабляют здоровья, а, напротив, укрепля-

ют его. В забавах проходит немало времени, однако ж никто меня от них не отстраняет,— говорил Петр.

Правительница почти никогда не бывала в Преображенском у мачехи. Долго она не обращала никакого внимания на тамошние забавы, с презрением отзывалась о потешных конюхах, и, может быть, так продолжалось бы еще немалое время, если бы вдруг раздавшиеся выстрелы не указали опасности. А между тем еще задолго прежде, еще в 1684 году, когда Петру было только 12 лет, можно было предвидеть опасность. В этом году, при осмотре московского пушечного двора, Петр в первый раз увидал пушки, приказал стрелять из них в цель и метать бомбы; мало того, он даже сам нацеливал и прикладывал фитиль к затравке.

Живой, впечатлительный, с громадными способностями, с ненасытной жаждой все знать, все испытать самому, Петр в отроческую пору практически *сам* стал пополнять детское воспитание, пренебреженное любовью матери. Сама царица Наталья Кирилловна хоть и получила в доме воспитателя Матвеева образование, но это образование ограничивалось одной внешней стороной, одним знанием европейского обращения. Потом удаленная от двора, озлобленная насильственным отстранением себя от участия в правлении, она перенесла все упования, надежды и желания на любимого единственного сына. Лишь было бы весело и здорово дитя, а к чему книжная мудрость?

И благодаря свободной деревенской жизни это дитя росло не по годам, а по часам. В одиннадцать лет Петр казался пятнадцатилетним, в пятнадцать лет — взрослым юношей. Вместе с физическим развитием росла и жажда умственного развития, заставившая его оборотиться от внешних явлений к книжному объяснению. При таком настроении каждое, по-видимому, ничтожное обстоятельство могло служить, и действительно служило, поводом к вопросам науки. Так, рассказ Якова Федоровича Долгорукого, при прощании его перед поездкой во Францию послом, о каком-то бывшем у него потом затерявшемся забавном инструменте, посредством которого можно снимать отдаленные расстояния, возбудил любопытство царя и заставил его просить привезти такой инструмент из-за границы. Инструмент-забава (астролябия, кокор — готовальня с циркулями) был вывезен, но кто может научить его употреблять? Сам придворный доктор Захар Гулетлу оказался невеждой. После долгих поисков наконец нашелся учитель, не только знающий употребление привезенных инструментов, но и вообще знаток наук математических,— Франц Тиммерман.

С помощью учителя пятнадцатилетний Петр принялся за арифметику, геометрию, фортификацию и артиллерию. Впоследствии учитель оказался недальним математиком, но все-таки он мог показать путь, по которому предстояло идти. Скоро понимал, соображал и выводил заключения здоровый ум государя, и от первых четырех правил арифметики (адицио, субстракцио, мультипликацио и дивизио) он с изумительной быстротой перешел к более высшим частям математики, понял теорию астролябии, узнал, как собирать, измерять поле, выучил все иностранные термины, сообразил главные основания крепостных сооружений и научился вычислять направление полета бомб.

Раз, в ту пору, обходя амбары в селе Измайлове, Петр увидал на льняном дворе, между разными остатками хлама дома деда своего Никиты Ивановича Романова, новый странный предмет — поломанный ботик. На расспросы государя Тиммерман объяснил, что это ботик, на котором можно плавать на парусах не только по ветру, но и против ветра. Петр заинтересовался. Нашли мастера Карштена Брандта, который взялся исправить изломанный ботик, и скоро Петр весь отдался новой забаве.

Начались нескончаемые плавания сначала по Яузе, а потом по Просяному озеру, но и первая, и второе, по ограниченности пространства, оказались вскоре неудобными. Забаву перенесли на более обширное Переяславское озеро, лежащее от Москвы в 120 верстах. Здесь уже представилась возможность постройки более обширных судов, чем и занялись Карштен Брандт, мастер Корш и другие, при личном участии царя. Так как постройка судов требовала применения технических знаний, то при быстром соображении Петра ему скоро стали знакомы основные законы практической механики.

С опытами кораблестроения начались продолжительные отлучки царя из села Преображенского к сердечному горю матери. Правда, и в Преображенском кипучая, неутомимая деятельность не давала ее сыну оставаться в тесных стенах, но все-таки она знала, что дитя ее близко, что она может во всякое время его видеть, а с такими отдаленными поездками, при таких щекотливых отношениях с сестрой-правительницей мало ли что могло случиться! И сердце матери билось тревожно, и искало оно средств связать богатыря.

Средство найдено — женитьба. Царица избрала сыну невесту, дочь окольничего Федора Абрамовича Лопухина из рода, преданного ее партии, хорошенькую, молоденькую Авдотью Федоровну, воспитанную в понятиях того време-

ни. Свадьбу отпраздновали 27 января 1689 года. Но средство оказалось действенным не больше как на один месяц. Еще не начали вскрываться реки, как страстный моряк, бросив молодую жену, отправился в Переяславль, где на берегу Трубежа строились для него новые суда. Желая ускорить изготовлением и спуском судов, Петр лично принялся за топор. Работа закипела, и к вскрытию озера все корабли, кроме самого большого, были окончены постройкой.

Не удалось, однако ж, царю насладиться охотой. Мать царица и красавица жена письмо за письмом слали к нему с мольбами о скорейшем возвращении. К просьбам присоединилась и необходимость: по строго соблюдаемому обычаю, следовало непременно присутствовать на панихиде в день кончины Федора Алексеевича, 27 апреля. Петр поскакал в Москву и едва поспел на панихиду. Но, пробыв в Москве не более месяца, он снова уехал на свое любимое озеро, хоть только взглянуть на свое детище, так как предстояло снова скоро вернуться в Москву к вторичной панихиде в день тезоименитства покойного брата — 8 июня.

По дороге из Москвы к селу Преображенское, утром часу в девятом, в половине июня, ехал верховой, как видно по богатой одежде и по дорогому коню, принадлежавший к числу царедворцев. Дорога, огороженная прясламн, пролегала изгибами, то западая лощиной, то выбегая на пологую возвышенность, и становилась совершенно ровной и открытой только недалеко от дворца. Ехал верховой не торопясь, как и подобает немалому чину, осторожно выбирая тропы более торные, где и коню был ход поровнее, и самому поспокойнее. Да и грешно было бы торопиться в такое чудное время. Солнце хоть и высоко стояло в небе, но еще не обдавало знойным жаром. Воздух, освеженный обильным дождем минувшего вечера, пропитан был ароматом полевых цветов и недавно скошенной травы. Легко становилось на душе, и грудь с жадностью вбирала живительный воздух.

Обогнув колок острым углом выбежавших на дорогу молодого ельника и берез, верховой оправился на седле, передернул уздечку и поехал живее. Ровная дорога прямой линией лежала ко дворцу.

Верхового заметили из дворца. У одного из открытых окон сидели две женщины за работой.

— Посмотри-ка, Авдотьюшка,— говорила старшая из них, царица Наталья Кирилловна, своей невестке,— кто бы это ехал к нам из Москвы? Глаза-то мои стали не прежние. Много иссушили их слезы.

Молодая женщина отложила вышиванис в сторону и посмотрела в окно.

— Не знаю, матушка, кажется, не из наших. Если б был кто из Апраксинских или из моих Лопухинских, я бы сейчас узнала. Да... нет и не из них... Теперь вот я вижу весь облик — незнакомый какой-то.

— Если незнакомый, так, стало, от *той*... — И бледное лицо старой царицы, по выражению софьинской партии, медведихи, стало еще бледнее. Много переменилась царица в последние десять лет, много горя перенесла она. Живая, веселая, бойкая красавица стала подозрительной, угрюмой и озлобленной. Да и как было не озлобиться, как не зачерстветь в таких крутых оборотах. После нежной ласки покойного мужа, для которого она была светлым лучом беспредельного счастья, наступило холодное, невзгодное время совершенно чуждых отношений пасынка. Оттертая от власти, но окруженная родными, друзьями, она могла по крайней мере спокойно радоваться ребенком — сыном, пользоваться мирным счастьем частной жизни, но и это продолжалось недолго. Больной пасынок прожил недолго. С его смертью снова улыбнулась ей жизнь, снова поманило радостное будущее, если не для себя, то — что еще дороже — для ребенка, сына, избранного царем. Только мелькнуло это время несколькими днями. На глазах у нее погибли ужасной смертью все ей близкие люди и родные, сама же она, своими руками, должна была отдать на жертву любимого, дорогого брата, и все эти несчастья от кого, для кого они понадобились? Дело говорило само за себя ясно и положительно, оно определенно указывало на лицо, воспользовавшееся ее несчастьями, и не только воспользовавшееся, но даже намеренно подготовившее их. Думала ли красавица всемогущая царица, входя в царское семейство, что в падчерице, в этой золотушной некрасивой девочке, она не далее как через несколько лет встретит врага неумолимого, не отступающего ни перед какими бы то ни было средствами, упорно гнетущего, подрывающего в корне все ее будущее.

Мудрено ли, что цветущее здоровье надломилось, полные розовые щеки побледнели и осунулись, ласковые и лучистые глаза приняли выражение испуганной пытливости и подозрительности, роскошные волосы поседели, стройный, прямой стан сгорбился, походка сделалась нервная. Мудрено ли, что и теперь, при одном ожидании известия от врага, резкие морщины сложились на лбу, а губы помертвели и нервно задрожали. Мудрено ли, что неумолимая па-

мять моментально воспроизвела кровавые картины прошлого и, болезненно сжав сердце, прекратила его биение.

«Чего хочет еще эта женщина,— мелькнуло в ее голове,— моей смерти? Я не бегу от смерти. Нет... она жаждет смерти моего сына... он стоит на ее дороге... нет, этого не будет... я закрою сына своим телом, приму на себя все удары, пусть буду изорвана, истерзана, но он, мой милый, ненаглядный, спасется...»

Ничто так не заразительно, как страх. Тревога матери перешла и к молодой женщине.

— Что с тобой, матушка, ты дрожишь... помертвела?

— Ничего, дитя, пройдет. Где сын, муж твой? — А больное воображение мигом нарисовало ряды копий вслед за всадником, кровавую борьбу, и на этих копьях растерзанное, облитое кровью тело сына.

— Он, ты знаешь, матушка, верно, со своими потешными. Чего ты боишься?

— Ничего, дитя, ничего. Так, вспомнилось прошлое. Дай Бог тебе не испытывать того, что перенесла я. Бог милостив, не бойся ничего. Успокойся, тебе в твоем положении вредно...

Молодая женщина стыдливо потупилась.

— Ты не говорила мужу?

— Нет, матушка, да я и видела-то его только несколько минут.

Оправившись от испуга, Наталья Кирилловна сама посмотрела в окно. Верховой был уже очень близко, и она могла явственно рассмотреть его.

— Теперь я узнаю: это окольничий Нарбеков — один из ближних людей *той*...

Между тем наделавший столько тревоги верховой успел въехать на двор. Осведомившись, где царское семейство, он отдал коня привратнику, а сам стал подниматься по лестнице во дворец.

— Передай матушке царице, что, мол, приехал от государыни царевны гонец и желает видеть ее пресветлые очи.

Постельница передала поручение старой царице и получила разрешение ввести гонца в комнату, где обе царицы занимались вышиванием.

Окольничий Нарбеков, войдя в комнату, помолился перед иконами и, держа перед собой обеими руками шапку, отвесил два низких поклона обеим царицам.

— От царевны Софьи Алексеевны? — лаконично спросила Наталья Кирилловна.

— Точно так, матушка царица. Государыня царевна

Софья Алексеевна наказала мне повидать вашу царскую милость и спросить о вашем благополучном здравии.

— Мы здоровы; слава Богу. Что еще?

— Еще государыня царевна Софья Алексеевна наказывала узнать о пребывании его государской милости, царя Петра Алексеевича.

— Зачем знать об этом царевне? — уже неровным голосом спрашивала мать.

— Не ведаю, государыня.

— Больше ничего?

— Наказывала еще государыня царевна Софья Алексеевна доложить государю царю Петру Алексеевичу по некоторым делам...

— По каким? Я передам сыну.

— Прости, государыня, но мне наказано самолично исполнить приказание царевны.

Гордая, недобрая улыбка пробежала по губам царицы Натальи Кирилловны.

— Ступай, окольничий, челядь тебе укажет, где царь.

Нарбеков опять отвесил два низких поклона царицам и вышел. У царского конюха он расспросил, где можно было бы видеть Петра.

— Ну, это, ваша милость, нелегкое дело. Царь-батюшка Петр Алексеевич не любит сидеть на одном месте... теперь-то, чай, учится с потешными. Недавно слышал трескотню барабанную.

— А в котором месте потешное учение?

— Да вот как пойдешь по правую-то руку и пройдешь садовую огорожу, так и увидишь поле — там и учение.

Окольничий прошел по указанию конюха дорогу мимо садовой городьбы и вышел в поле. Здесь, на широком, ровном пространстве, стояло несколько отдельных колонн преображенцев и семеновцев поротно и вольно. Офицеры столпились кучкой. Между ними выделялись заведовавший учением, за болезнью полковника Юрия фон Менгдена, майор Иван Иванович Бутурлин и молодой прапорщик. В этом прапорщике, лет семнадцати, открытого чрезвычайно красивого лица, в котором задорно играла здоровая кровь юности, окольничий без труда узнал Петра. Да и мудрено было не узнать. Несмотря на полное пренебрежение наружности, несмотря на холод, ветер, грязь и всякую непогоду, несмотря на грубую физическую работу, молодой царь отличался выдающейся красотой. По словам Кемпфера, видевшего Петра на аудиенции, когда последнему было шестнадцать лет, царь отличался пленительной наружно-

стью: «Если б он был девицей, то все влюблялись бы в нее».

Окольничий степенным шагом подошел к молодому офицеру, сняв шапку.

— Государь царь-батюшка Петр Алексеевич,— начал он.

— Здесь нет царя,— с живостью перебил молодой человек,— царь во дворце, а здесь прапорщик Преображенского полка. Прикажешь становиться в ряды, господин полковник, и куда мне становиться? — обратился он к командиру.

— При первой роте Преображенского полка,— лаконично распорядился майор.

Кучка офицеров разошлась по рядам.

Ошеломленный окольничий Василий Саввич не верил глазам, не знал, что делать. «Не идти ли мне во дворец,— спрашивал он мысленно сам себя,— там ведь царя нет, ведь я знаю его и сам с ним говорил. Приставать к нему не велел... да вон уж и команда началась. Лучше обожду здесь». И окольничий отошел к сторонке выжидать конца учению.

Барабаны забили, раздались слова команды, и стройные ряды преображенцев и семеновцев двинулись в разных направлениях. Все движения исполнялись твердо и отчетливо, приемы — скоро и одновременно, любо смотреть было на безупречные построения, то растянувшиеся лентой, то скучивающиеся густой массой, то рассыпающиеся в одиночку, то движущиеся медленным шагом, то бегущие ровным рядом. Молодой прапорщик наравне с другими выполнял по правилам артикула, передавал команду, отдавал честь перед проходившим командиром, откликаясь его одобрительному отзыву. Смотря на эти легкие и быстрые движения, окольничий не мог не залюбоваться ими и не мог мысленно не сравнить их с тяжелыми и неровными движениями стрельцов.

Учение кончилось. Потешные направились к квартирам, в поле оставались только майор Бутурлин с окружавшими его офицерами, в числе которых находился и молодой прапорщик. Майор высказывал последние замечания, обращая внимание офицеров на те неточности, о которых неудобно было высказывать во фронте. Вскоре почти все офицеры удалились, остались командир и прапорщик.

— Ну, Иван Иванович, спасибо. Вижу, не сложа руки сидели вы тут без меня. Спасибо — удружил. Лихо отхватывали по артикулу.— И молодой прапорщик милостиво отпустил командира, поцеловал его в лоб.

— А... окольничий! Ты здесь еще? — сказал Петр, оборотившись и заметив Нарбекова.— Ну, как показались тебе мои потешные?

— Знатная забава, ваша царская милость.

— Была забава, окольничий, а теперь служба,— заметил, несколько нахмуривая брови, Петр.— Ну что у тебя? Говори теперь.

— Государыня царевна Софья Алексеевна наказывала мне осведомиться о благополучном здравии твоей царской милости.

Легкая усмешка появилась на губах Петра.

— Потом наказывала государыня,— продолжал невозмутимо ровно окольничий,— осведомиться, сколько изволит пробыть здесь твоя царская милость.

— Передай государыне сестрице, сам царь, дескать, не знает: может, долго, а может, и скоро отбудет. А зачем бы государыне царевне знать?

— Государыня царевна приказывала... наказывала мне...— продолжал окольничий, как будто не замечая вопроса царя и затрудняясь выражением своего поручения,— доложить тебе... узнать твое царское желание... Ратные люди вашего царского величества, после неслыханных победительств над агарянами, ныне возвращаются, и государыня, в похваление за великие подвиги начальных людей, изготовляла им золотые медали по достоинству каждого. Так как изволишь на это государь-батюшка?

— Ты правду упомянул, господин посол, о неслыханных победительствах. Ни я и никто другой из добрых людей русских не слыхал о победительствах, а ведомо нам всем, что Василий Голицын с великими потерями прошел только по степи, за Перекоп не осмелился перейти, никакой сурьезной баталии не учинял, а растеряв много людей и всякого добра, возвращается с великим срамом. Так за такие победительства наказывают, а не награждают. Так и передай государыне царевне. Больше мне некогда. Прощай.

Отказ, положительный и ясный, выраженный суровым и раздражительным тоном, вконец озадачил Василия Саввича. С полуоткрытым ртом, выпученным недоумевающим взглядом провожал он быстро уходившего царя, а в голове смутно шевелилось: как же быть-то теперь, как с таким ответом воротиться к царевне, да она и на глаза не пустит.

Потом мало-помалу определенные мысли стали складываться в догадливом уме окольничего и появились утешительные соображения: оно, конечно, царь сказал, да мало ли что мальчик в сердцах наговорит, а сделается иначе...

Лучше я пойду к Борису Алексеичу, расскажу ему... ведь срам Василия Васильича замарает весь род их боярский. Может, он найдет случай уладить дело...

И окольничий своим степенным шагом пошел отыскивать Бориса Алексеевича Голицына.

Между тем царь входил к своим. Он казался очень взволнованным, и это тотчас угадали обе женщины. Они угадали бы сердцем, если бы даже взгляды их общего любимца и не метали искр, но ни та, ни другая не показали вида, будто не заметили.

— Ну что потешные? — Первая заговорила мать.

— Мои потешные молодцы. Посмотрела бы ты, матушка, на них. Не то что стрельцы. Да куда стрельцам до них! Они по выправке далеко выше и солдат иноземного строя. А каково стреляют в цель! Знаешь, матушка, нашего конюха Сережку Бухвостова*, на что был увалень, а посмотри теперь, каким молодцом вышколился. Да как палит: из пяти выстрелов четыре раза в цель. Да мало ль таких... я не говорю уж об Якишке Воронине иль Гришке Лукине... эти почти с измалолетства у меня в строю... попривыкли... Если Бог будет милостив, так я из своих потешных понаделаю целый строй.

По мере того как говорил царь, неудовольствие исчезало и радость быстро разливалась по оживленным чертам.

— Да, спасибо Бутурлину, спасибо. Я чаял, что без меня в этот месяц они изнеряшились, а вышло, он и вправду принялся за дело.

— Ты будешь еще принимать в потешные?

— Всеконечно.

— Ну а как же стрельцы-то?

— Будут сокращаться, будут отправлять службу по украйнам. Найдется и им дело. Да какие они солдаты — лавошники гулящие.

— Боюсь я, Петруша, твоих затей. Будь осторожен. Стрельцы — народ буйный, пьяный, своевольный. Проведает твои мысли та, как подговорит их, и подымет она опять смуту. Ты был ребенок, может, не помнишь, как погибли родимые...

— Нет, матушка, помню... все помню, как будто вчера на глазах,— отвечал царь, и все лицо его побледнело и задрожало, как в ту ужасную минуту, когда стоял он подле матери и брата на Красном крыльце перед разъярен-

---

* Бухвостов числится первым русским солдатом в именах лейб-гвардии Преображенского полка.

ными толпами стрельцов, нервно передернулись губы недоброй улыбкой, а в глазах засверкало не гневное, нет, а злобное чувство.

— Теперь времена не прежние,— продолжал он, несколько успокаиваясь.— Не бойся, матушка.

Но материнское сердце сумело скрыть в самом себе всю накипевшую, острым ножом режущую боль, только руки усиленнее принялись за вышивание да голова пониже опустилась к работе. Зачем пугать, может быть, напрасно дорогого сына и больную невестку?

— Да, я было и забыла тебе сказать — был здесь окольничий Нарбеков. Видел ты его?

— Видел.— И царь рассказал о предложении Софьи Алексеевны и своем отказе.

— Петруша, Петруша, напрасно ты так сделал,— говорила умоляющим голосом мать.— Ты знаешь, как близок князь Василий к той... Теперь она озлобится и заведет большую... чует мое сердце.

— Ты забываешь, матушка, мне теперь не десять лет и мы теперь не беззащитны, как тогда. Поверь, она сама остережется. Я совершеннолетний и не уступлю своих прав. А на каком основании она самовластвует?.. Да что с тобой, Дуняша? — Петр заметил бледность жены.

— Ничего... так... пройдет...

— Да она больна, матушка! Пошли за доктором Захаром*.

— Нет, Петруша, не тревожься, от этой болезни не излечит Захар, а пройдет она сама собой через несколько месяцев,— успокаивала мать, улыбаясь.

— Да чем, чем больна-то она? — нетерпеливо продолжал допрашивать Петр.

— Ну пущай она тебе сама скажет.

Царь подошел к жене, горячо обнял ее и наклонил к ней голову. Авдотья Федоровна, покраснев, шепнула ему на ухо.

Лицо Петра просветлело. Еще крепче он обнял, еще любовнее он поцеловал ее. Новость, сказанная на ухо, отозвалась прямо в сердце. Семнадцатилетний юноша должен был через несколько месяцев войти в новую роль — отца.

Но натура Петра не увлекалась чувствами, не могла ни минуты оставаться без деятельности. Он стал собираться.

— Куда ты? — с мольбой шептала жена.

---

* Придворный доктор Захар Гулетлу.

— Пойду проведать нашего полковника — шибко заболел, сказывал Иван Иваныч.

Долгим взглядом проводила жена мужа, и засветилось в этом взгляде новое, непривычное чувство оскорбленной женщины и будущей матери. Не того ждало ее любящее сердце..

ГЛАВА IV

В Преображенском занимались своим делом без интриг и козней; в сознании права там твердо надеялись на будущее и шаг за шагом неуклонно подготовлялись к нему.

Не то было в Москве, у Софьи. Она чувствовала, как каждый день, каждый час приближал неминуемое, решительное столкновение права с узурпаторством, чувствовала опасность своего положения и, не находя у себя никакой твердой основы, жадно бросалась и искала эту основу повсюду. Такое настроение отражалось и у приближенных. Без прочной почвы ум человеческий колеблется, желает опереться где бы то ни было, на что бы то ни было, хотя бы на сверхъестественное незримое содействие.

И вот действительно Софья и ее советники прибегают к чародейству.

В то время славился чародейством какой-то поляк Дмитрий Силин, вызванный Софьей в 1686 году пользовать от глазной болезни царя Ивана Алексеевича. Этот поляк жил несколько лет у Сильвестра Медведева (который сам считался тоже не последним астрологом) и уверял всех в знании им таинственных зелий от различного рода болезней. Ему верили и у него лечились даже такие передовые люди, каков был, например, князь Василий Васильевич Голицын, не имевший, впрочем, кроме мнительности, никакой болезни. Даже сам Силин, призванный к нему, нашел только одну болезнь, которую высказал бесцеремонно: «Любишь ты, князь, чужбинку». Для открытия такой болезни, конечно, не требовалось никаких сверхъестественных знаний.

Уверял еще поляк в своей способности глядеть на солнце и читать в нем будущую судьбу человека. Веря в его таинственное знание, Медведев, по просьбе царевны, просил чародея узнать ее будущее. Два раза Силин ходил на Ивановскую колокольню поглядеть на солнце и оба раза возвращался с неутешительными вестями. «У государей,— рассказывал он, возвращаясь,— царские венцы лежали на головах, у князя Василия Васильевича венец мотался по

груди и по спине, а сам князь был темен и ходил колесом; царевна Софья Алексеевна казалась печальной и смущенной, Медведев — темным, а Шакловитый повесил голову». Таковы были предсказания чародея, которому нетрудно было давать такие прорицания, зная от Медведева во всей подробности положение дел и отношения действующих лиц.

По словам поляка, Шакловитый повесил голову, но он был не такая личность, он не мог повесить голову, запугаться и отступить от своей цели. Напротив, не имея за собой никаких путей к отступлению, он верил в себя, верил в царевну, обольщался сам, обольщал и ее блестящими надеждами, которым всегда так верится легко. Царевне он льстил различными панегириками и рисовкой портретов, а себя обеспечивал содействием стрельцов.

Жил у ахтырского полковника Ивана Перекреста домашним учителем некто Ян Богдановский, великий мастер по изготовлению торжественных приветствий. К этому-то мастеру и обратился Федор Леонтьич с просьбой построить великой государыне царевне достойную похвалу.

— А какую же похвалу написать? — спросил недоумевающий педагог.

— А такую похвалу,— разъяснил Федор Леонтьич,— что она, великая государыня, усмирила мятеж, ревнительна к построению монастырей, милостива к людям и премудра.

Педагог согласился, но заметил, что было бы еще лучше, если бы к похвале приложен был портрет царевны, и что это дело возможное, так как у полковника Перекреста имеются две медные доски, на которых изображена ее персона, а в Чернигове живет и мастер Тарасеевич, умеющий искусно печатать.

По распоряжению Шакловитого доски Перекреста были доставлены, но оказались не удовлетворяющими цели, потому что на них персона царевны изображалась не отдельно, а общей с обоими царями. Вследствие этого Тарасеевичу заказано было вырезать на других досках персону царевны одну, окруженную пышную арматурою, наподобие портретов римским императоров в среде курфирстов, и с символами власти.

Тарасеевич принялся за работу, и вскоре им вырезаны были две доски, из которых на одной изображалась царевна Софья в короне, с державою и скипетром и с прописанием вокруг полного царского московского титула: «Софья Алексеевна, Божиею милостью, благочестивейшая и самодержавнейшая великая государыня, царевна и великая княжна всея Великия и Малыя и Белыя России самодержица Мо-

сковская, Киевская, Владимирская, Новогородская, царевна Казанская, царевна Астраханская, царевна Сибирская, государыня Псковская, великая княжна Смоленская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княжна Новгорода низовых земель, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, Обдорская, Кондинская, всея северная страны повелительница и государыня Иверския земли, карталинских и грузинских царей и Кабардинския земли черкесских и горских князей и иных многих государей и земель восточных, и западных, и северных отечественных величеств государыня и наследница и обладательница».

Затем кругом этой надписи вырезаны были аллегорические изображения качеств царевны, как семи даров духа: разума, целомудрия, правды, надежды, благочестия, щедрости и великодушия, предназначенных заменить собой семь курфирстов императорских изображений. Под портретом находились похвальные вирши, в которых царевна приуравнивалась по славным делам своим Семирамиде Вавилонской, Елизавете Английской, Пульхерии Греческой и, наконец, высказывалось, что как Россия ни велика, а еще мала в сравнении с мудростью царевны.

На другой доске вырезано было изображение святого мученика Федора Стратилата, окруженное воинской арматурой.

Оттиски с обеих досок печатались на бумаге, тафте, атласе, объяри и расходились в обществе, а для того чтоб «такая же была слава великой государыне и за морем, как в Московском государстве», Шакловитый один из оттисков отослал к амстердамскому бургомистру Витсену с просьбой снять с него копию с переводом виршей на латинский и немецкий языки и разослать по иным землям. Витсен исполнил просьбу, и несколько таких оттисков было доставлено в Москву.

Без всякого сомнения, подобные восхваления нравились тщеславию молодой женщины, но, кроме того, в них скрывалось другое, более практическое основание. Они приучали народ свыкаться с именем Софьи как именем самодержицы русской, приучали смотреть на нее как на достойную государыню, законную наследницу престола, если какая-нибудь случайность доставит ей возможность наследства.

Случайность... но откуда ж могла быть такая случайность? Естественного повода не предвиделось. Здоровье Петра казалось закаленным и прочным, а супружество

с молодой, красивой Лопухиной обещало обильное преемство. Но разве не могло возникнуть какое-нибудь непредвиденное, случайное обстоятельство или, лучше сказать, разве нельзя подготовить это обстоятельство?.. С подготовкой требовалось спешить... Скоро могло появиться потомство у Петра, тогда дело усложнялось... Ум царевны и предприимчивость худородного окольничего — надежные факторы.

И вот бывший думный дьяк призывает к себе и не раз преданного ему стрельца Филиппа Сапогова и научает: «Как пойдет куда царь Петр в поход, так брось ты на пути его ручную гранату аль, крадучись, положи ее в потешные сани, а если и это не удастся, так зажги несколько дворов в Преображенском, а когда царь, по обычаю, выйдет тушить, так тут в общей суматохе можно его и принять».

У Филиппа Сапогова недоставало, однако ж, силы ни отказать решительно начальнику, ни исполнить его поручение. Так и проходило время.

За неудавшейся попыткой одиночной случайности оставалось более верное средство — действовать массой, как это и удалось пять лет тому назад. Необходимо было возбудить стрельцов против партии медведихи и в общей смуте достигнуть вполне своей цели. Возбудить же можно было угрозой злых умыслов царицы. Софья Алексеевна понимала это и приводила в исполнение с обычной своей энергией.

— Зачинает царица с братьями своими и с Борисом Голицыным против меня бунт, да и патриарх, вместо того чтоб унимать, только мутит да потакает им,— лично говорила царевна нескольким надежным стрельцам, призванным ночью к Спасу на Сенях.

Стрельцы молчали, но бывший подьячий поддержал царевну:

— А для чего бы, государыня, Льва Нарышкина и Голицына не принять? Можно бы принять и царицу — не велик ее род, ходила в Смоленске в лаптях!

Как худородный подьячий, Шакловитый не мог в душе своей не придавать особенного значения знатности рода и не видеть в худородности обстоятельства, значительно облегчающего мятеж.

Несмотря, однако ж, на вызов начальника, стрельцы не вызывались *принять* и уклонялись от прямого участия.

— Жаль мне их (Нарышкина, Бориса Голицына и Наталью Кирилловну),— ответила царевна, обращаясь к стрельцам,— они и так Богом убиты.

— Как изволишь, государыня, так и делай; воля твоя,— говорили стрельцы, расходясь по домам.

Угрозы и застращивания злыми умыслами нарышкинского двора действовали плохо, оказывалась необходимость принимать более сильные средства: разжигать дурные инстинкты. Средство опасное, но время шло, а с каждым днем опасность для царевны увеличивалась.

Такими опасными средствами было вино и грабеж.

И начали преданные начальнику стрелецкие урядники зазывать сборища, поить вином, раздражать и манить золотыми прибытками.

— Вы теперь нуждаетесь да голодуете,— внушал стрельцам Кузьма Гладкий,— вот будет ярмонка, и станете вы боярские домы и лавки торговых людей грабить и прибытки их дуванить. Вот на Рязанском подворье у боярина Ивана Васильича Бутурлина хранится шестьдесят цепей серебряных, мы их разделим и в клад церковный положим. Да и что нам стоять за Нарышкинских,— продолжал он,— царь с ума спился, только тешится да играет, не то что наша царевна... она непрестанно Бога молит.

Не обошли и патриарха, авторитетством своей пастырской власти стоявшего за законность.

— Какой он учитель,— говорил о патриархе Гладкий,— не велит после аминя кланяться, доберусь же я до его пестрой рясы и уличу его. Вот только получу тетрадки от старца Сильвестра.

Задавшись или, вернее сказать, всецело поглотившись замыслами против нарышкинской партии, как сама царевна, так и близкие ей люди не доверяли противникам, были убеждены в таких умыслах у сторонников Петра. Под этим убеждением царевна постоянно уклонялась от личных свиданий с Петром, а когда эти свидания становились необходимостью, то всегда окружала себя надежной стражей.

Так, во время посещения царевною Преображенского, еще 1 августа 1688 года, по случаю водоосвящения на Яузе ее провожал значительный отряд вооруженных стрельцов. Размещая этот отряд, Шакловитый часть его поставил на кормовом дворе в самом Преображенском, а часть разместил в рощах и оврагах кругом села. При этом он отдавал такой приказ отрядным начальникам Филиппу Сапогову и пятисотенному Нифонту Чулошникову:

— Слушайте, если учинится в хоромах крик, так вы будьте готовы и бейте всех, кого вам будут подавать из хором.

Затем, обращаясь к денщикам своим — стрельцам Стремянного полка Федору Турке, Михайле Капранову и Ивану Троицкому, говорил:

— Когда на меня кинутся, рубите всех кого ни попало и дайте тотчас же весть всем остальным, спрятанным в оврагах и лесах.

Дело обошлось, однако ж, одним пустым страхом. Никакого покушения не было.

В таком напряженном положении находились обе партии. Взаимное раздражение их доходило до крайних пределов, и для открытого разрыва, для явной борьбы недоставало только какого-нибудь более или менее крупного случая, этот случай выдался 8 июля 1689 года. С этого рокового дня, в особенности с возвращения князя Василия Васильича из Крымского похода, развязка драмы шла с ускоренной быстротой.

Небо покрыто светло-серым покровом не густо слоистых облаков; дождя не было, да и нельзя было ожидать его, но зато не было и удушливого июльского зноя. Колокола гудели в Москве, и народ всякого сословия и звания толпами валил к Кремлю на крестный ход в день праздника явления Казанской Богоматери.

По обычаю, в Успенском соборе служил литургию сам патриарх Иоаким при многочисленном стечении народа и в присутствии всего царского семейства: обоих царей, цариц и царевен. Литургия кончилась скорее обыкновенного, так как предстояло еще идти с иконами и хоругвями в Казанский собор на Красную площадь. По окончании обедни богомольцы стали поднимать кресты, иконы, и в числе первых царевна Софья Алексеевна приняла к себе икону «О Тебе радуется».

Прежде царевны никогда не участвовали в ходах, и такая выходка, выводившая женщину из тени и ставившая ее на ровную стать с мужчиной, как явное доказательство стремления царевны, раздражило молодого Петра.

— Неприлично тебе, сестра, идти с нами в крестный ход, искони женщины не участвовали в торжествах,— сказал Петр, останавливая сестру.

— Я знаю и без твоего указу, что мне прилично,— гордо отвечала царевна и с образом пошла вперед.

Вспыхнул молодой царь, вышел из церкви, отошел к стороне и махнул рукой конюшему. Подвели лошадь, и, вскочив в седло, он быстро поскакал в Коломенское.

Ссора брата с сестрой не осталась незамеченной. Она была подхвачена на лету, переходила от одного к другому с различными прибавлениями и прикрасами. На этот раз общественное мнение становилось на сторону царя — защитника старины.

— Зазорно девице из царского рода ходить во всевиденье всех,— говорили одни.

— Быть недоброму,— говорили другие, подметившие злобные взгляды, какими обменялись между собою брат и сестра.

Это было первое явное столкновение.

«Он хочет не только лишить меня власти, а по-прежнему запереть в терем. Нет, этого не будет. Я или он — пьяный конюх, а место для нас обоих тесно»,— подумала царевна и решилась действовать.

ГЛАВА V

— Васенька, светик ты мой ненаглядный! — говорила Софья Алексеевна, обнимая и горячо целуя князя Василия.— Желанный ты мой! Сколько трудов ты безмерных понес для меня, драгоценного здравия своего не жалеючи.

Обнимала царевна возвратившегося из второго Крымского похода своего первого друга и оберегателя князя Голицына, неустанно обнимала его, целовала и в очи, и в лоб, и в уста, но как-то порывисты и суетливы были эти ласки, и не было в них того, что так ясно сказывалось и без слов, без всякого напуска в прежних ее ласках.

Прошел год, как князь уехал победительствовать над агарянами в Крым, добывать себе лавровых венков и вечной благодарности от отечества. Год этот прошел не бесследно для женского сердца. Крепко кручинилась царевна, проводив своего друга в опасный путь, много пролила слез на ночное изголовье, страстно молилась о его спасении, обходя богомольем пешком окрестные монастыри, но время лучший и верный врач. Мало-помалу слезы становились менее обильными, резкая боль в сердце сменилась тупою и тихою грустью, а жаркие молитвы все чаще и чаще обрывались думами и вопросами другого рода. Образ князя бледнел, и чаще вставал из-за него другой образ — более красивый, бьющий жизнью и энергией, манивший долгими наслаждениями. И вот прежняя рознь в характерах и взглядах, забытая было в первое время разлуки с князем, выдвигалась определеннее и отодвигала прежнее счастье, хоть и вечно милое, в безвозвратно прошедшее.

Молодое, еще не изжившее сердце не может довольствоваться переживанием канувшего в вечность, оно жадно пользуется настоящим, неудержимо стремясь все вперед, все дальше и дальше. А тут еще разрослись и окрепли иные

стремления, не совсем ладившиеся с прежними, и эти-то стремления поддерживались, а может, и подсказывались новым образом. И вот, незаметно для самой себя, царевна постепенно отшатывалась от прошедшего и отдавалась новому чувству.

Частые, неизбежные отношения царевны и дьяка — видного Шакловитого — невольно породили между ними короткость, перешедшую в тесную связь их общих интересов и материальной потребности жизни. От нового сближения побледнел образ князя как дорогого для сердца, но не побледнел этот образ как человека необходимого, человека думы, человека — опоры ее общественного положения. Да и не без борьбы совершилась перемена в чувствах царевны. Часто описывая крымскому другу все новости дня и величая его нежными словами*, она упрекала себя за измену, маскировала, пыталась обманывать сама себя, но упреки и раскаяние скорее могут убить окончательно отлетающую жизнь, но не вдохнуть.

В таком положении застал молодую женщину приезд бывшего любимца.

— Ах, касатик ты мой дорогой! Сколько натерпелась я без тебя, стосковалась как! — продолжала царевна, а между тем внутри ее шептало: «Как переменился он... где белизна и атласность облика... загорелость, черствость, шероховатость... глаза какие-то стали отцветшие, а вон и складки появились у глаз и у рта... совсем обрюзг».

— Дорогая моя,— отвечал на ласковые речи князь, внимательно всматриваясь из-под полуопущенных глаз в самую глубь души любимой женщины,— спасибо тебе за ласку да за память. Не забывала ты меня цыдулами.

— И что ты, Васенька, денно и нощно молила пресвятую Матерь Божию за здравие твое, за одоление агарян окаянных.

— Ну, верно, молитвы твои, милая царевна, не дошли до Господа. Трудности превеликие приходилось преодоле-

---

* Доказательством близких отношений царевны Софьи Алексеевны с князем Василием Голицыным служит сохранившаяся их переписка. Вот одно из этих писем: «Свет мой братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета и паки здравствуй Божиею и пресвятые Богородицы и твоим разумом и счастием, победив агаряны... и мне, свет мой, веры не имеется, што ты к нам возвратитца тогда веры поиму, как увижю в объятиях своих тебя, света моего. А что, свет мой, пишешь, штобы я помолилась, будто я верна, грешная, пред Богом и недостойна, однако же дерзаю надеяться на его благоутробие, аще и грешная. Ей всегда того прошю, штобы света моего в радости видеть. Посем, здравствуй, свет мой, о Христе на веки неищетные».

вать от самой натуры, от врагов, да и от своих тайных недоброжелателей. Не того чаял, отправляючись в поход.

— Что делать, Васенька. И так заслуги твои великие.

— Какие ж, царевна? Не вижу я их. Народу погублено много, а авантажа нет.

— Какого ж еще авантажа надо? Мир заключен почетный, страх нагнан на врагов, а пленных сколько воротил с неволи!

Князь не отвечал и только горько улыбнулся.

— И все так думают, все восхваляют твое усердие безмерное,— продолжала успокаивать царевна.

— Все? Полно, так ли? Не обманывай понапрасну и себя, и меня.

— Все, все, решительно все. Токмо вот у врагов наших общих ропот да козни. Ну да ведь ты знаешь, из злобы на меня.

— А вот, кстати, царевна, скажи мне: как ты с братьями и с мачехой? Я хоть и получал от тебя вести, да все как-то выходило темно.

— Не хотелось мне тебя, Васенька, огорчать только что с приезду твоего нашими делами, да сам заговорил. Старая с сыном живет в Преображенском, женила его на Дуньке Лопухиной — думала остепенить. Да где тут его остепенишь! Слышала я, будто и жену-то бросил совсем. С озорниками живмя живет, пьянствует, беззаконничает, срам на все наше государство.

— А брат Борис ведь при нем? Чего он смотрит?

— Борис твой и сам пьет горькую, да и то сказать, разве тот послушает кого, когда и мать, и жену не слушает. Вот всю нынешнюю весну, почитай, на Переяславском в мастеровые записался, с холопьями топором рубил. Царское ли это дело? Какому примеру поучается, какое будет уважение к нему? Да вот сам увидишь.

— А из родовитых кто к нему ближе? Чаю, забрали Лопухинские?

— Нет, не слышно. Он больше к подлому народу. Жену-то жаль. Вот Федя... Федор...— поспешила поправиться правительница, невольно смутившись,— рассказывают, будто беременна...

— Какой Федор?

— Леонтьич... Шакловитый, стрелецкий начальник, ближний твой человек, ты мне и привел его.

— Как не знать, самый задушевный благоприятель мой. Не оставлял меня и в Крыму. Спасибо.— В тоне князя просвечивала сквозь обычную мягкость будто горь-

кая ирония, которую не могла не заметить и молодая женщина.

— А как я тебя, Васенька, ждала! Кажется, все глаза проглядела,— начала царевна, круто обрывая прежний разговор.— Подарок тебе приготовила, сейчас принесу.

Софья Алексеевна вышла в спальню и вынесла оттуда сверток, тщательно завернутый в тафту.

Князь развернул сверток: это был его портрет с виршами сочинения самой царевны. Он прочитал:

«Камо бежиши, воине избранный!
Многажды славне, честию венчанный,
Трудов сицевых и воинской брани
Вечно ты славы дотекше, престани.
Не ты, но образ князя преславного
Во всяких странах, зде начертанного,
Отныне будет славою сияти,
Честь Голицынов везде прославляти».

— Спасибо, ненаглядная царевна, за презент. Дорог он моему сердцу,— говорил князь Василий, горячо целуя молодую женщину,— только будь же добра до конца и подари мне свое изображение.

— Да у меня... Вася... У меня... нет, так чтоб схожего...

— Как нет? А мастер Тарасеевич достаточно изобразил твою персону.

— Не понравилось мне, Вася, его изображение, да и мало их было... я, кажется, велела уничтожить...

— Не уничтожили их, царевна, а разослали по иностранным землям, а не токмо у себя дома.

— Если разослали иль раздавали, так без моего ведома, Вася, а для тебя я велю вновь изобразить.

— Не трудись, царевна, зачем? Есть у меня... прислали мне в Крым твое-то изображение, и немало я скорбел там... Скажи мне только по правде: кто изображен на другой стороне твоей персоны...

— Будто не знаешь, Васенька, не узнал эмблемы московской...

— Эмблему-то московскую я знаю, да не признал ее в изображении. Эмблема московская — святой великомученик Георгий, а изображен, кажется, Федор Стратилат.

— Будто забыл, Вася, ведь святой Георгий убил змия, пожиравшего...

— Правда твоя, но Георгий убил его копием, как и обозначается в эмблеме, а в твоем изображении убиение мечом, как приписывается Федору Евхаитскому.

— Не домекнулась я тогда, не обратила внимания. Чудно мне, что и ты так принимаешь...

— Эх, царевна, царевна... знаю я все, все, что здесь без меня творилось... Дурные люди тебя наущают, напрасно ты их приблизила к себе и слушала...

— Князь Василий! Я не ребенок. Знаю я, куда иду, и тех, кто меня окружает. Умею отличить людей мне истинно преданных от фальшивых,— горячо заговорила молодая женщина, но вслед же за тем в голосе ее новая перемена, и опять зазвучала в нем прежняя заискивающая нежность. Она продолжала:

— Что это, Вася, за беседа такая странная, первая после твоего возвращения. Верно, тебе наговорили лихие люди незнай чего... Вот отдохнешь, увидишь сам. Ты всегда был мне единственным другом и будешь им... Раздражен ты, вижу я. Отдохни и приходи ко мне. Мне нужно с тобой о многом...

— Отдохнуть мне нужно, правда твоя, царевна, только поможет ли отдых? Прощай, дорогая моя! Когда и где свидимся — Бог весть... Надоедать тебе не буду... да и не к чему...

И князь как-то странно, с несвойственной торопливостью, поцеловав руку правительнице, вышел.

Тупым взглядом проводила бывшего любимца царевна Софья Алексеевна и долго стояла, точно застывшая. Проснулось ли в ней прежнее чувство или только боль, с какою провожается прощальный привет навсегда отлетевшему прошедшему? Трудно анализировать человеческое сердце, а женское в особенности.

Ожидала она его — вот он воротится... нельзя же так вдруг все порвать, все, что так крепко, так неразрывно связывало их так долго. Но он не воротился, и последний звук его шагов, каких-то неровных, постепенно стихал и наконец совершенно замолк в коридорах.

Почти бессознательно перешла молодая женщина в соседний покой, где ожидал ее сидевший бесцеремонно бывший дьяк Шакловитый.

— Что, милая, видела его? Что он? — забрасывал вопросами дьяк.

— Ничего...— странно протянула она.

— Ну, так я и ожидал... от князя и ожидать нечего... зяблое дерево...— говорил, успокаивая царевну, Федор Леонтьич,— если б и знал он... да куда ему знать...

— Знает он, Федя, все знает, хоть и не сказал он мне этого прямо, да вижу я, чувствую это, Федя... Потеряла я его...Теперь один ты у меня остался из ближних и предан-

ных стоять за меня,— продолжала молодая женщина, порывисто обхватывая руками шею любимца, слезы обильными струями бороздили встревоженное лицо и падали на дорогой парчовый кафтан красивого дьяка.

— Полно, моя милая, ненаглядная, не бойся ты его. Слабый он человек, и не любил он тебя никогда. Обойдемся и без него. Может, и лучше еще... не будет помехой...

Ошеломленным и разбитым вышел князь Василий Васильевич из терема царского и пошел без цели, не понимая, куда и зачем он идет. Странное явление переживал он.

Давно, много лет назад судьба связала его с царевной. Не страстное и неодолимое чувство увлекало его тогда — нет, скорее тщеславие, гордость, самодовольствие обладать сердцем молодой девушки, если и не особенно красивой, то высоко стоящей положением, умом и образованием. Но годы шли, и привязанность князя крепла. Ум царевны сумел закрепить за собой влияние, постепенно и совершенно незаметно для самого князя она делалась для него все более и более необходимее и дороже.

До какой степени укоренилась привязанность в его сердце — в первый раз высказалось князю во время первого Крымского похода, но еще более и еще больнее во время второго.

Огорченный неудачным ходом военных операций, общей разладицей, подозрительным отношением союзника-гетмана, он искал отрады в письмах царевны, выдвинутого и облагодетельствованного им Шакловитого и других доброжелателей. И тут у него в первый раз шевельнулось сомнение. Каким резким холодом сказалась фальшь в ласковых речах царевны! Почему и отчего? Он и сам не понимал. Было ли это от необъяснимого провидения чувства или от темных намеков благоприятелей? Ему так неудержимо захотелось бросить все и скакать туда, к ней... опасность потерять которую обратила, по-видимому, спокойную привязанность в страсть.

Но бросить было нельзя. Не было лица, которому можно было бы сдать такое важное поручение; громадное, неустроенное сбродное войско, при возникших кознях и раздорах начальников могло погибнуть, и возложить на него ответственность за сотни тысяч душ. Предстояло одно средство: кончить войну во что бы то ни стало, хоть и не с выгодой, хоть по крайней мере без большого позора. И вот князь ухватился за первый попавшийся случай и завязал переговоры о мире. Долго, бесконечно долго тянулись эти переговоры, но он упорно держался за них, как будто то был единственный исход. Он понимал, что такая ничем не

объяснимая жажда мира могла объясняться оскорбительно для него самого, его трусостью, неспособностью и, наконец, подкупом. Ему все равно, лишь бы скорее.

Наконец мир заключен, и князь поскакал в Москву, а по приезде туда — к царевне.

Расстроенным и потерянным шел князь Василий по улицам московским от Софьи Алексеевны. Ни одной определенной мысли в голове, только чувство боли, будто оборвалось что-то и порвалось такое, от чего и жить казалось лишним, и цели никакой не оставалось.

После долгого физического утомления мысль стала высвобождаться от подавляющего гнета и складываться вопросом о будущем. Казалось бы, ничего особенного не случилось, никакого эффектного обстоятельства, один обыкновенный разговор, а между тем этот ничего не значащий разговор изменил все существо человека, лишил будущности, отнял у жизни всякое значение. Этот разговор ясно показал князю, что он стал лишним для любимой женщины, что другой встал в ее сердце на его месте. И кто же этот другой? Ничтожный, им же выведенный худородный подьячий, без способностей, без образования. Желчь кипела, душила, останавливала дыхание. Скорее отшатнуться, бросить ту, около которой для него уж нет места, но куда идти?.. К ее врагам?.. Нет, это дорога переметчиков, а не князей Голицыных.

Остается один исход — отрешиться от всякой деятельности...

«Да... но могу ли отрешиться от самого себя? — думалось князю Василию.— И могу ли бросить дело, великое дело, от которого плоды только в будущем, которое только потомки оценят и поймут, сколько я принес жертвы, сколько должен был вынести за них от своих же кровных братий». И пронеслось в памяти князя еще недавнее, неостывшее дело местничества, сожженное, но в пепле которого еще таились не угасшие искры. Да и одно ли это дело? А где деятели... не Шакловитый ли?*

---

* Официальное уничтожение местничества, то есть сожжение *всех прошений о случаях и местах записок*, а не самих разрядных книг, как думают многие, совершилось в январе 1682 года, при царе Федоре Алексеевиче, вследствие красноречивого доклада князя Василия Васильевича Голицына, терявшего — надобно отдать полную справедливость бескорыстию князя — от этого уничтожения едва ли не более всех. Впрочем, уничтоженное официально местничество еще береглось в умах бояр, как это видно из спора бояр князя Григ. Афан. Козловского и Ал. Кирилл. Нарышкина, возникшего десять лет спустя после уничтожения местничества.

Чувство собственного сознания и самоуслаждения во все времена было и будет самым быстрым и целительным средством от нравственных ран. От его пробуждения боль стала терять свою остроту, внешние ощущения как будто стали высвобождаться из-под гнета и сказываться физическим страданием, упадком сил и слабостью всех членов. Усталым и разбитым князь воротился домой, молча прошел в свои хитро-узорочные покои, которым тогда так дивились даже иностранцы, и заперся в кабинете.

А между тем все-таки главный вопрос остался нерешенным...

ГЛАВА VI

Не ошибся расчетом достопочтенный Василий Саввич Нарбеков. Князь Борис Алексеевич Голицын и сама царица Наталья Кирилловна стали деятельно хлопотать за Василия Васильевича. Но царь упорно стоял в своем решении, и только самые усиленные настояния и просьбы могли вынудить у него согласие на раздачу предположенных царевной наград. Когда же Василий Васильевич с товарищами своими по Крымскому походу явились в Преображенское благодарить царя за награды, он решительно отказался принять их.

Такое открытое неудовольствие Петра раздражило правительницу, но не особенно огорчило крымских героев, и по самому Василию Васильевичу оно скользнуло, не въедаясь больной раной. В душе князь не мог не сознавать вины своей в неудачном походе. С израненными сердцем и самолюбием он с возвращением в Москву стал постоянно отклоняться от непосредственного участия в закипевшей борьбе. В современных летописях вовсе не встречается имени Василия Васильевича, разве только как одно сухое упоминание, что в сборище де был и Василий Васильевич да записан еще один приказ его (в первых числах августа) дежурному полковнику по стенному караулу Нормацкому о том, чтоб ворота в Кремле, Китае и Белгороде запирались в первый час ночи, а отпирались за час до рассвета.

Зато с этого времени на первый план выступает деятельность Федора Леонтьича, почти единственного бойца правительницы. Но без большого ума, без такта, только с большим запасом дерзости худородного человека мог ли он быть ей особенно полезным?

По уму и образованию став во главе поступательного движения к цивилизации, Софья Алексеевна увидела себя

совершенно одинокой, без всякой опоры. Почти все боярские роды миловались со стариной, и если не явно, то тайно все держались стороны Петра, первые шаги которого ступали по старинной почве обычая. Новых людей не было, их могло подготовить только время или железная воля богатыря. Поэтому, когда борьба имела вид семейной распри, козней, боярских интриг, царевна находила большую поддержку, но когда выдвинулось государственное дело, тогда она увидела подле себя только одного худородного. Не могла не видеть царевна своего отчаянного положения, не имевшего никаких шансов на успех, но власть слишком обаятельна, и отказаться не только от полного объема ее, но даже и от части не могут и сильные умы. Овладев властью дорогой ценой, насыщаясь ее упоением в продолжение многих лет, могла ли она уступить без борьбы, и кому же уступить — мальчишке, пьянице, конюху?..

Правительница решилась на борьбу, решилась употребить все какие бы то ни было средства: притом же если на ее стороне не было аристократических родов, то она могла рассчитывать на преданность всемогущих стрельцов. Начальник их, красавец Федор Леонтьич, делается ее неразлучным спутником, постоянным думцем. С этого времени он уже почти совершенно переселился во дворец: день проводит в Золотой палате, а ночь в Грановитой... Вместе с этим одновременно правительница уже не пропускала случая самой лично говорить со стрельцами, ласкать их, дарить и всеми средствами приманивать на свою сторону.

В день праздника пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской (28 июля) царевна совершала пеший поход ко всенощной в Новодевичий монастырь в сопровождении пятисотенных и пятидесятников всех стрелецких полков. Выйдя из церкви по окончании службы, часу в четвертом ночи, она подозвала к себе стрельцов и стала им высказывать:

— И так беда была, да Бог охранил, а ныне опять беду начинает мачеха Наталья Кирилловна. Скажите: любы ли мы вам? Если любы, вы за нас стойте, а если не любы, так я с братом Иваном покинем государство.

— Воля твоя, государыня,— отвечали стрельцы,— а мы готовы исполнять, что прикажешь.

Царевна, казалось, осталась довольной готовностью стрельцов.

— Так ждите повестки,— заключила она.

Но эта готовность была неискренняя и далеко не единодушная. Так, когда на другой день рьяные сторонники Софьи Алексеевны Андрей Кондратьев, Ларион Елизаров, Никита Гладкий, Егор Романов, Обросим Петров и урядни-

ки объявили по слободам приказ Шакловитого приготовить по 50 и по 100 человек от каждого полка для избиения князя Бориса Голицына, Льва Нарышкина с братьями и других преданных Петру бояр, замысливших будто извести царевну, стрельцы решительно отказались.

— Если в том их есть вина,— говорили они,— то пусть нам объявит думный дьяк о том царский указ, и мы тогда виновного возьмем, а без указу ничего делать не будем, хоть многажды бей в набат.

Не по плечу оказался Федор Леонтьич покойному Ивану Михайловичу, не мог сравняться простой худородный, возбудивший против себя подчиненных надменностью выскочки, с хитроумным боярином, но если не было ловкого умения того, то зато больше стойкости и упорства.

Не останавливаясь от неудач, приверженцы правительницы, а в особенности один из них — Алексей Стрижов — не уставали зазывать к себе пятисотенных, пятидесятников и других стрельцов, поить их и возбуждать.

— Государыне царевне смерть приходит,— говорил им Алексей Стрижов,— хотят ее убить, а без нее стрельцам житья не будет.

— Что ж делать-то,— был ответ,— надобно просить обоих государей о розыске.

— Зачем просить?— продолжал обыкновенно Стрижов.— Как только объявится — стачка будет. Нам ведь известны злодеи царевны! Пусть только она укажет, а мы их примем.

Такие смутные речи высказывались не тайком где-нибудь, при запертых дверях да с оглядкой, а явно, открыто, при всяком удобном случае. О них говорили в городе, о них говорили встревоженные торговые люди, слобожане, и потому неудивительно, что они наконец достигли и до Преображенского. Страшно напугала предстоявшая смута исстрадавшуюся, болезненную старую царицу-мать и беременную молодую и удержала она милого для них Петра от отлучек на излюбленное Переяславское озеро. Выжидательное, страдательное положение томило огневую душу Петра.

Не мог выдержать долго он бездействия, и в первых же числах августа сделал распоряжение схватить главного распространителя смутных речей Стрижова и доставить его к нему в Преображенское. Но Шакловитый не позволил взять его, отзываясь неимением приказания от царевны. Такое дерзкое ослушание раздражило Петра, и он, не задумываясь, приказал схватить самого Шакловитого. На этот раз приказание было исполнено. Солдаты из потешных уловчились захватить Федора Леонтьича в Измайлове и аре-

стовать. Страшная буря поднялась тогда со стороны правительницы. Гонец за гонцом летели в Преображенское с самыми настоятельными требованиями.

Под влиянием слез испуганных матери и жены Петр отменил распоряжение и освободил стрелецкого начальника, но эта решительная мера показала правительнице, как дорого время и как каждый день и каждый час увеличивают силу стороны брата, стороны права и как настоятельно скорее и решительнее приступить к развязке. А между тем для этого-то момента у нее и не оказывалось способного лица. Василий Васильевич, видимо, отшатнулся. От боли ли обманутой сердечной привязанности, от оскорбленного ли самолюбия, от природной ли осторожности или от сознания неминуемого проигрыша дела царевны, а может быть, и от всех этих условий вместе, но только он почти совершенно перестал принимать участие да показывался при дворе ненадолго. На Федора Леонтьича тоже плохая надежда, хоть и по другой причине. У этого рвения было много, да толку мало. Из красивой головы бывшего подьячего нельзя было выжать ни одного тонкого соображения, нельзя было выкроить ни одной ловко придуманной интриги. Он не сумел даже приобрести себе влиятельного положения не только между родовитыми людьми, но даже и между своими стрельцами. Оставался Медведев. У этого, конечно, не было недостатка в изворотливости, но он был монах, жил в монастыре и, следовательно, не мог принимать непосредственного участия.

Царевне оставалось действовать самой и одной, и она стала действовать, надеясь только на свои силы.

4 августа ее истопником Евдокимовым приведены были к ней к палатке церкви Ризположения стрельцы Елизарьев, Гладкий и другие двое. Убедительно, с полными слез глазами жаловалась она им словами простыми, но способными действовать на нехитрые умы:

— Житья мне больше нет от Бориса Голицына и Льва Нарышкина: государя Петра они совсем споили, братом Иваном небрегут, даже и комнату его завалили дровами, а меня прозывают девкою, как будто бы я вовсе не дочь царя Алексея Михайловича; князю Василью Васильичу грозятся голову срубить, а уж он ли не сделал добра: и польский мир заключил, и доспел выдачи наших православных с Дона. Радела я о царстве, берегла и хранила, что было моей мочи, а они все в разные стороны тащат. Скажите: можно ли на вас надеяться? Годны ли мы вам? Если не годны, то пойдем мы с братом Иваном искать себе где-нибудь кельи...

Разумеется, на такие речи стрельцы отвечали изъявлениями преданности.

Подобные приводы истопником Евдокимовым или истопником Осиповым отдельных небольших партий стрельцов то к церкви Ризположения, то к церкви Воскресения Христова, то в собственные покои царевны в последние дни участились. Все выходили от нее восхищенные, под обаянием ее красноречия, приветливости и доступности. Немало способствовали возбуждению и подарки, рублей по двадцати пяти, которыми оделяла царевна каждого приходившего стрельца.

Правительница располагала достаточным числом преданных, готовых беззаветно выполнять ее волю, но этим все и ограничивалось. Не было руководителя, не было плана с ясно определенным образом действий, со строго обдуманными деталями, с предвидением всех возможных случайностей. Царевна говорила речи, увлекавшие единичных лиц, стрельцы получали подарки, пили, буянили...

Наконец, найдя себя достаточно заручившейся преданностью стрельцов, царевна назначила днем исполнения своей цели 7 августа.

ГЛАВА VII

В исходе одиннадцатый час, наступила ночь на 8 августа, но, несмотря на такое позднее время, в Кремле живейшее движение. Из Лыкова и Житнова дворов, что близ Боровицкого моста, доносятся говор, смех и крики. Там гуляют, распивая вино из царских погребов, стрельцы из полков Рязанова, Жукова и Ефимьева. С завистью прислушивается к этому веселому говору стрелецкий отряд, поставленный у дворцовой лестницы, ожидая и себе такого же угощения.

Невдалеке от этого караульного отряда беседовали трое стрелецких начальников: полковники Петров, Цыклер и подполковник Чермной. Петров и Чермной сидели на скамье у стены близ ворот, Цыклер стоял перед ними, по временам запахиваясь от пробиравшего свежего ночного ветра.

— Что стоишь-то, Иван Данилыч, ноги, чаю, свои — не жалко? Может, придется и долго...— говорил Петров Цыклеру, очищая ему местечко на скамье подле себя.

— Присяду, как устану. Боюсь, как сяду — засну.

— И то правда. Да не знаешь ли, Иван Данилыч,— ты ведь любишь все обстоятельно разузнать,— зачем нас сюда привели?

— Говорил мне вестовой Федора Леонтьича, урядник Андрюха Кондратьев, будто царевна желает совершить ночной поход на богомолье в Донской монастырь. Она, вишь, боится без надежной охраны... Намеднись, как ходила в Девичий, у нее на глазах зарезали конюха.

— Так, ради опаски собирают, почитай, из всех полков по сту, да какое по сту, чай, больше... Вон какая громада,— продолжал Петров, указывая на дворы Лыков и Житнов, на отряды у лестницы и у задних дворцовых ворот.— Полно, брат, не хитри. Ты все знаешь, да не хочешь говорить... Скрытная душа, прямо боярская.

Цыклер съежился. Каким образом товарищи узнали об условии, назначенном им боярину Милославскому при первом стрелецком бунте (о котором боярин, несмотря на свое обещание, после успеха, казалось, совершенно забыл) — неизвестно, но только с тех пор так и осталось за ним прозвище боярская душа.

— Я такой же боярин, как ты,— сердито огрызнулся Цыклер,— а слыхал я, правду сказать, от Евдокимова, будто ноне поутру объявилось на Верху подметное письмо, извещавшее, что в эту ночь потешные нагрянут на дворец убить царя Ивана и нашу царевну... А правда ли, я почем знаю!

Разговор оборвался. Каждому не хотелось высказывать своих тайных предположений и надежд.

В это время какой-то стрелец бежал по направлению от Ивановской колокольни к Спасской башне.

— Э... да это Гладкий Никитка,— заговорил снова Петров.— Эй, Гладкий, поди сюда!

Стрелец подбежал.

— Отдохни маленько... вишь, упарился. Куда бежишь, по какому делу?

Стрелец едва переводил дух.

— Скажи нам, зачем мы здесь? Ты ведь с Федором Леонтьичем чашка и ложка,— продолжал допрашивать Петров.

— Не время отдыхать — работы много. Сейчас все приготовил к набату на Ивановской, а теперь бегу подвязывать к языку на Спасской...

— Разве и вправду ждете потешных?

— Какое «ждете»! Мы сами пойдем туда, конечно, не все: одни пойдут туда, а другие останутся здесь покончить с Нарышкинскими да Лопухинскими, попугать Иоакимку старого да пошарить по боярским хоромам и по лавкам из Нарышкинских... Да некогда мне. Улажу на Спасской, поеду на Лубянку посмотреть, изготовился ли Стремянной полк. Приказал Федор Леонтьич.

Стрелец убежал.

Все время разговора полковников с Никитой Гладким невдалеке, вслушиваясь в их речи, стоял какой-то стрелец. На него разговаривающие не обращали внимания — всякому ведь хотелось знать,— да если б и заметили его, то, конечно, ни в чем не заподозрили бы. То был пятидесятник, стрелец Дмитрий Мелнов — один из заведомо преданных людей царевны.

После торопливого ухода Гладкого исчез и Мелнов.

Долго сидели полковники, молча обдумывая и соображая про себя полученные вести. Наконец первым заговорил Кузьма Чермной, молчавший до сих пор:

— Не знаю, как вы, товарищи, а я рад. Наконец-то наша царевна решилась покончить... По-моему бы, давно пора извести весь этот злой корень нарышкинский. Покамест не примем старой медведицы с детенышем, не будет нам покоя.

Товарищи не отвечали, а Кузьма Чермной, поднявшись со скамьи, стал собираться.

— Куда? — спросил его Петров.

— Хочу посмотреть на Житном своих молодцов, как они там веселятся за царским вином; да, кстати, порадую и весточкой; надо их приготовить как следует.

— А ты, Иван Данилыч, как думаешь? — спрашивал Петров Цыклера, провожая глазами уходившего Чермного.

— Не знаю... не знаю... Мое дело исполнять, что прикажут. Только люди ныне не прежние... Вряд ли удастся, а впрочем...

— Эх, Иван Данилыч, виляешь ты, брат, боярская душа.

Между тем подслушавший известие Гладкого, пятидесятник спешил к Стремянному полку на Лубянку.

Федор Леонтьич считал самыми преданными себе людьми своих денщиков Федора Турку, Ивана Троицкого и Михаила Капранова и — жестоко ошибался. Характер стрелецкого начальника не мог внушать беспредельной преданности. Близко стоящие к нему люди и выносившие на себе его надменное, а подчас и жестокое обращение более других не могли любить его. Им припоминался образ бывшего начальника — князя Хованского,— доброго, ласкового, симпатичного им, и от этого сравнения худородный человек казался им еще более неприятным. Жива в памяти у стрельцов его беспощадная суровость при самом вступлении в должность к тем, которые так горячо стояли за дело царевны.

Правда, Федор Леонтьич не жалел царской казны на

беспрерывные денежные выдачи своим приближенным, но преданность не покупается деньгами. Напротив того, от подкупов отвращается нравственное чутье, заставляет смотреть подозрительно. Может быть, именно вследствие таких подкупов у стрельцов и возник вопрос — справедлива ли сторона царевны и не возьмут ли они на свою душу страшного, ничем не смываемого греха, отстраняя права царя Петра? А как только мог возникнуть подобный вопрос, решение его не могло быть сомнительным. По русскому взгляду того времени, женское государствование казалось странным, неестественным явлением, а насильственное устранение, еще, может быть, и с убийством, *законного царя* — таким грехом, которого не замолишь ни в сей жизни, ни в будущей. И вот в той самой среде, на которую исключительно опиралась царевна, явилось движение тайное, но тем не менее неудержимое в пользу Петра.

В доме пятисотенного Стремянного полка Лариона Елизарьева, самого приближенного и доверенного стрельца Софьи Алексеевны, так часто бывавшего у нее на Верху, всегда сопровождавшего ее в походах, постоянного слушателя ее жалоб на враждебную партию, стали собираться стельцы, решившиеся тайно поддерживать царя. И то были не одни простые, рядовые стрельцы, но поставленные впереди и уже потому имеющие более или менее нравственное влияние на других: пятидесятники Дмитрий Мелнов, Иван Ульфов, десятники Яков Ладогин, Михаил Феоктистов, Иван Троицкий, Федор Турка и Михаил Капранов.

Заметив лихорадочное волнение в последнее время у своего начальника, учащенное зазывание и спаивание стрельцов и получив наконец приказ о сборе 7 августа в Кремле стрелецких отрядов, новое, тайно протестующее общество решилось и со своей стороны действовать неотложно. Оно-то и послало Дмитрия Мелнова в Кремль для разведки.

Почти заморив коня и сам едва переводя дух от волнения, Мелнов прискакал прямо к избе Елизарьева.

— В Кремле видимо-невидимо собрано народу,— порывисто и задыхаясь рассказывал Мелнов товарищам,— одних посылают в Преображенское, а других оставляют здесь кончать с ближними царскими. Сам я слышал от Гладкого. Он сейчас и сам сюда прибежит.

— Так пора и нам приниматься за дело,— сказал Елизарьев,— пойдемте первое в церковь, поклянемтесь не выдавать друг друга и отстоять царя.

Отперли ближайшую церковь во имя преподобного отца Феодосия на Лубянке. Приходский священник, приятель

Елизарьева, вынеся святое Евангелие с животворящим крестом, отобрал от них добровольную клятву.

— Ну, теперь с Богом, начнемте. Ты, Мелнов, с Ладогиным,— распорядился Елизарьев,— поезжайте как можно скорее — лошадей не жалейте — в Преображенское и расскажите самому государю обо всем. Пусть соберет своих... а мы останемся здесь и, как начнется свалка, ударим с тыла.

Мелнов и Ладогин ускакали.

Вскоре по отъезде гонцов прибежал на Лубянку и Никита Гладкий отдать последние распоряжения начальника Стремянному полку. К немалому удивлению, вместо сбора всего полка или по крайней мере не менее трех сотен человек, как было указано, он увидел около пятисотенного Елизарьева только незначительную кучку стрельцов.

— Отчего полк не собран? У нас там все готово, а вашего приказа нет! — кричал он.— Скорей скликайте по слободам да слушайте набату. Что вам велят делать, то и делайте.

И он снова убежал в Кремль. Вслед за ним отправился туда и Елизарьев с товарищами, а полк все-таки остался несобранным.

Пробила полночь на башенных часах Кремля. Одолевает сон здорового человека. Напрасно силится он бороться с дремотой, с усилием таращит глаза, пытается завести голосом знакомую песню,— напрасно: отяжелевшие веки опускаются, голос обрывается, в голове становится смутно и туманно. Расставленные у стенных застав и у царских теремов караульные сладко дремлют, опершись на воткнутые бердыши. По временам даже и храп проносится в свежем, чутком ночном воздухе. Тише становится нестройный говор на дворах Лыковом и Житном.

На Верху не спят. С последним звуком полночного боя часов там особенное движение. Забегали огоньки по всем покоям, и на освещенном фоне окон то и дело мелькают тени. Быстро сбежали дежурные стряпчие с дворцовой лестницы, разбудили ближайших часовых и побежали на Лыков и Житный.

— Изготовляйтесь в поход,— говорили они дремавшим стрельцам.

— Да куда? — сонно спрашивают те, отряхаясь и протирая кулаками отяжелевшие веки.

— За царевной. Она сама изволит идти, а куда пойдет, сами увидите.

Ждать оставалось недолго. Не успели стрельцы выстроиться как следует в ряды, как сама царевна сошла с Верху на площадь в сопровождении верного своего Федора Леон-

тьича и окольничего Нарбекова. Лицо царевны спокойно, только обычные складки глубже засели на лбу, нервы натянуты, белилы и румяны скрывают бледность, а опущенные веки — тревожное выражение. Мерной и плавной, обычной своей грузной походкой с перевальцем, сошла она на площадь и своим обычным же ровным голосом распорядилась.

— Прикажи, Федор Леонтьич, стрельцам следовать за нами к Казанскому.

Приказание передано. «К Казанскому, к Казанскому...» — повторялось с недоумением на разные тоны в рядах. «Царевна хочет молиться, так это делалось ею и прежде обычно, но зачем нас-то всех подымать? Царевна, бывало, ходила прежде и в долгий путь под охраной только нескольких стрельцов, а теперь и весь путь-то рукой подать»,— спрашивали некоторые недогадливые стрельцы.

— А нам, Федор Леонтьич, прикажешь следовать за тобой? — спрашивали Шакловитого его денщики Турка, Троицкий и Капранов.

— Вам-то? Да... я и забыл. Вы поезжайте скорей к Преображенскому, остановитесь там в тайности в скрытых местах и высматривайте, где стоят часовые... где скрытее подходы... где царь... не уехал ли он куда... А когда мы туда подойдем, так укажите дорогу.

Денщики уехали, а оставшиеся двинулись в поход.

Подле царевны шел Федор Леонтьич, а позади — окольничий Нарбеков.

— Распорядился ли ты, Федор Леонтьич, как следует? В Преображенском потешные. Чаю, и караулы держут... готовы ли стрельцы в случае чего...

— Готовы, государыня, я ручаюсь за них. Лишь бы только нам захватить врасплох,— успокаивал худородный, но в голосе его не звучало той твердой уверенности полководца, обдумавшего во всех подробностях план, которая так ободряет подчиненных.

«В нашем деле нужна великая опытность, а несведущ ты, мой милый Федя, в ратном искусстве,— думала про себя царевна,— ну а если не удастся... сделает какую поруху...»

— Федя, а знаешь ты, где стоит снаряд у конюхов? Может, дойдет и до огненного боя...— проговорила царевна уже громко.

— Сейчас послал, царевна, денщиков моих, Федьку с Ивашкой, разузнать, все осмотреть.

— Сейчас только, Федя? Да чего ж они увидят ночью-то?

— Не успел... делов было много — в кажную малость входить.

«И это он называет малостью... все, все от этого зависит... эх, Федя... Федя...» — думала про себя царевна.

— А знаешь что, Федя,— начала она громко, но, не договорив начатой речи, только спросила:— Отчего князя Василья нет?

— Не знаю... слышал ведь он о походе, а не прибыл... мне ему не кланяться...

— А разве тебе зазорно? — И мысленно прибавила царевна худородному: «Поклониться князю Василию?»

— Ничего, что зазорно, да толку в том не вижу,— оборвал уже с видимой досадой Шакловитый.

— Видишь что... Федя,— начала снова царевна почти заискивающим голосом, после непродолжительного молчания,— женщина я и боюсь всего... Василий Васильич приобвык к ратному делу, знает приемы и подходы... нам он человек нужный...

— Хорошо, царевна, будь по-твоему. Пошлю за ним. Эй, Обросько Петров! Поезжай сейчас к князю Василию Васильичу и передай ему, что, мол, царевна идет к Казанской и зовет его сейчас к себе,— приказал Федор Леонтьич одному из провожавших,— да смотри торопись,— кричал он вслед убежавшему стрельцу.

Остальную дорогу шли молча. Переход до Казанского собора не длинен. Скоро подошли к церкви, вызвали священника и вошли в храм — царевна, Шакловитый и окольничий Нарбеков. Затеплили свечи в одном из приделов, в котором царевна приказала отслужить напутственный молебен.

Прибыл и гонец, но только ни с чем.

— До князя меня не допустили,— докладывал он,— нездоров, дескать, и докладывать к нему вовсе не ходили. Не приказывал.

Софья Алексеевна, видимо, встревожилась.

— Федя, верно, стрелец не сумел передать. Побывай ты сам у князя... попроси ты сам... сделай это для меня...

Федор Леонтьич молча вышел из церкви.

Тускло горят тонкие восковые свечи, освещая только темные лики местных икон, отбрасывая под своды светлые полосы и сгущая за ними еще более ночную темь. Торжественно и тихо. Странно отдаются под сводами почти вполголоса произносимые молитвы священником. Тепло, с обильными потоками слез молилась царевна, испрашивая на свое дело покровительство и помощь Заступницы Богоматери как на дело святое и правое.

— Не для себя подъяла я труд,— беззвучно складывались слова молитвы,— а для пользы и счастия миллионов

народа. Только я могу сделать народ счастливым, просветить его, дать ему мир, спокойствие и безопасность. Много я сделала, много я сделаю, в чем беру в свидетели Бога, и не пожалею я ни здоровья, ни жизни своей. Могу ли я покинуть царство на руки пьяниц и развратников? Что сделается с ним? Конечная гибель и разоренье. Не должна ли я пожертвовать двумя-тремя жизнями для спасения всех?

Царевна была убеждена в необходимости себя для государства. Как бы ни была странна и дика иная мысль, но когда мы стараемся убедить себя в ее верности, когда смотрим на нее с одной точки зрения, беспрерывно освещаем желаемым нам колоритом, эта мысль становится для нас непреложной истиной. Да и можно ли было назвать странной и дикой мысль царевны? Не была ли действительно она права при том состоянии государства? В царском семействе не была ли Софья Алексеевна одна, способная править в смутное время неурядиц? Около нарышкинского двора собралась старая партия бояр Лопухиных, Апраксиных, Шереметевых и других, грудью стоявших за старые порядки, открещивающихся от всякой новизны, как от наваждения антихриста. Правда, молодой царь Петр проявлял энергическую, живую и боевую силу, но неизвестно, куда еще будет направлена та сила, а в настоящее время она расходовалась только, по словам приближенных к правительнице лиц, на пьянство да дебоши.

Торопливые шаги послышались на паперти, и вслед за тем порывисто скрипнула дверь в самой церкви. Чьи это шаги?.. Да... точно... шаги одного... Забыта молитва, и с томительным напряжением, оборотившись ко входу, царевна старалась признать входившего. Скоро из мрака вырисовалась стройная фигура Шакловитого.

— Что? — только и смогла сказать царевна. Сердце ее колотилось до физической боли, дыхание спиралось.

— Не будет. Передавал твое приказание, государыня, говорил и от себя. Все одно: обходились, говорит, без меня, обойдитесь и теперь. Стал ненужным человеком, так нечего и ввязываться...

— Так как же, Федя?

— Ничего, обойдемся и без него.

— Нет, Федя, не обойдемся. Он бывалый, умеет все воинские хитрости. Помнишь, кто меня выручил после раскольнических смут? Он всем делом заправлял во всех походах к Сторожам и к Троице. Без него не обойдемся... Наудачу ходить нельзя. Если не успех — что тогда? Твоя голова да и моя не удержатся... Лучше отложить до другого времени, а между тем склонить его на свою сторону.

— Как изволишь, царевна, воля, конечно, твоя, а по-моему, прямо бы идти к Преображенскому.

— Ах, Федя, ведь ты и в стрельцах-то не уверен.

— Да в чем же уверяться-то? Приказал идти, они пойдут.

Царевна горько улыбнулась.

— Нет, лучше отложу на день иль два, а завтра поговорю сама с князем.

Подумала царевна, как будто на минуту ушла в себя в нерешимости, пристально взглянула на Федора Леонтьича и с нервным движением пошла к выходу.

Выйдя на площадку, она велела подозвать к себе стоявших на площади стрельцов.

Утренний свет начинал пробиваться, выделяя из темного фона вершины колоколен и башен, едва заметно редела темь, и внизу можно было распознать очертания ближайших предметов. Во дворце зазвучал колокол к заутрене.

— Спасибо за службу, мои верные стрельцы,— обратилась она к надвинувшемуся отряду,— если б я не опаслась, всех бы нас извели нонешнею ночью потешные конюхи. Идите по слободам да будьте готовы, когда вас повещу... А ты, Василий Саввич,— обратилась она к окольничему Нарбекову, стоявшему в отдалении и все время молчавшему,— поди к моему истопнику Евдокимову, возьми от него припасенные три мешка и раздай каждому стрельцу по рублю.

Беспорядочной толпой бросились вслед за Нарбековым стрельцы, а Софья Алексеевна, в сопровождении Шакловитого, тихо направилась к Верху.

«Василий любит меня и ревнует к Феде,— думала она,— а если любит, так сделает по-моему. Не удалось сегодня, удастся завтра». И успокоенная, она стала всходить по дворцовой лестнице.

— Ваша милость! Ваша милость! Федор Леонтьич! — кричал снизу, с площади, торопливый голос стрельца. Федор Леонтьич, оставив на Верху царевну, поспешил сойти с крыльца.

— А... Федька, ты из Преображенского? Что там?

— В Преображенском великая суматоха... царя Петра согнали оттуда... ускакал...

— Куда?

— Не ведаю. Видел сам, а спросить было не можно. Ускакал один, а за ним уехали мать и супружница.

— Давно уехали?

— Да часа четыре будет. Я нарочно помедлил в овраж-

ке — хотелось узнать, что дальше будет, и доложить твоей милости.

— А отчего в Преображенском идет смута?

— Не ведаю. Только гонцы так и шныряют из дворца к Преображенскому и Семеновскому. То ли собираются куда...

— Вольно ж, сбесясь, бегать,— заметил, подумав, Федор Леонтьич и отправился доложить вести царевне.

Но царевна приняла эти вести иначе. При первых же словах лицо ее побледнело и задрожали ноги.

— Нам изменили... изменили... все пропало... все...— шептали побледневшие губы.

ГЛАВА VIII

Не жалея лошадей и рискуя сломать себе голову, скакали в темную ночь к Преображенскому Мелнов и Ладогин. Чрез какие-нибудь полчаса они были уже у загородного потешного дворца, но тут-то именно и возникли главные затруднения. Темно кругом дворца, все спало глубоким, непробудным сном, а между тем время дорого, каждая потерянная минута могла стоить жизни.

Сойдя с лошадей и ощупью отыскав ворота, Мелнов и Ладогин что было силы забарабанили в запертую калитку. Громко раздался в ночной тишине нетерпеливый стук и при первых ударах разбудил всех дворовых собак. Поднялся оглушительный лай всевозможных голосов, разбудивший наконец и воротного сторожа. Послышался скрип двери, тихие шаги босых ног и наконец человеческий голос, унимавший собак, бегавших около ворот.

— Чего стучите? Кого надоть?

— Отвори калитку да веди нас скорей к царю!

— Прытки больно! Царь почивает, будить не указано для всякого. Да цыц... вы, проклятые псы,— унимал голос собак.

— У нас дело есть... смертное дело... отвори скорей,— умоляли стучавшие.

— Да кто вы? Откуда?

— Стрельцы... из Москвы.

— Стрельцы?! Ну так для вас и подавно не отопру. Мало вас здесь шатается озорников. Почитай, дня не пройдет без озорства. Кто поджигает-то? Чай, не вы!

— Да отвори, Христа ради. Мы к царю со словом и делом. Спасти его.

— Знамо, теперь так говорите, а только отопри — беда.

— Не отопрешь — будешь в ответе в великой беде.

— Царя поднимать для вас не буду, а разве что Бориса Алексеича.

— Ну хоть Бориса Алексеича. Только скорей, ради Бога.

— Да сколько вас?

— Двое.

— Двое. А может, вас тут видимо-невидимо.

— Отопрешь — так узнаешь. Скорей! Скорей! — торопили голоса.

— Знамо, узнаю, да поздно будет узнавать-то. А как вас прозывать?

— Про то сами скажем царю аль Борису Алексеичу. Отопри ж, а не то мы станем в окна царские стучать.

— Ладно, сейчас.— И старик пошел к дворцовым покоям, но предварительно завернул в свою каморку.

— Встань-ка, Парфенка, да обеги тишком задами на улицу, посмотри, сколько там человек у ворот, говорят, они двое, а может, и больше. Да обеги зорко: не спрятаны ли где поблизости. Вестимо, что за люди стрельцы.

Парфенка — мальчишка лет двенадцати, довольный поручением, мигом набросил кафтанишко и пустился по задворкам, а сторож пошел будить ближнего человека, князя Бориса Алексеевича.

Не скоро добудились князя Бориса, заснувшего крепким сном после вечернего кутежа, но когда он узнал, в чем дело, вечерний туман мигом рассеялся и беззаботный кутила негаданно, может быть, и для самого себя, вдруг сделался предусмотрительным даровитым вожаком.

Расспросив толково в немногих словах Мелнова и Ладогина о сборище в Кремле, о приготовлениях Шакловитого к ночному походу в Преображенское, Борис Алексеевич быстро сообразил и наметил весь будущий план действий. Живо он еще помнил положение дел 1682 года, подобное настоящему, когда они бегали из Воздвиженского к Троице, когда они так ловко избежали опасности благодаря распорядительности Василия Васильевича. Точно так же и теперь другого выхода не было, но только новые осложнения придавали еще более остроты, еще более не позволяли терять напрасно время.

Отпустив Мелнова и Ладогина с секретным наказом своим людям не упускать их из виду, Борис Алексеевич поспешил к царским покоям. По пути бесцеремонно толкнув спавшую постельницу старой царицы и приказав ей сбираться в дорогу как можно скорей, он вошел в опочивальню молодых царя и царицы. При свете передыконной

лампадки в переднем углу Борис Алексеевич прямо подошел к двухспальной постели, на которой, откинувши богатырскую руку, с разнообразным всхрапыванием, утомившись неустанной физической работой, спокойно спал молодой Петр подле хорошенькой царицы Евдокии.

— Спасайся, государь, стрельцы идут в Преображенское,— сказал кравчий, дотрагиваясь до свесившейся руки Петра.

С диким, блуждающим взглядом мгновенно вскочил государь. Как в высшей степени нервная натура, он при самом глубоком сне сохранял удивительную чуткость; разбудить его достаточно было не только одного прикосновения, но даже не очень значительного шума подле него. Страшное впечатление произвело известие князя Бориса. С быстротой электрической искры пробежало оно по всему его организму и передернуло. Бессвязно в голове замелькали представления: стрельцы здесь... кровь... кровь... резня... всех, и под страшным давлением этих неопределенных представлений он рванулся к двери и выбежал. С изумительной быстротой пронеслась его колоссальная фигура в одной ночной рубашке по всем покоям, слетела с лестницы на двор и скрылась в ближайшей роще. Оставив молоденькую царицу протирать сонные глазки, а захватив только лежавшее подле кровати платье Петра, Борис Алексеевич вслед за Петром бросился догонять его, кубарем скатился с лестницы и, успев только крикнуть стоявшему на дворе оторопелому конюху вывести самую лучшую лошадь, сам точно так же скрылся в той же роще.

— Пресвятая мати Богородица! Царь-то с ума рехнулся,— бормотал про себя конюх, выводя из конюшни самую добрую лошадь и ведя ее к роще.— Вот оказия-то!

На знакомый оклик князя Бориса в роще Петр откликнулся и подбежал к нему. Ночной свежий воздух обвеял голову, и процесс мышления стал принимать форму. Князь одел его и рассказал все, что сам узнал от Мелнова и Ладогина.

— Что делать? — спросил Петр, сдерживая пронимавшую его дрожь от расходившихся нервов и ночного воздуха.

— Опасности еще нет, государь, но нельзя терять время. Здесь против силы удержаться нельзя. Садись на лошадь и поезжай к Троице, а я сейчас же за тобой привезу мать и жену и прикажу всем потешным ехать туда ж. В Троице за стенами мы безопасны... а там, что Бог даст... подумаем. Поезжай осторожно. Дорогу хоть и знаешь, да ведь темно, можешь сбиться или спасть с лошади. Смотри лошадь не горячи,— продолжал князь, успокаивая Петра

и снабжая его наставлениями,— конь добрый. При понуканье в такую темь пуще утомишь, а дорога дальняя. Ну, прощай. Господь да благословит тебя,— заключил он, перекрестив Петра и на прощание поцеловав его в лоб.— Жди нас в Троице.

Лошадь действительно оказалась доброю. Она, по-видимому, поняла наставления князя Бориса и понесла седока почти без участия его по дороге к Троице, то рысью, то вскачь, то, в трудных местах, и шагом, искусно выбирая более удобную дорогу. Минуты шли за минутами, часы за часами. Едва заметная полоска на востоке становилась все явственнее, все ширилась и наконец обняла чуть ли не весь небесный свод. Вот и сноп световых лучей полился оттуда и озарил всю окрестность блеском и жизнью. Закопошились люди в сельских полях созревших хлебов и, сбрасывая ночную дрему, принимались с серпом за тяжелую страдную работу. И не одна жница выронила из рук срезанный сноп, следя с удивлением за стройным всадником — юношей без шапки, утерянной, видно, где-нибудь на дороге, с развевающимися по ветру черными кудрями, с неопределенным и жадно устремленным взглядом вперед.

Наконец после пятичасового пути на горизонте отчетливо вырезались белые стены и башни Троицкого монастыря. Еще одно последнее усилие, и Петр у монастырских ворот. Да и пора было: и всадник едва держался, и конь выбивался из последних сил, беспрестанно спотыкался и припадал.

Утренняя служба кончилась, монахи и послушники выходили из храма, когда Петр въезжал на монастырский двор, проехав, таким образом, верхом в ночное время, в продолжение пяти часов, около шестидесяти верст. Не скоро признали монахи в этом истомленном, бледном и нервно искаженном лице бойкого молодого государя. С изумлением и каким-то испугом обступили монахи Петра, взяли под уздцы его измученную лошадь и подвели ее к крыльцу кельи настоятеля отца Викентия, которого предупредить бросились несколько послушников. Петр как будто не узнавал никого, позволил снять себя с лошади и на руках отнести в келью настоятеля.

Отец Викентий, только что было расположившийся отдохнуть после утрени и с благодушием напиться чайку, перетревожился, затормошился и встретил Петра уже только на пороге своей кельи. Но еще более спутался почтенный отец, когда услышал от Петра дико вылетавшие с глухим стоном слова:

— Спаси меня, отец... меня хотят убить... за мной гонятся...

— Успокойся, государь, здесь у меня в обители ты в безопасности,— успокаивал отец Викентий, распоряжаясь между тем отсылкой лишних любопытных, кого с приказанием запереть монастырские ворота и все выходы, кого по разным домашним надобностям. И только с немногими оставшимися, на скромность которых мог положиться, отец Викентий стал хлопотать около Петра, раздел его, уложил в постель и предложил испить освежающего чайку.

Перемена положения, быстрый переход от езды к постели произвели реакцию в организме. Нервное напряжение разразилось страшной истерикой. Петр зарыдал сильно, неудержимо, как умеют рыдать в наше время женщины. Прерывающимся от спазматических рыданий голосом он рассказал отцу Викентию то немногое, что мог знать и что успел передать ему при прощании князь Борис.

С окончанием истерического припадка государь почувствовал облегчение и скоро заснул глубоким сном. Отец Викентий, осторожно прибравшись, вышел из комнаты, оставив в соседнем покое на всякий случай надежного старца, и пошел кругом своих владений лично наблюсти за исполнением своих распоряжений: заперты ли ворота, имеется ли при них стража и замкнуты ли другие боковые входы. Озабоченный вид настоятеля отразился на всем монастырском строе — все засуетилось, о чем-то захлопотало, но все делалось шепотом, таинственно, с многознаменательным кивком на келью отца Викентия.

Не успел отец Викентий обойти всех своих владений, как прибежал к нему монастырский привратник с известием, что на дороге из Москвы показалось несколько колымаг.

— А воинства, отец Варсонофий, не приметил при оных колымагах? — спросил настоятель.

— Скачут только несколько вершников около колымаг, святой отче, а больше никого из сторожевой башни не видно во всю дорогу.

«Должно быть, царицы»,— подумал настоятель и приказал вслух:

— Ты, отец Варсонофий, прежде чем отпирать ворота, окликни, и если приезжие будут царица Наталья Кирилловна и царица Евдокия, то неупустительно дай мне знать да скажи, чтоб изготовлены были царские покои.

Отец Варсонофий побежал исполнять, а отец Викентий тихо побрел к своему жилью, раздумывая и передумывая разного рода комбинации.

«Вот притча-то,— думал он,— значит, у государя с царевной спор: либо он, либо она, а обоим вместе не быть.

Как же нам тут быть? Царевна — жена преизрядная, преисполненная книжной премудрости и милостливая тож. От нее монастырю тепло, а каков-то еще будет Петр — не знаем. Знаем только, что любит выпить да к заморским порядкам и проходимцам-забулдыгам привязчив. Да... нельзя ж и его отстранять, ведь царь законный, венчанный... Как тут решить?»

Да решать отцу Викентию и не пришлось. Через несколько минут въехали на двор колымаги, из них вышли царицы Наталья Кирилловна с дочерью, молодая Евдокия и князь Борис Алексеевич. Царицы, успокоившись от отца Викентия насчет Петра, отправились в царские терема в сопровождении настоятеля, а князь Борис тотчас же распорядился двум вершникам сменить лошадей и направиться по Московской дороге для разведки и извещения в случае появления преданных царевне стрельцов, а остальным вершникам стать у ворот на страже. Таким образом, власть над монастырем фактически перешла от отца Викентия к князю Голицыну, вступившему в ту же роль, какую исполнял брат его, Василий Васильевич, семь лет тому назад.

Томительно провело царское семейство первые часы своего пребывания в Троице, все ожидая погони, все вздрагивая и замирая при каждом внешнем звуке, но вместо погони вскоре прибыл отряд налетов под предводительством преданного нарышкинской стороне пятисотенного Бурмистрова, затем преображенцы, семеновцы, Сухаревский стрелецкий полк, а за ними перед вечером стали наезжать ближние Наталье Кирилловне бояре и придворные. А наконец, после них уже, перед сумерками, прибыл капрал потешных Лука Хабаров, пробравшийся проселочными дорогами из Преображенского с пушками, мортирами и боевыми снарядами*.

---

* Почти все наши и иностранные историки Сегюр, Штелин, Галем и другие красноречиво рассказывают очень эффектное происшествие, случившееся с Натальей Кирилловной в Троицком монастыре. Они говорят, что будто, когда царь с матерью укрывались в алтаре одной из церквей Троицкого монастыря, туда ворвалась толпа стрельцов, решившихся убить их, но что будто бы при самом исполнении злодеи остановились, пораженные царственным величием государя.

Подобного случая не было. Происхождение его объясняется увлечением народной фантазии, как вообще в представлениях богатырских типов. Во время первого стрелецкого бунта Петр и Наталья Кирилловна находились в Москве, во время второго бунта, то есть после казни князей Хованских, Петр с Натальей Кирилловной находились в Лавре вместе с Софьей Алексеевной и стрельцы приходили туда с повинной, наконец, в смуте 1689 года стрельцы тоже не могли быть в монастыре, так как об

И вот с Петром совершился переворот, как со сказочным принцем. Уснул он бедным беглецом, проснулся сильным монархом полночного царства, в среде придворных, под охраной воинской.

Весело проснулся молодой царь, освеженный целительным сном, и радостно поздравил его князь Борис Алексеевич. Правда, опасность еще не миновала: в Москве господствовала царевна, управлявшая значительно превышавшим численностью отрядом стрельцов и солдатских полков, но тем не менее, хотя не с многочисленным, но с твердым и хорошо обученным войском, и притом же в стенах, способных выдержать даже продолжительную осаду, Петр мог смело и решительно выставить свое право, признаваемое всем земством Московского государства.

Решение не могло быть сомнительно, и вопрос сводился лишь к тому, каким путем подойти к этому решению, какими воспользоваться средствами. И в этом отношении во всем блеске выказались находчивость и талантливость пестуна и кравчего Петра. Искусно и ловко расспросив во всей подробности явившихся в Лавру стрельцов Лариона Елизарьева, сотенного Михаила Феоктистова, пятидесятника Ульфова, десятников Турка, Капранова и Троицкого и, наконец, полковника Цыклера обо всех приготовлениях и намерениях Софьи и о состоянии умов стрельцов, он верно оценил положение дел и повел переговоры в сознании своей силы — твердо, но без задора.

ГЛАВА IX

«Государь со всей семьей и потешными убежал ночью из Преображенского, но куда? зачем? от кого? от стрельцов? его хотели убить?» — задавали друг другу вопросы шепотом и с оглядкою москвичи утром 8 августа. «Видно, новая смута! Чем все это кончится?» — спрашивал каждый и невольно осуждал правительницу. А что в это время передумала и перечувствовала сама правительница?

Известие денщиков Шакловитого об отъезде Петра поразило ее. Она мгновенно поняла, что этот отъезд ставит вопрос о власти в открытую и исключается возможность всяких случайностей... а в открытой борьбе сторона женщины почти всегда оказывается слабой.

Утомленная бессонной ночью, правительница думала,

отъезде Петра правительница узнала только спустя несколько часов, а следовательно, стрельцы никак не могли опередить потешных.

воротившись из Казанского похода, освежить свои силы сном, но возбужденные нервы не давали отдыха: с усилием закрытые глаза открывались, руки метались беспокойно, в голове толпились и скрещивались тысячи представлений, бессвязных, смутных, противоречивых. Кровь била в виски, широкой волной заливала сердце и ярко окрашивала лоб, глаза, щеки и шею. Порывисто сбросилась она с постели и быстро заходила по комнате.

— Мавра! — крикнула она постельницу, заменившую Радимицу Федору Семеновну, уж давно вышедшую замуж за кормового иноземца Озерова и недавно уехавшую с мужем в новопожалованные поместья.— Мавра! Позови ко мне денщика Турку!

Явился Турка. Царевна приказала ему снова рассказать все подробно о выезде брата, но узнать положительно и отчетливо и теперь все-таки не могла. Несвязно и глухо тот передал только свои наблюдения с ночного поста: как вдруг ни с того ни с сего зажглись огни в Преображенском дворце, как закопошились там люди, забегали к потешным, как запрягали лошадей, укладывались и выезжали.

— А куда выехали,— заключил немногосложный рассказ Турка,— не у кого было допытываться, торопились сюда с вестями, да лошадь сшибла в дороге... запоздали.

— Вас на посту был не один человек, один мог оставаться и следить, куда едут, а другой ехать сюда.

— Не домекнулись, царевна, в разных местах были, не сговорились.

— А в котором часу уехали?

— Часов-то мы не знаем, царевна. Днем — по солнышку, а ночью, особливо в дороге, кто разберет. Скоро рассветать стало.

— Ступай и сейчас разузнай, куда уехали из Преображенского.

— Предатели...— бросила вслед уходившему царевна.— Я ли не ласкала их, не награждала, не одаряла, а чем платят они мне? Изменой... предательством... И на таких-то людей рассчитывал Федор... вздумал царствовать... прямой худородный...— невольно с горькой иронией и презрительно вырвалось у царевны.

Будто в ответ на зов в дверях показалась красивая фигура Федора Леонтьича.

— Ступай, Федор, если нужно будет, позову тебя,— досадливо проговорила она, нетерпеливо махнув рукой. Федор Леонтьич исчез.

Молодая женщина переживала переворот. Вся занятая, всей своей плотью и кровью, важностью совершающихся

событий, она круто высвобождалась из-под обаяния чувственности, и как мелок, как ничтожен показался ей тогда вчерашний любимец, ничего не давший ей, кроме страстных ласк.

— Мавра! Позови ко мне, как только явится, Турку.

— Воротился он, государыня, и ждет твоего приказа.

— Узнал? — спросила она, оборачиваясь к входившему стрельцу.

— Узнал, государыня. Царь Петр Алексеевич уехал из Преображенского верхом в полночь к Троице, вслед за ним отправились туда обе царицы и князь Борис Алексеевич с потешными и налетами, а на рассвете выехал туда ж и весь боевой снаряд.

— Как? И огненный бой перевезли?

— Перевезли...

— И я об этом узнаю только теперь, когда нет возможности... нет средств. Ступай вон! — крикнула она стрельцу.

«К Троице... конечно, туда... сама же показала дорогу... сама научила... Семь лет князь Василий...»

— Мавра! — позвала она снова постельницу.— Пошли за Василием Васильевичем.

И теперь в новую критическую пору своей жизни молодая женщина снова обратилась к забытому старому другу, к тому, кто первый научил ее правилам политической мудрости. С нетерпением она ждала его.

В дверях появился князь Василий. С лихорадочным волнением бросилась к нему навстречу молодая женщина и — остановилась.

— Князь Василий,— прошептала она,— я ждала...

— Поздно, государыня,— отвечал он тихим, но не прежним ровным, а надорванным голосом.

Глаза их встретились, и многое прочитали они друг у друга, многое, что не высказывается словами. Страшно изменился князь Василий с возвращения из Крымского похода, стал почти неузнаваем. Загорелый, но все еще мягкий и приятный цвет лица принял желчно-буроватую черствую тень, черты сделались резкими, нос заострился и выдался, глубокие складки избороздили лоб и очертили рот, сжатый в холодную усмешку, а из полуопущенных век вырывались не прежние бархатные ласкающие лучи, а какой-то пристальный, тревожный и всеподозревающий взгляд. Этот-то стальной взгляд и остудил порыв молодой женщины, бросившейся было к нему, правда, под влиянием чувства самосохранения, но не прежнего сердечного увлечения, которого не было да и не могло быть. Человек не отрыгает, не пережевывает однажды одного и того же чувства.

— Я позвала тебя, князь, для совета... и как ми... постоянного, верного слугу...— начала снова Софья Алексеевна, овладев собой.

— Государыня, Голицыны всегда были верными слугами... никогда не изменяли.

— Ты знаешь,— продолжала царевна, как будто не замечая едкого упрека,— все, что случилось... из Преображенского бежали в эту ночь... Что теперь делать? Да садись сюда, князь, к столу... подумаем, как бывало прежде...

И опять они сидели так же близко, как в былое время. Та же женщина с таким же доверием обращалась к нему, и недавнее тяжело пережитое стало уходить из памяти князя. Теплое, ласкающее что-то облило его, и в голосе его ответа зазвучала прежняя сердечная мягкость.

— Ты напомнила, царевна, о прежнем, и я начну говорить с прежнего, говорить правду, какую ты давно не слыхала да, может, и не услышишь больше никогда. Только о себе ничего не скажу...

После покойного братца твоего, Федора Алексеевича, ты помнишь, какое осталось во всем нестроение, а из всего царского семейства, кроме тебя, никого не было, кто бы мог управлять всем царством. Ты по разуму своему и по образованию могла заправлять всеми делами, и ты стала царствовать — каким путем, мне до этого дела нет — лишь бы царство не теряло да народу легче стало. Многое ты сделала, но еще больше не могла успеть — подготовки не было прочной, надо было начинать. Но твое царствование было временное, царевна, только до возраста царя. Так все думали, так думала и ты сама. Во время отлучек моих в Крым ты изменилась... Тебе стали нашептывать преступные мысли. Люди недостойные из желания угодить, а может, и из своей корысти потворствовали твоей слабости, но, поверь, царевна, людей этих немного, и они только зачернят тебя в рознь с братом, в такую рознь, что нет вам общей дороги... А так как ты не в силах брату переступить дорогу, то лучше, по моему мнению, царевна, тебе самой отказаться... Поезжай куда-нибудь, хоть в Польшу, например, я за тобой поеду... и можешь ты быть там спокойной и счастливой.

Софья Алексеевна задумалась, но не надолго... Она слишком втянулась в самовластную сферу, в ту сферу, откуда почти нет добровольного выхода.

— Бежать! От кого? От пьяного конюха? От женщины, мучившей меня с детства? И ты советуешь мне... оставить царство и мой народ, для которого я столь сделала и сделаю, на руки всякому сброду... никогда! Лучше борьба на жизнь и на смерть...

— Поверь, государыня, и борьбы не будет,— продолжал князь упавшим голосом.— У тебя нет силы. Тебя принудят сделать то, что теперь ты бы сделала добровольно и в чем были бы тебе благодарны.

— Ошибаешься, князь, я не одинока, и принудить меня нелегко... Ну а другого средства, по-твоему, вовсе нет?

— Есть... Только это все одно что броситься в пропасть... Если веришь в свою силу, то собери рать и поди открыто на осаду к Троице. Только в этом я тебе не слуга, да и мало их будет, кроме пьяных... И их, и себя погубишь...

— Лучше гибнуть, чем бежать... а может, еще и уладится... подумаю... Если бы у меня были только твердые руки, на которые могла бы положиться... а то одна... и всегда буду одна... Неужели ты, князь, думаешь, что, отстраняясь от меня, ты спасешься, что тебя пощадят?

— Не знаю, что со мной будет, государыня, да для меня теперь все равно...

Разговор оборвался.

— Прощай, Василий, увидимся ли мы? Спасибо за прежнее...— И Софья протянула ему руку.

Горячо поцеловал протянутую руку Василий Васильевич. Сердце говорило ему, что это было последнее целование.

Сколько ни думала правительница, но ни к какому выводу не пришла. На другой день утром (9 августа) прискакал гонец из-под Троицы от царя Петра, и, как есть, запыленный с дороги, приведен был прямо в покои правительницы.

— Здоров ли брат мой? — спросила царевна с тем самообладанием, с тем видом наружного спокойствия, которые она так умела брать на себя при приемах в минуты самого тревожного волнения.

— Царь и государь-батюшка Петр Алексеевич Божиею милостью жив и здоров и приказывал мне, рабу своему, спросить у братца своего, царя и государя Ивана Алексеевича, и у тебя, государыня: для какой надобности собрано было такое множество ратных людей в Кремле в ночи третьего дня? — говорил гонец, отвешивая обычный земной поклон.

— В разъездах своих да превеликих трудах и заботах царь, видно, забыл, что я, по обычаю, ночью хаживаю помолиться святым угодникам. Днем бывает недосужно. Так вот и третьего дня я собиралась на богомолье в Донской монастырь, а ратные люди снарядились сопровождать меня ради опаски. Недавно и так при моих глазах человека

зарезали на Девичьем. Людей было снаряжено не много... верно, братцу вести перенеслись неверные. От кого такие вести?

— Не ведаю, государыня, и твой наказ передам в точности. Теперь увидать бы мне позволь государя Ивана Алексеевича.

— Увидеть нельзя,— отвечала царевна,— голова у него болит — допускать к себе никого не велел.

— А отчего братец с такой великой поспешностью вдруг собрался к Троице? — продолжала царевна после небольшого молчания.— Его внезапный отъезд привел в смущение все государство и Москву...

— Не ведаю, государыня, ничего не ведаю. Государь ничего наказывать не изволил.

Видя, что от гонца ничего добиться нельзя, правительница поспешила его отпустить.

«У Петра люди есть... они решились действовать и пробуют силу,— думала она по уходу гонца,— а я... надобно же на что-нибудь решиться. Не идти ль на Троицу? У Петра только потешные конюхи, а у меня восемнадцать стрелецких полков. Да и в самом монастыре разве не найду пособников? Неужто отец Викентий забыл мои благодеяния! Посмотрим еще...»

Но это были только мечты, разлетевшиеся от суровой действительности. В соседней комнате послышались торопливые шаги, и к ней, без доклада, почти вбежал Федор Леонтьевич. На бледном, встревоженном лице его ясно можно было читать испуг и отчаяние.

— Спаси, государыня, спаси... о твоей пользе радел я...

— Что с тобой, Федор Леонтьич, чего испугался?

— Беда над моей головой, государыня, денщики мои, на верность которых я надеялся, которым верил, перед которыми не скрывался, убежали к Троице... к царю Петру...

Как ни была испугана сама правительница таким серьезным известием, но не могла удержаться от презрительной улыбки и едкого слова.

— Хорош ты воин, Федор Леонтьич, коли своих денщиков растерял до брани. Ступай и успокойся. Царевна Софья не выдает своих слуг.

Известие действительно могло заставить растеряться и не такую голову, какая была у Федора Леонтьича. Побег Елизарьева, Капранова, Троицкого и Турки, с одной стороны, выказывал, как шатка была преданность стрельцов, как мало можно было полагаться на них в открытой борьбе, а с другой стороны, доставлял противной стороне все сведения, все подробности планов и действий Шакловитого и царевны.

Не успела опомниться Софья Алексеевна от этого удара, как доложили ей о прибытии нового гонца из-под Троицы. С этим гонцом Петр уже требовал присылки к себе полковника Стремянного полка Ивана Цыклера с пятьюдесятью стрельцами.

Немало удивило это требование царевну Софью. Она помнила услуги Цыклера в деле 1682 года и считала его за одного из самых преданных себе людей. «Погубить хочет его»,— подумала она, и первым движением ее было не выдавать полковника, но не значило ли это подтвердить все доносы на нее? И она решилась лучше спросить самого Цыклера.

— Брат Петр требует тебя к себе с пятьюдесятью стрельцами,— обратилась она к вошедшему Цыклеру,— как думешь?

— Воля твоя, государыня, а я готов,— отвечал он спокойно.

— Я всегда ценила твою верную службу, Иван Данилыч. Сообрази: братец Петр Алексеич может быть не доволен тобой, может... поверить клеветникам на тебя. Насказали ему ведь и на меня.

— Я открою, государыня, царю всю напраслину. Доложу ему, как злые люди мутят.

Цыклер был отпущен. Правительница и не подозревала предательства Цыклера, не знала, что дня за два он наказывал одному из перебежчиков-стрельцов просить царя о вытребовании его к себе, заявляя готовность раскрыть всю истину о замыслах царевны и Шакловитого.

Сильно скребло на душе его неудавшееся боярство.

ГЛАВА X

Прошло несколько дней. Не сила Петра, не потешные его и какой-нибудь Сухаревский полк пугали правительницу, а собственное бессилие, неимение способного, энергического руководителя, нередко обнаруживающаяся нежизненность ее власти не только в народе, но даже в среде самой преданной ей — в среде стрельцов. При таком положении открытая борьба становилась слишком рискованной. Она видела это и решилась на примирение.

«Для меня время дорого,— думала она,— мое правление еще не успело укорениться. Чем долее оно продержится, тем более увидят, куда я иду, чего хочу, сколько я желаю добра народу и сколько я могу его сделать. Оценят... и моя власть будет прочна. Пусть братец с потешными пьянствует

и забавляется; они сами мне очистят дорогу. Да... сближение необходимо, и я должна его добиться. Но как? Как утишить озлобление, как оправдаться? Впрочем... где ж против меня улики? Наговоры беглых, да, может, еще из-под пытки — разве доказательства? Да и они что могут сказать? Разве то, что я береглась от озорства потешных... хотела защищаться... Если б я хотела погибели Нарышкиных, разве я стала бы ждать столько лет? Если б я только увидалась... я уговорила бы воротиться сюда... Послать... но кого?

И в уме правительницы перебирались бояре, но подходящего долго не отыскивалось: то или склонен к партии Нарышкиных, то слишком прост или неречист, не выскажет всего как следует. Наконец выбор ее остановился на боярине князе Иване Борисовиче Троекурове.

Призвав его к себе на Верх, она с обычным своим красноречием жаловалась на поступки брата, с ее стороны ничем не вызванные, яркими красками описывала бедствия, к которым ведет такая рознь, изъявляла полную готовность к примирению и наконец поручила ему уговорить брата воротиться.

— А услуги твоей, боярин, я век не забуду,— заключила она, отпуская его.

Решившись достигнуть всеми средствами примирения, правительница в то же время принимала деятельные меры к охранению себя. Беспрерывные перешатывания стрельцов из Москвы к Троице развивали между ними настроение, совершенно противоположное ее видам, служа живым проводником интересов царя Петра. Для пресечения свободного сообщения правительница распорядилась поставить сильные заставы по Троицкой дороге, усилить городские караулы и приказала в случае появления каких писем из похода, то есть из-под Троицы, в полках письма те, не распечатывая, доставлять к ней на Верх. Но, несмотря на принятые меры, пересылки случались нередко.

14 августа от Петра князем Борисом Алексеевичем присланы были грамоты во все стрелецкие полки и в оба солдатские, Гордона и Захарова, с наказом явиться в Троицкий монастырь полковникам, урядникам и по десяти стрельцов от каждого полка к 18 августа «для великого государственного дела». Посланные с этими грамотами были схвачены на заставах и представлены Софье Алексеевне, но, однако, некоторые из них успели пробраться тайком и передать грамоты на съезжие избы. По этому поводу правительница призвала к себе полковников с выборными и строго запретила им вмешиваться в ссоры ее с братом и к Троице

не ходить. Запрещение этого ставило в затруднительное положение полковников, заставляло их оказать явное непослушание царской воле.

— Отчего бы нам не идти? — говорили они между собой.— Разве через это будет какая государству поруха?

Эти слова были переданы правительнице, и она снова вышла к ним, но уже с грозным словом:

— Если кто соберется идти к Троице, тому велю отрубить голову.

Полковники остались, как остался и солдатский Бутырский полк генерала Гордона.

Прошло еще два дня томительного ожидания. Из Троицы не слышно никаких вестей, даже поехавший туда боярин Иван Борисович словно умер. Истомившись от нетерпения, Софья Алексеевна уговорила брата Ивана Алексеевича послать к Троице своего дядьку, всеми уважаемого старого боярина князя Петра Ивановича Прозоровского с тою же целью — склонить Петра воротиться в Москву. Прозоровского провожал духовник Петра — протоиерей Меркурий. Но и эта попытка не удалась: на другой же день Прозоровский воротился в Москву ни с чем.

Тогда правительница вспомнила о старинном и забытом ею печальнике и миротворце всех княжеских смут и раздоров — патриархе Иоакиме. И она обратилась к нему. Красноречиво и с блестевшими на полуопущенных ресницах слезами жаловалась она ему, как злые люди встали между нею и братом, наговорили ему Бог знает что на нее, не виновной ни в чем, и нет человека, который бы позаботился о примирении их и об устроении царства. Старик размягчился, и несмотря на хворь свою, собрался и поехал к Троице. Уехал он утром 18 августа, и по уговору с Софьей, надобно было ждать его возвращения либо на другой, либо на третий день. Прошли другой, третий и четвертый дни, а патриарха нет. Значит, он так там и остался. «И этот обманул меня»,— думала она и жаловалась стрельцам:

— Послала я патриарха для примирения с братом, а и он обманул, уехал в поход, живет там и к Москве не едет.

А между тем с каждым днем все назойливее и назойливее возникал вопрос «что делать?». Нельзя же вечно оставаться в таком положении... Где и в ком искать? К Шакловитому и обращаться не стоит, она узнала его пустоту. Василий Васильевич отстраняется, и хоть по призыву ее бывает на Верху, но, видимо, опустившийся, без воли и энергии. Пыталась было она, по совету его, переманить стрельцов Сухаревского полка из Троицы в Москву, рассчитывая, что если перебегут они, то перебегут за ними и дру-

гие, а тогда и царь Петр должен будет воротиться поневоле и с ней помириться. Подсылал Шакловитый к женам сухаревцев, оставшимся в Москве, с наказом уговаривать своих мужей воротиться. «Иначе,— говорили подосланные,— и ваши мужья погибнут в неравном бою, так как у Петра только один полк, а у царевны девятнадцать, погибнете и вы, и все ваше имущество разграбится». Сухаревские стрельчихи испугались, посылали гонцов за гонцами к мужьями, но те плотно засели в Троице и не двигались.

Прибегали и к чародейству. Преданные Софье Стрижев, Гладкий и Чермной живмя жили в келье у Медведева все с одним и тем же вопросом: что делать и что будет?

— Не бойтесь,— обыкновенно ободрял их отец Сильвестр,— как будто и будет брать верх сторона Петра, но ненадолго, много-много — дней на десять, а там опять укрепится рука государыни царевны. Надобно перетерпеть.

Но пророчество, видимо, не сбывалось, и рука правительницы не только не укреплялась, а, напротив, слабела с каждым днем. Так, вторичные грамоты, присланные князем Борисом от имени Петра из Троицкого монастыря в Москву в стрелецкие слободы, в гостиные сотни, дворцовые слободы и черные сотни, с приказанием полковникам и урядникам с десятью стрельцами от каждого полка, старостам и выборным с десятью теглецами от каждой слободы и сотни явиться без оплошки к Троице под угрозой смертной казни за ослушание не были уже задержаны на заставах, а доставлены беспрепятственно по назначению.

Грамоты произвели ожидаемое действие. Полковники Нормацкий, Спиридонов, Дуров, Сергеев и Нечаев с пятьюстами урядников и множеством стрельцов тот час же собрались и без разрешения отправились к Петру. Но еще более чувствительным для правительницы ударом была перебежка 29 августа к Троице двух братьев Сапоговых, стрелецких капитанов Ефимьева и Рязанова полков. Как самые преданные и деятельные люди Софьиной стороны, участвовавшие во всех ее замыслах, некогда ездившие с подьячим Шониным по улицам московским под видом Льва Нарышкина увечить стрельцов, они могли быть самыми опасными свидетелями.

Видя, как близкие к ней люди бежали от нее, кто с доносом в Троицу, кто спасаясь в окрестные села и деревни, царевна быстро решилась на последнее средство: ехать самой к брату и помириться. Много труда стоило ей это решение, нужно было большое усилие воли сломить свою гордость, но она по крайней мере убаюкивала себя несомненным и все вознаграждавшим успехом. С полной уверен-

ностью собралась царевна и 29 августа выехала из Москвы в поход почти без всякой свиты. Как мала была партия ее в это время, можно видеть из того, что в числе провожавших ее современный летописец называет только князей Василия и Андрея Голицыных, Шакловитого, Неплюева, Змеева и Нарбекова. Эти лица проводили уезжавшую до загородного дома Шеина, где она отпустила их, милостиво пожаловав им на прощание свою руку.

Доехав до села Воздвиженского (в 10 верстах от Троицы), столь памятного ей по катастрофе с князьями Хованскими, она приказала остановиться отдохнуть и приготовиться к переезду в монастырь. Не успели расположиться как следует на отдых, как доложили о приезде гонца от царя Петра, комнатного стольника Ивана Ивановича Бутурлина.

Царевна поторопилась допустить его к себе.

— Государь царь-батюшка Петр Алексеевич наказывал мне доложить тебе, царевна, чтобы ты в монастырь не ходила.

— Братец приказывать мне не может,— вся вспыхнув, отвечала царевна и приказала челяди после трапезы готовиться к отъезду.

Отдохнув и перекусив, царевна стала собираться снова продолжать поход, когда доложили о новом гонце из Троицы, уже о боярине и князе Иване Борисовиче. Раздражительно прозвучало это имя в ушах Софьи Алексеевны. Не она ли так доверчиво посылала его от себя к брату, и не он ли не только не дал от себя никакой отповеди, но даже и сам остался там у ее врага.

Боярин вошел и отдал обычный поклон, но подозрительно смотревшей на него Софье почудилось во всем облике боярина какое-то дерзкое выражение: будто в самом встряхивании волос, после поклона, скрывалась наглость.

— Здравствуй, братцев посол, князь Иван Борисович,— обратилась она к нему с насмешкой,— что передать ты хочешь теперь от братца?

— Государь Петр Алексеевич указал мне не пускать тебя, царевна, в монастырь,— резко отчеканил боярин.

— Не пускать? Меня? Твою государыню? Не посмотрю я ни на тебя, ни на братца...

— Государь приказал мне предупредить тебя, что если ты, царевна, с упорством придешь в монастырь, то с тобою поступлено будет нечестно.

— Ступай вон, холоп! — вскрикнула правительница, уже не сдерживаясь больше от душившего гнева.

Кровь ключом била и стучала в висках все тело нервно дрожало, сердце замирало от такого неслыханного дерзкого

оскорбления гордости, свыкшейся с самовластием. О, никогда, никогда не забудет она этого первого тяжкого удара... И во всю обратную дорогу в Москву она уже не думала о примирении. Голова ее работала усиленно, тысячи планов создавались, уничтожались другими и снова возникали, но в конце концов все-таки не выработалось, да и не могло выработаться от самой страстности увлечения, никакого холодно обдуманного содержания.

Ночью на 1 сентября уже воротилась она в Кремль, не ощущая от нервного возбуждения никакой усталости от дальнего похода. При выходе из экипажа она тут же отдала приказ верному своему истопнику Евдокимову собрать к себе на Верх всех стрельцов, стоявших на карауле в Кремле, и позвать преданных Обросима Петрова с товарищами. Как скоро собрались они, она вышла к ним, встревоженная и раздраженная.

— В Воздвиженском чуть не застрелили меня,— обратилась она к ним с нервной порывистостью,— наскакали на меня люди с самопалами и луками, и насилу я скрылась от них и прибежала к Москве в пять часов. Нарышкины с Лопухинскими затеями извести царя Ивана Алексеевича и меня вместе с ним. Сама я соберу полки и буду говорить с ними... А вы к Троице не уходите, а мне послужите... Я вам доверяю, да и как же мне не верить вам, моим старым слугам... А пожалуй, и вы побежите? Лучше поклянитесь мне и поцелуйте крест.

Верховая сенная девушка принесла крест, а царевна, взяв его, сама стала приводить к присяге стрельцов.

— Если же не исполните клятвы и побежите,— продолжала она,— то животворящий крест на вас взыщет. Прелестные же письма, какие будут из-под Троицы, приносите ко мне, не читая.

Отобрав клятву от стрельцов, правительница воротилась к себе на Верх, немного успокоилась и легла. Недолго продолжался, однако, этот отдых. Часа через два или три ее легкую дрему прервал необычный гул на площади. Сотни голосов кричали, перебивая и покрывая друг друга, сливаясь в одной трескучей волне. По временам из этого неопределенного, глухого гула вдруг выделялся отдельный звук топота лошади или лязг оружия.

— Что это? Кто? Потешные? — снова встревожилась Софья Алексеевна.— Федор! Марфа! Бегите, узнайте, что там...

Постельница бросилась вниз и вскоре воротилась в сопровождении дьяка стрелецкого приказа Кириллы Алексеева. Дьяк держал бумагу.

— Полковник Нечаев со стрельцами прибыл из Троицы,— докладывал дьяк,— и отдал мне царскую грамоту на Красном крыльце под шатром.

— Приехал? И полковник Айгустов пропустил его на большой заставе?

— Не знаю, государыня, видно, объехали проселком. Вот и царская грамота.

Царевна почти вырвала из рук дьяка грамоту. Много пережила она в эти дни, посменно переходя из одного скорбного ощущения к другому.

Исказилось лицо ее при взгляде на грамоту, помертвевшие губы беззвучно шевелились, как будто складывая слова, широко раскрытые глаза упорно впивались в бумагу, но без ясного, последовательного сознания. Она не могла читать, но смысл грамоты поражал общим своим колоритом. В ней, после короткого изложения всего хода преступных попыток Шакловитого, заключалось воззвание Петра о поимке его и его сообщников для доставления к Троице. В грамоте не упоминалось о правительнице, но тем не менее она ясно понимала все значение грамоты, она читала между строк другие слова — слова собственного приговора.

— Как осмелился ты явиться сюда с таким поручением? — спросила она Нечаева, более не сдерживаясь.

— Не своей волей явился, государыня, а по приказу царя Петра Алексеевича.

— А...— протянула царевна,— его приказа ослушаться нельзя, а моего можно?.. Можно бегать от своей государыни? Так я в тебе, как сулила, накажу изменника и перебежчика. Отрубить ему голову...— решила она, и, оставив испуганного полковника на Верху, сама прошла мимо на лестницу, спустилась и, подойдя к толпившимся внизу стрельцам, с увлечением говорила:

— Троицкие грамоты по сказке от воров писаны. За что ж мне по напрасным наветам выдавать людей добрых и верных? Станут их мучить, пытать, и они от той пытки напрасно оговорят других: девять оговорят девятьсот. Не лучше ль было бы изветчиков доставить в Москву и разыскивать здесь. Я и сама хотела, ради истины, присуствовать при розыске и ходила к Троице, но злые люди рассорили меня с братом, наговорили ему об умыслах, которых не было, очернили людей добрых, как вот Федора Леонтьича, у которого на уме только одно благо государства. Не допустил меня брат, отверг, и воротилась я со стыдом и срамом. А я ли не радела о государстве: семь лет правила, усмирила мятеж и настроение, учинила вечный и славный мир с соседними народами и прибытков больших добыла...

Не была ли я к вам всегда милостива, не награждала ли я вас всегда щедро? Докажите ж вы мне теперь свою преданность и не верьте лживым наветам. Не головы Федора Леонтьича хотят враги, а моей собственной и брата Ивана. За верную службу обещаю вам новые милости и награды, но... горе ослушникам! Если и убегут они к Троице, то жены и дети их останутся здесь.

В финал царевна отдала стрельцам один из дворцовых погребов.

Шумно бросились они на даровое угощение, а между тем Софья обратилась к массам народа, толпившимся на площади в ожидании обычного празднования Нового года 1 сентября, с такою же речью. Три часа говорила правительница на площади, с утра до самого полудня. Только стальные нервы молодой женщины могли вынести утомление пути, по состоянию дорог того времени немалое, острую боль от оскорбления, бессонную ночь, тревогу, и быть в состоянии так милостиво, так любезно беседовать с приглашенными ею с площади начальными людьми. Даже самого Нечаева она обласкала, и он наравне с другими был пожалован чаркой вина из рук царя Ивана Алексеевича.

Галдели, кричали, обнимались и клялись душу свою положить за царевну стрельцы, распивая мед и разное вино из дворцового погреба, но на другой же день, отрезвившись, их головы заработали по-другому.

— Как нам ослушаться законного, прирожденного государя,— говорили они между собою,— царевна хоть и милостива к нам, да ведь она только временно, покуда царь был детеск, а то править царством — дело не бабье. По слабости женской она может и ворам норовить, а мы за воров стоять не хотим и по сыске их должны исполнить по указу.

И те же самые стрельцы с примерным усердием стали ловить и отсылать к Троице без ведома государыни всех ее преданных слуг. Таким образом схвачены были и отправлены в монастырь Дементий Лаврентьев, Егор Романов, Иван Муромцев, Андрей Сергеев, Кузьма Чермной и, наконец, пятидесятник Ефимьева полка Обросим Петров, самый главный и доверенный слуга царевны и Шакловитого.

Нелегко было захватить энергичного Обросима. Окружили было его стрельцы в своей съезжей избе Ефимьева полка, но он отбился саблей, очистил дорогу, ушел к себе на двор, а оттуда перешел и укрылся в погребе приятеля — пономаря церкви апостола Филиппа. Просидев там несколько дней, Обросим соскучился и вышел повидаться со знакомым стрельцом в лесном ряду. Тут-то стрельцы и захватили его, скрутили и отвезли прямо к Троице. Поимка его

наносила самый чувствительный удар делу царевны, так как показания его могли раскрыть все таившиеся еще подробности.

Между тем как стрельцы изменяли своей благодетельнице, она сама, не зная еще во всем объеме их измены, мечтала о борьбе с братом, даже надеялась если не на перевес, то по крайней мере на выгодное примирение. В полдень (5 сентября) она, по обыкновению, занималась делами, выслушивая доклады думного своего советника Федора Леонтьича. Резко изменилась царевна в последнее время, изменилась до того, что не видевший ее каких-нибудь два месяца почти не признавал в ней цветущей здоровьем и силой молодой женщины. Бурые желчные пятна сквозили в лице через довольно уже плотный слой белил и румян, пухлые, несколько одутловые щеки опали, не ложилась морщинка, как бывало, складкой между бровями, а целая сеть их глубоко бороздила весь лоб и забиралась под веки, к вискам и рту, в волосах, несмотря на их русый цвет, протягивались серебристые нити, некогда и еще так недавно глубокий и приветливый взгляд принял какое-то быстро меняющееся выражение, то холодно-суровое, то пугливо-безнадежное. С наружностью изменился и характер. Из сдержанной, обдумчивой она сделалась раздражительной, порывистой и жестокой. Во всех ее движениях нельзя было приметить никакого следа мягкой, женской натуры. Синяки на всех частях тела сенных девушек ясно говорили, как часто госпожа была недовольна их мешкотой и неловкостью.

Царевна с вниманием читала бумагу, написанную красивым почерком докладчика, плод его дьячего красноречия. В этой бумаге заключалась сказка или воззвание от имени царевны ко всем чинам Московского государства. После витиеватого предисловия о государствовании царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, о событиях воцарения Ивана и Петра, о восприятии правления благоверной царевной Софьей Алексеевной по слезному челобитью всего российского народа — после всего этого пространного вступления правительница жаловалась народу на Нарышкиных: будто они ругаются государскому имени, вовсе не ходят к руке ее, царевны, и царя Ивана, завели особых потешных конюхов, от которых многим людям чинятся обиды и утеснения, о чем она, царевна, неоднократно жаловалась царю Петру, и что, наконец, они, Нарышкины, даже забросали дровами комнаты царя Ивана Алексеевича и вконец поломали царский венец.

Прочитав грамоту, правительница, видимо, осталась ею

довольна и даже милостиво протянула к докладчику руку. Такой милости в последние дни редко удостаивался бывший дьяк. Вообще отношения их после праздника Преображения заметно приняли другой характер. Кроме того что наклонности и взгляды худородного, перелившего в новую форму прежнюю закваску, не могли не возбудить презрения в царственной молодой женщине, последние серьезные события, с вопросами о жизни и смерти, не могли не оторвать ее от чувственной стороны...

— Грамоту эту разошли, Федор Леонтьич,— проговорила благосклонно царевна.— Да изготовлен ли указ в окрестные города и уезды о том, чтоб по-прежнему все денежные и хлебные сборы доставляли б сюда, в Москву, а не смели б слушаться наказов Петра и не везли бы ничего к Троице.

— Указ готов, государыня, и разошлется немедля.

— Хорошо. Теперь больше заниматься не буду.

По окончании занятий в последнее время Софья Алексеевна тотчас же отпускала докладчика, вообще она старалась не длить своих аудиенций с ним. Но Федор Леонтьич не уходил, нерешительно переминаясь.

— Ты еще хочешь о чем-нибудь доложить?

— Стрельцы чинят большое воровство, государыня. Твоих наказов не слушают, к Троице перебегают, всех твоих сподручников ловят и переводят туда...

— Ты лжешь, Федор Леонтьич, клевещешь на моих верных и старых слуг... Кого они схватили?

— Да вчера схватили Кузьму Чермного... Андрея Сергеева и...

— Чермного... схватили...— машинально повторила царевна упавшим голосом, как будто дело касалось до лиц, ей совсем незнакомых.

— Схватили и увезли, государыня. Увезли и Петрова.

— И Петрова? — повторила она тем же голосом.

— И Петрова, государыня.

Софья Алексеевна как будто застыла.

— Стрижев и Кондратьев, на днях бежавшие было с отцом Сильвестром,— начал снова, после небольшого молчания, передавать новости Федор Леонтьич,— вчера воротились сюда во дворец к тебе, государыня, молили Евдокимова спрятать их здесь. Евдокимов спрашивал меня... я не велел...

— Ты не велел?.. Понятно... а я велю...

— Помилуй, государыня, теперь каждому из нас только до себя...

— Тебе — да... но не мне... Я, если не в силах защи-

тить, так хоть укрою... укрою...— повторяла она почти бессознательно, потирая рукой лоб, как будто сбирая разбродившиеся мысли.— Прикажи псаломщику Муромцеву запереть их в церкви Распятия Господня... или нет... постой... церковь обшарят... лучше в тайник спрятать... как было тогда... только не им теперь... а мне... В какой тайник спрятать?.. Я подумаю... а теперь пусть Евдокимов отведет их в мою мыльную... там надежно... искать не будут...

— Слушаю, государыня, да вот уж и об себе хотел доложить...

— О себе? Что... тоже прятаться?

— Моей головы, государыня, пуще всего домогаются. Мне и укрыться трудно — везде найдут. Велел было я моему подьячему, двоюродному братцу Семену Надеину, спросить в подмосковной деревне у доброхота моего Перфилья Лямина, не можно ли в лесу у него поставить келью, где бы я укрылся. Перфилий говорит: лесу де много и прожить можно. Так я и велел у дворцовой лестницы держать наготове лошадь, а у Девичьего коляску.

— И хорошо... беги!

— Бежать-то опасно, государыня. По всему Кремлю бродят стрельцы. Пожалуй, чего доброго, признают...

— Выбери ночь потемнее...

Федор Леонтьич вышел. Царевна, казалось, не заметила его ухода. Она не могла думать, соображать, точно камень свалился на голову, точно гром небесный оглушил ее. Какие-то отдельные, неясные представления бродили в голове... она силилась придать им окраску, форму, и не удавалось.

Да и не было времени оглянуться сознательно. Тотчас после ухода Шакловитого в дверях, без зова, явилась бледная, расстроенная фигура Федоры Калужиной, любимой комнатной девушки Софьи Алексеевны.

— Матушка государыня, спаси нас! Защити, Пресвятая Богородица! — выкрикивала девушка визгливым и отчаянным голосом.

— Что еще? — безучастно, равнодушно спросила царевна.

— Стрельцы навалили везде... вся площадь и двор полны... здешние все да и из-под Троицы...

— Зачем?

— Позволь, государыня, изымать Федьку Шакловитого. Царь Петр Алексеевич прислал нас и накрепко наказал доставить его к Троице,— отвечал вместо Калужиной полковник Спиридонов, отстраняя девушку и входя в покои. За плечами Спиридонова виднелись головы другого полковни-

ка, Сергеева, и стрельцов. Говор и шум слышались в соседних покоях и переходах.

— Петр Алексеевич велел, а царь-брат Иван Алексеевич запрещает и строго взыщет с ослушников,— холодно сказала царевна,— подите спросите у братца...

— Спиридонов вышел и через несколько минут воротился смущенный.

— Что царь Иван Алексеевич?

— Он изволил сказать, что сам прибудет к Троице и, что хотя за Федьку Шакловитого не стоит, буде он виноват, но выдаст его только тогда, когда приедет за ним боярин Петр Иванович Прозоровский.

— Вот так и передайте Петру Алексеевичу.

Полковники переглянулись между собой. Переминаясь и не зная, на что решиться, они постояли-постояли, но затем стали выходить.

Гроза на этот раз миновала Федора Леонтьича, но не надолго. Наказы за наказами, все страшнее и грознее, присылались из Троицы: стрельцы, никогда не любившие начальника за надменность, роптали и волновались.

— Не отвечать же нам всем за него, изменника, вора,— говорили они громко, не стесняясь,— не выдают, так силой добудем.

И вот караулы денные и нощные усилились около дворца, и не стало возможности не только Федору Леонтьичу, а и самому малому зверьку перебежать оттуда непризнанным.

На другой день, с утра, волнение между стрельцами увеличилось. Посланные от Петра полковники Нечаев, Спиридонов и Сергеев, ошеломленные с первого раза отказом старшего царя, потом одумались. «Царь-то Иван,— думали они,— не в своем разуме, все делает по воле царевны, а как царевны не будет, и он стоять за Федьку не станет... а мы тогда будем в ответе». И решили они на другой день исполнить непременно приказ Петра.

Теперь, при сложившихся обстоятельствах, арестование стрелецкого начальника не выдвигало никаких затруднений. Энергия Софьи Алексеевны сломилась. Покинутая всеми, разбитая в своих верованиях, обманутая в доверчивости на преданность и благодарность окружающих, она в эти моменты, казалось, ничего не чувствовала, как будто все нервы парализовались, только отражая внешнее, но не передавая и не возбуждая никаких ощущений.

Бессознательно увидела она входивших к себе, как и накануне, тех же стрельцов, бессознательно выслушала опять ту же просьбу о выдаче им изменника Шакловитого и бессознательно выговорила:

— Делайте, как хотите!

Слышала она потом шепот и шумную беготню в соседних покоях вслед за уходом полковников, стук и возню в своей опочивальне, где укрывался красивый Федор Леонтьич, слышала все это и ни на что не отозвалась. Только когда до ее слуха долетел подавленный, глухой крик слишком знакомого голоса, а потом странное шуршание, как будто волочили что-то грузное мимо ее комнаты, какою-то резкою болью кольнуло в ее сердце, да и то почти мимолетно. По-прежнему сидела она застывшая, окаменелая... не шевельнулась, не встала посмотреть, что делалось с тем, кого она прежде хоть и чувственно, и животно, но все-таки любила.

А между тем Федор Леонтьич в синяках, со связанными и закрученными назад руками лежал плашмя на дне телеги, прыгавшей по тряской дороге к Троице, стукаясь при каждом толчке то затылком, то висками. Невесела была ему дорога, но еще более невеселым представлялось будущее.

ГЛАВА XI

На следующий же день началось следствие. В одном из царских покоев Сергиево-Троицкого монастыря изготовлена была допросная камера с обычными принадлежностями следственного процесса. Допросы должны были производиться, как они уже производились несколько дней, с самого начала перебежки стрельцов, доверенными лицами Петровской партии, между которыми выделялись в особенности князь Борис Алексеевич Голицын, боярин Борис Васильевич Бутурлин, боярин Тихон Никитич Стрешнев, Федор Абрамович Лопухин и князь Иван Борисович Троекуров. Большею частью при допросах присутствовал сам Петр, к крайнему неудовольствию Бориса Алексеевича.

— Никто в своем деле не судья,— не раз говаривал он молодому царю,— и не след юноше мешать старикам.

Но возбужденное состояние увлекало Петра и заставляло его принимать личное участие в допросах.

Главная обязанность производства допросов лежала на князе Троекурове, как человеке опытном в таком деле, рассудительном и умеющем выслеживать истину в разноречивых и неопределенных показаниях.

Утром 7 сентября в следственную камеру ввели связанного Федора Леонтьича и поставили перед боярами, сидевшими за столом, на этот раз без участия Петра. Трудно было узнать в этом изможденном, всклокоченном и грязном

оборванце красивого, стройного дьяка; только и напоминали его большие темные блестевшие глаза, казавшиеся еще больше от осунувшихся щек.

После обычного увещевания говорить правду, ничего не скрывать и не покрывать никого, кто бы ни были виновные, так как только чистосердечное и полное раскаяние и раскрытие всех обстоятельств могут преклонить к милости государя, князь Троекуров поставил первым вопрос: «С какой целью днем и в ночь на 8 августа собрано было в Кремле такое большое количество вооруженных стрельцов?»

На этот вопрос Шакловитый отвечал, что стрельцов собирали и прежде для охраны, из опаски озорства потешных конюхов, на которых поступали многие жалобы, и что 7 августа наряжено было в Кремль сто стрельцов для сопровождения царевны в поход в Донской монастырь. Когда же нашлось на Верху письмо, объявлявшее об умысле потешных напасть на дворцовые хоромы в ночь на 8 августа, то царевна в поход не пошла, а приказала стрельцов оставить в Кремле и на ночь.

На второй же вопрос: «С какой целью собирались стрельцы на Лубянке и посылались разведчики к Преображенскому?» — Федор Леонтьич заперся, отрицая положительно сбор стрельцов, посылку лазутчиков и всякую мысль о нападении на Преображенское. Точно так же он отрекся и от подговоров убить царицу Наталью Кирилловну и царя Петра. Только в одном сознался он, именно в том, что года за два по приказу царевны разузнавал у стрельцов, согласны ли они будут на венчание ее царским венцом, но что и эту мысль он покинул, оставив челобитную у себя, никому, кроме двух или трех лиц, ее не читая.

Для очной ставки позваны были изветчики-стрельцы. Из них Филипп Сапогов упорно уличал своего бывшего начальника в нередком подговоре его убить царя Петра и Наталью Кирилловну, Кузьма Чермной и Обросим Петров — в подговоре стрельцов зажечь Преображенское и в пожарной суматохе убить Наталью Кирилловну, а денщики Турка и Троицкий — в постоянном возбуждении неудовольствия между стрельцами против нарышкинского двора. На все эти улики Шакловитый твердил одно: «Знать не знаю, ведать не ведаю, ничего не мыслил, ничего не приказывал».

По окончании очных ставок подсудимых отвели на монастырский воловий двор, где находился застенок. Здесь, в виду орудий пытки, в присутствии тех же бояр, за исключением князя Бориса Алексеича, вообще не одобрявшего

употребления пыток, произведен был новый допрос. Шакловитый показал: помнится, будто слова «зажечь в Преображенском» говорил, но без умысла на жизнь великого государя, про царицу же Наталью Кирилловну, может, и говорил, но только норовя стрельцам или для утешки царевны Софьи Алексеевны, когда та печалилась.

Подвергли пыточным допросам сначала изветчиков Обросима Петрова и Кузьму Чермного, подтвердивших слово в слово свои прежние показания, а потом подняли на дыбу и Федора Леонтьича, причем ему дано пятнадцать ударов*. При этом допросе он во всем, что ни доводили на него изветчики, повинился.

Допрос кончился, и бояре разошлись. Боярин Троекуров отправился к Борису Алексеевичу передать результат следствия.

— Сознался? — спросил Борис входившего Троекурова, заметив его сияющее лицо.

— Сознался... добровольно... почти... только и успели поднять да положить с пятнадцать... А ты вот недоволен, князь Борис Алексеевич,— говорил Троекуров с удивлением и как будто с упреком, смотря на сморщенное лицо Голицына.

— Не люблю я, Иван Борисович, пыток. Мало ль что может насказать человек под кнутом? Пожалуй, оговорит и мать, и отца... Вот если б он сознался добровольно... на письме... Большое бы тебе сказали спасибо.

— Можно... и без кнута...— проговорил Троекуров, раздумывая.— Только пусть не мешают мне... пусть я один буду допрашивать.

— Хорошо, Иван Борисович, завтра один допрашивай.

— Еще забыл тебя спросить, Борис Алексеевич, не слыхал ли ты, кто будет стрелецким начальником после Федора Леонтьича?

---

* Самой употребительной пыткой была у нас *дыба,* или виска, существовавшая еще у римлян для рабов, под названием equuleus. В этой пытке допрашиваемому крепко связывали руки назад веревкой, другой конец которой перекидывался через блок, утвержденный к потолку, а к подошвам ног привязывалась горизонтально деревянная доска. Свободным концом веревки, через блок, пыточный поднимался кверху, и в то же время на доску становился палач. При поднятии кости рук хрустели, выходили из суставов и нередко ломались, так как находившийся на доске палач подпрыгиванием усиливал вывихи, кожа лопалась, жилы вытягивались и рвались. Кроме того, по голой спине жертвы наносились удары кнутом до такой степени сильно, что кожа отделялась лоскутьями. Если же пытка производилась с особенным *пристрастием,* то по спине после ударов трясли зажженным веником. По окончании пытки палач снова вправлял кости, с особенной силой дергая руки несчастного вперед.

Намек был слишком ясен, и не мог не догадаться князь Борис.

— Не слыхал еще... не говорил государь... а полагаю, что тебя назначат.— Рука у тебя твердая, поноровки не даст.

— На меня, князь, положиться можно. Не прихвостень какой-нибудь худородный. Не пойду, как Федька, с братцем твоим... Да вот, кстати, о твоем братце. Как ты мыслишь, если Федька его будет оговаривать?

— Оговаривать, Иван Борисович? Мало ль кто вздумал бы оговаривать! Брата я знаю коротко... ни на какое бесчестное дело он не способен. Да чаю я, что он и сам подъедет к Троице, давно бы был, если бы не хворь...

— Верю, князь, и сам знаю, да говорят-то больно много о нем... Вчера говорит мне Лев Кириллович, что, мол, мы все пытаем Федьку, а корень оставляем — известно, чьей головой жила сестрица...

— У Софьи Алексеевны своя голова не хуже чужой — не занимать, стать, другой. Пустое говорят.

— Пустое, Борис Алексеич, по зависти. Понимаю я это, дарука-то у них сильна... За братцем Львом Кирилловичем то же говорят и сама старая царица, а там лопухинские... мало ль их... Ведь князья Голицыны у многих как бельмо...

— Э, Иван Борисович, на всякое чиханье не наздравствуешься. Пусть говорят, лишь бы только царь жаловал.

— Что и говорить, Борис Алексеич, царь тебя любит. Известно, против тебя не пойдет. Я и сказал так... ради твоей опаски... чтоб чужие уши не слыхали...

— Не услышат, Иван Борисович, не бойся. Своих секретов у меня нет, своих слов не сдерживаю, а чужих не передаю,— успокаивал князь Борис Алексеич, улыбаясь своими веселыми голубыми глазами.

На другой день утром следственная камера изменилась. Вместо совета боярского и длинного неизбежного стола, покрытого сукном, заседал только один Иван Борисович, да и заседал-то он не как судья с приличной важностью, а просто как добрый боярин дома у себя в благодушном расположении духа. Перед ним не длинный судейский стол, а другой, гораздо меньше, покрытый салфеткой, на котором вместо роковой чернильницы с бумагами красовался графинчик с добрым вином. Совсем другой вид. По комнате носился не холодный запах смерти, а аромат вкусных яств, поставленных где-то в соседнем покое.

В камеру ввели Федора Леонтьича, изнуренного, страшно изменившегося даже со вчерашнего дня, но глаза его

казались еще больше, еще жизненнее, еще больше блестели затаенной злобой.

— Здравствуй, Федор Леонтьич,— ласково обратился к нему Иван Борисович, показывая на стул недалеко от себя.— Извини, потревожил. Хотелось мне поговорить с тобой с глазу на глаз подушевно.

Федор Леонтьич молча опустился на стул.

— Видишь что... Федор Леонтьевич... вчера ты сознался...

— Ни в чем я, князь, не винился, и не в чем мне виниться. А что, может, вчера болтал, так и на дыбе да под кнутом. Известно, все вы кровопийцы...

— Сознался...— продолжал Троекуров, как будто и не слыша опровержений подсудимого,— и показания твои согласны с показаниями других и обстоятельствами дела. Стало, виновен и подлежишь лишению жизни, но мне жаль тебя... Вспомнил я, Федор Леонтьич, твое прежнее обходительство, и захотелось помочь тебе... облегчить чем-нибудь... Посуди сам: сторона Петра взяла верх, свои братья стрельцы вам все изменили, царевне больше не встать, и держаться тебе за нее нечего. Расскажи все по душе, как было, ничего не скрывая, может, царь и смилуется.

— Милости мне ждать от него нечего,— порывисто оборвал подсудимый.

— Конечно, гнев на тебя велик,— продолжал Троекуров невозмутимо, ласково посматривая на подсудимого,— нечего таить, но, видя твою правду и чистосердечность, может внять твоим мольбам, может помиловать. Зажил бы тогда припеваючи на свободе в вотчине своей... Достатку у тебя, слава Богу, довольно... утех много... разных... телом бы набрался, а то посмотри, какой теперь... ослабел, бедняга... Подкрепись хотя стопочкой.

И боярин, прежде налив себе стопочку душистого вина, опорожнил ее, а потом предложил Федору Леонтьичу.

Тот протянул сначала нерешительно дрожавшую руку, потом вцепился в стаканчик и жадно выпил. Приятная теплота разлилась по всем жилам истощенного организма, живее погнала кровь к сердцу и к голове, возникли жизненные, обольстительные представления различных утех, какое-то сладкое ощущение охватило все нервы. Но вместе с оживлением еще настойчивее заговорили насущные потребности организма. Два дня Федор Леонтьич ничего не ел, голод немилосердно сосал, терзал, доводил до ис-

ступления, и теперь это новое искусственное оживление вызвало еще более невыносимые муки. А вдобавок еще этот сладко щекотавший обоняние запах от яств!

— Иван Борисович!.. Я... два дня ничего не ел!..

— Два дня! Ах, бедняга... бедняга! Как же ты, думаю, проголодался-то... Два дня! Ну уж намылю же я голову отцу Павлу! Видишь что... Федор Леонтьич, народу теперь собралось много, рук недостает кормить, да и продовольствие-то на исходе... Везде такой беспорядок... Будь покоен, я распоряжусь...

— Мне теперь, Иван Борисович... теперь дай есть,— шепотом молил Шакловитый,— а там... после, может, и не нужно будет,— прибавил он с грустной улыбкой.

— Теперь, Федор Леонтьич! Так я велю подать тебе, что у меня там изготовлено.— Боярин пошел было уже приказывать, но на дороге остановился.

— Да как же, Федор Леонтьич, а ты хотел показание-то написать... После обеда несподручно.

— Напишу, князь, все напишу, давай мне бумагу и перо. Только, ради Христа, прикажи принести мне хоть хлеба.

— Сейчас, сейчас,— заторопился Троекуров,— вот тебе бумага и перо. Пиши, голубчик, с Богом, а как напишешь, так тебе сейчас и обед готов.

И Федор Леонтьич стал писать свое последнее предсмертное показание*, в котором высказал почти то же: что умысла на жизнь царя Петра у него никогда не было, что если носились слухи о близкой его кончине, то ему неизвестно, кем и с какой целью рассказывались эти слухи, что об убийстве царицы Натальи Кирилловны бывали у него речи с Кузьмой Чермным, но по почину последнего, что об этом знал также и Василий Васильевич Голицын, что о поджоге в Преображенском действительно упоминалось, что стрельцы собирались неоднократно ради опаски, но не для бунта, о чем знавал и Василий Васильич, что включать во все акты имя царевны как самодержавицы он начал не ранее получения о том памяти из Посольского приказа и что, наконец, венчания царевны царским венцом ни он, ни Голицын ей не советовали.

С лихорадочной живостью написал это показание Шакловитый и подал его Ивану Борисовичу. Князь прочитал толком, с расстановкой, взвешивая каждое слово и немножко хмурясь.

— Говорил бы о себе, Федор Леонтьич, каялся бы да

---

* Это показание хранится в подлинном розыскном деле.

просил милости, а тут других оговариваешь. Другим будет своя линия. Ну, да уж нечего делать, написал... Вот сейчас подадут тебе кушать, а меня извини, мне недосужно, надобность сходить к благоприятелю,— сказал Иван Борисович, складывая показание в карман кафтана и собираясь уходить.

Князь вышел, а Федору Леонтьичу подали его последний в жизни обед, вкусный и обильный различного рода яствами: поросятиной, гусятиной, солониной в разнообразных приготовлениях и наконец с фруктами.

Иван Борисович отправился между тем к князю Борису Алексеичу, у которого должны были собраться и все члены боярского суда над Шакловитым. В это время бояре еще не прибыли, а Борис Алексеич молча суетился по комнате, прибирая все нужное для совета и убирая все излишнее по домашности.

— Вот, Борис Алексеич, и собственноручное показание Федьки без пытки и не под кнутом,— говорил Троекуров, подавая показание Голицыну.

Князь взял бумагу и стал внимательно читать.

«Не по мысли ссылка на братца,— думал про себя Троекуров,— да как тут быть-то... Оно, конечно, можно было бы понагнуть Федьку как следует... так не угодишь Льву Кириллычу с сестрицей, а ведь они сила...»

— Нового тут ничего не написано,— заметил князь Голицын, складывая бумагу Троекурова,— вот соберутся все — почитаем... потолкуем.

Скоро собрались все члены, и заседание открылось. Пришел и сам Петр.

Прочитав показание, Иван Борисович предложил на общее обсуждение вопрос: следует ли подвергать подсудимого новому допросу или же приступить к суду над ним?

Почти все бояре согласились с бесполезностью дальнейших допросов Шакловитого, и все единогласно нашли, по данным показаниям, подсудимого достойным смертной казни. Только Лев Кириллович не остановился на одном обвинении, а пошел дальше.

— Что вору Федьке отсекут голову — справедливо, и я о том не спорю, но ведь он не один, может, за ним таятся другие, еще больше виновные. Вот хоть Василий Васильевич Голицын. Федька ссылается на него в подговоре извести мою сестрицу, царицу Наталью Кирилловну, по приказанию Василия собирались стрельцы в Кремле, и память о самодержавстве царевны первоначально была из Посольского приказа. Нельзя ж все это оставить. По-

моему, надо бы Федьку пытать крепко и расспросить об участии других подробно.

— Показания Федьки одинаковы — под пыткой и без пытки, стало, сказать нового ничего не может. Разве в мучениях зачнет клепать на всех и каждого без разбора, так таким наговорам веры иметь не след. Не верю я даже и всему тому, что он и написал-то, себя оправляя. А что ты, боярин Лев Кириллович, наметки делаешь на князя Василия Васильича, то неправда, и давно бы он был здесь, если б не лежал хворый в Медведкове. Князья Голицыны искони не были изменниками и, с Божией помощью, не будут. Знаю я брата Василия — не виноват он ни в чем, разве в несчастии... так в этом пусть Бог его судит, а не мы. Заслуг он оказал немало, не то что какие-нибудь выскочки...— говорил Борис Алексеевич, бурливо и азартно горячась.

Лев Кириллович тоже вскипел, и дело приняло бы острый оборот, если бы не находчивый Иван Борисович. Услыхав крупную речь князя Бориса и заметив затруднительное положение Петра, уважавшего Льва Кирилловича, как дядю, и сердечно любившего старого пестуна, он поспешил вмешаться в спор успокоительной речью.

— Судить и рядить, бояре, нам самовольно никого не след, без царского указу, а от государя слова о князе Василии Васильиче мы не слыхали, стало, и говорить о нем не приходится. Речь теперь наша, бояре, должна быть одна: подлежит ли за воровство свое Федька Шакловитый смертному убивству?

На этот категорический вопрос все члены — бояре отвечали одним утвердительным «повинен».

— Так и приговор напишем, только не соизволишь ли, государь,— доложил князь Троекуров, обращаясь к Петру,— прежде сослаться с государем-братцем Иваном Алексеевичем?

— Всенепременно,— отвечал Петр,— я напишу к нему сам, а до его указа приговора не исполнять.

Заседание кончилось, и бояре поднялись со своих мест. В это время вошел стряпчий с докладом, что перед монастырскими воротами остановились и просят дозволения въехать князь Василий Васильич Голицын с сыном Алексеем Васильичем, окольничие Неплюев и Змеев, думный дворянин Косогов и думный дьяк Украинцев.

Бояре переглянулись между собой, на всех лицах выразилось напряженное выжидание.

— Пусть Украинцев немедля явится сюда, а прочим сказать — ожидать моего указу на посаде,— отчетливо,

после небольшого раздумья, сказал Петр, уходя осматривать крепостные снаряжения.

Бояре разошлись, решая по-своему, каждый в уме своем, важный для них вопрос: чья сторона возьмет верх?

В комнате оставались только Борис Алексеевич, суетливо убиравший со стола принадлежности письмоводства, и князь Троекуров, видимо, выжидавший ухода товарищей.

— Слышал, Борис Алексеевич, теперь и сам речи Льва Кириллыча? Не от себя ведь он говорил, а со слов сестрицы-царицы. Понаведаться бы тебе к ней да уладить...

— Нечего улаживать, Иван Борисович,— отвечал еще не успокоившийся князь Борис,— от родни да от чувства я не отступлю. Либо я пропаду, либо выгорожу брата Василия, а улаживать не буду — только лишняя свара...

— Ну, как знаешь, как знаешь. Свой ум — царь в голове. Я только как добрый слуга твой чаял тебе помочь,— говорил Троекуров, прощаясь и уходя довольный, что разузнал-таки почву, на которой следует крепко держаться. «Князь-то Василий теперь выгородится, да не поднимется,— решил он сам с собой.— Царь хоть и уважает Бориску, а все-таки бабы поставят на своем. Вот и ладно, что Федьку не настроил».

ГЛАВА XII

На другой день любимый дядька Ивана Алексеевича, боярин князь Петр Иванович, приехавший в Москву, вручил старшему царю собственноручное письмо Петра, в котором тот прочил его уполномочить на перемещение и назначение судей; кроме этого, боярину поручено было словесно испросить у царя Ивана разрешение на самостоятельные распоряжения в Троице по розыскному делу.

Захиревший Иван Алексеевич не противоречил и охотно предоставил младшему брату полную самостоятельность.

И сделал он это не по любви к Петру, которой он не мог иметь, ни по равнодушию к сестре, дорогой для него по кровной связи и по воспоминаниям детства, но в силу общего господствовавшего воззрения на положение женщин того времени, воззрения, воспитавшего его и за пределы которого не могло переступить его слабое понимание.

Петровская партия увидела себя развязанной, единовластной и первым делом поспешила укрепить под собою почву. Тотчас по получении согласия старшего царя из Троицкого монастыря вышел царский указ, исключавший

имя царевны-правительницы из всех актов, где оно упоминалось, рядом с именами обоих государей. Но этого было мало. Пока Софья Алексеевна жила в Кремле и пользовалась свободой, она могла собраться с силами и при удобном случае объявить от себя решительную протестацию, опираясь на всегда существующую партию недовольных. Решено было удалить царевну, запереть ее в монастырь, а захваченных ее преданных слуг казнить.

Для исполнения первой задачи, как самой щекотливой ввиду неминуемого противодействия со стороны царевны, послан был в Москву все тот же князь Иван Борисович, выказавший в это смутное время столько находчивости и стойкости, а исполнением второй, то есть развязкой с приверженцами правительницы, заботились все собравшиеся в Троице сторонники Петра.

Но эти сторонники не составляли собою плотной однородной массы, проникнутой единым направлением и преследующей одни интересы, напротив, их соединяло только одно противодействие правительнице, несимпатичной им по пренебрежению ею старинного боярского значения. Поэтому по уничтожении этого связующего интереса из этих сторонников тотчас же выработались особые партии — Нарышкинская, Лопухинская, иноземская и другие — с их личными интересами. Как непрочно было единодушие сторонников Петра, можно видеть из ссоры, возникшей на первых же порах по поводу Василия Васильевича.

Тесная дружба связывала двоюродных братьев, Василия Васильевича и Бориса Алексеевича, несмотря на разность некоторых взглядов и на положение их в противоположных лагерях. Дружба эта не прекратилась с падением правительства Софьи, и нередко гонцы с искренними дружескими письмами переезжали из Троицы в Медведково и обратно. Да если б даже и не было таких коротких отношений, одна принадлежность их к одному корню, святость кровного союза заставили бы их принимать горячее участие друг в друге. Борис Алексеич с жаром защищал перед Петром своего брата и успел-таки избавить его от всяких расспросов и допросов, пыточных и непыточных, по оговору Шакловитого.

С другой стороны, заклятыми врагами оберегателя явилась сама царица Наталья Кирилловна, ее брат и невестка с родственниками. Старая царица, постоянно видевшая в падчерице к себе упорное недоброжелательство, естественно, приписывала это чуждому влиянию, и в особенности влиянию Василия Васильевича. Вытерпев столько муче-

ний, Наталья Кирилловна видела в князе главного виновника своих страданий. Очерствелая и сухая, она жила только двумя чувствами: любовью к сыну и ненавистью к оберегателю. Понятно, что при таком настроении Наталья Кирилловна придавала особую цену оговорам Шакловитого и употребляла все свое влияние на сына к обвинению и гибели Голицына.

Между такими двумя противоположными советами молодой царь выбрал середину и, конечно, не удовлетворил ни ту, ни другую сторону.

9 сентября утром князя Василия Васильича позвали с посада в монастырь. Не получая известий от брата, он обрадовался этому зову и взял с собой объяснительную записку в 17 статьях, но его к царю не допустили. Думный дьяк, остановив его у дворцового крыльца, громко перед многочисленной толпой народа прочитал ему царский указ, которым они, Голицын, отец и сын, лишались боярского звания и ссылались вместе с женами и детьми в Каргополь. Все имущество их конфисковалось на государя. О показаниях Шакловитого относительно подстрекательств к убийству Натальи Кирилловны и относительно сбора стрельцов в указе не упоминалось ни слова.

В таком положении, в каком находился Василий Васильич, его не мог удивить или поразить подобный приговор, и сам он отнесся к нему почти безропотно.

Исполнением приговора торопились, быстро снарядили все семейство Голицыных и под присмотром пристава Бредина со стрельцами отправили в путь.

Но если безропотно отнесся к своей участи сам Василий Васильич, то не так равнодушно узнали о таком приговоре его враги. Старой царице наказание показалось слишком ничтожным в сравнении с тем злом, которое она вынесла. И вот под ее влиянием бывшие в Троице дворяне на другой же день составили челобитную к царю Петру, в которой просили его пытать Шакловитого на площади всенародно для подробного раскрытия участия в замыслах царевны всех сообщников. Это незваное вмешательство не могло понравиться молодому государю, и он приказал объявить челобитчикам приказание: впредь не вмешиваться не в свое дело, и что он показания Шакловитого находит достаточными.

Окружающие замолкли, но старая царица не остановилась. Сдержав себя на первое время, она и по ее совету молодая жена не упускали впоследствии никакого случая возбудить Петра против Голицына и наконец достигли отчасти своей цели.

Через несколько дней послан был стольник Скрябин с поручением догнать опальных Голицыных и объявить им новое распоряжение. Скрябин догнал их уже в Ярославле, отобрал по допросным пунктам ответы против показаний Шакловитого и под надежной охраной пятидесяти стрельцов повез уже не в Каргополь, а в Яренск, тогда бедную зырянскую деревушку* не более как из 30 дворов, в 700 верстах от Вологды.

Вопрос о судьбе Голицыных кончился, но борьба, возникшая по поводу их между Борисом Алексеевичем и Нарышкинской партией, проявилась потом по другому поводу при иной обстановке.

За исключением Голицыных, участь остальных преданных лиц царевны подлежала суду боярскому и не вызывала затруднений. По боярскому приговору 11 сентября из арестованных окольничий Шакловитый, стрелецкие пятидесятники Обросим Петров, Кузьма Чермной, пятисотенный Иван Муромцев, полковник Семен Рязанов и стрелец Дементий Лаврентьев были приговорены к смертной казни, а остальные — к нещадному наказанию кнутом и к ссылке в Сибирь. Кроме того, из сотрудников князя Василия его ратный товарищ, севский воевода Леонтий Романович Неплюев, был лишен чести, звания, всего имения и осужден к вечной ссылке в Пустозерск. Другой сотрудник — Змеев — сослан на житье в его костромское имение. Только думный дворянин Косогов и думный дьяк Украинцев не были наказаны и оставлены на прежних местах.

Счастливый поворот обстоятельств расположил к милосердию молодого царя, тогда еще не очерствелого и не раздраженного смелою стойкостью противной партии. По рассказу Гордона, с которым одинаково говорят и другие современные очевидцы, Петр высказывал намерение пощадить жизнь всех обвиненных и только по усиленным убеждениям патриарха согласился на смертную казнь главных трех преступников: Шакловитого, Петрова и Чермного. Таким образом, и на этот раз церковь не изменила своим традициям как верного охранителя самодержавной власти.

Приговор был исполнен 12 сентября на открытом месте перед монастырем у Московской дороги при многочисленном стечении народа.

Последние три дня Федора Леонтьича не тревожили

---

* Впоследствии Василий Васильевич, со всем семейством своим, перевезен был из Яренска в Пустозерск, а оттуда в Пинежский волок, где и умер в старости, забытый всеми.

допросами и о нем как будто забыли. Еще более захудел он за это время. После лукулловского обеда у князя Троекурова снова наступили долгие голодные дни, так как кусок черного заскорузлого хлеба и кружка какой-то желтоватой вонючей воды не могли приходиться по вкусу желудку, привыкшему к сочным боярским яствам.

«Вот и третий день прошел, а меня не токмо пытать, а и не спрашивают,— думал заключенный, полулежа или полусидя на связке соломы в своем совершенно почти темном ящике-каморке, грязном и вонючем, без скамьи и стола.— Не дошла ли царевна у Ивана Алексеича моего освобождения. Царевне ведь без меня не жить... Разве заболела с испуга и горя... Уж не умерла ли? Нет... тогда и царь здесь не жил бы, уехал бы в Москву... Чаю, скоро придут за мной...»

Действительно, за Федором Леонтьичем скоро пришли — освободить, и пришла даже целая команда. Только чудно это освобождение: лица у пришедших серьезные и мрачные, подняли так грубо, не так, как стрелецкого начальника, руки связали, вывели из тюрьмы, но повели не к дворцу, а вон из монастыря. На дороге присоединились еще такие же команды с Оброськой, Кузьмой, Дементием, Ивашкой и Семеном Рязановым. Прошли монастырский двор и вышли из ограды на площадь. Народу тьма кишит, и все толкаются около какого-то возвышающегося помоста, на котором прохаживается странный человек. Догадался наконец Федор Леонтьич, за каким делом привели их... остановился... уперся... Грубые толчки заставили, однако ж, все приближаться и приближаться к роковому месту. «Вот оно что... казнят...— как-то туманно пробежало по мозгу.— Да не острастка ли?»

Вот подошли они вплоть к помосту. Думный дьяк прочитал смертный приговор, смысла которого Федор Леонтьич даже и не понял, так в голове все свилось и затуманилось. Слышит: кто-то, как будто голос Оброськи, причитает, плачет, кается перед православными, крестится и просит в чем-то прощения... Зачем он убивается? Ведь это так... случается, и положат вон туда на плаху, а потом и снимут и отпустят на свободу на все четыре стороны. С дикими, безумно-расширенными глазами поднялся машинально Федор Леонтьич на помост, бессознательно, по привычке сотворил правой рукой крестное знамение, не почувствовал, как сам ли он наклонился или другие наклонили низко... низко... так, что голова коснулась плахи... Вот сейчас

прочтут приговор и поднимут... Но не сошел Федор Леонтьич, а только красивая голова его скатилась с помоста.

Вслед за головой стрелецкого начальника скатились головы Обросима Петрова и Кузьмы Чермного.

С полковником Рязановым, Муромцевым и Лаврентьевым поступлено было иначе. Их тоже вводили на помост, тоже клали голову на плаху, но тотчас же поднимали и, раздев, укладывали ничком... Другой человек явился с ременным кнутом и... бил нещадно. Подняли их, бесчувственных, вырезали языки и отнесли... Куда?.. Для отправки на вечное житье в Сибирь.

Не менее тяжкая доля постигла и других преданных лиц царевны. Преподобный монах Сильвестр Медведев, предвидя неминуемую развязку, тотчас по приезде в Кремль полковника Нечаева убежал вместе с Никитой Гладким из Москвы в монастырское село Микулино (в 7 верстах от Москвы) к другу своему — расстриге попу Григорию, а оттуда побежали в Польшу. Пробираясь по Смоленской дороге, они остановились на несколько дней отдохнуть в Бизюковом монастыре, близ Дорогобужа, у старого знакомца своего — игумена Варфоломея. Здесь-то и заватил их дорогобужский воевода Борис Суворов, извещенный послушником отца Варфоломея. Медведева и Гладкого доставили в Троицкий монастырь спустя два дня после казни Шакловитого.

Начались новые допросы. Медведев показал, что он знал о намерении царевны венчаться царским венцом, что действительно подписывал к ее портрету полный титул и вирши, что слышал от Шакловитого намеки на убийство царицы Натальи Кирилловны в таких выражениях: «Если бы ее (Натальи Кирилловны) не было, у государыни царевны с братом было бы советно»,— но затем отрекся от всякого соучастия в преступных замыслах. Точно так же и на вторичном допросе под ударами кнута, после расстрижения и отлучения от церкви, он ничего нового не высказал.

Более податливым оказался друг его, Никита Гладкий. Как на первом допросе, так и на втором под пыткой он сознавался и, во всем показывая согласно с показаниями Обросима Петрова, плакал и кричал:

— Во всем виновата царевна Софья Алексеевна, взыщет на ней Господь Бог за нашу кровь!

Обоих их тогда же приговорили к смертной казни, но приговор был исполнен только над одним Гладким, Медведева же, вероятно по ходатайству патриарха, заключили

в келью Троицкого монастыря, где и подвергли его увещеваниям архимандрита Новоспасского монастыря Игнатия и ученого грека Лихуды Софрония. Потом, уже почти через полтора года, когда захвачен был один из главных сообщников Шакловитого — Алексей Стрижев и открыты были тесные сношения Сильвестра с чародеем, поляком Силиным, Медведева снова допрашивали под страшной пыткой «огнем и железом» и наконец казнили 11 февраля 1691 года.

Безустанно работали заплечные мастера, полосуя тела и отрубая головы приверженцам правительницы, и никого почти в живых не осталось.

Иван Борисович приехал в Москву с поручением выжить царевну из кремлевских палат и водворить ее в Новодевичий монастырь. Нелегкое было это поручение. На убеждения рассчитывать было трудно, а на насилие он не был уполномочен, да и старший царь, Иван, едва ли бы согласился. Оставалось надеяться только на настойчивость да на то, что правительница наконец сама убедится на невозможность дальнейшего своего пребывания в Кремле.

Нервное возбуждение, выказанное правительницей в первый день нового года, по случаю приезда полковника Нечаева, сменилось упадком сил — апатией. Совершенным автоматом прожила она последующие дни, дни буйства стрельцов, взятия Шакловитого и всех ее приближенных. Да и не было вокруг нее ничего, что могло пробудить упавшую энергию. Вести, доходившие до нее, были крайне неутешительны. Постельница ее, Арина Федоровна Оглоблина, водившая большое и короткое знакомство в стрелецких слободах, каждый день передавала ей все, что узнавала от стрельчих, мужья которых были в Троицком монастыре. Оглоблина последовательно рассказывала царевне сведения о допросах Шакловитого, Обросима Петрова и других, об их показаниях и наконец об их казни.

Как повлияла на нее смерть Федора Леонтьича?

Странное дело. Самая тесная связь соединяла ее с Шакловитым, а между тем она отнеслась к его смерти почти равнодушно, ее даже более поразила участь Петрова, Черного и Рязанова. Но еще с бо́льшим интересом, с бо́льшим сердечным участием следила она за борьбой, начавшейся за судьбу Голицыных.

Царевне минуло тридцать два года, а она еще никого не любила. Девять лет тому назад поддавшись влиянию обольстительной речи Голицына, она отдалась ему, серьезно привязалась и думала выйти за него замуж, но разница

в годах и взглядах скоро провела между ними резкую разъединяющую черту. Молодой, живой ум, жаждущий деятельности, поделиться избытком своих сил для счастья других, не мог сродниться с постоянным холодным расчетом, с математическими выкладками житейской опытности князя, и она отошла от него, но все-таки сохраняла к нему преданность и уважение к его уму, дарованиям и обширному образованию. Но отсутствие в Крымском походе... Подвернулся худородный красавец. Заговорило животное чувство, потребность самки, и царевна допустила его к себе, не рассмотрев, насколько подходит он к ней по духовному развитию. И вот в странном положении очутилась она. Телом принадлежала она ему, но чем ближе и чаще становились отношения, тем дальше она уходила от него. Скудоумие и эгоизм худородного все яснее и яснее рисовались в ее глазах, и в последнее время у нее появилось какое-то отвращение к нему. Иногда пыталась она наложить на его образ лучшие краски, обмануть и оправдать себя, поставить его на высоту, но и эти усилия все более отдаляли.

Царевна старалась забыться в трудах, отдаваясь делу правления, но сердце женское присасывается ко всему, живет и вечно работает. По неимению субъекта для любви оно присасывается к чувству ненависти... Любовь и ненависть, по сущности, одинаковы — как то, так и другое приносят страстное увлечение.

С ребяческих лет жизнь поставила царевну в неприязненные отношения к мачехе, и эти отношения, естественно, перешли под влиянием сложившихся обстоятельств в ненависть. Старая царица и молодая царевна ненавидели друг друга, и это перешло к их приближенным, думающим, живущим их головой. Вот почему у всех старых стрельцов и у Шакловитого постоянно была одна мысль — принять старую царицу медведиху, а не ее сына, тогда как весь политический интерес должен бы сосредоточиваться на нем.

Ненависть против Петра у царевны развилась уже впоследствии, после смерти старой царицы, от унижения, лишения власти и личного оскорбления.

Когда апатическое состояние духа после первых чисел сентября у царевны миновало и она трезво оглянула свое положение, оно представилось ей мрачным, но не безнадежным. Правда, она лишилась почти всех преданных, то засеченных, то обезглавленных, но в среде старых стрельцов имя ее пользовалось симпатией и всегда выговаривалось с глубокой благодарностью. Эта симпатия не могла не

относиться подозрительно ко всем новым порядкам, а при случае могла превратиться и в открытое неудовольствие. Надобно было наблюдать и выжидать благоприятного момента, отстраняясь на время от всякого участия. Но наблюдать в Кремле, где на виду каждый шаг, где сотни глаз следят за каждым движением, в действительности оказалось невозможным. Самым лучшим, удобным местом в этом отношении представлялся монастырь, где под наружным отречением от мирских интересов в те времена именно и сосредоточивались мирские вопросы. Из монастырей велись самые деятельные переговоры со стрелецкими слободами, и ниоткуда столько, как из монастырей, не бегали за различными снадобьями к разным колдунам и знахарям.

Увидев лучший для себя выход из настоящего затруднительного положения только в переезде в монастырь не в качестве постриженной монахини, отрекшейся от мира, но как живущей на покое, царевна не имела ничего против выбора Новодевичьего монастыря. Напротив того, если бы ей самой предоставлено было право выбора, то она остановилась бы именно на этом монастыре, где весь штат был ей хорошо знаком, где у нее было столько благодарных и преданных.

Софья Алексеевна послала сказать боярину Ивану Борисовичу о своем согласии исполнить требование брата. Обрадованный князь, рассыпаясь в изъявлениях благодарности и преданности, стал торопить с отъездом.

Начались бесконечные хлопоты и сборы к переезду, так как царевна брала с собой всю почти домашнюю обиходность и свой служебный штат.

Наконец в одно прекрасное утро царская колымага увезла Софью из терема в Новодевичий... Грустно было царевне прощаться со своим теремом, где, правда, мало видела она счастья, но где каждая мелочь в минувшем по воспоминаниям отливалась счастием. Грустно ей было расставаться с сестрами Екатериной Алексеевной и Марфой Алексеевной, в особенности с последней, с которой она была более дружна. Екатерина и Марфа обещади навещать нередко, а Марфа успела втихомолку дать обещание извещать решительно обо всем.

ГЛАВА XIII

Софья Алексеевна в монастыре. Бесконечной цепью потянулось время, день за днем, однообразно до утомления, до исступления... В первое время царевне как будто даже

нравилась эта невозмутимая тишина, это отрешение от прошлого, но потом нервное возбуждение пробудилось, и потребность деятельности заговорила снова. С напряженным вниманием стала следить она за действиями нового правительства; частенько постельницы ее, Ульяна Калужкина, Авдотья Григорьева или Вера Васютинская, бегали к знакомым им стрельчихам, тщательно собирая и передавая ей все вести. Нередко навещала ее и царевна Марфа Алексеевна, а еще чаще пересылала она ей все новости в *стряпне*. Да и, кроме этих источников, царевна могла сама лично разузнавать о настроении умов от многочисленных богомольцев, беспрепятственно допускаемых в монастырь во время праздников и крестных ходов, в которых и она сама почти всегда участвовала. Правда, для наблюдения за ней постоянно находилась на монастырском дворе дежурная стража, но эта стража, ничего не подозревавшая и не предполагавшая, отправляла обязанности свои беспечно. Все были уверены в твердости нового правительства и в совершенной невозможности какой-либо попытки со стороны царевны.

И действительно, в первое время всякая попытка была невозможна. Новое правительство обеспечило себя решительными и энергическими мерами. Почти все преданные царевне, занимавшие высшие должности, были удалены и заменены преданными людьми со стороны Петра*. Редкий день проходил без печальной новости для царевны, то о ссылках, то об опалах сотрудников быстро таявшей ее партии. Новое правительство окружило себя верными слугами и в первое время руководилось взглядами большинства.

---

* Приказ Посольский, в котором, кроме дипломатических сношений, сосредотачивались дела по управлению Малороссией, слободскими полками, Новгородом, Смоленском, Галичем, Устюгом, Пермью, монастырями, Немецкой слободой, Приказы Судный Владимирский, Челобитный, Иноземный, Рейтарный и Пушкарский, бывшие в заведывании Василия Васильевича Голицына, переданы были в управление: Посольский — Льву Кирилловичу Нарышкину, Иноземный, Пушкарский и Рейтарский к князю Федору Семеновичу Урусову, Владимирский Судный и Челобитный к князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому, Приказ Стрелецкий Федора Леонтьича Шакловитого поступил в заведывание князя Троекурова, Приказы большой казны и большого прихода, бывшие в заведывании окольничего Алексея Ивановича Ржевского, перешли к боярину князю Петру Ивановичу Прозоровскому и т. д. Только самый главный деятель в перевороте удовольствовался сравнительно незначительной частью: князь Борис Алексеевич Голицын получил в управление один Приказ Казанского дворца.

Все русское общество того времени, за исключением князей Голицыных и весьма немногих образованных людей, с ненавистью смотрело на все более и более усиливающийся наплыв иностранцев. Народ с презрением относился к вере, обычаям и наряду иностранцев и при всяком удобном случае осыпал их насмешками и оскорблениями. Пруд на Покровке, где строились при царе Михаиле Федоровиче дома иностранцев, носил прозвище поганого, а слобода немецкая — Кукуя. «Немец! Немец! Шиш на Кукуе»! — кричали уличные мальчишки и лавочники при проходе иностранца, осыпая его нарядное платье пылью и грязью. Дики казались народу иноземные обычаи, не понимал он, как, например, можно есть траву (салат), как какой-нибудь корове. Да и не один простой народ относился таким образом к иностранцам. Духовенство, передовое сословие по образованию, с озлоблением смотрело на прилив иностранцев, в особенности на дозволение строить им свои храмы, не одобряло тайно и явно мер правительства к сближению с чуждыми государствами.

Кроток и смирен сердцем был патриарх Иоаким, но и он в завещании своем говорит: «Молю их царское пресветлое величество и пред Спасителем нашим Богом заповедываю: да возбранят проклятым еретикам-иноверцам начальствовать... над служивыми людьми, но да велят отставить их врагов христианских все совершенно, потому что иноверцы с нами, православными христианами, в вере не единомысленны, в преданиях отеческих не согласны, церкви — матери нашей — чужды, какая же может быть польза от них, проклятых еретиков?.. Дивлюся я,— далее пишет Иоаким,— царским палатным советникам и правителям, которые бывали в чужих краях на посольствах: разве не видели они, что в каждом государстве есть свои нравы, обычаи, одежды, что людям иной веры там никаких достоинств не дают... А здесь чего и не бывало, то еретикам дозволено...»

Ввиду такого склада русского общества царевна в цивилизующем деле действовала чрезвычайно осторожно. Точно так же, как и отец ее, она покровительствовала иностранцам, вызывала их, дозволяла французским эмигрантам, притесненным Людовиком XIV, свободный приезд в Россию по всем рубежам, но вместе с тем строго охраняла религиозное чувство народа. Так, при первой попытке фанатика лютеранина Квирина Кульмана она поспешила прекратить его пропаганду, подвергнуть его самого аресту, потом розыску и наконец утвердила его смертный приговор.

Можно ли было ожидать такой же осторожности от впечатлительной, увлекающейся натуры Петра? Семнадца-

тилетний царь сошелся с немцами, веселая слободская жизнь немцев понравилась ему. Там бывали пиры, танцевальные вечера, маскарады, там много пили, там допускалось свободное обращение с женщинами, и нетрудно было предвидеть, что страстный юноша весь отдастся этой новой жизни и потребует такой жизни от всего русского народа.

И стала рассчитывать царевна на неизбежные промахи нового правительства. Темными ночами, на монастырском ложе и в храме, середи церковной службы, отдававшейся в ее ушах только одними звуками, постоянно задавался в уме один вопрос: когда настанет это время, когда общее раздражение вызовет ее опять к прежней деятельности?

Но прошел долгий год, прошел и другой, а расчеты не сбывались. Около Петра стояли люди, имевшие на него влияние и жившие одинаковой жизнью с массой: царица Наталья Кирилловна и еще не надоевшая молодая жена. По настоянию матери тотчас же по окончании борьбы брата с сестрой, через девять месяцев после приглашения эмигрантов-французов протестантского вероисповедания, вышел новый указ, запрещавший уже переезд в Россию иностранцев без предварительного отобрания от них различных подробных сведений и без разрешения пропуска из Москвы. В таком же смысле, согласном с мнением русского большинства, разрешен был и вопрос о выборе патриарха. Старый Иоаким умер 17 марта 1690 года. В преемники ему собор в июле представил государю трех кандидатов: Адриана — митрополита Казанского, Никиту — архиепископа Коломенского и Викентия — архиепископа Троице-Сергиевой лавры. Но, кроме этих кандидатов, некоторые иерархи, особенно высшие, указывали на Маркелла — архиепископа Псковского. Государь, помимо кандидатов выборных, желал назначить Маркелла, человека образованного, уступчивого и не относившегося враждебно к иностранцам, но тем не менее против своего желания, по настояниям Натальи Кирилловны, 22 августа 1690 года выбрал Адриана Казанского, друга Иоакима, разделявшего все взгляды и убеждения покойного.

В дворце проявилось двоякое направление. Как частный человек, Петр любил кутнуть с иноземцами, панибратствовал с ними, но в официальных сферах иностранцы совершенно стушевывались. Не только рядовые немцы, но даже генералы и полковники не допускались во дворец, когда духовенство, бояре, военные и торговые люди чествовались в дни высокоторжественные чаркою водки из царских рук. Не было исключения даже для самого Гордона, и, раз

явившись по приглашению к царскому столу (по случаю рождения наследника Алексея Петровича 28 февраля 1690 года), даже он должен был удалиться.

Все эти новости, своевременно доходившие в Новодевичий монастырь, приводили царевну в тяжкое раздумье. Неужели она ошиблась в расчете? Неужели ей вечно сидеть в этих ненавистных монастырских стенах? Уныние начинало подтачивать здоровье, явилось сомнение в самой себе, в своих силах, нерешительность, упадок энергии и мужества.

Между тем расчеты царевны были верны. Только действительность шла медленнее нетерпеливых ожиданий. Влияние Натальи Кирилловны по мере развития государственной деятельности молодого царя, его постоянных мыканий по разным частям государства, естественно, слабело, а красивая молодая жена все больше и больше наскучивала своими вечными слезливыми сантиментами.

Прошло еще три года. Будничная монастырская жизнь с ее ежедневными сплетнями и лукавыми интригами все теснее и теснее охватывала царевну, незаметно и исподволь увлекая ее в тину своих мелких интересов. Сестры по-прежнему навещали ее часто, а в особенности Марфа, но и от них тоже передавались такие же сплетни, расходившиеся от стрельчих, жен и вдов, являвшихся к царевнам по прикормкам и плативших за даровой корм разнообразными новостями, большей части доморощенного творчества*. Передавалось более или менее таинственно, под большим секретом, на ухо, без свидетелей о том, что царь Петр совсем спился с круга, что он и днюет и ночует у проклятых немцев, измаял всех потешными играми да походами и что во всех-то тех походах вся тягость падает на бедных стрельцов, которых царь, видимо, не любит и при всяком случае унижает перед своими любимыми потешными, что стрельцы ропщут на такую несправедливость.

Выслушивала все эти вести царевна безучастно, пропу-

---

* В дни поминовения по усопшим близким лицам не только в царском доме, но даже у всех сколько-нибудь достаточных семейств строго соблюдался обычай кормить нищих и убогих. Из ведомости о кормке нищих в 207 году видно, что царица Марфа Алексеевна по Федоре Алексеевиче кормила по 300 человек пять раз в году, царевна Татьяна Михайловна — девять раз в год по 220 человек, младшие царевны — четыре раза в год по 200 человек Угощение состояло в мясоед из студня, языков говяжьих, полотков гусиных, ветчины, кур в каше, из караваев, пирогов с говядиной и с яйцами, в пост из икры армянской, соленой белужины, тешки, снетков, из караваев с рыбой и пирогов с кашей. Кроме яств, угощались и вином, медом цеженым и пивом ячным.

ская их мимо ушей; узнала она и испытала, насколько можно им верить.

Однажды в двадцатых числах января, вставши от послеобеденного отдыха, царевна уместилась за своим обычным вышиванием в поджидании вечерней службы. Не успела она сделать и несколько стежков, как в коридоре перед кельей послышалось торопливое движение и в комнату вошла постельница.

— Матушка государыня,— торопилась она высказаться,— сестрица Марфа Алексеевна изволила пожаловать.

— Сестрица Марфа? — апатично переспросила царевна.— Кажись, она недавно была,— добавила она, как будто говоря сама с собой.

— Голубушка, Сонюшка, а я к тебе с важным,— заговорила Марфа Алексеевна, только что показавшись в дверях.

Марфа Алексеевна была 42 лет, следовательно, старше Софьи пятью годами, но выглядела моложавее. Голубенькие глазки ее добродушно смотрели из-под светло-русых бровей, голос отливал чистым звуком, а в движениях выказывалась еще бойкость сохранившихся сил.

— Рада тебе, матушка государыня сестрица Марфа Алексеевна, милости просим,— отвечала царевна, не забывая величания полным именем, как требовали того строго соблюдаемые обычаи отношений младших сестер к старшим. Впрочем, только в этом величании и заключалось все преимущество Марфы Алексеевны, во всех же прочих отношениях она сама сознавала превосходство младшей сестры, искренно любила ее и безропотно исполняла ее волю.

— Как здравие твое, государыня сестрица?— не забыла осведомиться Софья Алексеевна, соблюдая весь этикет того времени, обязывающий непременно прежде всего ради уважения, особенно к старшим, осведомляться о здоровье.

— Слава Господу Богу, по святым молитвам матери Дорофеи и твоим, Сонюшка, голубушка,— проговорила Марфа Алексеевна, усаживаясь в глубокое кресло подле сестры,— а я к тебе с вестями, да еще с какими!

— Не родила ли Ульянка опять двойню? — с едва заметной усмешкой спросила Софья, принимаясь снова за вышивание.

— И... мать моя, что ты! Неужто каждый месяц будет носить по двойне? Совсем не то... Переполох у нас там страшный. Сама царица Наталья Кирилловна недужит.

— Недужит? Да ведь она часто недужит... оправится.

— Нет, голубушка, видно, не оправиться ей. Не чает встать. Утром призывала к себе отца патриарха и братца

Ивана прощаться. Все уговаривала братца Ивана и сынка жить в любви и согласии, заодно, не идти друг против друга, а отца Адриана просила не оставлять их своими советами и молитвами. Так, слышно, говорила все жалостливо... рекой разливалась...

— Нечего было жалобиться-то,— холодно отозвалась Софья,— братец Иван и так из воли сынка не выйдет. Была я, со мной был дружен, теперь верх взял нарышкинец — будет с ним заодно.

— На братца Ивана не жалься, голубушка, ты ведь знаешь, каков он был сызмальства...— добродушно старалась оправдать брата Марфа Алексеевна.

— Я и не жалюсь, сестрица, а так, к слову пришлось: нечего было разливаться-то. А что, сынок с милой... сестренькой-то жалеет мать?

— Как не жалеть! Плачут оба... А пуще их плачет Авдотья... разливается...

— Что ж ей, сестрица, разливаться? Не мать родная.

— Эх, голубушка, не мать родная, а дороже Наталья для нее матери родной. Только и жила Авдотья за свекровью. Пропадет теперь она.

— Неужто, сестрица, правда, что говорят?..

— Кто их знает. Ихние же постельницы болтают. Больно уж любят они друг друга... братец с сестрицей. Оба они такие пригожие да огневые. Он, почитай, каждый день пьян, от одной зари до другой все с басурманами-еретиками. Чаю, что и грехом-то не считает.

— И у немцев, сестрица, это грехом прозывается.

— У еретиков-то? У еретиков, голубушка, ни в чем греха нет. Анна рассказывала мне, а ей передавала стрельчиха, что жила летось у одного немца в слободе,— такие страсти... такие...

Не успела, однако ж, высказать Марфа Алексеевна, какие видела страсти у немца стрельчиха, как в это время колокол ударил к вечерней службе.

— Прощай, голубушка, тебе в церковь, а мне домой пора.

— Навещайте, сестрица, меня, горемычную заключенницу. Только и отрады мне, как вы приедете. Все почти меня забыли. Царицы и тетушка Татьяна Михайловна никогда не навестят, видно, боятся. Вот вы да Екатерина не забываете,— говорила Софья Алексеевна, провожая старшую сестру.

Вечерняя служба шла по уставу. На своем обыкновенном месте стояла царевна Софья Алексеевна, по обыкнове-

нию, земные и поясные поклоны клала она, не слыша ни одного слова из молитвенных песнопений. «Что мне теперь в смерти мачехи! Какая польза? Если б несколько лет назад... не стояла бы я здесь, как в тюрьме. А все она... всему причиной она! Исстрадалась я от нее всю свою жизнь. Должна бы радоваться, если ее не будет, а мне теперь как-то все равно. Точно обтерпелось... видно, можно привыкнуть и к тюрьме... и неволе... Как-то поведет тебя Петр... узды не будет... понесется, пожалуй... может и голову сломить».

В последние годы расстроенное здоровье царицы Натальи Кирилловны заметно ухудшилось, но так как болезненные припадки проходили и царица как будто совершенно оправлялась, то и на припадок, случившийся с ней 20 января 1694 года, почти никто не обратил особенного внимания, и даже сам Петр не отменил назначенного им на 25 января похода. Но еще накануне царица почувствовала себя очень дурно, а призванный доктор объявил положение ее безнадежным. 25 января утром в восемь часов она скончалась после пятидневной болезни на 42-м году своей жизни.

Похороны происходили, по обычаю того времени, на другой день с приличными обрядами в московском Вознесенском девичьем монастыре.

В продолжение трех суток сын горевал и тосковал, но уже вечер четвертого дня провел с *компанией* у Лефорта, а утром следующего дня отправил в Архангельск к графу Федору Матвеевичу Апраксину собственноручное письмо, в котором делал подробные распоряжения о заготовлении леса, железа и других материалов для постройки малого корабля, «яко Ной, от беды мало отдохнув и о невозвратном оставя, о живом пишу».

ГЛАВА XIV

С кончиной старой царицы-матери спали с Петра последние путы старой русской жизни. С неудержимой силой страстной нервной природы он отдался новым заморским друзьям своим, с ними веселился, пил и курил, от них учился, с ними советовался, как перекроить и у себя точно так же, как там жилось у них на Западе. Увлеченный сначала только свободой развитой жизни Запада, беззаботной веселостью товарищей-иностранцев, этих юрких искателей счастья и приключений, он пошел дальше и скоро увидел необходимость единения с Западом, необходимость

пересадки к себе всего, что было выработано не без тяжкого труда жизнью наших западных соседей. Он понял, что пересадка совершалась и прежде, только тихо и медленно,— новое растение хирело, глохло от доморощенных сорных трав, и он в избытке физических сил своих почувствовал возможность вдруг одним махом и очистить почву и вырастить целое дерево.

Потешные походы, в которых участвовали стрельцы — представители старого строя,— и новые полки, обученные иностранцами, походы на Белое море уже подготовляли средства к далеко не потешному походу под Азов.

Неудачен был первый поход под Азов, много погубилось народу, но он выяснил наши слабые стороны, на что надобно было обратить внимание. И вот только что кончился этот поход, как стали приготовляться к новому туда же, начались громадные работы по сооружению флота.

С удивлением смотрел на новые замыслы единокровного брата другой соправитель — царь Иван Алексеевич, может быть, он сомневался и не доверял, но не вмешивался и не противоречил ни единым словом. Как ни слабо было умственное развитие царя Ивана, но он сознавал, что брат идет не новой дорогой, а той же, какой шли и дед, и отец его, и сестра Софья, только поступь брата иная, поступь сильного нервного человека.

Особенно сдружились братья после смерти Натальи Кирилловны, как будто предчувствовали скорую вечную разлуку. Ровно через два года после смерти старой царицы, в январе же (20-го числа), в 10 часов утра Иван Алексеевич умер скоропостижно, 30 лет, оставив вдову Прасковью Федоровну, из дома Салтыковых, и трех дочерей: Катерину, Анну и Прасковью*.

Смерть Ивана Алексеевича, кроме личного горя, не принесла никакой перемены. Давно уж и старая русская партия, и царевна Софья перестали смотреть на него как на опору, самостоятельно действующую и способную к борьбе.

Да и некогда было горевать Петру, деятельному работнику, занятому от зари до зари. Весною этого же года он создавал флотилии, необходимые для осады турецких крепостей, а с началом лета началась вторичная осада Азова под непосредственным его начальством. На этот раз поход увенчался успехом, Азов был взят, и 30 сентября 1696 года

---

* Эти дочери посредственно или непосредственно играли важную роль в русской истории. Кроме них, у Ивана Алексеевича были еще две дочери, но те умерли в младенчестве.

победоносная армия удостоилась триумфального входа в столицу.

Этот первый успех, как плод преобразовательных начинаний, еще более убедил Петра в необходимости полного преобразования и в возможности достигнуть этого силою своей воли. Проекты различных реформ тысячами зароились в его голове — недоставало только способных исполнителей. Поэтому, покончив с военными действиями, он принялся за вколачивание просвещения и на первый раз для изучения морского дела «многое число благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуре и управлению корабельному».

Итак, русские бояре отправились учиться за границу. В числе этих избранных (50 комнатных стольников и спальников) находились дети первых русских фамилий: Долгоруких, Голицыных, Толстых, Прозоровских и т. д. Но этого мало: с электрической быстротой облетело Москву известие, что государь сам в свите своего посла, любимца Лефорта, едет за границу.

Такие вести поразили всех и встревожили: теперь дело не касалось только до забав потешных царя, а забиралось в интересы каждого. Разумеется, более всех встревожилась старая русская партия, видевшая в чужих краях страны богомерзкие, рассадник всякого зла и гибель всего православия царства русского. Вспомнилось — доброе старое время, вспомнилось правление Софьи, и скоро неудовольствие выразилось составлением заговора.

В двадцатых числах февраля послы собрались в путь, и Лефорт в своем доме 23 февраля давал последний увеселительный вечер с танцами и музыкой. Беззаботно веселился молодой государь в кругу своих компанейцев; объемистая чарка не раз уж обошла пирующих с пожеланиями счастливого пути и скорого возвращения, когда, к общему изумлению, неожиданное обстоятельство остановило отъезд на некоторое время. Вдруг середи пира отзывают Петра в другую комнату под предлогом весьма важного дела. В этой комнате два стрельца Стремянного полка Канищева пятидесятники Ларион Елизарьев и Григорий Силин рассказывают ему об умысле полковника и думного дворянина Ивана Даниловича Цыклера убить его, для чего будто бы и подговаривает стрельцов зажечь дом и на пожаре совершить преступление.

Не смутившись, Петр тотчас распорядился послать капитана гвардии Лопухина собрать солдат и явиться с ними к дому Цыклера, боярина Льва Кирилловича Нарышкина

послал с изветчиками в Преображенское для отобрания допросов, а сам с некоторыми приближенными поехал лично арестовать преступников.

В доме Цыклера он застал всех соучастников заговора: окольничего Алексея Соковнина, стольника Федора Пушкина, стрельца Филиппова, стрельца Рожина, казака Лукьянова — и, арестовав всех, отправил в Преображенское. Из допросов изветчиков между тем обнаружилось: из речей Елизарьева, что будто полковник Цыклер выспрашивал, смирно ли в стрелецких полках, выпытывал, кто будет государем, если что случится с государем за морем, намекая при этом, что тщится государыня из Девичьего монастыря. По показанию другого изветчика — Григория Силина, Цыклер обвинялся еще более положительно: будто Цыклер говорил: «Известно государю, что у него, Ивана (Цыклера), жена и дочь хороши, и хотел государь к нему быть и над женою его и над дочерью учинить блудное дело, и в то число он, Иван, его, государя, изрежет ножей в пять».

На эти обвинения и улики Цыклер сначала не признавался, но после пытки стал ссылаться и обвинять Соковнина, будто именно тот выспрашивал у него, что делается в стрелецких полках, в таких выражениях: «Где они б... дети передевались. Знать, спят. Где они пропали? Мочно им государя убить, потому что ездит он один, и на пожаре бывает малолюдством, и около посольского дома ездит одиночеством. Что они спят, по се число ничего не учинят?» И подобные выражения об убийстве государя и о стрельцах Соковнин повторял в каждый приезд к нему Цыклера*.

Соковнин после 10 ударов повинился и обвинил зятя своего, Федора Пушкина, будто тот говорил ему такие слова: «Погубил государь нас всех, и мочно его за то

---

* Во всех современных свидетельствах причины заговора Соковнина и Цыклера высказываются неясно, но они видны при внимательном рассмотрении характеров и положений главных виновников. Алексей Соковнин, брат знаменитых раскольниц Морозовой и Урусовой, сам считался ревностным раскольником Капитоновой секты. Поэтому нововведения Петра, сближение его с иноземными еретиками, назначенная поездка царя за границу, а главное, назначение в посылку за границу его двух сыновей не могли не возбудить его к преступлению, которое, по своим убеждениям, он находил святым делом. Что же касается до Цыклера, то этот товарищ Милославского и Хованского считал себя обиженным за открытие замыслов царевны Софьи и Шакловитого ничтожной наградой — званием думного дворянина и Верхотурским воеводством. Притом же Петр, помня его участие в первом стрелецком бунте, постоянно показывал ему пренебрежение и холодность.

убить». Кроме этих слов, будто Федор Пушкин еще жаловался на посылку детей за море учиться да еще на гнев государя к отцу его.

Кроме данных показаний, полковник Цыклер сознался как в подговоре им стрельцов Василия Филиппова и Федора Рожина убить государя, так и в подготовке поднять на смуту донских казаков.

По окончании розыска, веденного самим Петром, назначен был над обвиняемыми суд из бояр, окольничих и думных дворян, который, по выслушивании улик и пыточных речей, приговорил Алексея Соковнина и Ивана Цыклера четвертовать, а Федору Пушкину, двум стрельцам, Филиппову и Рожину, а также казаку Лукьянову отсечь головы.

Казнь совершилась 4 марта при самой ужасной обстановке...

Припомнились Петру детские впечатления первого стрелецкого бунта, угнетения матери, интриги Ивана Михайловича Милославского, и под влиянием этих-то впечатлений он приказал вырыть за 12 лет перед этим похороненное в трапезе церкви Святого Николая Столпника (что на Покровке) тело Милославского, привезти его на телеге, запряженной шестью чудскими свиньями, в Преображенское и поставить в открытом гробу под плахой, на которой должна была совершиться казнь*.

Отсекались руки и ноги Соковнина и Цыклера, затем головы, как их, так и остальных трех преступников, лилась кровь и потоком поливала труп Ивана Михайловича...

Но этим еще не кончилось. 4 же марта выстроен был на Красной площади каменный столб с вделанными в него пятью шпицами. По совершении казни в Преображенском трупы были перевезены на площадь, головы воткнуты на шпицах, а тела разбросаны кругом столба. И долго, в продолжение нескольких месяцев, торчали эти головы на шпицах, а разлагающиеся трупы заражали воздух.

Это был прощальный привет Москве от Петра перед отъездом его в чужие края.

Не избегли опалы и родственники казненных. Все они были разосланы по отдаленным городам, причем некоторые были лишены чести и званий. Заодно уж ссылка поразила и родственников молодой царицы — Лопухиных.

---

* По рассказу Матвеева, труп Милославского, по вскрытии гроба, оказался в неестественном состоянии: голова сгнила и уменьшилась до величины кулака, борода выросла и покрывала всю грудь, живот надут, как бы тимпан, руки и ноги в совершенной целости, а покрывавший тело камчатный белый саван только пожелтел в некоторых местах от сырости.

Федор Абрамович, отец царицы Евдокии, сослан в Тотьму, а дяди ее, Василий и Сергей Абрамовичи, первый — в Саратов, а второй — в Вязьму. Но за какие вины сосланы были они, про это знал только Петр...

Участия царевны Софьи Алексеевны в заговоре убить государя розыскное дело не обнаружило, но тем не менее одно упоминание имени сестры, как претендентки на престол в случае смерти государя, навлекало на нее подозрение и возбуждало стихнувшую вражду. Не желая оставлять царевне и малейшей возможности воспользоваться его отсутствием, Петр приказал усилить караулы (не менее ста человек), под начальством полковника и двух капитанов, строго охранять и днем, и ночью все монастырские входы и не пропускать туда никого из посторонних, даже нищих и богомольцев.

ГЛАВА XV

— Стрельцы к Москве пришли.
— Что будет им?
— Велено рубить.
— Жаль мне их, бедных!

Переписывались между собой царевны Марфа Алексеевна и Софья записками, спрятанными в стряпне (в хлебах, пирогах) или в рукоделии. Да и, кроме этих лаконических известий, Софья Алексеевна имела самые полные, подробные сведения обо всем, что делалось в Москве, и даже о том, чего вовсе не делалось, но могло делаться (в плодовитом воображении стрельчих и комнатных постельниц), от карлицы Марфы Алексеевны, приносившей стряпню к заключенной царевне в Новодевичий монастырь.

Первые числа апреля 1698 года. Истекает великий пост, и в монастыре делаются приготовления к встрече светлого праздника. Правда, не прежние это приготовления. Бывало, в вербное воскресение и во всю страстную седмицу народу в монастыре видимо-невидимо: и богомольцев, и заказчиков разных обнов, вышиваний и изукрашенных верб, а теперь пусто — ни молельщиков, ни нищих на обширном монастырском дворе, по которому изредка пробежит только какая-нибудь послушница за приказанием к матери игуменье или к казначее. Посторонних никого, у ворот стоят крепкие караулы царского войска и не пропускают почти никого, разве уж по особому разрешению князя Михаила Григорьевича Ромодановского. Но и здесь, как и везде и во

всех репрессивных мерах, страдают только невинные, а кому нужно... те изобретут дорогу...

Утомленная продолжительной утренней службой воротилась Софья в свою келью. От весеннего ли утреннего воздуха, от внутреннего ли волнения, или от болезненного нервного настроения, но, несмотря на утомление от долгого стояния, Софья Алексеевна выглядела не по-прежнему. Розовый румянец густо застыл на щеках, начинавших тускнеть, полуопущенные, как и подобает монастырке, глаза по временам бодро и весело оглядывают кругом, порой какая-то странная усмешка пробежит по сжатым губам. Царевне 42-й год. Состарившаяся в последнее время вдруг на несколько лет, она теперь снова как будто помолодела, и как будто тверже стала ее походка.

Быстро сбросив и откинув в угол свое покрывало и верхнее платье, царевна осмотрелась и, удостоверясь, что в соседней комнате нет никого, опустилась в кресло, стоявшее перед ее рабочим столиком, на котором в беспорядке лежали ее вышивание и несколько книг. С неудовольствием оттолкнув свесившуюся со стола швейную работу, она поставила на стол оба локтя, оперев на руки поднятую голову. Вся фигура ее была — нетерпение.

За нею следом вошло в комнату, ковыляя немного на правую ножку, маленькое худенькое существо с ребячьим телом и с несоразмерно развитой головой — карлица Марфы Алексеевны, Дуня. При всем безобразии своем карлица не была неприятна, напротив, в самом безобразии сказывалась симпатичная миловидность. Разноцветные глаза — один глаз голубовато-серый, другой карий — смотрели так смышлено, лукаво, но вместе с тем и так приветливо, широкий рот, чуть не до ушей, с толстыми губами, складывался в постоянную добродушную улыбку. Со всеми была она в дружбе; на что уж был злющ лохматый пес Солтан, не пропускавший без ворчания никого из прохожих, и тот при каждом выходе Дуни на задворок важно подходил к ней, становился на задние лапы, вскидывал передние к ней на плечи и лизал морщинистый лоб. И все любили ее, начиная с прачки и оканчивая царевной Марфой Алексеевной; все, и постельницы, и сенные девушки, постоянно поверяли ей секреты, тайные похождения; все пользовались ее услугами, и никому никогда не изменяла она.

Войдя в комнату, карлица набожно помолилась перед иконами, отвесила земной поклон царевне и, поцеловав ее руку, стала у рабочего стола, смиренно сложив калачиком маленькие ручки.

— Заждалась я тебя, Дуня, измучилась совсем. Что у вас там делается на Верху? — закидывала вопросами царевна.

— Чему делаться-то, матушка государыня, акромя дурного... ничего. Ноне времена... и... и...— протянула карлица, в пояснение покачав головой.

— Что *тот-то?* Все нет от него писем, Дуня?

— Ничего нет, матушка, ни строчки. Вот уж сколько времени словно камень в воду — сами потешные дивуются. Слышно, говор такой в народе идет, будто кончился... И царство бы ему небесное, пусть бы вселил его в селения праведных... и здесь много накуролесил. Вот хоть и ноне. Уехал к еретикам, прости ему Господи, бросил все, а потешные всем орудуют. На днях Федоровна, барская барыня при княгине Прасковье Ивановне Ромодановской,— а как бы ей не знать аль солгать,— при мне сказывала стрельчихе Артарской, будто бояре хотели не то удушить, не то украсть ребенка-царевича и платье на него уж другое надели, да царица проведала и не допустила. Так бояре и царицу-то по щекам били. Ну, слыханное ли такое дело? Не так было при тебе, государыня матушка, когда ты державствовала... И жалеют-то тебя теперь как!..

— Жалеют, Дуняша? Кто? Стрельцы? А не сами ль они меня выдали? Я ли их не жаловала?

— Все неразумие наше, государыня, одно. Теперь спохватились... И плачутся же они как по тебе! Ведь нам все известно. Стрельчихи не токмо на кормках, а и в будни завсегда у наших постельниц... говорят ведь...

— Что они рассказывают? На что больше жалуются?

— На все, государыня, житья им нет. Государь, как связался с немцами, совсем переменился, зверем смотрит на них... Как только принял державство, так и пошел курить. Помнишь, бывало, при тебе стрельцам был спокой, служба не тяжкая, пришел с караула — лежи себе аль торгуй, а у него какой покой! Ноне поход, завтра поход, то крепости ему рой, то баталии производи, а вместо спасиба одни насмешки да унижения. Везде, вишь, немцы берут верх, а наших бьют да срамят. Вон под Азов, под турку, пошли, и там от немцев житья не было. Немец поведет подкоп будто под крепость, а в сам деле наших православных взорвет. На штурму, где больше бьют, туда и посылали стрельцов. Больно их, говорят, много легло под Азовом. А как взяли Азов, ну, думают стрельцы, теперь отдохнем дома в матушке-Москве, ан немцы и тут удружили. Всех, как есть всех разослали: кого под Азовом оставили на

тяжкую работу, кого в обереженье от турка иль поляка по рубежам отослали, в Москве как есть ни одного стрельца, только одни потешные да солдатские. Ну сама посуди, государыня, каково им? Сами на чужой стороне голодуют, извелись, а в Москве их жены без мужей, детки без отцов совсем обнищали, оборвались все, только и живут милостыней Христа ради. Нешто от хорошего жилья прибегли они сюда!

— Сколько, Дуняша, прибежало?

— Сотни две, матушка, да они и все готовы сбежать...

— Что они гадают, Дуняша, на чем решили?

— Решили, государыня, привести опять тебя на державство. Моление ведь свое они тебе передали?

— Передали, Дуня, и я грамотку им от себя послала. Переслала им сестрица?

— Как же, государыня, передала. При мне матушка Марфа Алексеевна посылала постельницу Клушину с грамоткой к стрельчихе Анютке Никитиной, чтоб та передала Ваське Туме. При мне и наказывала ей строго-настрого. «Письмо я тебе отдаю,— приказывала царевна,— поверя тебе, а буде пронесется, тебя же распытают, а мне ведь, опричь монастыря, ничего не будет!» И передала Никитина письмецо Туме, я доподлинно знаю, передала на дворишке его у Арбата, у явленного Николы.

— Спасибо сестрице Марфе Алексеевне, не забывает она меня заключенную,— с чувством проговорила царевна, задумавшись.

— Как можно забывать,— отозвалась словоохотливая карлица.— Помнит твою добродетель, как ты была в державстве. Да и другие твои сестрицы, Мария, Екатерина и Федосья, тоже не забывают. Бывало, нет им от тебя ни в чем отказу, чего только душенька пожелает. Ну а теперь нет... не то... не подступиться... скуп. Может, и дает... какой Монсовой.

— Не все помнят, Дуняша. Вот царицы тоже от меня дурного не видали, а забыли: редко, редко, когда навестят. Может, боятся.

— Боятся, родная, поверь слову, боятся. Да и то сказать: Марфа Матвеевна и Прасковья Федоровна не плоть ведь твоя, а свойственники...

Царевна, казалось, не слушала слов Дуни. Она, видимо, обдумывала и соображала.

— Долго пробудут, Дуняша, здесь стрельцы?

— Уж этого не знаю, матушка государыня. Не хотят они вовсе отсюда уходить-то. Бояре было им велели воро-

титься в полки и сроку дали до 3 апреля, да куда... и слушать не хотят. Пришли намеднись к Ивану Борисычу да такой гвалт подняли! Князь попытался захватить главных вожаков, да товарищи отбили. А потом приходили в свой приказ, бесчинствовали, ругали начальство срамословными словами. Народ, ты сама знаешь, какой — буйный; слышно, еретики-бояре трясма трясутся.

Это последнее известие, казалось, больше всего было по душе царевне. Стрельцы пробудились. Старый дух начинает говорить в них, а к чему может повести этот дух, она знает по опыту. И не боится она грозной смуты, она чувствует еще в себе силу, твердую и надежную, способную управлять массой по своему желанию. Напротив, ей ненавистны были слабость и отсутствие энергии, ее погубившие.

Между тем Дуняша все продолжала болтать, но вдруг голос ее понизился почти до шепота, не слышного в двух шагах.

— Вот что еще, матушка государыня, я хотела тебе доложить. Стрельцы, что теперь в Москве, задумали сделать подкоп под монастырь и подкопом-то вывести тебя. Как ты изволишь на это?*

Царевна задумалась, но, быстро сообразив все шансы успеха и неудачи, решилась, не колеблясь, отклонить.

— Нет, Дуня, передай им... скажи, что я этого не хочу. Их здесь мало, и их задавят. Напрасно только кровь будет литься. После, когда они все будут готовы, тогда... Тогда я возьму державство. А теперь, Дуня, передай Туме или Проскурякову письмо мое. Сама передай им, или через Никитину, или через Офимку Кондратьеву Артарскую, только, смотри, бережно, чтоб безвременно не пронеслось. Сама знаешь, какое дело. Сестрица правду говорила... запытают. И передай им с великою клятвою, чтоб в случае чего не годного письмо бы сожгли и в руки бы сопротивников не доставалось никак.

— На меня надежна будь, царевна. Нешто стрельчихи сболтают, а у меня хоть жилы тяни, не выдам. Что мне... помирать все едино надо... радостей-то мало было мне на веку, а какие и были, так все от тебя да от сестрицы

---

* По свидетельству Штелина, стрельцы будто бы действительно подкопались под монастырь к покоям царевны, взломали пол и вывели ее этим ходом, но были захвачены при исполнении и после упорной схватки с караульными солдатами переловлены и потом казнены. Это известие, впрочем, не подтверждается никакими другими свидетельствами и по всей вероятности ложно, как основанное только на слухе о предположениях стрельцов.

твоей,— говорила карлица необычным своим веселым голосом.

В письме Софья писала: «Известно мне учинилось, что ваших полков приходило к Москве малое число, а вам бы быть к Москве всем четырем полкам, и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне идти к Москве против прежнего на державство, а если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть, а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».

Карлица ушла, а царевна, улыбаясь весело незримому будущему, как, бывало, улыбалась в годы своей силы, принялась обдумывать и соображать. И казался возможным ей этот возврат прошедшего, но только теперь, наделенная опытом, она уже будет действовать иначе. Она знает теперь цену людям... «Где-то теперь Васенька? Получил ли он мое письмо?»

Уезжая за границу, Петр сознавал, что оставляет за собой массу недовольных, во главе которых стояли стрельцы. Примкнувши к его стороне по чувству законности и отчасти по нерасположению к надменному выскочке Шакловитому, стрельцы вскоре же почувствовали на себе перемену правительства. Петр создавал новое войско на новых началах и потому, естественно, смотрел на стрельцов как на такое наследие старины, от которого необходимо каким бы то ни было способом избавиться. Начались постоянные унижения и оскорбления. Стрельцы выносили, находя утешение в своем общественном и семейном положении, занимаясь торговыми прибытками и хозяйством. Скоро нескончаемыми походами уничтожились фактически и дорогие для них привилегии.

После покорения Азова, задумав путешествие за границу, Петр решил не оставлять в Москве ни одного стрелецкого полка, а потому остававшихся там стрельцов отправил отчасти на южные Украины для обережения от крымцев, отчасти в Азов для сооружения крепостей, а следовавшие к возвращению в Москву на смену четыре полка, уже начавшие это возвращение, распорядился отправить прямо с дороги на западные границы для наблюдения за польскими делами.

Можно представить отчаяние стрельцов этих четырех полков (Чубарова, Колзакова, Чермного и Гундертмарка), надеявшихся видеться в Москве со своими женами и детьми, а вместо того отправляемых на неопределенное время к за-

падным границам. Они повиновались, но с неудовольствием и ропотом. Некоторые стрельцы самовольно кинули полки и явились в Москве, где у них, естественно, родилось желание ввести опять на державство Софью, всегда к ним благоволившую, вместо передавшегося еретикам государя, может быть, в настоящее время уж и умершего, судя по долгому неполучению от него писем.

Встревоженные таким своеволием и явным ослушанием бояре-правители приказали им вернуться к полкам и назначили срок. Беглецы не послушались, но выгнанные силою потешными полками из Москвы, они хоть и отправились к квартирам своих полков в Великие Луки, но с твердым намерением убедить и своих товарищей к явному возмущению. При этом трудно им было оставаться равнодушными, когда получались через жен их из Москвы положительные предостережения.

«Теперь вам худо,— писала, например, Софья,— а вперед еще будет хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали. Про государя ничего не слышно...»

Случай представился скоро. Начальствовавший над дворянскими рейтарскими и солдатскими полками на Литовской границе князь Михаил Юрьевич Ромодановский получил распоряжение: по прибытии четырех стрелецких полков свои войска распустить, самому приехать в Москву, стрельцов расквартировать по окраинным городам, а прибывших в полки из Москвы беглых отобрать и сослать на вечное житье по малороссийским городам.

При объявлении в полках этого распоряжения стрельцы, сочувствующие и вполне разделявшие желания и намерения своих товарищей — воротившихся беглецов, явно отказались их выдать, отказались расходиться по назначенным расквартированиям, а вместо того в полном составе, отставив своих полковников и капитанов, выбрав вместо них для полкового управления из десятников и рядовых, двинулись через Зубцов к Волоколамску.

Полки спешили в походе, предполагая захватить в Москве бояр врасплох, неприготовленными, а в том случае, если это предположение не удастся и они встретят высланные против них боевые отряды, то решили, обойдя Москву, занять Серпухов или Тулу и оттуда разослать призывы присоединиться к ним во все стрелецкие квартиры в Белгород, Севск, Азов и другие города. Число мятежников во всех четырех полках не превышало 2200 человек, и с этими-то силами они мечтали о возможности занять Москву, смутить чернь, перебить бояр-немцев, провозгласить по-

прежнему царевну, а царя, если он не умер, в государство не допускать.

Первый слух о возмущении и о походе стрельцов достиг Москвы 10 июня, а на другой день явились туда отставленные от возмутившихся полков капитаны. Бояре-правители собрались на совет, на котором решили отправить против бунтовщиков воеводу Шеина, поручив ему стрельцов в Москву «для прелести и возмущения» не допускать, а возвратить их на назначенные квартиры. В помощь к воеводе назначили генерал-поручиков Гордона, у которого под командою было по 500 человек от полков Преображенского, Семеновского, Лефортова и Бутырского, и князя Кольцова-Масальского, начальствовавшего над ратными людьми из отставных, подьячих, конюшенных и придворных служителей. Всего в отряде Шеина находилось не менее 3700 человек с 25 пушками.

Сделав смотр на Ходынке назначенному отряду, Шеин выступил из Москвы 16 июня по направлению к Тушину, куда и прибыл на другой день. Здесь получилось первое положительное известие о близости стрельцов и о намерении их занять Воскресенский монастырь. Вследствие этого известия передовой отряд под начальством генерала Гордона двинулся вперед и перед вечером занял выгодную позицию на холмах близ монастырской слободы Рогожи. От холмов впереди их лежало ровное луговое пространство, составлявшее левый берег реки Истры.

Тем же вечером, после захождения солнца, показались от деревни Сычевки передовые толпы стрельцов. Они стали перебираться через реку вброд, занимать луг, находившийся внизу холмов, чем ясно и выказали намерение овладеть Московской дорогой. Заметив это, Гордон поставил на дороге два полка, а другим двум полкам велел, обойдя слободу, занять дефиле.

Тотчас же по переправе через Истру начались переговоры, и стрельцы прислали воеводе изветное письмо, в котором они высказывали причины и цель похода. Из этого письма видно, что служба их действительно была нелегкая*.

---

* Вот содержание этого письма: «В 204 году были они на службе под Азовом, и Азов взят; а они оставлены с жеребья зимовать. И живучи в нем, всякую нужду терпели; и служили по всякой верности, и Азов, и всякие городовые крепости основали вновь, и делали зимою и летом непрестанно. В 205 году велено их отпустить к Москве, и они пушечную и оружейную казну от Азова вверх Доном отвезли до Воронежа, 200 бударь, работою своею, не покладывая рук; а шли 10 недель... и голод, и холод,

В ответ на это изветное письмо воевода Шеин решил послать к стрельцам генерала Гордона объявить, что если они возвратятся к назначенным им расквартированиям, выдадут 145 человек беглецов, бывших в Москве, а также зачинщиков и подстрекателей, то государь простит их и прикажет выдать им жалованье и провиант.

На другой день утром 18 июня с ответом воеводы Гордон поехал к стрельцам. Его обступила беспорядочная толпа. Но вместо хладнокровного обсуждения и переговоров стрельцы кричали одно:

— Умрем, а будем в Москве!

— Подумайте,— говорил им Гордон,— переговорите в каждом полку отдельно.

— Нечего нам говорить,— кричали они,— у всех у нас одна дума — быть в Москве.

Видя бесполезность дальнейших убеждений, Гордон уехал, назначив им срок четверть часа, по истечении которого пощады не будет.

Стрельцы стали приготовляться к битве; священники по полкам служили молебны о победе. Все было нестройно, беспорядочно и шумно. Общий говор покрывал один крик: «Постоим, братцы, что Бог ни пошлет». Некоторые пытались было прокрасться в полки Шеина для подговора, но попытки оказались неудачными.

и всякую нужду терпели; а для постоев давано было им на полки дворов малое число, и стояли на дворе человек по сту и по полтораста; а на покупку хлеба давано им месячного корму по 10 алтын 4 деньги, и того не ставало и на две недели, не только что на месяц, и многие скитались по миру. И переведены на Великие Луки, и стояли недель с 13; и для прокормления многие из них просились по миру, и их не отпускали; а которые ходили, и те, многие, биты батогами. И пришли с Лук в Торопец. А служили все те походы одним подъемом, и от того оскудали и одолжали неоплатно. И из Торопца воеводе (М. Ю. Ромодановскому) велено идти к Москве, а ратных, конных и пеших людей велено распустить по домам; а им велено идти по городам на Белую, на Вязму, на Ржеву — Володимерову, в Дорогобуж и стоять до указу. И воевода пошел к Москве, Новгородский полк вывел, не сказав указа о роспуске; а их велел вывесть на разные дороги по полку, и велел у них брать ружье и всякую полковую казну и знамена, и велел конным, обступя их вкруг, рубить. И они, того убоясь, в указные места не пошли; а идут к Москве, чтобы напрасно не умереть, а не для московского разоренья или какого смертного убивства и междуусобия и бунту. А если они на Москве с женами и детьми свидятся хотя малое число, и как позовет какой воинский случай неприятельских людей, а им велят быть на службе, и они со усердием служить рады. А на которых лошадях везли они пушки, свинец, порох и полковые всякие припасы, и те лошади пристали, а те припасы везут они на себе; а по городам и в селах, и в деревнях подвод под ту казну не бирали и никакого грабительства и обид не чинили. А с сею отповедью послали они для того, чтоб напрасного кровопролития не было».

Между тем и в царском войске начались передвижения. Большой полк выстроился полукругом, в середине которого против стрельцов находились пехота и артиллерия, конница заняла левый фланг до реки Истры, сильный отряд занимал дефиле по дороге.

Прошло более назначенных четверти часа. Воевода приказал начать пальбу, для первого раза без прицела в неприятеля. Раздался залп из 25 орудий, но ядра пролетели над головами стрельцов. Эта безвредность еще более ободрила их, и они со своей стороны открыли пушечную (из 2-х орудий) и ружейную пальбу. В царском войске пало несколько человек. Тогда артиллерийский полковник Граге понизил орудия, навел их и дал второй залп: у стрельцов упало много убитыми и ранеными. Они бросились к дефиле, но, встреченные там Лефортовым полком, а во фланге бутырцами, бросились назад. Раздался третий залп. В отчаянии, с криком «пойдем, братцы, на пролом» стрельцы ринулись было на пехоту, но их встретил четвертый залп. Стрельцы смешались; одни кинулись бежать, другие стали просить пощады.

Вся битва продолжалась не более часа. В войске Шеина опасно ранено было не более 4 человек, у стрельцов же убито 15 и ранено 37. Войска заняли лагерь мятежников и принялись ловить разбежавшихся в паническом страхе стрельцов. Почти все они были в тот же день переловлены и рассажены по крепким местам Воскресенского монастыря.

Вслед за тем начался розыск. Один за другим подходили стрельцы в составе своих полков к разрядному шатру, где производилась им перекличка по полковым спискам, делались отметки и где допрашивались: кто были выбранные вместо выгнанных начальников, кто были беглецы в Москву с Великих Лук и кто были главными заводчиками. При первом расспросе облихованных беглецов оказалось 162 человека, и ими-то принялся разыскивать воевода пыткой и огнем.

Главных подстрекателей к бунту розыскано при допросах до 56 человек, все из великолуцких беглецов. О причинах мятежа подстрекатели, равно как и все прочие, показали одно: хлебный недород и голод. Что же касается до цели, то они желали, произведя в Москве бунт, убить из бояр Тихона Никитича Стрешнева и Федора Юрьевича Ромодановского за отягощение службой, Ивана Борисовича Троекурова за недодачу им хлебного и денежного жалованья.

Вот все, до чего доискался воевода Шеин пытками

и огнем. Ни один из стрельцов под ужасными муками не заикнулся о письмах царевны; напротив того, все твердили одно: никаких присылок с Москвы не было, ничего о них не знали и не слыхали. Правда, что некоторые из них проговорились, будто на общем совещании еще в Волоколамске было предположено по приходе в Москву стать близ Девичьего монастыря, но это, естественно, объяснялось близостью этой местности к их слободам.

Розыскное дело воевода представил в Москву, и бояре приговорили всех великолуцких повесить, облихованных бунтовщиков (140 человек) наказать кнутом и сослать в ссылку, некоторых, как особенно подозрительных, закованных в кандалы, содержать в тюрьме для дальнейшего розыска, а остальных (1965 человек) разослать в колодках по тюрьмам ближайших городов и монастырей.

2 июля совершилась казнь. Из 281 человека (так как впоследствии к бывшим 162 разыскалось еще 119 человек) пощажены только 26 человек по малолетству да 9 по одобрению полками.

Близ монастыря, у места служения Богу милости и правды, на возвышенном месте, откуда глаз обнимал беспредельное пространство, соорудился странный лес человеческого насаждения — лес виселиц. И то на каждую виселицу приходилось по три, а иногда и по пяти жертв. Молча, с изнуренными, болезненными лицами от розыскных пыток и колодочного содержания подходили один за другим жертвы к роковым столбам, крестились и надевали сами на себя петли...

ГЛАВА XVI

Бунт кончился. Бояре ожили, повеселели и с довольным самоуслаждением ждали милостивого слова, но не милостивое слово сказалось им.

Донесение от бояр о походе стрельцов на Москву царь получил в Вене только 17 июля. Торопливо покончив со всеми посольскими церемониями, он 19 июля послал за почтовыми лошадьми и в четвертом часу пополудни в сопровождении небольшого числа приближенных в пяти колясках поскакал в Россию. Но в то время дороги были не нынешние. После самых утомительных переездов и днем, и ночью он только через 5 суток мог доехать до Кракова. Здесь он получил второе донесение о поражении стрельцов и усмирении бунта.

Торопиться уже не было необходимости, и потому дальнейшее возвращение производилось с расстановками, ночлегами, с различными увеселениями у богатых польских панов; только вечером 25 августа государь въехал в Москву. По приезде Петр развез своих товарищей по домам, а сам отправился в свое Преображенское. Не отдыхая от дороги, а стряхнув только плотно засевшую на кафтане пыль, он тотчас поехал в город, где побывал у нескольких бояр, а затем провел вечер в немецкой слободе у красавицы Монс. Разбитная и ловкая немецкая мещаночка Аннушка сумела встретить царя по-европейски.

— O mein Gott! Mein Gott! Как я рада! — выговаривали розовые губки Аннушки, а зазывные голубенькие глазки говорили еще больше... И просидел Петр у нее вплоть до ночи, не вспомнив ни разу, что недалеко, там, на Верху, ждала его, ноя и болея сердцем, некогда милая, но уж давно опостылая Авдотья.

Простившись с немцами и сорвав горячий поцелуй с влажных губок Аннушки, царь отправился ночевать, но не в Кремль, не к жене, а на свою холостую квартиру в Преображенском, где из всех царевен жила одна только родная сестра Петра — Наталья Алексеевна.

Мгновенно облетела Москву весть о приезде царя, и ранним утром следующего дня собрались в Преображенском поздравить с благополучным приездом все приближенные ко двору знатные и незнатные, бояре и немцы-ремесленники. На всех русских лицах через напускную сановитость так и сквозил тревожный вопрос: что-то будет? Что привез он оттуда, из-за моря, от басурманов? Как-то встретит он после полуторагодовалого отсутствия?

Встретил государь всех милостиво и приветливо, рассказывал о заморских чудесах, о свиданиях с венчанными особами, о дружбе своей с королем Польским, подходил к каждому, обнимал, целовал в голову, но в то же время ловко забирал левой рукой окладистую боярскую бороду, а правою отстригал ее прочь. Только и уцелели бороды, что у Тихона Никитича Стрешнева да престарелого Михаила Олеговича Черкасского. Не спаслись от осквернения ни воевода Шеин, ни сам кесарь Ромодановский. А давно ли последний не верил возможности такого осквернения, давно ли он, когда услыхал, что Головин являлся к венскому двору с обритой бородой и в немецком платье, не верил, даже сплюнул и выразился: «Не верю, не дойдет Головин до такого безумия».

Русскому народу в то время бритье бород казалось

безумием и ужасным богохульством. Недавно еще преемник Иоакима патриарх Адриан обращался к народу с посланием. «О пребеззаконники! Ужели вы считаете красотою,— писал он,— брить бороды и оставлять одни усы? Но так сотворены Богом не человеки, а коты и псы. Ужели хотите уподобиться скотам бессмысленным или смешаться с еретиками, которые в такую глубину пали, что не только простые и благородные, но и монахи стригут бороды и усы и оттого видятся подобны пификам и обезьянам... Брадобритие не только есть безобразие и бесчестие, но и грех смертный: проклято бо сие блудозрелищное неистовство». В заключение ревнивый пастырь угрожал: «Люди православные! Не приемлите сего злодейского знамения, но гнушайтесь им, как некою мерзостью: ибо нераскаявшимся брадобрийцам вход в церкви возбранен и причастия св. таин они лишены. Если кто из них умрет, не раскаявшись, не подобает над тем быть ни христианскому погребению, ни в церковных молитвах поминовению. И жив сый, противляйся закону Божию, где станет он на Страшном Суде — с праведными, украшенными брадою, или с еретиками-брадобрийцами,— сами рассудите».

Но не боялся Петр ломки ни народных убеждений, ни народных обычаев.

В день новолетия (1 сентября 1698 года) у генералиссимуса Шеина был пир на весь мир. Многое на этом пире отзывалось стариной, многие еще были в бородах, но вместе с тем веяло и новизной: рядом с боярами в обширных покоях хозяина толкались ремесленники, немцы и матросы. Царь веселился, почевал из собственных ручек яблоками, предлагал, при пушечных залпах, тост за тостом, а между тем любимый шут Тургенев, при взрывах хохота и при острой шутке, ловко отмахивал бороды то у того, то у другого из недогадливых.

Потом дня через три задал пир и любимец царя Лефорт, пир совсем с европейской обстановкой. Бородачей вовсе не было, и все русские в новых кафтанах смотрелись какими-то странными немцами. Гремела музыка, гости были с фамилиями, то есть женами и дочерьми, танцевали. Петр надел для парадного танцевального вечера своего любимца свое самое нарядное платье, которое, по бережливости своей, надевал очень редко: суконный французский кафтан василькового цвета, обложенный лентами с обшивными пуговицами, на красной подкладке, камзол волнистый на тафтяной подкладке, с блестящими медными пуговицами и наконец бархатные панталоны, обхваченные шелковыми

чулками. Царственный облик и стройный стан были безукоризненно прекрасны.

Отличалась и Аннушка Монс. В танцах еще заметнее выделялись ее стройная, грациозная фигура, гибкий стан и роскошные формы, глаза казались выразительнее, то стыдливо потупляясь, то вскидываясь вызывающим соблазном. Аннушка не чета была нашим русским неуклюжим красавицам; свободность обращения давно научила ее всем хитрым приемам великого искусства нравиться. Молодой царь не мог оторвать от нее страстных глаз.

— Здорова ли наша великая государыня? Как рады вы и она увидеться после такой долгой разлуки? — говорила она, в то же время пожимая своей маленькой ручкой руку красавца гиганта царя.

Напоминание было кинуто ловко и вовремя. Сдвинулись густые брови, в глазах блеснул злобный огонек, и передернуло лицо у государя. «Надо кончить... кончить одним разом»,— подумал он.

И он действительно кончил разом. Призвав жену свою в дом почтмейстера Виниуса, куда сам приехал для этого свидания, он долго старался сначала убедить ее в невозможности совместной супружеской жизни при отсутствии любви, при различии характеров и убеждений, потом пытался угрозами вынудить согласие, но Евдокия владела немалою долею отрицательного мужества. На все убеждения, на все угрозы она или молчала, или отвечала односложным «нет». Так свидание ничем и не кончилось, но оно еще более укрепило решимость Петра.

Вскоре после этого свидания царевна Наталья Алексеевна приехала в Кремлевский дворец и увезла к себе в Преображенское восьмилетнего племянника Алексея, а напуганную, ошеломленную мать в простой карете, без всякой свиты отвезли в Суздальский Покровский девичий монастырь... где потом через десять месяцев и была она пострижена под именем инокини Елены.

Впрочем, роковая судьба царицы Евдокии стала неизбежна, помимо влияния царевны-сестры Натальи и влияния обольстительной красоты бойкой немецкой мещаночки Аннушки. Петру все претило в Евдокии, начиная с наружности и кончая убеждениями. Если он и любил ее в первые месяцы, а может быть, даже и годы, то это было животное влечение страсти. По удовлетворении этих порывов ему эти отношения становились еще неприятнее, в особенности же когда новые воззрения становились насущной потребностью. Напрасно молодая женщина, не понимая разладицы

между собою и мужем, старалась привлечь его к себе беспрерывными призывами, ласковыми речами и упреками, от этих упреков и ласк мужу становилось еще тошнее, и еще дальше он уходил от нее*. Чтоб удержать его, надобно было самой идти по его дороге, сделаться частью его самого, его стремлений и видов, но на это она была не способна.

Выросшая в старинной русской семье, в которой свято хранились все отцовские предания, она видела в действиях мужа только одну разнузданность гуляки. Она пыталась отвлечь, привязать к себе и, когда это не удалось, сама стала в оппозиционную сторону, правда, не действующую, но упорно страдательную и безмолвно все осуждающую. Такая оппозиция более всего должна была раздражать до крайности страстную натуру Петра, для которого борьба была жизнь.

Брачные узы становились царю невыносимыми, и он задумал разорвать их. Для разрыва в русской жизни XVII века было только одно средство: пострижение опостылевшей супруги. К этому средству прибегнул и царь. В письмах из Лондона к Л. К. Нарышкину, Т. Н. Стрешневу и духовнику жены он поручал настойчиво уговаривать царицу к добровольному пострижению. Об этом же он писал и Ромодановскому, прося его помогать Стрешневу: «Пожалуй, сделай то, о чем тебе станет говорить Тихон Никитич».

Но ни советы, ни убеждения не имели влияния на лимфатическую, упорную натуру царицы. Она поддалась только физической силе.

Покончив с брадобритием и женой, Петр принялся за стрельцов. При первом обзоре розыскного дела, произведенного Шеиным под Воскресенским монастырем, он заметил недостаток энергии следователей, слабость и нерешительность, а отсюда и неудовлетворительность результатов.

— Я допрошу,— сказал он Гордону, просмотрев дело,— построже вашего.

Схваченные после битвы под Воскресенским монасты-

---

* Из сохранившихся писем царицы Евдокии Федоровны к Петру отчасти можно видеть постепенность охлаждения супружеских отношений. Так, в 1689 году она пишет: «Лапушка мой, здравствуй на множество лет. Да милости у тебя прошу, как ты позволишь ли мне к тебе быть... И ты, пожалуй, о том, лапушка мой, отпиши. Засим писавы женишка твоя Дунька челом бьет». А через пять лет в 1694 году в ее письмах проглядывает уже сдержанность: «Предрожайшему моему государю радость царю Петру Алексеевичу». О лапушке и тому подобных прозваньях, в которых невольно выливается женское чувство, нет и помину.

рем стрельцы, в числе 1714 человек, содержались по тюрьмам и тайникам городов и монастырей, окружающих Москву. И из этих-то мест по распоряжению Иноземного приказа с половины сентября потянулись по Московской дороге более или менее значительные партии колодников-стрельцов под прикрытием отрядов солдатских полков. По мере прибытия партии размещались по тайникам монастырей Симонова, Новоспасского, Андреева, Донского и Покровского, заковывались и приковывались к стенам. Скоро этих помещений оказалось недостаточно; стали размещать по окрестным селам: в Ивановском, Мытищах, Растокине, Никольском, Черкизове и других.

Главным местом производства нового розыска назначено было село Преображенское с его четырнадцатью* застенками, состоящими под ведением ближних к Петру людей**, но главных преступников допрашивал сам царь, взявший на себя общее руководство всем производством. Следствие началось 17 сентября, в день именин царевны и казни князей Хованских. И началась ежедневная работа во всех застенках, неустанная, кровавая работа. Работали по 8 часов в сутки, допрашивалось в день по 16 человек, сначала поодиночке, потом на очных ставках и, наконец, с пыткой под дыбой и огнем.

Первые показания получились те же, что и под Воскресенским монастырем, но затем, при дальнейшем ходе, под жестокой петровской пыткой открылись и новые обстоятельства. Открылось, что стрелецкие полки шли прямо к Новодевичьему монастырю с целью вывести оттуда царевну Софью и возвести ее снова на престол, открылись пересылки бывшей правительницы со стрельцами через стрельчих и дворцовых прислужниц, при живом участии царевны Марфы, и, наконец, открылась посылка к возмутившимся полкам воззвания Софьи. Самые успешные показания получились при допросах Ивана Борисовича, который не уставал в усердии и жег стрельцов, каждого по два и по три раза, а самые неудовлетворительные — в допросах Бориса Алексеевича, которому не было открыто ни одного нового обстоятельства.

---

* По свидетельству же Белябужского, застенков было двадцать.

** Начальниками застенков были князь Петр Иванович Прозоровский, князь Михаил Олегович Черкасский, князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, князь Иван Борисович Троекуров, князь Борис Алексеевич Голицын, Алексей Семенович Шеин, Тихон Никитич Стрешнев, князь Михаил Григорьевич Ромодановский, князь Юрий Федорович Щербатый, Иван Иванович Головин, князь Петр Лукич Львов, Федор Юрьевич Ромодановский, Никита Моисеевич Зотов и Семен Иванович Языков.

Узнав об участии царевен, Петр призвал к допросу нищих и стрельчих Артарскую, Маврутку Логунову, Степанову Марью, сестру Тумы — стрельчиху Прасковью Савельевну Пахалину и прислужниц Марфы и Софьи, кормилицу вдову Марфу Вяземскую, девиц Веру Васютинскую, Авдотью Григорьеву, Ульяну Калужкину, княжну Авдотью Касаткину и после пристрастного с подъемом их допроса сам наконец допрашивал и обеих сестер.

Трусливая Марфа Алексеевна при первом вопросе Петра, приехавшего к ней в село Покровское, рассказала о своих посещениях Новодевичьего монастыря, разговорах с сестрой по передаче последней известий о стрелецких смутах и предположениях возвести ее снова на престол, но заперлась совершенно в передаче от сестры писем и на все улики постельницы Ульяны Калужкиной твердила одно: «А больше этого ничего знать не знаю, ведать не ведаю».

Еще меньшая удача ожидала Петра у царевны Софьи, ясно понимавшей всю невыгоду сознания и видевшей в нем себе верную гибель. Застращать царевну было трудно, а еще труднее сбить и запутать вопросами.

— Писем*, о которых болтают стрельцы под огнем в свое оправдание, я не писывала и не посылала,— говорила она утвердительно,— а пришли они к Москве и решились звать меня по-прежнему на правительство, то это не вследствие моих писем, которых не было, а, знатно, потому, что я была в правительстве.

В последних числах сентября кончился розыск первых партий стрельцов, доставленных из близлежащих к Москве местностей и размещенных около Преображенского. В этих партиях считалось до 341 человека.

Начался суд скорый, но справедливый ли? Охватившее Петра злобное чувство, как вообще у всех нервных натур, от вида крови и страданий раздражалось, кипело и выливалось из пределов: оно требовало крови, крови и крови. Составился приговор: 40 человек, из главных преступников, оставлено живых для улик при последующих розысках, 100 человек малолетних, от 15—20 лет, наказаны кнутом, заклеймены и сосланы, а 201 человек присужден к смертной казни: к обезглавлению, колесованию и повешению.

Слух о предстоящих казнях в таких громадных размерах распространился по городу. Патриарх Адриан, по обычному

---

* Писем этих не сохранилось, и, по всей вероятности, они были уничтожены преданными стрельцами тотчас же после Воскресенской битвы.

печалованию пастырей, поднял икону Богоматери и отправился с ней в Преображенское просить милосердия.

— Убирайся и поставь икону на место,— закричал ему раздраженный царь,— я не меньше тебя почитаю Бога и Его святую Матерь, но я знаю свой долг... Наказывать злые умыслы и охранять народ — богоугодное дело.

Государь забыл, что любовь и милосердие соединяют царя с народом, а жестокость, а тем более несправедливость лишают его силы и преданности народной.

Патриарх ушел.

Утром 30 сентября из села Преображенское двинулась длинная процессия: под охраной трех полков мерно подвигался к Белому городу ряд телег, в которых сидели по двое стрельцов, осужденных, с зажженными в руках восковыми свечами. За телегами бежали с отчаянным воплем матери, жены и дети. У Покровских ворот поезд остановился; его окружила огромная толпа зрителей, в среде которых видны были иностранные послы и резиденты. За поездом вскоре приехал верхом и сам царь, окруженный свитой приближенных, в числе которых находились Лефорт, генерал Карпович, Автомон Головин, князь М. Н. Львов, князь Ю. Ф. Щербатый, С. И. Языков, Л. И. Головин и другие.

По приезде царя дьяк прочитал осужденным смертный приговор, в котором по изложении вины преступников, состоящей в умысле прийти к Москве, учинить в ней бунт, бояр и немцев побить, немецкую слободу разорить и чернь возмутить, говорилось: «...и за то ваше воровство великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец указал — казнить смертию».

Для исполнения приговора стрельцов развезли по местам, где устроены были для них виселицы. 112 человек были повешены у 70 ворот кругом Белого города, 36 человек — у трех ворот Замоскворечья, 48 — у съезжих изб возмутившихся полков, оставалось пятеро (Плешивый, Глотов, Жюченок, Гонец и Долгий), которым предстояла особая честь...

Насмотревшись на последние конвульсии повешенных у Покровских ворот, государь возвратился в Преображенское. Там перед дворцом устроен был помост, приготовлена плаха и лежала секира, но заплечного мастера не было. Государю захотелось попробовать свою силу, потешиться над живым человеческим мясом...

Обрадовались было оставшиеся пять стрельцов, не видя палача. Не зная за собой никакой вины, кроме невольного,

почти бессознательного участия в действиях товарищей, они убедили себя в прощении. «Да в чем же мы виноваты? — спрашивали они себя.— Что хотели сестру царя на державство? Так она и прежде с ним державствовала, а его не было больше года... Сами набольшие начальники говорили, будто он и умер... боярам, известно, хотелось самим. Разве мало они нас и голодом, и холодом изводили».

Между тем как радовались и обнадеживались стрельцы, царь с новым любимцем своим Алексашей и свитой сходил с крыльца прямо к устроенному помосту. С довольной улыбкой подошел он к плахе, поднял тяжелую секиру, как перышко, и ловко взмахнул ею несколько раз.

Стали поочередно подводить обезумевших стрельцов, каждого из них старательно укладывали на плаху, и каждому из них гигантская рука, не дрогнув, наносила смертельный удар. Действительно, рука была твердая — при каждом взмахе голова мгновенно с прыжком отскакивала с помоста...

С другого дня начались новые розыски с другими партиями, прибывшими после первых из более отдаленных мест. В этих новых партиях числилось до 856 человек; допросы их продолжались около двух недель. По боярскому приговору, утвержденному государем, все они были приговорены к смертной казни, за исключением только 93, прощенных по малолетству, и 14 — из главных руководителей, оставленных для новых розысков. Казнено было:

11	октября	144	человека
12	»	205	»
13	»	141	»
17	»	109	»
18	»	65	»
19	»	106	»
21	»	2	»
		Всего 772	человека

Виды казни разнообразились: виселицы, обезглавления и колесования, с некоторыми утонченностями. Вешали по всему Земляному городу у всех ворот, точно так же, как у всех ворот Белого города. Сквозь зубцы городских стен пропущены были бревна, закрепленные внутри, на концах которых и висели несчастные. Вешание назначалось для всех рядовых обвиненных, для более же виновных определялось колесование. Один из современников (Желябужский) передает ужасные подробности: «А пуще воры и за-

водчики: у них за их воровство ломаны руки и ноги колесами. И те колеса воткнуты были на Красной площади на колья, и те стрельцы за свое воровство ломаны живые, положены были на те колеса, и живы были на тех колесах не много не сутки, и на тех колесах стонали и охали. И по указу великого государя один из них застрелен из фузеи; а застрелил его преображенский сержант Александр Меньшиков. А попы, которые с теми стрельцами были у них в тех полках, один перед Тиунскою избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол, а тело его положено на колесо так же, что и стрельцы».

Для личной же забавы государя и его двора отделялись особые отряды стрельцов, числом в 109 человек, которые и приводились в Преображенское. Здесь приближенные царя упражнялись в искусстве рубить головы. Князь Ромодановский отрубил головы четырем стрельцам, Александр Меньшиков — двадцати, Борис Алексеевич Голицын по приказанию царя тоже рубил голову одному стрельцу, но рубил неловко, за что и получил строгий выговор от царя, наблюдавшего это зрелище.

И царевна Софья Алексеевна не была забыта: перед ее кельями повешено было 195 человек, из которых трем, висевшим перед самими ее окнами, вложены были в руки челобитные, согласно их показаниям о письмах царевны. И долго, целых пять месяцев, держались эти челобитные перед окнами Софьи, целых пять месяцев трупы не убирались ни с городских стен, ни с площадей, целых пять месяцев собаки и вороны пользовались роскошным столом из человечьего мяса. Трупный запах заражал воздух, бил в нос проходившим и проникал в жилища.

После казни стрельцов вдовы их высылались из Москвы... и шли они по дешевой цене... разбирали их по деревням всяких чинов люди...

Как перенесла это тяжелое время бывшая правительница, что перечувствовала она — никто не знал. Сосредоточилась она в самой себе и никому не говорила ни слова. По целым часам сидела она в глубине кельи перед столом неподвижно, упорно наблюдая за качавшимися от ветра трупами стрельцов с челобитными да за воронами, садившимися то на голову, то на плечи висельников и выбиравшими себе лакомые куски. Казалось, она не замечала ничего вокруг себя, не замечала, что при ней уже больше нет ее постельниц, что вместо них какая-то суровая монахиня, молчавшая или говорившая сухим голосом, как будто в насмешку, о благости Божией, не замечала, как все перемени-

лось в отношении к ней, как отстраняются от нее, как от зараженной. Одна, одна... и всегда одна, ходила она по-прежнему в церковь... но не молиться, а... проклинать.

Не заметила она, наконец, и того, как через несколько дней пришли к ней настоятельница с сестрами и повели ее в церковь, как поставили ее зачем-то посередине, как что-то говорили, читали и пели, как сделалась она наконец инокиней Сусанной. Нет теперь больше поворота на другую дорогу. Все кончено.

Софья Алексеевна прожила еще почти шесть лет и умерла, унеся с собой свои последние думы.

Содержание

Е. Карнович. ЦАРЕВНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. . . 5

К. Масальский. СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ 173

П. Полежаев. ПРЕСТОЛ И МОНАСТЫРЬ 359

Литературно-художественное издание

«Всемирная история в романах»
«Летопись великих событий»

Е. Карнович
Царевна Софья Алексеевна

К. Масальский
Стрелецкий бунт

П. Полежаев
Престол и монастырь

Исторические романы

Художник *Н. Егоров*
Редакторы Е. Смирнова, А. Андреев

Лицензия ЛР № 071084 от 22.09.94 г.
Сдано в набор 27.09.94. Подписано к печати 3.11.94.
Формат 84 × 108 1/32.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,92. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 261. Цена договорная.

Издательство «Новая книга», Москва, ул. Академика Челомея, д. 4, а/я

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.